Десять лет в изгнании

Germaine de Staël

Жермена де Сталь

Жермена де Сталь

Десять лет в изгнании

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Десять лет в изгнании» — рассказ знаменитой французской писательницы Жермены де Сталь (1766–1817) о Наполеоне и о том, как, спасаясь от его тирании, она летом 1812 года, в самый разгар военных действий, пересекла всю Европу, чтобы через Австрию, Россию и Швецию попасть в Англию. Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств. Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.

- Десять лет в изгнании
- Часть первая (1797–1804)
- Часть вторая (1810–1812)
- Путешествие по Австрии573
- Путешествие по России
- Отъезд в Швецию
- Жермена де Сталь и её «Философическая география»
- История текста и его переводов на русский язык
- Комментарии
  -
  - Часть первая
  - Часть вторая
- Приложение
  - Огюст де Сталь Сопроводительные материалы к первому изданию (1821) Предисловие издателя
  - Предуведомление издателя[124]
  - Примечание издателя[142]
  - Хронология жизни и творчества Жермены де Сталь
  - Список сокращений
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10

- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54

- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98

- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142

- ○ 143
- ○ 144

Десять лет в изгнании

Из всех сочинений г-жи Сталь книга «Десятилетнее изгнание» должна была преимущественно обратить на себя внимание русских. Взгляд быстрый и проницательный, замечания разительные но своей новости и истине, благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы, всё приносит честь уму и чувствам необыкновенной женщины.

А. С. Пушкин

Дурна, как чёрт, и умна, как ангел.

К. Н. Батюшков

Госпожа де Сталь женщина незаурядная, сделавшая в интеллектуальной области больше, чем все остальные вместе взятые, ей следовало бы быть мужчиной.

Дж. — Н, — Г. Байрон

Часть первая (1797–1804)

Не для того, чтобы занимать публику собственною моею особою, решилась я рассказать о том, как провела десять лет в изгнании.[1] Как бы тяжко мне ни пришлось, несчастья, выпавшие на мою долю, так ничтожны сравнительно с общественными бедствиями, происходящими на наших глазах, что я постыдилась бы говорить о себе, не будь события моей жизни связаны с великим делом защиты попранного человечества. Император Наполеон, чей характер выказывается в полной мере во всем, что он предпринимает, преследовал меня с мелочной дотошностью, со все возрастающей злобой, с неумолимой жестокостью, так что я сумела понять, что он собою представляет, задолго до того, как это стало ясно всей Европе, которую этот сфинкс едва не пожрал именно потому, что она не умела его разгадать.

Люди, рожденные во Франции до Революции, положительно больше дорожат свободой, чем те, чье детство пришлось на годы кровавого Террора. Война за американскую независимость,[2] распространение просвещения, постоянно пребывающий перед глазами пример Англии с ее превосходным общественным устройством приуготовили умы к восприятию народного представительства как необходимой составляющей части любого конституционного правления, и королевского, и республиканского; смею утверждать, что в моем поколении, поколении, которое явилось в свете одновременно с Французской революцией, мало было мужчин и женщин, которые бы не верили, что Генеральные штаты изменят участь Франции.[3] Отец мой, искренне преданный королю Франции, чьим министром он был на протяжении многих лет, исповедовал тем не менее политические принципы, которые, как он полагал, могут споспешествовать и безоблачному правлению добродетельного монарха, и благоденствию просвещенной нации.[4]

Я рассказываю об обстоятельствах моей жизни, благодаря которым свобода сделалась мне еще дороже, не потому, что считаю нужным оправдывать собственный энтузиазм.[5] Я убеждена, что извинения тут неуместны и что энтузиазмом этим следует гордиться; однако же я желала с самого начала объявить, что главная причина гонений, каким подвергал меня император Наполеон, заключалась в моей любви к свободе, моем перед нею благоговении. Чувства эти я унаследовала от отца и прониклась ими с той самой минуты, как научилась размышлять о возвышенных идеях, из них вытекающих, и о прекрасных деяниях, ими вдохновляемых. Зверства, опорочившие Французскую

революцию, были всего лишь [7] плодами тирании, в которой на сей раз был повинен народ; помешать французам поклоняться свободе они, полагаю я, не могли. Конечно, они бросили тень на Францию, однако из того, что страна эта имела несчастье лишиться благороднейшего из достояний, никак не следует, что достоянию этому нет места на земле. Когда на севере наступает полярная ночь, тамошние жители не обрушивают проклятий на солнечные лучи, которые по-прежнему сияют для других, более счастливых краев.

Не стану рассказывать о событиях, предшествовавших появлению на исторической сцене Бонапарта. Если мне удастся довести до конца задуманное жизнеописание моего отца, я изображу там начало Революции, переменившей судьбы мира.[6] Теперь же я намереваюсь предложить вниманию читателей лишь ту часть этого огромного полотна, которая касается до меня самой. Впрочем, льщу себя надеждой, что, когда с этой ограниченной точки зрения я стану бросать взгляд на ход истории в целом, читатель, знакомясь с моей собственной историей, не однажды будет забывать обо мне.

Итальянские победы генерала Бонапарта внушили мне самое пылкое восхищение этим человеком.[7] Средства, употреблявшиеся во Франции для укрепления республиканских установлений, лишали эти установления какого бы то ни было достоинства.[8] Обнаруживая слова, обозначающие самые почтенные убеждения, в декретах самых бессмысленных и самых безжалостных, люди, казалось, начинали стыдиться этих убеждений. Зрелище кровожадных злодеев, которые, обрекая на гибель людей в высшей степени достойных уважения, клянутся именем свободы, приводило умы и души в смятение. Новые установления еще могли привлечь к себе внимание мыслителей, однако те, кто призван был воплощать эти установления в жизнь, полностью искажали их дух. С другой стороны, те, кто совершенно обоснованно выступали против людей, возвысившихся в результате Революции, презирали принципы, лежащие в основе народного представительства. Человек честный не мог принадлежать всецело ни к гонителям, ни к гонимым, и прекраснейшая из человеческих способностей — способность восхищаться — не находила себе применения. Военная же слава внушает восхищение всем людям без изъятия.[9] Прокламации, выпущенные Бонапартом в Италии, располагали к нему. Тон их, благородный и умеренный, был вовсе не похож на революционную ожесточенность гражданских вождей Франции.[10] В ту пору воин говорил как государственный муж, государственные же мужи изъяснялись по-военному сурово.

Бонапарт не привел в исполнение варварские законы против эмигрантов. О нем говорили, что он страстно любит свою жену, исполненную кротости и доброты.[11] Одним словом, я заблуждалась на счет Бонапарта глубочайшим образом, ведь я почитала его человеком великодушным и чувствительным.

Мысль эта наполнила меня таким восторгом, что, увидев его впервые, я едва могла говорить с ним. Он прибыл из Италии, где одержал победы самые блистательные и самые трудные. В ту пору он еще вовсе не обладал верховной властью; напротив, ему даже грозили гонения. Я восхищалась им с тем бескорыстием и с той искренностью, каких он в последующие годы не сумел ни заслужить, ни завоевать. С самого первого мгновения он вселил в мою душу страх, какого никогда не вызывало у меня ни одно живое существо. Мне случалось видеть людей кровожадных и людей почтенных. Однако ни те, ни другие не внушали мне ничего похожего на то чувство, какое охватывало меня при виде Бонапарта. Довольно скоро я заметила, что характер его не может быть описан словами, какими мы привыкли пользоваться. Он не был ни добр, ни свиреп, ни жесток, ни кроток так, как бывают добры или жестоки другие люди; не имея себе подобных, он не умел ни испытывать расположение к кому бы то ни было, ни внушать его к себе самому. Именно потому, что он не имеет ничего общего с обычными человеческими существами, он внушает всем без исключения ужас, который у людей слабых оборачивается покорностью. Он не знает ни ненависти, ни любви, ибо в целом свете видит лишь одного себя, людей же принимает как факты или как вещи, но ни в коем случае не как себе подобных. Сила его зиждется на безграничном эгоизме, который не способны поколебать ни жалость, ни привязанность, ни вера, ни нравственность. Именно Бонапарта можно назвать величайшим холостяком.[12] Подобных характеров в мире больше нет. Будучи первым в искусстве расчетов, он последний в области чувств. Он мастерски играет в шахматы с родом человеческим, намереваясь объявить ему шах и мат.

С каждой новой встречей с ним неприязнь моя к нему лишь возрастала. Тщетно недавний восторг боролся с нынешним отвращением, тщетно поражалась я выдающемуся уму, какой выказывал Бонапарт всякий раз, когда заговаривал о предметах серьезных; в душе его я различала ледяную шпагу, острие которой способно не только ранить, но и обжечь холодом. Я чувствовала, что все доброе и прекрасное, не исключая и его собственной славы, он встречает насмешками: он осмеливался презирать нацию, чьей поддержки искал; к потребности поражать других не примешивалось у него ни капли энтузиазма; его не

одушевляли даже собственные успехи. Император Наполеон — столько же индивид, сколько и система; из дальнейшего сделается ясно, что все плоды воздействия безверия на сердце человеческое обнаружили себя в его жизни.

Я впервые повстречалась с Бонапартом между его возвращением из Италии и отъездом в Египет.[13] Вид он в ту пору имел не такой отвратительный, как теперь, ибо тогда он, по крайней мере, был худощав и бледен, словно бы по причине снедавшего его честолюбия, за последние же годы разжирел, упитанный несчастьями, какие причинил окружающим.[14] Впрочем, облик у него во все времена был подлый, веселость пошлая, учтивость, если он ее выказывал, неловкая, а обхождение, особенно с женщинами, грубое и суровое. Можно было подумать, будто для того, чтобы покарать французов за злоупотребление блистательнейшими их достоинствами, Провидение обрекло нацию, прославленную своим изяществом и рыцарским духом, на подчинение человеку, в высшей степени чуждому и этой прелести, и этой добродетели. Зимой 1797–1798 года, когда Бонапарт еще не отправился в Египет и находился в Париже, я не однажды встречала его в разных домах[15] и всякий раз испытывала при этом некоторое стеснение. На одном празднестве случай свел меня с ним, и, хотя он повел себя со мною так учтиво, как счел нужным, я отпрянула. Я отпрянула, повинуясь некоему [9] инстинктивному страху, страху безотчетному, но оттого ничуть не менее обоснованному.[16] Он рассказывал в свете анекдоты из своей воинской жизни с остроумием почти итальянским. Однако манеры его оставались принужденными без робости и грубыми без добродушия. Он уже возмечтал о троне, так что вопросы, которые он задавал людям, ему представляемым, походили на те, какие задаются при всех дворах, где государь полагает осчастливить вас не тем, что именно он вам говорит, а самим обращением к вам; так и Бонапарт осведомлялся у светских знакомцев о предметах незначащих, движимый, конечно же, одною гордыней.

Как-то раз я оказалась вместе с ним на обеде у г-на де Талейрана. За столом я сидела между ним и аббатом Сьейесом. Странное соседство: оно удивило бы меня еще больше, знай я, что случится позже.[17] Я внимательно изучала лицо генерала Бонапарта. Однако всякий раз, как он замечал, что я за ним наблюдаю, он мастерски лишал свой взгляд какого бы то ни было выражения;[18] лицо его становилось совершенно неподвижно, и только на губах блуждала смутная улыбка, призванная скрыть истинное содержание его мыслей. Аббат Сьейес за обедом беседовал, выказывая выдающийся ум. Генерал Бонапарт был

занят только собой. Он спрашивал у одного из гостей, женат ли он, у другого — собирается ли он в деревню, и постоянно повторял «гражданин Тара», «гражданин Талейран» с почти смешной аффектацией, ибо в свете этого обыкновения никто не придерживался.[19]

Аббат Сьейес с искренним уважением заговорил о моем отце. Он сказал, что батюшку отличают два в высшей степени превосходных качества: расчетливость великого финансиста и воображение прекрасного поэта. Похвала эта мне польстила, ибо была правдива. Несколько учтивых фраз произнес по адресу батюшки и Бонапарт, однако было видно, что занимают его лишь те люди, знакомство с которыми ему выгодно.[20] Вообще в ту пору им владела страсть к покорению людей, однако он походил на пророка Валаама, с той разницей, что если из уст пророка вместо проклятий излетали благословения,[21] то Бонапарт, напротив, проклинал, даже если хотел благословить, и поражал скорее суровостью обхождения с окружающими, нежели попытками польстить их самолюбию. Власти его над людьми способствовало уже тогда и еще одно обстоятельство — он, к несчастью, твердо знал, что нуждается в людях лишь постольку, поскольку они могут быть ему полезны, и всякий, кто имел с ним дело, это чувствовал. Красноречие, остроумие, очарование, сердечные привязанности — все это было ему чуждо. Он мысленно заносил людей в графу «приход» или «расход», нравственные же их качества не оказывали на его душу ни малейшего воздействия; полагаю, что во Франции никогда еще не было главы правительства, который обращался бы со своим окружением столь нелюбезно.

Подобным образом он вел себя, еще будучи генералом. После обеда он подошел к женщине, славившейся красотой, острым умом и живостью мнений. Он встал перед нею прям и несгибаем, как германский князь. «Мне не нравится, сударыня, — сказал он, — когда женщины занимаются политикой». — «Вы правы, генерал, — отвечала она. — Однако если женщины живут в стране, где им отрубают головы, они вправе узнать, отчего это происходит».[22] На эту фразу он ничего не ответил, ибо она была остроумна. Позже мне не раз приходило в голову, что если бы те, кто его окружал, умели отвечать на его слова острыми шутками, он обходился бы с ними более предупредительно. Впрочем, он так сильно попирал их достоинство в других отношениях, что они вполне могли снести еще одно оскорбление. Впоследствии мы услышали множество рассказов об унижениях и грубостях, которым он позволял себе подвергать мужчин и, главное, женщин: одних он именовал старухами, у других спрашивал, не

изменяют ли они мужьям, третьим говорил еще какие-нибудь любезности в том же роде. Поступки эти, как и его обхождение с мужчинами, вполне обдуманны. Он справедливо рассудил, что всякий, кто сносит от другого оскорбление, повинуется тому, кому дал подобное преимущество, и решил действовать соответственно. Он намеренно строит расчеты на низости человеческой природы, и, следует признать, до сих пор расчеты эти его редко обманывали. В отношениях Наполеона с женщинами чуть меньше обдуманности, однако чувство его к ним решительно противоположно тому, какое рождают они в других мужчинах; он не любит женщин, ибо им куда труднее внушить страх или надежду, а значит, их невозможно тотчас принудить к повиновению; в существовании их есть некое бескорыстие, которое ему неприятно; можно сказать, что они подобны священникам, чей сан — от Бога. Наполеон, вероятно, попытался бы истребить женщин с лица земли, не имей он нужды в их детях, из которых получаются солдаты для его армии. Никакого другого смысла в их существовании он не видит; многим довелось слышать, как он грубо требовал от молодых женщин: «Рожайте мне побольше новобранцев»; с таким же успехом лев стал бы требовать от овец, чтобы они рожали побольше ягнят, которых он смог бы сожрать.

Генерал Бонапарт приехал ко мне с визитом, но не застал меня дома; я отправилась к нему с ответным визитом в дом его жены.[23] Он принял меня в своем кабинете; я заговорила о судьбе Швейцарии, которой в ту пору грозило нашествие французской армии. Я не знала, что он сам подстрекал к этому нашествию, надеясь раздобыть в несчастной бернской казне деньги на поход в области куда более отдаленные; я полагала, что, живописав Бонапарту благоденствие Швейцарии, смогу принести пользу тому отечеству, где нашел приют мой батюшка. Швейцарию пытались взбунтовать, требуя для земли Во независимости и тех же привилегий, что и для союзных кантонов; по сему поводу шло много толков о злоупотреблениях бернского правительства, которое, однако, сделало за сто лет куда меньше зла, чем сделали бы французские войска за одну неделю.[24]

Выслушав мой рассказ о благоденствии земли Во, генерал Бонапарт сказал, что земля эта подчиняется Бернскому кантону, что у нее нет политических прав, а нынче люди без этих прав существовать уже не могут.[25] Я попыталась умерить этот республиканский пыл, заверив генерала, что жители земли Во обладают всеми гражданскими свободами, возможность же входить в правительство, которой они лишены, стоит очень мало в таком государстве, где политическая власть не приносит ни

денег, ни исключительных прав и может считаться жертвой, приносимой отечеству. «Самолюбие и воображение, — отвечал Бонапарт, — побуждают человека дорожить возможностью управлять своей страной; несправедливо отнимать эту возможность хотя бы у части граждан». Я призналась генералу Бонапарту, что теоретически рассуждения его совершенно верны; в подтверждение его слов я могла бы прибегнуть к таким понятиям, как идеология, либеральные идеи и проч., — тем самым понятиям, которые с тех пор сделались ему так ненавистны. Однако я ограничилась обращением к простой истине и противопоставила отвлеченным благам, им прославляемым, действительные бедствия, которые грозили обрушиться на самую честную из европейских стран.

На том разговор о судьбе Швейцарии закончился, и Бонапарт принялся толковать о своем желании уйти на покой, о владеющем им отвращении к жизни. Тут я поняла, как пленителен он бывает, когда пускает в ход опаснейшую из всех своих хитростей и притворяется простодушным. Впоследствии он многократно прибегал к этому средству; сколько раз ему случалось лгать самым бесстыдным образом, сохраняя при этом вид главы семьи, который обсуждает свои дела с любимыми детьми.[26] Хотя в беседе с глазу на глаз он показался мне более любезным, чем в обществе, при каждой встрече с ним я чувствовала себя все более и более принужденно. Он умеет смущать и добряков, и злодеев; дальнейший ход событий показал, что именно благодаря этой способности окружать себя атмосферой тяжелой, удушливой он забрал над французами такую большую власть. Он подчинил их себе именно потому, что был иностранцем. Француз не сумел бы совладать с французской нацией. Ришелье, проведший полжизни в Италии, перенял у итальянцев политическую опытность и ловкость.[27] Мазарини обладал ими от природы. Екатерина Медичи много лет сохраняла несчастную способность сеять распри внутри Франции, а у большинства французских королей, правивших страной самым деспотическим образом, текла в жилах кровь матерей-чужестранок. Кажется, будто Небеса, даровав французской нации множество блистательных талантов, обделили ее достоинством и твердостью — добродетелями, необходимыми для того, чтобы повиноваться лишь законам, ею самою писанным.

Я присутствовала на торжественном приеме, который устроили генералу Бонапарту члены Директории.[28] В Люксембургском дворце не нашлось залы достаточно просторной, чтобы вместить две тысячи человек. Поэтому, хотя дело происходило в декабре, церемонию провели во дворе, который

нарочно для такого случая посыпали песком. Члены Директории облачились в римские тоги. Генерал Бонапарт явился в скромном мундире; адъютанты, все на целый фут выше своего командира, уже в ту пору держались от него на почтительном расстоянии — привычка, которой они с тех пор ни разу не изменили.[29]

Парижан, желавших взглянуть на генерала Бонапарта, собралось так много, что они помещались даже на крышах. Генерал смотрел на всех этих людишек, которых он намеревался при первой же возможности подчинить своей воле, с беспечным любопытством. Нетрудно было заметить, что притязания пятерых государственных мужей, входящих в Директорию,[30] на верховную власть кажутся ему по меньшей мере смешными и что речь свою он произносит с нарочитой небрежностью. Между тем речь эта была посвящена предметам чрезвычайно важным и, среди прочего, предвещала наступление в Европе эпохи представительного правления. Однако уже в эту пору Бонапарт видел в убеждениях не более чем средство. Республиканские прокламации не помешали ему уступить древнюю Венецианскую республику Австрии.[31] Он дал генуэзцам весьма мудрые советы касательно способов уберечься от демагогии[32] — и в то же самое время призывал переменить государственное устройство Швейцарии под тем предлогом, что некоторые ее кантоны подчиняются правлению аристократическому. Человек этот твердо убежден, что все кругом исходят только из собственной своей корысти, а во всех рассуждениях о нравственности и искренности видит нечто вроде формул вежливости, помещаемых в конце письма и вовсе не означающих, что пишущие намерены покорно служить тому, чьим покорным слугой они себя именуют. Г-н де Талейран отвечал генералу Бонапарту весьма льстивой речью, в которой упомянул о его любви к Оссиану.[33] В самом деле, ходили слухи, будто он питает пристрастие к этому поэту, однако я не думаю, что такой человек способен удовольствоваться сердечными мечтаниями и туманными пейзажами.

В конце 1797 года, когда происходил этот прием генерала Бонапарта в Люксембургском дворце, в Париже только и говорили что о скорой высадке французов в Англии.[34] Один из самых известных депутатов сказал, что, если французское правительство не атакует Англию, оно сделается посмешищем всей Европы. На празднестве, устроенном в честь Директории на Марсовом поле, был представлен захват английского корабля французскими войсками. Я заметила на это, что если французы и отбивают у англичан корабли, то лишь когда находятся на суше. Члены Директории простили мне эту шутку, ибо следует признать, что, несмотря на революционные заблуждения, у них

было довольно терпимости. Только деспоты, причем деспоты раздражительные, каков Наполеон, карают за одно-единственное слово как за преступление. Гиббон сообщает, что Каракалла приказал отрубить голову некоей женщине за неуместную шутку (an unseasonable witticism).[35]

Директория поручила высадку в Англии генералу Бонапарту; он побывал на побережье и, сочтя высадку невозможной, возвратился в Париж, полный разнообразных планов.[36] Из них самым выгодным казалось ему возобновление войны против Австрии, и именно с этой целью он уполномочил Директорию отдать генералу Бернадоту, в ту пору французскому послу в Вене, такие приказания, которые привели бы к разрыву между Францией и Австрией;[37] неизвестно, чего он желал больше: составить себе имя и на объявлении войны, и на заключении мира или же повредить генералу Бернадоту, в котором уже тогда предчувствовал соперника, способного поднять стяг великодушия против знамени преступления. В эту смутную пору Бонапарт каждый вечер навещал члена Директории Барраса, у которого нередко бывала и я;[38] здесь он старался придать себе вид непринужденный либо исполненный достоинства, но не умел приискать необходимого тона ни для того, ни для другого, ибо естественным он бывал лишь в роли деспота.

Однажды наедине с Баррасом он пустился в рассуждения о своем влиянии на народы Италии. «Они желали провозгласить меня герцогом Миланским или королем Италии, но я ни о чем подобном не помышляю». — «И правильно делаешь, — отвечал Баррас, — ведь если завтра Директория вознамерится отправить тебя в тюрьму Тампль, не найдется и четырех человек, которые бы этому воспротивились». При этих словах Бонапарт вскочил и стремглав выбежал из гостиной, а назавтра объявил Директории, что решился начать экспедицию в Египет.[39] В самом деле, народный дух во Франции был еще слишком силен; время для поворота в обратную сторону еще не пришло. Директория имела довольно власти над умами; ее считали могущественной, а во Франции слыть могущественным значит быть им на деле.

Несколькими месяцами раньше Бонапарт отправил генерала Ожеро из итальянской армии в Париж — помочь Директории совершить черное дело и уничтожить народное представительство,[40] причем удивительным образом ему удалось прослыть надеждой партии порядочных людей в то самое время, когда их его же стараниями готовились изгнать из Законодательного корпуса. Впрочем, уже в ту пору можно было понять, что он всегда действует исключительно по расчету, а роялисты больше любили людей, руководствующихся расчетом,

чем истинных республиканцев, которые руководствовались убеждениями.

Однажды вечером я встретилась с генералом Ожеро у Барраса еще до прихода Бонапарта. Он слыл генералом-патриотом, то есть таким, который не желает возвращения к дореволюционным порядкам; впрочем, он вообще очень мало размышлял о политических идеях и предпочитал разрешать все вопросы при помощи сабли. «Ходят слухи, что генерал Бонапарт хочет стать королем; правда ли это?» — спросила я у него. «О господи, конечно нет, — отвечал генерал Ожеро, — он слишком хорошо воспитан». Ответ этот, удивительно метко характеризующий тогдашнее время, рассмешил меня. В самом деле, королевскую власть столько раз подвергали оскорблениям, что простодушные патриоты всерьез уверовали в то, что порядочному человеку мечтать о королевском сане не пристало.[41] Людям, способным размышлять, уже в ту пору было нетрудно догадаться о честолюбивых замыслах Бонапарта; именно по этой причине он поступил совершенно правильно, отбыв в Египет, ибо в ту пору замыслы эти еще не могли осуществиться, а между тем они уже вызывали подозрения, которые очень скоро заставили бы Директорию очернить репутацию Бонапарта. Зато на Востоке он эту репутацию отстоял. Битва при Пирамидах, аравийские пустыни — все эти древние названия пленяли воображение и приковывали его к судьбе Бонапарта.[42]

В начале января 1798 года я вернулась в Коппе, чтобы быть рядом с батюшкой в ту пору, когда французы вторгнутся в Швейцарию. Имя батюшки значилось в списке эмигрантов,[43] а всякому эмигранту, схваченному на земле, занятой французами, грозила смертная казнь. Батюшка, однако, не хотел покидать могилу матушки, и потому мы с ним, с нашими слугами и моими малолетними детьми [44] остались совсем одни в просторном замке Коппе. Французские офицеры, которыми в земле Во командовал генерал Сюше, повинуясь как велению души, так и приказу Директории, обошлись с моим отцом очень учтиво.[45] Именно после занятия французами Швейцарии Женева потеряла независимость;[46] таким образом, правление французов началось с унижения города, который всеми славными событиями своего прошлого был обязан не чему иному, как независимости. Солдаты Французской республики вторглись в отечество Вильгельма Телля, чтобы насадить теоретическую свободу и практическую тиранию даже среди чистых горцев, которые сберегали и сберегают по сей день исконные свои добродетели и законы.

Странная судьба была уготована Французской революции! Во всей континентальной Европе она разрушила принципы свободы,

которую, однако же, провозгласила своей основой; ибо верно, что всякое предприятие, ничем не сдерживаемое, обречено на гибель, а всякое предприятие, за которое человек берется, не помышляя о Боге, губит его самого, как верно и то, что всякий, кто не знает над собой узды, никогда не достигнет цели.

Во всей Швейцарии только и говорили что о сопротивлении жителей Берна и демократических кантонов французским войскам. Впервые в жизни я молила Небеса принести французам не победу, а поражение; я не знала более, на какой алтарь возложить любовь к отечеству — самое святое из всех земных чувств. Малые кантоны прислали в Берн солдат; эти набожные воины, войдя в город, преклонили колени перед храмом. Они нисколько не боялись прихода французов; «ведь нас целых четыре сотни, говорили они, а если этого недостанет, ради спасения отечества мы готовы прислать еще столько же». Кого не тронет столь великая вера в столь слабые средства? Увы, времена трехсот спартанцев ушли навсегда. Ныне все решается числом,[47] а чем больше сила, тем меньше значит общественное мнение, ибо сбившись в многочисленную толпу и принужденные вверить неограниченную власть над собою нескольким командирам, люди превращаются в стадо.

Хотя Коппе отделяют от Берна целых тридцать лье, в день первого сражения между французами и швейцарцами мы услышали в вечерней тишине пушечные залпы, звук которых усиливало горное эхо. Затаив дыхание, мы вслушивались в эту роковую канонаду, и, хотя победа почти наверняка должна была остаться за французами, мы не теряли надежды на чудо, которое убережет прекрасную природу и кротких жителей здешнего края от утраты свободы. Надежды наши не сбылись. В рукопашном бою швейцарцы потерпели поражение. Слепой старец г-н Штайгер, бернский государственный муж, попросил отвести его на артиллерийскую батарею: он надеялся найти там смерть.[48]

Французы обрушились на мелкие кантоны. Однако горцы не желали сдаваться; мелкие кантоны[49] так никогда и не покорились единой и неделимой Республике, чьи лозунги служили прикрытием тогдашней тирании, как свобода морей служит прикрытием тирании теперешней.[50] Бедные обитатели первобытной Швейцарии не желали принимать лицемерный дар, приносимый им под звуки канонады. На защиту отечества встали даже женщины и дети.[51] Служителей церкви истребили прямо в их святилище, однако воля народа, обитающего в этих ущельях, была нерушима; ее достало на то, чтобы остановить натиск французов и вынудить их пойти на уступки людям, которые твердо знали, что не сдадутся, людям, решившим стоять до

конца.

Сколько противоречивых чувств, сколько мук и тревог испытали в эти дни мы с батюшкой! Наименьшая из грозивших нам опасностей была полная потеря состояния. Большую часть дохода приносили нам феодальные права,[52] а всякого, чье имя содержалось в списке эмигрантов, ожидала их конфискация. Батюшка решился просить Директорию об исключении себя из списка.[53] Прошение его было составлено с логикой и достоинством, какие, смею сказать, отличают все, им написанное. Он объяснял, что родился вне Франции, что государство, чьим подданным он числился от рождения, отправило его своим посланником в Париж,[54] что Людовик XVI трижды назначал его главноуправляющим французскими финансами, а покинул он Францию и вернулся на родину с разрешения Учредительного собрания.[55] Дело было настолько ясное, что когда, возвратившись в Париж, я вручила записку отца членам Директории, они единогласно приняли решение вычеркнуть его из списка эмигрантов. Особенно решительно встали на нашу сторону Баррас, Трейяр и Мерлен. Впрочем, в те времена, в отличие от сегодняшних, в умах еще не воцарилось убеждение, что на свете нет иных законов, кроме декретов императора Наполеона, но и их позволительно нарушать, если того требуют обстоятельства. Впоследствии все переменилось: в тех редких случаях, когда иные государственные советники, пытаясь оспорить волю всесильного императора, ссылались на его прошлые декреты, он так же гневался на свои собственные решения, принятые некогда, как и на решения других людей.

Здесь кстати придется рассказать, что сталось в 1798 году с двумя миллионами, которые мой отец вложил в казну и из которых нам до сей поры не возвратили ни единого ливра. Отец мой, будучи министром финансов, имел возможность, покидая свой пост, забрать собственное состояние из королевской казны, однако, памятуя о тяжелом положении страны, он предпочел этого не делать. За всю историю французской монархии он был единственным министром, который в течение семи лет наотрез отказывался от полагавшихся ему ста тысяч экю жалованья.[56] Его право забрать по крайней мере то, что принадлежало ему самому, было неоспоримо, особенно если учесть, что, служа государству, он не только не получал за это платы, но, напротив, входил в большие расходы, которых требовала должность первого министра. Из-за недорода Парижу грозил жесточайший голод. Амстердамские банкиры господа Хоупы согласились отправить во Францию хлеб только под поручительство моего отца; он поручился своими двумя миллионами, а затем возобновил это

ручательство в ту самую пору, когда был издан указ о его изгнании из Франции.[57] Мало найдется денежных сумм, потраченных столь великодушным образом, так что два десятка лет все, кто управлял французскими финансами, неизменно именовали эти два миллиона священнейшим из долгов. Признала его таковым и Директория, однако члены ее, дабы расплатиться с батюшкой, предложили ему вступить во владение землями эмигрантов, на что он согласиться не мог и потому предпочел подождать уплаты долга до окончания войны.[58] Позже мы увидим, как император Наполеон, решая этот вопрос, презрел какие бы то ни было формы правосудия. Роковой день 1797 года, когда Директория ввела войска в здание Законодательного собрания,[59] лишил гражданских чиновников во Франции остатков умеренности. Общественное мнение полностью спасовало перед военной силой, а в республиканской партии все искренние порывы уступили место расчетам честолюбия. Все предчувствовали, что здание вот-вот обрушится, и каждый искал укрытия для самого себя.

Вновь началась война; вначале события развивались не в пользу Франции. В 1799 году русские одержали в Италии несколько крупных побед.[60] Революция внутри Директории, подобная перевороту внутри сераля, привела к власти новых людей. Из них единственной особой, достойной упоминания, был Сьейес. Другие представляли собой не более чем пешки в руках тех, кто включил их в члены Директории.[61] Сьейес — человек выдающегося ума и возвышенных взглядов, однако характер его полностью уничтожает все выгоды, которые можно извлечь из его ума. Два серьезных недостатка, раздражительность и трусость, мешают ему воздействовать на слабых и заставляют покоряться сильным; видя, что его не понимают, он начинает злиться, разочаровывается в том, что делает, и, вместо того чтобы упрекнуть себя, упрекает других, а между тем в делах так поступать не стоит ни в коем случае, ибо здесь важно не только быть правым, но и уметь убеждать в том, что вы правы, людей, в которых вы нуждаетесь. Надобно уметь приноравливаться к способностям людей посредственных. Намерение — вещь первостепенная, однако судить о человеке следует только по успехам, каких он добивается. Ум чересчур возвышенный толпе непонятен, зато человек, чей ум превосходит способности толпы совсем ненамного, без труда изъяснит ей свои мысли самыми разными способами. Трусость, естественный результат однообразной жизни, которую Сьейес вел до сорока лет, не позволяла ему развернуться и в деловой сфере, ибо заставляла колебаться между желанием действовать деспотически и

неумением преодолеть робость, а в делах такие колебания подобны смерти.[62]

Ненавидя военное правление, Сьейес, однако же, мечтал заручиться поддержкою какого-нибудь генерала, ошибочно полагая, будто сможет использовать его в своих целях. С самого начала Революции Сьейес вынашивал план Конституции, которым очень дорожил. Он искал генерала, который помог бы ему эту Конституцию ввести. Моро — человек безупречной нравственности и безграничного военного таланта; плести политические интриги он не любил и не умел.[63] Пишегрю утратил доверие друзей свободы, приняв сторону роялистов.[64] Казалось бы, доверия Сьейеса был достоин генерал Бернадот: он стоял во главе республиканской армии,[65] обладал выдающимся умом и страстной, решительной душой. Однако подчинить себе такого человека Сьейес даже не надеялся.

Итак, Франция плыла по воле волн; чтобы спасти ее, требовалось поставить у кормила власти человека твердого. Тем временем, почуяв смуту, зашевелились якобинцы. Принялись хвастать своими победами над французской армией участники коалиции.[66] Братья Бонапарта, Жозеф и Люсьен, оба входившие в Совет пятисот, оба, хотя и в разной степени, наделенные острым умом,[67] известили брата о том, что при нынешнем положении дел он, возвратившись во Францию, сумеет, возможно, приобрести большую власть.

Генерал Бонапарт в то время находился в Египте, где, чтобы потрафить французским республиканцам, именовал себя «генерал Бонапарт, член Института»,[68] а чтобы сбить с толку арабов, начинал свои прокламации с клятв в преданности магометанской вере.[69] Однажды, получив из Франции газеты и письма, он затворился у себя в кабинете. Выйдя оттуда, он сказал своим приближенным, что ему необходимо вернуться во Францию.[70]

Однако за то время, что он потратил на возвращение, положение дел во Франции изменилось самым решительным образом. Общественное мнение отвергло притязания якобинцев.[71] Народ может покоряться власти столь погибельной лишь до тех пор, пока она ему незнакома. Дважды в одной стране ей не восторжествовать. Французские войска воспрянули при виде иностранцев, приближающихся к границам Франции. Массена с успехом защищал Швейцарию.[72] Моро отстоял честь французов в Италии. Англичан, высадившихся было в Голландии, вынудили уплыть назад.[73] Наконец, генерал Бернадот, впоследствии многократно доказавший, что он создан столько же для управления государством, сколько и для командования армией, а в ту пору, о которой идет речь, уже два месяца занимавший пост

военного министра, провел реформу в армии, и этого успеха оказалось довольно, чтобы беспомощные члены Директории, сами назначившие его министром, прониклись ревностью и отправили его в отставку, лишив себя таким образом последней опоры.[74] Впрочем, такой человек мог по-настоящему показать, на что он способен, только заняв высший пост в государстве.

Итак, когда генерал Бонапарт высадился во Фрежюсе,[75] дела уже не требовали его вмешательства, а люди уже не могли ему противостоять. Опасность на всех фронтах миновала, однако память о ней была еще свежа; иностранцы, да и сами французы, легко смешали воедино события различные, хотя и близкие по времени. Все сочли, что это Бонапарт спас Францию от кораблекрушения, меж тем как он принял командование над нею, когда она уже снова находилась на плаву. Вместе со своим штабом он пренебрег декретом, предписывавшим по возвращении из Леванта ради безопасности Европы проводить определенное время в карантине.[76] Будь Директория сильна, она приказала бы арестовать генерала Бонапарта за подобный проступок и за самовольное оставление армии.

Когда Бонапарт уезжал в Египет, член Директории Ревбель сказал, что в случае, если тот попросит об отставке, следует удовлетворить его просьбу, ибо недостатка в удачливых генералах у Республики не будет никогда.[77] Как ни относись к Ревбелю, следует отдать должное его словам, столь лестным для французской нации, ибо, в самом деле, можно ли уважать нацию, которая, насчитывая двадцать четыре миллиона человек,[78] так сильно нуждается в одном из них, что попирает ради него закон, иначе говоря — свою собственную волю?

Как бы там ни было, в ту пору, когда Бонапарт возвратился из Египта, Франция так страдала от отсутствия хорошего управления, что готова была покориться первому встречному. Итак, против новоявленного Цезаря вышел отнюдь не Помпей; вместо Катона и Красса ему противостояли жалкий писака Гойе и пьяный капрал Мулен.[79] Позже он сам сказал, что корона Франции валялась на земле, а он ее поднял.[80] Ни одно определение не прозвучало бы вернее, ибо когда он высадился во Франции, здесь уже полгода предлагали власть всякому, кто пожелал бы ее взять. Итак, если Бонапарт встал во главе страны, причиной тому явились не собственные его таланты, но удачное стечение обстоятельств.

Я находилась в Коппе у батюшки, когда узнала, что генерал Бонапарт на обратном пути из Египта проехал через Лион и был принят там с восторгом. Это известие причинило мне боль; вспоминая о ней, я начинаю верить в то предчувствие будущего, в

то двойное зрение, о котором толкуют шотландцы и в основе которого, возможно, лежит не что иное, как способность видеть предметы в свете чувства, независимого от разума.[81] Казалось бы, мне следовало радоваться возвращению Бонапарта. Мне нравилось общество его братьев. Большинство людей из его окружения были в большей или меньшей степени также и людьми моего круга. Однако я предчувствовала в характере Бонапарта склонность к тирании, которая обещала стать тем более свирепой, чем более серьезный оборот примут дела.[82]

Я уехала из Коппе, намереваясь провести зиму в Париже и, по странной случайности, прибыла туда 18 брюмера, или, иначе, 9 ноября, — в тот самый день, когда началась политическая карьера Бонапарта. Я как раз меняла лошадей на почтовой станции в нескольких лье от Парижа, когда мне сказали, что здесь только что проехал член Директории Баррас, возвращавшийся в сопровождении жандармов в свое имение Гробуа.[83] Вести, услышанные из уст возниц, действовали на воображение особенно сильно. В первый раз со времен Революции одно и то же имя было у всех на устах. Прежде говорили: Учредительное собрание сделало то-то, король, народ, Конвент предприняли то-то. Теперь повсюду только и шла речь что об этом человеке, которому суждено было заменить всех прочих и лишить род человеческий имен и лиц, либо забрав всю славу себе, либо помешав всем прочим смертным завладеть ею.

В тот же вечер я узнала, что за пять недель, проведенные в Париже после возвращения из Египта, генерал Бонапарт успел приготовить умы к тому перевороту, который только что свершился. Все партии одна за другой предались ему, а он подал надежду всем без исключения. Якобинцам он посулил, что не допустит восстановления монархии. Роялистам позволил пребывать в уверенности, что возвратит на трон Бурбонов. Сьейесу сказал, что Конституция, которую тот обдумывал с самых первых дней Революции, наконец будет принята.[84] Главное же, он пленил людей, не входивших ни в какие партии, вселив в их сердца надежду на покой, порядок и мир. Однажды в одной гостиной ему рассказали о некоей женщине из хорошего общества, чьи бумаги арестовала Директория. В ответ Бонапарт, впоследствии беспричинно осудивший стольких страдалиц на бессрочное изгнание, возмутился бессмысленной жестокостью палачей, мучающих женщин. Он, приведший весь мир в состояние бесконечной войны, постоянно твердил о необходимости заключить мир. Одним словом, в повадках его было нечто лицемерное и слащавое — совсем как у тигра, которому вздумалось убрать когти. Неудивительно, что ему удалось ввести

французов в заблуждение.

Конституцию, хороша она была или дурна, у французов отняли двумя годами раньше, когда призвали военных для ее укрепления.[85] Попытки даровать нации свободу оказались тщетными; иначе и не могло быть в стране, где правосудие презирают как вещь сугубо бесполезную, а безнравственность почитают за доказательство глубокого ума. Для того чтобы прийти к власти, побеждать Бонапарту было некого. Опасаться же ему следовало одного-единственного человека — генерала Бернадота. Однако члены Директории, завидовавшие своим защитникам даже больше — если это возможно, — чем своим противникам, не захотели позвать Бернадота на помощь. Между тем генерал Бонапарт действовал очень ловко: он посвятил генерала Бернадота в тайну переворота, который намеревался совершить, и взял с него как с собрата по оружию обещание хранить дело в секрете. Генерал Бернадот, один сохранявший рыцарский дух в такое время, которое, кажется, нимало к тому не располагало, отвечал, что как частное лицо он никому не откроет вверенную ему тайну, но если правительство поставит его во главе какого-либо воинского соединения, он станет бороться против всякого врага существующего порядка.[86] Тем временем Директория подготовила приказ о возвращении генералу Бернадоту должности военного министра.[87] Однако удача по-прежнему сопутствовала Бонапарту. Он запугал Барраса, и тот, вместо того чтобы подписать бумагу о назначении Бернадота, сам подал в отставку; возможно, судьба нарочно отложила поединок Бонапарта со столь серьезным противником до того времени, когда род человеческий своими страданиями заслужит милость Небес.[88]

Люсьен и Жозеф очень помогли брату. Они представили его членам каждой партии бесценной добычей, которую следует захватить прежде, чем ею завладеют другие. Философа Сьейеса они запугали революционером Баррасом, а Барраса припугнули популярностью Бонапарта в войсках. В самом деле, военная слава Бонапарта была в ту пору славой нации, а в стране, где не существовало ни личных заслуг, ни прочных установлений, только репутация, завоеванная с оружием в руках, нарушала роковое равенство — плод не столько равной силы многих, сколько полного ничтожества всех. Орудием для совершения переворота заговорщики избрали статью Конституции, позволявшую Совету старейшин удалять Законодательный корпус из Парижа;[89] по этому случаю я заметила, что во всех декретах Французской революции непременно предусматривался пункт, позволяющий изменить эти самые декреты; кажется, будто таким

образом революционеры хотели узаконить любую революцию. Установления, созданные людьми, существуют до тех пор, пока люди их уважают. Когда же уважение к ним иссякает, люди пользуются любым предлогом для их истребления, и декреты, без поддержки общественного мнения превращающиеся в простые клочки бумаги, перестают служить преградой разрушителям. Совет старейшин приказал, чтобы Законодательный корпус, иначе говоря, сами старейшины и Совет пятисот, назавтра, 19 брюмера, перенесли свои заседания в Сен-Клу.

18 брюмера вечером, когда я приехала в Париж, весь город в волнении ожидал предстоящего великого события, причем большинство, вне всякого сомнения, желало победы генералу Бонапарту. Что до меня, то, признаюсь, я не испытывала столь противоречивых чувств со времен Революции. Борьба уже началась; было ясно, что если Бонапарт потерпит в ней поражение, власть немедленно захватят якобинцы, после чего всем моим друзья и мне первой придется незамедлительно покинуть Францию. Однако я предчувствовала так ясно, как если бы будущее было открыто моему взору, что все разрешится иначе и что Франция покорится самой ужасной и самой унизительной тирании.

Один из моих друзей находился в Сен-Клу на заседании Законодательного корпуса.[90] Ежечасно он посылал оттуда гонцов. В одной из записок он сообщил, что, как ему кажется, якобинцы вот-вот возьмут верх. Я послала за деньгами и велела готовить экипаж, чтобы тотчас покинуть город, захватив с собою все, что мне дорого. Час спустя тот же друг сообщил, что победа осталась за генералом Бонапартом, что солдаты разогнали представителей нации, и я заплакала — не о свободе: ее Франция никогда не знала, — но о надеждах на свободу, которые воодушевляли нас в течение десяти лет; в эту минуту я испытала первый приступ болезни, которая с тех пор, кажется, стала уделом всей Европы: я больше не могла дышать полной грудью.

О перевороте 18 брюмера рассказывали по-разному. Самое важное — выяснить в точности все, что касается человека, от которого зависит еще и по сей день участь рода человеческого. В Совете старейшин он попытался произнести речь, исполненную энтузиазма. Но, во-первых, он не умеет изъясняться в благородном стиле; его ум, язвительный и резкий, может явить себя только в языке разговорном. Во-вторых, в целом свете не найдется предмета, способного внушить ему энтузиазм. Эгоизм его зиждется более на презрении к окружающим, нежели на привязанности к чему бы то ни было. Поэтому истинного совершенства он может достичь лишь тогда, когда презирает и

оскорбляет. Придя к старейшинам, чтобы заручиться их поддержкой, он сказал среди прочего: «Я бог войны и удачи. Следуйте за мной».[91] Однако величия не было даже в его гордыне. Он прибегал к напыщенным оборотам и не сказал того, что думал: «Все вы ничтожества; посмейте только ослушаться меня, и я велю вас расстрелять». Меж тем именно эти слова послужили бы истинным выражением его души. Все его речи были продиктованы либо дерзостью, либо лицемерием; правды он не говорил никогда.

Медленным шагом, с мрачным видом, низкорослый Бонапарт вошел в Совет пятисот под охраною двух могучих гренадеров. Депутаты, именуемые якобинцами, встретили его невообразимыми воплями. Люсьен Бонапарт, в ту пору председатель Совета пятисот,[92] напрасно тряс колокольчиком, пытаясь восстановить порядок. Отовсюду слышались крики «предатель» и «узурпатор», а один из депутатов, соотечественник генерала Бонапарта корсиканец Арена, подбежал к нему и схватил за ворот. Утверждали, что Арена хотел заколоть Бонапарта кинжалом. Ничего подобного. Самое страшное, что грозило герою, — это оплеуха.[93] Тем не менее Бонапарт испугался до такой степени, что побледнел и, уронив голову на плечо, сказал сопровождавшим его гренадерам: «Уведите меня отсюда». Гренадеры заметили беспокойство Бонапарта и вытащили его из толпы депутатов. Они вынесли его на свежий воздух, и там, вновь обретя присутствие духа, он вскочил в седло и отдал войскам необходимые приказы. Однако в этом случае, как и во многих других, нетрудно было заметить, что в беде он теряется.

Размышления возвращают ему способность действовать, волнение же ее отнимает. В других людей волнение, напротив, вдыхает силы. Это те, у кого есть душа.

Не успели два гренадера вынести Бонапарта из Совета пятисот, как депутаты, ему враждебные, настоятельно потребовали, чтобы он был объявлен вне закона, и тут Люсьен оказал брату бесценную услугу: презрев все угрозы, он не согласился поставить этот декрет на голосование. Уступи он требованиям депутатов, декрет был бы принят, а какое впечатление это произвело бы на солдат, можно только гадать. В течение десяти лет они изменяли всем генералам, объявленным вне закона, а люди из народа чаще всего принимают решение, повинуясь привычке; вдобавок сходство слов имеет над ними власть куда большую, нежели различие вещей.

Генерал Бонапарт отправил солдат на помощь Люсьену, а убедившись, что брат под их прикрытием покинул залу, приказал

своему отряду войти в оранжерею, где заседали депутаты, и вытеснить их оттуда. Гренадеры построились в каре и двинулись из одного конца залы в другой так, словно там не было ни единого человека.[94] Депутатам, притиснутым к стене, не осталось ничего другого, кроме как, подобрав полы сенаторских тог,[95] выпрыгнуть в окна. Франция уже знала случаи объявления государственных мужей вне закона, однако со времен Революции французы впервые увидели, как носителей гражданской власти превращают в посмешище в присутствии носителей власти военной; Бонапарт, желавший основать свою власть на унижении не только личностей, но и целых сословий, радовался при мысли, что он с самого начала сумел попрать достоинство представителей нации.

Ужасный призрак Террора был и остается колдовским зельем, с помощью которого Бонапарт подмял под себя Францию; впервые он прибегнул к этому орудию еще прежде, чем захватил власть. Возвращения якобинцев бояться не стоило.[96] Вторично французы не дались бы в обман, ведь они уже испытали, чем грозит это непостижимое обольщение. Такая беда дважды не приходит. Чтобы воспламенить умы до такой степени, необходимы, с одной стороны, новые идеи, а с другой — полное незнание тех последствий, к каким они могут привести, и бесконечная вера в то, что последствия эти окажутся выгодны для всех и каждого. Но можно ли вообразить, чтобы нация вновь бросилась в пасть чудовища, однажды ее уже растерзавшего? Вдобавок имения духовенства, пошедшие на обеспечение ассигнатов, были уже распроданы.[97] Хорош или дурен был энтузиазм, воодушевлявший людей в годы Революции, но в конце концов он ослабел. Наконец, ничто в человеческом обществе не повторяется в течение промежутка времени, недостаточно продолжительного для обновления рода человеческого, а политическая опытность служит по крайней мере нескольким поколениям. Именно эти простые, но, на мой взгляд, неопровержимые истины извиняли в моих собственных глазах печаль, которую вселили в мою душу события 18 брюмера. Между тем, стой мы в самом деле перед выбором между якобинцами и Бонапартом, я, еще не зная в ту пору, что царствование его обойдется Франции в десять миллионов человеческих жизней, поступила бы так же, как все остальные французы, которые, хотя и не любили Бонапарта, все-таки отдали предпочтение ему.

Никогда еще обстоятельства не благоприятствовали до такой степени человеку, желающему взять бразды правления в свои руки. В ту пору ни одному человеку не удалось ни сохранить, ни завоевать в обществе репутацию сколько- нибудь достойную.

Бесстыдная пресса изваляла в грязи почти все имена, вдобавок французы выказали во время Революции много ума, но очень мало твердости, так что опорочить каждого из них не составляет большого труда: стоит лишь напомнить о том, как скоро менялись их политические убеждения и образ действий.

Бонапарт был по сердцу всем партиям. Каждая ожидала от него исполнения собственных чаяний. Роялисты надеялись на восстановление Бурбонов, якобинцы — на сохранение за ними прежних должностей. Один из них сказал мне через несколько дней после 18 брюмера: «Следует отказаться от принципов Революции, но сохранить у власти тех людей, которые ее совершили».[98] — «Что до меня, я предпочла бы поступить ровно наоборот», — отвечала я, возмущенная до глубины души этим предательским эгоизмом, который Бонапарт стремился разжечь любой ценой. Однако, возразят мне, разве стране, пребывавшей в состоянии анархии, не требовалась твердая рука, способная навести порядок? Пожалуй; однако французы так устали, что управлять Францией было легче легкого. Устрашенная Европа мечтала лишь о покое. Чтобы учинить новые бедствия на этой измученной земле, требовался талант в высшей степени макиавеллический. Зато чтобы сделать ее счастливой, достало бы простого здравого смысла; для славы и благоденствия Франции порядочный человек, подобный Веллингтону,[99] мог бы сделать в сотню раз больше, чем адский гений, которому Архимедовой точкой опоры стала людская низость.

Единственными, кого 18 брюмера искренне опечалило, оказались истинные республиканцы,[100] однако их нашлось не так уж много, то ли оттого, что во Франции мечтать о республике могут лишь люди бесконечно дерзкие, то ли оттого, что в нынешние времена, когда люди только и делают что применяются к обстоятельствам, верность каким бы то ни было убеждениям сделалась великой редкостью.

Поскольку я никогда не понимала, как можно заниматься политикой, не питая любви к свободе, переворот 18 брюмера удручал меня всякий день все сильнее; всякий день до меня доходили известия о новом проявлении высокомерия или коварства со стороны человека, который постепенно захватывал все больше власти. Я, как могла, боролась с охватившим меня чувством, но, что бы я ни делала, оно воскресало с новой силой. Тирания то подкрадывалась тайно, то наступала открыто, но мне казалось, что с каждой минутой она тяготеет над нами все сильнее и скоро мы лишимся какой бы то ни было свободы в области нравственной.

Пятидесяти депутатам, представлявшим Совет старейшин и

Совет пятисот, было поручено рассмотреть Конституцию, по которой предстояло жить Франции,[101] и те самые люди, которые совсем недавно выпрыгивали из окон оранжереи под угрозой штыков Бонапарта, теперь принялись так серьезно обсуждать статьи новой Конституции, как если бы у них осталось хоть малейшее политическое влияние. Генерал Бонапарт не имел ничего против подобных обсуждений, ибо знал, что для французов право отстаивать свои идеи значит куда больше, чем возможность воплотить их в жизнь. Он охотно дозволял людям, привыкшим говорить с трибуны, растрачивать энергию на произнесение речей, когда же теория чересчур близко подходила к практике, он грозил ораторам, что потеряет интерес к вопросам, их занимающим, иначе говоря, разрешит эти вопросы силой. Бонапарт и сам большой охотник поговорить. Желая скрыть свои намерения, он предпочитает не молчать, а обрушивать на собеседников целый поток взаимоисключающих рассуждений, позволяющих прийти к самым противоположным выводам. Он охотно слушал разглагольствования членов комитета, полагавших, что учреждение нового сословия ничем не отличается от сочинения новой книги; ведь о сохранении прежних сословий, о сбережении некоторых привилегий, об уважении к старым законам или даже обычаям не шло и речи. Революция расчистила Бонапарту поле действия, так что ему осталось сражаться лишь с рассуждениями, а этого оружия он нисколько не боялся и при необходимости выставлял против него некую пламенную галиматью, которой сообщали предельную ясность штыки, ее подкреплявшие.

Каждый вечер мне рассказывали об этих заседаниях, которые могли бы показаться забавными, когда бы от них не зависела судьба рода человеческого. В людях, еще недавно выказывавших революционную суровость, начали обнаруживаться признаки подлого раболепства, присущего царедворцам; по всему было видно, что личный интерес — настоящий Протей, способный принимать самые многообразные формы.

Все ожидали, что Конституция, о которой во время Революции так часто упоминали как о ковчеге завета, призванном соединить все партии, уже готова, и Сьейес тотчас предъявит ее на всеобщее обозрение, однако выяснилась вещь странная и удивительная: сочинитель Конституции так и не собрался ее написать.[102] Сьейес все хранил в своей памяти, словно собирался заменить Конституцию своей собственной персоной, а поскольку, видя, что его не понимают, он немедленно приходил в сильнейшее раздражение, постичь суть его идей было особенно затруднительно. Однажды некий юноша, движимый самыми

добрыми побуждениями, попросил Сьейеса разъяснить некое место в одной из его брошюр. «Прочтите ее еще раз», — отвечал Сьейес и с недовольным видом отворотился от спрашивающего.

Генерал Бонапарт очень быстро взял из системы Сьейеса то, что ему требовалось, а именно отмену выбора депутатов всей нацией. Сьейес предложил составить списки людей, имеющих право быть избранными, из которых Сенат мог бы выбирать представителей народа, именуя их трибунами и законодателями. Сьейес, разумеется, изобрел эту систему не для того, чтобы установить во Франции деспотическое правление. Он замыслил также и некоторые противовесы, призванные смягчить изъяны новой системы, однако Бонапарт, нимало не беспокоясь о противовесах, усвоил самое главное: выборов быть не должно! Метафизика Сьейеса укрывала, как плащ, или, скорее, как туман, намерение Бонапарта, мечтавшего лишь о власти. Выборов быть не должно — так велел Сьейес.[103]

Итак, не военный, а философ отказал гражданам в праве избирать своих представителей — том единственном праве, благодаря которому общество может влиять на власть. Право это подобно чистым водам, животворящим государство, тогда как несменяемые палаты подобны прудам, в чьих стоячих водах легко завестись порче. Монархии, а быть может, даже республике потребны государственные должности наследственные и пожизненные, потребна консервативная аристократия, однако утверждением налогов должны заниматься представители, выдвинутые самой нацией.

Убедившись, что он имеет дело исключительно с наемными служащими, назначенными на свои посты другими наемными служащими, генерал Бонапарт уже не сомневался в своем могуществе. Громкое звание трибуна обеспечивало своему владельцу жалованье в течение пяти лет;[104] славная должность сенатора сохранялась за получившим ее счастливцем пожизненно; Бонапарт очень скоро понял, что одни пожелают приобрести те преимущества, которые другие захотят за собой сохранить. В государстве больше не осталось никого, кто получал бы какие-либо права непосредственно от народа. Своего рода обходной маневр, заключавшийся в том, что право назначать трибунов и законодателей было предоставлено Сенату, давал Бонапарту лишь еще большую уверенность в собственной власти. Все эти разные палаты, рождающиеся из одного и того же источника, подтверждали не что иное, как лицемерие деспотизма, рядящегося в разные одежды. Генерал Бонапарт приказывал, чтобы его собственную волю объявляли ему на разные голоса вечно мудрый Сенат, по заказу бурный Трибунат и поневоле

молчаливый Законодательный корпус, и этот-то трехчастный хор и призван был изображать нацию, хотя единственным его корифеем был один и тот же властитель. Когда дело было сделано, первый консул наградил Сьейеса поместьем, с тем чтобы выставить философа падким до материальных благ и таким образом окончательно лишить его популярности.[105]

С замечательной прозорливостью избрал Бонапарт двух консулов, которых новый закон поставил рядом с ним для сокрытия деспотического характера его правления. Один, Камбасерес, выучился повиновению еще в Конвенте. Юрист, обладающий обширными познаниями, он составлял беззаконные декреты мятежников так же спокойно и размеренно, как если бы речь шла о приведении в порядок самого справедливого и самого продуманного свода законов. Однажды он сказал мне: «Когда в Конвенте зашла речь об учреждении Революционного трибунала, я сразу понял, к каким гибельным последствиям это приведет, и тем не менее декрет был принят единогласно». А между тем он сам был членом Конвента и также голосовал за учреждение трибунала, однако в простодушии своем, всецело покоряясь владевшему им страху, даже не замечал этого противоречия; не думаю, чтобы он вообще считал возможным сопротивление силе. Бонапарт тотчас угадал в нем идеального претендента на роль своего официального соратника и реального орудия.[106] В людях он всегда и без устали искал лишь одно: способности, а не характеры.

На втором из своих приспешников, Лебрене, он, говорят, остановил выбор, памятуя об одном посвящении, опубликованном тем еще при Старом порядке, и о постоянстве, с каким тот прислуживал канцлеру Мопу даже в пору его немилости. Познакомившись с Лебреном поближе, Бонапарт обнаружил обширный ум, обширные познания, честность в домашнем обиходе и при всем этом такое благоговейное почтение к обстоятельствам, что понял: этого человека он наверняка сумеет покорить своей воле, могущественнейшей из всех.[107] Камбасерес служил посредником между Бонапартом и революционерами, Лебрен — между ним и роялистами, и оба, точно так же, как Талейран и Фуше, о которых я расскажу чуть позже, переводили одну и ту же весть, а именно узурпацию Бонапартом власти, на два разных языка: Лебрен сулил роялистам возвращение установлений при перемене лиц, а Камбасерес — республиканцам сохранение лиц при перемене установлений.

Таким образом, в политическую армию Бонапарта входили исключительно перебежчики, которых он вербовал в двух

противоположных лагерях одновременно; одни жертвовали ему своими обязательствами по отношению к древней династии Бурбонов, другие — своей любовью к свободе. Как бы там ни было, независимой мысли в его царствование места не оставалось, ибо он мог быть королем интересов, но не убеждений; в силу особенностей своего положения и характера он истреблял все рыцарское, что еще существовало при королевской власти и при республике, ибо унижал разом и дворян, и граждан. Когда он завершил устройство своего государственного порядка, один великий человек, г-н Питт, произнес фразу из тех, какие остаются в веках; он сказал: «Это монархия, которой недостает всего двух вещей: законности и пределов».[108] Он мог бы, пожалуй, добавить, что по-настоящему законна лишь та монархия, у которой есть пределы.

Резиденцией своей Бонапарт избрал Тюильри, и выбор этот был глубоко продуман. Прежде там жил король Франции; сами стены там хранили память о монархии и, можно сказать, помогали эту монархию восстановить. Я заняла место у одного из окон дворца, чтобы увидеть въезд Бонапарта в Тюильри в самом начале последнего года столетия.[109] В ту пору он еще не окружал себя тем великолепием, к какому пристрастился позже, но приближенные его уже начинали выказывать готовность сделаться вначале царедворцами, а затем рабами, свидетельствовавшую о том, как глубоко они постигли душу Бонапарта. Когда его экипаж въехал во двор, слуги открыли дверцу и опустили подножку с такой силой, словно хотели показать, что сами вещи проявили бы неслыханную дерзость, замедли они хотя бы на минуту движение их повелителя. Сам он ни на кого не смотрел, никого не благодарил; можно было подумать, что он боится, как бы его не заподозрили в любви к почестям и власти. Он поднимался по лестнице, не останавливая взора ни на одной вещи, ни на одном живом существе особо; толпа следовала за ним по пятам. В выражении его лица было нечто неопределенное и равнодушное, причем, пряча истинные свои чувства, он выставлял на всеобщее обозрение то, чем любит хвастать всегда, — хладнокровную готовность встретить удары судьбы и презрение к роду человеческому.

Сочинители выпущенных в ту пору брошюр утверждали, что Бонапарт не желает быть ни Монком, ни Кромвелем, ни даже Цезарем[110] по той причине, что все это роли уже избитые, как если бы в исторических событиях, словно в развязках трагедий, больше всего ценилось несходство с тем, что случалось видеть ранее. Впрочем, важно было не столько в самом деле убедить в этом французов, сколько подсказать тем, кто желал обмануться,

фразу, которой они могли бы отвечать сомневающимся. С некоторых пор учение Макиавелли укоренилось во Франции так глубоко, что всякий француз кичится своей политической ловкостью.[111] Можете раскрыть карты хоть всей нации: каждый будет гордиться доверием, оказанным ему одному. Когда Бонапарт вел переговоры с папой, один цирюльник сказал: «Лично я не верю ни во что, *но народу нужна религия».* Обманывают всех, но каждый думает, что он знает больше других, и гордится своей прозорливостью.

Бонапарт обращался к разным партиям с разными речами; их члены общались меж собой и не только не смущались его двуличием, но, напротив, прославляли его хитрость; радуясь, что разгадали его маневр, они находили удовольствие в том, чтобы, на дипломатический манер, притвориться, будто всему верят. Разумеется, двуличие это имело успех исключительно потому, что, презирая убеждения, Бонапарт уважал интересы. Ведя переговоры с вождями вандейской армии, он намекал им на возможность в один прекрасный день восстановить на престоле династию Бурбонов.[112] Однако в то же самое время он осыпал несомнительными милостями священника Бернье, который извлекал выгоду из католического и роялистского фанатизма, нимало не разделяя этих верований.[113] Можно было подумать, будто, проводя долгие часы в прихожей министра полиции Фуше,[114] этот вандейский священник стремился опорочить саму религию, в чем он и преуспел бы, будь религия зависима от своих служителей. Так первый консул день за днем последовательно истреблял все репутации, покрывал позором одно за другим все имена, чтобы во Франции не осталось более ни одного независимого человека и чтобы французы, теряя уважение общества, ощущали еще более сильную нужду в милостях Бонапарта.

В соответствии с той же системой он возвращал или отбирал состояния. Когда Бонапарта провозгласили первым консулом, половина тех, кто владел землей до Революции, еще значилась в списке эмигрантов, те же, кто приобрел национальные имущества, составляли группу ничуть не менее значительную и притом опасались возвращения прежних владельцев, чьи поместья они купили. Бонапарт вечно находился между людьми, преследовавшими противоположные интересы, однако ему и в голову не приходило разрешить дело по справедливости, иначе говоря, принять закон, который раз и навсегда определил бы отношения старых прав с новыми интересами. Одному он поместье возвращал, другому в возвращении отказывал.[115] Постановления о лесах[116] и о государственных долговых

обязательствах[117] дало ему власть едва ли не над всеми состояниями. Порой он возвращал имение отца сыну, собственность старшего брата — младшему смотря по тому, кем из них он был больше доволен, и этот безграничный произвол, ставивший существование всех в зависимость от воли одного, с каждым днем все больше укреплял его могущество. В любой стране, включая даже Турцию, мы находим религию, привилегированные сословия и по крайней мере один разряд людей, которые, живя в безвестности, мирно наслаждаются своей участью; однако ужасная Французская революция, разрушив все, что было, и не создав ничего взамен, обездолила не только людей, которые стояли близко к власти или мечтали о ней (как это происходит в государствах деспотических), но и людей самых незначительных: их имена также значились в списке эмигрантов. Бедные и богатые, безвестные и знаменитые, женщины, дети, старики, священники, солдаты — все чего-то просили у нового правительства и это что-то называлось жизнью, ибо никто не мог позволить себе сказать: «Я откажусь от милости деспота». Тому, на кого обрушивалась немилость нового правительства, приходилось смириться с мыслью, что он больше никогда не увидит родину, никогда не вернет себе ни кусочка утраченной земли: ведь правительство это присвоило себе право вершить судьбами едва ли не всех жителей Франции. Зная, как обстояли дела, можно, по моему мнению, многое простить французской нации, но нельзя не почувствовать, как велика вина тех государственных мужей, которые ради сохранения собственных должностей вверили судьбу всех своих соотечественников первому консулу. Я от всей души сочувствую страдальцам, которых на малодушные поступки толкает несчастье. Разве все те, кто гордится собственной непреклонностью, могут поручиться, что устояли бы, будь гонения более жестокими? Но подлость, совершаемая ради доходного места, подлость, состоящая в торговле счастьем людей и свободой отечества, — вот позор, который невозможно смыть ничем.

Члены Трибуната, само название которого звучало как нестареющая шутка,[118] казалось, спешили как можно скорее предать все права народа. Они ничего не предпринимали самостоятельно, они отказывались рассматривать прошения. Если 4 августа 1789 года французское дворянство бросило к ногам общественного мнения одну за другой все свои привилегии,[119] то теперь так называемые представители нации, которая, однако, вовсе их не выбирала,[120] с тем же пылом ударились в противоположную крайность: всякого, кто осмеливался толковать об установлениях, способных послужить защитой от

единодержавия, именовали якобинцем, и это слово сделалось такой же бранной кличкой, как некогда слово «аристократ».

Простое постановление Государственного совета внезапно уменьшило число газет, которых во Франции прежде выходило великое множество, до четырнадцати названий, и наступила ужасная эпоха, когда всю власть над умами присвоили себе несколько листков, твердящих каждый день одно и то же и не позволяющих себе ни в чем ни малейших разногласий.[121] Думать, что книгопечатание защищает свободу, можно было до тех пор, пока его не поставило себе на службу правление деспотическое. Однако мы знаем, что регулярные войска сделали для охраны европейской независимости куда меньше, нежели ополченцы; сходным образом книгопечатание приносит много вреда там, где пресса превращается в деспота, а вся армия журналистов состоит из наемников, купленных правительством. До изобретения книгопечатания новости переходили из уст в уста, а мнение о случившемся каждый составлял самостоятельно, исходя из фактов, однако когда естественную человеческую любознательность облагают налогом обмана, когда рассказы о любых событиях уснащают софизмами, когда тирания, по природе своей молчаливая, делается болтливой и принимается разом вводить в заблуждение ум и бесчестить душу, тогда самые порочные доктрины становятся всеобщим достоянием и это окончательно развращает нацию.

Первый консул самолично диктовал и диктует до сих пор статьи для правительственной газеты «Монитёр».[122] Из-за пробелов в образовании он не смог бы писать сам ни по-французски, ни на любом другом языке. Впрочем, хотя он не знает ни орфографии, ни грамматики, у него есть стиль. В каждой фразе видна, если можно так выразиться, сильная рука.[123] Необходимость сочинять статьи раздражает его; судя по всему, он полагает, будто стремиться в чем-то убедить окружающих — значит обходиться с ними чересчур предупредительно. Он охотно прибегает к брани, причем брани простонародной, даже в тех случаях, когда — как в армейских бюллетенях — ему бы следовало сохранять достоинство, подобающее особе всемогущей. От прежних сношений с якобинцами у него сохранилась манера говорить, свойственная простолюдинам. Его можно назвать воплощенной Революцией, причем Революцией безжалостной и развращенной разом и, разумеется, не той, о какой мечтали и какую задумали люди из высшего общества. Рёдерер, человек большого ума, который, вне всякого сомнения, последние двенадцать лет говорит не то, что думает, восхваляет журналистский талант Бонапарта и уверяет императора, что

весьма этим талантом дорожит.[124] Чувствуя, что во Франции того, кого хочешь погубить, необходимо истреблять иронией,[125] Бонапарт научился владеть этим оружием, и, как бы неуклюжи ни были его действия, он способен причинить очень много зла. Ибо когда жертве запрещено отвечать, любой удар попадает в цель. Добиться значительных результатов можно, лишь угадав главную мысль своего века; изучите историю всех людей, переменивших облик мира, и вы увидите, что в большинстве своем они всего лишь поставили себе на службу главенствующее в их время направление умов. Скверная философия конца XVIII столетия издевалась над всем, что может быть святого для души.[126] Бонапарт привел эту философию в действие. Бонапарт знает, что сила, до тех пор пока она остается силой, никогда не бывает смешной. Поэтому он обрушивает насмешки на все, что восстает против власти: на убеждения, талант, религию, нравственность. «Ваша совесть — дура, — сказал он г-ну де Брою, епископу Фландрскому, который не желал повиноваться его воле.[127] — Разве вы не знаете, что Господь царит на небесах, а здесь, на земле, всем распоряжаюсь я?» Все его учение сводится к одному: «Позор побежденным!»[128] — и это ужасно; измени ему удача, он, полагаю, презирал бы сам себя.

Единственные человеческие существа, которые ему непонятны, — это те, кто искренне предан какому-либо убеждению. Он как будто принюхивается к людям, пытаясь угадать, что из них можно сделать — орудия или добычу. В людях же с убеждениями он видит либо глупцов, либо торгашей, набивающих себе цену.

До него дошли слухи о том, что в своем кругу я говорила о притеснениях, которым мы подвергаемся и которые — я понимала это так ясно, словно заглянула в будущее, — будут делаться с каждым днем все более тяжкими. Жозеф Бонапарт, которого я любила за острый ум и занимательные беседы, приехал ко мне и сказал: «Брат мой на вас в обиде. „Отчего, — твердил он мне вчера, — отчего г-жа де Сталь не желает поддержать мое правительство? Чего она хочет? Чтобы ей вернули деньги, оставленные в казне ее отцом? Я прикажу их выплатить. Чтобы она могла жить в Париже? Я ей это позволю. Еще раз повторяю: чего она хочет?“» — «Мой Бог, — отвечала я, — неважно, чего я хочу; дело не в моих желаниях, а в моих мыслях». Не знаю, передали ли ему этот ответ; зато я знаю совершенно точно, что, услышь он мои слова, он не придал бы им ни малейшего значения, ибо он не верит в искренность чьих бы то ни было убеждений; мораль в любых ее видах он считает ни к чему не обязывающей формулой, вроде окончания письма; из

того, что в конце письма вы назвали себя чьим-то покорным слугой, никак не следует, что адресат может чего-то от вас потребовать, — точно так же и Бонапарт полагает, что если кто-то толкует о своей любви к свободе и вере в Бога, о покорстве велениям совести и презрении к голосу корысти, то человек этот просто-напросто чтит обычаи и облекает в общепринятую форму свои честолюбивые притязания и эгоистические расчеты. Впоследствии мы увидим, что, имел ли он дело с индивидами или с целыми нациями, Бонапарт всегда заблуждался только насчет людей порядочных.

Члены Трибуната вознамерились было создать в своем собрании нечто подобное английской оппозиции; приняв всерьез все написанное в Конституции, они сочли, что она в самом деле закрепляет за ними некие права,[129] и не захотели понять, что так называемое разделение властей — не более чем пустой набор слов, а палаты Законодательного собрания отличаются одна от другой лишь тем, что их представители ожидают приема у консула в разных прихожих и носят разные звания. Признаюсь, я с удовольствием отмечала, что иные трибуны не желают соперничать с государственными советниками в покорности консулу. Мне казалось, что те из них, которые прежде зашли слишком далеко в своей любви к Республике, обязаны хранить верность этим убеждениям теперь, когда они сделались наиболее слабыми и незащищенными. Один из этих трибунов, друг свободы, одаренный умом самым острым и самым прозорливым, г-н Бенжамен Констан, решил публично обличить зарождение тирании и просил моего совета на сей счет.[130] Я изо всех сил его к тому побуждала. Тем не менее, зная, что молва именует г-на Констана моим близким другом, я не могла не опасаться того влияния, какое его выступление окажет на собственную мою судьбу. Страсть моя к жизни в обществе делала меня уязвимой.[131] Монтень некогда сказал: «Я француз только благодаря Парижу»,[132] и если он думал так три столетия назад, что же говорить нам, живущим в то время, когда город этот собрал в своих стенах столько людей, наделенных выдающимся умом и привыкших уснащать этим умом светские беседы? Всю жизнь меня преследовала боязнь скуки; чувство это во мне так сильно, что могло бы, пожалуй, заставить меня покориться тирании, не оберегай меня пример моего отца и его кровь, текущая в моих венах. Как бы там ни было, Бонапарт прекрасно знал об этой моей слабости, свойственной также и многим другим людям, ибо ему досконально известны дурные стороны каждого: ведь именно с их помощью он покоряет людей своей власти. Он грозит людям наказаниями, соблазняет их богатством и пугает скукой, а для

французов это угроза нешуточная. Запрещение жить ближе, чем в сорока лье от столицы, дарящей прекраснейшие в мире наслаждения, изматывает изгнанников, которые с самого детства привыкли к приятностям жизни светской.

Накануне того дня, когда Бенжамен Констан должен был выступить в Трибунате, у меня собрались Люсьен Бонапарт, г-н де Талейран, Рёдерер, Реньо, Сегюр и еще несколько гостей, чьи разговоры не способны наскучить, ибо отличаются, хотя и в разной степени, силой мысли и изяществом выражения. Все эти люди, за исключением Люсьена, при Директории были объявлены вне закона,[133] а теперь готовились служить новой власти, от которой не требовали ничего иного, кроме подобающего вознаграждения за свою преданность. Г-н Бенжамен Констан подошел ко мне и произнес вполголоса: «Сегодня ваша гостиная полна людей, вам любезных; стоит мне завтра подняться на трибуну, и гостиная ваша опустеет; подумайте об этом». — «Надо действовать в согласии с собственными убеждениями», — отвечала я. Ответ этот был внушен пылкостью моего характера, однако, признаюсь честно, знай я в тот день, что мне предстоит вытерпеть, у меня недостало бы сил отклонить предложение Бенжамена Констана, который был готов отказаться от публичного выступления ради того, чтобы не компрометировать меня. Нынче немилость Бонапарта не способна уронить человека в глазах общества; Бонапарт способен вас погубить, но не может лишить вас уважения окружающих. Напротив, в ту пору нация еще не знала о его деспотических намерениях и, поскольку каждый ожидал от него восстановления в правах брата или друга либо возвращения потерянного состояния, всякому, кто пытался ему противостоять, грозило клеймо якобинца; светское общество отворачивалось от вас в ту самую минуту, когда узнавало, что вы впали в немилость, — положение невыносимое, особенно для женщины, и чреватое мучительными уколами, о которых тот, кто их не испытал, не может иметь ни малейшего понятия.[134]

Вечером того дня, когда один из моих друзей провозгласил в Трибунате необходимость создания оппозиции,[135] ко мне должны были приехать несколько особ, мне весьма приятных, но связанных с новым правительством. В пять часов я получила десять записок: гости просили прощения за то, что не смогут быть у меня. Первую, вторую записку я приняла спокойно, однако постепенно меня охватило смятение. Тщетно пыталась я прислушаться к велениям совести, которая советовала мне отказаться от всех светских радостей, зависящих от милости Бонапарта; столь велико было число порядочных людей, осуждавших меня, что я перестала верить в свою собственную

правоту.

Бонапарт еще не совершил в ту пору никакого явного преступления; многие уверяли меня, что он хранит Францию от несчастий куда более страшных, и если бы в те дни он предложил мне мир, я, пожалуй, приняла бы это предложение с радостью. Однако он согласен сблизиться лишь с тем, кого он толкнул на подлость, а для того, чтобы побудить несчастного на эту подлость пойти, он обычно приходит в деланую ярость и тем заставляет насмерть перепуганную жертву исполнить все его требования. Я не хочу сказать, что Бонапарт не способен разгневаться всерьез; в его душе и уме нет места ничему, кроме расчетов и ненависти, а ненависть обычно находит себе выражение в гневе, однако расчет имеет такую власть над этим человеком, что он обнажает лишь те чувства, какие выгодно обнажить перед данными людьми в данных обстоятельствах. Одному моему другу случилось присутствовать при объяснении Бонапарта с неким военным комиссаром, изменившим своему долгу; Бонапарт долго и яростно распекал несчастного, однако не успел тот, дрожа всем телом, выйти из комнаты, как консул повернулся к адъютантам и сказал со смехом: «Надеюсь, я нагнал на него страху», — а ведь еще мгновение назад можно было подумать, что он вне себя от гнева.

Итак, он приходит в бешенство ради того, чтобы испугать; слова порой избавляют его от необходимости совершать поступки; конечно, время от времени он приводит свои угрозы в исполнение, однако чаще всего в этом не возникает нужды; приступов гнева оказывается совершенно достаточно. Вдобавок словами он попирает достоинство тех, кто ему не по нраву, гораздо сильнее, чем наказаниями; он обращает к своим жертвам речи столь грубые и столь презрительные, а его царедворцы так усердно повторяют их на все лады, что становится ясно: слов его следует опасаться куда больше, нежели его жандармов, а ему только того и нужно: ведь несчастные, заключенные в тюрьму, могли бы вызвать сочувствие, язвительные же шутки всемогущего властителя унижают человека, которого еще не пришло время уничтожить окончательно, в глазах общества.

На следующий день после того, как гнев Бонапарта обрушился на мою голову, он прилюдно выбранил своего брата Жозефа за знакомство со мной. Жозеф счел себя обязанным не переступать порог моего дома в течение трех месяцев; три четверти людей, прежде бывавших у меня, последовали его примеру. Люди, объявленные вне закона 18 фрюктидора, утверждали, что в ту пору я совершенно напрасно рекомендовала Баррасу г-на де Талейрана на должность министра иностранных

дел, а между тем сами проводили дни напролет не у кого иного, как у г-на де Талейрана, в покровительстве которому обвиняли меня. Все, кто дурно вел себя по отношению ко мне, остерегались признаться, что поступают так из боязни прогневить первого консула; напротив, каждый день они изобретали новые предлоги для того, чтобы повредить мне; они обрушивали всю мощь своих политических убеждений на гонимую, беззащитную женщину, а сами раболепно склонялись перед ужаснейшими из якобинцев, воскрешенными из праха благодаря новому крещению — низошедшей на них милости первого консула.

Министр полиции Фуше[136] пригласил меня к себе и сообщил, что, по мнению первого консула, друг мой, произнесший речь в Трибунате, сделал это по моему наущению. Я отвечала чистую правду, а именно: что друг этот наделен выдающимся умом и не имеет нужды занимать свои убеждения у женщины; речь же его была посвящена исключительно размышлениям о независимости, которую подобает иметь всякому совещательному органу, и не содержала ни единого слова, оскорбительного для особы первого консула. К этому я прибавила несколько слов об уважении, какое надлежит оказывать свободе мнений в законодательном собрании, однако министр полиции не скрывал, что эти общие рассуждения его совершенно не интересуют; он уже прекрасно понимал, что под властью человека, которому он желал служить, до принципов никому дела не будет, и вел себя соответственно. Однако, приобретя великую опытность во всем, что касается до революций, он взял себе за правило творить ровно столько зла, сколько потребно для достижения цели, но не более того. Предшествующее его поведение не обличало ни малейшего попечения о нравственности, а о добродетели он нередко отзывался как о сущем вздоре. Однако же замечательная проницательность зачастую заставляла его выбирать добро как вещь более выгодную, а ум побуждал к совершению таких поступков, к каким других побуждает совесть. Он посоветовал мне уехать в деревню и заверил, что очень скоро гроза пройдет.[137] Я повиновалась.[138] Между тем по возвращении моем гроза нимало не прошла.

Я оказала г-ну де Талейрану весьма важные услуги; больше того, я питала к нему самое искреннее, самое дружеское расположение, а дружба стоит дороже любых услуг.[139] В течение десяти лет он проводил дни напролет в моем доме. Я помогла ему возвратиться из Америки,[140] я уговорила Барраса спасти его от кредиторов, назначив министром;[141] у меня хранились его письма, в которых он уверял, что обязан мне больше чем жизнью.[142] И вот этот-то человек первым показал остальным, что

всякому, кто желает угодить первому консулу, следует избегать меня; боясь по причине прежних наших сношений прослыть моим другом, он заговорил обо мне с первым консулом в таких словах, какие произвели на того самое глубокое впечатление. К чести моей и к моему вреду, он изобразил меня Бонапарту как женщину всемогущего ума; он постоянно твердил первому консулу, что чары мои неотразимы, хотя на него самого оказывала я лишь такое влияние, на какое дает право обычная дружба. С тех пор я с г-ном де Талейраном не виделась.[143]

В устройстве дел земных ему нет равных, так что меня очень удивляет его нынешняя опала;[144] я всегда знала его за человека, весьма искусного в постижении характеров тех особ, каких он желает пленить. Говорит он мало и потому имеет время обдумать каждую фразу. Поскольку всю свою образованность он почерпнул из разговоров, то не любит споров, которые могли бы выдать отсутствие у него серьезных познаний. Недостаток этот он не восполняет красноречием, ибо красноречию потребны движения души, а он владеет собой до такой степени, что не способен дать волю искреннему порыву, даже захоти он этого изо всех сил. Однако же все, что он говорит, исполнено остроты и изящества. Удивительная вещь: человек, так тщательно обдумывающий свои речи, не умеет писать. Вероятно, сочинителем может стать лишь тот, кто в юности чему-либо учился либо одарен от природы. Что же касается г-на де Талейрана, то он, будучи, вне всякого сомнения, человеком замечательно умным, не в состоянии написать самостоятельно и страницы, а между тем вкус его и суждения служат незаменимой поживой для тех, кто пишет за него книги, речи и донесения.[145] Он ищет богатства и власти не ради одних лишь наслаждений физических, но и для того, чтобы являть свой ум в истинном свете, иначе говоря, для того, чтобы знать наверное, что, стоит ему обронить едкое или льстивое словцо, окружающие тотчас это словцо подхватят, а ему, по первому же требованию, поднесут новое оружие, готовое к бою. С людьми могущественными, которых он желает покорить, он куда предупредительнее, однако, пожалуй, ему более к лицу природная его леность. Я видела его во времена Директории; он делал нечеловеческие усилия, стремясь прослыть радушным и показать, что у него есть твердые убеждения; доверия он никому внушить не мог, а оказавшись среди людей из народа и народной партии, имел вид не переодетого вельможи, а выскочки, неловко притворяющегося республиканцем. Чуть более непринужденно чувствовал он себя при дворе Бонапарта; он исчислял революционному генералу великие имена, рассказывал об аристократических обычаях и традициях Старого порядка,

которые тот собирался воскресить, дабы с первых дней сообщить своему правлению приметы старины. До тех пор, пока в переговорах с прочими державами потребна была ловкость, г-н де Талейран оставался для Бонапарта человеком самым полезным. Невозмутимое лицо, ледяное молчание, беззастенчивость, смешанная в должной пропорции с важной учтивостью, — все в его обхождении было следствием точного расчета, все было призвано принудить к повиновению людей, которые, впрочем, были уже наполовину готовы повиноваться. Знатное происхождение г-на де Талейрана и его благородные манеры внушали послам иностранных держав уверенность в том, что они ведут переговоры с правительством законным;[146] революционный дух сохранял все свое грозное могущество, однако представал в обличье весьма цивилизованном. После, когда все стала решать сила, у Бонапарта пропала нужда в подобных уловках, однако на первых порах он старался не всякий раз показывать когти.

Я остановилась на портрете г-на де Талейрана, потому что именно он первый внушил Бонапарту мысль восстановить ордена, титулы — все, чем можно награждать подданных, теша их тщеславие. Посвящая Бонапарта в тонкости самолюбия старинной знати, г-н де Талейран льстил себя надеждой подчинить его своему влиянию; но он плохо знал этого человека, если надеялся таким образом забрать над ним власть. Бонапарт охотно извлек бы пользу из чужого тщеславия, однако так же охотно он при необходимости растоптал бы всякого, чьим советам последовал.

Если г-ну де Талейрану были вверены иностранные дела, то Фуше, назначенный министром полиции, ведал революционерами, входившими в состав Бонапартова правительства; христианнейшим королям случалось порою брать себе двух духовников, дабы совесть их была исследована во всех подробностях, Бонапарт же взял себе в помощники двух министров, представляющих старый и новый порядки, дабы иметь в своем распоряжении средства двух противоположных макиавеллических систем. Во всех своих назначениях Бонапарт всегда исходил из одного и того же принципа: он брал людей, так сказать, справа и слева, из аристократов и из якобинцев; меньше других нравилась ему партия умеренных, иначе говоря, друзей свободы, ибо она состояла из редких людей, сохранивших убеждения. Он гораздо охотнее имел дело с людьми, преданными интересам роялизма либо запятнавшими себя связью с мятежной чернью. Он готов был даже включить Барера в члены Государственного совета и отказался от этой затеи, лишь увидев, какое отвращение вызвала она у его окружения; а ему так хотелось показать, что он способен оживить всех покойников и

укротить всех живых. Пришлось ему ограничиться малым — поручить Бареру издание газеты «Мемориал», призванной обвинять Англию в безнравственности, и вот человек, подсказывавший слова палачу, человек, прозванный Анакреоном преступления, дерзнул поднять свою грязную руку на ковчег Господень;[147] Бонапарту не пришло в голову, что при виде подобных атак нация может встать на защиту неприятеля.

Одна из особенностей правления Бонапарта — глубочайшее презрение ко всем духовным богатствам человеческой природы: добродетели, душевному благородству, вере, энтузиазму; все эти свойства он именует вечными врагами континента. Он хотел бы свести способности человеческие к силе и хитрости, всё же остальное считает глупостью либо безумием. Англичане раздражают его в первую голову тем, что нашли способ одерживать победы, не теряя достоинства, а ведь Наполеон хотел бы убедить весь мир в том, что это вещь невозможная. Эта сверкающая точка на земном шаре с самого начала царствования оскорбляла его взор. Для того чтобы затянуть Англию в свои сети, он решился на поступок по видимости мирный. Он адресовал письмо напрямую королю Англии, однако ответил ему, в согласии с английскими обычаями, министр лорд Гренвил.[148] В числе причин, препятствующих заключению мира между Францией и Англией, лорд Гренвил назвал то обстоятельство, что власть первого консула ограничена пределами его жизни, а мирный договор невозможно заключать с властителем столь недолговечным. Слова эти больно ранили первого консула, так что сочинитель, которому поручено было напечатать в «Монитёре» ответ лорду Гренвилу, привел, среди прочего, следующий довод: «Что же касается до жизни и смерти Бонапарта, то над ними, милорд, вы не властны». Не один раз пугали нас бесконечностью земного существования Бонапарта. Впрочем, если таково было одно из условий его договора с дьяволом, людям следовало бы прекратить плодиться и размножаться, дабы он, не желающий знать никого, кроме себя самого, остался бы и впрямь один в целом свете.

С первого года царствования Бонапарта приближенные осыпали его самыми неумеренными похвалами; особенно отличились члены Института, вздумавшие сказать первому консулу, что храбрость изменяет ему в одном-единственном случае — когда его превозносят до небес. Нельзя даже сказать, что Бонапарт выслушивал эти льстивые и лживые речи из любви к славе.[149] Единственное, что ему потребно, — это власть, и если он предпочитает подобострастные похвалы похвалам правдивым, то лишь потому, что первые свидетельствуют о покорности

подданных, вторые же обличали бы в восхваляющих независимость ума. Что бы он ни говорил, он слишком уповает на силу, чтобы обращать внимание на потомство, над которым сила эта не властна. Он верит, и не без оснований, что потомство обратит внимание на него, однако в самой идее посмертной репутации есть нечто чересчур идеальное, чтобы подобный человек пожертвовал ей хоть одной из радостей, способных потешить его тщеславие при жизни.

Не думаю, чтобы, встав во главе государства, Бонапарт сразу начал вынашивать замысел создания всемирной монархии, зато я думаю, что он говорил правду, когда вскоре после 18 брюмера объявил одному из моих друзей: «Чтобы покорить воображение французской нации, следует каждые три месяца совершать нечто новое; кто не идет вперед, обречен на гибель». Он поставил себе за правило всякий день отнимать у Франции еще толику свободы, а у Европы — еще частицу независимости, однако исполнение этого плана зависело от обстоятельств. Если преграда была чересчур высока, он шел в обход; если встречный ветер дул чересчур сильно, он останавливался. Человек этот, от природы столь нетерпеливый, умеет, когда нужно, замирать без движения; это — черта итальянская, ибо итальянцы умеют сдерживать себя ради обладания предметом их страсти, словно и предмет этот избран совершенно хладнокровно.[150] Именно способность Бонапарта пускать в ход поочередно хитрость и силу помогла ему покорить Европу. Впрочем, Европу — это слишком громко сказано. Что, собственно, разумелось в ту пору под Европой? Несколько министров, у каждого из которых было ничуть не больше ума, чем у едва ли не любого из их соотечественников.

Весной 1800 года я опубликовала книгу о литературе, и успех ее всецело возвратил мне милость общества; гостиная моя вновь наполнилась людьми, и я вновь испытала радости беседы, беседы в Париже, а для меня это, признаюсь, наслаждение самое жгучее. В моей книге о литературе не говорилось ни слова о Бонапарте, зато в ней были выражены, и, признаюсь, выражены с силою, чувства самые либеральные.[151] В ту пору Бонапарт еще не умел ограничить свободу печати так, как теперь. Цензуре подвергались газеты, но не книги,[152] — система, которую, пожалуй, соблюдай правительство определенную умеренность, можно было бы стерпеть, ибо газеты оказывают влияние на народные массы, книги же читаются исключительно людьми образованными и могут просвещать общественное мнение, не распаляя его. В Сенате, должно быть в насмешку, учредили одну комиссию, ведающую свободой печати, и другую, ведающую свободой личности;[153] они существуют и по сей день, причем состав их

обновляется каждые три месяца. Бесспорно, управление епархиями с нехристианским населением[154] и английские синекуры — дела куда более хлопотные, нежели членство в этих комиссиях, разве что членов их приравняли к весталкам, призванным поддерживать огонь в светильниках над могилами.

После труда о литературах Севера и Юга[155] я опубликовала «Дельфину», «Коринну»[156] и, наконец, написала книгу о Германии, запрещенную накануне выхода в свет. Однако, каких бы мучительных гонений ни навлекло на меня это последнее сочинение, я по-прежнему продолжаю считать, что литература способна доставить радости и снискать уважение публики любому автору, даже если автор этот — женщина. Страдания, пережитые мною, я приписываю тому обстоятельству, что судьба моя с первых шагов в свете была неразрывно связана с интересами свободы, которые отстаивали мой отец и мои друзья; что же касается писательского таланта, принесшего мне известность, он неизменно доставлял мне больше удовольствия, чем огорчений. Критические отзывы о том или ином сочинении нетрудно перенести, обладая душой сколько-нибудь возвышенной и любя великие мысли более за их собственное совершенство, нежели за успех, какой они могут нам снискать.[157] Впрочем, публика, по моему мнению, рано или поздно начинает судить о сочинениях весьма справедливо; самолюбивым авторам, жадным до похвал, следует запастись терпением: со временем каждый из них получит то, что заслужил. Наконец, пусть даже нам суждено долгое время страдать от несправедливости, я не знаю лучшего прибежища от этого несчастья, кроме раздумий, навеваемых философией, и энтузиазма, внушаемого красноречием. Благодаря им целый мир открытий и чувств, в котором мы можем дышать полной грудью, покоряется нашей власти.

Чтобы пленить сердца французов, Бонапарт посулил им мир и покой, а сам между тем решился вести бесконечную войну, перемежая ее перемириями, которые всегда приумножали его могущество даже сильнее, чем военная добыча. Разумеется, воинскими подвигами он рассчитывал завоевать славу, однако воевал он не только по этой причине: природа наделила его характером столь беспокойным, что вместе со страстью к господству в нем живет невозможность вести существование мирное, иначе говоря, управлять всего-навсего тридцатью миллионами человек и приносить им счастье. Приметы этого беспокойства видны во всех его поступках и привычках; сохраняя на лице выражение неприступнохолодное, он то и дело нюхает табак или глотает ментоловые пастилки. Кресло его в Совете приходится менять каждые три месяца, ибо он безотчетно

кромсает его перочинным ножом.[158] Лицо Бонапарта неподвижно благодаря его привычке к сдержанности, однако внутреннее нервическое возбуждение сказывается помимо его воли в тех физических пристрастиях, которыми не следует пренебрегать, если желаешь как следует узнать характер человека.

Генерал Моро одержал в Германии несколько блестящих побед над австрийцами;[159] он полагал — и совершенно напрасно, — что Бонапарт ценит его таланты и уважает его характер; впоследствии мы увидим, как отблагодарили его за эти доблести, однако даже в разгар Революции военные еще не прониклись гражданским духом; в эту пору французские воины служили революционному правлению так же верно и безропотно, как некогда служили королю.

Весною 1800 года Бонапарт отправился в Италию; среди сражений, которыми он командовал во время этой кампании, наиболее известно сражение при Маренго. Он проехал через Женеву и выразил желание увидеться с моим отцом; тот побывал у него, движимый более желанием услужить мне, нежели какой-либо иной причиной.[160] Бонапарт принял его очень хорошо и рассказал ему о своих планах с той доверительностью, источник которой содержится в его характере, а точнее, в его расчетливости, ибо расчетливость и есть его характер. Он всегда говорит только то, что хочет сказать, однако он обнаружил, что когда разговариваешь, скрывать свои мысли куда легче, чем когда молчишь; больше того, пускаясь в разговоры, он смешивает воедино правду и ложь, напускает на себя вид человека добродушного и приятного, льстит собеседникам мнимой откровенностью и внушает им те фразы, какие они должны затем повторять. На отца моего беседа с Бонапартом подействовала иначе, нежели на меня. Он не нашел ничего внушительного в его виде, ничего возвышенного в его речах.[161] Я попыталась объяснить это различие в наших впечатлениях; полагаю, связано оно прежде всего с тем, что истинное и скромное достоинство манер моего отца ставило его выше любого собеседника, превосходство же Бонапарта коренится скорее в его умении творить зло, нежели в умении возвышенно мыслить о добре; понятно, что слова ничего не говорят о его истинной сущности; обнаружить свои макиавеллические побуждения он не может и не хочет.

Как бы там ни было, нельзя не признать прозорливости, с какой он воспользовался ошибкой г-на Меласа, двинувшего войска в сторону Ниццы.[162] Старый австрийский генерал не ожидал от французов такой дерзости, как проход через перевал Сен-Бернар, и не приготовился к отражению французской атаки

на этом направлении; меж тем, по слухам, отряда совсем немногочисленного достало бы, чтобы перехватить армию Бонапарта прямо в горах. Однако в этом случае, как и во многих других, к военным успехам Бонапарта можно применить стихи Жан- Батиста Руссо:

Худым Варроновым призором,
Упрямым и неправым спором
Ганнибал славу получил,[163] —

иначе говоря, главной причиной Бонапартовых побед были ошибки его противников. Я знаю, что победителей не судят и все их действия принято оправдывать, однако если поражения, которые с тех пор случилось потерпеть Бонапарту, подвигнут кого-либо на рассмотрение его подлинной умственной мощи, обнаружится, быть может, что на его пути ни разу не вырастало такое препятствие, для преодоления которого потребен гений.

Отец мой не стал говорить с Бонапартом о своих двух миллионах, вложенных в казну;[164] он хотел убедить первого консула, что тревожится только о моей судьбе; среди прочего он сказал Бонапарту, что если тому нравится окружать себя прославленными именами, ему следовало бы также украшать свое правление знаменитыми талантами. Бонапарт отвечал ему весьма учтиво; вследствие этой беседы я хотя бы на некоторое время получила возможность жить во Франции. В ту пору батюшка в последний раз сумел протянуть мне руку помощи; после этого жизнь моя превратилась в череду жестоких гонений, от которых он страдал едва ли не больше, чем я сама.

Чтобы подготовить переход через Сен-Бернар, Бонапарт отправился в Лозанну.[165] Французские полки один за другим пересекали мирные швейцарские долины, жителям которых пристало бросать взоры лишь на окружающую их восхитительную природу. Я приехала в Швейцарию, намереваясь, по обыкновению, провести лето с батюшкой, примерно в то самое время, когда французская армия переходила через Альпы. Стояли прекрасные летние дни, и по вечерам, на берегу озера, я почти стыдилась самой себя: я понимала, что негоже тревожиться о вещах земных при виде этого ясного неба и этих чистых вод, однако не могла сладить со снедавшим меня беспокойством. Я желала Бонапарту поражения, ибо только это могло бы положить конец его тирании, однако еще не смела признаться в своем желании;[166] между тем префект департамента Леман г-н д'Эмар, бывший депутат Учредительного собрания, памятуя о тех днях, когда мы вместе лелеяли мечту о свободе,[167] слал ко мне курьера за курьером с

сообщениями о победах, одерживаемых французами в Италии. Мне было бы очень трудно объяснить этому человеку, впрочем весьма достойному сочувствия, что в эту пору Франции было бы куда лучше потерпеть поражение; так называемые добрые вести, которые он мне присылал, я принимала с притворной радостью, мало подобающей моему характеру Впрочем, разве в последующие десять лет нам не пришлось постоянно узнавать о победах Бонапарта, которые оборачивались бедствиями для всех и каждого, победах, которые заставили многострадальную Францию забыть, что такое счастье?

В течение двух часов казалось, что сражение при Маренго будет выиграно австрийцами, и только оплошность генерала Меласа, который чересчур положился на собственную удачу, вкупе с отвагой генерала Дезе принесли победу французам.[168] Все те два часа, когда битва казалась проигранной, Бонапарт, глубоко задумавшись, уронив голову на грудь, медленно разъезжал верхом перед своими войсками; лучше умея противостоять опасности, нежели несчастью, он ничего не предпринимал и ждал помощи от судьбы. Так он поступал в жизни неоднократно и всякий раз оказывался в выигрыше. Я уверена, что, найдись среди его противников человек не только честный, но и непреклонный, Бонапарт спасовал бы перед такой преградой. Он предпочитает иметь дело с людьми слабыми и безнравственными; на первых он наводит страх, вторых ставит себе на службу. Встретив же человека честного, он, кажется, тотчас утрачивает все свои способности, точь-в-точь как дьявол при виде крестного знамения.

Перемирие после сражения при Маренго было заключено на условиях, весьма невыгодных для Австрии: ей пришлось уступить Франции весь север Италии.[169] Даже продолжая одерживать победы, Бонапарт не смог бы добиться большего. Однако европейские державы уступали ему то, за что могли бы еще побороться, так охотно, словно почитали за честь отдать все. Они спешили извинить Наполеону его несправедливости, узаконить его победы; допустим, им было не по силам его одолеть, но они могли бы по крайней мере не облегчать ему задачу. Это самое малое, что требовалось от правительств старых европейских держав, однако они ничего не понимали в новом положении дел, а Бонапарт настолько ошеломил их смесью угроз и посулов, что они полагали, будто выигрывают, отступая, и радовались слову «мир», как если бы оно значило то же, что и прежде. Фейерверки и поздравления, обеды и пушечные залпы по случаю заключения мира чередовались точно так же, как прежде, однако на сей раз мир не только не залечивал раны, но, напротив, для

правительства, его подписавшего, был равносилен смертному приговору. Бонапарт ни одну державу не истребляет сразу; он вонзает топор в дерево и предоставляет ему чахнуть до тех пор, пока новые удары не довершат его гибель.

Бонапарту повезло и с монархами, занимавшими в ту пору европейские престолы. Особенно многим обязан он Павлу I; русский император проникся к нему такой же страстной любовью, какую питал его отец к Фридриху Второму, и бросил Австрию, еще пытавшуюся оказывать Франции сопротивление, на произвол судьбы. Бонапарт убедил Павла I в том, что если две великие империи — Восточная и Западная — придут к согласию, в Европе на много столетий воцарится мир, и Павел, в натуре которого было нечто рыцарское, дался в обман.[170]

Для Бонапарта иметь дело с коронованной особой, которую так легко воодушевить и в характере которой буйство смешано со слабостью, было великой удачей; неудивительно, что смерть Павла так сильно его опечалила: мало кого он мог обманывать с такою легкостью.

Люсьен Бонапарт, занимавший пост министра внутренних дел и посвященный во все планы своего брата, опубликовал брошюру под названием «Монк, Кромвель и Бонапарт», в которой доказывал, что ни Монк, ни Кромвель в нынешних обстоятельствах Франции не нужны и что надобно преследовать цели более возвышенные, помышлять о перемене династии, о возведении на престол нового Карла Великого.[171] Публикация эта появилась преждевременно и произвела скверное впечатление, чем и воспользовался Фуше, задумавший погубить Люсьена. Бонапарту он сказал, что секрет его раскрыли слишком рано, а республиканцам — что Бонапарт осуждает брата. Люсьен вскоре и в самом деле был отправлен послом в Испанию.[172]

Бонапарт положил себе за правило продвигаться к власти изо дня в день, шаг за шагом; дабы узнать, как оценит общественное мнение те меры, к каким он собирался прибегнуть, он вначале распускал о них слухи. Обычно он старался, чтобы слухи эти были сильно преувеличены; тогда публика, ожидавшая худшего, принимала то, что произошло в действительности, с облегчением. На сей раз, однако, Люсьен зашел слишком далеко, и Бонапарт счел за лучшее на некоторое время принести его в жертву.

Я возвратилась в Париж в ноябре 1800 года;[173] мир еще не был заключен, хотя победы Моро делали его подписание с каждым днем все более неотложным. Не пожалел ли Моро о лаврах победителя сражений при Штоккахе и Гогенлиндене[174] позже, когда из них сделали ему терновый венец, а Франция попала в такое же рабство, как и Европа, которую он покорил

власти французов? Моро полагал, что, повинуясь первому консулу служит Франции, однако такому человеку пристало выносить самостоятельные суждения о правительстве, которое отдает ему приказания, и самому решать, в чем заключается истинный интерес его отечества. Впрочем, следует признать, что в пору блистательнейших побед Моро, иными словами, осенью 1800 года, лишь единицы умели разгадать истинные намерения Бонапарта. Напротив, многие считали, что его приход к власти переменил к лучшему положение в сфере финансов и в некоторых отраслях государственного управления. Наполеону потребно было даровать *нации благо,* с тем чтобы потом принести ей погибель; ему было потребно умножить силы *нации,* прежде чем поставить их на службу личному своему честолюбию. Достойны удивления отзывы его о Революции, которой он обязан своим существованием. Порой ему случалось утверждать, что сторонники Террора, иначе говоря, единомышленники Робеспьера, одни-единственные проявили твердость в эпоху Революции, зато тех, кто начал Революцию, он неизменно осуждал, ибо принципы свободы производили на него то же впечатление, какое производит вода на людей, заболевших бешенством. Однажды он отправился в Эрменонвиль на могилу Руссо. «А ведь это по его милости, — сказал он владельцу поместья, — пребываем мы в нашем нынешнем положении!» Меж тем не Бонапарту было жаловаться на это положение;[175] но ему нравилось выказывать презрение к собственным обстоятельствам и при любом удобном случае подчеркивать свою неприязнь к тем людям, которые искони ненавидели деспотизм.

Однажды вечером я беседовала с друзьями; внезапно раздался страшный шум, однако мы решили, что это стреляют на учениях, и спокойно продолжали разговор. Спустя несколько часов мы узнали, что на первого консула было совершено покушение и он едва не погиб от взрыва на пути в Оперу[176] Поскольку он уцелел, все принялись выражать ему самое бурное сочувствие; философы предложили ради наказания преступников, покушавшихся на его жизнь, восстановить жесточайшие казни.[177] Одним словом, повсюду к его услугам был народ, добровольно подставлявший шею под ярмо. В тот же вечер у себя в гостиной он самым хладнокровным тоном обсуждал со своими приближенными, что сталось бы с Францией в случае его гибели. Одни утверждали, что его место занял бы Моро. Сам Бонапарт полагал, что преемником его сделался бы Берна- дот: «Подобно Антонию, он предъявил бы народу окровавленное платье Цезаря».[178] Не знаю, в самом ли деле он считал, что Франция в ту пору избрала бы своим повелителем генерала Бернадота.[179] Будь

адская машина пущена в ход якобинцами, первый консул тотчас после покушения смог бы удвоить свое тиранство: общественное мнение его бы поддержало. Однако, поскольку покушение подготовили роялисты, Бонапарт не смог извлечь из него большой пользы: напротив, он постарался замять этот эпизод, ибо ему хотелось, чтобы нация почитала его врагами исключительно врагов порядка, а не сторонников иного порядка, иначе говоря, старинной династии.

Странная вещь: вскоре после заговора, устроенного роялистами, Сенат по приказу Бонапарта издал декрет о высылке ста тридцати якобинцев на остров Мадагаскар, а то и на дно морское: во всяком случае, с тех пор о них больше никто никогда не слыхал. Список этих якобинцев составлялся самым беззаконным образом; государственные советники вписывали в него одни имена и вычеркивали другие, а сенаторы эти решения утверждали.[180] Тех, кто не одобрял способ, каким был составлен этот список, порядочные люди убеждали, что в него вошли исключительно злодеи, повинные в страшных преступлениях. Возможно, но суду следует полагаться не на факты, а на закон. Там, где можно выслать беззаконным образом сто тридцать человек, там ничто не помешает — и мы с тех пор могли в этом удостовериться — обойтись так же с особами самыми почтенными. Вы скажете: их защитит общественное мнение. Общественное мнение? На что оно способно без помощи закона? Без наличия в государстве независимых органов власти? Общественное мнение выступало за герцога Энгиенского, за Моро и Пишегрю; смогло ли оно их спасти? Ни свободы, ни достоинства, ни безопасности не знать стране, где при виде несправедливости думают не о законе, а об именах. Всякий человек невинен до приговора законного суда, если же судьбу его решает не суд, то она должна внушать сострадание людям порядочным, да и всем прочим тоже. Однако Бонапарт действовал примерно так же, как члены английской палаты общин: там, если депутат оппозиции выходит из палаты, он просит одного депутата от правящей партии последовать его примеру, дабы силы обеих сторон оставались равными; точно так же Бонапарт старался обрушивать удары равно и на роялистов, и на якобинцев. То был единственный род распределительной справедливости,[181] от какого он почти никогда не отступал. Таким образом он завоевывал любовь тех людей, чьей ненависти потакал. Мы увидим в дальнейшем, что он строил все свои расчеты на одной только ненависти, ибо знал, что она более постоянна, чем любовь. После революции дух партий свирепствует так сильно, что для обуздания его новому властителю следует делать ставку более на

мстительность, нежели на корысть; всякий готов при необходимости предать того, кто думает так же, как он, лишь бы подвергнуть гонениям того, кто думает иначе.

Франция подписала с Австрией Люневильский мир; по этому первому договору Австрия лишилась только Венецианской республики, которую получила в возмещение за утрату Бельгии; так древняя царица Адриатического моря, долгое время пребывавшая гордой и могущественной, перешла от одного господина к другому.[182] Почтение к истории Бонапарту неведомо; он полагает, что весь мир родился одновременно с ним.

Зиму я провела в Париже без тревог. К первому консулу я не ездила, с г-ном де Талейраном не виделась. Я знала, что Бонапарт меня не любит, однако тирания его в ту пору еще не сделалась столь нестерпимой, какой стала ныне. Иностранцы меня отличали; члены дипломатического корпуса бывали в моем доме ежедневно, и эта европейская атмосфера служила мне защитою.

Г-н де Луккезини, недавно приехавший из Пруссии, полагал, что правление во Франции осталось республиканским, и щеголял философическими принципами, перенятыми от Фридриха Великого; ему объяснили, что нынче мода переменилась и вспоминать стоит скорее науку придворного обхождения. Он повиновался, и притом очень скоро, ибо характер у него чрезвычайно гибок; жаль, что способности столь выдающиеся достались человеку с душою столь раболепной. Он заканчивает фразу, которую начал собеседник, либо начинает ту, которую, как ему кажется, собеседник намеревается закончить, так что убедиться в превосходстве его ума можно, лишь заговорив о событиях предшествующего века, о сочинениях древних, одним словом, о предметах, чуждых людям и вещам нынешнего времени.[183] Привычка льстить власть имущим извращает все таланты, какими наделяет человека природа.

Г-н фон Кобенцль, посол Австрии, был царедворец совсем иного рода, однако и он столь же страстно желал нравиться тем, кто находится у власти. Г-н Луккезини получил образование, подобающее литератору. Познания г-на фон Кобенцля в литературе ограничивались французскими комедиями, в которых он играл роли Криспена и Кризаля. Известно, что, находясь при дворе императрицы Екатерины Второй, он однажды получил донесения одетый старухой; курьер едва признал своего посла в этом наряде.[184] Г-н фон Кобенцль был человек на редкость заурядный; вечер напролет он твердил всем, с кем виделся, одну и ту же фразу; с кем бы он ни говорил, в речах его сквозило одно и то же радушие, за которым не стояло ни чувств, ни мыслей. Манеры у него были образцовые, умение вести беседу —

достойное человека светского, однако переговоры такого человека с приближенными Бонапарта, проникнутыми мощным и суровым революционным духом, представляли собою зрелище весьма прискорбное. Дюрок жаловался на чрезмерную бесцеремонность г-на фон Кобенцля; ему не нравилось, что один из самых знатных вельмож австрийской империи запросто жмет ему руку[185] Эти дебютанты на поприще учтивости не могли поверить, что непринужденность служит признаком хорошего вкуса, ведь сами они, держась непринужденно, наделали бы чудовищных ошибок и потому в новых своих ролях почитали за лучшее вести себя надменно и чопорно. Статьи Люневильского мира г-н фон Кобенцль обсуждал с Жозефом Бонапартом. Тот, волею обстоятельств или благодаря природной остроте своего ума, одерживал верх. Он пригласил г-на фон Кобенцля в свой прелестный дом в Морфонтене; там же оказалась и я.[186] Жозеф обожал деревенскую жизнь, он с легкостью и с охотой мог гулять по саду восемь часов кряду. Г-н фон Кобенцль пытался поспеть за ним, задыхаясь куда сильнее, чем задыхался герцог Майенский, когда Генрих IV забавы ради, не щадя его полноты, приказывал ему ходить без остановки.[187] Из всех сельских радостей бедняга выше всего ставил рыбную ловлю, ибо ею можно заниматься сидя; с деланной живостью он восхвалял невинное блаженство человека, поймавшего на удочку несколько рыбешек. В бытность г-на фон Кобенцля послом в Петербурге Павел I обошелся с ним самым недостойным образом.[188] Мы с ним играли в триктрак в гостиной морфонтенского дома, когда один из моих друзей сообщил нам о внезапной смерти Павла I. Г-н фон Кобенцль встретил эту весть с сожалением донельзя казенным. «Хотя я много от него претерпел, — сказал он, — государь этот, бесспорно, обладал множеством превосходных свойств, и я не могу не сожалеть о его гибели». И собственные обиды г-на фон Кобенцля, и интересы его отечества давали ему все основания радоваться этому событию, однако в речах своих он выказывал одну лишь несносную скорбь царедворца. Остается надеяться, что со временем мир избавится от придворного духа, самого пошлого из всех возможных, чтобы не сказать больше.

Бонапарта смерть Павла I очень сильно испугала; говорят даже, что при этом известии с уст его впервые сорвалось: «О Господи!»[189] Впрочем, беспокоился он напрасно, ибо французы в ту пору покорялись тирании куда более охотно, чем русские. Я оказалась у генерала Бертье в день, когда к нему должен был приехать первый консул, и, поскольку я знала, что он отзывается обо мне очень дурно, мне пришло на ум, что он может отпустить на мой счет одну из тех грубых шуток, какие он с охотой обращал

даже к женщинам, которые ему льстили; поэтому, перед тем как отправиться на бал, я на всякий случай набросала гордые и остроумные ответы на те оскорбительные речи, какие могла от него услышать.[190] Я не хотела, чтобы он застал меня врасплох, ибо это означало бы выказать недостаток не только острого ума, но и твердости духа, а поскольку я не могла поручиться, что общение с подобным человеком не приведет меня в замешательство, я приготовилась дать ему отпор заранее. К счастью, приготовления мои оказались тщетными; Бонапарт обратился ко мне с вопросом самым заурядным.[191] Он поступал так же со всеми противниками, от которых мог ожидать достойного ответа; он вообще нападает только на тех, кого считает гораздо слабее себя.[192]

Во время ужина Бонапарт стоял за стулом г-жи Бонапарт и переминался с ноги на ногу, подражая Бурбонам. Я обратила внимание своего соседа на эту явную готовность к приятию королевского сана. В самом деле, поскольку государи подолгу принимали посетителей стоя, у многих из них возникла неприятная привычка переступать с одной ноги на другую. Бонапарт всегда был не слишком ловок в обхождении с людьми, что сообщало натянутость его комплиментам, но вовсе не умеряло грубости его оскорблений.

Оппозиция в Трибунате продолжала свою деятельность, иными словами, два десятка членов этого собрания, насчитывавшего восемьдесят человек,[193] пытались возвышать голос против разнообразных декретов, приуготовлявших страну к тираническому правлению. Превосходным поводом стало обсуждение такой роковой меры, как учреждение особых судов для обвиняемых в государственных преступлениях, как если бы предать человека такому суду не означало заранее признать его виновным в этом преступлении и как если бы рассмотрение преступлений политических не требовало от судей наибольших предосторожностей и наибольшей независимости взглядов, ибо в таких случаях противной стороной всегда выступает само правительство.[194] Во времена Робеспьера совершенно серьезно утверждалось следующее: «Юридическая процедура ни на что не годна; невинный в ней не нуждается, а виновный ее не достоин», как будто юридическая процедура не была изобретена нарочно для того, чтобы устанавливать, виновен человек или невинен.[195] С тех пор мы имели возможность узнать, как приступают чрезвычайные военные трибуналы к суду над обвиняемыми в государственных преступлениях, а смерть герцога Энгиенского открыла всем, сколь отвратительна лицемерная власть, рядящая убийство в одежды законности.[196]

Как ни слаба была оппозиция в Трибунате, первому консулу она не нравилась; не то чтобы он видел в ней помеху, однако она поддерживала в нации привычку мыслить, от которой он хотел ее отучить любой ценой. По его приказу газеты напечатали весьма странное рассуждение, направленное против оппозиции. В Англии, говорилось в этих статьях, оппозиция есть дело самое естественное, ведь тамошний король — враг народа; однако в стране, где исполнительную власть назначает сам народ, выступать против представителя нации значит бороться с самой этой нацией. Сколько подобных фраз слышали французы от наполеоновских писателей за последние десять лет! В Англии простой крестьянин посмеялся бы над софизмами такого рода; во Франции же предел мечтаний — обзавестись фразой, которая позволяет выдать корысть за убеждение.

Бонапарт продолжал назначать на государственные посты людей, принадлежавших к самым разным партиям. Все определяла преданность ему и его власти. Предшествующая жизнь не означала ничего: ни хорошего, ни дурного; можно было подумать, что в отношении политическом все подданные Бонапарта родились в один день — 18 брюмера. Лишь единицы не изъявили желания служить новому правительству; многие были разорены и нуждались в государственных должностях ради жен и детей, а если у них не было детей — ради племянников, если же не ради племянников, то ради двоюродных братьев, — так, во всяком случае, они говорили. Могущество французских правителей зиждется на великой страсти французов к службе; страсть эта питается тщеславием в еще большей степени, нежели безденежьем. Все, что отличает одного человека от другого, радует сердце француза до чрезвычайности. Нет нации, которой менее пристало равенство; французы провозгласили его исключительно для того, чтобы занять места прежних властителей; они хотели переменить одно неравенство на другое, но не имели ни малейшего желания подчиниться единственному политическому устройству, достойному восхищения, а именно тому, которое делает всех людей равными перед законом.[197] О каждой должности, от самой значительной до самой ничтожной, Бонапарта просили тысячи соискателей. Не питай он изначально глубочайшего презрения к роду человеческому, он приобрел бы его, проглядывая прошения, под которыми стояли имена, либо прославленные предками, либо сделавшиеся известными в революционную пору; прежняя жизнь и тех, и других просителей составляла разительный контраст с должностями, на которые они притязали.

Те, кто желает извинить поведение Бонапарта, упрекают во

всевозможных прегрешениях французскую нацию. Пожалуй, она в самом деле страдает избытком тщеславия и недостатком гордости, в самом деле ценит малейший успех куда больше, чем прекраснейшую жертву. Есть ли, однако, на свете нация, которую правительство не способно развратить? Мир наш устроен так, что при обычном течении жизни порок и добродетель предоставляют человеку едва ли не одинаковые преимущества, и сделать выбор между ними способна только совесть, однако если порок внезапно получает в свое распоряжение восемьсот миллионов ливров для подкупа и восемьсот тысяч штыков для устрашения, у большинства людей не находится сил ни преодолеть соблазн, ни побороть страх. Сравните англичан времен Генриха VIII, Кромвеля и Карла Второго с англичанами, обретшими свою восхитительную свободу,[198] и вы увидите, что разница между ними ничуть не больше, чем между нынешними французами и французами прошлых, а если Господу будет угодно, то и будущих — столетий.

Зимой 1801 года правительство направило Законодательному корпусу множество декретов, касающихся внутреннего управления и по большей части весьма дельных;[199] революционные власти наделали много глупостей, которые следовало исправить, вдобавок первый консул охотно позволял прокладывать дороги, рыть каналы,[200] открывать богоугодные заведения и совершать прочие добрые дела, о которых без умолку трубили газеты; ведь ему лично все эти показные благодеяния не стоили ровно ничего. Бонапарт не имеет ни малейшего вкуса к благотворительности. Если деньги — средство для приобретения чего-то важного, он их не жалеет; если же их надобно потратить по зову души и в интересах правосудия, он предпочитает их приберечь. Ради скорейшего достижения цели он подписывает распоряжения о выдаче денег из казны с такой же легкостью, с какою объявляет набор рекрутов; на нужное предприятие он не жалеет ни денег, ни солдат, но на то, что он именует вещью бесполезной, а именно на доброе дело, из которого нельзя извлечь никакой политической выгоды, денег не даст ни за что на свете. Меж тем ничто не раздражает так сильно, как восхваления благотворителя, который черпает деньги на благие дела из государственной казны, но даже не думает поступаться роскошью, которой окружает себя по расчету или из тщеславия. Вообще я не устаю повторять: добродетель без самопожертвования — не добродетель; все, что мы делаем для самих себя, — на какие бы подвиги мы ни пускались, — не стоит восхищения окружающих.

Зиму 1801 года я провела в Париже не без приятности, ибо Фуше охотно исполнял мои просьбы касательно возвращения

эмигрантов; таким образом, он позволил мне, пребывая в немилости, приносить пользу друзьям, и за это удовольствие я ему благодарна и по сей день.[201] Следует признать, что во всех поступках женщин есть толика кокетства; больше того, сами добродетели их во многом зиждутся на желании нравиться и пребывать в окружении друзей, которые привязываются к своим благодетельницам еще крепче благодаря помощи, от них полученной. Поэтому и только поэтому можно простить женщинам желание иметь более весу в обществе, однако для сбережения чувства собственного достоинства следует уметь отказаться даже от удовольствия оказывать услуги. Ибо ради других можно пойти на все, кроме подлости. Совесть дана нам от Бога; нет на свете человека, для которого мы имели бы право расточать это сокровище.

Бонапарт продолжал понемногу покровительствовать Институту, принадлежностью к которому он так гордился в бытность свою в Египте, однако среди литераторов и ученых образовалось некое подобие философической оппозиции, к несчастью, самого дурного тона, ибо философы эти изо всех сил противились возвращению отечества к религии. По роковому стечению обстоятельств просвещенные люди во Франции, страдая от рабства в земной жизни, искали утешения в отказе от надежды на жизнь небесную.[202] Эта удивительная непоследовательность никогда не смогла бы возникнуть в лоне церкви православной либо протестантской, однако у католического духовенства сохранились противники, которых не заставили сложить оружие ни его отвага, ни его бедствия; вдобавок примирить политическую свободу с уважением к папе и священникам, ему подчиненным, пожалуй, и в самом деле нелегко. Как бы там ни было, члены Института не выказывали не только к служителям религии, но и к ней самой того глубочайшего почтения, что неотделимо от истинного величия души и гения, и это позволяло Бонапарту употреблять в борьбе с людьми, стоившими больше, чем он сам, чувства, стоившие больше, чем эти люди.[203]

Между прочим, Бонапарт даже не давал себе труда притворяться. Он исходил из того, что обманывать следует открыто, иначе говоря, следует идти навстречу людям, которые только и мечтают услышать ложь и воспользоваться ею как предлогом; поэтому он клялся священникам, что католицизм — единственная истинная религия, и в тот же день заверял Кабаниса, философа XVIII столетия: «Религия для меня то же, что для вас вакцина; я хочу восстановить ее и привить людям только затем, чтобы уничтожить».[204] Фраза эта достойна внимания. Бонапарту принадлежат несколько высказываний такого рода,

ценных тем, что они раскрывают сам принцип зла, им творимого; впрочем, ни единой фразы, исполненной изящества или подлинного величия, он за всю свою жизнь не произнес. Даже отъявленные льстецы не могут приписать ему чего-нибудь подобного; желая быть добрым, он становится заурядным; желая держаться достойно, держится напыщенно. Поскольку природа создала его презрительным и надменным, в любом другом тоне он говорит неловко и принужденно, так что нацию, испокон веков славившуюся в Европе блистательным умом и рыцарским духом, ныне представляет один-единственный человек, не имеющий с нею решительно ничего общего.

В царствование Людовика XIV короля, конечно, окружали льстецы, однако за лесть нация, если можно так выразиться, получала достойную плату, ибо этот король гордился великими людьми, прославившими его век. Бонапарту же потребны одни лишь орудия; ни один гений, на каком бы поприще он ни действовал, его одобрения не заслужит; великий поэт, не коснись он даже в своих сочинениях ни одного предмета, способного оскорбить Бонапарта, уязвит властителя хотя бы тем, что отвлечет внимание публики от его особы. Осмелюсь ли напомнить, что Бонапарт не мог спокойно слышать разговоры о том, что г-жа Рекамье — красивейшая женщина Парижа,[205] а я — женщина, лучше всех владеющая искусством беседы? Он терпеть не может ничьего первенства ни в каком роде, идет ли речь о мужчинах или о женщинах. Он желает повелевать нацией анонимов; толпа, обязанная маршировать под его знаменами, повиноваться его приказаниям и жить и умирать в безвестности, должна оставаться безымянной; запоминания достойны лишь те буквы, из которых составлено его имя. Он желает командовать муравейником, включающим в себя тех, кого прежде звали немцами, итальянцами, французами и кого отныне надлежит именовать не иначе как подданными Бонапарта; человеком или даже чем-то большим, нежели человек, он почитает лишь самого себя. Астроном Мешен[206] однажды сообщил министру внутренних дел, что он открыл новую планету и испрашивает дозволения представить ее первому консулу. Астроном точно усвоил новые правила поведения: будь у Бонапарта такая возможность, он приказал бы и самим звездам блистать на небе только с его разрешения.

В том же году первый консул приказал Испании объявить войну Португалии, и несчастный король этой славной державы обрек свою армию на этот поход, столь же подневольный, сколь и несправедливый. Он пошел войной на соседнюю страну, не желавшую ему никакого зла, на союзницу Англии, которая после

выказала себя истинным другом Испании, — и все это ради человека, который уже готовился лишить испанского короля всего, чем тот владел.[207] Когда знаешь, с какой энергией те же испанцы взялись затем за возрождение мира, начинаешь понимать, что такое нации и стоит ли отказывать им в законных способах выражать свое мнение и определять свою судьбу.

Весной 1801 года первый консул решил сотворить короля, причем короля из рода Бурбонов; он посадил его на престол Тосканы, которую окрестил по-ученому Этрурией, и тем самым положил начало грандиозному европейскому маскараду.[208] Несчастного испанского инфанта выписали в Париж, дабы французы увидели, как первый консул унижает принца древнего рода, унижает если не гонениями, то благодеяниями.[209] С этим королевским агнцем Бонапарт впервые испробовал, каково это — заставить короля ожидать аудиенции в твоей прихожей.

Он позволил публике рукоплескать ему в театре, когда со сцены прозвучали слова:

Я королей творил, отвергнувши корону,[210] —

сам же он в это время замышлял, когда представится случай, сделаться больше чем королем. Каждый день молва доносила вести о новых промахах несчастного короля Этрурии.[211] Разглядывая сокровища Музея искусств и Кабинета естественной истории,[212] он задавал по поводу рыб или четвероногих вопросы, которые не возникли бы у получившего хорошее воспитание двенадцатилетнего ребенка; меж тем царедворцы выдавали их за доказательства его острого ума. По вечерам его отвозили в дом министра внутренних дел, где общество состояло из новоявленных светских дам вперемешку с танцовщицами из Оперы;[213] свежеиспеченный король, несмотря на всю свою набожность, предпочитал танцевать с этими последними, а назавтра присылал им в знак своей благодарности прекрасные и поучительные книги, призванные довершить их образование. То была удивительная пора в жизни Франции — пора перехода от революционных обыкновений к обыкновениям монархическим; смешные стороны тех и других превосходно уживались меж собой, а поскольку первым была точно так же чужда независимость, как вторым — достоинство, беспринципная власть, не брезговавшая ни тем, ни другим наследством, без труда усваивала себе черты обоих.

14 июля того года, о котором я веду речь, Франция в последний раз отпраздновала годовщину Революции;[214] в напыщенном воззвании три консула напомнили нации обо всех

благодетельных последствиях этого дня. Между тем в душе первый консул поклялся уничтожить их все без изъятия. Он намеревался значительно увеличить налоги, выстроить во Франции множество новых Бастилий,[215] обрекать неугодных на изгнание и заключать их в темницы без суда и следствия, оставив далеко позади беззаконие Людовика XIV; впрочем, этот человек всегда поступал именно так — сегодня давал обещание, а завтра его нарушал. Сборник его воззваний и манифестов — книга в высшей степени странная; это форменная энциклопедия противоречий, которая призывает подданных одновременно к войне и к миру, восхваляет вместе просвещение и предрассудки, свободу и деспотизм, превозносит и бранит разом все правительства и все религии.

Один остроумный человек заметил, что Бонапарт носил ад в сердце и хаос в голове; первое, возможно, справедливо, второе же сомнительно, ибо, как бы беспорядочны ни были речи Бонапарта, цель его оставалась предельно ясной. Чем больше путаницы он вносил в мысли всех и каждого, тем лучше понимал их интересы и с тем большей легкостью рассчитывал ими воспользоваться.

Примерно в то же время он, отправляя генерала Леклерка на Сан-Доминго, назвал его *нашим зятем.* Это королевское «мы», превращавшее всех французов в собственность этого семейства, произвело на меня самое гнетущее впечатление.[216] Бонапарт потребовал, чтобы его хорошенькая сестра отправилась со своим супругом на Сан-Доминго, и это подточило ее здоровье.[217] Удивительное проявление деспотизма со стороны того, кто в собственной семейной жизни очень мало походил на человека строгих правил! О морали он вспоминает лишь тогда, когда видит возможность с ее помощью смутить одних и обольстить других. От людей к нему близких я знаю, что в ранней юности он с удовольствием заставлял своих сестер подниматься с постели во время болезни, разлучал братьев с их женами, — одним словом, показывал свою власть, чиня мелкие неприятности родным, в ожидании той поры, когда судьба позволит ему сделаться бичом всего человечества.

С вождем негров, Туссеном-Лувертюром, Бонапарт впоследствии подписал мирный договор.[218] Туссен был преступник, но это не помешало Бонапарту заключить с ним мир на определенных условиях и тотчас их нарушить. Туссена привезли во Францию и заточили в тюрьму, где он вскоре нашел самую жалкую смерть. Возможно, об этом своем злодеянии Бонапарт даже не вспоминает, ведь оно навлекло на него меньше обвинений, чем все остальные черные дела. Его совесть беспамятна, ибо в мире, возможно, нет другого человека, которому были бы так же чужды угрызения совести. Для него не существует ни добра, ни зла, существуют лишь удачные или неудачные расчеты. Не думаю, чтобы он почитал человеческую натуру способной на что-либо иное.

Оказавшись в здании Монетного двора в Петербурге, я была поражена мощью машин, приводимых в движение единой волей; все эти молоты и наковальни походят на ненасытных людей или, скорее, хищных животных; дерзните пойти против них, и они вас уничтожат.[219] Однако за всем этим мнимым буйством стоит точный расчет; всеми этими пружинами управляет одна-единственная рука. Зрелище это могу я назвать символом тирании Бонапарта: он истребляет тысячи людей так же безжалостно, как эти молоты бьют по меди или серебру, а прислужники его по большей части так же бесчувственны, как дерево и железо, действующие лишь по чужой указке. Невидимый источник движения покорных человеческих машин — дьявольская воля, которая, расчислив наперед все последствия, превращает нравственную жизнь в раболепное орудие деспотизма. Довершим сравнение: в обоих случаях, дабы прекратить работу всего механизма, довольно остановить ту руку, которая приводит его в действие.

По обыкновению, лето я провела в Швейцарии, наслаждаясь обществом моего отца.[220] Он был донельзя возмущен тем оборотом, какой приняли события во Франции, и, страстно любя истинную свободу и так же страстно ненавидя народную анархию, ощутил потребность после многолетней борьбы с демагогией всех возвысить голос против тирании одного. Отец мой любил славу и, несмотря на всю свою рассудительность, не презирал людей, идущих на риск ради того, чтобы снискать одобрение публики:

Я славой дорожу; пусть знает целый свет:
Для смертных за труды награды лучшей нет.[221]

В самом деле, пословица, приравнивающая глас народа к

гласу Божьему, есть не что иное, как выражение того чудесного действия, которое производит на душу человеческую это всеобщее одобрение и которое, возможно, ослабело бы, знай мы в лицо всех тех, кто выказывает сочувствие нашим поступкам. Я прекрасно понимала, какими опасностями чревата для меня публикация сочинения моего отца, направленного против первого консула, однако не могла найти в себе силы помешать ему пропеть эту лебединую песнь над могилой французской свободы. Итак, я посоветовала ему продолжать работу, решение же вопроса о том, следует ли предать написанное гласности, мы решили отложить до следующего года.[222]

Между тем Бонапарт достиг небывалого успеха: он подписал предварительные статьи мирного договора с Англией.[223] Известие о том, что первого консула признали англичане, заставило меня усомниться в обоснованности моей ненависти к его могуществу, однако очень скоро обстоятельства подтвердили мою правоту. Самой важной из этих предварительных статей был полный вывод французских войск из Египта.[224] Итак, вся египетская экспедиция была предпринята исключительно ради того, чтобы привлечь всеобщее внимание к персоне Бонапарта. Должно заметить, что вообще его влечет не слава, а власть. К власти он относится так благоговейно, что готов принести ей в жертву все и вся; оттого-то никто не в силах предсказать его поведение: он повинуется воле обстоятельств, как стрелка компаса — притяжению магнитного полюса, и неизменной в его душе пребывает лишь воля к господству любой ценой.

Есть люди, называющие Бонапарта истинным виновником убийства Клебера, к чьему могуществу он ревновал;[225] особы, достойные доверия, уверяли меня, что причиной дуэли между генералом Ренье и генералом Дестеном, стоившей жизни этому последнему, был спор насчет гибели Клебера.[226] Мне трудно поверить в то, что Бонапарт сумел, уже покинув Египет, натравить турка на французского генерала. Авторы многих сочинений, опубликованных в странах, на которые не распространяется господство Бонапарта, обвиняют его в этом преступлении; мне, однако, кажется, что не следует предъявлять Бонапарту обвинений, не подкрепленных доказательствами. Одна ошибка такого рода способна внушить сомнение в справедливости самых неопровержимых истин. Не следует сражаться с этим человеком его же оружием. Он обречен пасть оттого, что у людей есть совесть, что на свете есть Бог. Причастность его к гибели Клебера сомнительна; зато не подлежит сомнению, что он приказал отравить больных в Сен-Жан-д’Акре. Он велел врачу Деженетту дать им опиум, а когда тот

отказался, посмел обвинить в малодушии человека, который в этих обстоятельствах обнаружил куда больше мужества, чем имелось у самого Бонапарта. Раболепный клеврет первого консула исполнил его желание, и все больные были отравлены.[227] Я часто пыталась найти ответ на вопрос, зачем Бонапарт совершил этот поступок, столь жестокий и столь ненужный: ведь он мог предоставить несчастным умереть, не беря на душу ответственности за их гибель; все дело в том, что он не хотел дать газетам повод толковать о раненых французских солдатах, попавших в руки турок, и без гнева и жалости рассудил, что надежнее распорядиться их жизнью и смертью самому.

Я отсрочила свое возвращение в Париж, чтобы не присутствовать на празднествах по случаю подписания мирного договора.[228] Не знаю ощущения более тягостного, чем то, какое испытываешь во время подобных публичных увеселений, если не разделяешь всеобщей радости; в душу вкрадывается некое презрение к бестолковому народу, который славит приготовленное для него ярмо. Туповатые жертвы, пляшущие перед дворцом своего палача, первый консул, именуемый отцом той самой нации, которую он намеревается пожрать; смесь глупости одной стороны и хитрости другой, пошлое лицемерие царедворцев, набрасывающих покров на гордыню своего повелителя, — все это внушало мне неодолимое отвращение. Будь я в Париже, мне пришлось бы сдерживать свои чувства, а между тем во время подобных торжеств куда труднее уклониться от участия в официальных изъявлениях радости, чем в обычные дни. Одна из надписей, украшавших это празднество, сообщала, что Наполеон делит власть с Юпитером; несколькими годами позже место Юпитера занял Плутон.[229] В ту пору, однако, Бонапарт еще утверждал, что людям прежде всего необходим мир. Всякий день он подписывал новый трактат с тем же тщанием, с каким Полифем пересчитывал входящих в его пещеру баранов. Один из мирных договоров, заключенный с алжирским деем, начинался следующими словами: «Первый консул и алжирский дей, признавая, что двум государствам не подобает находиться в состоянии войны, условились, и проч.»[230] В самом деле, один стоил другого — как им было не побрататься?

Соединенные Штаты Америки также заключили с Францией мирный договор и прислали в качестве своего полномочного министра человека, не знающего ни слова по-французски;[231] скорее всего, он не подозревал, что даже блестящего знания языка недостаточно, чтобы проникнуть в истинные намерения правителя, так прекрасно умеющего их скрывать. Когда г-н Ливингстон представлялся первому консулу, тот через

переводчика высказал ему свое восхищение чистотою американских нравов и прибавил: «Старый мир развращен донельзя», а затем, повернувшись к г-ну де Талейрану, дважды повторил: «Переведите же ему мои слова, скажите, что старый мир развращен донельзя; для вас-то это, полагаю, не новость?» То была одна из самых любезных фраз, обращенных им на людях к этому царедворцу, который, будучи наделен более тонким вкусом, чем остальные, пытался, принеся достоинство души в жертву тщеславию, сохранить хотя бы некоторое достоинство манер.

Между тем под сенью республиканских установлений зрели установления монархические. Была образована гвардия;[232] королевские брильянты пошли на украшение шпаги первого консула, чей убор, точно так же, как и политическая ситуация того времени, представлял собою смесь старого и нового порядков. Первый консул, человек с короткими ногами и большой головой, носил платье из золотой парчи и гладко зачесывал волосы, а держался разом неловко и надменно, презрительно и стесненно, соединяя, казалось, неуклюжесть выскочки с дерзостью тирана.

Нашлись люди, которым понравилась его улыбка; меж тем я убеждена, что, улыбайся таким образом любой другой человек, это производило бы впечатление самое тягостное, ибо улыбка, на мгновение появлявшаяся на его лице, вызывала мысль не о естественном порыве, а о движении механизма; вдобавок улыбались только губы, глаза же продолжали оставаться серьезными.[233] Однако, поскольку, улыбаясь, он обнадеживал людей, его окружавших, они принимали облегчение, которое испытывали сами, за обаяние, присущее ему Помню, однажды некий почтенный господин, член Института и государственный советник, всерьез уверял меня в том, что у первого консула замечательно ухоженные ногти; должно быть, он хотел сказать: когти. В другой раз генерал Себастиани[234] воскликнул: «У Бонапарта прелестные руки». — «О генерал, умоляю вас, ни слова о политике!» — возразил один молодой дворянин хорошего рода, в ту пору еще не получивший звания камергера.[235] Тот же самый генерал Себастиани, рассуждая с нежностью о первом консуле, приходящемся ему родственником, сказал: «Частенько он бывает ласков, как дитя». И действительно, в своем кругу Бонапарт порой предавался невинным забавам. Он, например, танцевал со своими генералами. Больше того, он развлекался таким образом даже в Мюнхене, в гостях у баварской королевской четы, которая, полагаю, с трудом могла разделить его веселость.[236] Однажды он обрядился в испанское платье Карла, курфюрста баварского,[237]

притязавшего на императорскую корону, и принялся танцевать старинную французскую кадриль под названием «Монако». Наряд его так же мало соответствовал манерам, как грозный лик — неуклюжим прыжкам; ничто в мире не могло произвести такого тягостного впечатления, какое производило безмятежное и даже веселое настроение человека, лишившего целый мир и ощущения безмятежности, и причин для веселья. Некоторое время Бонапарт всерьез опасался насмешек; часто он с горечью повторял: «Французы — глумливый народ». Но однажды он сказал себе, что власть никогда не бывает смешна, и был совершенно прав: ведь власть, как ее понимает он, обязана вселять ужас; иное дело власть, основанная на общественном мнении, — ей пришлось бы остерегаться действий, могущих навлечь на нее заслуженные насмешки.

Друзья свободы, входившие в Трибунат, все еще пытались бороться против постоянно возраставшего могущества первого консула. Однако общественное мнение в ту пору их не поддерживало. Большинство членов Трибуната, находившихся в оппозиции, составляли люди в высшей степени почтенные, однако трое или четверо из них в эпоху Революции запятнали себя причастностью к злодеяниям,[238] правительство же во что бы то ни стало стремилось распространить недовольство общества некоторыми трибунами на весь Трибунат без изъятия. Между тем люди, входящие в публичные собрания, в конце концов всегда исполняются чувств возвышенных, так что даже этот Трибунат, продолжай он действовать, оказал бы противодействие тирании. Он успел большинством голосов выбрать кандидатом в сенаторы человека, вовсе не нравившегося первому консулу, — Дону, республиканца честного, просвещенного и порядочного, но, разумеется, ничуть не опасного.[239] Этого оказалось достаточно для того, чтобы первый консул замыслил уничтожить Трибунат; для начала он руками сенаторов исключил из этого собрания два десятка самых деятельных его членов и поставил на их место людей, преданных правительству.[240] Восьмидесяти оставшимся членам предстояло подвергнуться этой операции в дальнейшем: отныне Трибунат должен был ежегодно обновляться на четверть. Таким образом государственным мужам был преподан урок: им разъяснили, как должны они себя вести, чтобы сохранить свое место, иначе говоря, пятнадцать тысяч ливров[241] ежегодного дохода. Первый консул желал продлить еще на два-три года жизнь этого изувеченного собрания, дабы выдавать свои самовластные деяния за исполнение воли народа.[242] Вообразите, однако, что сказали бы англичане, предложи их Государственный совет палате лордов заменить в палате общин два десятка

депутатов; ведь палата лордов настолько же независима, насколько французский Сенат порабощен. Со многими из тех, кого Бонапарт изгнал из Трибуната, меня связывали узы дружбы, однако суждения мои на этот счет не зависели от моих чувств. Возможно, конечно, что несправедливость, жертвой которой стали люди, мне близкие, раздражала меня особенно сильно и я позволила себе отпустить несколько саркастических замечаний касательно лицемерия, под прикрытием которого даже из несчастной Конституции попытались тщательно изгнать всякое подобие свободы.[243]

Ибо сила общественного мнения во всякой стране такова, что оно немедля дает себя знать, стоит только появиться какой-либо законной форме, ему это позволяющей. Тем временем Трибунату предложили на утверждение Гражданский кодекс — тот самый, которому позже предстояло сделаться законом, определяющим жизнь почти всей Европы. Иные утверждают, что в этом кодексе есть статьи вполне здравые; в самом деле, Наполеону более или менее все равно, каким образом люди вступают во владение наследством или сочетаются браком, лишь бы он имел возможность прибирать к рукам состояния всех без исключения и отправлять мужчин на войну. Его интересует политика; каждодневное правосудие, с его точки зрения, — такая мелочь, обсуждение которой он охотно возложил на членов Государственного совета.[244] Впрочем, время от времени он, к восторгу тех советников, которые восторгаются всеми его поступками без изъятия, высказывал свои мысли относительно Гражданского кодекса. Я, разумеется, не стану отрицать наличие могучего ума у человека, который перевернул весь мир, каким бы рычагом он для этого ни воспользовался, однако я утверждаю, что во всех тех случаях, когда дело не идет о его личной выгоде, он обнаруживает умственные способности вполне заурядные.

Каждый новый шаг первого консула в 1802 году еще сильнее обнажал его безграничное тщеславие. Пока в Амьене шли переговоры о мире с Англией, он собрал в Лионе Цизальпинский совет, иначе говоря, депутатов от всей Ломбардии и соседних государств, которые при Директории сделались республиками, а теперь не знали, какую форму правления им следует избрать. В ту пору никто еще не успел свыкнуться с тем, что на смену единовластию Французской республики пришло единовластие одного человека, никому не приходило в голову, что он хочет быть не только первым консулом, но еще и президентом Италии; поэтому все ждали, что этот пост займет граф Мельци, человек, не знающий себе равных в умении вести остроумные речи, да и вообще во многих отношениях весьма достойный. Внезапно

распространился слух о том, что на пост президента притязает сам Бонапарт; при этой вести умы на время очнулись от спячки.[245] В обществе заговорили о том, что, согласно Конституции, французский гражданин не имеет права занимать посты за пределами Франции;[246] однако считал ли себя французом этот корсиканец, которому великая нация была нужна лишь для того, чтобы притеснять Европу, а Европа — чтобы притеснять великую нацию?[247] Бонапарт обманом лишил итальянцев права выбрать себе главу; о том, что им предстоит избрать президентом именно его, они узнали лишь за несколько часов до голосования. Им приказали поставить имя г-на Мельци в качестве вице-президента рядом с именем Бонапарта. Их уверили, что управлять ими будет тот, кто живет среди них, Бонапарту же потребно лишь почетное звание. Он сам произнес в своей выспренней манере: «Цизальпинские жители, вашим делам я буду посвящать лишь великие мысли». Великая же мысль у него имелась всего одна — господство над всем миром. Выбрав себе такого президента, итальянцы продолжали как ни в чем не бывало сочинять для своей страны конституцию, словно под властью этой железной руки возможно устройство конституционное. Нацию разделили на три разряда: possidenti, dotti и commercianti:[248] первых (собственников) Бонапарт собирался обложить налогом, вторым (ученым и литераторам) — заткнуть рот, а третьим (торговцам) — закрыть все порты. Что ж, звучный итальянский язык приспособлен для шарлатанства даже лучше, чем французский.

Бонапарт переименовал Цизальпинскую республику в Итальянскую, тем самым дав понять Европе, что он намеревается расширить свои итальянские владения. В намерениях этих не было ровно ничего мирного, и тем не менее они не помешали подписанию Амьенского договора: так сильно Европа и даже сама Англия жаждали прекращения войны. В день, когда английский посланник г-н Джексон[249] получил условия этого договора, я была у него в гостях. Он читал договор всем, кто обедал у него в тот день; каждая из статей вызывала у меня неизъяснимое изумление. Англия уступала все свои завоевания; она отдавала Мальту, о которой генерал Дезе сказал, что, не найдись в крепости предатель, отворивший французам ворота, они ни за что бы туда не вошли.[250] Она уступала всё и совершенно безвозмездно державе, которую постоянно побеждала в морских сражениях. Такой удивительный плод принесло желание мира, охватившее всю Европу![251] А у человека, который чудом получил подобные преимущества, не достало даже терпения подождать несколько лет и попытаться поставить французский флот вровень

с английским! Едва ли не на следующий день после подписания Амьенского мирного договора Наполеон решением Сената присоединил к Франции Пьемонт,[252] а весь год, в течение которого этот договор оставался в силе,[253] ежедневно издавались прокламации, извещавшие о намерении его разорвать. Причины такого поведения угадать нетрудно. Бонапарт желал ошеломить французов, чередуя неожиданные примирения с войнами, убеждавшими граждан в его незаменимости. Он был убежден, что, о какой бы сфере ни шла речь, узурпировать власть легче всего в грозу. Тогда, весной 1802 года, газеты, получившие задание воспевать радости мирной жизни, писали: «Мы вступаем в эпоху, когда политика перестает иметь какое-либо значение». В самом деле, пожелай Бонапарт, он мог бы даровать испуганной и разоренной Европе двадцать лет мирной жизни.

Бонапарт почтил своим посещением Сенат;[254] сенаторы решили, что он намерен вместе с ними участвовать в заседании как консул Республики. Десять старейших членов этого собрания встретили его у основания лестницы. Бонапарт, однако, явился в Сенат в окружении собственной гвардии, а возвратившись в Тюильри, отозвался с презрением о недоумках, которые могли подумать, будто такой человек, как он, поставит себя на одну доску с какими-то судейскими. Он презирает гражданских чиновников не столько как солдат, сколько как деспот, которому всё, связанное с законами, внушает настоящий ужас.

В это же самое время он совершил поступок, значительно приблизивший его к трону, — заключил Конкордат с папой. Неоднократно в присутствии множества людей он признавался в абсолютном отсутствии у него религиозных чувств.[255] Не знаю, говорил ли он правду. Суевериям он безусловно подвержен, ибо на свете нет человека, который бы не верил в сверхъестественное в какой- либо форме. Однако, на мой взгляд, он более склонен почитать богом себя самого, нежели поднимать взор к тому, кто создал его в наказание всем нам и уничтожит, дабы отпустить нам наши грехи. Однажды он написал г-ну де Сегюру, убежденному, что сын его погиб:[256] «Господин обер-церемониймейстер, сына Вашего призвал великий дух», — а затем еще несколько раз прибегал к этому выражению, по-видимому, плененный его необычностью и новизной. Ясно, что в религии он видел не более чем политическое орудие, однако любопытно было бы узнать, что происходит в душе такого человека, когда обстоятельства вынуждают его остаться в одиночестве и задуматься о собственной судьбе и о ее превратностях. В нужную минуту он умеет не бояться смерти; он отважен по расчету, но не от природы; хотела бы я прочесть те его мысли, которые не

относятся непосредственно к делам земным. Да и посещают ли его подобные мысли, или земные интересы забрали над ним такую власть, что не позволяют думать ни о чем ином? Как бы там ни было, заключение Конкордата дало ему повод провести генеральную репетицию своего будущего коронования.

Для церемонии, призванной восстановить духовенство в правах, Бонапарт избрал храм Богоматери,[257] а произнести подобающую речь поручил тому самому архиепископу, который читал проповедь во время коронации Людовика XVI. Архиепископ этот, г-н де Буажелен, прибыл из Англии, где провел в изгнании десять лет.[258] То был человек незаурядного ума, однако сразу по возвращении на родную землю он, подобно многим своим собратьям, поспешил издать пастырские послания, призывавшие к войне против Англии — страны, которая в годы испытаний дала приют всем этим изгнанникам. Поведение свое все эти священнослужители объясняли любовью к отечеству. Ибо во Франции, к несчастью, для всего находится объяснение, и мало у кого из тех, кто приносит совесть в жертву корысти, хватает целомудрия промолчать. Первый консул остановил свой выбор на архиепископе из Экса исключительно потому, что священника, некогда короновавшего Людовика XVI, участие в новой церемонии унижало больше, чем любого другого. Воспоминания о прежнем торжестве составляли разительный контраст с нынешним поведением г-на де Буажелена. Ему исполнилось семьдесят лет, и голос его звучал так слабо, что присутствовавшие в церкви едва могли расслышать изысканные комплименты, которые он отпускал первому консулу Возраст и здоровье не сулили ему долгой жизни, и в самом деле, через три года его не стало. Тем не менее он пожертвовал своей безупречной репутацией ради того, чтобы на закате жизни его бледное лицо озарили лучи Бонапартовой милости. Как образцовый царедворец вел себя в то время и другой священник, столетний архиепископ Парижский.[259] Согбенный под тяжестью целого столетия, он, однако же, не пропускал ни одного собрания у консулов, у министров, у префектов, а позже и у прочих придворных, так что в конце концов погиб от избытка реверансов. Вот под каким знаком происходило во Франции возрождение религии.

Бонапарт явился в церковь с торжественностью, подобающей лишь королю. Возвратившись к себе во дворец Тюильри, он осведомился у генералов: «Ну что, разве нынче все было не так, как прежде?» — «Да, — отвечал генерал Берна- дот, — за вычетом тех двух миллионов, что отдали жизнь за свободу».[260] Великолепный ответ, который Наполеон простил этому генералу,

как и многие другие проявления независимости. Убеждения и отвага, которые выказывал Бернадот, грозили ему большими опасностями, однако каким-то чудом он уцелел. Как раз в эту пору я имела честь постоянно видеться с ним. Генерал-гражданин понимал, что если теперь не положить конец все возрастающей тирании Бонапарта, завтра будет уже поздно, и желал, чтобы товарищи по оружию, в первые дни Революции вставшие на ее защиту и искренне любящие свободу, поддержали его в этой борьбе.

По случаю разнообразных мирных договоров парижские власти решили воздвигнуть в городе памятник Бонапарту, однако ему требовалось нечто более основательное, чем эти пустые почести, и он, исчерпав весь свой запас скромности, отклонил этот дар, а под рукой сообщил Сенату, что нуждается в залогах более существенных. Он был избран консулом на десятилетний срок. Сенат в особом адресе предложил ему продлить этот срок еще на десять лет. Это его не удовлетворило. Он ответил елейной тирадой, суть которой сводилась к тому, что он готов посвятить всю свою жизнь счастью Франции и даже пойти ради этого на смерть, а потому, прежде чем принять предложение Сената, должен узнать мнение французского народа; вышло, однако, так, что по какой-то оплошности Государственный совет поинтересовался мнением народа вовсе не насчет продления срока консульства еще на десять лет, за которое Наполеон поблагодарил Сенат, а насчет консульства пожизненного.[261]

С тех пор как был отправлен на казнь Людовик XVI, Франция не знала ничего более жалкого и лживого, чем обращения от имени народа и народные голосования. Назначенные правительством чиновники собирают голоса точно так же, как собирают и тратят налоги в своем департаменте; в результате нация обычно ни в коей мере не разделяет то мнение, какое вкладывают в ее уста. На сей раз дело обстояло много хуже. Всех тех, кто не выставил в книге записей «нет», посчитали сказавшими «да». Горстка людей, у которых достало мужества высказаться письменно против пожизненного консульства, была слишком мала в сравнении с миллионами людей, которые числились в поименных списках и, не голосовавши вовсе, были причислены к подавшим свой голос «за». Впрочем, и настоящих «да» оказалось гораздо больше, чем «нет», поскольку все кандидаты на государственные должности, а их во Франции немало, охотно выказали тем самым свою добрую волю. Среди тех, кто вписал в книгу записей свое «нет», был генерал Лафайет — человек, который никогда не изменял нравственности и свободе. К этому времени он уже успел отказаться от места

сенатора и должности посла, предложенных ему первым консулом, а затем, живя в деревне, неизменно показывал благородный пример верности своим убеждениям.

Один человек, наделенный большим талантом, выпустил в ту пору брошюру, память о которой жива еще и поныне; в ней, одобрив идею пожизненного консульства, он горячо воспротивился введению титула «император галлов».[262] Истинных французов возмущали толки о возможном переименовании прекрасной Франции в Галлию. Однажды в письме к швейцарскому правительству Бонапарт назвал себя первым из галльских магистратов, однако то была минутная прихоть, которой он сам придавал очень мало значения. Слух о том, что он хочет провозгласить себя императором, Бонапарт распространил ради того, чтобы французы подали свои голоса за пожизненное консульство.[263] Когда же он в самом деле взошел на престол, то принялся пугать народ другими опасностями, дабы люди сочли ту участь, которой они боялись вчера, меньшим злом сравнительно с той, которая может грозить им завтра. Применительно к большинству нации такая тактика приносит успех, однако воздвигнуть преграду на пути этого человека было возможно: следовало лишь противиться каждому его действию и не вступать с ним ни в какие сделки; ведь сам он так жаждет власти, что, сражаясь за нее, не идет на попятный никогда.

В ту пору вокруг генерала Бернадота собралась целая группа генералов и сенаторов, которые хотели узнать у него, что следует предпринять, дабы спасти страну от близящейся узурпации.[264] Бернадот предложил несколько способов, причем способов законных, ибо все прочие ему претили. Однако для того, чтобы действовать в согласии с законом, требовалось получить мнение хотя бы нескольких членов Сената, а ни один из них не дерзнул бы поставить подпись под документом такого рода. Все то время, пока шли эти в высшей степени опасные переговоры, я часто виделась с генералом Бернадотом и его друзьями; сделайся их планы известны властям, этих свиданий оказалось бы более чем достаточно для того, чтобы погубить меня. Бонапарт и без того уже говорил, что люди, посещающие меня, преданы ему гораздо меньше, нежели те, которые не переступают порога моего дома; одним словом, он был готов считать меня единственной виновницей всех зол,[265] хотя люди, окружавшие меня, провинились куда больше; однако в них он нуждался и потому их берёг.

В это время я покинула Париж. Состояние здоровья г-на де Сталя ухудшилось настолько, что мне пришлось отправиться вместе с ним на воды. По дороге от нового апоплексического

удара он скончался, и в Коппе к отцу я приехала, охваченная унынием и тревогой.[266] Из Парижа мне сообщали, что первый консул решительно осуждает мои связи с генералом Бернадотом и его окружением; судя по всему, он хотел покарать меня, но с генералом Бернадотом расправиться не решился, то ли оттого, что еще слишком нуждался в его военных талантах, то ли оттого, что уважал связывавшие их семейные узы,[267] то ли оттого, что генерал этот пользовался во французской армии большей популярностью, чем все прочие, то ли, наконец, оттого, что манерам Бернадота присуще очарование, которое не позволяет даже Бонапарту возненавидеть его всем сердцем.

Из Парижа мне писали, что первый консул уже открыто бранит меня. Причем даже больше, чем убеждения, которые он мне приписывал, его возмущало обилие иностранцев, бывавших в моем доме. Сын штатгальтера, принц Оранский, оказал мне честь, отобедав у меня,[268] и Бонапарт упрекнул его в этом. Какая малость — существование женщины, которую навещают из уважения к ее уму и литературной репутации, однако эта женщина не зависела от Бонапарта, и этого оказалось довольно, чтобы он пожелал ее уничтожить.

В то время, когда я вновь увиделась с отцом, рукопись его книги «Последние соображения относительно политики и финансов» была отдана в печать. Однако, узнав от меня все подробности моих отношений с первым консулом, батюшка предложил забрать рукопись назад. На это я решиться не смогла.[269] Сочинение батюшки было поистине превосходным. Я полагала, что если человек, который в течение полутора десятка лет боролся против тирании народа, возвышает голос против абсолютной власти одного, он поступает в высшей степени благородно, и мне хотелось, чтобы этот последний луч славы озарил закат жизни моего отца. Однако для публикации подобного сочинения время было самое неподходящее. Одобряя многие действия первого консула, которого в ту пору не было зазорно поддерживать, ибо он еще не перешел Рубикон преступления,[270] отец, однако, указывал на возможность образования монархии отступников, какая впоследствии и была создана;[271] больше того, как раз в то время, когда это пророческое сочинение увидело свет, Сенат опубликовал Конституционные законы, призванные оправдать провозглашение пожизненного консульства.

Те, кто участвовал в Революции, всегда находили для своих деяний слова, способные заворожить глупцов. К числу таких слов относятся Конституционные законы.[272] Никто не может объяснить, что это такое; тем легче было Бонапарту одних

уверить в том, что законы эти довершают построение Республики, а другим пообещать — куда более обоснованно, — что они сулят ей гибель. В этом дополнении к Конституции содержалась присяга пожизненного консула: он клялся воевать исключительно ради защиты Республики. Что думали на сей счет французские солдаты и офицеры, оказавшиеся на берегах Москвы-реки?

Не довольствуясь декретами, которые сосредоточивали в руках Бонапарта высшую власть, не довольствуясь порабощением прессы и бесконечными софизмами, которые изо дня в день заполняли газетные полосы и одурманивали ложью умы всех, кто читает, не читая, то есть не способен задуматься над книгой и умеет лишь забавляться развлекательной статьей, — не довольствуясь, говорю я, всеми этими способами лишить публику здравого смысла, приспешники первого консула решили заняться образованием, иначе говоря, способами приуготовить к рабству подрастающее поколение, как будто для этого было недостаточно примера, подаваемого отцами. Установления, рожденные Революцией, оказались по большей части недолговечны, однако именно во время Революции была основана Политехническая школа, из стен которой вышли едва ли не все те сильные и независимые люди, что по сей день составляют главную надежду Франции.[273] Член Государственного совета, которому поручено было ревизовать работу этой школы, заверил первого консула, что отныне она будет выпускать лишь людей рассудительных, что на нынешнем языке означает: людей, которые умеют покоряться силе и слушаться лишь велений корысти.

С огромным трудом удалось добиться от первого консула позволения преподавать в школах латынь, греческий же был изгнан из них раз и навсегда.[274] В самом деле, на что этот древний язык подданным государства, глава которого нуждается только в землепашцах и в солдатах? Да и землепашцев-то терпит лишь потому, что они кормят тех, кого он посылает на смерть. Все образование приняло военный характер; барабанный бой сообщал о начале уроков грамматики; капралы посвящали учеников в тайны словесности. Бонапарта уподобляли Карлу Великому, тогда как гораздо справедливее было противопоставить этих двух правителей, ибо если второй сильно опередил свой век, то первый сильно от него отстал.[275] Единственный способ обнаружить сходство между ними — признать, что они двигались навстречу друг другу. Бонапарт был куда ближе к истине, когда в узком кругу сокрушался о том, что, в отличие от Тамерлана, не имеет под своим началом народов, не умеющих рассуждать.[276] Следует признать, что за последние годы бедные французы поспешили исправить этот недостаток: они

сохранили природный ум, но утратили ту свободу в мыслях и в речах, какой пользовались даже при самых деспотических правителях. Впрочем, даже исповедуй Бонапарт более либеральные взгляды на народное просвещение, воинской повинности, установленной им во Франции, было довольно, чтобы отбить у родителей охоту давать детям образование, а у детей — охоту его получать. Природа Бонапартова деспотизма такова, что, как бы ни складывались дела, он не может завещать грядущим поколениям ничего, кроме несчастий и невежества.

В том же году[277] 1 5 августа впервые был торжественно отмечен день рождения первого консула, и с тех пор этот праздник заменил все прочие. Среди тысячи льстецов, поздравлявших именинника на страницах «Монитёра», особенно отличился один префект с того побережья Франции, что обращено в сторону Англии: он сообщил, что, создав Бонапарта, Господь Бог почил от всех дел своих.[278] Говоря иначе, низость с каждым днем все сильнее подтачивала самые основания человеческого достоинства. Всех чиновников, от привратников до консулов, обрядили в мундиры; фраки членов Института украсились вышитыми оливковыми ветвями; одним словом, если в Англии даже офицеры носят мундиры только в полку, во Франции последний приказчик обзавелся золотыми или серебряными галунами, призванными отличать его от простых смертных. Удовлетворение всех этих тщеславных домогательств зависело от одного-единственного человека, что предвещало господство деспотизма под именем монархии: ведь республики более уже не существовало, чаяния же людей просвещенных не простирались дальше конституционной монархии. Однако такое устройство отвечало натуре Бонапарта еще меньше, нежели господство мятежников; он охотнее смирился бы с риском подвергнуться угнетению, чем отказался от возможности стать угнетателем самому.

Именно в 1802 году началась тяжба о возмещении убытков немецким владетельным князьям в соответствии с решениями Раштаттского конгресса. Решалось это дело в Париже и, как говорят, к немалой выгоде министров, им занимавшихся.[279] Как бы там ни было, именно в эту пору Бонапарт начал посредством дипломатии прибирать к рукам всю Европу; остановился он, только пройдя ее из конца в конец. Самые родовитые государи феодальной Германии являлись в Париж свидетельствовать свое почтение первому консулу, которому раболепство немцев нравилось куда больше, чем непринужденность еще не до конца закабаленных французов, и выпрашивать у него то, что принадлежало им по праву, с такой угодливостью, которая едва

ли не вынуждала отнять у них и все остальное: ведь во Франции с некоторых пор о справедливости пекутся очень мало.

Англичане, представители нации в высшей степени гордой, в ту пору питали к особе первого консула любопытство, смешанное с почтением.[280] Правящая партия судила об этом человеке по заслугам, но члены оппозиции, обязанные тем сильнее ненавидеть тиранию, чем сильнее они любят свободу, — члены оппозиции и сам Фокс, чьи таланты и доброту невозможно вспоминать без восхищения и умиления, относились к Бонапарту на удивление снисходительно и разделяли заблуждения тех, кто по-прежнему путал Французскую революцию с заклятым врагом самых основ этой Революции.[281]

Зимой 1802–1803 годов, узнавая из газет о приезде в Париж самых прославленных людей Англии и об их встречах с самыми умными людьми Франции, я испытывала, признаюсь, живейшее желание оказаться в обществе тех и других.[282] Я никогда не скрывала, что жизнь в Париже кажется мне приятнейшей из всех возможных; в этом городе я родилась, в нем провела детство и раннюю юность; в нем и только в нем могу я увидеть людей, знавших моего отца, друзей, вместе со мною избегнувших опасностей Революции. Эта любовь к родине, подчиняющая себе души самые могучие, забирает над нами еще большую власть, когда с привязанностями сердца и привычками воображения согласуются склонности ума. Беседовать на французский лад можно только в Париже, а беседа с детских лет составляла одну из главных радостей моей жизни.[283] Одна мысль о том, что меня лишат возможности жить в Париже, причиняла мне такую боль, против которой разум бессилен. Я находилась тогда в самом расцвете сил, меж тем именно потребность в живейших наслаждениях зачастую приводит к отчаянию, ибо не позволяет смириться, а тому, кто не смирился, нет мочи сносить тяготы существования.

Префекту Женевы[284] не было формально запрещено выдавать мне паспорт для поездки в Париж, но в своем кругу первый консул говорил, что мне лучше не возвращаться в столицу,[285] и я об этом знала, как знала и о том, что он уже взял себе за правило изъявлять свою волю насчет дел, подобных моему, в частных беседах, с тем чтобы приближенные, предвосхищая его желания, избавляли его от необходимости действовать самому. Думаю, что, случись ему обронить в такой беседе, что некто должен повеситься, он был бы очень недоволен, если бы человек, о котором шла речь, не принял намек к сведению и не отправился незамедлительно покупать веревку и сколачивать виселицу.[286] Другим признаком недоброжелательности Бонапарта по

отношению ко мне был тон, в каком французские газеты высказывались о моем романе «Дельфина», в ту пору только что вышедшем из печати; они объявили его безнравственным: цензоры-царедворцы осудили сочинение, которое одобрил мой отец.[287] Можно было бы сказать, что в этой книге выразились та молодая горячность, то стремление быть счастливой, которым за десять лет, причем десять лет, полных страданий, я научилась приискивать иное применение. Однако разглядеть заблуждения такого рода мои критики способны не были; они просто-напросто повиновались тому голосу, который сначала приказал им растоптать творение отца, а затем велел наброситься на сочинение дочери. В самом деле, со всех сторон до нас доходили слухи о том, что истинной причиной императорской немилости стала последняя книга моего отца, заранее исчислившего все доводы, какими Бонапарт обоснует свое намерение восстановить монархию.

Моему отцу было неприятно думать, что именно он навлек на меня гнев первого консула и тем самым помешал мне возвратиться в Париж; он решил обратиться к консулу Лебрену, с которым был знаком в бытность свою министром. Заверив Лебрена, что я не имею ровно никакого отношения к публикации «Последних соображений», он в письме своем отозвался о первом консуле в выражениях самых благородных и самых лестных, а в конце признался, что, обреки он меня на жизнь в изгнании, это стало бы величайшим несчастьем его старости. Он полагал Париж единственным городом на земле, в котором мои малолетние дети могли бы получить подобающее воспитание,[288] а я сама — вновь обрести тот круг, в каком я вращалась с юных лет и какой более всего отвечает направлению моего ума. Сочиняя это письмо, батюшка постоянно заглядывал ко мне в комнату, чтобы обсудить ту или иную фразу; думаю, что за все годы своей блистательной службы он еще никогда так страстно не желал получить благоприятный ответ.

Старец, некогда снискавший столько почестей на посту первого министра Франции,[289] смиренно просил, чтобы по отношению к его дочери и внукам не была допущена величайшая несправедливость; какого человека или, точнее, какое существо в мире, кроме Бонапарта, подобное письмо могло оставить равнодушным? Однако чем славнее было прошлое моего отца, тем, казалось, большее удовольствие доставляла первому консулу возможность его унизить. Бонапарт всегда полагал залогом величия высокомерие. Он не понимал, что великодушие состоит в том, чтобы уважать добродетель, лишенную могущества, а гордость — в том, чтобы презирать могущество, лишенное

добродетели.

Однажды утром батюшка вошел ко мне в комнату с письмом в руках. Он был очень взволнован и едва мог сдержать слезы. «Взгляни, — сказал он, протягивая мне ответ консула Лебрена, по всей вероятности продиктованный Бонапартом, — они пытаются поссорить нас, изображая меня причиной всех твоих несчастий». В самом деле, трудно вообразить искусство более дьявольское, чем то, с каким было составлено письмо, подписанное консулом Лебреном, но вдохновленное Бонапартом. Все, что могло уязвить моего отца как государственного мужа и великого писателя, все, что могло изобразить его отцом семейства, принесшим интересы своих детей в жертву собственному самолюбию, было собрано в этом письме, отличавшемся вдобавок той приторной кротостью и тем лицемерным смирением, к каким прибегают все слуги императора, когда пытаются совместить формы Старого порядка с революционной безжалостностью нового деспотизма.[290]

Самую страшную боль при чтении письма Лебрена причиняла мне мысль о том, что именно я навлекла на батюшку эту беду; надеюсь, мне удалось убедить его в том, что мою любовь к нему это письмо только усилило. Однако я не могла скрыть от него другой своей печали: меня мучила разлука с Парижем. Во-первых, всех людей, даже тех, кого природа не одарила пылким воображением, влечет запретный плод. Во-вторых, несправедливый запрет возмущает всякое существо, наделенное толикой гордости; наконец, привязанность к местам, где прошло наше детство, и друзьям нашей молодости, любовь к отечеству так глубоко укоренена в человеческой натуре, что даже самые суровые воины, свыкшиеся с лишениями, порой невыносимо страдают от тоски по родине. Из того, что Париж — город обольщений, не следует, что мы обязаны любить его меньше, чем лапландец любит Лапландию. То обстоятельство, что жить в нем приятно, не мешает мне почитать его своей родиной. Быстрая смена впечатлений и предметов, легкость сношений между людьми и идеями, интерес ко всему, что, подобно ароматам в Италии, растворено в самом воздухе Парижа, множество особ, которые в совершенстве владеют искусством беседы и предъявляют свои способности, как говорится, наличными, — все это счастливо отвлекает нас от жизненных тягот, так что всякий, кто привык жить здесь, с трудом соглашается покинуть этот город!

Батюшка разделял мою любовь к Парижу; страстно любила его и моя покойная матушка. Я безмерно грустила от разлуки с друзьями, от невозможности сообщить детям тот вкус к изящным искусствам, который трудно воспитать в деревне; итак, поскольку

в письме Лебрена содержались одни лишь язвительные намеки, но ничего определенного насчет невозможности для меня вернуться в Париж сказано не было, я строила сотни планов своего возвращения в столицу; мне хотелось проверить, дерзнет ли первый консул пренебречь общественным мнением, к которому он в ту пору еще прислушивался, и осудить меня на изгнание. Батюшка, по-прежнему великодушно винивший в моих злоключениях самого себя, задумал отправиться в Париж и лично попросить первого консула о смягчении моей участи. Признаюсь, что поначалу я на это согласилась. Я свято верила во влиятельность батюшки и полагала, что противиться его просьбам не способен никто; преклонный возраст и прекрасное выражение глаз, благородство души и тонкость ума — мне казалось, что, узнав человека, наделенного столькими достоинствами, даже Бонапарт не сможет остаться равнодушным; посему в первую минуту я не отказалась от предложения батюшки, стремившегося лишний раз уверить меня в своей преданности. В ту пору я еще не знала, до какой степени раздражила первого консула моя книга. Однако по счастью мне пришло на ум, что сами достоинства батюшки непременно вызвали бы у первого консула еще более страстное желание унизить их обладателя и он непременно отыскал бы средства, пусть даже самые незамысловатые, исполнить свое намерение, ибо власть имущие всегда располагают во Франции добровольными помощниками, что же касается духа сопротивления, то он развивался в этой стране лишь оттого, что слабость правительства сулила мятежникам легкие победы. Французы более всего любят людей удачливых, тех же, кого удача обходит стороной, властям без труда удается опорочить, выставляя их в смешном свете. В конце концов я, благодарение Богу, очнулась от иллюзий и решительно отвергла великодушную жертву, предложенную мне батюшкой. Когда он убедился, что я твердо стою на своем, я поняла, чего бы стоил ему этот шаг. Я потеряла отца спустя год и три месяца;[291] отправься он в Париж, как намеревался, я приписала бы его болезнь этой поездке и яд раскаяния ужесточил бы мою муку.

Той же зимой 1802–1803 годов швейцарцы с оружием в руках восстали против единой конституции, которою их желали облагодетельствовать французские революционеры.[292] Что за странная мания — навязывать всем странам свое собственное политическое устройство! Существуют, разумеется, принципы, общие для всех стран, — те принципы, что обеспечивают свободным нациям права гражданские и политические; страна же может быть и ограниченной монархией, какова Англия, и

федеративной республикой, каковы Соединенные Штаты, и союзом тринадцати кантонов, какова Швейцария, — какая разница! Неужели ради того, чтобы в один день переменить по собственному произволу судьбу всей Европы, надобно подчинить ее одной идее, подобно тому, как римский народ подчинили одному правителю!

Первого консула, разумеется, нисколько не волновало, какую конституцию примет Швейцария, да и примет ли она ее вообще; волновало его другое — возможность использовать Швейцарию в собственных интересах; поэтому он действовал с осторожностью. Он объявил себя посредником между швейцарскими кантонами и выбрал из нескольких проектов, ему предложенных, конституцию, довольно удачно примирявшую старые привычки с новыми требованиями; он получил от Швейцарии больше рекрутов, чем имел бы, займи он ее силой.[293] Он вызвал в Париж десяток депутатов, представлявших аристократическую и демократическую партии, и 29 января 1803 года беседовал с ними семь часов подряд.[294] Он настаивал на необходимости восстановить демократические кантоны в их прежнем виде, произносил напыщенные речи о том, как жестоко было бы лишить пастухов из отдаленных горных поселений их единственной радости — участия в делах государственных; высказывался он и о вещах куда более заветных, а именно о причинах, заставлявших его опасаться скорее кантонов аристократических. Не однажды он подчеркивал, как много значит Швейцария для Франции. Говорил он рублеными фразами, которые следовало считать исполненными глубокого смысла и принимать за прорицания. Жрецы могут изрекать прорицания, когда им вздумается, однако сила прорицателя зависит не от глубины его мыслей, а от числа поддерживающих его штыков. Слова первого консула запечатлены в протоколе его беседы со швейцарскими депутатами: «Объявляю, что с тех пор, как я возглавляю правительство Франции, ни одна держава не озаботилась судьбою Швейцарии; Гельветическая республика обязана своим признанием в Люневиле не кому иному, как мне; австрийцы об этом и не подумали. В Амьене я намеревался продолжить начатое, Англия воспротивилась, но Англии нет дела до Швейцарии. Выскажи англичане опасение, что я желаю провозгласить себя ландманом, я бы им стал. Поговаривали о причастности Англии к последнему восстанию. Сделай английский кабинет официальное заявление на этот счет, промелькни в лондонских газетах хоть одно слово об этом предмете, *я бы вас присоединил».* Что за невероятные речи! Итак, существованию в центре Европы народа, который в течение пяти столетий ценою самых героических усилий отстаивал свою

независимость, мог быть положен конец из-за дурного настроения одного-единственного человека; между тем нечаянно испортить настроение этому человеку, капризному от природы, было легче легкого. В том же разговоре Бонапарт признался, что не хочет заниматься сочинением Конституции, ибо, взявшись за подобное дело, рискует быть освистанным, а это ему неприятно. Признание это отмечено печатью той мнимо любезной вульгарности,[295] которую Бонапарт выказывал с большой охотой. Посредническую конституцию для Швейцарии под диктовку первого консула сочинил Рёдерер, а французские войска тем временем стояли на швейцарской территории. Позже Бонапарт вывел их оттуда и вообще, следует признаться, обращался с этой страной — впрочем, полностью порабощенной в политическом и военном отношении — лучше, чем с прочими странами Европы; именно поэтому она впоследствии не присоединилась ко всеобщему восстанию против императора. Терпение европейских народов было так велико, что истощить его оказалось под силу одному лишь Бонапарту.

Между тем дело шло к расторжению Амьенского мирного договора;[296] Бонапарт собирал силы для самой желанной из войн — войны с Англией. Он основал Французский банк,[297] приводил в порядок финансы, а при этом продолжал вести войну и ставил во главу угла не мир в Европе и не интересы Франции, а самого себя; по этой причине он возвращал долги лишь тем, кто мог быть ему полезен в будущем; ему не приходило в голову, что справедливость есть вещь, не зависящая от житейских обстоятельств и, однако же, лежащая в основе всего жизненного устройства. Именно из-за этого отсутствия у него понятия о справедливости он не умел получать кредитов; ведь кредиты — единственное благо, которое деспотизм не может добыть силой. Меж тем всякой стране, ведущей войну, потребны дополнительные средства, и, не имея кредитов, Бонапарт был вынужден прибегать к контрибуциям.[298] Ограбление чужестранных держав составляло для Бонапарта одну из непременных статей дохода, преходящих, как его собственная жизнь и правление.

Последние мирные дни ушли на завершение Гражданского кодекса, получившего известность под именем Кодекса Наполеона.[299] Это единственная отвлеченная вещь, которой Бонапарт, кажется, придавал некую цену, будучи вдобавок уверен, что сам сумеет обойти собственные законы посредством чрезвычайных военных трибуналов и тысячи других способов. Ему нравилось перекраивать жизнь других народов по тому лекалу, какое он изготовил в своем

Государственном совете. Он с таким же удовольствием предписывал всем народам новые законы, с каким заставлял итальянцев и немцев говорить по-французски: на тогдашнем языке это называлось *денационализацией*.[300] Иные из членов Бонапартова Государственного совета дерзали порой возражать ему, ссылаясь на декреты, изданные некогда им же самим, однако собственные мнения, высказанные вчера, выводили его из терпения так же легко, как и мнения чужие; однажды в ответ на подобные возражения он сказал: «Мы приняли этот закон, заботясь об интересах народа; так вот, сейчас интересы народа требуют, чтобы мы приняли закон, противоположный прежнему».[301] Революционеры эпохи Террора совершенно справедливо нарекли свое правительство Комитетом общественного спасения; трудно придумать выражение более емкое и более удобное для оправдания любого произвола.

Английские газеты довольно резко нападали на первого консула; англичане — люди просвещенные и потому не могли не понять, к чему клонятся все действия этого человека. Ничто не раздражает его так сильно, как свобода печати. В самом деле, поскольку тирания прибегает к хитрости даже охотнее, чем к силе, деспот-узурпатор пуще всего опасается гласности; батюшка часто говорил мне, что одна-единственная свободная газета, выходящая во Франции, причинила бы Бонапарту гораздо больше зла, нежели стотысячная армия. Те, кто беспрестанно толкует о военных методах, забывают, что во многих отношениях они зависят от общественного мнения и что, пусть даже армия осознает какие- то вещи позже остальных частей нации, рано или поздно и она также начинает видеть все в истинном свете. Всякий раз, когда Бонапарту показывали перевод английских газет, он устраивал сцену послу Англии, на что тот с величайшим хладнокровием отвечал, что даже английский король не защищен от журналистских насмешек, а преследовать газетчиков за их сарказмы не позволяет Конституция.[302] Коротышка Бонапарт вился вокруг рослого красавца лорда Уитворта, не в силах ни расправиться с ним, ни оставить его в покое; точно так же недосягаемы оставались для Бонапарта и принципы английской свободы. Впрочем, против Пельтье за напечатанные в его газете статьи, оскорбившие первого консула, возбудили судебное дело.[303] Защищал Пельтье г-н Макинтош, произнесший по этому поводу прекраснейшую из речей: впоследствии я расскажу, при каких обстоятельствах мне довелось ее прочесть.

Бонапарт захватил Ганновер;[304] он расширил свои итальянские владения; его войска занимали Швейцарию и Голландию. Он неистовствовал, требуя, чтобы, в соответствии с

Амьенским договором, англичане вывели свои войска с острова Мальта и тем самым лишились единственного порта в Средиземном море.[305] Заключение Амьенского договора было большой ошибкой; предлогов для возобновления войны оставалось предостаточно даже и после его подписания, однако по сравнению с великим делом свободы, на защиту которого англичане намеревались встать, те требования, которые они предъявили в своем манифесте, были уж чересчур незначительны; речь шла о выводе французских войск из Швейцарии и Голландии, о предоставлении Италии и Ганноверу права самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Благороднейшая из всех войн, какие вело общество после Рождества Христова, началась по видимости с заурядного дипломатического спора. Англичане считают ниже своего достоинства объясняться с Европой; красноречие они сберегают для внутреннего употребления. Между тем им следовало бы заботиться и о мнении жителей континента, имеющих немалое влияние на европейские дела. Бонапарт, воображая себя королем, разослал всем архиепископам и епископам Франции циркулярное письмо с просьбой молиться об успехе его войска. Горе тем, кто повиновался! Тот же самый архиепископ Эксский, который за эти годы стал архиепископом Турским и которому уже нечего было терять, в своем послании призвал паству объединиться вокруг правительства по-отечески заботливого и просвещенного, неколебимого и законного.[306]

В эти дни один из моих друзей навестил старшего Порталиса, тогдашнего министра вероисповеданий.[307] Министр был вне себя от радости. «Вы читали послание архиепископа Турского? — спросил он. — По-моему, он отдает должное достоинствам первого консула. Мы, разумеется, в похвалах не нуждаемся! Но одно словечко там сказано весьма удачно: законное правительство. Законное, слышите? Человек, короновавший Людовика XVI, назвал наше правительство законным. Ничего другого нам и не требовалось». Странная вещь: тираны, почитающие себя вправе угнетать нации, более всего тревожатся о том, законно ли они взошли на престол! В тирании они сознаются куда охотнее, чем в узурпации.

Накануне объявления войны Бонапарт, принимая в Тюильри лорда Уитворта, всякий раз подвергал английское правительство самым неприличным нападкам, подкрепляя слова яростными жестами, столь же смешными, сколь и подлыми. Лорд Уитворт, разумеется, старался не подпускать первого консула к себе слишком близко и для этого выставлял вперед ногу; вдобавок сам он находился под защитой рослых и статных англичан, имевших

весьма внушительный вид.[308] Бонапарт не мог постичь, отчего громы и молнии, которые он обрушивает на голову английского посла, не производят обычного действия и не рождают ни малейшего страха; между его безумной яростью и настоящим умом пролегало море, а также — что куда важнее — гордость и независимость. Зачем Бонапарт так часто устраивал подобные сцены представителям иностранных держав, аккредитованным при его дворе? Быть может, скажут мне, он не умел владеть собой, а в таком случае все ваши рассуждения о его характере неверны? Нет, все дело в том, что он полагает — и имеет достаточно оснований полагать, — что его слова вселяют во всех, кто его слушает, безграничный страх. Прежде чем европейские нации пробудились ото сна, Европа знала лишь одну разновидность храбрости — военную, меж тем людям, выказывавшим величайшую отвагу на поле боя, решительно недоставало твердости характера, а тех, чей характер слаб, легче всего смутить резкими речами, устрашающими куда больше, чем самые чудовищные поступки; на англичан, однако, все подобные средства не оказывали ни малейшего воздействия, и пускать их в ход против них было не слишком умно. Впрочем, я уже говорила и не устану повторять: людей, движимых убеждениями, а не корыстью, Бонапарт не понимает; подобно тому как крестное знамение, по преданию, отнимает силу у дьявола, так чужая совестливость отнимает разум у императора.

Я жила в Женеве, вращаясь по собственной склонности и по воле обстоятельств в кругу англичан,[309] когда до Швейцарии дошла весть о новой войне. Начались разговоры о том, что английских путешественников объявят пленными.[310] Поскольку ни в одной стране международное право никогда не предусматривало ничего подобного, я этим слухам не поверила и уверенность моя едва не навредила некоторым из моих друзей; все же они сумели спастись. Однако люди, совершенно чуждые политике: лорд Беверли, отец одиннадцати детей, возвращавшийся из Италии с женой и дочерьми,[311] а также сотня других англичан, которые, запасшись французскими паспортами, приехали на континент заниматься науками, слушать курсы в университетах или поправлять здоровье под южным солнцем и путешествовали под охраной законов, принятых всеми нациями, — были задержаны и в течение десяти лет влачили самое жалкое существование, какое только можно вообразить, во французских провинциальных городах. Этот возмутительный поступок не преследовал никакой практической цели; в общей сложности жертвами этой прихоти тирана, который, желая досадить могущественной нации, решил причинить страдания

нескольким несчастным ее представителям, сделались от силы две тысячи англичан, по большей части не имевших никакого отношения к армии.

Великий фарс, именуемый подготовкой к высадке в Англии, начался летом 1803 года.[312] Во всех концах Франции строились плоскодонные судна; их сколачивали в лесах, на обочинах больших дорог. Французы, наделенные во всех областях немалой способностью к подражанию, наперебой обтесывали доски и фразы: одни возвели в Пикардии триумфальную арку в честь Бонапарта, на которой написали «Дорога в Лондон»;[313] другие просили «Великого Бонапарта»: «Позвольте нам взойти на корабль, который доставит Вас *в Англию,* чем решит участь французского народа и удовлетворит его жажду мщения». Этот корабль, на который должен был взойти Бонапарт, навсегда остался в гавани. Третьи выводили на флагах, реющих над их кораблями: «Попутного ветра и тридцатишестичасового плавания». Одним словом, вся Франция предавалась похвальбе, истинную цену которой знал только сам Бонапарт.

Бонапарт терпеть не может свободную прессу, однако обожает прибегать к услугам прессы раболепной. Газеты изъясняются по его приказу на тысячу разных ладов. Он сознает важность общественного мнения и неустанно обрабатывает его, подавая пример другим. Здесь, впрочем, следует добавить, что нигде слова не обладают такой заразительностью, как во Франции. Жители этой страны, бесстыдные завсегдатаи ее салонов, с восторгом повторяют фразы, вычитанные в газетах, и вышивают, каждый на свой манер, узоры по одной данной свыше канве. Один из Бонапартовых журналистов, капрал-грамотей, горько оплакивал участь свободы в Англии: свободе этой, по его мнению, не могло не положить конец увеличение численности пехоты, вызванное страхом перед высадкой французов. Нельзя не увидеть в этой заботе французского журналиста об английской свободе образцовое человеколюбие, заставляющее печься о ближнем больше, нежели о себе самом. Бонапарт приучал Францию к воинской повинности, неумеренное использование которой превратило впоследствии всю Европу в один военный лагерь. Он возбуждал воображение публики разводами караулов, посещениями морских портов, осмотром антверпенской верфи в обществе г-жи Бонапарт.[314] Он предпринимал все, что может предпринять человек, который, не имея возможности воззвать ни к истине, ни к религии, ни к патриотизму, стремится всеми другими способами заставить сограждан пожертвовать собою ради блага единоличного правителя и добивается успеха, ибо сограждане надеются получить в случае победы свою часть от

общей добычи. С той поры вся Европа исполнилась эгоизма, который ее и погубил. Пруссия спокойно наблюдала за тем, как французы завоевывают Ганновер, ибо надеялась получить его в свое распоряжение. Россия предоставила французам диктовать свои законы в Гамбурге и других портах на Балтике. Несчастная Испания, которая вскоре первой испытала на себе, что значит полностью лишиться свободы, в то время жила под властью тупоумного Карла IV, подписавшего с Францией договор о союзе наступательном и оборонительном.[315] Бонапарт очень скоро понял, что, пользуясь принципом «разделяй и властвуй», сможет без труда подчинить себе европейские страны, которые, вместо того чтобы единым фронтом выступить против могучего Левиафана, грозившего их поглотить, искали способа предать соседа, а затем поживиться его имуществом. Никогда еще прежде три великие державы — Австрия, Пруссия и Россия — не действовали заодно; в сменявших одна другую войнах они то и дело разрывали союзнические отношения, словно желая непременно сразиться с французами один на один.[316]

Настала осень 1803 года; я решила, что Бонапарт обо мне забыл;[317] из Парижа мне писали, что он всецело поглощен подготовкой к экспедиции в Англию и намерен вскоре отправиться на побережье, дабы лично руководить высадкой. Я в это верила мало, однако льстила себя надеждой, что он позволит мне жить неподалеку от Парижа в обществе немногочисленных друзей, у которых достало бы смелости навещать опальную особу в ее новом убежище. Я полагала также, что первый консул предпочтет избежать шума, который мое изгнание непременно вызовет в Европе. Я принимала желаемое за действительное, ибо не знала характера того, кому предстояло подчинить себе всю Европу. Он не только не желал оберегать людей выдающихся, в какой бы области они ни подвизались, но, напротив, стремился превратить всех, кто чем-либо отличался от толпы, в пьедестал для самого себя и либо втаптывал их в грязь, либо заставлял служить своим интересам.

Я приехала в деревушку в десяти лье от Парижа, намереваясь проводить зимы в этой глуши до тех пор, пока тирании Бонапарта не настанет конец.[318] Живя здесь, я могла бы видеться с друзьями, а изредка посещать театры и Музей.[319] Ничего большего мне не приходилось ждать от Парижа, где уже начинала господствовать атмосфера недоверия и шпионства; признаюсь, что не понимаю, чем могла помешать императору[320] моя жизнь в этом добровольном изгнании. Я проводила там время самым покойным образом, но тут женщина, каких много, вознамерившись прославиться за счет другой женщины,

пользующейся большей известностью, не нашла ничего лучше, чем сообщить первому консулу, что на дорогах проходу нет от людей, спешащих увидеться со мной.[321] Разумеется, во всем этом не было ни слова правды. Несчастные, впавшие в немилость, пользовались сочувствием многочисленных доброжелателей в XVIII столетии, когда изгнанники имели почти столько же силы, сколько и короли, их на изгнание обрекавшие; впрочем, власть, встречающая сопротивление, не заслуживает названия тирании: тиранов создает всеобщая покорность.[322] Как бы там ни было, Бонапарт воспользовался предлогом или поводом, ему предоставленным, для того чтобы удалить меня из Франции; один из моих друзей предупредил меня, что вскоре ко мне прибудет жандарм и прикажет уехать.[323] Жители стран, где привычный порядок жизни, каков бы он ни был, защищает обывателей от всякой несправедливости, не могут даже вообразить себе того состояния, в какое погружают человека иные распоряжения тирана. Вдобавок я по природе очень впечатлительна и охотнее предаюсь отчаянию, нежели надеждам; поэтому, хотя я неоднократно убеждалась в том, что новые впечатления развеивают печаль, всякий раз, когда на меня обрушивается новая беда, мне кажется, что избавление не придет никогда. В самом деле, легче всего быть несчастным, особенно если мечтаешь подняться над уровнем посредственности.

Я тотчас покинула свой приют и переселилась в дом женщины доброй души и острого ума, с которой, не стану скрывать, свел меня человек, занимавший высокий пост в правительстве Бонапарта.[324] Я никогда не забуду отваги, с которой он протянул мне руку помощи; впрочем, следует сказать, что, вознамерься он сделать то же доброе дело сегодня, это лишило бы его безмятежной жизни в отечестве. Чем больше мы потакаем тирании, тем могущественнее она становится; она вырастает в наших глазах, подобно призраку, однако гнетет нас куда сильнее. Итак, я оказалась в поместье женщины, едва мне знакомой, среди общества, совершенно мне чуждого, во власти мучительной скорби, которую не желала обнаруживать. По ночам вместе с горничной, верно служившей мне уже несколько лет,[325] я стояла у окна, пытаясь угадать, не скачет ли к дому жандарм, а днем старалась держаться как можно более любезно, скрывая от окружающих истинное положение дел.[326] Из этого имения я отправила Жозефу Бонапарту письмо с рассказом — как мне кажется, вполне правдивым — о своих невзгодах.[327] Притязания мои не простирались дальше возможности жить в уединенном месте на расстоянии двенадцати лье от Парижа; меж тем я с горечью предчувствовала, что меня хотят лишить даже этого и

что, осужденная на изгнание, я буду вынуждена проститься с этой мечтой надолго, а то и навсегда. Жозеф и его брат Люсьен великодушно старались сделать все, что могли, для моего спасения; из дальнейшего рассказа станет ясно, что они были не одиноки.

Г-жа Рекамье, женщина, чья прославленная красота — не что иное, как выражение прекрасного характера, предложила мне пожить в ее имении Сен-Брис, в двух лье от Парижа.[328] Я опрометчиво согласилась; в ту пору я не подозревала, что могу повредить даже особе, бесконечно далекой от политики, и что ей придется расплачиваться за великодушие, с каким она пришла мне на помощь. В ее доме собиралось общество в высшей степени приятное; там я наслаждалась напоследок всем тем, с чем мне предстояло проститься. Именно в эти тревожные дни я получила возможность познакомиться с речью г-на Макинтоша в защиту Пельтье;[329] портрет якобинца, который во время Революции безжалостно расправлялся с детьми, стариками и женщинами, а теперь пресмыкается перед корсиканцем, отнимающим у него всю ту свободу, ради которой он, по его утверждению, взялся некогда за оружие, — портрет этот, нарисованный пером красноречивейшим, растрогал меня до глубины души. Писатели, наделенные высоким талантом, порой, сами того не ведая, умеют во все времена и во всех концах света облегчать страдания несчастных. Вся Франция вокруг меня была погружена в столь глубокое молчание, что этот голос, вторивший моим заветным мыслям, показался мне гласом Небес: был же он гласом свободной страны.

Проведя неделю у г-жи Рекамье в совершенном спокойствии, я решила, что Бонапарт отказался от своих намерений на мой счет. Когда ничто не напоминает об опасности, так естественно увериться в том, что она тебе более не грозит. Твердо зная, что у меня нет ни намерений, ни возможностей нанести вред кому бы то ни было, даже этому человеку, я верила, что он оставит меня в покое, и потому по прошествии нескольких дней вернулась в свой загородный дом, убежденная, что он хотел лишь испугать меня, а до изгнания дело не дойдет. Происшедшего и в самом деле было довольно — не для того, чтобы заставить меня переменить убеждения, не для того, чтобы заставить меня от них отречься, но для того, чтобы навсегда отучить меня от привычек республиканской эпохи, повинуясь которым я позволяла себе высказывания чересчур откровенные.

Однажды — дело было в конце сентября[330] — я обедала в обществе трех своих друзей; из окна столовой открывался вид на дорогу, ведущую к дому. В четыре часа пополудни всадник в

сером подъехал к воротам и позвонил; участь моя представилась мне совершенно ясно. Он спросил меня; я приняла его в саду. Пока я шла ему навстречу, благоухание цветов и сияние солнца поразили меня. Сколь различны ощущения, вселяемые в нашу душу обществом и природой! Приезжий отрекомендовался командиром версальских жандармов; ему велели не надевать мундира, сказал он, чтобы не испугать меня. Он показал мне бумагу, подписанную императором и содержавшую приказание в двадцать четыре часа удалиться от Парижа на расстояние сорока лье; впрочем, составлена она была в таких выражениях, в каких подобает обращаться к женщине, чье имя снискало некоторую известность. Он прибавил, что, будучи иностранкой, я подлежу ведению полиции;[331] эта предупредительность по отношению к личной свободе французских подданных оказалась весьма недолговечной; очень скоро французов и француженок стали обрекать на изгнание без суда и следствия. Я отвечала жандарму, что двадцать четыре часа на сборы дают только рекрутам, а не женщине с детьми, и предложила ему сопроводить меня в Париж, где я за три дня устроила бы свои дела перед отъездом. Он согласился, и я отправилась в столицу в собственном экипаже вместе со своими детьми и этим офицером, на которого возложили обязанность сопровождать меня, потому что он слыл самым начитанным из жандармов. В самом деле, он принялся хвалить мои сочинения. «Как видите, сударь, участь умной женщины незавидна, — отвечала я, — если кто-нибудь из членов вашей семьи захочет пойти по этому пути, прошу вас, отговорите их». Я искала опоры в гордости, однако сердце мое терзала боль.

В доме г-жи Рекамье, куда я совсем ненадолго заехала по дороге, я повстречала генерала Жюно; в угоду г-же Рекамье он обещал назавтра поговорить обо мне с первым консулом. Генерал исполнил обещание и говорил с большим жаром. Казалось бы, Бонапарт должен был прислушаться к просьбе человека, чей редкостный военный талант ему так необходим,[332] тем более что просил тот всего-навсего о снисхождении к женщине; однако Бонапартовы генералы добиваются от него неисчислимых милостей только для самих себя, влияние же их во всех прочих делах ничтожно. Когда они просят денег или чинов, Бонапарт находит это вполне приличным; это его нисколько не возмущает, ибо лишь увеличивает их зависимость; если же — что случается очень редко — они вознамериваются встать на защиту несчастных или воспротивиться некоей несправедливости, Бонапарт тотчас дает им понять, что они не что иное, как орудия для поддержания рабства, и сами обязаны покоряться власти, точно рабы.

В Париже я остановилась в доме, который наняла так

недавно, что пожить в нем еще не успела;[333] выбирала я его с великим тщанием, воображая, как буду беседовать в гостиной с любимыми друзьями; такие беседы, по моему глубокому убеждению, — первейшее из удовольствий, доступных человеку. Я вошла в этот дом, твердо зная, что мне придется тотчас же из него уйти; ночами я гуляла по комнатам, и радости, какие я могла бы здесь испытать, казались мне тем более пленительными, чем менее они были доступными. Жандарм мой каждое утро навещал меня и, словно в сказке о Синей Бороде, задавал один и тот же вопрос;[334] он спрашивал, готова ли я к отъезду, а я всякий раз имела слабость просить его еще об одном дне отсрочки. Друзья ежедневно приезжали ко мне обедать; порой, словно стремясь показать, что чаша грусти испита до дна и в ней не осталось ни капли, мы веселились; готовясь к столь долгой разлуке, мы стремились обходиться друг с другом как можно более любезно. Друзья говорили мне, что этот жандарм, всякий день являющийся ко мне, напоминает им о временах Террора, когда палачи так же исправно приходили за своими жертвами.

Кого-то, возможно, удивит, что я сравниваю изгнание со смертью,[335] однако сам Болингброк считал возможным обсуждать, какая из этих кар страшнее.[336] Цицерон мужественно принял весть о проскрипции, но изгнания перенести не смог.[337] Люди чаще выказывают мужество, поднимаясь на эшафот, чем прощаясь с родиной. Во всех судебных уложениях к пожизненному изгнанию присуждают за тягчайшие преступления, во Франции же по прихоти одного человека на любого может обрушиться та кара, к какой совестливые судьи приговаривают даже самых страшных злодеев лишь скрепя сердце.

Изгнание во всех видах — начиная от высылки из Парижа или из Франции и кончая заточением в замке — средство устрашения, к которому император Наполеон, стремясь принудить к повиновению французское хорошее общество, прибегал охотнее всего. Французы так дорожат жизнью в родной стране, изобилующей изысканными и разнообразными светскими наслаждениями, что изгнание из отечества причиняет им куда больше мучений, чем представителям любого другого народа. Императору хорошо известна эта особенность его подданных; поэтому он так часто карает их изгнанием, допуская еще больше произвола, чем во всех прочих случаях. Тюремное заключение и смертная казнь вызывают в народе сочувствие и трепет, приуготовляющие его к сопротивлению. Поэтому к подобным средствам деспоту приходится прибегать лишь в случаях исключительных. Пролитие крови требует дополнительных усилий даже от того, кого оно не пугает во всех прочих

отношениях, а дополнительные усилия тяжелы. Другое дело — высылка; это мера по видимости столь покойная, столь умеренная, что всякий деспот предпочтет ее любым другим, более громким наказаниям; ведь отправляя неугодных в изгнание, он вселяет в души очень много страха, производя в обществе очень мало шума. Я, однако, без труда могу доказать, что из всех средств, предоставленных государю, изгнание есть мера самая опасная именно по причине легкости, с какою к ней прибегают, и самая пагубная по причине последствий, к каким она приводит. Общественное мнение в странах, где, как во Франции, люди не привыкли уважать свободу граждан, неохотно заступается за изгнанников. Выказать сочувствие к ним значит самому подвергнуться опасности быть изгнанным, меж тем в странах, где издавна царит произвол, люди забывают, что чужого горя не бывает и что одолеть тиранию в одиночку невозможно: противостоять ей надобно сообща.

Мало того, что изгнанники лишаются возможности жить согласно собственным вкусам и привычкам, они еще и становятся легкой добычей для насмешников; ведь подобно тому как любое лицо нетрудно изобразить в карикатурном виде, в существовании всякого человека нетрудно обнаружить комические стороны, стоит только взглянуть на него без сочувствия и энтузиазма. К чему же, однако, приводят эти шутки, варварские и легкомысленные разом? Рано или поздно всех, кто отпускал их, желая потрафить властям, ожидает та же самая участь, ибо и подлец, каким бы изобретательным он ни был, не всегда может избегнуть гнева человека, который начинает видеть в человеческих существах источник раздражения, лишь только перестает считать их покорным орудием. Страдания изгнанников мало кто принимает всерьез, а между тем один из них умирает вдали от близких, которые возвратили бы его к жизни, другой не может присутствовать при последних минутах родителей, третья вынуждена влачить дни в разлуке с детьми и супругом, четвертый теряет любовь, составлявшую счастье его жизни, пятый лишается всего состояния, шестой, забытый и заброшенный, утрачивает способности и таланты. Перед изгнанником стоит выбор: либо проститься с собственным достоинством и тем заслужить право возвратиться на родину, либо проститься с привычными радостями жизни и такой ценой сохранить верность своим убеждениям. Ссылка губительна для самых драгоценных пристрастий человеческих. Мысль о ней неотвязно преследует воображение, отравляя все желания, все планы, все надежды.

Мое положение было не так горестно, как у других изгнанников: я могла обрести кров и состояние в Швейцарии —

отечестве моих родителей. Тем не менее я жестоко страдала. Поэтому я почитаю себя вправе объяснить, отчего не следует дозволять государям по собственному произволу изгонять людей из страны. Ни один депутат не станет свободно выражать свои мысли, ни один писатель не осмелится более доверить свои чувства бумаге, если будет знать, что может быть приговорен к изгнанию за неугодную властям откровенность. Ни один человек не осмелится говорить искренне, если будет опасаться, что может поплатиться за это счастием всей своей семьи. Особенно же осторожными сделаются женщины: призванные ободрять и вознаграждать людей, исполненных энтузиазма, они станут подавлять великодушные чувства, ими владеющие, ибо в противном случае им придется либо расстаться с возлюбленными, либо принести в жертву собственное благополучие, последовав за ними в ссылку.

Накануне последнего дня в Париже, мне дарованного, Жозеф Бонапарт предпринял последнюю попытку вступиться за меня; что же касается его жены — существа, отличающегося бесконечной кротостью и бесхитростностью, — то она была так добра, что приехала ко мне и пригласила провести несколько дней в их имении Морфонтен.[338] Я приняла приглашение с благодарностью, ибо меня не могла оставить равнодушной заботливость Жозефа, предложившего мне приют в то самое время, когда брат его обрушил на меня гонения. В Морфонтене я провела три дня; хозяин и хозяйка дома держались со мною донельзя любезно, однако положение мое было тягостно. Я видалась только с людьми, стоящими у кормила власти, я находилась среди членов того самого правительства, которое объявило мне войну, но не имела права говорить с ними о своих страданиях; простейшие правила учтивости предписывали мне, если я не хочу прослыть неблагодарной, скрывать свои чувства. Со мной был только старший сын, еще слишком юный для того, чтобы я могла обсуждать с ним предметы такого рода.[339] Итак, я проводила часы напролет в созерцании парка Морфонтен — одного из прекраснейших во Франции; участь его владельца, ведшего в ту пору существование самое покойное, казалась мне достойной зависти. С тех пор его самого отправили в изгнание, увенчав чужестранными коронами; не сомневаюсь, что вдали от родины он сожалел о прекрасном морфонтенском приюте.[340] Я колебалась, не зная, на что решиться — возвратиться ли к батюшке или поехать в Германию? Батюшка принял бы бедную птичку, чьи крылья истрепала буря, с бесконечной добротой,[341] но мысль о возвращении не по доброй воле в страну, которую я, к негодованию ее обитателей, находила несколько однообразной,

была мне неприятна.[342] Вдобавок я надеялась, что добрый прием, какой сулили немцы, поможет мне забыть об оскорблении, нанесенном первым консулом; я хотела противопоставить благожелательность старинных династий грубости того, кто готовился поработить Францию.[343] К несчастью, голос самолюбия взял верх; возвратись я в Женеву, я еще успела бы увидеться с батюшкой.

Я попросила Жозефа узнать у брата, могу ли я отправиться в Германию; ведь я нуждалась в покровительстве французского посла или, по крайней мере, хотела знать наверное, что, высланная из Франции как иностранка, за границей не подвергнусь преследованиям как француженка. Ответа я ожидала на постоялом дворе в двух лье от Парижа, не смея возвратиться в город.

Я провела там день; ответа не было. Не желая дольше оставаться в трактире и тем самым привлекать к себе внимание, я двинулась вдоль парижских застав в поисках другого постоялого двора, который бы также находился от города на расстоянии двух лье.[344] Эта скитальческая жизнь в виду столицы, где жили мои друзья и находился мой собственный дом, причиняла мне боль, которую я не могу вспомнить без содрогания. Как сейчас вижу комнату, у окна которой я стояла с утра до вечера, тщетно ожидая посланца императора; тысяча тягостных мелочей — неизбежных спутниц несчастья, чрезмерное великодушие одних друзей, тайный расчет других — все это вселяло в мою душу тревогу столь мучительную, что я не пожелала бы ее ни одному врагу, за исключением деспота, бывшего моим гонителем. Наконец, письмо, на которое я возлагала последнюю надежду, прибыло. Жозеф прислал мне превосходные рекомендательные письма, адресованные берлинским властям, и пожелал счастливого пути тоном самым благородным и самым ласковым.

Итак, настала пора ехать. Бенжамен Констан — тот самый друг, которого исключили из состава Трибуната,[345] человек острого ума — вызвался сопровождать меня, однако он любил Париж не меньше моего, и сознавать, что он жертвует мне своим благополучием, было мучительно.[346] Чем дальше уносили нас лошади от столицы, тем сильнее я страдала; когда кучера похвалялись быстрой ездой, я не могла сдержать вздоха: так мало радости доставляла мне их услужливость. Я проехала сорок лье, так и не придя в себя.[347] Наконец мы прибыли в Шалон, и тут Бенжамен Констан, призвав на помощь свой изумительный ум, сумел хотя бы на несколько мгновений рассеять владевшее мною уныние.[348]

Назавтра мы вновь двинулись в путь и добрались до Меца, где я хотела остановиться и дождаться вестей от батюшки. В Меце я провела две недели[349] и повстречалась там с любезнейшим и умнейшим из людей, рожденных Францией совместно с Германией, — г-ном Шарлем де Виллером.[350] Наслаждаясь его речами, я, однако, еще сильнее тосковала о том, чего лишилась, — о парижском обществе, где собеседники чувствуют и говорят в полном согласии друг с другом.

Обращение со мною Бонапарта возмутило батюшку; мысль о том, что его родных изгоняют, точно преступников, из страны, которой он служил верой и правдой, была для него нестерпима. Он сам посоветовал мне провести зиму в Германии и возвратиться в Женеву не раньше весны. Увы! увы! Я рассчитывала поделиться с ним теми новыми идеями, какими обогатило бы меня это путешествие. Уже много лет он часто повторял мне, что с миром его связывают одни только мои рассказы и письма. Ум его отличался такой живостью и проницательностью, что беседа с ним не только доставляла удовольствие, но и подстегивала мысль. Я смотрела вокруг, чтобы живописать ему увиденное, слушала, чтобы повторить услышанное. С тех пор как его нет со мной, я вижу и ощущаю вполовину меньше, чем когда стремилась порадовать его картиною моих впечатлений.

Как только мы приехали во Франкфурт, моя дочь, которой в ту пору исполнилось пять лет, опасно заболела.[351] Во Франкфурте у меня не было ни единого знакомого. Все кругом говорили на чужом языке; врач, лечивший мою девочку, не знал французского.[352] О! Как страдал за меня батюшка! Какие письма он мне присылал! Сколько медицинских советов, переписанных его рукой, получила я из Женевы! Ни у одного человека чувства и разум не пребывали в таком согласии; ни один человек не сострадал так живо, как он, невзгодам своих друзей, не приходил так охотно им на помощь, не выбирал так тщательно способы их поддержать, одним словом, не был во всякую минуту так достоин восхищения. Я говорю все это по зову души, ведь батюшке теперь нет дела даже до суда потомков.

Приехав в Веймар,[353] я немного воспрянула духом, ибо недостаточное знание языка[354] не могло помешать мне понять, что здешние края изобилуют умственными богатствами, каких не сыщешь во Франции. Я научилась читать по- немецки, я беседовала с Гёте и Виландом, превосходно владевшими французским. Я поняла, как чиста душа и как велик талант Шиллера, хотя он изъяснялся по- французски с большим трудом. Общество герцога и герцогини Веймарских нравилось мне чрезвычайно, и я провела в Веймаре три месяца, в течение которых изучение немецкого языка довольно занимало мой ум, чтобы не позволить ему вконец истерзать меня.[355]

Затем я переехала в Берлин[356] и познакомилась там с пленительной королевой, на которую обрушились впоследствии такие страшные несчастья.[357] Король встретил меня радушно; вообще должна признаться, что за полтора месяца, проведенные в этом городе, я не услышала ни единой жалобы на

несправедливость властей. Я по-прежнему убеждена, что всякой стране потребны конституционные формы, которые обеспечивали бы ей, с помощью постоянного волеизъявления нации, те преимущества, какими при правлении монархическом она бывает обязана лишь доброте короля, занимающего престол.[358] В царствование того государя, который правит ею ныне, Пруссия располагала всеми этими преимуществами, однако общественный дух, развившийся впоследствии под влиянием невзгод,[359] здесь в ту пору еще не зародился. Военный режим мешал общественному мнению войти в силу, а отсутствие конституции, которая позволила бы каждому быть ценимым согласно его достоинствам, лишало государство талантливых слуг, способных встать на его защиту. Милость короля, беззаконная по определению, не может возбудить в подданных дух соревнования;[360] нередко случайности придворной жизни отстраняют человека выдающегося от кормила власти и выдвигают наверх человека ничтожного. Вдобавок в странах, где королевская власть не знает ограничений, на удивление велико могущество привычки; король почитает справедливым сохранять за каждым отведенное ему место; случаи, когда человека уволили бы из гражданской или военной службы за неспособность исполнять свои обязанности, были в Пруссии наперечет. Неудивительно, что французская армия, составленная почти полностью из людей, которые выросли из земли, словно солдаты Кадма, и которых Французская революция закалила так же, как закалили аргонавтов зубы ужасного дракона,[361] одерживала победу за победой! Неудивительно, что она теснила прусских генералов, не умевших воевать иначе как по старинке![362] Честный король, не имеющий счастья — я намеренно прибегаю именно к этому выражению — опираться, как в Англии, на выборный парламент, из страха употребить во зло свою безграничную власть, руководствуется во всех своих действиях исключительно привычкой; меж тем в нынешние времена следует забыть все старые обыкновения и полагаться только на силу характера и ума. Впрочем, все сказанное не мешало Берлину быть одной из счастливейших и просвещеннейших европейских столиц.[363]

Французские писатели оказали Европе важную услугу, внушив большинству государей дух умеренности и любовь к словесности. Однако именно почтение, которое люди просвещенные питали к французскому уму, послужило причиной тех заблуждений, которые в течение долгого времени вели Германию к гибели. Многие немцы полагали, что солдаты корсиканца несут с собой идеи Монтескье, Руссо, а порой даже Вольтера, меж тем как если подручные Бонапарта и вспоминали

порою о мнениях этих великих людей, то двигало ими исключительно желание отбросить то, что они именовали предрассудками, а вовсе не намерение отыскать единый источник возрождения общества.[364] Однако весною 1804 года в Берлине и на севере Германии имелось немало старинных поклонников Французской революции, которые еще не успели заметить, что Бонапарт ненавидит основные принципы этой революции сильнее, чем представители старинной европейской аристократии.[365]

В ту пору я имела честь познакомиться с принцем Людвигом-Фердинандом, чье воинское рвение было так сильно, что не позволило ему пережить первые бедствия отечества.[366] Исполненный пыла и энтузиазма, он, однако, чересчур страстно искал, за неимением славы, сильных впечатлений бытия. В Бонапарте его более всего возмущала привычка клеветать на тех, кого он боялся, и на всякий случай чернить в глазах общества даже тех, кто служил ему верой и правдой, с тем чтобы еще сильнее привязать их к себе. Принц часто говорил мне: «Одно дело убивать, другое — уничтожать нравственно; этого я стерпеть не могу».[367] Вспомните, что мы с принцем познакомились в то время, когда Бонапарт, обожающий втаптывать в грязь человеческое достоинство, подчинил себе все европейские газеты, когда он охотно пользовался возможностью называть на страницах этих газет отважнейших бойцов трусами, а женщин безупречнейшей нравственности — презренными особами, причем ни те, ни другие не могли ни опровергнуть эти оскорбления, ни отомстить за них.

Между тем до Берлина начали доходить слухи о заговоре Моро, Пишегрю и Жоржа. Вне всякого сомнения, вожди республиканской и роялистской партий страстно желали свергнуть первого консула и помешать ему, провозгласив себя императором, установить во Франции порядок еще более деспотический; однако этот заговор, послуживший поводом для бесчисленных злодеяний Бонапарта, был задуман им самим; он управлял заговорщиками с дьявольским искусством, которое следует описать во всех подробностях.

Он отправил в Англию якобинца, который мог заслужить право вернуться на родину, только оказав важные услуги первому консулу. Человек этот, звавшийся Меэ, явился среди эмигрантов, словно Синон, представивший себя жертвой греков, среди троянцев. Эмигрантам, с которыми он имел дело, недоставало ни пороков, ни талантов для разоблачения плутней такого рода. Поэтому Меэ без труда ввел в обман одного старого епископа, одного отставного офицера и нескольких бывших

государственных мужей, управлявших страной в ту пору, когда никто еще не ведал о существовании партий. Позже он написал брошюру, где весьма остроумно высмеял всех, кто ему поверил и кому в самом деле следовало бы возместить отсутствие проницательности твердостью убеждений и держаться подальше от человека, запятнавшего себя дурными деяниями. Всем нам случалось ошибаться, однако того, кто вел себя коварно и жестоко, может простить лишь Господь Бог; лишь он один читает в сердцах достаточно ясно, чтобы понять, в самом ли деле человек переменился. Человеку же следует навсегда проститься с другим человеком, если тот потерял право на его уважение. Агент Бонапарта, притворявшийся его врагом, утверждал, что во Франции есть множество недовольных, готовых поднять восстание. Он ввел в заблуждение даже английского посланника г-на Дрейка. Подданному Великобритании не следовало бы иметь никакого касательства к интригам, измышленным сообща пособниками якобинцев и слугами тирана.[368]

Жорж и Пишегрю, всей душой стоявшие за Бурбонов, тайно приехали во Францию и сговорились с Моро, который желал отстранить от власти первого консула, не посягая, однако, на право французской нации самостоятельно избирать форму правления.[369] Пишегрю рассчитывал поговорить с генералом Бернадотом, но тот отказался, ибо ему не нравилось, как ведется дело: он хотел быть уверенным, что Франция сохранит конституционные свободы. Моро, человек, наделенный безупречной нравственностью, неоспоримым воинским талантом и умом в высшей степени справедливым и просвещенным, позволил себе в разговорах жарко порицать первого консула прежде, чем подготовил всё для его свержения.[370] Для человека благородного весьма естественно выражать свои мнения, не задумываясь о последствиях, однако действия Моро слишком живо занимали первого консула, и потому подобное поведение не могло не погубить генерала. Бонапарту требовался предлог для того, чтобы арестовать человека, выигравшего столько сражений; предлог отыскался если не в делах, то в речах Моро. Но зачем было первому консулу разжигать заговор против самого себя, грозивший ему столькими опасностями? Все дело в том, что он нуждался в предлоге для перемены формы правления; что же касается заговорщиков, то он не сомневался, что сумеет вовремя их остановить.

В ту пору Франция еще сохраняла республиканские формы; люди называли друг друга «гражданами», а между тем повсюду царила самая ужасная несправедливость, та, что освобождает одних от власти законов, а других отдает во власть беззакония.

Счет времени велся, как прежде, по республиканскому календарю; правительство хвастало мирными отношениями со всеми странами континентальной Европы; Законодательному корпусу предписывалось, как он делает и поныне, составлять отчеты о проложенных дорогах и каналах, о построенных мостах и фонтанах — благодеяниях, которые ровно ничего не стоят главе правительства, собирающего налоги с собственной страны и со всей Европы без счета. Одним словом, не существовало никакой явной причины для перемены порядка вещей, при котором Франция, как утверждалось, наслаждалась совершенным благополучием. Требовалось сослаться на заговор, в который были бы замешаны англичане и Бурбоны, разжечь таким образом пыл сторонников Революции и с их помощью, якобы для предотвращения возврата к Старому порядку, ввести во Франции порядок ультрамонархический. Замысел этот кажется весьма сложным, между тем суть его была весьма проста: следовало внушить революционерам, что их интересы в опасности, а затем предложить им помощь и защиту в обмен на окончательный отказ от былых принципов; именно так Бонапарт и поступил.

Впрочем, игру он вел весьма рискованную; ведь враги, которых он под рукою подстрекал к мятежу, могли его убить. Они и в самом деле убили бы его, однако Англия, на которую Бонапарт сотню раз обрушивал самые страшные оскорбления, неизменно отказывалась устранить этого предводителя ада и даже в самых трудных обстоятельствах сохраняла в сношениях с ним верность христианским принципам. Жорж положительно утверждал это на допросе, да и позже первый консул не раз имел случай убедиться в благородстве англичан. Они во всем вели себя по-рыцарски и не считали, что нравственные правила, которые нельзя нарушить ради частных интересов, могут быть попраны во имя интереса государственного.[371]

Пишегрю, прежде бывший чистым республиканцем, сделался столь же чистым роялистом: убеждения его просто вывернулись наизнанку. Пишегрю мог похвастать скорее сильным характером, нежели выдающимся умом, впрочем, и ум, и характер его были такого рода, что увлечь толпу он не умел.[372] Жоржа, человека более пылкого, ни воспитание, ни природа не предназначали к роли вождя. Когда в Париже узнали о заговоре, то арестовали Моро; власти тотчас перекрыли заставы и объявили, что всякого, кто даст приют Пишегрю или Жоржу, ждет смертная казнь; все меры, к которым прибегали некогда якобинцы, были взяты ради того, чтобы защитить жизнь одного-единственного человека.[373] Сам о себе он столь высокого мнения, что, когда дело идет о его безопасности, готов на все; но этого мало: он нарочно стремился

запугать французов и оживить в их памяти воспоминания о Терроре, дабы они ощутили необходимость просить у него защиты от тех беспорядков, которые он сам же и разжигал всеми доступными ему способами. Пишегрю отыскали в доме, где он укрывался от преследований, а Жоржа арестовали в кабриолете: лишившись пристанища, он днем и ночью ездил по городу, пытаясь ускользнуть от полиции. Агент, арестовавший Жоржа, получил в награду крест Почетного легиона.[374] По моему убеждению, французским военным следовало бы отплатить ему совсем иначе.

«Монитёр» пестрил письмами, в которых первого консула поздравляли со спасением; это бесконечное повторение одних и тех же фраз в посланиях, пришедших из разных концов Франции, обличает единодушное приятие рабства, подобного которому не сыщешь нигде в мире. Листая «Монитёр» за разные годы, видишь статьи о свободе, деспотизме, философии, религии, в которых представители разных департаментов и добрых старых городов Франции исхитряются повторять одно и то же в разных выражениях, и удивляешься: неужели умнейшие из французов в своих писаниях притязают только на блестящую форму и не стремятся хоть раз в жизни высказать идеи, которые принадлежали бы им самим; можно подумать, будто им довольно соревноваться в звучности слов. Эти изобилующие восклицательными знаками гимны извещали, что во Франции все спокойно, а немногочисленные агенты коварной Англии арестованы. Нашелся, правда, генерал, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, вздумал объявить, что англичане разбросали на побережье Нормандии семена хлопчатника из Леванта, чтобы заразить французов чумой; однако нетрудно было догадаться, что все эти вздорные вымыслы продиктованы не чем иным, как желанием потрафить генералу Бонапарту; казалось бы, теперь, когда главные заговорщики, равно как и их помощники, находились в руках властей, спокойствие во Франции было восстановлено; между тем первому консулу требовалось совсем иное.

В Берлине я жила на набережной Шпрее; квартира моя находилась в первом этаже.[375] Однажды в восемь утра меня разбудили известием о том, что принц Людвиг-Фердинанд гарцует верхом подле моего окна и желает говорить со мной.[376] Изумленная столь ранним визитом, я поспешила одеться и выйти к нему. Принц сидел в седле с бесподобным изяществом; волнение сообщало его чертам еще большее благородство. «Знаете ли вы, — спросил он, — что герцог Элгинский схвачен на территории маркграфства Баденского, доставлен в Париж, предан

суду чрезвычайного военного трибунала и немедленно расстрелян?» — «Какие глупости! — отвечала я. — Неужели вы не понимаете, что подобные слухи распространяют враги Франции?» В самом деле, признаюсь, что, как ни велика была моя ненависть к Бонапарту, известию о подобном злодеянии я поверить не могла. «Раз вы не верите мне, — сказал принц Людвиг, — я пришлю вам „Монитёр“». С этими словами он ускакал, готовый умереть, но отомстить.

Четверть часа спустя я уже держала в руках «Монитёр» от 16 марта, или 26 плювиоза,[377] где был напечатан приговор чрезвычайного военного трибунала, заседавшего в Венсенне под председательством генерала Юлена, человека самого низкого происхождения, и составленного из особ, ему подобных.[378] Для начала они, словно в насмешку, объявили, что имеют право вершить суд над обвиняемым, ибо не связаны с ним родственными узами. Да, разумеется, никто из этих людей, совершавших подлость за подлостью, не был связан родственными узами с семейством Конде, однако какой бесстыдной насмешкой звучало это признание по отношению к человеку, которого они именовали неким Луи д'Энгиеном! Таким образом французы обращались к внуку героя, с оружием в руках прославившего их отечество! Допустим, вы отреклись от всех сословных предрассудков, которым, однако, суждено было воскреснуть тотчас после возвращения страны к монархическому правлению, допустим, вы забыли о том, что род Конде есть одна из ветвей семейства Бурбонов, — но разве имели вы право так подло предавать память о сражениях при Лансе и при Рокруа?[379] Бонапарт, сам выигравший столько битв, не способен уважать чужие подвиги. Для него не существует ни прошлого, ни будущего; душа его, властная и надменная, не желает признавать никаких святынь; единственное, что способно внушить ему почтение, — сила, господствующая в настоящем. Принц Людвиг прислал мне записку, начинающуюся словами: «Некто Людвиг Прусский желает узнать у г-жи де Сталь». Он не смог снести оскорбления, нанесенного королевской крови, которая текла в его жилах, и памяти героев, к числу которых он жаждал принадлежать. Как могли европейские монархи иметь дело с Бонапартом после того, как он совершил это злодеяние? Мне ответят, что ими двигала забота об интересах государственных! Существует святилище души, куда этим интересам не должно быть доступа; в противном случае чем обернулась бы добродетель? Либеральной забавой, годной лишь на то, чтобы скрашивать мирные досуги человека частного.

Накануне так называемого суда над герцогом Энгиенским

генерал Савари, на совести которого тяготеют три самых зловещих преступления Бонапартова царствования: убийство герцога Энгиенского, убийство Пишегрю и похищение испанского королевского семейства,[380] — этот самый генерал Савари призвал к себе садовника и приказал ему вырыть могилу для обвиняемого, чья участь была уже решена. Он сам, бахвалясь, рассказал об этом одному моему знакомому, а тот пересказал эту историю мне;[381] презренного негодяя может извинить лишь то обстоятельство, что он лишен каких бы то ни было представлений о нравственности. Он признается, что бросил бы в воду жену и детей, потребуй этого Бонапарт, а поскольку всякому человеку нужно иметь основания уважать самого себя, он сотворил кумира из собственной корысти. Измени, однако, Бонапарту счастье хоть на год, он очень скоро узнал бы, что покорность этих людей совершенно бездушна. Заставляя их служить себе, он так тщательно истреблял в них все благородные чувства, что не смог бы при необходимости пробудить их даже по отношению к самому себе.

20 марта газеты поместили приговор герцогу Энгиенскому, вынесенный за якобы совершенные им преступления, исчисленные капитаном-докладчиком, которого справедливее было бы назвать капитаном-доносчиком. Что за диковинное сочетание слов — разве его одного не достаточно, чтобы внушить отвращение к чрезвычайным военным трибуналам, к этому чудовищному союзу мирного и беспристрастного труда судьи с буйной грубостью и бездеятельным покорством солдата? Не подлежит сомнению — и сами бонапартисты с тех пор успели это подтвердить, — что даже по их понятиям несчастный герцог Энгиенский был совершенно невинен. В бумагах его отыскались похвалы военному гению генерала Бонапарта.[382] Все обличало его намерение вести жизнь самую покойную. Он избрал нейтральную территорию маркграфства Баденского, с тем чтобы, удалившись от дел, жить подле своей супруги, принцессы де Роган.[383]

Герцог был человек безмерно пылкий в дни сражений, в остальное же время совершенно мирный.[384] Из Страсбурга в Париж его привезли, не оставив даже времени на сон — единственное лекарство, какое сулит нам природа в самых ужасных испытаниях. В Париже ему пришлось немедля предстать перед судом капралов, исполняющих злодеяния так же исправно, как команды на плацу. Он попросил о свидании с Бонапартом; первый консул отказал со словами: «Какой в этом прок? Все государи должны понять, что мы не в игрушки играем». Вечером, пока в гостиной Бонапарта ожидали известия о казни герцога Энгиенского, императрица Жозефина, не сумевшая вымолить ему прощение, горько плакала, сам же первый консул играл в

шахматы с одной из придворных дам, приговаривая: «Коротышка, мелкота, куда мельче меня».[385] И двигал вперед следующую пешку, воображая, надо думать, как будет посылать на смерть все новых и новых людей.

В полночь солдаты, которым было поручено расстрелять герцога Энгиенского, отвели его в сад.[386] Говорят, что все это происходило под музыку марша из «Сотворения мира» Гайдна — той самой мелодии, которой ангелы благодарят Господа за то, что он создал свет.[387] Какой контраст с темным делом, свершившимся под командою Савари! Герцог Энгиенский написал письма своей жене и принцу де Конде[388] и попросил Савари передать их адресатам. Тот отказался со словами: «Я у разбойников писем не принимаю». Тогда герцог Энгиенский бросил письма на землю, воскликнув надменно и гордо: «Найдутся французы, которые их подберут».[389] Этим французом оказался Юлен. Несчастная страна, у которой не нашлось в ту пору иных представителей! Всеми признано, что герцог принял смерть с безграничной отвагой; между тем известно это исключительно со слов убийц, бывших единственными свидетелями его гибели. В письмо к жене он вложил прядь своих волос. Юлен отдал письмо Камбасересу; возможно, переходя от одного из завсегдатаев гостиной великого канцлера к другому, этот залог любви, навлекший на себя немилость Савари, дошел до той, которая вправе гордиться им до конца своих дней.[390]

Спустя несколько дней после смерти герцога Энгиенского одна дама, близко мне знакомая, побывала в окрестностях Венсеннского замка: лишь крохотный холмик указывал место, где покоится прославленный прах; на свежей могиле дети играли в городки. Седой инвалид, сидевший поблизости, некоторое время смотрел на них молча, а затем поднялся и со слезами в голосе сказал: «Прошу вас, не играйте здесь».[391] Слезы эти стали единственным памятником, какого удостоился потомок Великого Конде; очень скоро могилу несчастного принца сровняли с землей.

Впрочем, по крайней мере на несколько дней французское общественное мнение пробудилось ото сна; возмущение охватило всех и вся.[392] Однако, когда этот благородный пламень погас, деспот забрал себе еще больше власти, чем прежде, и все попытки противиться его тирании оказались напрасны. Первые несколько дней расположение умов во Франции внушало первому консулу немалую тревогу. Сам Фуше осудил расстрел герцога Энгиенского; он произнес фразу, которая как нельзя лучше характеризует нынешний порядок вещей: «Эта казнь хуже чем преступление; это ошибка».[393] За фразой Фуше скрывается

слишком многое; к счастью, ее можно вывернуть наизнанку и, нимало не погрешая против истины, сказать, что самая страшная из ошибок — это преступление. Бонапарт спросил у одного из сенаторов, человека порядочного: «Что говорят в обществе о смерти герцога Энгиенского?» — «Генерал, — отвечал тот, — в обществе ею весьма опечалены». — «Это меня не удивляет, — согласился Бонапарт, — людей всегда трогает судьба династии, царствовавшей в стране много лет». Чувство, самым естественным образом рождавшееся в сердце каждого, кто узнавал о свершившемся злодеянии, он пытался объяснить интересами политической партии. В другой раз он задал тот же вопрос члену Трибуната, который, желая угодить своему повелителю, отвечал: «Как быть, генерал? Если враги наши вынашивают чудовищные замыслы, мы имеем основания действовать таким же образом»; говоривший не заметил, что признал поступок первого консула чудовищным.

Первый консул объяснял этот поступок государственным интересом. Обсуждая в эту пору с одним остроумным человеком пьесы Корнеля, он сказал: «Заметьте, что в новое время интересы общества или, точнее, государства стали играть ту роль, какую в древности исполнял рок; иной человек по природе своей, пожалуй, не способен на злодеяние, однако обстоятельства политические его к тому вынуждают. Один Корнель, судя по его трагедиям, понимал, в чем заключается государственный интерес; живи он в мое время, я бы сделал его своим первым министром».[394] Тирада эта, исполненная мнимого добродушия, имела целью доказать, что герцог Энгиенский был осужден на смерть не в порыве страсти, а в силу обстоятельств, внятных исключительно главе государства, и что обстоятельства эти объясняют и оправдывают все содеянное. Что первый консул принял решение относительно судьбы герцога Энгиенского не под действием страсти, это совершенно справедливо. Делались попытки доказать, будто им двигала ненависть; ничего подобного. На чем могло основываться подобное чувство? Герцог Энгиенский не сделал первому консулу ничего дурного; вначале на роль жертвы предназначался герцог Беррийский, сын графа д'Артуа, который, по слухам, собирался высадиться в Нормандии по знаку Пишегрю. Этот принц стоит гораздо ближе к трону, чем герцог Энгиенский; вдобавок, появись он во Франции, он нарушил бы французские законы. Таким образом, с какой стороны ни взгляни, Бонапарту гораздо уместнее было бы предать смерти герцога Беррийского, чем герцога Энгиенского; однако, за неимением первого, он совершенно хладнокровно остановил свой выбор на втором. Между приказом схватить этого последнего и

смертным приговором прошло больше недели, задумал же Бонапарт это убийство гораздо раньше и с такой же невозмутимостью, с какой впоследствии принес миллионы людей в жертву своему тщеславию.[395]

Он не способен даже на то, чтобы творить зло в приступе ярости. На вопрос же о том, каковы были побудительные причины этого чудовищного деяния, ответить, я полагаю, нетрудно. Прежде всего Бонапарт желал успокоить революционную партию и скрепить союз с нею кровью. Один бывший якобинец, узнав о казни герцога Энгиенского, воскликнул: «Тем лучше! Теперь генерала Бонапарта не отличишь от члена Конвента!»[396] Якобинцы долгое время утверждали, что во главе Республики имеет право стоять лишь такой человек, который голосовал за смерть короля; на их языке это называлось — «присягнул Революции». В других странах от претендента на высший государственный пост требуют талантов и добродетелей; якобинцы желали, чтобы он запятнал себя преступлением. Бонапарт выполнил это условие; он доказал, что никогда не станет служить Бурбонам. Таким образом, роялисты, переходившие под знамена Бонапарта, тем самым отрезали себе путь к отступлению, республиканцы же, которые могли больше не бояться, что бывшие правители Франции вернутся назад и отомстят своим гонителям, должны были принести в жертву Бонапарту одну лишь Республику.

Намереваясь принять корону из рук тех самых людей, которые низложили во Франции королевскую власть, и восстановить дворянские звания для тех, кто насаждал во Франции равенство, первый консул решил дать им чудовищный залог верности, лишив жизни одного из Бурбонов. Заговор Пишегрю и Моро открыл ему глаза на существование союза, который заключили против него республиканцы и роялисты, и эта странная коалиция, в основании которой лежала ненависть к нему, его поразила. Немалому числу людей, обязанных своим возвышением милостям Бонапарта, были отведены роли в осуществлении заговора, призванного лишить его власти, поэтому ему казалось очень важным внушить всем приближенным, что его свержение положит конец их карьере; главное же, готовясь сделаться императором, он желал внушить подданным такой страх, чтобы они даже не помышляли о сопротивлении. Одним-единственным поступком он попрал всё: европейское международное право, Конституцию в том виде, в каком она еще существовала в ту пору, общественные приличия, человеколюбие, религию. Ничего хуже этого поступка быть не могло; следовательно, от человека, его совершившего, можно

было ожидать деяний самых чудовищных.

Некоторое время французы полагали, что убийство герцога Энгиенского есть не что иное, как сигнал к началу новой революции, и скоро вся Франция снова покроется эшафотами. Однако Бонапарт преследовал иную цель; ему хотелось всего-навсего уверить французов, что он способен на все и что им надлежит быть признательными ему не за добро, которое он им сделал, а за зло, какого он им не причинил. Милосердие его заключалось в том, что он оставлял людей в живых; а ведь он, как мы видели, с такой легкостью мог осудить их на смерть! Россия,[397] Швеция[398] и, в первую голову, Англия[399] выражали недовольство нарушением территориальной неприкосновенности Германской империи. Что же до немецких государей, то они молчали, а немощный правитель той страны, на территории которой был арестован герцог Энгиенский, в особой ноте попросил не возвращаться более *к недавнему происшествию*.[400] Разве речи столь благодушные и столь туманные, произносимые по поводу деяния столь отвратительного, не обличали подлость этих государей, полагавших весь смысл верховной власти в получении доходов с подчиненных им владений, а в государстве видевших капитал, с которого надобно взимать проценты, ни о чем другом не тревожась?

Мой отец успел еще узнать об убийстве герцога Энгиенского; в последнем собственноручном письме, которое я от него получила, он говорил об этом злодеянии с болью и гневом.

Я жила, не ведая тревог, как вдруг обнаружила у себя на столе два письма, извещавшие, что отец мой тяжело болен. От меня всё скрывали; я не знала, что курьер, привезший эти письма, привез также и весть о смерти батюшки. Я тотчас отправилась в Женеву, надеясь на благополучный исход, и надежду эту я сохраняла, несмотря на все обстоятельства, которые должны были ее отнять. Когда же, прибыв в Веймар, я узнала правду, неизъяснимый ужас овладел мною наравне с отчаянием.[401] Я поняла, что отныне у меня нет более опоры на земле, что душе моей отныне придется искать ободрения только в себе самой. У меня оставалось в жизни много привязанностей, однако ни одно существо не пробуждало во мне того восхищения, смешанного с нежностью, какое вызывал батюшка; власть его надо мной не имела себе равных. Горе, величайший из пророков, возвестило мне, что никогда более сердце мое уже не исполнится такого счастья, как в те времена, когда о судьбе моей пекся этот человек, чья чувствительность не знала предела; после апреля 1804 года все бедствия, обрушивавшиеся на меня, неизбежно представлялись мне следствиями этой утраты. При жизни

батюшки я страдала только от мук, причиняемых воображением, ибо в жизни действительной он всегда отыскивал способы уберечь меня от несчастий. После его смерти мне пришлось самой противостоять судьбе, и остатком душевных сил обязана я лишь надежде на то, что он молится за меня на Небесах.[402] Движимая не дочерней любовью, но знанием сокровенных глубин его характера, я смею утверждать, что не видела человеческого существа, стоявшего ближе к совершенству. Не будь я убеждена, что есть жизнь и за гробом, я лишилась бы разума от мысли, что такой человек перестал существовать. Чувства его и мысли всецело принадлежали вечности, и потому, стоит мне испытать ощущения, возвышающие меня над самой собой, как я, кажется, вновь слышу его голос.

Горек был мой путь из Веймара в Коппе[403]; я завидовала всем живым существам, попадавшимся мне навстречу: птицам и даже мухам; я молила подарить мне еще один день, один-единственный день, когда батюшка мог бы поговорить со мной, пожалеть меня; я завидовала деревьям, чей век так долог. Однако смерть неумолима, и это повергает человеческий ум в смятение; все мы знаем о смерти, но это не уменьшает силы удара, ею наносимого. Мы приближались к дому батюшки, когда один из моих друзей показал мне облако, похожее на огромную мужскую фигуру; оно скрылось за горизонтом, и мне показалось, что само Небо напоминает мне таким образом о том, кого я потеряла. Ибо огромны были заслуги этого человека, который ни единого разу не предпочел самые насущные свои интересы самой ничтожной из своих обязанностей и у которого достоинства были так тесно связаны с добрым сердцем, что он мог бы обойтись без принципов, а принципы были так тверды, что он мог бы обойтись без доброго сердца. Из всех характеров этот составлял наиболее разительную противоположность характеру Бонапарта, и, не питай я безотчетной ненависти к этому врагу человечества и Господа, я возненавидела бы его лишь потому, что преклонялась перед батюшкой.

В Коппе я узнала, что во время болезни, в девять дней положившей конец его жизни, батюшка не переставал тревожиться о моей участи. Он упрекал себя за публикацию последней книги, полагая ее причиной моего изгнания, и в горячке, дрожащей рукой, написал первому консулу письмо, в котором уверял, что я к этому сочинению касательства не имела и, напротив, возражала против его напечатания. Глас умирающего, исполненный беспримерного величия, последняя просьба человека, который сыграл такую большую роль в истории Франции и который молит всего-навсего о возвращении его

родных в тот город, где они явились на свет, и о прощении тех опрометчивых поступков, какие могла совершить его дочь в юные годы, — против всего этого, казалось мне, не способно устоять ни одно сердце, и хотя я знала характер Бонапарта, со мной происходило то, что, я полагаю, происходит со всяким человеком, страстно желающим избавления от большой беды: я питала надежду, хотя надеяться мне было не на что. Первый консул получил письмо батюшки и, по всей вероятности, счел на редкость глупыми мои упования на то, что оно способно тронуть его сердце. На сей счет я с ним совершенно согласна.

Суд над Моро продолжался,[404] и, хотя газеты хранили по этому поводу единодушное молчание, одного лишь известия о речи, произнесенной в его защиту, оказалось довольно, чтобы пробудить души ото сна; никогда у Бонапарта не было в Париже столько противников, как в эту пору. Французам более, чем любому другому народу, потребна свобода печати; им надобно думать и чувствовать сообща; ощущения соседа электрической искрой воспламеняют их души, порознь же они испытывать энтузиазм не способны. Поэтому всякий, кто хочет править ими деспотически, не должен позволять общественному мнению высказывать себя в какой бы то ни было форме; Бонапарт же добавил к этой идее, естественной для всех тиранов, хитрость, характерную для нашего времени: его газеты публикуют то, что им прикажут, но при этом притворяются свободными и делают вид, будто выражают мнение общества. Следует признать, что французские писатели не имеют себе равных в искусстве каждое утро твердить одни и те же софизмы и по доброй воле без меры усердствовать в раболепстве.

Когда следствие по делу о заговоре только начиналось, газетчики оповестили всю Европу, что Пишегрю удавился в тюрьме Тампль. Во всех газетах появился чудовищно нелепый протокол, полный анатомических подробностей; творцы этой лжи не сумели сообщить ей правдоподобный характер; недаром говорят, что в иных обстоятельствах преступление смущает даже тех, кто с самым невозмутимым видом хвастает готовностью его совершить. Известно почти наверняка, что задушить генерала Пишегрю было поручено одному из мамелюков Бонапарта, а приказ ему отдал Савари.[405] Отважный генерал уже много дней томился в тюрьме, лишающей мужества даже величайших храбрецов; вообразите же, что он почувствовал, когда подлые трусы явились убивать его, а он не мог даже надеяться, что друзья узнают, какой смертью он умер, что они отомстят за него и не позволят надругаться над его памятью! Должно быть, Господи, ты озарил его душу светом своего милосердия, ибо ждать помощи от

людей ему в тот миг не приходилось.

На первом допросе Пишегрю выказал большое мужество; он пригрозил предать огласке переговоры Бонапарта с вандейцами, во время которых тот сулил возвратить французский престол Бурбонам.[406] Иные утверждают, что Пишегрю подвергли пыткам так же, как двух других заговорщиков, один из которых, Пико, показал суду искалеченные руки;[407] если верить этим людям, Пишегрю и убили для того, чтобы французский народ не узнал, что одного из его верных защитников пытали, словно раба. Мне это последнее предположение убедительным не кажется; поступки Бонапарта неизменно продиктованы расчетом, а убивать Пишегрю из этих соображений было бы вовсе нерасчетливо; куда более правдоподобна другая догадка: предстань перед судом и Моро, и Пишегрю, это окончательно взволновало бы общественное мнение. На заседаниях и без того присутствовали огромные толпы; группа офицеров, во главе которой стоял честный и благородный человек, генерал Лекурб, выказывала генералу Моро самое живое сочувствие, не думая о последствиях.[408] Уважение к Моро было так велико, что когда его вводили в залу суда, жандармы брали на караул.[409] В обществе начинали уже подозревать, что честь в данном случае принадлежит гонимому, однако в самый разгар этих событий Бонапарт провозгласил себя императором и тем отвлек французов от размышлений такого рода; раскаты грома, сопутствовавшие его возвышению, укрывали его куда надежнее, чем если бы он действовал в атмосфере безоблачной.

Генерал Моро произнес в суде одну из прекраснейших речей, какие знает история человечества.[410] Сохраняя необходимую скромность, он напомнил о сражениях, которые выиграл с тех пор, как Францией правит Бонапарт; он попросил прощения за то, что порой высказывал свои мысли с чрезмерной откровенностью, и обиняками сравнил бретонский характер с корсиканским; наконец, в эту опаснейшую минуту он обнаружил разом и незаурядный ум, и беспримерное присутствие духа. В ту пору Фуше пребывал в немилости, и обязанности министра полиции исполнял Ренье.[411] По выходе из суда он направился в Сен- Клу. Император осведомился, сильную ли речь произнес Моро. «Очень слабую». — «В таком случае, — приказал император, — велите ее напечатать и распространить повсюду в Париже».[412] Когда же он увидел, как сильно ошибся его министр, он вновь призвал к себе Фуше, единственного человека, который в самом деле мог быть ему полезен, ибо, к несчастью для Франции и для всего мира, скромно и сноровисто исполнял поручения неслыханные. Что же до Ренье, он ныне именуется герцогом де Масса.

Реаль, бывший якобинец, беззаветно преданный Бонапарту,[413] отправился к судьям и передал им желание императора: «Моро необходимо приговорить к смертной казни, иначе пострадает репутация императора, по чьему приказу он был арестован; впрочем, вы можете вынести этот приговор совершенно спокойно, ибо император твердо решил помиловать осужденного». — «А кто помилует нас, если мы покроем себя таким позором?» — отвечал один из судей, которого я еще не вправе назвать по имени, ибо опасаюсь навлечь на него высочайший гнев.[414] Генерала Моро приговорили к двум годам тюремного заключения;[415] Жоржа и нескольких его соратников — к смерти; одного из Полиньяков осудили на четыре года тюрьмы, но до сих пор не выпустили на свободу ни его самого, ни нескольких его единомышленников.[416]

Моро пожелал, чтобы тюремное заключение ему заменили пожизненным изгнанием; окончиться оно могло бы лишь вместе с жизнью Бонапарта — этого источника несчастий всего мира.[417] Моро предпочел эту участь, ибо она подобала ему во всех отношениях. Мэры многих городов, через которые он проезжал, заглянув в его паспорт, выказывали ему знаки величайшего почтения. «Господа, — сказал один из них своим подчиненным, — дайте дорогу генералу Моро» — и склонился перед ним, как перед императором. В сердцах этих людей еще жила истинная Франция, однако следовать собственным убеждениям они разучились уже тогда; теперь же, после стольких лет жизни под властью тирана, убеждений у них, пожалуй, не осталось вовсе.

Когда Моро прибыл в Кадис, испанцы, которым суждено было несколько лет спустя явить миру столь великий пример, приняли жертву деспотизма с величайшими почестями. Однажды, желая уберечь г-жу Моро от сырости и выразить уважение ее супругу, они даже бросили плащ на дорогу, которую переходила эта очаровательная женщина. Английские корабли салютовали Моро, словно главнокомандующему. Так называемые враги Франции выразили одному из самых славных ее защитников признательность, которой он не дождался от своих соотечественников.

После ареста Моро Бонапарт признался: «Я мог бы пригласить его к себе и сказать: „Послушай, нам с тобой тесно на одной земле; ступай прочь, ибо я сильнее“; не сомневаюсь, что он бы послушался. Однако в делах государственных подобная учтивость — смешное ребячество».[418] Бонапарт убежден сам и сумел убедить многих начинающих поклонников Макиавелли из нового поколения, что всякое великодушное побуждение — не что иное, как ребячество. Пора бы объяснить ему, что в добродетели есть нечто мужественное — куда более мужественное, чем его

собственное поведение.

Впрочем, поскольку Бонапарт понимал, что французы взирают на его деяния с ужасом, он счел необходимым сгладить это впечатление, которое, оказавшись сильнее, чем он рассчитывал, могло сделаться опасным. Посему он приказал доброй императрице Жозефине попросить его помиловать некоторых осужденных, меньше других замешанных в заговоре.[419] Он принял родственников тех, кого заранее избрал для изъявления своего милосердия. Ни одно его действие не было внезапным, ни одно не было совершено под влиянием душевного порыва.[420] Меж тем приближенные его утверждали, что когда он говорил с госпожой де Полиньяк, на глазах у него выступили слезы. Вот уж поистине чудо из чудес! Древние говорили, что даже у медного истукана можно исторгнуть слезы, однако слезы Бонапарта были плодом притворства, которое внушило ему лишь еще более сильную ненависть к общественному мнению, его к этому притворству вынуждавшему. Те самые Полиньяки, что послужили предлогом для сцены, разыгранной Бонапартом на глазах у всей Франции, провели в Венсеннском замке восемь лет и не вышли на свободу до сих пор; одному он изменил приговор, второго обрек на многолетние мучения без всякого приговора. В других случаях он приказывал поместить в газетах объявления о том, что он дарует свободу мужьям в ответ на мольбы жен, бросившихся к его ногам. В числе этих счастливцев поминался некий швейцарец по фамилии Рюзийон[421] — меж тем он так и не покинул своей темницы. Газета с извещением о помиловании вышла — чего же боле? Не думаю, чтобы в истории нашелся еще один человек, способный лгать так часто и так разнообразно, как это делает Бонапарт.

Он приказал, чтобы предложение провозгласить его императором внес в Трибунат бывший член Конвента, якобинец Кюре, при поддержке Жобера, депутата от бордоских торговцев, и Симеона, человека умного и здравомыслящего, который при Республике был объявлен вне закона.[422] Он хотел, чтобы за его коронование ратовали хором поклонники Революции, сторонники Старого порядка и защитники непреходящих интересов нации. Он сказал Фабру из департамента Од, тогдашнему председателю Трибуната:[423] «Предложение следует вносить, только если его примут единогласно. Большинства здесь недостаточно».

Фабр отвечал, что не может поручиться за Карно и за Моро, брата генерала,[424] в остальных же уверен совершенно. Любое противодействие, как бы слабо оно ни было, раздражает Бонапарта, то ли оттого, что он не терпит ни малейшего сопротивления своей всемогущей воле, то ли — и это куда более

вероятно — оттого, что, неизменно основывая все свои действия на лжи, он всякую минуту страшится разоблачений. Впрочем, не сомневаясь в умеренности Карно, он пренебрег его возможным протестом, который в самом деле оказался столь сдержанным, что не помешал императору впоследствии назначить Карно военным министром.[425]

Постановили, что всем французам предоставят право высказать свою волю относительно возведения Бонапарта на престол. Однако Бонапарт не стал дожидаться результата этого волеизъявления, впрочем вполне предсказуемого, и издал закон о провозглашении себя императором,[426] несчастные же сенаторы не нашли в себе сил даже для того, чтобы ограничить эту новую монархию конституционными рамками. Лишь у одного члена Трибуната, чье имя я, увы, не дерзаю назвать, достало мужества потребовать таких ограничений.[427] Бонапарт с присущей ему хитростью решил сам пойти навстречу подобным требованиям; он пригласил к себе самых почтенных сенаторов и сказал: «Мне претит нынешнее мое возвышение; прежнее положение дел было куда приятнее. Однако жить при Республике долее невозможно; все ее возможности исчерпаны; я полагаю, что французы хотят повиноваться королевской власти. Поначалу я подумывал призвать во Францию старых Бурбонов, но это означало бы погубить их, а заодно с ними и меня. Я убежден, что во главе всей системы должен стоять один человек, но, быть может, правильнее было бы еще подождать. За четыре года я состарил Францию на целый век. Свобода — это не что иное, как толково составленный гражданский кодекс; современные нации не интересуются ничем, кроме собственности. Впрочем, мой вам совет: назначьте особый комитет, сочините конституцию и, говорю вам откровенно, — прибавил он с улыбкой, — примите меры против моей тирании; очень вас об этом прошу».

Это мнимое добродушие Бонапарта более всего напоминает поведение крокодила, который, как говорят, приманивает малых детей, подражая голосу их матери. И тем не менее оно пленило сенаторов, которые, впрочем, сами только и мечтали о том, чтобы их пленили. Сенатор Франсуа де Нёшато, человек, наделенный немалым литературным талантом, но принадлежащий к числу тех филантропов, которые всегда находят философические резоны для одобрения власть имущих,[428] сказал одному моему другу: «Простота императора меня восхищает; с ним можно говорить решительно обо всем! Давеча я целый час доказывал ему, что новую династию следует основать на хартии, которая узаконивала бы права нации». — «И что же он ответил?» — осведомился мой друг. «Он ничуть не рассердился, похлопал

меня по плечу и сказал: „Вы совершенно правы, любезный сенатор; но поверьте мне, сейчас еще не время“». Франсуа де Нёшато, подобно многим другим французам, остался вполне удовлетворен возможностью высказать свое мнение, пусть даже к нему нимало не прислушались. Французу куда важнее потешить собственное самолюбие, нежели добиться искомого результата.

В Сенате были созданы две комиссии: предполагалось, что одна будет охранять гражданскую свободу, а другая — свободу печати. Они существуют до сих пор, причем члены их сменяются каждые три месяца: ни те епископы, что ведают епархиями с нехристианским населением, ни те англичане, чьи должности суть самые настоящие синекуры, не трудятся так мало, как сенаторы, входящие в эти Бонапартовы комиссии. Я уверена, что, собираясь вместе, они смеются, точно авгуры, однако это не мешает Сенату регулярно избирать их на новый срок.[429] Сенаторы во Франции обожают игру в свободу и китайские церемонии.

Вещь весьма странная и угаданная Бонапартом с большой проницательностью заключается вот в чем: французы, так мастерски поднимающие на смех других, готовы быть поднятыми на смех сами, лишь бы удовлетворить свое тщеславие. Ведь нет ничего более достойного насмешек, чем та новая с иголочки знать, какую Бонапарт создал для укрепления своего нового трона.[430]

Этому честолюбцу непременно нужно было вознаградить честолюбцев, ему подчиненных, — всех революционеров, которые жаждали занять места, принадлежавшие старинному французскому дворянству, всех военных, отличившихся на полях сражений. Поэтому были учреждены ордена и звания, одни простонародные имена украсились графским титулом, к другим прибавились имена иностранные, итальянские или немецкие, которые сами новоявленные аристократы едва могли произнести.

Княгини и королевы, еще вчера бывшие простыми гражданками, сами с трудом удерживались от смеха, когда к ним обращались: «Ваше величество». Особы более серьезные, идя по стопам мещанина во дворянстве, с утра до вечера заставляли свою челядь говорить им: «Ваша светлость».[431] Новая знать разыскивала в архивах подробнейшие описания этикета; люди вполне достойные самым серьезным образом принимались за сочинение гербов для новых дворянских родов; одним словом, не проходило дня, когда бы не случалось нескольких происшествий, достойных пера Мольера.[432] Впрочем, фоном для всех этих картин служил страх, который мешал осмеять нелепости, свершавшиеся на авансцене, так, как они того заслуживали. Слава, завоеванная французскими генералами, возвышала все

происходящее, а угодливые чиновники укрывались в тени военных, которым приличествовали суровые почести свободного государства, а не суетные награды двора, подобного Бонапартову. Отвага и гений суть дары Небес; те, кто ими наделен, не нуждаются в знатных предках. В республиках или ограниченных монархиях знаками отличия награждают за заслуги перед отечеством, на что могут притязать все жители страны в равной мере, когда же один- единственный человек осыпает подданных нескончаемыми почестями и званиями, повинуясь лишь собственным прихотям, такой порядок более всего походит на татарский деспотизм.[433]

Скороспелая знать сделалась предметом неиссякаемых каламбуров; из уст в уста переходили словечки новоявленных аристократок, выдающие их малое знакомство со светскими манерами. В самом деле, труднее всего научиться такой учтивости, которая чуждалась бы равно и чопорности, и развязности; это кажется безделицей, однако тому, кто не впитал подобные манеры с детства или не наделен возвышенной душой, такое обхождение недоступно. Бонапарт и сам не умеет вести себя так, как подобает светскому человеку; в сношениях с приближенными, а подчас и с людьми посторонними он нередко с наслаждением возвращается к вульгарным словечкам и манерам своей революционной молодости. Бонапарт прекрасно знал, что парижане потешаются над новоявленной знатью; впрочем, мнение свое они, как это ни странно, выражали исключительно посредством шуток и даже не пытались облечь его в серьезную форму. Всей их воли к сопротивлению хватало исключительно на изобретение двусмысленных каламбуров; если на Востоке люди по необходимости изъясняются апологами, французы пали еще ниже: они принялись играть словами и слогами.[434] Пожалуй, из всех тогдашних каламбуров-однодневок лишь один достоин упоминания. Когда в театре перед началом представления объявили о прибытии принцесс крови,[435] кто-то из зрителей воскликнул: «Это кровь герцога Энгиенского». Таково было крещение новой династии.

Одно лишь создание новой знати не могло принести Бонапарту желанного успеха; недаром на остроумной карикатуре он изображен выкраивающим из красного колпака якобинцев красные ленточки, которыми намеревается их же и наградить.[436] Не заручись Бонапарт поддержкой старого дворянства, он преуспел бы немногим больше негра Дессалина, который, совершив революцию на острове Сан-Доминго, тоже провозгласил себя императором и присвоил своим чернокожим подданным такие же титулы, какие Бонапарт даровал белым.[437] Первыми

занять должности при дворе новоявленного императора согласились некоторые дворяне, разоренные Революцией. Бонапарт отблагодарил их, объявив во всеуслышание, что он предлагал им службу в армии, но они предпочли служить в его передней. Произнеси такую фразу Людовик XIV, на следующий же день все придворные по меньшей мере оповестили бы его о своей отставке, однако те, кто и в самом деле согласился служить в передней Бонапарта, пали так низко, что он мог оскорблять их совершенно беспрепятственно. Другого покровителя у них не было.

Секрет его системы в том и заключается, чтобы заставить каждого человека совершить подлость, которая лишила бы его либо независимости, либо чести. Так англичане клянутся в верности своим королям, чтобы при перемене политического устройства им не на что было рассчитывать. Иные дворяне, носящие славные имена, в этих обстоятельствах выказали самое благородное сопротивление;[438] многие другие, однако, испугались еще прежде, чем у них появился какой бы то ни было повод для опасений; наконец, третьи, еще более многочисленные, сами предложили императору свои услуги в надежде получить места шталмейстеров, камергеров и придворных дам, от которых всем без исключения следовало бы отказаться. Лишь те, кто избрал военную или юридическую карьеру, могут уверить себя, что приносят пользу отечеству при любом правителе, что же касается должностей придворных, то они ставят человека в зависимость не от государства, а от того, кто им правит. Один из родовитейших дворян Франции отвечал собеседнику, упрекавшему его за согласие принять звание камергера: «Но ведь должны же мы кому-нибудь служить!» Странные речи в устах потомка отважных рыцарей, израненных в боях. Впрочем, для принуждения родовитых французов и француженок к службе при его дворе у Бонапарта имелось страшное оружие — он грозил им изгнанием.

Парижане так любят жизнь в столице и так дорожат ею, что одна лишь мысль о необходимости покинуть этот город приводит их в ужас; Бонапарт не преминул этим воспользоваться. Мало того, что он имел в своем распоряжении восьмисотмиллионные доходы государственной казны и восьмисоттысячную армию; он включил в свой арсенал также и страхи, с помощью которых мог держать в узде даже то сословие, в котором нуждался. Он желал использовать в своих целях имена людей, входивших в это сословие, а их самих унизить и втоптать в грязь; он желал смешать новую аристократию со старой; желал пожаловать представителям рода Монморанси графский титул,[439] принудить

девиц из хорошего общества к замужеству с революционерами, чьи манеры были им глубоко чужды, наконец, смешивая все воедино, презирая прошлое, предлагая своим несчастным подданным выбросить из памяти все, что происходило до его вступления на престол, он не оставлял никому ни малейшей возможности свободно избирать свой жизненный путь. Деспотизм столь могущественный и столь разнообразный, столь страшный и столь мелочный не воцарился бы во Франции, если бы не Революция, вследствие которой все землевладельцы попали в зависимость от государства. Новоявленным богачам Бонапарт приказывал вести роскошную жизнь, ибо хотел, чтобы они ослепляли народ пышностью своего убранства, а главное, чтобы, не в силах самостоятельно отыскать необходимые средства, постоянно нуждались в его дарах; что же до старых помещиков, они полностью зависели от милостей первого консула, который своими декретами возвращал им то, чем они владели прежде. Прикрываясь, как и всегда, необходимостью восстановить порядок и защитить Францию либо от республиканцев, либо от роялистов, Бонапарт присваивал себе право преследовать как тех, так и других. «Из жалости одной я правлю самовластно», — говорит Петр Великий в пьесе, которую Карьон де Низа сочинил специально ради того, чтобы показать французам, какое правление им необходимо.[440] Многие удивляются развращенности французов; задумаемся, однако, хотя бы на мгновение о природе нынешней власти и обстоятельствах ее возникновения. Как правило, в земной жизни страх, толкающий людей на путь порока, уравновешивается надеждой, обращающей их к добродетели. Бонапарт, напротив, положил силу страха и обольщения надежды, туманящие человеческий ум, на одну и ту же чашу весов — чашу порока. Он предоставил французам выбирать между прозябанием в темнице, смертью в изгнании и приятием богатства и наград из рук императора. Разумеется, если бы в Бонапарте с самого начала разглядели узурпатора, остановить его было бы легче легкого. Сопротивление всегда пугало его; собравшись с мыслями, он одолевает страх, однако когда ему случается встретить порядочного человека, он, судя по всему, испытывает трепет, заставляющий его хоть на мгновение отступить. Имей он с самого начала дело с людьми отважными, он бы погиб, однако обстоятельства складывались столь благоприятно для него, что он сумел набросить на Францию сеть тирании, а когда эта сеть наброшена, выбраться из-под нее чрезвычайно трудно.

Во всех департаментах началось голосование по вопросу об Империи; точно так же, как при обсуждении пожизненного

консульства, всех, кто вообще не выставил своего имени в книге записей, причислили к проголосовавшим «за»; немногим смельчакам, дерзнувшим написать «нет», отказали от места.[441] Г-н де Лафайет, неизменный защитник свободы, вновь, как и прежде, оказал сопротивление тирании,[442] поведя себя тем более достойно, что страна храбрецов разучилась уважать отвагу Об этом следует упомянуть, ибо ныне во Франции самые бесстрашные воины поклоняются божеству страха. Бонапарт не пожелал даже подчиниться монархическому закону о престолонаследии; право назначать наследника он, подобно восточным деспотам, оставил за собой. В ту пору он не имел детей и не желал предоставлять какие бы то ни было права своим родным. Поднимая их на высоту, о которой они наверняка даже не мечтали, он одновременно порабощал их посредством хитроумных декретов, которые сковывали цепями их недавно воздвигнутые троны.[443]

В 1804 году 14 июля еще оставалось праздничным днем,[444] ибо Империя, если верить заявлениям властей, сберегала все благодеяния Революции. Бонапарт провозгласил, что бури лишь укрепили его правление. Он уверял, что престол императора охранит свободу, твердил на все лады, что прочный государственный порядок во Франции есть залог покоя для Европы. В самом деле, вся Европа, исключая одну лишь славную Англию, признала новый сан Бонапарта; законные государи, наследники древних королевских родов, согласились звать его *братом*.[445] Известно, как отблагодарил он их за эту роковую снисходительность. Если бы он искренне желал мира, даже старому королю Георгу, человеку в высшей степени порядочному, в чье царствование Англия процветала как никогда, пришлось бы признать его ровней. Однако через несколько дней после восшествия на престол Бонапарт произнес слова, пролившие свет на все его замыслы: «Вольно им отпускать шутки насчет моей новой династии; не пройдет и пяти лет, как она сделается самой старой во всей Европе».[446] С тех пор он стремился к этой цели неустанно.

Чтобы добиться своего, Бонапарту требовался предлог, и очень скоро предлог этот отыскался: началась борьба за свободу морей.[447] Бонапарт прекрасно знал, что слова эти лишены смысла, что заключение мира положит конец вынужденному господству Англии на море, ибо ей не от кого будет защищаться; мир же этот находился в руках Бонапарта: ведь Англия не требовала ничего, кроме независимости континентальных наций. Однако трудно даже вообразить, как легко оказалось поднять умнейший в мире народ на борьбу за глупейшее в мире дело.

Контраст этот был бы совершенно необъясним, если бы мы не знали, что роковое соединение дурных принципов и злополучных происшествий лишило несчастную Францию понятий о религии и нравственности. Без религии человек не способен на самопожертвование, а без нравственности никто не говорит правды и общественное мнение постоянно идет по ложному пути. Оттого, как мы уже сказали, даже у тех, у кого достает отваги подумать о своей чести, не хватает мужества вести себя по совести, и, выказывая в поступках своих замечательный ум, люди даже не задумываются о цели этих поступков.

Взойдя на престол, Бонапарт не имел уже необходимости предпринимать что бы то ни было для укрепления своей тирании внутри страны. Франция покорилась ему, и если могущество его с тех пор лишь увеличивалось, то причиной тому естественные следствия деспотизма — бесконечное унижение подданных и беспредельная наглость их повелителя. Однако в эту пору Бонапарт предпринял первые попытки вслед за Францией поработить всю Европу. Однажды он сказал, что, дабы потрясать воображение французов, надобно каждые три месяца совершать что-либо новое. Не знаю, счел ли он необходимым покорять чужие страны ради того, чтобы держать свою в рабстве и тревоге, однако полагаю, что в этом случае он ошибся, приписав собственное свое беспокойство всей нации; что же до французов, они так страстно желали счастья, даруемого покоем, что с радостью приняли бы его от кого угодно, даже от тирана.

Франция уже в ту пору мечтала о мире ничуть не менее пылко, чем теперь, после десятилетней смуты;[443] однако разве интересовался этот человек чаяниями других людей и разве не суждено было ему разрушить благополучие старой Европы? Впрочем, ненависть, которую он пробудил даже в душах самых немощных, помогла континенту воскреснуть к новой жизни.

Государи, которых Бонапарт замыслил свергнуть, были все без исключения люди глубоко порядочные. Они не отличались ни политическим, ни военным гением, но народы под их властью наслаждались счастьем, и, хотя большая часть европейских стран не признавала конституционных принципов, философические идеи, уже полвека распространявшиеся во Франции, одержали в этих странах верх над нетерпимостью и деспотизмом.

Екатерина Вторая и Фридрих Второй стремились заслужить уважение французских писателей;[449] императрица и король, которые силою своего гения могли поработить все и вся, прислушивались к мнению людей просвещенных и искали способы покорить его своему влиянию.

Два десятка лет назад люди имели возможность

беспрепятственно путешествовать по всей Европе; Французская революция на время нарушила этот благословенный порядок,[450] однако умы естественным образом клонились в ту пору к приятию либеральных идей. Ничьи личные и имущественные права, пожалуй, не были ущемлены. Французские революционеры могли хотя бы сказать в свою защиту, что они желают позволить всем людям развивать свои способности, что зависимость всего народа от воли одного человека несправедлива и что национальное представительство есть единственный способ навечно сохранить за каждым те блага, какими может на время наградить его добродетельный государь. А что мог сказать Бонапарт? Разве даровал он иностранным нациям больше свободы? Ни один европейский государь не позволил бы себе в течение года совершить столько наглых беззаконий, сколько Бонапарт совершал ежедневно. Он вынуждал европейские народы променять их покой и свободу, их язык, законы и состояние, их кровь и их детей на несчастья и стыд, на утрату национальной независимости и всеобщее презрение. Одним словом, он взялся за создание европейской монархии, меж тем для рода человеческого нет угрозы страшнее, ибо неизбежным следствием такой монархии становится вечная война.[451]

Бонапарту не по душе ни одно из мирных искусств; он умеет управлять лишь с помощью насилия; он любит сражения, потому что забавляет его лишь насильственное вмешательство в ход событий. Единственное невольное движение души, на которое он способен, — это всепожирающая жажда деятельности. Боги ада толкают его вперед; не знаю, сумеет ли он, при всей своей ловкости, остановиться, даже если захочет. Порой он давал себе передышку, но раз и навсегда сказать: «Довольно!» — он не в силах; характер его, чуждый всем остальным творениям Господним, подобен греческому огню,[452] который ничто в мире не способно погасить.[453]

Часть вторая (1810–1812)

Владельцы имения, где я жила прежде, возвратились домой;[454] вынужденная искать другого пристанища, я, воспользовавшись приглашением великодушного друга, перебралась в имение под названием Фоссе.[455] Владелец этого замка, некогда сражавшийся в рядах вандейской армии, жил скромно, но добродушная его прямота делала пребывание у него в гостях легким, а самобытный ум — приятным. Не успели мы обосноваться на новом месте, как у нас составился целый оркестр: итальянский музыкант, дававший уроки моей дочери, играл на гитаре;[456] дочь моя вторила ему на арфе, а милая моя подруга[457] нежным голосом пела арии и романсы; крестьяне собирались под окнами, изумленно взирая на новоявленных трубадуров, нарушающих тишину уединенного владения их господ. Здесь, в обществе нескольких друзей, память о которых будет вечно жить в моем сердце,[458] провела я последние дни на французской земле. Нечего и говорить, что этот тесный круг, собравшийся в укромном месте и посвящавший досуги изящным искусствам, никому не причинял зла. Мы часто исполняли прелестный романс, сочиненный голландской королевой;[459] припев его она, можно сказать, избрала своим девизом: «Делай что должно и будь что будет».[460] Мы выдумали себе забаву: после обеда, вместо того чтобы разговаривать, мы обменивались записками. Эти эпистолярные романы, разнообразные и многочисленные, увлекали нас до такой степени, что нам не терпелось поскорее выйти из-за обеденного стола, где мы беседовали на обычный манер, и продолжить переписку.[461] Наша городская почта (как мы ее называли) продолжала действовать, даже когда в доме появлялись посторонние. Жители соседнего городка удивлялись нашим странным обыкновениям и принимали их за педантство,[462] мы же стремились всего-навсего нарушить однообразное течение дней в нашем уединении. Как-то раз один соседний помещик, не знавший в жизни ничего, кроме охоты, захотел показать свои леса моим сыновьям; он заехал к нам и некоторое время наблюдал за нашими тихими, но деятельными досугами. Г-жа Рекамье, чья доброта воистину не знает пределов, пожелала приобщить толстяка охотника к занятиям нашего кружка и адресовала ему записку. Гость, однако, рассыпался в извинениях: он-де не умеет разобрать незнакомый почерк при свете лампы. Мы немного посмеялись над неудачей, постигшей затею нашей добросердечной кокетки, и единодушно пришли к выводу, что в любом другом случае записка,

начертанная ее прелестной рукой, встретила бы более радушный прием. Так проводили мы время, и бег его, сколько могу судить, ни для кого не был тягостен.

В Париже в ту пору наделала шуму премьера оперы «Золушка»;[463] мне пришло на ум посмотреть ее в исполнении скверной провинциальной труппы из Блуа. Местные жители следовали за мною по пятам, любопытствуя взглянуть на изгнанницу.[464] Этот род успеха, каким я была обязана не столько таланту, сколько несчастью, прогневил герцога де Ровиго,[465] который спустя некоторое время написал префекту департамента Луар и Шер, что я завела себе двор. «Во всяком случае, — отвечала я префекту,[466] — мой двор повинуется мне по доброй воле».

Я по-прежнему намеревалась через Америку добраться до Англии,[467] но прежде хотела напечатать книгу о Германии. Меж тем близилась осень; наступила середина сентября, я предчувствовала, что отплыть в Новый Свет нам не удастся, а значит, придется на зиму снова нанимать поместье в сорока лье от Парижа. В мечтах мне виделся Вандом: там имела я знакомых, людей умных и приятных, а главное, оттуда без труда могла бы поддерживать сношения со столицей. Некогда дом мой слыл одним из самых блестящих в Париже; теперь я почла бы за счастье поселиться в Вандоме; Небеса, однако, не судили мне и этой скромной радости.[468]

Книга моя была уже набрана; 23 сентября я исправила последний корректурный лист. После шести лет работы[469] мне доставило немалую радость увидеть слово «конец», завершающее третий том. Я составила список из ста человек; этим особам, проживающим в разных уголках Франции и Европы, я хотела бы послать свою книгу, которою очень дорожила, потому что надеялась с ее помощью сообщить французам идеи, для них новые.[470] Мне казалось, что мною двигало чувство возвышенное и вовсе не враждебное по отношению к Франции; сочинение мое, думала я, писано языком, на каком французы говорить разучились. Получив от издателя письмо, в котором тот уверял меня, что цензура дозволила печатание моей книги, я сочла, что бояться мне нечего,[471] и отправилась в поместье Матье де Монморанси, располагавшееся в пяти лье от Блуа. Матье — человек, которого с тех пор, как умер батюшка, я почитаю больше всех на свете;[472] в его обществе я гуляла по окрестным лесам. Красота осеннего леса, исторические воспоминания, пробуждавшиеся при виде места, где во Фретвальском сражении сошлись Филипп-Август и Ричард Львиное Сердце,[473] — все это исполняло мою душу величайшей кротости и величайшего покоя.

Мой достойный друг, чья земная жизнь во всякую минуту есть прообраз жизни небесной, в тогдашних наших беседах, как и во всех прочих, какие нам случалось вести, оставлял без внимания вещи бренные и стремился лишь уврачевать мою душу.[474]

Проведя ночь в поместье г-на де Монморанси, мы вновь двинулись в путь; окрестности Вандома безлюдны и однообразны, словно море, поэтому очень скоро мы заблудились. Близилась полночь, а мы не знали, как отыскать дорогу в этом краю, плодородном, но таком же однообразном, как если бы он был вовсе бесплоден; внезапно навстречу нам попался молодой всадник, который, угадав наше затруднение, пригласил нас провести ночь в замке его матери.[475] Мы приняли приглашение, пришедшееся как нельзя кстати, и внезапно оказались среди азиатской роскоши, смешанной с французской изысканностью. Хозяева замка провели немало лет в Индии и украсили свое жилище вывезенными оттуда вещицами. Дом этот возбуждал мое любопытство; мне было приятно в нем находиться.[476] Назавтра мне принесли записку от сына: он сообщал, что цензура чинит новые препятствия моей книге, и просил воротиться. Друзья, бывшие со мной, заклинали меня ехать скорее; я же, не догадываясь о том, чего не написал Огюст и что они держали в секрете, любовалась индийскими сокровищами и не подозревала об участи, меня ожидающей. Наконец я сажусь в карету; храбрый и умный вандеец, бестрепетно сносивший собственные невзгоды,[477] жмет мне руку со слезами на глазах: тут только я поняла, что на меня обрушились новые гонения; в ответ на мои расспросы г-н де Монморанси сообщил мне, что генерал Савари, именуемый с некоторых пор герцогом де Ровиго, приказал своим солдатам уничтожить десять тысяч экземпляров моей книги, самой же мне предписано в трехдневный срок покинуть Францию.[478] Дети мои и друзья не хотели сообщать мне такую весть в чужом доме; зато они позаботились о спасении осужденной рукописи; они переправили ее в надежное место за несколько часов до того, как за ней пришли.[479]

Новая боль с силой сжала мне сердце. Я льстила себя надеждой, что книга моя принесет мне законный успех.[480] Запрети ее публикацию цензоры, я бы нимало не удивилась, но после того как я выслушала все их замечания, после того как внесла требуемые изменения, узнать, что книга моя уничтожена и мне грозит разлука с друзьями, укреплявшими мое мужество, было горько; я плакала, но постаралась и на сей раз превозмочь себя; следовало решить, как действовать дальше, ведь от этого решения зависела участь моей семьи. Подъезжая к дому, я отдала письменный прибор и последние наброски, предназначавшиеся

для третьего тома книги, младшему сыну;[481] он перепрыгнул через забор, чтобы попасть в свою комнату из сада. Моя приятельница-англичанка,[482] превосходная женщина, вышла мне навстречу и рассказала обо всем, что произошло в мое отсутствие; меж тем вокруг дома рыскали жандармы, однако, вероятнее всего, они охотились не за мной, а за другими жертвами: рекрутами, изгнанниками, лицами, находившимися под надзором, одним словом, за всеми теми несчастными, число которых в нынешней Франции растет с каждым днем.

Префект департамента Луар и Шер явился за моей рукописью; чтобы выиграть время, я отдала ему скверную копию, которой он и удовольствовался.[483] Говорят, спустя немного времени он претерпел гонения из-за того, что был со мной чересчур учтив; я слышала также, что причиной смертельной болезни, в самом расцвете лет сведшей его в могилу, стала немилость императора.[484] Несчастная страна, где человек подобного ума и таланта не может пережить опалу!

Из газет я узнала, что американские корабли бросили якорь в портах Ла- Манша, и решила воспользоваться паспортом, дававшим мне право ехать в Америку; впрочем, близилась зима, а дочь моя была слишком мала,[485] и, боясь пересекать океан в это время года, я задумала сделать остановку в Англии. В любом случае на подготовку к путешествию требовалось несколько дней, и мне пришлось попросить герцога де Ровиго об этой небольшой отсрочке.[486] Читателю уже известно, что французское правительство имеет обыкновение давать женщинам, точь-в-точь как солдатам, двадцать четыре часа на сборы.[487] Вот ответ, который я получила от Савари, герцога де Ровиго; полагаю, многим будет небезынтересно познакомиться со стилем, каким изъясняются люди этого сорта.[488]

Генеральная полиция
Кабинет министра
Париж, 3 октября 1810

Я получил, сударыня, письмо, коим Вы меня почтили. Как Вы, вероятно, знаете от сына Вашего, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы Вы отсрочили свой отъезд на семь или восемь дней; надеюсь, что этого времени достанет Вам на сборы, ибо большего я для Вас сделать не могу.

Не следует видеть причину приказа, Вам сообщенного, в том, что в последнем сочинении Вашем Вы ни единым словом не помянули Императора; думать так неверно: в Вашей книге нет места, достойного Его Величества; что

же касается Вашего изгнания, оно есть естественный плод того направления, каким следуете Вы вот уже несколько лет. Я счел, что воздух нашей страны Вам не подходит, мы же не дошли еще до того, чтобы брать за образцы народы, кои Вас приводят в восхищение.[489]

Последнее сочинение Ваше писано не французским пером;[490] *печатание его приостановлено по моему приказу. Сожалею об убытках, кои сия мера причинит издателю;*[491] *однако позволить этой книге явиться в свет я не вправе.*

Вы знаете, сударыня, что Вам дозволено было выехать из Коппе лишь потому, что Вы изъявили желание отправиться в Америку. Предшественник мой позволил Вам поселиться в департаменте Луар и Шер, однако Вы совершенно напрасно приняли эту снисходительность за отмену решений, принятых на Ваш счет. Нынче Вы вынуждаете меня к строгому их исполнению; виной тому Вы сами.

Я поручил г-ну Корбиньи проследить за тем, чтобы по истечении отсрочки, Вам предоставленной, Вы повиновались моему приказу.

Весьма сожалею, сударыня, что Вы принудили меня начать переписку с Вами извещением о мерах карательных; несравненно приятнее было бы мне засвидетельствовать Вам глубокое почтение, с которым имею честь быть, сударыня, Вашим покорнейшим слугой.

Подписано: герцог де Ровиго.

Р. Б. Имею основания, сударыня, предложить Вам для отплытия только четыре порта, каковые суть: Лорьян, Ла-Рошель, Бордо и Рошфор. Благоволите сообщить мне, на каком из них остановили Вы свой выбор.[492]

Достойны внимания лицемерная заботливость, с какой Савари уверяет меня, что воздух Франции мне не подходит, и настойчивость, с какой он отрицает истинную причину запрещения моей книги. Меж тем в беседе с моим сыном министр полиции был куда более откровенен:[493] он осведомился, почему в книге о Германии я не упоминаю ни об императоре, ни о его армии. «Но ведь сочинение это посвящено исключительно литературе, — отвечал мой сын, — я не постигаю, как могла бы матушка отыскать повод для подобных упоминаний». — «Так вы полагаете, сударь, — сказал тогда Савари, — что мы восемнадцать лет воевали в Германии[494] ради того, чтобы особа столь прославленная, какова ваша матушка, публиковала книгу,

где о нас не говорится ни единого слова? Книга эта будет сожжена,[495] а сочинительницу следовало бы заключить в Венсеннский замок».

В письме Савари внимание мое привлекла одна-единственная фраза — та, из которой следовало, что отплытие из ла-маншских портов мне запрещено. Я понимала, что, догадавшись о моем намерении отправиться в Англию, власти желали мне в том помешать. Поистине, эта новая беда была мне не по силам; против воли покинув природное мое отечество, я хотела поселиться в отечестве, которое избрала себе сама; против воли расставшись с друзьями, которых я знала целую жизнь, я хотела очутиться в кругу друзей всего доброго и благородного, с которыми ощущает сродство даже тот, кто не знает их лично. Теперь рухнуло все, к чему прилепилась моя душа. У меня мелькнула мысль сесть на корабль, отплывающий в Америку, в надежде, что по дороге англичане захватят его в плен, однако смятение, мною овладевшее, не позволяло решиться на столь смелый шаг, мне не оставили иного выбора, кроме как между Америкой и Коппе: я избрала Коппе, ибо, несмотря на все горести, там изведанные, замок этот был мне мил.

Сыновья мои попытались испросить аудиенции у императора, пребывавшего в ту пору в Фонтенбло; им объявили, что если они немедленно не уедут, их арестуют. Тем более опасно было показываться там мне самой. Из Блуа, где я находилась,[496] следовало направиться в Коппе, причем по дороге ни в коем случае не забывать о том, что от Парижа меня должно отделять не меньше сорока лье. В тридцати восьми лье, сказал Савари, я стану для властей легкой добычей — выражение, достойное министра-корсара.[497] Итак, когда императору приходит на ум обречь кого-то на изгнание, ни сам изгнанник, ни его друзья, ни даже его дети не имеют права заступиться за несчастного, которого отлучают от привычного образа жизни и от сношений с близкими людьми; император, вполне обоснованно именующий изгнание, откуда осужденному, особенно если это женщина, нет возврата, проскрипцией, не оставляет страдальцам ни малейшей возможности оправдаться, — да и какие, впрочем, могут быть оправдания у человека, имевшего неосторожность прогневить императора?

Хотя мне предписали держаться от Парижа на расстоянии не меньше сорока лье, путь мой лежал через Орлеан — город весьма унылый, в котором, однако, жили благочестивые особы, избравшие его своим прибежищем. Я не решилась увидеться с кем-либо из местных жителей, но позволила себе прогуляться по улицам; остановившись у памятника Жанне д’Арк, я подумала:

«Без сомнения, в ту пору, когда ока освободила Францию от владычества англичан, Франция была куда более свободной, куда более французской, чем ныне».[498] Странное чувство испытываешь, гуляя по городу, где не знаешь ни единой души. С неким горьким наслаждением сознавая свое одиночество, смотрела я на Францию, которую покидала, возможно, навсегда; я не произносила ни слова, всей душой отдаваясь созерцанию. Прохожие порой останавливались подле меня, ибо лицо мое, должно быть, невольно обличало страдание, однако очень скоро они вновь пускались в путь, ведь чужое горе в этой стране уже давно стало делом привычным.[499]

В пятидесяти лье от Швейцарии по французской земле тянется цепь цитаделей и тюрем; целые города здесь служат темницами людям, лишившимся свободы по слову одного человека, рабам несчастья, влачащим свои дни в неволе вдали от мест, милых их сердцу В Дижоне пленные испанцы, отказавшиеся дать клятву не вредить Франции, в полдень приходили на городскую площадь погреться в лучах солнца, которое почитали за земляка; с бесконечным изяществом кутались они в изорванные плащи и гордились нищетой — плодом собственной их неподкупности; они находили удовольствие в страданиях, роднивших их с бедствиями неустрашимого их отечества.[500] Иной раз они входили в кофейню, чтобы перелистать газеты и попытаться за ложью врагов разглядеть судьбу друзей; лица их оставались недвижны, но не бесстрастны; видно было, как воля смиряет силу. В Осонне жили пленные англичане; накануне один из домов загорелся: пожар был потушен благодаря мужеству пленников. Испанцы томились в плену и в Безансоне.[501] В тамошней крепости вместе со ссыльными французами жила благородная особа, прибывшая сюда, дабы не разлучаться со своим отцом. Ангел доброты, она уже давно и невзирая ни на какие опасности разделяла участь того, кто дал ей жизнь.[502]

На границе Франции и Швейцарии высоко в горах высится замок Жу, в котором содержатся узники, чья судьба неизвестна подчас даже их родным. Именно в этой тюрьме погиб от холода Туссен-Лувертюр; он страдал не безвинно, ибо сам был жесток, однако разве император, обещавший сохранить ему свободу и жизнь, имел право обречь его на смерть?[503] В тот день, когда я проезжала в виду замка Жу, погода стояла отвратительная; я думала об этом негре, внезапно перенесенном в Альпы, ставшие для него ледяным адом;[504] я думала о других, более благородных узниках, как о тех, что томились в этой тюрьме некогда, так и о тех, что не покинули ее и по сей день; мне приходило на ум, что, попади я в одну из подобных темниц, я осталась бы в ней

навсегда. Ничто не способно так ясно показать тем немногочисленным народам, что еще наслаждаются свободой, на какую неволю осуждены все человеческие существа под властью Наполеона. В любых других деспотических государствах сохраняются обычаи, законы, верования, на которые монарх, каким бы самодержавным он ни был, покушаться не дерзает, но во Франции и в Европе, покорившейся Франции, все создано заново, а потому прошлое здесь никому и ни в чем не служит порукой; здесь всякий вправе опасаться всего чего угодно и надеяться на все что угодно, ибо все зависит от умения не прогневить человека, дерзающего видеть в себе и только в себе венец всего рода человеческого.

Воротившись в Коппе «с попорченным крылом», подобно лафонтеновскому голубку, я увидела над отчим домом радугу; я дерзнула принять этот символ завета на свой счет;[505] за время печального моего путешествия не случилось ничего, что бы этому воспрепятствовало. В ту пору я почти смирилась с мыслью провести остаток дней в родительском замке, не отдавая в печать никаких сочинений, однако, принеся в жертву таланты, какими, льщу себя надеждой, одарили меня Небеса, надобно было, по крайней мере, обрести счастье в привязанностях семейственных и дружеских; меж тем вот как устроилась частная моя жизнь после того, как меня отлучили от литературы.

Первое письмо, полученное мною от префекта Женевы,[506] гласило, что обоим моим сыновьям впредь до особого разрешения полиции запрещен въезд в Париж.[507] Император наказал их за желание говорить с ним обо мне. Таковы понятия нынешнего правительства о морали: оно стремится разорвать узы семейственные, дабы покорить всё и вся воле императора. Говорят, не один генерал признался, что, прикажи ему император утопить жену и детей, он не колеблясь исполнил бы приказание.[508] Иными словами, генералы эти любят деньги, которыми награждает их император, сильнее, чем семью, данную им природой. Примеры подобного образа мыслей многочисленны, редки лишь люди, достаточно бесстыдные, чтобы высказывать эти мысли вслух. Сознание, что моя участь отягощает судьбу моих сыновей, едва пересекших порог взрослой жизни, терзало мне душу. Одно дело — самой не сворачивать с пути, избранного под воздействием заветных убеждений, и совсем другое — видеть, как страждут по твоей вине другие люди; в этом случае почти невозможно не усомниться в собственной правоте. Впрочем, сыновья мои великодушно отняли у меня возможность в чем-либо себя упрекнуть; наше мужество укрепляла память о моем отце.

Очень скоро префект Женевы прислал мне второе письмо: от

имени министра полиции он требовал, чтобы я возвратила оставшиеся у меня корректурные листы моей книги: министр совершенно точно знал, что у меня конфисковали, а что мне удалось сберечь; его шпионы работали на совесть.[509] В ответном письме я подтвердила, что сведения, которыми он располагает, вполне достоверны, однако я не могу и не хочу предоставить этот экземпляр в распоряжение властей, ибо он находится за пределами Швейцарии. Впрочем, я прибавила, что обещаю не издавать эту книгу на континенте; дать подобное обещание мне было нетрудно: разве нашлось бы на континенте хоть одно правительство, которое дерзнуло бы разрешить публикацию книги, запрещенной императором?

Спустя немного времени префекта Женевы отправили в отставку, причем все были уверены, что произошло это по моей вине.[510] Между тем префект ни на йоту не отклонился от приказов начальства, ибо хотя и принадлежал к числу самых порядочных и просвещенных людей во всей Франции, но, служа императору, почитал своим долгом повиноваться ему неукоснительно. Мне, однако, мысль о том, что я являюсь или слыву виновницей отставки такого человека, причинила дополнительную боль. В Женеве все общество сожалело о нем, и, лишь только прошел слух, что он впал в немилость из-за меня, все, кто претендовал на какие-либо должности, стали обходить мой дом стороной, точно чумной барак. Конечно, у меня оставалось здесь больше друзей, чем смогла бы я отыскать в любом провинциальном городе Франции, ибо в Женеве сохранились великодушные чувства, зародившиеся во времена свободы; однако трудно даже вообразить, какую тревогу вселяет сознание, что визит к вам может причинить вред вашим гостям. Прежде чем позвать того или иного знакомого к себе, я вначале тщательно изучала все его родственные связи; обнаружив, что у человека, которого я пригласила к обеду, есть кузен, который ищет места или уже его получил, я понимала, что рассчитывать на его приход значит ожидать от него отваги, достойной древнего римлянина.

Наконец из Парижа прибыл новый префект, г-н де Капель. То был человек, наилучшим образом приспособившийся к современному порядку вещей, иначе говоря, могущий похвастать большой опытностью по административной части и совершенным отсутствием принципов; всякое четкое правило он именовал отвлеченностью, а на место совести ставил преданность властям.[511] В первую же нашу встречу он объявил мне, что назначение таланта, подобного моему, — воспевать императора и что его прославление — тема, достойная того энтузиазма, какой

вдохновлял меня при сочинении «Коринны».[512] Я отвечала, что до тех пор, пока император подвергает меня гонениям, всякая похвала по его адресу с моей стороны будет иметь вид искательства и что, по моему глубокому убеждению, сам император в таких обстоятельствах счел бы мои восхваления смехотворными. Префект с жаром оспорил мои слова; он несколько раз приезжал ко мне и просил — как он утверждал, ради моей же пользы — написать к императору хотя бы короткое письмо; это, уверял он, тотчас положило бы конец всем моим мучениям. В том же он уверял и всех моих знакомых. Наконец, однажды он явился ко мне с предложением воспеть рождение Римского короля; я со смехом отвечала, что мне решительно нечего сказать на сей счет, разве что пожелать новорожденному хорошей кормилицы. Только услышав эту шутку, префект прекратил уговаривать меня написать что-либо в пользу нынешнего правительства.[513]

Несколько времени спустя врачи посоветовали моему младшему сыну поехать на воды. Ближайший источник располагался в савойском Эксе,[514] в двенадцати лье от Коппе. Я решила отправиться туда в начале мая; в эту пору там всегда бывает совсем пустынно. Я предупредила женевского префекта о своем отъезде, а добравшись до места, поселилась в деревеньке, где не знала ни единой души. Не успела я провести там и десяти дней, как ко мне явился из Женевы посланец префекта с приказанием немедленно возвратиться в Коппе.[515] Экс принадлежит к департаменту Мон-Блан; тамошний префект[516] также был очень напуган: он боялся, как бы я не сбежала из Экса прямо в Англию и не принялась там выпускать книги против императора, поэтому, хотя между Лондоном и Савойей дистанция немаленькая, послал жандармов на почтовые станции и приказал проследить за тем, чтобы мне ни в коем случае не давали лошадей. Нынче все эти *префекторалъные*[517] меры, обрушенные на столь немощное и слабое существо, как я, не вызывают у меня ничего, кроме смеха, но в ту пору при виде жандарма я умирала от страха. Я с ужасом предчувствовала, что ссылку, пусть даже суровую, мне вот-вот заменят тюрьмой, а тюремное заключение было для меня страшнее смерти. Я знала, что стоит императору арестовать меня, стоит ему преодолеть страх скандала, и любые попытки похлопотать обо мне, — если при дворе, где во всякую минуту и в любых обстоятельствах царит страх, кто-либо отважится на такие хлопоты, — сделаются совершенно бесполезны.

Я возвратилась в Женеву, и там префект объявил, что запрещает мне под каким бы то ни было видом выезжать в

страны, присоединившиеся к Французской империи; больше того, он сообщил, что не советует мне путешествовать по Швейцарии и удаляться от Коппе больше чем на два лье. Я возразила, что не постигаю, какое право имеют французские власти запрещать мне, иностранке, вдове шведского посла, проживающей в Швейцарии,[518] путешествовать по стране, от Франции не зависимой. Префект, должно быть, счел большой глупостью с моей стороны обсуждение вопроса о правах в такое время и повторил мне давешний совет, удивительно напоминающий приказ. Я продолжала стоять на своем, однако назавтра выяснилось, что один из самых выдающихся немецких литераторов, г-н Шлегель, уже восемь лет занимавшийся образованием моих сыновей, получил приказ покинуть не только Женеву, но и сам замок Коппе.[519] Я снова попыталась напомнить, что префект Женевы не имеет права распоряжаться на земле Швейцарии, однако на это мне ответили, что если я предпочитаю иметь дело с послом Франции, просьбу мою без труда могут исполнить: посол обратится к ландману, ландман — к властям кантона Во, а те вышлют г-на Шлегеля из моего замка. Заставив деспота пойти кружным путем, я выиграла бы дней десять — но ничего более. Я захотела узнать, по какой причине меня лишают общества г-на Шлегеля — моего друга и друга моих детей. Префект, который, подобно всем слугам императора, имеет обыкновение прятать жестокие поступки за слащавыми фразами, сказал, что правительство удаляет г-на Шлегеля из моего дома исключительно для моей же пользы, ибо он настраивает меня против Франции. Тронутая до глубины души отеческой заботой французского правительства, я осведомилась, чем же г-н Шлегель оскорбил Францию. Префект сослался на литературные убеждения г-на Шлегеля и, в частности, на брошюру, в которой он, сравнивая «Федру» Еврипида с «Федрой» Расина, отдал предпочтение первой.[520] Какая предупредительность со стороны государя-корсиканца — даже по столь невинному поводу встать на защиту французской литературы. На самом же деле г-на Шлегеля ссылали потому, что он был моим другом, потому, что беседы с ним помогали мне сносить жизнь в уединении, потому, наконец, что власти начинали исполнять свой план, заключавшийся в том, чтобы лишить меня всех умственных радостей и дружеских связей и тем превратить в темницу мою собственную душу.[521]

Прежде нежелание покинуть друзей и родительские могилы[522] останавливало меня; теперь я решилась уехать. Но какую дорогу избрать? Французское правительство воздвигало такие препоны перед желающими получить паспорт для отплытия

в Америку, что от этого пути мне пришлось отказаться. Вдобавок я опасалась — и вполне обоснованно, — как бы накануне отплытия власти не объявили, что истинная цель моего путешествия — Англия, и не распространили на меня действие декрета, по которому всякое лицо, намеренное отправиться в эту страну без разрешения французского правительства, подлежит аресту. Поэтому я предпочла искать убежища в Швеции — благородном отечестве моих сыновей, во главе которого стоял человек, обещавший уже тогда сделаться тем славным защитником свободы, каким стал впоследствии.[523] Как, однако, попасть в Швецию? Префект всеми возможными способами дал мне понять, что повсюду, где владычествует Франция, я буду арестована, а как добраться до тех земель, над которыми она не властна? Рейнский союз и Дания, по видимости независимые, на деле давно превратились во французские провинции, поэтому оставался один-единственный путь — через Россию.[524] Однако для того, чтобы оказаться в России, следовало пересечь Баварию и Австрию; я решила ехать через Тироль — землю, несчастные жители которой мужественно противились присоединению их отечества к Рейнскому союзу[525] Что же до Австрии, то, несмотря на ее гибельную зависимость от Наполеона, я слишком уважала ее правителя, чтобы допустить, будто он способен выдать меня Франции; с другой стороны, я так же хорошо понимала, что защитить меня он не сможет. Если он счел себя обязанным принести в жертву древнюю честь своего рода,[526] можно ли было ожидать, что он найдет в себе силы противиться тирании в случаях менее значительных? Итак, если Наполеон разглядывает карту Европы, обдумывая способы ее покорить, я изучала ее, ища способы бежать, причем и его, и мои взоры были прикованы к России. Россия представляла собою последнее прибежище гонимых; понятно, что именно ее властелин Европы желал одолеть.

Меж тем для въезда в Россию требовался паспорт. Тут меня подстерегала новая трудность: чтобы получить такой паспорт, надобно было писать в Петербург; от императора Александра, человека бесконечно великодушного, я бы отказа не получила, однако русские министерские чиновники могли сообщить о моей просьбе послу Франции, вследствие чего французские власти поспешили бы меня арестовать, дабы помешать мне исполнить задуманное. Итак, следовало сначала добраться до Вены, а уже оттуда написать в Петербург и ожидать ответа. Ожидание заняло бы месяца полтора; могла ли я быть спокойной за свою участь, находясь во власти министра, выдавшего австрийскую эрцгерцогиню за Бонапарта?[527] С другой стороны, оставаясь

заложницей в руках Наполеона, я не только навсегда похоронила бы собственные таланты, но и помешала бы своим сыновьям избрать какое бы то ни было жизненное поприще: они не могли ни служить Бонапарту, ни бороться против него; не сумела бы я устроить и будущность дочери: мне пришлось бы либо расстаться с нею, либо навсегда заточить ее в Коппе; с другой стороны, арестуй меня французские жандармы на пути в Россию, дети мои, которые наверняка не согласились бы меня покинуть, разделили бы мою плачевную участь.

Эти тревоги терзали мое сердце, когда человек, с которым связывали меня узы двадцатилетней дружбы, г-н Матье де Монморанси, пожелал, как он это делал уже не раз, скрасить мне тяготы изгнания. Правда, из Парижа мне писали, что императору неугодны поездки в Коппе кого бы то ни было из моих друзей, и в особенности г-на де Монморанси. Однако, признаюсь, памятуя о том, как любит император произносить грозные речи ради устрашения подданных, я отнеслась к этим словам без должного внимания и не стала противиться желанию г-на де Монморанси, который великодушно утешал меня в своих письмах. Конечно, я была неправа, однако кто мог подумать, что желание старого друга провести несколько дней подле изгнанницы будет поставлено ему в вину?

Г-н де Монморанси, занятый исключительно богоугодными делами либо семейственными привязанностями, бесконечно далек от политики, и преследовать его — все равно что отправлять в изгнание святого. Вдобавок я задавала себе вопрос «зачем?» — тот самый, что всегда приходил мне в голову применительно к поступкам Наполеона. Я знаю, что он не упустит случая сотворить любое зло, какое может принести ему хоть малейшую пользу, однако не постигала, до каких пределов, как в бесконечно большом, так и в бесконечно малом, простирается его исполинский эгоизм. Хотя префект не советовал мне путешествовать по Швейцарии, я сочла, что совет — еще не приказ, и решилась его ослушаться.

Я отправилась навстречу г-ну де Монморанси в Орб и предложила ему ради прогулки на обратном пути заехать во Фрибур и посетить женский траппистский монастырь, расположенный в долине поблизости от мужского.[528] День выдался дождливый, а от кареты до ворот монастыря нам пришлось пройти пешком четверть лье. Мы надеялись, что нас пустят внутрь, однако настоятель, под началом которого находится женский монастырь, сказал, что ни одна женщина не имеет нрава переступить его порог. Я позвонила в колокольчик у ворот; к решетке подошла послушница, которой разрешено

говорить с посторонними. «Что вам угодно?» — спросила она ровным голосом, каким, должно быть, говорят призраки. «Мне бы хотелось осмотреть ваш монастырь». — «Это невозможно», — отвечала она. «Но я промокла; мне надобно обсохнуть». Тут она нажала на какой-то рычаг и отворила дверь в одну из комнат, где мне было позволено передохнуть; впрочем, ко мне никто не вышел. Между тем не прошло и нескольких минут, как я поняла, что мне не терпится осмотреть монастырь изнутри; я снова позвонила. Явилась та же послушница. Я еще раз спросила, может ли женщина попасть внутрь монастыря; она отвечала, что может лишь в том случае, если желает стать монахиней. «Как же, однако, могу я знать, хочу ли я остаться в вашем монастыре, если мне не дозволено в нем побывать?» — «В этом нет никакой нужды, — отвечала она, — я уверена, что вы не созданы для монастырской жизни». И с этими словами она закрыла окошко. Не знаю, по каким признакам эта монахиня разгадала, что мой удел — жить в миру, а в монастырь меня привело одно лишь любопытство; возможно, все дело в том, что я говорю быстро и совсем не так, как монастырские затворники. Настала пора вечерни; мне позволили войти в церковь и послушать пение монахинь; впрочем, видеть я их не могла, ибо меня отделяла от них густая темная решетка. Слышен был только стук их деревянных башмаков и поднимаемых ими деревянных сидений. Ни в пении монахинь, ни в их молитвах, ни в речах настоятеля-трапписта я не заметила того религиозного энтузиазма, к какому привыкли мы; его место занимали строгость и непреклонность, позволяющие сносить подобный образ жизни. Чувствительность, пусть даже самая благочестивая, порождает слабость, а для жизни столь суровой душа должна ожесточиться.

Новый настоятель фрибурских траппистов сделал устав ордена еще более строгим. Невозможно даже вообразить себе число мелких мучений, которым подвергаются монахи; дело доходит до того, что им предписывают стоять на одном месте много часов подряд, не прислоняясь к стене, не утирая пот со лба; каждое мгновение их жизни заполнено болью, точно так же, как у светских людей каждая минута отдана наслаждению. Монахи редко доживают до старости, а те, кому выпадает такая участь, видят в ней наказание Господне. Подобное установление следовало бы почитать варварством, если бы людей запирали в монастыре насильно или скрывали условия, в каких им предстоит жить. Между тем всем желающим раздают печатное описание, в котором скорее преувеличивают, нежели преуменьшают суровость требований, предъявляемых к монахам, и все-таки находятся люди, которые поступают в монастырь послушниками

и остаются здесь навсегда, хотя легко могли бы вернуться к мирской жизни. У траппистов, сколько я могла понять, над всем владычествует мысль о смерти. В свете все установления и забавы призваны напоминать исключительно о жизни, меж тем человек, чье сердце преисполнилось в той или иной степени помыслов о неизбежной смерти и веры в бессмертие души, проникается беспредельным отвращением ко всем земным привязанностям; страдания, кажется ему, прокладывают дорогу к жизни грядущей, и он желает сносить их без счета, подобно тому, как путник готов на любые тяготы, лишь бы поскорее преодолеть расстояние, отделяющее его от желанной цели. Меня, однако, изумляло и печалило то обстоятельство, что в условиях столь же суровых здесь содержат и детей; бритые головы, юные лица, уже изрезанные морщинами, траурные одежды, в которые эти несчастные существа облачаются, еще не успев узнать жизнь, не успев отречься от нее по доброй воле, — все возмущало меня против родителей, их сюда поместивших. Если подобное состояние не есть плод свободного и обдуманного выбора человека, в нем пребывающего, оно вселяет не почтение, а ужас. Траппист, с которым я беседовала, говорил только о смерти; все его мысли отталкивались от нее, либо к ней возвращались; в этой обители она царила самовластно. Когда мы заговорили о мирских соблазнах, я высказала свое восхищение человеку, который ради того, чтобы избегнуть этих соблазнов, пожертвовал всем, что имел. «Мы трусы, — отвечал он мне, — мы заперлись в крепости, потому что не дерзаем сразиться с противником в чистом поле». Ответ этот показался мне столь же остроумным, сколь и скромным.[529]

Вскоре после нашей поездки в монастырь французские власти приказали арестовать тамошнего настоятеля, г-на де Лестранжа, конфисковать все имущество ордена, а монахов выслать из Швейцарии. Не знаю, что ставили в вину г-ну де Лестранжу, однако я убеждена, что ни он сам, ни его монахи, никогда не покидавшие монастыря, не могли быть замешаны в каких бы то ни было мирских делах. Швейцарские власти повсюду разыскивали г-на де Лестранжа; надеюсь, что, к их чести, они постарались его не найти. Впрочем, подневольные чиновники тех держав, что именуются союзницами Франции, неоднократно арестовывали людей, указанных им французскими властями, нимало не заботясь о том, виновны или невинны эти несчастные, которых вознамерился поглотить исполинский Левиафан. У траппистов отобрали их имущество, иначе говоря, их могилы, ибо более они ничем не владели, а орден распустили. Говорят, что некий траппист из Генуи с церковной кафедры отрекся от

присяги, принесенной императору, ибо, объявил он, после пленения папы римского[530] всякий священник может считать себя свободным от всех прежних клятв. Говорят также, что после этого он был предан суду чрезвычайного военного трибунала и расстрелян. Казалось бы, не стоило карать за проступок одного монаха, наказанного вдобавок так жестоко, целый орден. Спустя несколько времени я узнала, что аббат де Лестранж вместе с несколькими монахами бежал в Россию — единственную страну на континенте, где гонимые еще могли найти приют. Быть может, позже им пришлось отправиться в Азию и таким образом возвратить христианскую религию на Восток, в тот край, что послужил ей колыбелью.

Горными дорогами мы добрались до Веве и решили заехать в Вале, где я никогда не бывала. Вале в ту пору входил в состав Франции,[531] поэтому мы остановились в Бе — последнем швейцарском городе. Мы увидели португальскую пехотную бригаду, направлявшуюся из Женевы в Вале; странные вещи творятся в Европе: португальцы, стоящие гарнизоном в Женеве, именем Франции занимают часть Швейцарии![532]

Я любопытствовала увидеть в Вале кретинов, о которых много слышала прежде.[533] Это прискорбное вырождение человека достойно самых серьезных размышлений, однако видеть человеческие существа, не вызывающие ничего, кроме отвращения и ужаса, бесконечно тяжело. Впрочем, я заметила, что иные из этих слабоумных выказывают порой известную живость при виде предметов внешнего мира. Поскольку у них вовсе нет памяти, окружающий мир всякий день изумляет их заново; быть может, это свойство дано им в награду за отсутствие прочих способностей. Несколько лет назад одного кретина приговорили к смерти за убийство; по дороге на казнь он, увидев толпу народа и решив, что все эти люди явились его чествовать, заулыбался и приосанился: он желал иметь вид, достойный большого праздника. Можно ли карать такое существо за преступление, пусть даже содеянное его рукой?

В трех лье от Бе с вершины очень высокой горы обрушиваются вниз потоки воды.[534] Я предложила своим друзьям взглянуть на этот знаменитый водопад; мы выехали утром, а к обеду уже возвратились назад. По правде говоря, я совсем забыла, что водопад этот расположен в Вале, иначе говоря, на земле Франции, а во Франции мне дозволено находиться только на узкой полоске земли между Коппе и Женевой. Не успела я вернуться домой, как префект выбранил меня за то, что я осмелилась путешествовать по Швейцарии; впрочем, в знак своей величайшей снисходительности он обещал умолчать о

преступлении, которое я совершила, ступив на землю Французской империи.[535] Я могла бы отвечать словами из басни Лафонтена:

Травы на том лугу я съел совсем чуть-чуть,[536] —

но я просто повинилась в рассеянности, по причине которой отправилась смотреть на швейцарский водопад, забыв, что он расположен во Франции.

Эти постоянные придирки к самым незначительным поступкам отравляли мне жизнь, а развлечь себя литературными занятиями я не могла, ибо мысль об участи, постигшей мою последнюю книгу, и уверенность в том, что мне ничего не дадут опубликовать и впредь, совершенно истощали мой ум, чахнущий без соревнования. Тем не менее я все еще никак не могла решиться навсегда покинуть французский берег, отчий дом и друзей, по-прежнему хранивших мне верность. Каждый день я просыпалась с намерением уехать и каждый день находила предлоги для того, чтобы остаться. Один Бог знает, что я испытала, когда душе моей нанесли последний удар!

Г-н де Монморанси провел несколько дней в Копие. Властелин огромной империи творит зло с такой мелочностью и такой расчетливостью, что тот самый курьер, который привез в Париж весть о прибытии г-на де Монморанси ко мне, возвратился в Копие с приказом о высылке моего друга. Радость императора была бы неполной, не получи г-н де Монморанси письмо министра, содержащее этот приказ, в моем доме и не назови министр причиной ссылки не кого иного, как меня. Г-н де Монморанси всеми возможными способами пытался смягчить эту весть, однако — сообщаю об этом императору, и пусть он порадуется своей удаче — я стенала от боли, думая о беде, которую я навлекла на своего великодушного друга, и никогда еще за многие годы мое измученное сердце не было так близко к отчаянию.[537] Я не знала, чем заглушить мучительные мысли; терзавшая меня тоска была так сильна, что, пытаясь заглушить ее, я даже прибегла к опию. Г-н де Монморанси, сохранявший спокойствие и уповавший на Господа, призывал меня последовать его примеру, однако он мог гордиться той самоотверженностью, какую выказал, поддержав меня, я же винила себя в ужасных последствиях этой самоотверженности, разлучившей его с семьей и друзьями. Я постоянно возносила к Богу молитвы, однако боль не отпускала меня ни на мгновение; жизнь моя сделалась сплошной мукой.

В этом-то состоянии я получила письмо от г-жи Рекамье —

красавицы, которой поклоняется вся Европа и которая никогда не оставляет друзей в беде. Она сообщила мне, что едет на воды в Савойю, в Экс[538] и намерена провести два дня в Копие. Я содрогнулась при мысли о том, что и ее может постигнуть участь Матье. Каким бы невероятным это ни казалось, от человека, питающего ненависть столь варварскую и одновременно столь мелочную, можно было ожидать любой жестокости, поэтому я послала навстречу г-же Рекамье курьера с письмом, в котором умоляла эту великодушную женщину не останавливаться у меня.[539] Какая мука — знать, что она, нежно мною любимая, неустанно утешавшая меня с величайшим благородством и величайшей тонкостью, находится совсем неподалеку, и не иметь возможности обнять ее, быть может, в последний раз в жизни! Все же я заклинала ее внять моим мольбам; она не согласилась, она не смогла проехать мимо моего дома, не проведя со мною хотя бы несколько часов, а я, встречая ее на пороге замка, где каждое ее появление всегда становилось праздником, не могла сдержать слез.

Она уехала на следующий день и направилась к одной из своих родственниц, жившей в пятидесяти лье от швейцарской границы. Однако все было тщетно; она побывала у меня: этого оказалось довольно, чтобы на нее обрушился роковой приказ об изгнании. Она послушалась голоса великодушия и жалости: ее следовало покарать. Перемена привычного уклада жизни была ей особенно тяжела, ибо из-за банкротства мужа она лишилась половины своего состояния.[540] Долгие месяцы она прожила в маленьком провинциальном городке, вдали от всех друзей, страдая от печального однообразия, на какое обрекает одиночество. Вот участь, постигшая по моей вине блистательнейшую из женщин нашего времени; государь французов, славных своей учтивостью, не пожалел первой красавицы Франции. В один и тот же день он обрушился на знатность и благородство в лице г-на де Монморанси, на красоту в лице г-жи Рекамье и, осмелюсь сказать, на некоторую известность, сообщаемую талантом, в моем лице. Быть может, преследуя меня, он также льстил себя надеждой оскорбить память моего отца, дабы доказать раз и навсегда, что он не дорожит никем и ничем: ни мертвыми, ни живыми, ни дворянами, ни гражданами, ни набожностью, ни прелестью, ни умом, ни славой. В его царствование преступником считается всякий, кто нарушал писаные законы и неписаные правила лести, кто не соглашался предать впавшего в немилость друга. Род людской делится для Бонапарта на тех, кто служит ему, и тех, кто дерзает если не вредить ему, то, по крайней мере, существовать независимо.

Ничто в мире, от уклада семьи до управления империями, не должно подчиняться ничьей воле, кроме воли самого императора.

«Госпожа де Сталь, — говорил префект, — устроилась недурно; к ней в Коппе приезжают друзья из Франции и из других стран; император не желает этого терпеть». Зачем же император подвергал меня таким мучениям? Затем, чтобы я напечатала панегирик, ему посвященный? На что же нужен был ему, выслушавшему тысячи хвалебных фраз, продиктованных страхом и надеждой, еще один панегирик? Однажды император сказал: «Предложите мне самому сделать доброе дело либо заставить моего противника совершить низость: я, не колеблясь ни минуты, предпочту опозорить противника». Вот отчего он с таким рвением растаптывал мою жизнь. Он знал, как привязана я к своим друзьям, к Франции, к своим сочинениям, к привычному образу жизни, к светскому обществу; он вознамерился разлучить меня со всем, что доставляло мне радость, и, повергнув в смятение, заставить в надежде на прощение поднести ему плоское похвальное слово. Сказать по чести, большой заслуги в моем отказе нет: император требовал от меня низости, но никакой пользы эта низость мне бы не принесла; ведь его божество — успех, и он никогда бы не допустил, чтобы я, пусть даже выставив себя на посмешище, такой ценой добилась возвращения в Париж. Чтобы доставить удовольствие нашему повелителю, в совершенстве владеющему искусством унижать те гордые души, какие еще остались во Франции, мне следовало ради возвращения из ссылки опозорить себя, подольститься к человеку, который обрушивал на меня одно гонение за другим, и дать ему возможность, посмеявшись над моим подобострастием, оставить меня ни с чем. Я лишила его этого поистине утонченного удовольствия; вот моя единственная заслуга в многолетней борьбе между его всемогуществом и моей слабостью.

Родных г-на де Монморанси известие о его высылке привело в отчаяние, и они, что вполне естественно, пожелали, чтобы он расстался с несчастной, навлекшей на него эту беду; я простилась с этим великодушным другом, не зная, придет ли день, когда он снова сможет оказать моему дому честь своим присутствием. 31 августа 1811 года я порвала первую и последнюю из нитей, связующих меня с отечеством; я говорю здесь об узах земных, человеческих, которые нам с г-ном де Монморанси заказаны; впрочем, я думаю о нем всякий раз, когда устремляю взор в небеса; смею надеяться, что и он поминает меня в своих молитвах. Иного способа сообщаться с ним мне не дано.

После того как двух моих друзей выслали из Парижа, на меня обрушилось множество других огорчений, однако большая беда

заслоняет бедствия менее значительные. Распространился слух, будто министр полиции собирается выставить в начале дороги, ведущей к воротам Коппе, караул и заключать под стражу всякого, кто захочет меня навестить. Женевский префект, который, по его собственным словам, получил от Наполеона приказ меня уничтожить, не упускал ни малейшей возможности намекнуть или даже объявить напрямую, что особам, ожидающим от императора милостей или опасающимся его гнева, приезжать ко мне не следует.

Г-н де Сен-При, бывший министр короля и товарищ моего отца, желал оказать мне честь своим посещением;[541] я умоляла его этого не делать; мне вторили дочери этого великодушного человека, имевшие все основания бояться, что в отместку его вышлют из Женевы. Он внял нашим мольбам; тем не менее в разгар зимы семидесятишестилетнего старца выслали не только из Женевы, но и вообще из Швейцарии, ибо — чему примером и моя история — император изгоняет людей из Швейцарии так же уверенно, как и из Франции, а когда эти несчастные напоминают французским жандармам, что Швейцария признана независимой державой, они пожимают плечами, словно им толкуют о скучных умозрениях метафизических. В самом деле, лишь пребывая во власти умозрений, можно надеяться отыскать в Европе кого-либо, кроме префектов-королей и префектов-баронов, повинующихся приказам французского императора. Так называемые державы-союзницы только тем и отличаются от французских провинций, что с ними обходятся еще более грубо. Французы смутно помнят о том, что некогда их почитали великой нацией, и память об их былой гордости порой вынуждает императора к известной обходительности; впрочем, с каждым днем нужда в этом ощущается все меньше. Предлогом для ссылки г-на де Сен-При стало то обстоятельство, что он не приказал своим сыновьям покинуть русскую службу. Сыновья его, отправившись в эмиграцию, нашли в России радушный прием; там были они возвышены, там изранены в боях и награждены за бесстрашие; оба выказали себя великими мастерами в военном деле; старшему уже за тридцать. Как же мог отец требовать от сыновей, таким образом устроивших свою жизнь, чтобы они променяли ее на честь проживать под надзором на земле Франции?[542] А ведь именно этот завидный жребий был им уготован на родине. Я испытала скорбное удовлетворение от того, что последний раз видела г-на де Сен-При за четыре месяца до его ссылки; в противном случае никто бы не усомнился, что причина его немилости — в знакомстве со мной, ибо я сею вокруг себя несчастья.

От посещения моего дома рекомендовали воздержаться не только французам, но и иностранцам. Префект бдительно следил за тем, чтобы ко мне не могли приехать даже старые друзья. Однажды он лишил меня общества немецкого знакомца, беседа с которым доставляла мне особенное удовольствие, а когда я сказала, что он мог бы избавить меня от этого утонченного издевательства, он отвечал: «Да ведь я желал вам услужить. Я дал понять вашему другу, что его приезд вас скомпрометирует».[543] Услышав этот хитроумный довод, я не смогла удержаться от смеха. «Да, — продолжал он тоном серьезным и совершенно невозмутимым, — император не простит вам, если увидит, что вас предпочитают ему». — «По-вашему, — воскликнула я, — императору угодно, чтобы мои старые друзья, а быть может, и мои дети предали меня ему в угоду; не слишком ли многого он требует? Вдобавок я плохо понимаю, как можно скомпрометировать человека, находящегося в моем положении; слова ваши напомнили мне историю одного революционера, которого во времена Террора попросили спасти друга от смертной казни. „Боюсь, — сказал этот смельчак, — что если я начну хлопотать за него, это может ему повредить“». Г-н де Капель в ответ улыбнулся, но префект в нем взял верх над человеком, и он продолжал рассуждения, которым подкрепляющие их четыреста тысяч штыков придают чрезвычайную убедительность. Один житель Женевы спросил у меня: «Не кажется ли вам, что г-н де Капель высказывает свои мнения с большой прямотой?» — «Да, — согласилась я, — он смело объявляет, что принадлежит к партии сильных, искренне признается, что предан человеку могущественному; не пойму, какая в том заслуга».

Все же в Женеве нашлись люди независимые, продолжавшие выказывать мне расположение, которого я никогда не забуду. Однако большинство, вплоть до таможенных чиновников, предпочитали держаться от меня подальше, так что, не избавь я женевских жителей от тяжкой необходимости решать вопрос о том, следует ли им наносить мне визит, все кругом — префект, супрефекты и их родственники — пребывали бы по сему поводу во власти глубочайшей тревоги. Каждая почта приносила сведения о новых друзьях, высланных из Парижа за дружбу со мной; мне предписывалось не видеть ни одного сколько-нибудь известного француза, больше того, я все чаще боялась повредить тем из моих соседей, что отважно продолжали выказывать мне дружеское расположение. Я пребывала во власти двух противоположных, но, полагаю, равно естественных чувств: я огорчалась, ощущая себя покинутой, и жестоко тревожилась,

видя, что кто-то не скрывает своей ко мне привязанности. Трудно, полагаю, вообразить положение более мучительное; я вела такую жизнь два года, и за это время не было ни единого утра, когда, проснувшись, я не впадала бы в отчаяние от необходимости сносить подобное существование и дальше.

«Но отчего же вы не уезжали?» — спросят меня; впрочем, этот же вопрос мне задавали и в те годы. Один человек, имя которого я не вправе назвать, но который, надеюсь, знает, как глубоко уважаю я его за благородство характера и поведения,[544] сказал мне: «Если вы останетесь, вас постигнет судьба Марии Стюарт: девятнадцать лет страданий, а в итоге — ужасная гибель».[545] Другой, остроумный, но не выбирающий слов, написал мне, что после стольких притеснений оставаться под властью Наполеона позорно.[546] Я и без этих советов страстно желала уехать; разве после того, как меня лишили возможности видеться с друзьями, превратили в обузу для моих детей, я не обязана была решиться на это? Однако префект на все лады твердил мне, что, попытайся я уехать, меня арестуют, что я не буду в безопасности ни в Вене, ни в Берлине и что, стоит мне начать готовиться к отъезду, он тотчас об этом узнает, ибо ему прекрасно известно все, что происходит в моем доме. Последнее было сущим бахвальством; дальнейшие события показали, что соглядатай из него никудышный. Кого, однако, не испугал бы тот уверенный тон, каким он убеждал всех моих друзей, что я и шагу не смогу сделать, не попав в руки его жандармов?[547]

Восемь месяцев я прожила в состоянии неописуемом, всякий день пытаясь собраться с духом и всякий день утрачивая мужество при мысли о тюрьме. Разумеется, тюрьмы боятся все люди, однако моему воображению так страшна угроза одиночества, я так нуждаюсь в поддержке друзей, в их одобрении, в их советах, которые внушают мне надежду в ту самую минуту, когда я изнемогаю под гнетом горя, что смерть всегда ужасала меня меньше тюрьмы, меньше одиночного заключения, в котором можно провести годы, не слыша ни единого дружеского голоса. Мне рассказывали, что один из тех испанцев, которые с поразительным бесстрашием защищали Сарагосу, кричал в голос от тоски, оказавшись в камере Венсеннского замка:[548] так мучительно одиночество для существ самых отважных! Вдобавок я прекрасно сознавала, что я к существам отважным не принадлежу; воображение мое смело, но характер робок, а страхи осаждают мой ум, точно призраки. Талант мой такого рода, что все образы представляются мне чрезвычайно живо: красотам природы это идет на пользу, опасности же становятся более грозными. Я боялась тюрьмы, боялась нападения разбойников —

в том случае, если по каким-либо политическим причинам въезд в Россию окажется невозможен и мне придется избрать путь через Турцию; меня переполняла страхом за себя и за дочь мысль о морском плавании из Константинополя в Лондон. И тем не менее уехать было необходимо; меня вынуждало к этому чувство собственного достоинства, однако, подобно одному весьма известному французу, я могла бы сказать: «Я страшусь тех опасностей, которым подвергнет меня моя отвага».[549] В самом деле, гонения, обрушиваемые на женщин, особенно грубы и безжалостны оттого, что женский характер от природы раздражителен и слаб одновременно: женщины сильнее страдают от мук, но имеют меньше сил для того, чтобы этих мук избегнуть.

Ужасало меня и другое подозрение: я боялась, что, узнав о моем отъезде, император продиктует и прикажет опубликовать в газетах одну из тех статей, какие он сочиняет, когда желает уничтожить свою жертву морально.[550] Один сенатор сказал мне, что Наполеон — лучший из журналистов, каких он когда-либо знал.[551] В самом деле, если журналистикой именуется искусство оговаривать людей и нации, то следует признать, что этим искусством Наполеон владеет превосходно. Нациям это особого ущерба не причиняет, людям же приходится куда тяжелее; дело в том, что в революционные времена Наполеон обучился искусству измышлять клеветы на потребу толпе, и клеветы эти пользуются большим успехом среди людей, чьего ума хватает лишь на повторение фраз, публикуемых правительством. Обвини «Монитёр» кого-либо в грабеже на больших дорогах, ни одна газета, французская ли, немецкая ли, итальянская ли, не дерзнула бы опубликовать опровержение. Итак, нынешний деспотизм совершил важнейшее открытие — сумел поставить себе на службу печать, прежде считавшуюся защитницей свободы. Некогда последним доводом королей именовали пушки.[552] Нынче к пушкам следует прибавить газеты, сделавшиеся в последнее время одним из самых действенных орудий тирании. Правительство может писать в них все, что ему вздумается, подданные же не вправе отвечать ни на одно обвинение, не вправе давать волю ни своему таланту, ни своему характеру. Трудно даже вообразить, какой властью обладает человек, имеющий в своем распоряжении миллионную армию, миллиардный доход и все темницы Европы, превративший королей в тюремщиков и объясняющийся с нацией посредством прессы, меж тем как жертвы не имеют возможности отвечать на обвинения даже устами своих друзей, — человек, получивший право высмеивать несчастных и вкушающий благодаря этому отвратительному праву те наслаждения, какие испытывают духи

ада, глумясь над родом человеческим!

Самые независимые души, полагаю, не могут не содрогаться, имея дело с таким врагом. Я, во всяком случае, открыто признаюсь, что дрожала от ужаса и говорила себе, что, как ни безрадостно мое положение, иметь крышу над головой, стол для трапез и сад для прогулок — удел не из худших. Однако и этого немногого я могла лишиться в любой момент; довольно было одного слова, сорвавшегося с моих уст и повторенного устами чужими, чтобы разъярить владыку, чье могущество с каждым днем делалось все сильнее; меж тем кто знает, на что бы он пошел, охваченный яростью? В солнечные дни я приободрялась, однако стоило тучам затянуть небо, и меня снова охватывал страх перед дорогой;[553] я обнаруживала в себе склонности вульгарные, чуждые моей натуре и развившиеся в ней исключительно под действием страха; материальное благополучие представлялось мне куда более важным, чем прежде, а дорожные тяготы вселяли ужас. Вдобавок несчастья окончательно расстроили мое здоровье, а вместе с физическими силами таяли и силы душевные; все это время я воистину злоупотребляла терпением друзей, постоянно обсуждая с ними свои планы и приводя их в отчаяние своей нерешительностью. Я вторично попыталась получить паспорт для отъезда в Америку; ответ пришел только в середине зимы: в паспорте мне отказали.[554] Я обещала не публиковать никаких сочинений, даже самых пустых мадригалов, лишь бы мне разрешили поселиться в Риме; прося дозволения жить в Италии, я дерзнула напомнить о том, что я автор «Коринны». По всей вероятности, генерал Савари счел, что полицейскому к подобным резонам прислушиваться не пристало, и безжалостно отказал мне в праве перебраться в южный край, воздух которого мог меня исцелить; мне постоянно напоминали, что отныне и до скончания века я обречена проводить свои дни в пределах клочка земли между Коппе и Женевой. Останься я дома, мне пришлось бы разлучиться с сыновьями, вступившими в тот возраст, когда молодым людям пора искать себе поприще; дочь моя принуждена была бы разделять мою безрадостную участь. Меж тем женевцы, некогда столь великодушные и столь свободные, постепенно утрачивали независимость и покорялись французским властям, от которых ожидали должностей и званий. С каждым днем число тех, с кем я могла говорить без боязни, таяло, и чувства мои из животворного источника превращались для души в тяжкую обузу Талант, счастье, сама жизнь — всему этому мне следовало сказать «прости», ибо влачить свои дни, не оказывая помощи детям и причиняя вред друзьям, ужасно.

Вдобавок отовсюду ко мне поступали известия об

устрашающих приготовлениях императора. Было очевидно, что он намеревается вначале сокрушить Россию и завладеть портами на Балтике, затем двинуть покоренные войска этой державы на Константинополь, а после подчинить своему владычеству Африку и Азию. Незадолго до отъезда из Парижа он сказал: «Старая Европа мне наскучила».[555] В самом деле, Европа сделалась ему тесна. Можно было не сомневаться, что в любую минуту мы лишимся последней возможности покинуть континент: вся Европа грозила превратиться в воюющий город, у ворот которого выставлены караулы.

Итак, пока у меня еще оставалась возможность попасть в Англию, я решилась покинуть Коппе; впрочем, чтобы добраться до цели, мне предстояло проехать через всю Европу. Отъезд, приготовления к которому велись уже давно в строжайшей тайне,[556] я назначила на 15 мая. Накануне этого дня силы полностью оставили меня, и на мгновение я уверилась, что подобный ужас может охватить человека, лишь если он намеревается совершить злое дело. Порой я самым безрассудным образом пыталась разгадать, что сулят мне различные предзнаменования, порой, действуя куда более разумно, вместе с друзьями размышляла о том, насколько морально принятое мною решение. Должно быть, религия всегда и во всем требует от человека покорности судьбе, и меня нисколько не удивляет, что особы благочестивые остерегаются поступков, совершенных по людскому произволу. Необходимо, полагают они, лишь то, что внушено Господом, если же человек действует на свой страх и риск, им, весьма возможно, движет гордыня. Однако нет способности, которая была бы дана нам напрасно; должна же когда-нибудь пригодиться и способность принимать решение. Посредственностей всегда удивляет, что человек талантливый имеет потребности, отличные от тех, какие привычны им. Успех внятен всем; пока талант успешен, он вызывает восхищение, однако стоит ему сделаться источником бедствий, увести с проторенных дорог, те же самые люди начинают видеть в нем болезнь и едва ли не преступление. Я слышала, как шепчутся обо мне окружающие, повторяя общие места, принимаемые всеми на веру: «Разве у нее нет денег? Что ей мешает жить в свое удовольствие под крышей родного замка?»[557] Люди выдающегося ума угадывали, что даже то безрадостное положение, в коем я пребываю, не обеспечено мне навечно, что оно может сделаться хуже, но лучше — никогда, однако число этих проницательных людей было невелико. Остальные же в один голос советовали мне оставаться дома: ведь уже полгода императорские гонения обходили меня стороной, а людям свойственно верить, что завтра

все будет так же, как и сегодня.[558] Именно в этих нелегких обстоятельствах я должна была принять одно из самых важных решений, какие выпадают на долю женщины в ее частной жизни. Слуги мои, за исключением двух доверенных лиц,[559] ничего не знали о моих намерениях; не подозревали о них и гости, бывавшие в моем доме, а между тем мне предстояло совершить поступок, призванный полностью переменить мою жизнь и жизнь моих близких.

Раздираемая сомнениями, я отправилась на прогулку в парк, окружающий замок; я опускалась на скамейки, где часто сиживал, любуясь красотами природы, мой отец; я смотрела на водную гладь и зеленую листву, которыми мы некогда восхищались вместе с ним; я прощалась с ними, вверяя себя их кроткому покровительству Необходимость покинуть усыпальницу, где покоятся останки моих родителей и где, если будет на то воля Божья, некогда упокоюсь и я, печалила меня едва ли не больше всего, однако, приближаясь к ней, я неизменно ощущала прилив душевных сил.[560] Более часа провела я в молитвах перед этой железной дверью, за которой спит вечным сном благороднейший из людей, и на душу мою низошла свыше убежденность в том, что мой долг — уехать. Я вспомнила прославленные стихи римского поэта Клавдиана, в которых он говорит о некоем сомнении, рождающемся в душах самых благочестивых при виде торжествующих злодеев и страждущих смертных, чья участь зависит, кажется, исключительно от случая.[561] Я чувствовала, что энтузиазм, служивший источником всех моих добрых свойств, иссякает и что, не слыша ободрения единомышленников, я более не верю сама себе. Объятая тревогой, я не однажды призывала тень моего отца — этого Фенелона от политики,[562] чей гений, хотя во всем противоположный Бонапартову, был, однако же, по крайней мере столь же могуч, ибо для того, чтобы жить в мире с Небесами, гения потребно никак не меньше, нежели для того, чтобы попирать все законы божеские и человеческие. Войдя в кабинет батюшки, где всё: кресло, письменный стол, бумаги — оставалось на тех же местах, что и при его жизни, я поцеловала все эти драгоценные реликвии и забрала с собой красную мантию, которая лежала здесь на стуле со дня его смерти; я решила набросить ее на себя в ту минуту, когда ко мне приблизятся Бонапартовы жандармы или вестник смерти.[563] Стараясь по возможности избежать особенно тягостных сцен прощания, я написала письма друзьям и позаботилась о том, чтобы послания эти дошли до адресатов лишь через несколько дней после моего отъезда.[564]

Назавтра в два часа пополудни я уселась в экипаж, сказав

слугам, что вернусь к обеду.[565] Никаких вещей у меня с собой не было; мы с дочерью держали в руках веера, и лишь мой сын, а также мой и его друг[566] положили в карманы кое-что из того, что на первых порах могло пригодиться нам в путешествии. Когда мы доехали до конца аллеи, берущей начало у ворот Коппе, этого замка, сделавшегося для меня старым добрым другом, я едва не лишилась чувств. Старший сын взял меня за руку и сказал: *«Вспомни: ты едешь в Англию»?*[567] Слова эти вернули мне силы. Правда, от этой цели, до которой в других обстоятельствах я смогла бы добраться очень скоро, меня отделяли по меньшей мере две тысячи лье,[568] однако с каждым моим шагом она становилась все ближе. Отъехав от замка на несколько лье, я послала одного из слуг предупредить, что вернусь не раньше завтрашнего дня, и продолжала свой путь без остановки до тех пор, пока, миновав Берн, не добралась до фермы, где назначила свидание еще одному другу, непременно желавшему меня сопровождать.[569] Там же мне предстояло проститься со старшим сыном — копией своего деда, который в течение двенадцати лет жизни мальчика служил ему примером.[570]

Тут мужество вторично покинуло меня; Швейцария, до сих пор столь покойная и по обыкновению столь прекрасная, населенная людьми, которые, даже утратив политическую независимость, наслаждаются свободой благодаря своим добродетелям, казалось, не желала меня отпускать и просила остаться. Я еще могла возвратиться; ничего непоправимого я пока не совершила. Хотя префект и запретил мне поездки по Швейцарии, я прекрасно понимала, что более всего он опасался, как бы я не отправилась дальше. Одним словом, ту границу, за которой становится ясно, что назад дороги нет, — роковую границу, в существование которой так трудно поверить, — я еще не пересекла. С другой стороны, непоправимым оказалось бы и решение возвратиться, ибо мне было ясно — и дальнейшие события подтвердили мою правоту, — что другого случая бежать мне уже не представится. Вдобавок есть нечто постыдное в том, чтобы заново устраивать церемонию торжественного прощания; невозможно воскресать в глазах друзей больше одного раза. Не знаю, что бы сталось со мной, если бы колебания эти продлились, ибо они привели мой ум в совершенное смятение. Решиться мне помогли дети, прежде всего дочь, которой шел пятнадцатый год. Я, можно сказать, предала себя в ее руки, как если бы устами этого ребенка говорил Господь.[571] Она произнесла слова, которые я мысленно окрестила гласом судьбы. Сын мой расстался с нами, и когда его карета скрылась за горизонтом, я смогла сказать вслед за лордом Расселом: «Смертная боль позади».[572] Вместе с

дочерью я села в экипаж; с колебаниями было покончено, и если прежде мне недоставало душевных сил для того, чтобы принять решение, теперь они нашлись для того, чтобы действовать.

Путешествие по Австрии[573]

Итак, после десяти лет все более и более жестоких гонений, изгнанная сначала из Парижа, а потом и из Франции, обреченная на заточение в собственном замке, осужденная жить в горестной разлуке с друзьями и быть причиной их ссылки, я была вынуждена тайно покинуть обе мои родины, Швейцарию и Францию, дабы ускользнуть из-под власти человека, имеющего гораздо меньшее отношение к французской нации, нежели я, ибо я родилась на берегах Сены, а он завоевал звание французского гражданина лишь силою своего тиранства. Он родился на Корсике, вблизи дикой Африки; отец его, в отличие от моего, не жертвовал состоянием и досугом для спасения Франции от разорения и голода; воздух этой прекрасной страны для него не родной; может ли он понять горечь расставания с ней — он, видящий в этом плодородном крае всего лишь орудие своих побед? Где его родина? Где его соотечественники? Его родина — та земля, жители которой ему повинуются; его соотечественники — те рабы, которые исправнее прочих исполняют его приказания. Однажды он признался, что завидует Тамерлану, который командовал нациями, не умеющими рассуждать. Полагаю, что нынче он может быть доволен европейцами; нравы их, равно как и их армии, стали куда сильнее походить на татарские.[574]

В Швейцарии мне нечего было бояться, ибо я всегда могла доказать, что имею право находиться на ее земле, однако за ее пределами защитой мне служил бы только заграничный паспорт; меж тем мне предстояло пересечь страну, входившую в состав Рейнского союза, и, потребуй какой-либо французский агент у правительства Баварии задержать меня, приказ этот, хотя и с сожалением, наверняка был бы исполнен.

Я пересекла границу Тироля, исполненная величайшего уважения к жителям страны, сражавшимся за право повиноваться прежним властителям, и величайшего презрения к австрийским министрам, предавшим этих верных слуг.[575] Говорят, что однажды во время войны некий г-н фон Гуделист, глава австрийской тайной полиции, рассуждал за обедом у императора о необходимости бросить тирольцев на произвол судьбы.[576] Г-н Хормайр, уроженец Тироля, занимавший в Вене пост государственного советника и доказавший своими делами и сочинениями право зваться храбрым воином и талантливым историком,[577] отозвался об этих недостойных речах с подобающим презрением. Император согласился с г-ном Хормайром и хотя бы таким образом показал, сколь чужды ему те

политические решения, к которым его принудили. В частной жизни многие монархи, занимавшие европейские престолы в ту пору, когда во Франции власть захватил Бонапарт, были, подобно австрийскому императору, людьми глубоко порядочными, однако, всецело полагаясь в делах государственных на случай и на собственных министров, они, можно сказать, отрекались от своего сана.[578]

Природа Тироля подобна швейцарской. Впрочем, тамошним видам недостает яркости и своеобычности; деревни в Тироле менее изобильны; одним словом, все здесь обличает край, который повиновался мудрым правителям, но никогда не знал свободы; если тирольцы и оказали сопротивление захватчикам, то лишь потому, что они упорны, как всякие горцы. Среди уроженцев Тироля трудно отыскать людей выдающихся. Во-первых, австрийское правительство вообще не способствует развитию гения;[579] во-вторых, нравами и местоположением Тироль близок Швейцарскому союзу; включение его в состав Австрийской империи противоречило его природе, и потому единственными достоинствами тирольцев остались отвага и преданность, свойственные всем горным жителям.

Возница показал нам утес, на котором едва не погиб император Максимилиан, дед Карла V;[580] преследуя косулю, этот страстный охотник взобрался на огромную высоту, а обратной дороги сам отыскать не умел. В народе до сих пор жива память об этом происшествии, ибо нациям потребно поклоняться прошлому. Живы были в душе тирольцев и воспоминания о последней войне; крестьяне показывали нам вершины гор, на которых они оборонялись от врага; они гордились тем впечатлением, какое производили их прекрасные воинственные напевы, разносившиеся по окрестным ущельям. Показывая нам дворец баварского наследного принца в Инсбруке,[581] они сообщили, что здесь жил отважный крестьянин Гофер, вождь мятежников;[582] рассказали об отважной женщине, которая пыталась не пустить французов в свой замок.[583] Одним словом, все в их поведении свидетельствовало не только о преданности австрийскому дому, но и о потребности быть нацией.

Прославленная гробница Максимилиана располагается в одной из инсбрукских церквей. Льстя себя надеждой, что здесь, вдали от столиц, кишащих французскими шпионами, меня никто не узнает, я отправилась туда. Саркофаг, стоящий посредине церкви, украшен бронзовым коленопреклоненным изваянием императора Максимилиана, а вдоль стен выстроились еще четыре десятка колоссальных статуй из того же металла, изображающие самых знатных и славных особ обоего пола, современников

императора.[584] Эти недвижные царедворцы, окружающие мертвого повелителя, этот придворный этикет, чтимый тенями, — зрелище, рождающее множество размышлений; рассматривая статуи, я узнала Филиппа Доброго, Карла Смелого, Марию Бургундскую, Дитриха Бернского. Лица рыцарей скрыты опущенным забралом, однако подняв его, можно увидеть под медной броней медное же лицо; черты этих воинов изваяны из того же металла, что и их доспехи. Такие памятники вселяют в душу спокойствие. Если потомки сочтут Бонапарта достойным гробницы, они будут окидывать ее безмятежным взором, между тем при его жизни ни одно живое существо не могло наслаждаться ни покоем, ни независимостью.

Из Инсбрука мне предстояло добраться до Зальцбурга, а оттуда направиться к австрийской границе. Я полагала, что, стоит мне очутиться на земле этой монархии, прежде столь надежной и гостеприимной, и всем моим тревогам придет конец. Зато пересечение границы между Баварией и Австрией пугало меня безмерно: я опасалась встретить там курьера, посланного арестовать меня. Однако, несмотря на этот страх, ехала я небыстро, ибо здоровье мое, расстроенное многочисленными невзгодами, не позволяло мне продолжать путь по ночам. В этом путешествии мне не раз приходилось убеждаться, что самый сильный страх не способен одержать верх над физическим изнеможением, заставляющим бояться дорожных тягот больше смерти. Тем не менее я надеялась добраться до границы без происшествий и, зная, что цель близка, почти перестала тревожиться, однако не успели мы войти в зальцбургскую гостиницу, как хозяин сообщил моему спутнику,[585] что до нас здесь побывал французский курьер, который расспрашивал о карете из Инсбрука с женщиной и девушкой и пообещал вернуться. Хотя разговор шел по-немецки, я не упустила ни одного слова и побледнела от ужаса. Спутник мой взволновался не меньше меня; он засыпал хозяина гостиницы вопросами, и тот подтвердил, что курьер был француз, что прибыл он из Мюнхена, добрался до самой австрийской границы, но, убедившись, что сильно опередил меня, двинулся мне навстречу. Дело представлялось совершенно ясным; именно эту опасность воображение рисовало мне и до отъезда, и во время пути. Бежать мне было некуда, ибо курьер этот, который, по словам хозяина гостиницы, ожидал на почтовой станции, безусловно имел приказ задержать меня. Я тотчас решила оставить карету, дочь и спутника в гостинице, пойти пешком по улицам города, куда глаза глядят, и попросить приюта в первом же доме, к хозяину или хозяйке которого почувствую расположение. Я рассчитывала

провести под их кровом несколько дней, а спутник мой и моя дочь тем временем объяснили бы французскому курьеру, что я еще неделю назад отправилась в Австрию, переодетая крестьянкой, и ожидаю их там. Конечно, способ этот был не слишком надежен, однако ничего лучшего я придумать не могла и, дрожа от страха, готовилась покинуть гостиницу, как вдруг в комнату вошел тот самый курьер, которого я так боялась и который оказался на поверку не кем иным, как моим женевским другом и родственником, выехавшим из Коппе вместе со мной.[586] Он выдал себя за французского курьера, чтобы, извлекая пользу из ужаса, которое вызывает это звание повсюду, но особенно среди союзников Франции, как можно быстрее получать лошадей на почтовых станциях. Ехал он через Мюнхен и прежде всего побывал на баварско-австрийской границе, желая убедиться, что там нет засады, а теперь возвратился назад, дабы успокоить меня и пересечь вместе со мной эту границу, где, как мне казалось, ждало меня самое ужасное, но вместе с тем и последнее из испытаний. Итак, от мучительного страха я перешла к сладостному ощущению безопасности и признательности.

Вместе мы отправились осматривать город, который некогда пребывал под властью архиепископа и, подобно большей части немецких княжеств, подчинявшихся прежде курфюрстам духовного звания, имеет ныне вид весьма запустелый.[587] Мирная жизнь, которую вели здешние жители при прежнем правлении, кончилась вместе с ним. Хранителями порядка выступали также и монастыри; обилие заведений и построек, которыми обязаны тирольцы безбрачным повелителям, поразительно: впрочем, все мирные государи благодетельствовали своим нациям. В прошлом веке один из правителей Зальцбурга прорыл в скале при въезде в город проход длиной в несколько туазов, напоминающий грот в Паузилиппо близ Неаполя.[588] Вход в него украшен бюстом архиепископа с надписью «Te saxa loquentur» (камни расскажут о тебе). Надпись эта исполнена величия.

Наконец я очутилась в Австрии, которая четыре года назад наслаждалась безоблачным счастьем. Нынче, однако, все здесь переменилось; перемены эти, поразившие меня, произошли из-за обесценивания бумажных денег, стоимость которых постоянно колеблется вследствие затруднений с финансами. Ничто так не портит народ, как эти постоянные колебания, делающие из каждого человека спекулятора и развращающие весь рабочий люд возможностью зарабатывать деньги хитростью, а не трудами. Я уже не обнаружила в австрийцах той честности, какая поразила меня четыре года назад: бумажные деньги, постоянно меняющиеся в цене, соблазняют воображение надеждой на

быструю и легкую наживу, простолюдины начинают во всем полагаться на случай и расстаются с тем размеренным и надежным существованием, которое и питало их честность. Пока я была в Австрии, некоего человека, который в пору, когда старые деньги обесценились, изготовлял фальшивые купюры, приговорили к повешению; идя на казнь, он кричал, что настоящий вор не он, а государство. В самом деле, невозможно убедить людей из народа в том, что за свои спекуляции, ничем не отличающиеся от спекуляций правительства, они заслуживают смерти. Правительство это, однако, действовало в союзе с правительством французским; союз этот можно даже назвать двойным: ведь его заключили не только Франция с Австрией, но и терпеливый тесть с грозным зятем. Что же еще мог предпринять император? Брак дочери уменьшил на два миллиона те контрибуции, какие он должен был выплатить Франции; остального Наполеон ему не простил, ибо справедливость, как ее понимает он, заключается в том, чтобы обращаться с друзьями так же, как и с врагами; вот отчего страдала австрийская казна.

Тяготела над австрийцами и другая беда — следствие последней войны, а главное, последнего мира, ибо мир, заключенный с этим человеком, всегда гораздо опаснее войны, так как лучше бороться с его силой, нежели с его хитростью. Беда эта заключалась в том, что отвага, какой прославила себя австрийская армия в сражениях при Эсслинге и Ваграме, пропала втуне и нация отдалилась от своего государя, которого прежде горячо любила; подобная участь постигла всех монархов, спасовавших перед Наполеоном:[589] он превратил их в сборщиков налогов, обязанных обогащать его казну, он вынудил их душить подданных поборами, а когда ему заблагорассудилось отнять у этих государей престолы, народы, охладевшие к своим монархам именно по причине их покорности императору, не встали на их защиту. Наполеон мастерски умеет ставить народы, с которыми он заключил так называемый мир, в положение столь тягостное, что они охотно идут на любые перемены, а однажды согласившись предоставлять Франции солдат и деньги, не видят ничего предосудительного в том, чтобы к ней присоединиться. Между тем, поступая так, они совершают ошибку, ибо нет ничего хуже, чем утратить звание нации; вдобавок, если во всех бедствиях Европы виноват один-единственный человек, следует беречь все установления, способные возродиться в пору, когда этого человека не станет.

По пути в Вену мне предстояло встретиться с моим младшим сыном, который ехал следом за мной со слугами и вещами; поэтому я остановилась на день в Мелькском аббатстве,

расположенном на том самом холме, откуда император Наполеон осматривал извилистое течение Дуная и осыпал похвалами местность, на которую намеревался обрушить свои войска.[590] Он обожает забавы ради расписывать в самых ярких красках прелести природы, которую готовится погубить, и последствия сражений, в которые ему угодно будет втянуть род человеческий. Впрочем, он судит о человечестве, исходя из своих сатанинских представлений, и, разумеется, полагает, что имеет все основания забавляться за счет людей, раз люди его терпят. Человека удерживает от злых деяний либо преграда, либо раскаяние; преград на его пути никто не ставил, а от раскаяния он без труда избавился. Поднявшись по его следам на Мелькский холм и любуясь в одиночестве окрестными краями, я была поражена их плодородием и едва ли не огорчена тем, как скоро Небеса исправили урон, нанесенный этой земле людьми. Зато богатства нравственные по вине тиранов исчезают навсегда или, по крайней мере, на много столетий. Религия и добродетель, твердость духа и острота ума, изящная словесность и изобразительные искусства — всему этому в Европе пришел конец; более того, вот удивительная черта нашей эпохи: глумливый варвар, только и знающий что унижать род человеческий и похищать у него все преимущества, составлявшие некогда предмет его гордости, порожден не чем иным, как избытком цивилизованности.

6 июня я благополучно добралась до Вены, и в тот же день двумя часами позже г-н граф де Штакельберг, русский посол в Австрии, отправил в Вильну, где находился в ту пору император Александр, курьера с письмом, в котором просил о выдаче мне паспорта;[591] выказав в беседе со мной ту благородную предупредительность, что составляет одну из главных черт его характера, г-н де Штакельберг заверил меня, что ответ придет через три недели. Эти три недели нужно было где-то провести; австрийские друзья, принявшие меня самым любезным образом, утверждали, что в Вене мне ровным счетом ничего не грозит.

Двор в ту пору выехал из Вены в Дрезден, куда все немецкие государи съехались засвидетельствовать свою преданность императору Наполеону.[592] Наполеон же прибыл в Дрезден якобы для того, чтобы путем переговоров избежать войны с Россией, а на самом деле ради того, чтобы добиться своего средствами не военными, а политическими. В самом деле, этот великий полководец, судя по всему, предпочитает не побеждать противника, а обманывать его. Вначале Наполеон не желал приглашать на дрезденский пир прусского короля; он слишком хорошо знал, насколько претят этому несчастному государю обязанности, которые тот почитает своим долгом исполнять. За

эту унизительную милость прусскому королю следовало благодарить г-на фон Меттерниха. Сопровождавший Фридриха-Вильгельма III г-н фон Гарденберг заметил Наполеону, что Пруссия заплатила Франции контрибуцию на треть больше обещанной.[593] Император, повернувшись к нему спиной, отвечал: «Нечего крохоборствовать!» — ибо ему доставляет удовольствие употреблять вульгарные выражения, дабы еще сильнее унизить собеседника.[594] С императором и императрицей Австрии он держался не без предупредительности, ибо, готовясь к войне с Россией, нуждался в их поддержке. «Вы прекрасно видите, — сказал он г-ну фон Меттерниху, — что я вовсе не стремлюсь уменьшать нынешнее могущество Австрии, ибо мне надобно, чтобы тесть мой пользовался повсюду великим уважением; вдобавок я куда больше доверяю старинным династиям, чем новосозданным. Разве генерал Бернадот не решился заключить мир с Англией?» В самом деле, шведский наследный принц, как мы скоро увидим, мужественно встал на защиту интересов той страны, которою правил.[595]

Из Дрездена французский император отправился производить смотр своим войскам, а супруге своей дозволил провести некоторое время с родными в Праге. Уезжая, император самолично распорядился относительно правил этикета, какие пристало соблюдать отцу и дочери в сношениях меж собой; надо полагать, что распоряжений этих он оставил немало, ибо обожает этикет не только из тщеславия, но и по недоверию к роду людскому: отводя каждому из своих приближенных определенное место при дворе, он тем самым сеет между ними рознь.[596] Императрица путешествует в платье из золоченой парчи, и придворным дамам приходится следовать ее примеру; она почти всегда является в свете увенчанная короной и, поскольку Небеса не наделили ее способностью произносить речи сколько-нибудь значительные, имеет вид манекена, разукрашенного всеми королевскими брильянтами.

Первые десять дней, проведенные в Вене, не были омрачены ничем; я была счастлива вновь очутиться среди общества, мне приятного, в окружении людей, чей образ мысли схож с моим собственным, — ибо венское общественное мнение не одобряло союза с Францией, заключенного правительством без согласия нации.[597] В самом деле, как могла держава, принявшая участие в разделе Польши и более охотно, чем когда-либо, продолжавшая извлекать выгоду из владения третью польских земель, вести войну, одной из несомненных целей которой было восстановление Польши?

Австрийское правительство отправило в Варшаву

тридцатитысячный корпус для восстановления Польской конфедерации; в то же время ничуть не меньшая армия шпионов следила за галицийскими поляками, желавшими видеть своих депутатов в составе этой конфедерации.[598] Австрийскому правительству приходилось выступать против поляков и в то же самое время с оружием в руках отстаивать их интересы, ему приходилось говорить своим галицийским подданным: «Я запрещаю вам разделять мое мнение». Что за странная метафизика! Объяснить ее можно только лежащим в основе всего чувством страха. Среди наций, которые Бонапарт увлек за собой, сочувствия достойны одни поляки. Полагаю, им, как и нам, ясно, что императору нет никакого дела до независимости Польши и что ее интересы служат ему не более чем предлогом для войны. Он не скрывает своего презрения к польской нации, желающей быть свободной, и не однажды признавался в этом чувстве российскому императору, однако ему выгодно натравливать поляков на Россию, поляки же пользуются этим обстоятельством ради восстановления собственного государства.[599] Не знаю, добьются ли они своего, ибо от деспотизма свобода не родится; хуже того: чем больше выиграют поляки, тем больше проиграет Европа. Они не будут более зависеть ни от пруссаков, ни от австрийцев, ни от русских, однако наравне со всеми этими народами останутся рабами Наполеона. Как бы там ни было, поляки — единственные европейцы, которые имеют право без стыда служить под знаменами Бонапарта. Немецкие государи жертвуют честью ради выгоды, которую, как они полагают, принесет им союз с Наполеоном; что же касается Австрии, то она, вступив в этот союз, ухитрилась потерять разом и честь, и выгоду. Австрийский император желал добиться от эрцгерцога Карла согласия командовать тридцатитысячным корпусом, посылаемым в Варшаву, однако эрцгерцог, к счастью, отклонил это оскорбительное предложение, ведь такая должность пристала скорее льстивому царедворцу, нежели боевому генералу;[600] видя, как эрцгерцог в сером фраке прогуливается в одиночестве по аллеям Пратера, я следила за ним с прежним почтением.

В отсутствие г-на фон Меттерниха[601] надзор за иностранцами, прибывшими в Вену, был поручен тому самому г-ну фон Гуделисту, который давал императору столь недостойные советы относительно судьбы тирольцев; из дальнейшего рассказа станет видно, как он исполнял свои обязанности. В первые дни он меня не беспокоил. Поскольку однажды я уже провела в Вене целую зиму и была прекрасно принята императором, императрицей и всем двором,[602] австрийские власти остерегались сказать мне, что на сей раз принимать меня не велено, ибо я в

немилости у Наполеона, тем более что одной из причин этой немилости явились страницы моей книги, прославляющие мораль и гений немцев. Но еще больше остерегались они прогневить владыку, которому, следует признать, они пожертвовали столь многим, что принести в жертву меня им не составило бы никакого труда. Я полагаю, что спустя несколько дней после моего приезда в Вену г-на фон Гуделиста известили более подробно о моих отношениях с императором и он счел себя обязанным установить за мною наблюдение. Исполнил же он это следующим образом: напротив дома, где я жила, постоянно караулили шпионы; когда я отправлялась на прогулку по городу, они следовали за моим экипажем пешком, а когда выезжала за город, сопровождали меня в кабриолете; эта полицейская метода, на мой взгляд, соединяла французский макиавеллизм с немецкой тяжеловесностью.[603] Австрийцы убедили себя, что проиграли войну потому, что ум у них не такой острый, как у французов, французский же ум, по их мнению, состоит в умении превосходным образом устраивать полицейский надзор; в результате они всерьез взялись за шпионство и стали открыто вершить такие дела, какими, что ни говори, приличнее заниматься под покровом тайны; порядочные от природы, они почли своим долгом уподобиться правительству якобинскому и деспотическому разом.

Меня это шпионство тревожило, ибо достаточно было капли здравого смысла, чтобы понять, что моя единственная цель — бежать. Меня принялись пугать, внушая, что русский паспорт я получу не раньше, чем через несколько месяцев, а к этому времени уже начнется война и в Россию я въехать все равно не смогу Между тем я понимала, что не смогу оставаться в Вене после того, как туда возвратится французский посол.[604] На что же решиться? Я попросила у г-на Штакельберга дозволения через Одессу или Бухарест отправиться в Константинополь. Однако и Одесса, и Бухарест принадлежали России;[605] чтобы следовать этим путем, также требовался русский паспорт. Итак, единственное, что мне оставалось, — ехать прямо в Турцию через Венгрию, однако эта дорога пролегала вдоль границы с Сербией и грозила тысячью опасностей. Можно было также направиться в Салоники через Грецию; эрцгерцог Франц избрал этот путь, чтобы добраться до побережья и отплыть на Сардинию;[606] однако эрцгерцог Франц прекрасно ездит верхом, а я на это решительно неспособна; вдобавок я бы никогда не отважилась пуститься в такое путешествие с юной дочерью. Следовательно, пришлось бы, скрепя сердце, разлучиться с нею и отправить ее в сопровождении верных людей в Англию через Данию и Швецию. На всякий

случай я отыскала армянина, согласного отвезти меня в Константинополь. Оттуда я предполагала отплыть в Англию, минуя Грецию, Сицилию, Кадис и Лиссабон; сколькими бы опасностями ни было чревато такое странствие, оно открывало безграничные просторы воображению. Шведский посланник, под покровительством которого я пребывала,[607] запросил для меня в канцелярии министерства иностранных дел, управляемой в отсутствие г-на де Меттерниха г-ном фон Гуделистом, паспорт, который позволил бы мне выехать из Австрии через Венгрию или через Галицию, смотря по тому, куда — в Петербург или в Константинополь — я направлюсь. Мне ответили, что сначала я должна выбрать что-либо одно, что паспорт для пересечения двух разных границ мне выдать не смогут и что даже для того, чтобы попасть в Пресбург,[608] ближайший город на земле Венгрии, который отделяют от Вены всего шесть лье, мне потребуется особое разрешение. Трудно было удержаться от сравнения прежней Европы, открытой для любого путешественника, с Европой нынешней, уподобившейся под властью императора Наполеона огромной сети, в которой невозможно сделать беспрепятственно ни единого шага. Сколько затруднений, сколько препон надобно преодолеть ради самого незначительного перемещения! Мыслимо ли, что несчастные правительства, покорившиеся гнету Франции, ищут утешения в том, чтобы, воспользовавшись тем жалким остатком власти, какой они еще сохранили, угнетать бедных своих подданных!

Принужденная выбирать, я остановилась на Галиции, откуда мне открывалась прямая дорога в страну, куда я мечтала попасть, — в Россию. Я убедила себя, что стоит мне покинуть Вену, и всем притеснениям, чинимым мне, вероятнее всего по наущению французов, придет конец, так что при необходимости я смогу направиться из Галиции через Трансильванию в Венгрию. В Европе, полоненной Наполеоном и заполоненной его солдатами, самый лучший учитель географии — несчастье; чтобы освободиться от власти императора, я уже оставила позади около двух тысяч лье, а теперь мне предстояло в поисках свободы покинуть Вену и перебраться из Европы в Азию.[609] Итак, я выехала из Вены, еще не имея русского паспорта;[610] тем самым я надеялась успокоить подозрения низших полицейских чинов, которых тревожило пребывание в столице Австрии особы, пребывающей в немилости у императора. Попросив одного из своих друзей дождаться в Вене ответа из России и привезти его мне, когда бы он ни пришел, я пустилась в дорогу Очень скоро выяснилось, что это далеко не лучшее решение, ибо в Вене я находилась под защитой друзей и общественного мнения; я легко

могла попросить о помощи императора или его первого министра, в провинциальном же городе я оказалась всецело во власти г-на фон Гуделиста, который, стремясь угодить французскому послу, досаждал мне своими тяжеловесными преследованиями. Вот как это происходило.

На несколько дней я остановилась в Брюнне,[611] столице Моравии, где томился в ссылке английский полковник г-н Миллс, человек бесконечно добрый и учтивый, а главное, как выражаются англичане, совершенно безобидный.[612] Домашние обстоятельства делали его жизнь решительно невыносимой. Однако австрийские министры полагают, очевидно, что чем более жестокие преследования они обрушат на простых смертных, тем более сильными будут казаться; между тем людей сведущих обмануть трудно; недаром один остроумный человек сравнивал австрийскую полицию с часовыми, выставленными подле наполовину разрушенной Брюннской крепости[613] и в полном смысле слова охраняющими руины. Не успела я въехать в Брюнн, как на меня посыпались нескончаемые придирки: местным властям не нравился ни мой паспорт, ни паспорта моих спутников.[614] Я попросила дозволения послать сына в Вену за необходимыми разъяснениями и услышала в ответ, что ему, точно так же как и мне, строго воспрещено возвращаться назад даже на одно лье. Не правда ли, недурное начало для подражателей полицейским методам г-на Савари — воспрепятствовать девятнадцатилетнему шведскому дворянину отправиться в Вену по просьбе его матери? Вне всякого сомнения, австрийский император и г-н фон Меттерних ничего не знали об этих пошлых и бессмысленных выходках,[615] зато в Брюнне почти все, с кем я имела дело, от молодого эрцгерцога, по виду истинного рыцаря, до правительственных чиновников, сторонились меня, и эта их пугливость показалась мне вполне достойной тех порядков, которые царят ныне во Франции; больше того, следует признать, что боязливость французов более извинительна, ведь им, живущим под властью Наполеона, грозит в лучшем случае ссылка, а в худшем — тюрьма и смерть.

Наместник Моравии, впрочем человек весьма почтенный, сообщил, что мне предписано как можно скорее пересечь Галицию и что в Ланьцуте, где я намеревалась остановиться, мне дозволено провести не более суток. Ланьцут принадлежит княгине Любомирской, вдове маршала Любомирского и сестре князя Адама Чарторыйского,[616] главы Польской конфедерации, на помощь которой выступил австрийский корпус. Княгиня Любомирская снискала всеобщее уважение своим характером, а главное, благодетельным великодушием, с каким она

распоряжается своим состоянием. Больше того, она всегда славилась своей преданностью австрийскому дому и, несмотря на текущую в ее жилах польскую кровь, никогда не поддерживала поляков, выступавших против австрийского владычества. Ее племянник князь Генрих и племянница княгиня Тереза, с которыми я имела счастье быть связанной узами дружбы, одарены достоинствами самыми блистательными и самыми пленительными;[617] возможно, они привязаны к родной Польше, однако позволительно ли считать это преступлением в то самое время, когда князь Шварценберг ведет тридцатитысячный корпус воевать за восстановление этой самой Польши?[618] До чего, однако, не опускаются несчастные государи, которым постоянно внушают, что их долг — повиноваться обстоятельствам, иначе говоря — стараться угодить и нашим, и вашим? Успехи Бонапарта не дают покоя большинству немецких государей; они воображают, будто потерпели поражение потому, что вели себя чересчур порядочно, тогда как на самом деле именно порядочности-то им и недоставало. Возьми они пример с испанцев, скажи они себе: «Что бы ни случилось, мы не позволим чужестранцам закабалить нас», они бы и сегодня оставались нацией, а правители их не выпрашивали бы милостей в гостиных даже не самого императора Наполеона, а всех тех, на кого он бросил свой благосклонный взгляд. Эрцгерцог Вюрцбургский, в прошлом великий герцог Тосканский, ужинал однажды у княгини Боргезе в обществе г-жи Мюрат и княгини Пьомбино, ныне великой герцогини Тосканской, иными словами, правительницы того самого прекрасного края, над которым эрцгерцог Вюрцбургский был уже не властен.[619] Казалось бы, довольно и того, что он легко смирился с этой потерей. Меж тем после ужина дамы, у которых, следует признать, имеется множество причин радоваться жизни, решают потанцевать и, узнав, что эрцгерцог Вюрцбургский любит музицировать, вручают ему скрипку; и вот уже бывший великий герцог Тосканский, облаченный в австрийский генеральский мундир, играет, а нынешняя великая герцогиня Тосканская и ее сестры пляшут; превосходное занятие для истинного Габсбурга, чья принадлежность к славной династии удостоверяется фамильным сходством с ее основателем, длиннолицым императором Рудольфом.[620] Нынешний император и его супруга, женщина острого ума,[621] стараются, бесспорно, сохранить достоинство и в нынешнем своем положении, однако положение это само по себе столь двусмысленно, что возвысить его невозможно. Все меры, какие австрийское правительство принимает в пользу Франции, объясняются единственно страхом, а эта новоявленная муза веселых песен не навевает.

Я попыталась объяснить наместнику Моравии, с такой великой учтивостью вынуждавшему меня двигаться не мешкая в сторону границы, что если я доберусь туда прежде, чем получу русский паспорт, то буду обречена влачить безрадостное существование в Бродах, городе на русско-австрийской границе, где живут одни лишь евреи, ссужающие путешественников деньгами. «Вы правы, — отвечал наместник, — но таков приказ». С некоторых пор правители действуют так, как если бы гражданские чиновники были обязаны исполнять приказы столь же неукоснительно, сколь и офицеры; военным людям размышлять, за редкими исключениями, запрещено, однако трудно смириться с тем, что люди, ответственные перед законом, каковы, например, государственные служащие в Англии, также обязаны исполнять все распоряжения, не рассуждая. И к чему приводит эта рабская покорность? Добро бы еще дело шло о подчинении самому верховному правителю или хотя бы тому, кто его представляет: ведь Австрия — абсолютная монархия; однако в отсутствие этого правителя возможностями, какие предоставляет полицейский произвол — адское изобретение тиранов, к которому властитель истинно великий прибегать не станет, — злоупотребляют низшие чины.

Итак, я направилась в Галицию,[622] и на сей раз, признаюсь, отчаянию моему не было предела. Призрак тирании преследовал меня повсюду; в немцах, прежде столь порядочных, я видела народ, вконец развращенный роковым неравным браком, который, смешав кровь их государя с кровью корсиканца, осквернил, казалось, заодно и всех подданных австрийского императора. Убежденная, что Европа ныне существует лишь за морями или по ту сторону Пиренеев, я теряла надежду добраться до приюта, милого моему сердцу Виды Галиции располагали к размышлениям безрадостным. Австрийцы не умеют завоевывать любовь народов, ими покоренных. Меж тем в Австрии безнравственна одна лишь политика; внутреннее управление в этой монархии зиждется по преимуществу на уважении к законам и не погрешает против справедливости, однако справедливый суд австрийцы вершат с таким неумолимым педантством, которое могут сносить лишь они сами. Завладев Венецией, они первым делом запретили карнавал, сделавшийся в этом городе, можно сказать, общественным установлением. Австрийское министерство поставило во главе этого веселого города самого сурового человека во всей империи; неудивительно, что эти жители Юга едва ли не предпочитали австрийцам, которые ими командовали, французов, которые их грабили. Венецианцы сожалели, и с полным основанием, о прежнем, благородном

правлении, при котором республика их благоденствовала.[623]

Поляки любят родину, как любят многострадального друга. Природа в Польше печальна и однообразна, народ невежествен и ленив; поляки всегда любили свободу, но никогда не умели ее беречь.[624] Однако они убеждены, что обязаны и способны управлять Польшей, и чувство это вполне естественно. Между тем здешний народ столь необразован и неизобретателен, что всей торговлей завладели евреи, которые продают крестьянам водку, а взамен скупают на корню весь урожай. Дистанция между помещиками и крестьянами так велика, роскошества одних и ужасающая нищета других составляют противоположность столь разительную, что австрийцам нетрудно было ввести в этом краю законы более совершенные, чем прежде. Однако народ, наделенный гордостью — а поляки не утратили гордости и в беде, — не согласен терпеть унижения даже от тех, кто желает им добра, австрийцы же только и делают, что унижают достоинство поляков. Они разделили Галицию на округа и поставили во главе каждого округа начальника из немцев; порой эта должность выпадает человеку достойному, но чаще всего ее занимает человек жестокого нрава и низкого происхождения, самым деспотическим образом распоряжающийся участью знатных польских землевладельцев. Полиция, пришедшая в нынешние времена на смену тайным судам, вообще не чуждается самого возмутительного произвола. Вообразите же, во что превращается полицейский надзор, иначе говоря, орудие самое изощренное и самое беззаконное, в грубых руках управляющего округом. На каждой почтовой станции в Галиции к любой карете сразу по приезде подбегают люди трех сортов: еврейские торговцы, польские нищие и немецкие шпионы. Кажется, будто этими тремя разрядами общества все население здешнего края и исчерпывается. Длиннобородые нищие в древнем сарматском платье внушают глубочайшую жалость; правда, согласись они трудиться, жизнь их была бы куда благополучнее, однако возделывать порабощенную землю они отказываются — то ли по лени, то ли из гордости.

На больших дорогах можно увидеть шествия с хоругвями; мужчины и женщины, в них участвующие, распевают псалмы с видом глубоко печальным. Когда им подают даже не деньги, но всего лишь пищу чуть лучше обычной, они — я сама была тому свидетельницей — с изумлением поднимают глаза к небу, словно не считая себя достойными столь щедрых даров. При встрече с господами польские крестьяне целуют их колени; на каждом шагу деревенские жители: старики, женщины, дети — приветствуют вас таким образом.[625] Среди всеобщей нищеты заметны люди в

скверных фраках; их единственное занятие — шпионить за несчастными, ибо иных предметов для наблюдения в здешних краях не бывает. Управляющие округами отказывали польским помещикам в паспортах, опасаясь предоставить им возможность увидеться друг с другом либо отправиться в Варшаву. Управляющие обязывали этих помещиков каждую неделю являться для проверки в присутствие. Таким образом, австрийцы всеми возможными способами доказывали, что знают о ненависти, какую питают к ним поляки; армию же свою они поделили на две части: одной предстояло сражаться за интересы Польши вне пределов Австрии, а другой — помешать полякам, живущим в ее пределах, принять участие в этих сражениях.[626] Не знаю, найдется ли в мире еще один край, который управлялся бы так бездарно — во всяком случае, в отношении политическом — как Польша; по всей вероятности, австрийцы именно потому чинили препятствия иностранцам, стремившимся побывать в этих местах, что желали скрыть эту картину от посторонних взоров.

Что же касается до меня, то вот как австрийская полиция принялась за дело, желая поскорее выдворить меня за границу. По дороге мне следовало визировать паспорт у всех управляющих округами; каждая третья почтовая станция располагается в главном городе округа, где проезжающим и надлежит предъявлять свои паспорта. Так вот, в канцеляриях этих городов полицейские чиновники вывесили афиши, извещавшие о том, что за мной необходимо иметь особый надзор. Подобное обращение с женщиной, причем женщиной, подвергшейся гонениям за те добрые слова, какие она сказала в защиту Германии, обличает беспримерную наглость, но мало этого: такой образ действия еще и на редкость глуп: в самом деле, кто же объявляет во всеуслышание о полицейских мерах, вся сила которых в сохранении тайны? Поневоле вспомнишь г-на де Сартина, предлагавшего обрядить шпионов в ливреи.[627] Нельзя сказать, чтобы изобретатель всех этих низостей был вовсе лишен ума, однако ему так хочется угодить французскому правительству, что более всего он стремится выставить напоказ все подлые поступки, которые, как он полагает, делают ему честь. Гласный надзор осуществлялся с такою же тонкостью, с какою был задуман: какой-нибудь капрал или приказчик, а то и оба вместе, куря трубки, являлись поглазеть на мою карету и, обойдя ее кругом, удалялись, не соизволив даже сказать, в хорошем ли она состоянии: разбирайся они в этом, от них был бы хоть какой-нибудь прок.

Я ехала не спеша, со дня на день надеясь получить русский паспорт, в котором заключалось единственное мое спасение.

Однажды утром я решила отклониться от прямого пути, чтобы осмотреть заброшенный замок, принадлежащий княгине Любомирской, вдове маршала. Дорогу, ведшую к нему, может вообразить себе лишь тот, кто бывал в Польше. Мы ехали вдвоем с сыном; внезапно посреди совершенно пустынной местности нам повстречался конный путник, приветствовавший меня по-французски; я хотела ответить, но он был уже далеко. Не могу описать, какое впечатление произвели на меня в эту тягостную минуту звуки родного языка. Ах! Перестань французы быть корсиканцами, какой любовью пользовались бы они во всем мире и какого презрения преисполнились бы они сами к нынешним своим союзникам! Я ступила на двор полуразрушенного замка; привратник, его жена и дети бросились мне навстречу и обняли мои колени; через неумелого переводчика я с трудом объяснила им, что знаю княгиню; этого достало, чтобы внушить им доверие; они ни на минуту не усомнились в правдивости моих слов, хотя я приехала в очень скверном экипаже. Они впустили меня в залу, похожую на темницу; лишь только я вошла, одна из женщин принялась курить там благовония. В доме не было ни белого хлеба, ни мяса, зато мне подали превосходное венгерское вино; повсюду остатки роскоши соседствовали со следами самой ужасающей нищеты. Этот контраст встречается в Польше очень часто, даже в тех домах, где царит самое утонченное изящество. В спальнях нет кроватей;[628] вообще в этом краю все начертано приблизительно и ничто не завершено; между тем есть одно обстоятельство, которое невозможно переоценить, — это добросердечие простого народа и великодушие господ; и тех, и других влечет все доброе и прекрасное, австрийские же агенты имеют на фоне этой живой нации вид деревянных чурбанов.

Наконец из России прибыл мой паспорт; он доставил мне столько радости, что я до конца жизни буду признательна тем, кто мне его выдал.[629] В то же самое время венским друзьям удалось защитить меня от недоброжелателей, которые полагали, мучая меня, угодить французскому правительству, и я льстила себя надеждой, что на сей раз бедам моим пришел конец; меж тем мне следовало бы взять в соображение, что циркуляра, предписывающего всем управляющим округами вести за мною наблюдение, никто не отменял: ведь обещание прекратить эти смехотворные гонения исходило напрямую из кабинета министров. Я сочла, что могу исполнить свое первоначальное намерение и остановиться в Ланьцуте — в замке княгини Любомирской, который славится в Польше безупречным вкусом и великолепным богатством. Я радовалась мысли о встрече с князем Генрихом Любомирским; беседы с ним и его супругой

подарили мне в Женеве немало сладостных минут.[630] Я располагала пробыть в Ланьцуте два дня, а затем снова пуститься в дорогу, ибо отовсюду поступали известия о начале войны между Францией и Россией.[631] Не постигаю, чем намерение мое угрожало покою Австрии: странно было опасаться моих связей с поляками в ту пору, когда поляки выступали под знаменами Бонапарта. Повторяю, поляков нельзя судить по тем законам, по каким судим мы другие нации; надеяться получить свободу только по милости деспота и быть готовыми заплатить за независимость собственной нации порабощением всей остальной Европы — жребий ужасный;[632] но, как бы там ни было, по отношению к Польше само австрийское министерство вело себя куда более подозрительно, чем я, ведь оно посылало войска для ее поддержки, я же посвятила все свои слабые силы защите европейской свободы, которую отстаивала Россия. Впрочем, австрийский кабинет, как и все правительства, выступающие на стороне Бонапарта, забыл, что такое убеждения, совесть, привязанности; непоследовательность поведения австрийских министров и ловкость наполеоновских дипломатов, опутавших венских коллег множеством обязательств, привели к тому, что австрийцы признают только право сильного и готовы на все, лишь бы этому сильному угодить.

В начале июля я прибыла в главный город того округа, где располагается Ланьцут; от имения княгини Любомирской его отделяют три лье; экипаж остановился подле почтовой станции, и сын мой, по обыкновению, пошел визировать мой паспорт. Прошло четверть часа, и, удивленная тем, что сын до сих пор не вернулся, я попросила одного из моих спутников пойти на станцию и выяснить, в чем дело. Вскоре оба они возвратились в обществе человека, которого я не забуду до самой смерти: ласковая улыбка на лице жестоком и тупом сообщала ему вид на редкость отвратительный.[633] Сын мой в отчаянии сообщил мне, что управляющий округом не позволяет мне остаться в Ланьцуте больше чем на восемь часов, а чтобы убедиться в том, что я не ослушаюсь приказа, собирается дать мне в провожатые одного из своих подчиненных, который должен оставаться в замке до тех пор, пока я оттуда не уеду. Сын мой пытался доказать управляющему, что я совершенно разбита после дороги и нуждаюсь в отдыхе более длительном, а вид полицейского комиссара может окончательно расстроить мое и без того слабое здоровье. Управляющий отвечал ему с той грубостью, на какую способны лишь мелкие чиновники из немцев; только у них можно встретить эту смесь наглости в обращении со слабыми и угодливую почтительность в сношениях с сильными. Душевные

движения этих людей подобны эволюциям армии на параде: они совершают повороты направо или налево по первому приказанию.

Комиссар, которому было поручено надзирать за моей благонадежностью, отвешивал поклоны до земли, однако ни на какие уступки идти не желал. Он двинулся следом за мной, не отставая ни на шаг, так что лошади, запряженные в его двуколку, едва не утыкались в задние колеса моей берлины.[634] Мысль о том, что в этом обществе я приеду в имение старого друга, в благословенное место, где я надеялась отдохнуть душой и телом в течение нескольких дней, причиняла мне боль воистину невыносимую; вдобавок, не скрою, присутствие за моей спиной этого наглого шпиона меня просто-напросто раздражало: конечно, при желании я смогла бы его обмануть, но терпеть смесь педантства и жестокости, заметную в каждом его движении, было решительно невозможно.[635] Посередине пути у меня случился нервный припадок; спутникам моим пришлось остановить лошадей, вынести меня из кареты и уложить на обочине дороги. Злосчастный комиссар вообразил, что это подходящий случай выказать мне сочувствие и, даже не подумав выйти из экипажа, отправил за стаканом воды слугу. Не могу передать, как негодовала я на саму себя, на слабость моих нервов; жалость этого шпиона стала последней каплей: хотя бы этого оскорбления я надеялась избежать. Он тронулся с места одновременно с нами и следом за нами въехал во двор Ланьцутского замка. Князь Генрих, ничего не подозревая, вышел мне навстречу с самым веселым и любезным видом; бледность моя испугала его; я не мешкая рассказала ему о странном госте, которого привезла с собой, и с этой минуты до конца моего пребывания в его доме князь ни разу не изменил своему хладнокровию, твердости и дружескому расположению ко мне. Однако мыслимое ли это дело, чтобы полицейский комиссар без приглашения усаживался за стол рядом с таким родовитым вельможей, как князь Генрих, да впрочем, и с любым другим человеком, не звавшим к себе подобных гостей? Явись полицейский в мой дом, я бы, пожалуй, сказала ему: «Можете отвести меня в тюрьму, но есть со мной за одним столом я вам не позволю». После ужина шпион подошел к моему сыну и сказал медоточивым голосом, который я особенно ненавижу в тех случаях, когда он служит для речей оскорбительных: «Согласно приказу, мне следовало бы провести ночь в спальне госпожи вашей матушки, дабы удостовериться, что она не вступает ни с кем в сговор, однако из сочувствия к ней я этого делать не стану». — «Можете также добавить: из сочувствия к самому себе, — сказал мой сын, — ибо если вы попытаетесь войти в матушкину спальню, я вас выброшу в окно». — «Что вы,

что вы, господин барон!» — отвечал комиссар, склоняясь ниже обычного, ибо угроза звучала внушительно, а люди этого сорта уважают могущество, пусть даже мнимое. Он отправился спать, а наутро за завтраком секретарь князя так щедро угостил его, что я могла бы, полагаю, задержаться в замке еще на несколько часов; мне, однако, совестно было заставлять князя наблюдать в своем замке подобные сцены. Я не успела ни прогуляться по прекрасным садам, которые напоминают о южном климате и дарят хозяев и гостей южными фруктами, не успела осмотреть дом, где нашли приют гонимые французские эмигранты и куда, в благодарность за все добрые дела, какими прославилась княгиня, художники присылали плоды своего таланта. Контраст между этими сладостными, яркими впечатлениями и болью и гневом, какие я испытывала, был невыносим; по сей день я не могу вспомнить Ланьцут, которым у меня столько оснований восхищаться, без содрогания.

Итак, я покинула этот дом, проливая горькие слезы и не зная, какие еще испытания ожидают меня на австрийской земле; до границы с Россией оставалось целых пятьдесят лье. Комиссар довез меня до границы своего округа и, перед тем как распрощаться, спросил, довольна ли я им; глупость его меня обезоружила. Во всех этих гонениях, к которым австрийское правительство в прежние времена даже не думало прибегать, поражает сочетание грубости с неловкостью. Эти люди, некогда слывшие порядочными, совершают подлые поступки, каких от них требуют, с той же безупречной аккуратностью, с какой прежде совершали поступки достойные; однако ум у них весьма ограниченный, и потому, пытаясь управлять государством на новый лад, они делают множество глупостей — иные от неуклюжести, а иные от неотесанности. Они вооружаются Геркулесовой палицей, чтобы убить муху, и, предаваясь занятиям бесполезным, рискуют упустить из виду вещи значительные.

Выехав из округа, где расположен Ланьцут, я направилась в столицу Галиции, Леополь,[636] и на всем пути до этого города на каждой почтовой станции обнаруживала гренадеров, которым поручено было надзирать за моими передвижениями. Я едва не пожалела о времени, которое теряли впустую эти бравые воины, но вовремя одумалась: пусть уж лучше они караулят на почтовых станциях, лишь бы только не сражались в злосчастной армии, отправленной Австрией на помощь Наполеону. В Леополе в лице наместника[637] и коменданта для меня воскресла старая Австрия; оба приняли меня с безупречной учтивостью и вручили мне то, чего я желала сильнее всего, — разрешение пересечь австрийско-русскую границу. Так окончилось мое пребывание в этой

монархии, которую я помнила сильной, справедливой и честной. До тех пор, пока она останется союзницей Бонапарта, она обречена занимать в ряду наций последнее место. История, разумеется, не забудет, что в продолжение многих лет австрийцы отважно сражались с французами и что их последние попытки оказать сопротивление Бонапарту были исполнены замечательного энтузиазма; однако австрийский монарх, уступив не столько собственному характеру, сколько своим советникам, обманул ожидания нации и тем совершенно охладил ее пыл. Те несчастные, что погибли на полях сражений при Эсслинге и Ваграме ради существования австрийской монархии и немецкого народа, не могли вообразить, что три года спустя их товарищи по оружию станут биться за то, чтобы империя Бонапарта простерлась до границ Азии, а во всей Европе не осталось ни единого уголка, где люди, осужденные императором на изгнание, от королей до простых смертных, смогли бы найти приют, — ведь в этом и только в этом заключается цель войны, которую Франция объявила России.

Путешествие по России

До сих пор никому не приходило в голову считать Россию самой свободной из европейских держав, однако гнет, тяготеющий по вине французского императора над всеми странами нашего континента, так силен, что, оказавшись в стране, над которой Наполеон не властен, чувствуешь себя, словно в республике.[638] Я пересекла границу России 14 июля, в день, когда началась Французская революция, и это совпадение поразило меня;[639] отрезок истории Франции, начавшийся 14 июля 1789 года, завершился для меня в этот день, и когда шлагбаум, отделяющий Австрию от России, поднялся, чтобы дать мне дорогу, я поклялась, что никогда более нога моя не ступит на землю страны, повинующейся хоть в чем- либо императору Наполеону Смогу ли я когда-нибудь увидеть прекрасную Францию, не нарушив эту клятву?

Первым человеком, с которым я имела дело в России, оказался француз, некогда служивший под началом моего отца; он заговорил со мною о батюшке со слезами на глазах, и звук этого имени, произнесенного с таким благоговением, показался мне добрым знаком.[640] И в самом деле, за все время пребывания в Российской империи, которую столь несправедливо почитают варварской, я испытывала чувства исключительно возвышенные и сладостные: да поможет моя признательность русскому народу и его государю удостоиться еще больших милостей Господних! Страны, откуда я выехала, слыли мирными, на деле же правительства их поставляли солдат Наполеону, и путешественник там не мог ступить ни шагу, не предъявляя паспорта и не подвергаясь полицейским преследованиям.

В ту пору, когда я добралась до России, французская армия уже значительно продвинулась в глубь русской земли, а между тем иностранные путешественники, оказавшиеся здесь, не испытывали никаких гонений, не встречали никаких препон. Ни я, ни мои спутники не знали ни слова по-русски; мы говорили только на французском — языке врага, опустошающего Российскую империю; больше того, по несчастной случайности я не имела при себе ни одного слуги, говорящего по-русски, и, если бы не немецкий врач (доктор Реннер), великодушно согласившийся служить нам переводчиком до самой Москвы, мы в самом деле оказались бы достойны прозвания «глухонемых», какое русские дают иностранцам, не знающим их родного языка.[641] Так вот, даже несмотря на все это, путешествие наше по России совершилось без малейшего затруднения и в полной

безопасности — ибо гостеприимство русских помещиков и русских крестьян поистине безгранично! С самого начала мы узнали, что прямая дорога на Петербург уже занята войсками[642] и что добраться туда можно только через Москву Это означало, что нам придется проехать лишние две сотни лье, однако позади мы уже оставили полторы тысячи; что же до Москвы, то теперь я счастлива, что смогла ее увидеть.

Первая губерния, через которую пролегал наш путь, Волынь, прежде входила в состав Польши;[643] это край плодородный, населенный, подобно Галиции, великим множеством евреев, но вовсе не такой нищий. Я остановилась в замке одного польского помещика, к которому направили меня друзья; он посоветовал мне не мешкать: французы, сказал он, движутся в сторону Волыни и могут оказаться здесь не позже чем через неделю. Поляки в большинстве своем относятся к русским лучше, нежели к австрийцам. Русские и поляки принадлежат к числу славянских народов; они воевали меж собой, но уважают друг друга; немцы же, гордясь тем, что они глубже славян проникнуты европейской цивилизацией, не умеют отдать славянским народам справедливость в других отношениях. Было очевидно, что поляки, проживающие на Волыни, не боятся прихода французов, однако, даже зная их чувства, русские не стали подвергать их мелочным гонениям, которые вместо того чтобы обуздать ненависть, лишь сильнее ее разжигают. Зрелище одной нации, вынужденной покориться другой, всегда действует удручающе; потребно несколько столетий для того, чтобы победители и побежденные слились воедино и позабыли о прежних распрях.

В Житомире, главном городе Волынской губернии, мне рассказали, что русский министр полиции послан в Вильну, дабы выяснить причины нападения императора Наполеона на Россию и заявить официальный протест против вторжения французских войск на русскую землю.[644] В самом деле, император Александр шел ради сохранения мира на жертвы поистине неисчислимые. Если он и заслужил упреки, то скорее в чересчур буквальном следовании роковым Тильзитским соглашениям; первым их нарушил Наполеон, и Александр имел куда больше оснований сам объявить ему войну. Ведь в то время, когда Россия не давала английским кораблям доступа в свои порты, император Наполеон позволял им ввозить во Францию колониальные товары; пожалуй, можно было бы сказать, не погрешив против истины, что Франция и вся Европа напали на Россию ради того, чтобы торговый дом Бонапарт и К° получил исключительные права на продажу английских товаров; прекрасный повод лишить покоя все народы континента![645] В разговоре с г-ном Балашовым император

Наполеон пустился в непостижимые откровенности, в которых мы могли бы увидеть следствие простодушия, если бы не знали, что для вящего устрашения император любит показывать, будто он выше любых расчетов. «Неужели вы думаете, — спросил он у г-на Балашова, — что мне есть дело до этих якобинцев-поляков?» В самом деле, несколько лет назад г-н де Шампаньи письменно известил канцлера Румянцева о том, что Наполеон предлагает вычеркнуть из всех европейских трактатов слова «Польша» и «поляки».[646] Какое несчастье для поляков, что император Александр не принял титула польского короля и не позволил всем великодушным существам сочувствовать интересам этой угнетенной нации![647] Император в присутствии министра полиции г-на Балашова осведомился у г-на де Коленкура,[648] бывал ли тот в Москве и что представляет собой этот город; Коленкур отвечал, что Москва показалась ему похожей скорее на большую деревню, нежели на столицу. «А сколько в ней церквей?» — продолжал свои расспросы император Наполеон. «Около тысячи шестисот»,[649] — отвечал г-н де Коленкур. «Непостижимо, — изумился Наполеон, — разве в наши дни кто-то еще верит в Бога?» — «Да, Ваше Величество, — подтвердил г-н Балашов, — в него верят русские и испанцы». Прекрасный ответ, вселявший надежду, что москвичи станут кастильцами Севера.[650]

Между тем французская армия стремительно продвигалась в глубь России, и поскольку французы, вовсе не умеющие сопротивляться тирании в своем отечестве, за его пределами обычно одерживают победу за победой, я имела основания опасаться, что столкнусь с ними перед въездом в Москву. Что за странная судьба: бежать от французов, среди которых я родилась, которые воздавали почести моему отцу, и добраться, спасаясь от них, до границ Азии! Впрочем, какую судьбу, в великом ли, в малом ли, не способен круто изменить человек, чье призвание — унижать себе подобных? Я была близка к мысли, что мне придется отправиться в Одессу, город, расцветший под просвещенной властью герцога де Ришелье,[651] а оттуда отплыть в Константинополь и Грецию; я утешала себя мыслями о поэме, посвященной Ричарду Львиное Сердце, которую принялась бы сочинять в этом долгом путешествии, даруй мне Господь довольно сил.[652] В поэме этой я намеревалась изобразить нравы и природу Востока и увековечить великую эпоху английской истории, когда источником воодушевления вместо крестовых походов сделалась свобода. Однако выразить можно лишь то, что ощутил, а нарисовать — лишь то, что увидел, поэтому мне следовало отправиться по следам Ричарда в Константинополь, в Сирию и на Сицилию. Спутники мои, более справедливо оценивая

мои силы, отсоветовали мне пускаться в это странствие и уверили, что если я не стану медлить, то доберусь до Москвы на почтовых лошадях быстрее, чем французская армия. Впрочем, как станет ясно впоследствии, опередила я ее совсем ненамного.

Итак, решившись продолжать свой путь по российским землям, я въехала на землю Украины, столица которой именуется Киевом;[653] некогда этот город был столицей всей России: поначалу центр Российской империи располагался на юге. В ту пору русские поддерживали постоянные сношения с константинопольскими греками и вообще со всеми народами Востока, у которых переняли они многие обыкновения. Украина — край весьма плодородный, но вовсе лишенный приятности; вокруг вас простираются бескрайние хлебные поля, возделываемые, кажется, невидимыми руками, настолько редки здесь деревни и деревенские жители. Не следует думать, что окрестности Киева или любого другого поселения из числа тех, какие именуются городами в России, хоть чем- то похожи на предместья западных городов; дороги здесь ничуть не более гладки, деревенские дома вовсе не предвещают наличия поблизости большого скопления народа. При въезде в Киев взор мой прежде всего поразило кладбище; это обиталище мертвых подсказало мне, что поблизости обитают живые. Дома в Киеве по большей части подобны палаткам, так что издали город имеет вид военного лагеря; тотчас приходит на мысль, что эти деревянные дома (впрочем, должно быть, не слишком прочные) выстроены по образцу жилищ кочевников-татар. На постройку таких домов много времени не требуется; частые пожары уничтожают их, после чего владельцы посылают слуг в лес за новым домом, как в других краях посылают на рынок за провизией на зиму Впрочем, среди этих хижин возвышаются дворцы, а главное, церкви, чьи купола, зеленые с позолотой, приковывают к себе взор. Когда вечером солнечные лучи освещают эти блестящие своды, кажется, будто видишь не долговечное здание, но праздничную иллюминацию.

Русские не минуют ни одной церкви, не осенив себя крестным знамением,[654] а длинные бороды придают их лицам выражение еще более благочестивое. Носят они в большинстве своем длинное синее платье, перепоясанное красным кушаком; в нарядах женщин тоже есть нечто азиатское; в них заметно пристрастие к ярким цветам, характерное для жарких краев, жители которых охотно любуются сверканием блестящих предметов в ослепительных лучах солнца. Я тотчас полюбила эти восточные одеяния так сильно, что огорчалась, видя русских в европейском платье; я опасалась, что они вот-вот покорятся

деспотической власти Наполеона, по милости которого все народы наслаждаются одними и теми же благодеяниями: вначале им преподносят всеобщую воинскую повинность, затем военные налоги, а под конец кодекс Наполеона, позволяющий навязать самым разным нациям одинаковый порядок.

Киев стоит на реке Днепр, которую древние именовали Борисфеном;[655] местная легенда гласит, что некогда лодочник, плывший по Днепру, нашел воды этой реки столь чистыми, что захотел основать город на ее берегах. В самом деле, русские реки дивно прекрасны. Ручьи здесь очень редки, ибо почвы сплошь песчаные. Среди деревьев большого разнообразия не наблюдается: малоизобретательная природа насадила повсюду в этих краях одну лишь печальную березу. Здесь тоскуешь даже по камням, ибо кругом нет ни холмов, ни долин, и сколько ни всматривайся вдаль, ни одного нового предмета взору не представится. Реки же дают роздых воображению. Не случайно священники в здешних краях благословляют воду. Император, императрица и весь двор в разгар зимы присутствуют на церемонии водосвятия.[656] Говорят, что в XI столетии Владимир объявил воды Днепра святыми и заверил свой народ, что всякий, кто в них омоется, сделается христианином. Поскольку у православных крещение совершается посредством погружения в купель, тысячи людей отправились на берег Днепра, дабы отречься от идолопоклонничества.[657] Тот же самый Владимир отправил своих людей в Константинополь, дабы узнать, какая из вер, исповедуемых жителями этого города, более всего подходит русским; за торжественность обрядов он избрал православие.[658] Возможно, впрочем, что им двигали соображения более значительные; в самом деле, греческая религия, не подчиняющаяся папе римскому, наделяет русского государя властью разом и духовной, и светской.

Православие не так нетерпимо, как католичество; иначе и быть не может: ведь поскольку православных обвиняют в расколе, сами они не вправе жаловаться на вероотступничество. Поэтому в России узаконены все религии, и люди, населяющие пространство между Доном и Невой, каковы бы ни были их религиозные убеждения, ощущают себя сыновьями одного отечества.[659]

Обряды православной религии по меньшей мере так же прекрасны, как и обряды католические; православные песнопения восхитительны. Всё в греческой религии располагает к мечтательности. Однако мне показалось, что она более будит воображение, нежели руководствует поступками верующих. Священники здесь женятся; дворян среди них единицы. Вследствие этого духовенство не имеет никакого политического

влияния; оно пользуется уважением среди народа, но во всем повинуется императору.[660] Греческая религия имеет в себе нечто поэтическое и внятное чувствам; многое роднит ее с Востоком, откуда ведет она свое происхождение. Когда священник выходит из алтаря, где причащается, скрытый от глаз верующих, кажется, будто солнце является из-за горизонта; облако благовоний, его окружающее, серебро, золото и драгоценные камни, которыми усыпано его одеяние и внутренность храма, — все это напоминает о краях, где поклоняются солнцу. Благоговейные чувства, какие внушает готическая архитектура в Германии, Франции и Англии, не идут ни в какое сравнение с тем действием, какое производят здешние церкви, похожие более на турецкие или арабские минареты, чем на наши храмы. Непохожи русские церкви и на церкви итальянские, изобилующие превосходными творениями скульпторов и художников. Самые замечательные украшения русских храмов — изображения Богородицы и святых, усыпанные брильянтами и рубинами. Отличительная черта всего, что видишь в России, — пышность; красота здесь не зависит ни от гения человека, ни от щедрости природы.

Церемонии бракосочетания, крещения и похорон благородны и трогательны; в них вплетаются некоторые старинные обычаи, унаследованные от язычества, однако лишь те, что не связаны с догматами и способны усилить воздействие, производимое тремя важнейшими событиями в жизни человека: рождением, браком и смертью. Русские крестьяне сохранили привычки говорить с покойником перед тем, как навсегда с ним проститься. «Зачем ты покинул нас? — вопрошают они. — Разве плохо тебе жилось на нашей земле? Разве жена твоя не красавица, разве не добрая у ней душа? Зачем же ты нас покинул?»[661] Покойник не отвечает, но зато живые лишний раз уверяются в драгоценности жизни.

В Киеве путешественникам показывают катакомбы, отчасти похожие на римские;[662] паломники приходят сюда пешком из Казани и других городов, расположенных близ границы с Азией; впрочем, паломничества в России совершаются легче, чем в любой стране, хотя расстояния здесь огромны. Русский народ не боится ни усталости, ни физических тягот. Он терпелив и деятелен, весел и задумчив. Характер его соединяет в себе контрасты самые разительные, предвещающие великие свершения, ибо противоположными свойствами обладают, как правило, лишь существа выдающиеся; толпа в большинстве своем однообразна.

Что такое русское гостеприимство, показал мне киевский генерал-губернатор Милорадович. Он принял меня самым любезным образом и окружил заботой. В прошлом адъютант

Суворова, генерал этот так же бесстрашен, как его учитель. Он вселил в меня большую, чем прежде, веру в военные успехи России. Немногочисленные офицеры, которых мне довелось встречать до знакомства с ним, были выученики немцев, не имевшие в характере своем ничего русского. В генерале же Милорадовиче нашла я истинного русского, пылкого, храброго, доверчивого и совершенно чуждого тому духу подражания, по вине которого русские люди подчас вовсе утрачивают национальный характер.[663] Генерал Милорадович сообщил мне некоторые черты из жизни Суворова; видно, что сей последний был человек образованный, хотя и сохранял то прирожденное чутье, которое помогает постигать сущность людей и вещей в одно мгновение. Он скрывал свои познания и притворялся, будто действует исключительно по наитию, для того лишь, чтобы сильнее потрясать воображение солдат.[664]

Русские, как я надеюсь показать в этих записках, имеют куда больше сходства с народами Юга или, скорее, с азиатами, нежели с народами Севера. Придворные манеры у них, как и у всех прочих наций, европейские, характер же восточный. Далее я постараюсь развить эту мысль подробнее. Генерал Милорадович рассказал мне, что когда прошедшей зимой в Киев был прислан на постой калмыцкий полк, предводитель этих калмыков испросил дозволения стать лагерем в соседнем лесу, ибо соотечественникам его в городе душно. Невозможно было отказать в просьбе столь скромной; калмыки отправились в заснеженный лес и поселились там в своих повозках, которые служат им также и хижинами.

Русские солдаты переносят все тяготы, какие сулят им климат и войны, почти так же терпеливо; всем сословиям русской нации присуще презрение к внешним трудностям и физическим страданиям, могущее подвигнуть на великие свершения. Тот самый калмыцкий вождь, которому среди зимы деревянные дома казались чересчур роскошным жильем, дарил дамам, пленившим его на балу, брильянты; он не умел объясниться с ними и, точь-в-точь как в Индии или в безмолвных восточных странах, где слово не так всесильно, как у нас, заменял комплименты подарками. Генерал Милорадович пригласил меня вечером того самого дня, на который был назначен мой отъезд, побывать на балу у молдаванской княгини. Я отказалась с великим сожалением.[665] Названия чужеземных держав, имена народов, почти не принадлежащих Европе, до чрезвычайности разжигают воображение. В России чувствуешь себя на рубеже иной земли — той, где родилось христианство и где люди по сей день выказывают чудеса упорства и рассудительности.

От Киева до Москвы не меньше тысячи верст. Русские кучера мчали меня стремительно, с песнями, в которых, как мне объяснили, хвалили и ободряли своих коней. «Ну, пошли, любезные, — говорили они коням, — мы ведь с вами старые друзья; не подведите, бегите быстрей». Я не нашла в русских ничего варварского; напротив, в их повадках есть нечто изысканное и мягкое, чего не сыщешь у других народов. Ни один русский кучер не пройдет мимо женщины, какого бы возраста она ни была и к какому бы сословию ни принадлежала, не поклонившись ей, женщина же отвечает ему кивком головы, неизменно исполненным благородства и учтивости. Старец, который не умел объясниться со мной, показал мне сначала на землю, а потом на небо, чтобы дать понять, что скоро переселится из этого мира в мир иной. Знаю, что в ответ мне могут напомнить о страшных злодеяниях, какими изобилует история России; однако я склонна винить в них не столько саму нацию, сколько бояр, развращенных деспотической властью, которой они служили орудием либо опорой. Вдобавок политические распри везде и всегда извращают национальный характер, история же России, к несчастью, представляет нам череду преступлений, сначала возвышающих властителей, а затем низвергающих их с престола;[666] такова, впрочем, повсюду роковая участь государей в абсолютной монархии. Мелкие гражданские чиновники, рассчитывающие на собственную изворотливость и умение плести интриги, ничем не схожи с деревенскими жителями, и я понимаю, отчего о них рассказывают столько дурного; иначе и быть не может, однако о нации воинов следует судить по солдатам и по тому сословию, откуда их набирают.

Хотя кони несли нас с огромной быстротой, мне казалось, будто я не трогаюсь с места: настолько однообразны были картины, мелькавшие за окном. Песчаные равнины, кое-где березовые рощи и редкие селения, в которых все дома выстроены из дерева по одному образцу, — ничего иного моему взору не представало. Я словно видела страшный сон — тот, в котором, как быстро ни иди, все равно остаешься на месте. Страна эта казалась мне воплощением бесконечного пространства, для пересечения которого требуется вечность. Мимо нас на невероятной скорости, не останавливаясь ни на минуту, то и дело проносились курьеры в небольших повозках, запряженных парой лошадей. Из-за рытвин на дороге повозки сотрясались от толчков, и курьеры порой взлетали с деревянной скамейки, на которой сидели, на несколько футов вверх, но с изумительной ловкостью опускались на прежнее место и тотчас кричали по-русски «пошел», вкладывая в эти слова такую страсть, какую французы

выказывают в час битвы. Славянский язык на редкость звучен; пожалуй, в иных русских словах, столь непохожих на слова западных языков, есть даже нечто металлическое; в них слышится звон меди.[667]

На полпути между Киевом и Москвой почтовые лошади сделались более редки; чувствовалась близость армии. Нам приходилось ожидать на станциях по несколько часов. Мы видели резервные корпуса, спешившие на помощь русской армии. Казаки, не дожидаясь приказа и не получив мундиров, шли на войну в серых одеяниях с широкими капюшонами, с длинными пиками в руках.[668] Я совсем иначе представляла себе казаков;[669] живут они, как я и думала, за Днепром, ведут независимый образ жизни на манер дикарей, однако во время войны беспрекословно исполняют приказы командиров. Обычно самыми грозными кажутся воины, облаченные в яркие мундиры. Тусклые тона казацкого платья внушают страх совсем иного рода: кажется, будто в бой идут призраки.

Я начинала бояться, как бы путешествие мое не прервалось в ту самую минуту, когда необходимость двигаться как можно быстрее сделалась особенно явной. Один из моих спутников, встревоженный стремительным наступлением французов, опасался, что из-за близости французской армии мне может вовсе не достаться лошадей;[670] проводя по пять-шесть часов в виду почтовой станции, ибо внутри чаще всего не находилось комнаты, где я бы могла отдохнуть, я с содроганием вспоминала эту армию, которая могла настигнуть меня на краю Европы и сделать положение мое разом и трагическим, и смешным. Ибо для предприятий, подобных моему, неудача губительна вдвойне: об обстоятельствах, вынудивших меня пуститься в путь, знали далеко не все; люди, не ведавшие, что родной дом сделался для меня тюрьмой, начали бы спрашивать, зачем я его покинула, и непременно нашлись бы доброхоты, объявляющие с сокрушенным видом, что они, разумеется, мне сочувствуют, но лучше бы мне было не трогаться с места. Опирайся тиран только на своих прямых сторонников, он бы очень скоро утратил могущество; странная вещь, доказывающая более, чем что-либо иное, ничтожество рода человеческого: посредственности в большинстве своем верно служат всякому, кто стоит у власти. Они поклоняются свершившемуся факту и, видя, что угнетатель торжествует, а жертве вынесен приговор, спешат оправдать не столько тирана, сколько судьбу, орудием которой он является. Причины такого раболепства коренятся, по всей вероятности, в слабости ума и характера; впрочем, человек вообще нуждается в оправдании собственной участи, какой бы она ни была, ибо видит

в этом способ жить в мире с судьбой.

Наконец я достигла Орловской и Тульской губерний, так часто упоминавшихся позже в бюллетенях обеих армий; теперь у меня наконец появилась надежда отдалиться от театра военных действий. В этих уединенных краях — ибо провинциальные русские города имеют вид весьма пустынный — мне оказали прекрасный прием. Несколько помещиков явились в мою гостиницу, дабы высказать восхищение моими книгами; признаюсь, я была польщена, узнав, что пользуюсь известностью так далеко от родины. Супруга губернатора приняла меня на азиатский манер — с шербетом и розами.[671] Комната ее, украшенная музыкальными инструментами и картинами, имеет вид весьма элегантный. В Европе повсюду бросается в глаза контраст между богатством и бедностью. В России же, можно сказать, не замечаешь ни того, ни другого. Народ не бедствует; дворяне способны, при необходимости, вести тот же образ жизни, что и простолюдины; отличительная черта этой страны есть сочетание самых тяжких лишений и самых утонченных удовольствий. Помещики, в чьих домах собрано все самое роскошное, чем дарят нас далекие страны, в дороге едят хуже французских крестьян и умеют переносить не только на войне, но и в прочих жизненных обстоятельствах нескончаемые физические тяготы. Живя в суровом климате, в стране, большую часть которой покрывают болота, пустыни и леса, русские принуждены постоянно вступать в борьбу с природой. Даже фрукты и цветы здесь растут только в теплицах;[672] овощей почти не выращивают; виноградников нигде нет. Такой образ жизни, какой ведет во Франции любой крестьянин, в России могут себе позволить только богачи. Здесь самые необходимые вещи суть предметы роскоши; поэтому когда роскошь недоступна, люди отказываются и от предметов первой необходимости. То, что англичане именуют комфортом, а мы — удобством,[673] в России редкость. Однажды некий французский генерал заказал для полога своей кровати расшитую ткань до такой степени роскошную, что необходимого количества отыскать не смогли. «Ну что ж! — сказал он. — Раз этой ткани не нашлось, бросьте мне вон там, в углу, охапку сена, я прекрасно высплюсь на ней».[674] Точно так же ведут себя русские вельможи. Самое блистательное великолепие кажется их воображению несовершенным, но если эта поэзия пышности им недоступна, они готовы пить мед, спать на голом полу и скакать днем и ночью на телеге, нимало не сожалея о роскоши, кажется, столь им привычной. С помощью богатства они, пожалуй, стремятся скорее поражать других, нежели радовать самих себя, точь-в-точь как жители Востока, которые

принимают чужестранцев с великой любезностью и осыпают их дарами, собственным же довольством зачастую пренебрегают. Вот одна из причин, объясняющих, отчего русские так мужественно перенесли все бедствия, причиненные им пожаром Москвы. Можно сказать, что богатство для русских — почетный караул, который они без сожаления выставляют на защиту отечества; роскошь не развратила здешних богачей, более привычных к внешнему блеску, нежели к заботе о своем удобстве, так что, принося состояние в жертву родине, они услаждают свою гордость едва ли не больше, чем когда тратили деньги на пышное убранство своих жилищ. Народ этот — исполин во всем, обычные мерки в России не в ходу. Я не желаю тем самым сказать, что русским вовсе неведомо ни подлинное величие, ни постоянство, однако дерзость их воображения не знает пределов, колоссальное в их стране берет верх над соразмерным, отвага — над расчетливостью, и если они не достигают цели, то лишь потому, что оставляют ее далеко позади.

Я приближалась к Москве, меж тем ничто не предвещало близости столицы. Селения, выстроенные из дерева, по-прежнему располагались далеко одно от другого; движение на просторных равнинах, именуемых дорогами, было ничуть не более оживленным; загородные усадьбы встречались ничуть не более часто. Пространства в России так много, что в нем теряется все: и поместья, и люди. Кажется, будто едешь по стране, только что покинутой жителями: так мало здесь домов, так пустынны поля и дороги, так тихо кругом. Тишина эта еще более заметна из-за отсутствия птиц; скота тоже немного, а тот, что есть, пасется вдалеке от дороги. Простор съедает все, кроме самого простора, завораживающего воображение подобно иным метафизическим идеям, от которых мысль, раз пленившись ими, освободиться уже не способна.

Накануне приезда в Москву, вечером очень жаркого дня, я остановилась на прелестном лугу; крестьянки в живописных нарядах, какие носят жительницы этих краев, возвращались домой с полей, распевая украинские песни, в которых похвалы любви и свободе звучат меланхолически и едва ли не жалобно. Мне хотелось увидеть их пляску; они согласились исполнить мою просьбу. Не знаю ничего более грациозного, чем эти народные танцы, исполненные со всей оригинальностью, какую сообщает изящным искусствам природа; в них высказывается некое сдержанное сладострастие; русской пляске очарование придает та смесь расслабленности и живости, которая, вероятно, свойственна также индийским баядерам. Смесь эта выдает присутствие в русском характере мечтательности и страстности

— свойств, которые цивилизация до сих пор не обработала и не укротила. Меня поразила кроткая веселость этих крестьянок, в той или иной степени характерная для большинства русских людей, с которыми мне пришлось иметь дело. Охотно верю, что в порыве страсти они могут быть страшны; человек необразованный не умеет укрощать свою ярость. По причине той же необразованности они почти не имеют моральных принципов; они гостеприимны, но вороваты; они так же легко отнимают чужое добро, как и жертвуют своим, смотря по тому, что взяло верх в их душе в настоящую минуту — хитрость или великодушие.[675] Оба эти свойства вызывают у них равное восхищение.

В таком поведении есть нечто, роднящее русских с дикарями, однако мне представляется, что среди нынешних европейских наций могучи лишь те, которые именуются варварскими, то есть нации непросвещенные, иначе говоря, свободные. Что же до тех наций, которые цивилизация научила лишь одному — терпеть любое иго до тех пор, пока угнетатель не посягнет на домашний очаг каждого, оправдывать властителей и извинять рабство, — они созданы для того, чтобы оставаться побежденными. Я часто пытаюсь вообразить, что сталось нынче с тем краем, который я видела столь покойным, с теми любезными молодыми крестьянками и теми длиннобородыми крестьянами, которые столь безмятежно покорялись воле Провидения: все они либо погибли, либо бежали из родных мест, но никто из них, конечно, не согласился служить победителю.[676]

Достойно замечания, насколько развит в России общественный дух. Многочисленные военные успехи русской нации, благодаря которым завоевала она репутацию непобедимой, природная гордость здешней знати, самоотверженность, свойственная простому народу, благочестие, имеющее огромную власть над умами, ненависть к чужестранцам, от которой Петр I пытался избавить своих подданных, просвещая их и цивилизуя, но которая тем не менее осталась у них в крови, — все эти причины вместе взятые при необходимости делают русских народом в высшей степени деятельным. Несколько скверных анекдотов, относящихся к прошлым царствованиям, несколько русских, живших долгами в Париже, несколько острот Дидро[677] внушили французам, что в России нет ничего, кроме развращенного двора, раболепных офицеров и закабаленного народа; это великое заблуждение. Конечно, в обычных обстоятельствах для того, чтобы узнать эту нацию, требуется очень много времени; однако я оказалась в России в такую пору, когда все ее свойства сделались ощутительны; нет

лучшего способа увидеть страну в самом выгодном свете, чем явиться туда в эпоху невзгод и подвигов. Повторю еще раз: нации этой присущи свойства самые противоположные. Быть может, причина этих контрастов в смешении европейской цивилизации и азиатского характера.

Русские оказывают чужестранцу прием столь любезный, что с первого же дня кажется, будто знаешь их целую вечность, однако же знакомство это может не сделаться более коротким и по прошествии десяти лет. Особенно удивительно молчание русских: умалчивают они именно о том, что их живо интересует.[678] Вообще они охотно поддерживают разговор, однако речи их свидетельствуют исключительно об их учтивости; ни чувств, ни мнений говорящего они не выражают. Русских часто сравнивали с французами, меж тем для сравнения этого нет, на мой взгляд, решительно никаких оснований. Гибкость органов располагает русских к подражанию;[679] они могут вести себя, смотря по обстоятельствам, как французы, англичане или немцы, но при этом не перестают быть русскими, иначе говоря, пылкими и сдержанными разом, созданными более для страсти, нежели для дружбы, более гордыми, нежели тонкими, более набожными, нежели добродетельными, более отважными, нежели рыцарственными, и готовыми на все ради удовлетворения своих неистовых желаний. Они куда гостеприимнее французов, однако под обществом они, в отличие от нас, понимают вовсе не собрание мужчин и женщин острого ума, которые с приятностью беседуют меж собой. В России общество подобно многолюдному празднеству, здесь люди едят фрукты и диковинные яства из Азии и Европы, слушают музыку, играют, одним словом, ищут впечатлений сильных, но не затрагивающих ни ума, ни души;[680] то и другое пускают они в ход, когда переходят от жизни светской к жизни деятельной. Вдобавок русские в большинстве своем весьма мало образованы, не имеют вкуса к серьезным беседам и не стремятся тешить свое самолюбие, блистая умом. Остроумие, красноречие, литература — вещи, в России неизвестные; здесь гордятся и чванятся роскошью, могуществом и отвагой. Все прочие способы отличиться нация эта, в чьих нравах азиатского куда больше, нежели европейского, по сей день почитает проявлениями изнеженности и тщеславия.

Однако народ здесь порабощен, скажут мне; каков же может быть его характер? Полагаю, мне нет необходимости напоминать, что все просвещенные люди желают русскому народу выйти из этого состояния, и едва ли не более всех прочих желает этого, как станет ясно из дальнейшего изложения, император Александр.[681] Однако рабство в России имеет иные следствия, нежели

воображаем мы, люди Запада;[682] при феодализме победители навязали побежденным свои жестокие законы, здесь же знать и народ, можно сказать, живут одной семьей, как в античности; положение у здешних крестьян не то, что у средневековых крепостных. Третьего сословия в России не существует;[683] обстоятельство это влияет весьма неблагоприятно на судьбу литературы и изящных искусств, ибо обычно именно третье сословие способствует развитию просвещения. Однако благодаря этому отсутствию посредников вельможи и простолюдины любят друг друга сильнее, чем в других странах. Оттого, что между ними нет никаких промежуточных разрядов, кажется, будто дистанция, разделяющая эти два сословия, огромна, на самом же деле по этой причине они соприкасаются гораздо более тесно. Такое устройство общества вовсе не способствует просвещению высших сословий, но отнюдь не препятствует счастью низших. Вообще там, где не существует представительного правления, иначе говоря, в странах цивилизованных, но подчиняющихся монарху, который сам издает законы и сам же принужден их исполнять, люди чаще пятнают себя отречением от собственного разума и характера, нежели в обширных империях, где массы и вожди движимы простыми идеями: верой в Бога и любовью к отечеству. Спокойное достоинство и безмолвное величие, присущие народам Азии, нравятся мне более, нежели жизнь, какую ведут европейские нации-полукровки, полукровками же я называю всех, кому не дано жить при свободном правлении. Кроме того, Российская империя столь велика, что деспотизм знати тяготеет над каждым отдельно взятым простолюдином не так сильно. Наконец — что важнее всего — сердцами русских безраздельно владеет религиозный и военный дух, источник прекраснейших человеческих деяний, и это заставляет прощать русской нации многие изъяны. Человек острого ума сказал, что Россия напоминает пьесы Шекспира, где все, в чем нет неправильности, возвышенно, а все, в чем нет возвышенности, — неправильно.[684] Замечание это в высшей степени верное, однако в роковую пору, когда я оказалась в России, нация эта обнаруживала исключительно энергию сопротивления и готовность к самопожертвованию, а при виде подобных жертв кажется почти невозможным обращать внимание на то, что в другие времена могло бы вызвать нарекания.

Москву узнаешь издали по золотым куполам.[685] Однако, поскольку город этот, как все русские поселения, выстроен на совершенно плоской равнине,[686] поначалу он ничем не поражает взора; великолепие Москвы можно оценить в полной мере, лишь взглянув на нее с вершины какой-нибудь башни. Кто-то

справедливо заметил, что Москва — не город, а целая провинция.[687] В самом деле, в Москве есть хижины, дома, дворцы, восточный базар,[688] церкви, общественные заведения, пруды, леса, парки. На этом обширном пространстве можно наблюдать все нравы и нации, какими богата Россия. Не угодно ли вам, спрашивали меня, купить кашемировые шали в татарском квартале? Побывали ли вы уже в китайском квартале?[689] В этом городе Азия соединяется с Европой. Здесь больше вольности, чем в Петербурге, где, разумеется, сильно влияние двора. Московские вельможи не ищут мест,[690] однако любовь свою к отечеству они доказывают пожертвованием государству огромных сумм, которые шли в мирное время на основание общественных учреждений, а в военное — на защиту отечества. Свои колоссальные состояния русские вельможи употребляют на покупку редкостей, на разного рода предприятия, на устройство празднеств, не уступающих тем, что описаны в сказках «Тысячи и одной ночи»; нередко случается и так, что все деньги без остатка они приносят в жертву необузданным своим страстям.

Но в ту пору, когда я оказалась в Москве, все здесь жертвовали деньги только на войну. Молодой граф Мамонов составил на свой счет полк, в коем сам желал служить в чине не выше подпоручика.[691] Графиня Орлова, любезная и богатая на азиатский манер, отдала три четверти своего состояния.[692] Проезжая мимо московских дворцов, окруженных обширными садами, — ибо здесь городские жители распоряжаются пространством так щедро, как в других странах жители деревенские, — я слышала, что владелец одной роскошной усадьбы только что подарил государству сотню или даже тысячу крестьян, а хозяин другой — две сотни. Мне трудно было свыкнуться с выражением «подарил людей», однако в этих обстоятельствах крестьяне сами страстно желали сражаться с врагом, господа же оказывались не более чем исполнителями их воли.

Лишь только русский крестьянин становится солдатом, ему бреют бороду, и с этого момента он получает свободу. Однако объявить свободными всех крестьян, воюющих в ополчении, сочли невозможным: это означало бы дать свободу всей нации, ибо на борьбу с завоевателями она поднялась почти вся целиком.[693]

Будем надеяться, что этого желанного освобождения можно будет добиться без потрясений. А покамест пусть крестьяне сохранят бороды, ведь они сообщают лицам необычайную силу и достоинство.[694] Русские бородачи не минуют ни одной церкви, не осенив себя крестом; их вера в зримые символы религии весьма трогательна.[695] Русские храмы носят на себе отпечаток азиатской

роскоши; их украшения — сплошь золото, серебро и рубины, Говорят, что один русский предложил составить алфавит из драгоценных камней и написать таким образом Библию. Он знал, как приохотить к чтению своих соотечественников, наделенных восточным воображением. Воображение это, однако, до сих пор не проявилось ни в изящных искусствах, ни в поэзии. Русские очень быстро продвигаются во всех сферах до известной точки, но далее не идут. Первый шаг делается под влиянием порыва, для второго же потребны мысли, меж тем русские, в отличие от народов Севера, до сих пор выказывали очень малую склонность к размышлениям.[696]

Прекраснейшие дворцы в Москве выстроены из дерева, ведь русские, которым от природы присуще непостоянство во всем, что не касается до религии и отечества, любят то и дело переменять место жительства, а деревянные дома легче возвести в короткое время. Многие из этих прекрасных дворцов были сооружены по случаю празднества; срок жизни, им отведенный, исчислялся одним днем, однако роскошное убранство позволило им просуществовать до нынешнего времени, когда рушится все вокруг. Большая часть этих домов выкрашена в зеленый, желтый, розовый цвета и украшена резьбой, напоминающей завитки крема. Завитки эти, подобные арабескам, кажутся издали бордюрами у подножия высоких церквей.

Кремль, цитадель, в которой российские государи укрывались от нападений татарских войск, окружен высокой зубчатой стеной; он больше похож на турецкий минарет, нежели на западную крепость. Москву можно было бы назвать восточным городом, если бы не великое множество церквей, на которые русские взирают с таким благоговением. В Москве вспоминаешь Рим, не потому, разумеется, что здания здесь выстроены в итальянском стиле, но потому, что смешение пустынной сельской местности и великолепных дворцов, обширность города и множество храмов сообщают азиатскому Риму[697] некоторое сходство с Римом европейским.[698] Судьбе было угодно отдать оба Рима на поругание одному и тому же человеку.

Внутренность Кремля мне довелось увидеть в начале августа. Я поднялась по той самой лестнице, по которой несколько дней назад всходил император Александр в окружении огромной толпы, прославлявшей государя и обещавшей отстоять его державу любой ценой.[699] Народ сдержал данное императору слово. Вначале меня провели в залы, где хранится старинное русское оружие.[700] Арсеналы такого рода более достойны внимания в других странах Европы. Русские не знали рыцарства; прежде царствования Петра I они не носили шпаг; они не

участвовали в крестовых походах. Они постоянно воевали с татарами, поляками и турками, и воинский дух воспитался в них среди жестокостей разного рода, на которые осуждало их варварство азиатских народов и собственных тиранов. Потому в последние несколько столетий русских отличала не великодушная отвага Баярдов и Бакингемов,[701] но бесстрашие фанатиков. Колчаны, хранящиеся в кремлевском арсенале, отличаются от европейского холодного оружия, как битвы с татарами от рыцарских поединков. В общественных отношениях, для них столь новых, русские не выказывают рыцарского духа, как его понимают народы Запада,[702] зато к врагам они всегда были беспощадны. И до, и после царствования Петра Великого убийства в России совершались столь часто, что это не могло не сказаться на нравственности всей нации, а более всего — знати. Деспотические правительства, не ограниченные[703] ничем, кроме убийства деспота,[704] колеблют в умах людей привычные представления о чести[705] и долге, однако на развалинах своей кровавой истории русские сберегли любовь к отече ству и религии, а нация, богатая добродетелями такого рода, еще способна удивить мир.

Из старинного арсенала меня провели в комнаты, где прежде жили цари, а теперь хранятся их коронационные одежды. Комнаты эти вовсе не красивы, однако они вполне подобают той суровой жизни, какую вели, да и по сей день ведут цари. Дворец Александра блистает роскошью, но сам он спит на жесткой постели, а путешествует как обычный казачий офицер. Должно быть, военный дух в России сохраняется благодаря тому, что богачи здесь ищут не удобства, а славы. Такой образ жизни, в сущности не самый приятный, не раз подвергался осуждению, однако по здравом размышлении нетрудно понять, что он облегчает расставание с богатством. Спокойствие, с каким русские вельможи перенесли потерю всего своего состояния во время московского пожара, показывает довольно ясно, что стоит им только захотеть — и они легко пожертвуют жизнью, сотканной из наслаждений.

В Кремле мне показали двойной трон, который занимали некогда Петр I и брат его Иван. Царевна Софья, их сестра, стояла за спиной Ивана и подсказывала ему, что он должен говорить; однако заемная сила Ивана не устояла перед прирожденной силой Петра, и вскоре сей последний стал править один. Начиная с его царствования русские цари коронуются в ином платье. Прежде цари носили азиатский наряд.[706] Петр I ввел в своей державе длинные парики века Людовика XIV; при всем почтении, какого достоин этот великий человек,[707] нельзя не заметить, что

существует некий неприятный контраст между его свирепым гением и платьем, сшитым по всем правилам европейского искусства. Следовало ли ему изгонять с таким тщанием все восточное из обыкновений своей нации? Следовало ли размещать столицу на северной оконечности империи?[708] Этот великий вопрос до сих пор не разрешен; толковать свершения столь грандиозные под силу лишь столетиям. Под конец я взошла на колокольню Ивана Великого, откуда открывается вид на весь город. Оттуда я увидела дворец царей, которые с оружием в руках покорили Сибирь, царства Казанское и Астраханское. Я услышала церковные песнопения: это католикос, грузинский князь, служил обедню среди жителей Москвы, объединяя таким образом христиан Азии и Европы.[709] Порукою в благочестии москвичей служат полторы тысячи церквей московских.

Торговые заведения в Москве устроены на азиатский манер; продавцы в тюрбанах, одетые в наряды самых разных стран, предлагают покупателям редкие товары, от сибирских мехов до индийских тканей, и пленяют русских вельмож, чье воображение падко на самоедские соболя и персидские рубины, чудесами роскоши. Сверху я могла видеть дворец и сад Разумовского, где располагалась прекраснейшая коллекция растений и минералов, а чуть по дал ее — дом графа Бутурлина, где находилась превосходная библиотека, которую он собирал в течение трех десятков лет;[710] на полях некоторых книг, ее составляющих, имелись собственноручные пометы Петра I. Этот великий человек не подозревал, что представители той самой европейской цивилизации, которою он так дорожил, явятся в Россию разорять заведения, учрежденные им ради ее торжества. Здешний университет, постоянно усовершенствуемый, имел целью сосредоточить с помощью учения нетерпеливый ум русских.

Чуть подальше возвышался Воспитательный дом, один из превосходнейших в Европе;[711] в разных кварталах города нетрудно было заметить больницы для всех классов общества. Одним словом, взор повсюду встречал следы богатства и плоды благодеяний, великолепные палаты и благотворительные заведения, церкви и дворцы, дарившие счастье или славу большинству местных жите лей. Среди зданий струила свое извилистое течение река Москва,[712] чьи воды не окрашивались кровью со времен татарского нашествия. День был великолепный; солнце, казалось, с радостью проливало свет на сверкающие храмы. Я вспомнила старого архиепископа Платона, только что адресовавшего императору Александру пастырское послание, восточный стиль которого живо меня взволновал;[713] с окраины Европы этот священник прислал императору образ Пресвятой

Девы, дабы помочь изгнать из Азии человека, который обрушил на русских всю мощь европейских наций, им порабощенных. На одно мгновение мысль о том, что город, которым я любуюсь, обречен погибнуть от руки этого человека и что вскоре он поднимется на колокольню, где теперь стою я, посетила меня;[714] на одно мгновение я поверила, что, желая потешить свою гордыню, человек этот займет в царском дворце место, которое занимал некогда глава Великой Орды, также на время его захвативший;[715] но небо было так ясно, что я прогнала страшную мысль. Месяц спустя этот прекрасный город уже лежал в руинах, дабы ни у кого уже не оставалось сомнений в том, что всякую страну, однажды заключившую союз с этим человеком, пожрет пламя ада, ему покорного. Какой же, однако, дорогой ценой искупили русские и их государь свое заблуждение! Впрочем, несчастье Москвы возродило империю; этот благочестивый город погиб смертью мученика, чья кровь сообщает новые силы его собратьям, избежавшим гибели.

Знаменитый граф Ростопчин, чье имя постоянно упоминалось в бюллетенях императора, приехал ко мне с приглашением на обед. При Павле I Ростопчин был министром иностранных дел;[716] разговор его, исполненный оригинальности, показывал, что, если обстоятельства того потребуют, он обнаружит характер весьма решительный.[717] Я отправилась к нему в усадьбу, расположенную внутри городской черты; чтобы туда попасть, следовало проехать мимо озера через лес; при подходе Наполеона к Москве граф Ростопчин сам поджег эту усадьбу, одну из уютнейших во всей России.[718] Казалось бы, подвиг столь славный не мог не вызвать восхищения даже у его врагов. Император, однако же, уподобил графа Ростопчина Марату, забыв, что первый жертвовал собственным достоянием, второй же губил чужое, а это, что ни говори, не может не делать окружающим чувствительную разницу.[719] Упрекнуть графа Ростопчина можно было бы в другом: он слишком долго скрывал дурные вести, поступавшие из армии, то ли оттого, что обольщался сам, то ли оттого, что хотел обольстить других.[720] Англичане, выказывая ту восхитительную душевную чистоту, которая отличает все их поступки, отдают равно достоверный отчет как в своих успехах, так и в своих неудачах; энтузиазм их питается исключительно правдой, какова бы она ни была. Русским пока далеко до этого нравственного совершенства, рождаемого свободным устройством общества. Все дело в том, что ни одна цивилизованная нация не стоит так близко к дикарям, как русские; даже знать, когда она обладает энергией, разделяет и недостатки, и достоинства этих необузданных сынов природы. Многим пришлось по вкусу

знаменитое словцо Дидро: «Русские сгнили, не успев созреть».[721] Не знаю, однако, утверждения более ложного; сами пороки русских, за немногими исключениями, причиною имеют не развращенность, но необузданность. «Желание, овладевшее русским народом, — сказал человек выдающегося ума, — способно взорвать город».[722] Если русские решили добиться цели, хорошей ли, дурной ли, они либо впадают в ярость, либо идут на хитрость; Петру I, наскоро привившему им начатки цивилизации, не удалось изменить их природу, преобразились на сей день только их манеры. К счастью для русских, они по-прежнему остались народом, который мы именуем варварским, иначе говоря, ими движет инстинкт — подчас благородный, всегда невольный и предполагающий раздумья при выборе средств, но не при рассмотрении цели; я сказала «к счастью для русских» не потому, что намерена восхвалять варварство, но потому, что под этим словом я разумею некую первобытную энергию, которая одна способна заменять нациям удивительную мощь, даруемую свободой.

Графиня Ростопчина пожелала подарить мне свою книгу о торжестве религии, книгу чистейшую в отношении стиля и морали.[723] Я узнала в Москве и в Петербурге ученых и литераторов весьма просвещенных; однако в обоих этих городах народным образованием руководят по преимуществу немцы.[724] В России остро недостает людей образованных во всех областях, более же всего в науке; молодые люди в большинстве своем записываются в университет лишь ради того, чтобы поскорее вступить в армию.[725] В России всякой гражданской должности соответствует определенное воинское звание; дух у русской нации воинственный по преимуществу. Во всем, кроме дела военного, — в государственном управлении, политической экономии, народном просвещении и проч. — остальные народы Европы до сих пор имели верх над русскими. Русские, однако же, пробуют себя в литературе. Плавность и звучность их языка внятны даже тому, кто не знает по-русски; люди, говорящие на таком языке, — прирожденные музыканты и поэты. Однако русские, как и жители многих европейских стран, совершенно напрасно подражают французской литературе, в которой даже красоты хороши для одних лишь французов.[726] Мне кажется, что русским литераторам следует предпочесть латинскому наследству наследство греческое. Сходство русских букв с греческими, старинные сношения России с Византийской империей, ее грядущие судьбы, которые, возможно, приведут русскую нацию к подножию славных памятников античности,[727] — все должно подвигнуть русских к изучению греческого, что же

касается до поэзии, то ее надобно черпать из потаенных глубин собственной души. Меж тем до настоящего времени русские авторы, можно сказать, воспевали лишь то, что вертелось у них на языке; нацию столь пылкую аккордами столь слабыми не вдохновить.[728]

Я покидала Москву с сожалением.[729] Ненадолго я остановилась в лесу близ города, куда в дни празднеств столичные жители приезжают плясать и радоваться солнцу, которое даже в Москве недолго балует их своим сиянием. Что же говорить о краях более северных? Говорят, близ Архангельска даже неизменные березы встречаются все реже; о них заботятся так же тщательно, как об апельсиновых деревьях во Франции. Эти вечные березы утомляют взор своим однообразием. Дорога из Москвы в Петербург — это сплошные пески в первой половине и сплошные болота во второй; после дождя земля чернеет и тракт совершенно теряется среди той широкой равнины, какую здесь именуют дорогой. Деревенские дома, впрочем, везде обличают зажиточность; крестьяне украшают их колоннами, а окна окаймляют арабесками из деревянных цветов. Хотя стояло лето, я ощущала грозное присутствие зимы, которая, казалось, пряталась за тучами. Фрукты, которыми меня угощали, имели терпкий вкус, ибо созрели слишком быстро; роза волновала меня напоминанием о наших прекрасных краях, однако даже эти цветы здесь имели вид не такой горделивый, как у нас; чудилось, что Север уже занес над ними свою ледяную руку.

Я проехала через Новгород, три столетия назад бывший республикой в союзе с городами Ганзы. Новгородцы выдержали атаки шведской армии под предводительством Понтюссона де Ла Гарди, славного полководца, который принял командование над своими соотечественниками вскоре после отречения от престола королевы Кристины.[730] Говорят, что европейцы потребовали для себя свободы лишь в прошлом веке, меж тем на самом деле недавним изобретением следует назвать деспотизм.[731] Даже в России закрепощение крестьян совершилось только в XVI столетии.[732] Вплоть до царствования Петра I все указы начинались словами; «Бояре приговорили, царь прикажет».[733] Петр I, хотя во многих отношениях и оказавший на Россию влияние весьма благотворное, унизил знать и, дабы деспотизм его не встречал преград, объединил в своих руках власть светскую и духовную.[734] Во Франции так же поступил Ришелье; недаром Петр I очень им восхищался. Говорят, что при виде его могилы в Париже русский император воскликнул: «Великий человек! Я отдал бы половину своей державы, чтобы научиться править другою, как ты».[735] В этом случае Петр выказал чрезмерную

скромность, ибо имел перед Ришелье множество преимуществ: он был великий полководец, основатель флота и открыватель торговых путей, Ришелье же только и умел что быть безжалостным тираном внутри страны и вероломным обманщиком за ее пределами. Вернемся, однако, к Новгороду: Иван III завладел этим городом в 1470 году; он отнял у новгородцев свободу и приказал перевезти в Москву большой колокол, именуемый Вечевым, — тот самый, что созывал горожан на площадь для обсуждения вопросов общественных.[736] С утратой свободы Новгород стал стремительно терять население, торговые связи, богатство: ибо самодержавная власть, говорит лучший историк России, повсюду производит действие разрушительное и иссушающее![737] Новгород и по сей день имеет вид на удивление печальный; длинная крепостная стена напоминает о том, что некогда город этот был велик и обилен народом, ныне же на этом обширном пространстве разбросаны отдельные дома, жители коих, кажется, вечно льют слезы над могилами. Быть может, такова же сделалась ныне и прекрасная Москва, однако дух общественный поможет восстановить ее, как помог он отбить ее у врага.

Местность между Новгородом и Петербургом представляет собою сплошные болота, так что прекраснейший из городов европейских является перед вами внезапно, словно по мановению волшебной палочки.[738] Основание Петербурга доказывает неопровержимо, что для пламенной русской воли нет ничего невозможного;[739] окрестности этого города, выстроенного на болоте, отвратительны; мраморные дворцы здесь покоятся на деревянных сваях, однако, любуясь этими великолепными зданиями, забываешь, сколь непрочны их основания, и не можешь не восхищаться чудом, благодаря которому посреди пустыни вырос в столь короткое время город столь прекрасный.

Прибыв в Петербург,[740] я первым делом возблагодарила Небо за то, что наконец добралась до моря. Увидев над Невою английский флаг, символ свободы, я почувствовала, что, вверившись морской стихии, смогу предать себя непосредственно в руки Провидения. Пускай это всего лишь иллюзия, но невозможно не думать, что мы стоим ближе к Господу, когда зависим от природных стихий, а не от людей и, главное, не от того человека, в котором, кажется, воплотилось все зло земного мира.

Справедливо говорится, что в Петербурге женщину невозможно назвать старой, как городские улицы,[741] ибо в этом городе сами улицы молоды. Здания здесь еще не утратили ослепительной белизны; ночью, в свете луны, они напоминают

исполинские белые привидения, неподвижно глядящиеся в быстрые невские воды. Не знаю, что в Неве особенно красивого, но никогда еще ни одна река не казалась мне такой чистой. Она струит свои воды меж гранитных набережных, растянувшихся на тридцать верст, и великолепие этого людского творения достойно прозрачности потока, им окаймляемого.[742] Устрой Петр I нечто подобное на юге своей империи, он не создал бы того, о чем мечтал, а именно флота, но, возможно, действовал бы более сообразно характеру своей нации.

Русские, обитающие в Петербурге, имеют вид южного народа, который осужден жить на севере и изо всех сил борется с климатом, не согласным с его природой. Жители Севера, как правило, большие домоседы и опасаются холода именно потому, что сталкиваются с ним постоянно. Напротив, русским простолюдинам подобные привычки чужды; зимой кучера безропотно ожидают господ возле подъезда по двенадцать часов; они укладываются на снег под каретой, перенося таким образом обыкновения неаполитанских лаццарони на шестидесятую параллель.[743] Они засыпают на ступеньках лестницы, точь-в-точь как немцы на своих перинах; порой им случается даже вздремнуть стоя, прислонившись к стене. То вялые, то дерзкие, они то спят беспробудным сном, то предаются лихорадочной деятельности. Иные из них напиваются допьяна, чем отличаются от народов Юга, вообще весьма воздержанных;[744] впрочем, в военное время русские тоже способны на воздержание, каковому предаются с постоянством почти невероятным. Народ этот, весь составленный из контрастов, с неслыханной решимостью бросается в бой против природы или вражеских полчищ. В час испытаний русские всегда выказывают терпение и твердость, однако в жизни обыкновенной они — само непостоянство. Они не способны долго восхищаться одними и теми же людьми, одними и теми же повелителями; неизменность чувств и суждений есть плод повседневных спокойных размышлений, русские же, как все народы, существующие под властью деспотической, более склонны к притворству, нежели к раздумьям. На свой лад к жителям Юга близки вкусами и вельможи. Надобно видеть загородные дома, выстроенные ими на острове посреди Невы, едва ли не внутри городской черты. Жилища эти украшены южными растениями; в комнатах стоят азиатские диваны и курятся восточные благовония. В огромных теплицах с рукотворным климатом зреют фрукты — детища самых разных стран. Летнею порою русские вельможи стараются не упустить ни единого луча солнца, которое вот-вот их покинет; они радуются ему как другу, чьим обществом наслаждались некогда в краю

более счастливом.

Напротив дома, где я жила в Петербурге,[745] высится памятник Петру I; император изображен на коне, он поднимается на крутой утес, а змеи, вьющиеся под ногами у коня, стремятся остановить его бег. Змеи, по правде говоря, понадобились скульптору для того, чтобы дать опору исполинской фигуре конного монарха, однако мысль эта не слишком удачна: на самом деле государю следует опасаться вовсе не зависти; не страшны ему и низкопоклонники; что же касается Петра I, то ему в течение всей его жизни угрожали только русские, тосковавшие по древним обычаям своей страны.[746] Впрочем, восхищение, которое питают к Петру в России до сих пор, доказывает, что он сделал ей много добра, ибо через сто лет после смерти деспотам не льстят.[747] На пьедестале статуи написано: «Петру Первому Екатерина Вторая». Надпись простая, но гордая и, главное, справедливая. Два исполина научили русских гордиться собой, а внушить нации, что она непобедима, значит сделать ее такой, по крайней мере в родных стенах, ибо завоевание есть случайность, зависящая, возможно, более от ошибок побежденных, нежели от гения победителей.

На следующий день после приезда в Петербург я отправилась на обед к одному из самых почтенных здешних негоциантов;[748] человек этот гостеприимен по-русски, иначе говоря, он вывешивает на крыше своего дома флаг, извещающий об обеде, и этого приглашения довольно для всех его друзей и для друзей его друзей.[749] Обедали мы на вольном воздухе; хозяин дома спешил насладиться последними днями здешнего жалкого лета, так непохожего на то, что называют летом на юге Европы. Сад имеет вид весьма приятный, деревья и цветы радуют взор, однако отойдите на два шага от его ограды, и вы снова окажетесь либо в пустыне, либо в болоте. Природа в окрестностях Петербурга — заклятый враг человека; стоит на мгновение прекратить борьбу с нею, как она немедленно вновь вступает в свои права.

На следующее утро я побывала в Казанской церкви,[750] построенной при Павле I по образцу собора Святого Петра в Риме. Внутренность церкви, украшенной множеством гранитных колонн, прекрасна, однако само здание производит впечатление тягостное именно потому, что напоминает собор Святого Петра, но отличается от него тем сильнее, чем больше создатель его стремился подражать римскому оригиналу. Невозможно построить за два года то, на что у величайших мастеров ушло полтора столетия. Русские желали бы своей стремительностью победить не только пространство, но и время, однако время сберегает лишь то, что на нем же и зиждется, а изящные

искусства не меньше вдохновения, кажущегося главным их источником, нуждаются в мысли.

Из Казанской церкви я направилась в монастырь Святого Александра Невского, носящий имя одного из прославленнейших героев России, который расширил ее пределы до брегов Невы. Останки его покоятся в серебряной гробнице, сделанной по велению императрицы Елизаветы, дочери Петра I; у русских есть обычай класть на эту гробницу монету и просить святого об исполнении желаний.[751]

Я попросила святого за императора, носящего то же имя. В ту пору я еще не видела этого Александра, наилучшего гражданина своей империи, но уже предчувствовала, что благополучие всего мира, и Франции в частности, зависит от успехов его войска. Что сталось бы с Европой, что сталось бы с несчастной Францией, одержи тиран новую победу? Из первой нации Европы, какой она была некогда, Франция окончательно превратилась бы в рабыню, ничем не отличающуюся от прочих порабощенных народов: немцев, итальянцев, хорватов, иллирийцев — в которых ей приказывают видеть соотечественников.

В том же монастыре похоронен Суворов, однако гробницу его украшает одно лишь славное имя;[752] ему довольно и этого, что же касается русских, которым он оказал услуги столь драгоценные, они могли бы отнестись к его памяти с большим почтением. Впрочем, русские созданы для войны, и потому подвиги на воинском поприще изумляют их меньше, чем представителей других наций. На кладбище при церкви Александра Невского похоронены особы, принадлежащие к самым знатным родам российским, однако среди надгробных памятников нет ни одного сколько-нибудь примечательного; все они заурядны как произведения искусства и не потрясают воображение великими мыслями. Вдобавок мысль о смерти мало трогает русских; то ли от бесстрашия, то ли от непостоянства чувств они чуждаются длительной скорби; зато они суеверны и набожны. Суеверия имеют касательство до земной жизни, религия — до жизни загробной; суеверия связаны с идеей рока, религия — с идеей добродетели; суеверными люди становятся из-за живости земных желаний, религиозными же делаются, когда этими желаниями жертвуют.

Г-н Румянцев, российский министр иностранных дел, осыпал меня любезностями, и я с сожалением размышляла о том, что ему как совершенному приверженцу Наполеоновой системы, следовало бы, подобно английским министрам, уйти в отставку после разрыва России с этой системой.[753] Конечно, в абсолютной монархии все решает воля государя, однако из уважения к

собственному сану первый министр не должен, пожалуй, произносить слова, противоречащие тем, какие он же произносил накануне. Государь — это государство, а государство вправе изменять свою политику, когда обстоятельства того требуют, однако министр — всего лишь человек, человек же в вопросах первостепенной важности обязан придерживаться одного убеждения до конца жизни. Как бы там ни было, манеры г-на Румянцева и учтивость, с какою он принимает иностранцев, безупречны.

Я находилась в его доме, когда слуга доложил о приезде английского посланника лорда Тирконнела[754] и адмирала Бентинка,[755] двух особ, чей облик весьма замечателен; то были первые англичане, возвратившиеся на континент, откуда изгнала их воля тирана. После десяти лет страшной борьбы, после десяти лет, на протяжении которых и в горе, и в радости англичане хранили верность своему политическому компасу — совести, они наконец прибыли в страну, которая первой восстала против всемирной монархии. Их произношение, их простота, их гордость — все обличало совершенную правдивость, которую Наполеон сумел оболгать в глазах тех, кто читал лишь его газеты и слушал лишь его агентов. Пожалуй, даже противники Наполеона, проживавшие на континенте и обреченные постоянно слышать лживые речи, которыми император не переставал их морочить, в конце концов разуверялись в собственных ощущениях. Сужу по себе: наслушавшись советов, продиктованных осторожностью либо низостью, которыми пропитано все в Наполеоновой империи, я зачастую переставала понимать, как относиться мне к моим убеждениям: хотя голос крови запрещал отрекаться от них, разум не всегда умел уберечь меня от стольких софизмов. Да будет благословенна Россия, где я смогла вновь услышать голос Англии — страны, с которой всякий, кто желает пользоваться уважением людей порядочных и уважать самого себя, обязан быть заодно.

Назавтра граф Григорий Орлов пригласил меня посетить остров, носящий его имя.[756] Остров этот — прелестнейший из всех невских островов: в саду у графа растут дубы, что в тамошних краях большая редкость. Граф и графиня Орловы[757] не жалеют денег на то, чтобы принимать иностранцев столь же просто, сколь и щедро; в их доме чувствуешь себя непринужденно, как в сельском приюте, но при этом наслаждаешься всеми плодами городской роскоши.[758] Граф Орлов — один из просвещеннейших русских вельмож; любовь его к отечеству так глубока, что ее нельзя наблюдать без волнения. В первый день, проведенный мною в его доме, было объявлено о

заключении мира с Англией. Дело происходило в воскресенье, и в саду графа, открытом по этому случаю для посетителей, прогуливались многочисленные бородатые купцы, которые в России по-прежнему носят мужицкое, или, говоря иначе, крестьянское платье. Некоторые из них слушали превосходный оркестр графа Орлова; в честь заключения мира музыканты сыграли английскую мелодию «God save the King» (Боже, храни короля) — песнь свободы, рожденную в стране, где главным стражем этой свободы выступает сам монарх. Все мы были растроганы и живо рукоплескали этому гимну всех европейцев, ибо ныне Европу населяют лишь два разряда людей: те, кто служит тирании, и те, кто умеет ее ненавидеть. Граф Орлов подошел к бородатым русским купцам и объяснил им, что нынче празднуется заключение мира между Россией и Англией; бородачи осенили себя крестом и возблагодарили Небо за то, что им вновь открывается доступ к морю.[759]

Остров Орлова окружен другими островами, которые петербургские вельможи и сама императорская чета избрали для летнего своего пребывания. Неподалеку расположен остров Строганова, владелец которого, известный богач, выписал из Греции древности, стоящие огромных денег.[760] При жизни Строганова дом его был открыт ежедневно, и всякий, кто единожды побывал там, имел право прийти опять; Строганов никогда никого не приглашал отобедать или отужинать в определенный день; всякий, кого приняли в этом доме однажды, мог не сомневаться, что ему будут там рады всегда. Зачастую хозяин не знал половины гостей, сидевших за его столом, однако ему нравилось выказывать в гостеприимстве такую же щедрость, как и во всех прочих областях. Многие петербургские вельможи имеют сходные обыкновения. Понятно, что те наслаждения, какие мы во Франции получаем от беседы, русским незнакомы: гостей в каждом доме собирается слишком много, чтобы среди них мог возникнуть разговор сколько- нибудь серьезный. В хорошем обществе манеры у всех безупречные, познаний же русским дворянам недостает; вдобавок люди, постоянно ощущающие влияние деспотического двора и правительства, не настолько доверяют друг другу, чтобы изведать прелести задушевной беседы.

Большинство русских вельмож изъясняются с таким изяществом и с такой учтивостью, что поначалу нетрудно обмануться относительно остроты ума и глубины познаний собеседника или собеседницы. Первые фразы обличают в нем или в ней особу великого ума, однако столь вдохновляющее начало чаще всего не имеет продолжения. Русские не умеют вкладывать в

разговор ни душу, ни ум; еще недавно они так боялись своих государей, что до сих пор не свыклись с мудрой свободой, которой обязаны характеру Александра.

Как я уже упоминала, русские почти никогда не говорят о том, что интересует их самих. Они любят литературу, и некоторые из здешних вельмож выказали на этом поприще немалые способности, однако русская публика недостаточно образованна для того, чтобы общее мнение на сей счет слагалось из суждений частных.[761] Русская нация от природы чересчур страстна, и это мешает ей любить мысли сколько-нибудь отвлеченные; русских забавляют только факты; до сих пор у них не находилось ни времени, ни вкуса для перехода от фактов к обобщениям. Вдобавок всякая яркая мысль более или менее опасна при дворе, где все наблюдают друг за другом, причем наблюдают чаще всего с завистью. По всем этим причинам светское общение в России радует не блеском ума или задушевностью разговора, но утонченностью нравов и учтивостью форм.

Жители Востока прерывают молчание ради того, чтобы произнести слова любезные, но обыкновенно так же мало говорящие о существе дела, как если бы никаких слов не было произнесено вовсе. Эта блестящая и усладительная атмосфера доставляет много приятности, однако в ней невозможно ни научиться чему бы то ни было, ни развить свои способности, так что люди, проводящие жизнь таким образом, не приобретают никакой склонности к занятию предметами серьезными. Парижское общество было устроено иначе; кто не знает людей необразованных, которые, вращаясь в обществе аристократов и литераторов и слушая их беседы, разом и острые и серьезные, научались в свете тому, чего не могли почерпнуть из книг?[762]

Наконец я увидела государя, самодержавного волею законов и нравов, умеренного волею собственного характера. Вначале меня представили императрице Елизавете — ангелу-хранителю России; одного ее взгляда достало бы, кажется, чтобы покарать самых страшных злодеев или вознаградить самых отважных героев. Манеры у нее весьма сдержанные, но речи очень живые: силу и жар ее чувствам и мнениям сообщают мысли, исполненные великодушия. Разговор с императрицей имел для меня очарование неизъяснимое, рождаемое не величием сана собеседницы, но гармонией ее души; давно мне не доводилось встречать такого полного согласия между могуществом и добродетелью.[763]

Я имела честь беседовать с императрицей, когда дверь отворилась и меня удостоил своим посещением император

Александр. Более всего поразило меня в его лице выражение доброты и достоинства, которые, казалось, слились воедино и сделались решительно неразлучны. Тронула меня и благородная простота, с какой он в первых же фразах, мне адресованных, благоволил коснуться вопросов первостепенных. Я всегда почитала признаком посредственности боязнь обсуждать самое существо дела, свойственную большинству европейских государей; они опасаются произносить слова, могущие прозвучать всерьез и возыметь результат. Император Александр, напротив, говорил со мной так, как говорили бы английские государственные мужи, рассчитывающие на собственные силы, а не на крепостные стены, отгораживающие от мира. Император Александр, которого Наполеон попытался изобразить в ложном свете, — человек умный и превосходно образованный; не знаю, найдется ли в его империи хоть один министр, так же хорошо сведущий во всем, что касается до принятия решений государственных и до их исполнения. Он не скрыл от меня, что сожалеет о том энтузиазме, какой выказал в сношениях с Наполеоном.[764] Один из предков Александра питал сходные чувства к Фридриху Второму.[765] Как бы, однако, ни заблуждались люди насчет прославленных полководцев, в основе подобных иллюзий всегда лежат чувства благородные.

Впрочем, император Александр описал с большой проницательностью действие, произведенное на него беседами с Бонапартом, в ходе которых тот говорил вещи самые противоположные, словно ожидал, что собеседник, не замечая, что одна противоречит другой, будет изумляться каждой из них по отдельности. Рассказал он мне и об уроках в духе Макиавелли, которые Наполеон счел приличным ему преподать: «Заметьте, говорил Наполеон, я стараюсь ссорить меж собой моих министров и генералов, чтобы они доносили мне друг на друга; я обращаюсь с приближенными так, чтобы они без устали друг другу завидовали: сегодня один мнит себя в особой милости, завтра — другой, но никто из них не может быть уверен в моем расположении вполне».[766] Теория разом и заурядная, и скверная! Неужели рано или поздно не явится среди нас некто, стоящий выше этого человека, и не докажет ее бесполезность? Ради торжества своего священного дела нравственность обязана одерживать на земле блистательные победы. Тот, кто сознает все величие этого дела, с радостью пожертвует ему любыми успехами, однако тем гордецам, которые принимают пороки души за глубину мысли, следует внушить, что если безнравственность выказывает ум от случая к случаю, добродетель исполнена гения всегда.

Убедившись в том, что император Александр в сношениях своих с Наполеоном был всегда чистосердечен, я в то же самое время уверилась, что он не последует примеру несчастных германских государей и не подпишет мира с врагом народов и королей. Человек твердый и прямодушный не может дважды принимать на веру одну и ту же ложь. Александр удостаивает своей доверенности и лишает ее только по очень глубоком размышлении. В начале царствования молодость и красота нового императора могли дать повод подозревать его в легкомыслии, однако в душе он серьезен, как бывают серьезны люди, познавшие несчастье. Александр, по его словам, сожалеет, что не обладает талантами полководца;[767] я отвечала на это признание, исполненное благородной скромности, что государей на свете меньше, чем полководцев, и что поддерживать своим примером дух нации значит одержать величайшую из побед — ту, какой до сих пор еще никто не одерживал.[768] Император Александр с жаром рассказывал мне о своей нации и о том, на что она способна. Упомянул он и о своем — известном всему свету — желании улучшить участь крестьян, до сих пор находящихся в крепостной зависимости.[769] «Ваше величество, — отвечала я, — в вашей империи конституцией служит ваш характер, а порукой в ее исполнении — ваша совесть».[770] — «Даже если это правда, — возразил он, — человек — не более чем счастливая случайность». Великолепные слова, каких, я полагаю, не произносил до сего дня ни один самодержец! Сколько добродетели потребно, чтобы осудить деспотизм, будучи деспотом; сколько добродетели необходимо, чтобы ни разу не употребить во зло абсолютную власть в стране, где сами подданные изумляются умеренности столь редкостной![771]

В Петербурге, например, вельможи исповедуют принципы куда менее либеральные, чем сам император.[772] Привыкнув самовластно распоряжаться судьбою своих крестьян, они ради поддержания системы деспотизма ждут от монарха правления столь же самовластительного. Третьего сословия в России пока не существует, однако постепенно оно начинает здесь образовываться; принадлежащими к нему могут считаться сыновья священников и купцов, а также редкие крестьяне, получившие от своих господ право заниматься изящными искусствами. Вдобавок русское дворянство не похоже на дворянство немецкое и французское. В России дворянином становится всякий, кто получил военное звание.[773] Становится здесь дворянином и всякий, кого этой милости удостоит император.[774] Разумеется, знатные роды, каковы Нарышкины, Долгорукие, Голицыны и проч., будут всегда занимать в империи

первые места, тем не менее аристократические преимущества в России принадлежат людям, в один прекрасный день возведенным в дворянское достоинство по воле монарха, а все буржуа мечтают, чтобы сыновья их сделались офицерами и тем самым вошли в сословие привилегированное. Посему всякая учеба прекращается в пятнадцать лет; юноши стремятся как можно скорее вступить в военную службу, всем же прочим пренебрегают. Теперь, разумеется, не время бранить порядок вещей, следствием которого сделались подвиги столь прекрасные, однако если в Европе вновь установится мир, можно будет заметить, не погрешив против истины, что в гражданском отношении внутреннее устройство России страдает покамест большими несовершенствами. Русские полны энергии и величия, однако зачастую как в управлении страной, так и в жизни частной им недостает порядка и образованности. Петр I, сделав Россию державой европейской, сообщил ей, без сомнения, большие преимущества, однако взамен окончательно покорил Россию деспотическому правлению, начала которого заложил еще его отец. Екатерина II, напротив, пользовалась предоставленной ей абсолютной властью с большой умеренностью. Способствуй политические обстоятельства установлению в Европе мира, иначе говоря, перестань земля страдать от зла, которое сеет на ней один-единственный человек, Александр мог бы заняться исключительно усовершенствованием собственной своей державы и сочинением таких законов, которые обеспечили бы России благополучие не только при жизни нынешнего ее правителя.

От императора я направилась в покои почтенной его матушки, которая посвятила всю свою жизнь супругу, детям и несчастным беднякам, ею покровительствуемым; даже клеветники ни разу не упрекнули вдовствующую императрицу в измене этим чувствованиям.[775] Ниже я расскажу о том, как управляет она империей милосердия, располагающейся в самом сердце империи ее всемогущего сына.[776] Императрица-мать живет в Таврическом дворце, выстроенном для князя Потемкина; путь в ее покои пролегает через обширную залу, своды которой поддерживает центральная колоннада. Половина залы занята зимним садом; цветы и деревья виднеются между колонн.[777] Всё в этом дворце колоссально. Князь, его построивший, питал замыслы странные и исполинские.[778] Он возводил города в Крыму исключительно ради того, чтобы императрица, проезжая мимо, бросила на них взгляд;[779] он приказывал взять город штурмом ради того, чтобы доставить удовольствие красавице княгине Долгорукой, чьего сердца эти старания не тронули.[780] Потемкина сделали тем, чем он стал, милости его государыни; впрочем, нечто своенравное,

буйное и насмешливое разом, отличало большинство великих людей России, таких как Меншиков, Суворов и сам Петр I, а еще прежде Иван Васильевич. В уме видели они не источник наслаждений, а орудие борьбы; путеводителем же служила им собственная фантазия. Великодушие и варварство, необузданные страсти и суеверные страхи — все смешивалось в характере одного человека. По сей день даже самые родовитые из русских не принадлежат цивилизации в полной мере; одни походят внешне на французов, другие — на немцев, третьи — на англичан, но в душе все они русские, и это-то составляет их силу и самобытность, ведь любовь к отечеству есть, после любви к Богу, прекраснейшее из всех чувств, какие способен испытывать человек. Что же касается отечества, то оно вызывает привязанность истинно глубокую, лишь будучи во всем отличным от стран сопредельных; народы, живущие по соседству и схожие меж собою многими чертами, могут объединиться и присвоить новосозданному союзу имя отечества, однако полюбить эту философическую химеру они не в силах.[781]

Целый день я провела в загородном доме обер-камергера г-на Нарышкина,[782] человека любезного, покладистого и учтивого, но не могущего прожить ни дня без празднества; имея дело с ним, можно составить исчерпывающее представление о живости вкусов, объясняющей недостатки и достоинства русских. Дом г-на Нарышкина всегда открыт; если в нем не гостят два десятка человек, философическое уединение становится хозяину в тягость. Предупредительный с иностранцами, ни минуты не сидящий на месте и тем не менее в высшей степени способный к размышлениям, без которых невозможно правильно держать себя при дворе, готовый скорее раздарить все свое состояние, нежели расплатиться с кредиторами, жадный до радостей воображения и умеющий черпать их лишь из вещей, но не из книг, скучающий повсюду, кроме придворных зал, остроумный тогда, когда ему это выгодно, любящий роскошь более из щедрости, нежели из тщеславия, он ищет повсюду некоего азиатского великолепия, говорящего более о его богатстве и положении в обществе, нежели о достоинствах, присущих ему лично. Поместье его приятно взору настолько, насколько может быть приятна природа, преображенная рукою человека; это истинный оазис посреди окружающих бесплодных болот. С террасы можно увидеть Финское море и дворец, построенный на его берегу Петром, однако путь к морю и дворцу пролегает через земли, вовсе не возделанные; кроме парка г-на Нарышкина, взору здесь отдохнуть негде.[783] Обед нам был подан в молдаванском доме, иначе говоря, в зале, выстроенной во вкусе молдавского народа;

задуман этот дом так, чтобы предохранять от лучей палящего солнца, — предосторожность в России, пожалуй, излишняя. Впрочем, русские имеют вид людей, оказавшихся на севере лишь волею случая, и мысль эта потрясает воображение приезжего до такой степени, что он не удивляется, обнаруживая южные привычки у северных жителей, которые, кажется, призваны однажды преобразить петербургский климат в тот, какой отличал их древнюю родину Стол у г-на Нарышкина, по восточному обыкновению, ломился от фруктов, с той лишь разницей, что фрукты эти прибыли сюда из самых разных стран; что же касается мяса и овощей, то многочисленные слуги подносили их каждому гостю особо.

Нам довелось услышать роговую музыку, которая звучит только в России и о которой рассказывали многие путешественники.[784] Каждый из двух десятков музыкантов играет одну-единственную ноту и носит имя этой ноты. Про них так и говорят; «Вот соль, ми или ре г-на Нарышкина». Каждый рог издает звук более низкий, чем предыдущий, поэтому некто имел все основания назвать этот оркестр *живым органом.* Издали роговая музыка производит прекраснейшее впечатление; точность и красота гармонии рождают мысли самые благородные; однако стоит подойти поближе к несчастным музыкантам, низведенным до роли органных труб и лишенным возможности вложить собственные чувства в тот единственный звук, который издает каждый из них, как удовольствие ослабевает: неприятно видеть превращение искусства в механику которой музыкантов учат силой, словно солдат на плацу

Затем жители Украины, одетые в красное платье и носящие на лицах отпечаток восточного происхождения, исполнили нам песни своей родины, порою веселые, порою печальные, порою и веселые и печальные разом, но неизменно приятные для слуха. Песни эти внезапно обрываются на середине музыкальной фразы, словно певцы отказываются продолжать мелодию, поначалу их пленившую, или же полагают, что очарование ее окажется куда сильнее, если певец замолкнет в минуту своего наивысшего торжества. Так султанша из «Тысячи и одной ночи»[785] неизменно прерывает свои рассказы на самом интересном месте.

Среди этих разнообразных услад г — н Нарышкин произнес тост за успех русской и английской армий; в ту же минуту он дал сигнал своей артиллерии, почти столь же громкозвучной, что и артиллерия его государя. Всех присутствующих охватило упоение надежды; у меня навернулись на глаза слезы. Вот до чего довел меня африканский тиран: я ждала поражения французов! «Пожелаем же, — сказала я тогда, — пожелаем же, чтобы

корсиканцы были разбиты, ибо если они проиграют, верх возьмут настоящие французы!» И англичане, и русские, из них первым г-н Нарышкин, разделили мое чувство, так что имя Франции, прежде подобное имени Армиды,[786] вновь было благосклонно выслушано рыцарями Востока и воинами моря, которым предстояло сразиться с этой самой Францией, а вернее сказать, снять с нее заклятье ада, сковавшее ее по рукам и ногам.

Русские вельможи воспитывают в своих домах плосколицых калмыков, словно желая иметь перед глазами напоминание о тех татарах, над которыми славяне одержали победу По дворцу Нарышкина бегали два или три таких диких лзычиика-калмыка.[787] В детстве они очень милы, но к двадцати годам полностью утрачивают очарование молодости; эти рабы бесконечно упрямы и непокорностью своею забавляют хозяев, которые смотрят на них, точно на белку, пытающуюся выбраться из клетки. Мне не слишком понравилось подобное унижение человеческой природы; явление калмыков среди блистательной роскоши было, казалось, призвано напомнить о том, чем может сделаться человеческое существо, если ни религия, ни законы не сообщают ему достоинства; зрелище это умаляло гордость, которую обычно внушает нам великолепная пышность.

После обеда в длинных колясках, запряженных белыми лошадьми, мы отправились на прогулку по парку Дело происходило в конце августа; небо, однако, было бледным, а газоны, цвет которых казался почти неестественным, зеленели лишь благодаря неустанным усилиям садовников. Даже цветы казались аристократической прихотью: слишком дорогой ценой доставались они их владельцам. В лесах не слышалось пения птиц: они не доверяли столь быстротечному лету; на лугах не паслись стада: кто бы позволил им топтать растения, выращенные с таким трудом! Вода в парк поступала лишь с помощью специальных машин; одним словом, природа здесь повсюду имела вид декорации, которая исчезнет, лишь только праздник кончится и зрители разойдутся по домам.[788] Коляска наша остановилась подле садовой постройки, изображающей татарский лагерь; тут вновь заиграла музыка, и звуки рогов и кимвалов погрузили душу в сладостное забытье. Дабы забыться окончательно, русские, зимой разъезжающие по снегу в санях и вознаграждающие себя быстрой ездой за тяготы этого времени года, доставляют себе схожее удовольствие летом: усевшись на деревянную доску, они в мгновение ока скатываются с высокой горки.[789] Забава эта пленяла женщин в той же степени, что и мужчин, и позволяла первым хотя бы отчасти разделить со вторыми радости войны, рождаемые острым ощущением

опасности и стремительностью всех движений. В подобных занятиях проводили мы день за днем, ибо то, что я принимала за праздничные увеселения, повторяется у русских едва ли не ежедневно.

За немногочисленными исключениями, во всех домах петербургской знати заведен один и тот же порядок; разумеется, ни о каких серьезных беседах здесь не может быть и речи;[790] в таком обществе образованность не нужна решительно никому, однако если уж люди выказывают столь сильное желание собрать у себя великое множество гостей, единственным способом предохранить их от неизбежной скуки остается устройство празднества.

Да есть ли среди всех этих шумных забав место для любви? — спросят итальянки, убежденные, что бывать в свете следует лишь ради того, чтобы увидеться с тем, кого хочешь покорить. Я провела в Петербурге чересчур мало времени, чтобы составить себе верное представление о делах семейственных. Однако мне показалось, что, с одной стороны, нравы русских более добродетельны, чем о том говорят, с другой же стороны, чувство любви им известно мало.[791]

В России на каждом шагу дают себя знать азиатские обыкновения, вследствие которых женщины не имеют никакого влияния в домашнем быту; всем ведает муж, жене же только и остается, что наряжаться в подаренные супругом платья и принимать приглашенных им гостей.[792] Нынче в Петербурге уважают внешние приличия куда больше, нежели во времена тех государей и государынь, которые развращали общество собственным своим примером.[793] Обе нынешние императрицы подают пример совсем другого рода и внушают подданным любовь к добродетели.

Однако в этом отношении, как и во многих других, принципы нравственности запечатлены в умах русских не вполне твердо. Влияние верховного правителя всегда было в России так велико, что при переходе от одного царствования к другому убеждения всех подданных переменялись совершенно. И мужчины, и женщины в этой стране предаются любви с той горячностью, какая вообще им свойственна, однако по непостоянству ума своего легко отказываются от недавних предпочтений. Некий беспорядок воображения не позволяет им ни в одной сфере наслаждаться верностью предмету, первоначально избранному. Образованность ума, изощряющая чувства посредством поэзии и изящных искусств, среди русских большая редкость, а потому натуры эти, своенравные и пылкие, охотнее видят в любви повод для пышного празднества и исступленного восторга, нежели

привязанность глубокую и обдуманную.

Итак, светская жизнь в России есть нескончаемый вихрь людей и забав; быть может, непривычка русских к обсуждению в обществе предметов сколько- нибудь значительных есть не что иное, как следствие великой осторожности, к которой приучает людей правление деспотическое. Именно этой сдержанностью, которая при иных царствованиях была им более чем необходима, и объясняется, по-видимому, нежелание говорить правду, им приписываемое. Раболепство во всякой стране лишает человека искренности, однако там, где государь имеет право причинить подданному самое страшное зло, выслать его, заключить в темницу, отправить в Сибирь и проч., власть его над большинством людей чересчур велика. Находились люди довольно гордые, чтобы пренебречь царскими милостями, однако не бояться гонений способны одни лишь герои, а требовать героизма от всех невозможно.

Впрочем, все эти наблюдения совершенно неприменимы, как известно, к нынешнему царствованию, ибо император, правящий Россией сегодня, безупречно справедлив в деятельности государственной и в высшей степени великодушен в жизни частной. Однако пороки подданных, рожденные рабством, не исчезают очень долго, даже если искоренить их стремится сам государь. Впрочем, в продолжение войны с Францией русские, даже принадлежащие к числу придворных, выказали величайшую отвагу. В ту пору, когда я находилась в Петербурге, в свете почти вовсе не было заметно юношей; люди женатые, единственные сыновья, владельцы огромных состояний — все по собственной охоте вступили в армию; узнав же, что имения их и дома разграблены врагом, мечтали только о мести и не допускали даже мысли о капитуляции. Такие достоинства заставляют забыть обо всех изъянах, злоупотреблениях и беспорядках, какие порождаются правлением во многом еще несовершенным, недавним приобщением к цивилизации и царящими в стране деспотическими установлениями.

Мы побывали в кабинете естественной истории, особенно замечательном благодаря выставленным там товарам из Сибири.[794] Русские показали себя такими же жадными до сибирских мехов, как испанцы — до мексиканского золота. Некогда в России разменной монетой служили куньи или беличьи шкурки:[795] ведь зимние холода грозили всем без исключения. Главное сокровище петербургского музея — скелет мамонта, исполинского животного, останки которого были найдены в Сибири. Если верить наблюдениям остроумнейшего из естествоиспытателей, г-на Кювье, история нашего мира

насчитывает гораздо больше лет, чем мы думаем:[796] бесконечное во всех сферах внушает страх. Людей и даже животных, населяющих ныне эту оконечность обитаемого мира, кажется, вечно пробирает холод, истребляющий все живое на расстоянии нескольких лье от их родных краев; животные здесь белы, как снег, а земля теряется во льдах и туманах, которыми кончается мир сотворенный.

Меня поразил вид жителей Камчатки, чье изображение в натуральную величину выставлено в музее. В тех краях живут импровизаторы, именуемые шаманами; поверх одеяния из древесной коры они носят нечто вроде стальной сети, к которой привязаны многочисленные кусочки железа, производящие при каждом движении импровизатора очень громкий шум; народ уважает шаманов, чьи порывы вдохновения весьма схожи с нервными припадками, не столько за поэтические таланты, сколько за колдовские способности.[797] В этом печальном краю воображение возбуждается лишь посредством страха; сама земля, кажется, отталкивает человека, ибо внушает ему ужас.

Затем я осмотрела крепость и церковь, где похоронены все российские правители после Петра Великого. Над их могилами нет никаких памятников; гробы стоят в храме точно так, как стояли в день похорон, и кажется, будто нас отделяет от покойников лишь тонкая деревянная перегородка.[798] Павел I, вступив на престол, короновал останки своего отца, Петра III, который, не удостоившись этой чести при жизни, не имел права на место в крепости. По приказу Павла погребальную церемонию устроили заново для его отца и матери, Екатерины Второй. Останки обоих были привезены в церковь, и четыре камергера стояли подле них в почетном карауле, как если бы и государь, и государыня испустили дух накануне; два гроба соседствуют и поныне, так что в царстве смерти покойники обречены жить в мире.[799]

Не один из преемников Петра I, унаследовавших от него деспотическую власть, лишился ее вследствие кровавого мятежа. Те самые царедворцы, которые не смеют сказать своим повелителям одно-единственное слово правды, умеют плести против них заговоры и мастерски владеют искусством притворства: государя, которого хотят убить, необходимо сперва уверить в глубочайшем почтении. Впрочем, что сталось бы со страною, управляемой деспотически, не страшись тиран, презирающий любые законы, удара кинжала? Ужасная мысль: ее одной достанет, чтобы изъяснить сущность порядка, при котором равновесие политических сил обеспечивается преступлением.[800]

Я отдала дань уважения памяти Екатерины Второй, побывав в

ее загородной резиденции Царское Село.[801] Дворец и сад поражают изысканностью и роскошью, однако, хотя дело происходило в самых первых числах сентября, было уже весьма прохладно, и северный ветер составлял разительный контраст южным цветам, им колеблемым. Цветы эти можно сравнить с русской нацией, также переселенной в край, чуждый ее нравам. Все, что известно о Екатерине Второй как правительнице, вызывает восхищение;[802] не знаю, кому более обязаны русские сознанием собственной непобедимости, тем сознанием, что лежит в основе их триумфов, — Екатерине или Петру I. Очарование женщины умеряло в Екатерине Второй твердость властительницы и придавало подвигам, совершаемым в ее честь, оттенок рыцарской учтивости. В деяниях государственных императрица эта выказывала безупречный здравый смысл; будь ее высокий ум более блестящим, он бы меньше походил на гений и внушал бы меньшее почтение русским, которые не доверяют собственному воображению и рады покорить его воле мудрого владыки. Неподалеку от Царского Села расположен дворец Павла I — очаровательный уголок, свидетельствующий о талантах и превосходном вкусе вдовствующей императрицы и ее дочерей. Вид этого дворца обличает восхитительное терпение матери и дочерей, которых ничто не могло лишить добродетелей семейственных.[803]

Созерцая всякий день новые предметы, я получала живейшее наслаждение и, к удивлению моему, даже забыла о войне, от которой зависела судьба Европы. Так радостно мне было слышать из всех уст выражение тех чувств, какие я столь долгое время таила в своей душе, что мне показалось, будто бояться уже нечего: ведь если подобные истины известны всем, они делаются всемогущи. Между тем, хотя публике о том не сообщали, дела шли все хуже и хуже. Человек острого ума сказал, что в Петербурге всё окутано тайной, хотя ничто не остается в секрете; в самом деле, рано или поздно истина, конечно, становится известна всем, однако привычка к молчанию так сильна в русских царедворцах, что они скрывают сегодня то, что должно стать явным завтра, а если о чем-нибудь и проговариваются, то лишь невольно.[804] Что касается меня, то я узнала о взятии Смоленска и об опасности, нависшей над Москвой, от одного иностранца.[805] Меня охватило отчаяние. Я решила, что прискорбная история Австрии и Пруссии, которые после захвата их столиц пошли на мир с Францией, повторится в России. Хотя все знали, к чему приводит такая политика, трюк этот мог удаться Наполеону и в третий раз. Я не понимала настроения русского общества; непостоянство внешних проявлений, отличающее русских,

мешало мне разгадать их истинные чувства. Уныние сковало все умы; в ту пору я еще не знала, что у русских, людей неистовых, уныние очень скоро сменяется страшным приливом сил. Сходным образом простолюдины предаются невообразимой лени до той поры, пока в душе их не пробуждается жажда деятельности; с этой минуты они не желают знать никаких преград, не боятся никаких опасностей и, кажется, превозмогают сопротивление не только людей, но и стихий.

Я знала, что люди, служащие по ведомству внутренних дел, занимающиеся делами военными и судебными, нередко оказываются в высшей степени продажными и что из-за растрат, совершаемых мелкими чиновниками, невозможно составить ясного представления ни о численности войск, ни о мерах, принятых для закупки провианта, ибо воровство и ложь нераздельны, а в стране, для которой цивилизация еще внове, третий, промежуточный класс не имеет ни простоты крестьян, ни величия бояр; класс этот, появившийся в России совсем недавно, перестал чтить религию, но еще не научился боготворить честь, так что общественное мнение повлиять на него бессильно. Вдобавок генералов мучила зависть. Деспотический правитель даже помимо воли, по одной своей природе, не может не насаждать зависти в сердцах своих приближенных: там, где воля одного человека может полностью переменить судьбу каждого из тех, кто ему подчинен, страх и надежда имеют над людьми слишком большую власть, чтобы не волновать их постоянно; в нынешних же обстоятельствах зависть подогревалась другим чувством — ненавистью к иностранцам. Человек, командовавший русской армией, г-н Барклай де Толли, хотя и родился на территории империи, не принадлежал вполне к славянскому племени, и этого достало, чтобы отказать ему в праве вести русских к победе; вдобавок он посвятил свои выдающиеся способности устройству лагерей, ведению маневров и оборудованию позиций, меж тем как русские знают единственный способ воевать — наступление.[806] Приказать им отступить, даже из расчета мудрого и хорошо обдуманного, значит охладить тот пыл, какой и составляет всю их силу.

Итак, начало кампании сопровождалось предзнаменованиями самыми безрадостными, молчание же, хранимое на сей счет в обществе, страшило еще сильнее, Англичане после каждого сражения помещают в своих газетах самые точные известия о числе раненых, попавших в плен и убитых — благородное чистосердечие правительства, дающего столь откровенный отчет не только монарху, но и народу, а стало быть, признающее за тем и другим равные права на осведомленность о состоянии дел

общественных.[807] С великой грустью прогуливалась я по Петербургу; меня удручала мысль о том, что этот прекрасный город может стать добычей завоевателя. Возвращаясь вечером с островов и глядя на серебристый шпиль крепости,[808] подобный огненному лучу в небесах, или любуясь отражением мраморных набережных и прекрасных дворцов в водах Невы, я воображала все эти сокровища осквернеными надменностью одного человека, который получил бы возможность возгласить, как Сатана на вершине горы: «Власть над царствами Азии предана мне».[809] Все, что было в Петербурге хорошего и красивого, казалось мне обреченным на скорую гибель, и я не могла отделаться от этого горестного предчувствия.

Пока я осматривала воспитательные заведения, учрежденные императрицей, тревога моя лишь усилилась, ибо стоит институтам, созданным ради улучшения человеческого рода, попасть под пяту этого человека, как все в них будет навек отравлено. По полторы сотни девиц из семей дворянских либо мещанских воспитываются в двух заведениях под надзором императрицы с таким тщанием, какого не встретишь в ином богатом семействе.[810] Во всем заметны порядок и утонченность; воспитанницам вначале внушают чистейшие религиозные и нравственные чувства, а после преподают изящные искусства, призванные изощрить в их душах чувство прекрасного. Русские женщины от природы так грациозны, что среди приветствовавших нас девушек я не увидела ни одной, которая не вложила бы в свой реверанс всей учтивости и скромности, какую это простое движение способно выразить. Юные эти особы показали нам разнообразные свои таланты, причем одна из них, знающая наизусть отрывки из лучших французских авторов, продекламировала мне красноречивейшую страницу из «Курса религиозной морали», написанного моим отцом.[811] Столь трогательный знак внимания исходил, возможно, от самой императрицы; как бы там ни было, я испытала сильнейшее волнение, слушая речи, которые уже много лет находили прибежище только в моем сердце.

В любой стране, располагающейся за пределами империи Бонапарта, воздают должное тем, кого императорская клевета преследует даже в могиле; для них наступает время посмертной славы. Перед тем как сесть за стол, юные воспитанницы Института святой Екатерины запели псалмы; хор голосов столь чистых и столь нежных внушил мне умиление, смешанное с горечью. Что сделает с этими мирными заведениями война? Где укроются эти голубки от полчищ свирепого завоевателя-святотатца?

После трапезы воспитанницы собрались в великолепной зале, и начались танцы. Девушки не отличались особенной красотой, но грациозность их никого не могла оставить равнодушным; нравы этих дочерей Востока отмечены той благопристойностью, какую сообщило женскому полу христианство.[812] Вначале они исполнили старинный танец под музыку песни «Да здравствует Генрих Четвертый, да здравствует храбрый король!». Как много лет пролегло между временами, о которых повествует эта песня, и нынешним днем! Под конец две круглолицые девочки лет десяти порадовали нас русской пляской; танец этот порой носит на себе отпечаток любовного сладострастия, однако невинные дети выразили в нем одну лишь национальную самобытность. Невозможно даже вообразить, как трогают душу эти любезные таланты, взращенные чуткой и великодушной рукою женщины и государыни. В ведении императрицы находятся также институт для глухонемых и другой — для слепых. Со своей стороны, император уделяет большое внимание школе для юношей, которой управляет человек выдающегося ума, генерал Клингер.[813]

Заведения столь полезные достойны всяческих похвал; единственный их недостаток — это, пожалуй, излишняя пышность. Во всяком случае, следует пожелать, чтобы в разных концах империи были основаны школы пусть не столь блистательные, но, по крайней мере, такие, где простолюдины могли бы получить хотя бы начатки знаний. В России все началось с роскоши, так что крыша, можно сказать, построилась раньше фундамента.[814]

В России всего два больших города: Петербург и Москва. Прочие почти не заслуживают упоминания; вдобавок между ними пролегают огромные пространства. Даже поместья вельмож располагаются так далеко одно от другого, что помещики видятся крайне редко. Одним словом, жители этой империи рассеяны по ее поверхности, и познания одних почти никогда не пригождаются другим. Крестьяне считают только с помощью деревянных шариков,[815] да и почтовые чиновники также нередко следуют этой методе. Православные попы куда менее образованны, чем католические кюре, не говоря уже о протестантских пасторах, а потому русские священники имеют меньше возможностей для просвещения своего народа, нежели священнослужители других стран Европы. Русских связуют узы религии и патриотизма, однако у них нет источника, откуда свет знаний распространялся бы во все уголки империи; ни одна из двух столиц не способна пока сообщить провинциям те сокровища литературы и искусства, какими богата она сама. Наслаждайся Россия миром, под благодетельным управлением

Александра в жизни ее наступили бы всевозможные перемены к лучшему. Впрочем, кто знает, не принадлежат ли достоинства, вызываемые к жизни нынешней войной, к числу тех, что призваны возрождать нации?

До сих пор люди гениальные встречались в России только среди военных; во всех прочих искусствах русские пока не более чем подражатели; впрочем, страна их узнала книгопечатание всего сто двадцать лет назад.[816] Все прочие народы Европы приобщились к цивилизации приблизительно в одно и то же время и смогли соединить природный гений с познаниями благоприобретенными: у русских же для соединения этого время еще не пришло; подобно тому как порой две реки текут рядом, не смешивая свои воды, природа и цивилизация у русских существуют раздельно, отчего один и тот же человек предстает перед вами, смотря по обстоятельствам, то европейцем, действующим, кажется, лишь в согласии с законами общества, то славянином, слушающимся лишь голоса самых неистовых страстей. Гениальные художники, а главное, литераторы появятся в этой стране, когда русские отыщут способ высказывать истинную свою природу в словах так же, как выказывают ее в поступках.

Я побывала на представлении русской трагедии «Димитрий Донской», посвященной победе русских над татарами, которых они принудили отступить за Казань. Князья смоленский и тверской выходили на сцену в старинном боярском платье и вели речь о татарском войске, которое именовали *Золотой Ордой.* Название это вполне подошло бы и корсиканской армии, и я видела, как трепетала публика на представлении этой пьесы, почти во всем верной правилам французского драматического искусства; ритм стихов, декламация, деление на сцены — все исполнено совершенно по-французски; лишь одно положение в пьесе вытекает из русских нравов — это беспредельный ужас, который внушает девушке мысль об отцовском проклятии.[817] Русский народ чтит власть отца почти так же глубоко, как китайский, а истоки национального гения следует искать именно в народе. Хорошее общество сходно во всех странах; в этом царстве изящества предметов для трагедии не сыщешь.[818] Среди всех сюжетов, какими богата история России, один поразил меня особенно сильно. Иван Грозный, будучи уже в летах, осаждал Новгород. Бояре, видя, что он слабеет, спросили, не угодно ли ему поручить командование штурмом сыну. Предложение это привело царя в ярость, которую ничто не могло умерить. Сын бросился к ногам отца; тот оттолкнул его с такой силой, что два дня спустя несчастный испустил дух. Отец, впав в отчаяние, не

помышлял более ни о войне, ни о власти и лишь на несколько месяцев пережил сына. Бунт старого деспота против закона природы — эпизод в высшей степени значительный и торжественный; видя, как в свирепой душе тирана злоба уступает место нежности, мы понимаем, каким вышел человек из рук создателя — порою движимым любовью к самому себе, порою одушевляемым привязанностью к ближнему.[819]

Русский закон карал с одинаковой строгостью и убийцу, и того, кто всего лишь изувечил ближнему руку.[820] Ведь человек в России ценится преимущественно по его воинским способностям; все прочие виды деятельности связаны с нравами и установлениями, в России ныне еще не развившимися. Впрочем, женщины в Петербурге проникнуты, кажется, тем патриотическим чувством, которое сообщает государству нравственную мощь. Княгиня Долгорукая, баронесса Строганова[821] и многие другие, также весьма родовитые дамы[822] уже получили известия о том, что большая часть их поместий в Смоленской губернии разорена, однако они, казалось, вспоминали о своих утратах лишь для того, чтобы побудить своих соотечественниц также пожертвовать всем своим состоянием. Княгиня Долгорукая рассказала мне о длиннобородом старце, который, глядя на Смоленск с близлежащего холма, со слезами говорил внуку, сидевшему у него на коленях: «Прежде, дитя мое, русские одерживали победы на другом конце Европы; теперь чужестранцы теснят их на родной земле». Старец горевал недаром; вскоре мы увидим, как отомстили русские за его слезы.

Отъезд в Швецию

В Петербурге распространилась весть, что император Александр отправился в Або для свидания с генералом Бернадотом, шведским наследным принцем. С этой минуты сомнений относительно того, на чьей стороне этот принц собирается выступить в нынешней войне, оставаться не могло; между тем от его решения зависела участь России, а следовательно, и всей Европы. Впоследствии мы увидим, какое влияние оказало оно на ход событий. Во время встречи шведского принца и российского императора до Або дошло известие о взятии Смоленска; именно в этот день Александр дал самому себе и своему шведскому союзнику обещание ни при каких обстоятельствах не подписывать мир с Наполеоном. «Если неприятель захватит Петербург, — сказал он, — я отступлю в Сибирь. Там я воскрешу древние русские обычаи, и, уподобившись нашим длиннобородым предкам, мы отобьем Россию у врага». — «Это решение принесет свободу Европе!» — вскричал шведский принц. Его предсказание исполнилось.[823]

Я вторично увидела императора Александра после его возвращения из Або, и свидание, которым он меня удостоил, вселило в меня такую убежденность в твердости его воли, что, несмотря на взятие Москвы и все слухи, какие оно породило, я ни единого мгновения не верила в то, что он уступит неприятелю. Он благоволил сообщить мне, что после взятия Смоленска генерал Бертье написал одному из русских генералов письмо касательно некоторых военных дел и закончил его извещением о том, что император Наполеон по-прежнему испытывает самые дружеские чувства к императору Александру, — пошлое глумление, которое российский император оценил по заслугам.[824] Наполеон преподал Александру уроки военные и политические, движимый в первом случае шарлатанством порока, а во втором — желанием хвастать презрительной беспечностью. Он ошибся насчет характера Александра; благородство натуры российского императора он принял за плутовство и не понял, что если этот государь сверх меры восхищался им, Наполеоном, то лишь потому, что почитал его сторонником принципов Французской революции, согласных с собственными его убеждениями; что же касается до порабощения Европы в союзе с Наполеоном, об этом Александр не помышлял никогда. Наполеон счел, что сумеет в этом случае, как и во многих других, ввести собеседника в заблуждение, расписав ему выгоды, какие его якобы ожидают, однако он обманулся в своих намерениях, ибо в

лице Александра встретил человека совестливого; между тем совесть — добродетель, силы которой Наполеон не знает и потому никогда не принимает ее в расчет.

Хотя г-н Барклай де Толли пользовался немалым уважением, неудачи в начале кампании отвратили от него общественное мнение, которое прочило ему на смену генерала весьма славного, князя Кутузова. Сей последний был назначен главнокомандующим за две недели до взятия Москвы и добрался до армии лишь за шесть дней до начала великого сражения, разыгравшегося близ этого города, — сражения, которое получило название Бородинского.[825] Я видела князя накануне его отъезда из Петербурга. Манеры этого старца исполнены изящества, а лицо — живости, несмотря на то что за полвека, проведенных в сражениях, он не раз страдал от самых чудовищных ран и даже потерял один глаз.[826] Признаюсь, глядя на него, я опасалась, что ему недостанет сил бороться с наступавшими на Россию молодыми и жестокими воинами, пришлецами из всех концов Европы; однако русские, будучи царедворцами в Петербурге, в армии вновь обращаются в татар; пример Суворова доказывает, что ни возраст, ни почести не способны истощить их энергию, как физическую, так и моральную. Прощаясь с прославленным маршалом Кутузовым, я испытала сильное волнение; я не знала, кого я обнимаю: победителя или мученика, но я видела, что он сознает величие дела, на него возложенного.[827] Ему предстояло защитить или, вернее сказать, восстановить все добродетели, какими человек обязан христианской религии, все достоинство, каким наделяет его Господь, всю независимость, какую дарует ему природа; предстояло вырвать все эти сокровища из когтей одного-единственного человека, ибо французы ничуть не больше виноваты в преступлениях его армии, чем немцы или итальянцы, воевавшие на его стороне. Колдовская сила адской злобы покорила землю его власти. Провидению угодно было показать людям, во что превращаются все они, и угнетатели, и угнетенные, презрев религию.

Перед отъездом в армию генерал Кутузов отслужил молебен в Казанской церкви; народ, следовавший за ним по пятам, призывал его спасти Россию. Какое испытание для существа смертного! Преданность отечеству стоила Кутузову жизни. Но ему сладостно было принести ее в жертву: слишком велик был энтузиазм, им владевший. Есть мгновения, когда ради утоления потребностей души человеку надобно умереть.[828]

Убежденная в благородстве мнений и великодушии поступков шведского наследного принца, я более чем когда-либо

утвердилась в намерении возвратить моих сыновей на родину их отца[829] и устроить их вступление в шведскую службу; в конце сентября[830] я покинула Петербург и через Финляндию направилась в Швецию. Проститься со мной пришли мои новые друзья, чьей привязанностью была я обязана сродству наших чувств: сэр Роберт Вильсон, ищущий повсюду случая сразиться с неприятелем и согреть пылким своим умом души окружающих;[831] г-н фон Штейн, человек античных добродетелей, который не смог бы долее жить на свете, не обрети Германия свободу;[832] испанский посланник дон Бермуде, каждодневно отстаивающий интересы своей нации;[833] английский посланник — благородный лорд Тирконнел; остроумный адмирал Бентинк;[834] Теттенборн, адъютант князя Шварценберга, который, вовремя его покинув, имел счастье войти в Гамбург;[835] Алексис де Ноай, единственный француз, у которого достало мужества покинуть отечество, покорившееся тирану, единственный, кто, подобно мне, мог постоять в России за честь Франции;[836] полковник Дёрнберг — отважный гессенец, которого ничто не могло отвратить от принятого решения;[837] Арндт, немецкий писатель, неизменно выступавший за правое дело,[838] а также несколько русских, позднее прославивших свои имена великими подвигами. Никогда еще судьба мира не подвергалась стольким опасностям; никто не смел в этом признаться, но всякий об этом знал. Мне, единственной женщине в кругу этих мужчин, ничто не угрожало, однако я не забыла страданий, выпавших на мою долю прежде. Прощаясь с этими достойными защитниками рода человеческого, я не знала, с кем из них вижусь в последний раз; двоих уже нет на свете.[839]

Когда друг на друга идут войной страсти людские, когда в яростную схватку вступают нации, люди стенают, но сознают, что таков удел рода человеческого. Однако когда один мелкий человечишко с грубой душой и скверным характером, похожий на тех идолов, которым лопари поклоняются из страха, затопляет землю потоками горя, люди испытывают некий суеверный ужас, заставляющий их видеть во всяком порядочном человеке жертву тирана.

При въезде в Финляндию сразу ощущаешь, что перед тобою иной край и иное, неславянское племя. Говорят, что финны пришли в эти места из северной Азии и что язык их не имеет ничего общего со шведским языком, состоящим по большей части из слов английских и немецких.[840] Впрочем, лица у финнов по преимуществу совершенно такие же, как у германцев; их светлые волосы и белая кожа ничем не напоминают живые лица русских,[841] зато и нрав у них более спокойный. Простолюдины

здесь отличаются обдуманной честностью, которой обязаны они проповедям протестантских пасторов и чистоте здешних нравов. По воскресеньям девушки возвращаются из церкви верхом, юноши скачут следом. Финские пасторы весьма радушны и считают своим долгом давать приют путешественникам; финны принимают гостей с чистосердечием и любезностью, каких не встретишь более нигде в мире. В Финляндии нет ни замков, ни вельмож, так что пасторы, как правило, пользуются среди соотечественников наибольшим уважением.[842] В некоторых финских песнях девушки обещают своим возлюбленным отвергнуть ради них руку пастора и право жить в его доме.[843] Это напоминает юного пастуха, сказавшего: «Будь я королем, я бы пас овец на коне». Даже в воображении человек не выходит за пределы мира, ему знакомого.

Финская природа совсем не похожа на русскую. Вместо болот и равнин, окружающих Петербург, здесь взор встречает скалы, высокие, как горы, и леса; впрочем, по прошествии времени замечаешь, что горы эти однообразны, а леса составлены из одних и тех же деревьев: елей, сосен и берез. Огромные гранитные глыбы, возвышающиеся в полях и на краю дороги, сообщают финской природе большую мощь, однако подле них не видно живых существ, да и растительность по мере приближения к полюсу становится все более скудной. Мы пересекли лес, наполовину истребленный пожаром; из-за северных ветров, раздувающих пламя, пожары в Финляндии, и в городах, и в деревнях, случаются особенно часто. Что ни говори, жизнь человека среди льдов тяжела.

Городов в Финляндии немного, а те, что есть, весьма малолюдны. Здесь нет центра, нет соревнования;[844] жителям шведской или русской северной провинции, где природа всякий год погружается в сон на целых восемь месяцев, не о чем говорить и почти нечем заняться. На севере соотношение между числом жителей и протяженностью земель иное, чем на юге; в северном краю люди встречаются так редко, что напоминают путников, во время великого переселения народов отставших из-за усталости или лени от своих племен: неудивительно, что общественное мнение здесь куда менее влиятельно.

Император Александр присоединил Финляндию к своей империи после заключения Тильзитского мира; расстроенные умственные способности помешали тогдашнему королю Швеции, Густаву IV, отстоять свои владения.[845] Нравственные достоинства этого монарха достойны всяческих похвал, однако он сам с детских лет признавал, что не в силах управлять державой. Шведы сражались в Финляндии с большой отвагой, однако нация

немногочисленная не может разбить неприятеля, если ею не предводительствует венчанный полководец. Император Александр завоевал Финляндию силой, однако следует отдать ему должное и признать, что, управляя этой новой провинцией, он уважает прежние ее свободы.[846] Он оставил финнам все их привилегии в том, что касается налогов и рекрутского набора; он оказал щедрую помощь сожженным городам,[847] так что милости его отчасти возместили то, чем финны владели по праву, если, конечно, свободные люди могут добровольно согласиться на подобный обмен. Великая мысль века — мысль о естественных границах — требовала, чтобы Финляндия принадлежала России, а Норвегия — Швеции; мы не погрешим против истины, если скажем, что нарушение этих естественных границ приводило повсюду к нескончаемым войнам.[848]

Я взошла на корабль в Або, столице Финляндии.[849] Здесь имеется университет и жители не чужды занятиям умственным; однако зимой медведи и волки подходят так близко к городу, что все мысли тамошних жителей обращены к устройству сносного материального существования; эти заботы отнимают у обитателей Севера большую часть того времени, какое жители Юга посвящают изящным искусствам и ученым трудам.[850] Конечно, можно сказать, что сами преграды, какие воздвигает природа на пути людей, сообщают характерам более твердости и охраняют их ум от беспорядков, рождаемых праздностью. Однако что до меня, я всякую минуту сожалела о южном солнце, чьи лучи так долго согревали мою душу.[851]

Едва ли не во всех северных мифах действуют привидения и призраки; выходцы с того света посещают там людей не только ночью, но и днем. Нечто бледное и туманное, рассеянное в атмосфере, кажется, призывает мертвецов возвратиться на землю и вдохнуть воздух, исполненный могильной прохлады.[852] В этих краях противоположности встречаются куда чаще степеней промежуточных: люди здесь либо предаются всецело борьбе с природой, либо всецело посвящают себя занятиям умственным, от которых легко переходят к мистике, ибо в этом случае нимало не зависят от внешнего мира и извлекают все идеи из собственной своей души.[853]

Подвергаясь жестоким гонениям со стороны императора, я совершенно утратила веру в судьбу; впрочем, я еще сильнее уверовала в благодетельную мощь Провидения, но счастья на этом свете я от него не жду. Поэтому всякий поступок внушает мне страх, а между тем в изгнании человеку постоянно приходится принимать решения. Я боялась морского путешествия, меж тем все кругом внушали мне: «Многие люди до

вас проделывали этот путь, и никому это не принесло вреда». Подобные речи неизменно служат для утешения путников, однако воображение не желает принимать их на веру, и бездна, которую отделяет от вас преграда столь хрупкая, вселяет в душу предчувствие всевозможных опасностей. Ужас охватил меня, лишь только я ступила в лодку, которая должна была доставить нас на борт пакетбота; г-н Шлегель заметил мое состояние и показал мне высящуюся в окрестностях Або тюрьму, где один из самых несчастных королей Швеции, Эрик XIV, томился прежде, чем обрел смерть в другой тюрьме, расположенной близ Грипсхольма.[854] «Находись вы в этой крепости, — сказал он мне, — как страстно мечтали бы вы о том плавании, которое теперь так страшит вас!» Это совершенно справедливое замечание придало иной ход моим мыслям, и первые дни на борту корабля я провела не без приятности. Мы плыли мимо островов, и хотя возле берега корабль подстерегает гораздо больше опасностей, чем в открытом море, здесь не испытываешь такого страха, какой вселяют в душу волны, простирающиеся до самого горизонта. Чем дольше длилось наше плавание, тем сильнее стремилась я разглядеть вдали полоску земли: бесконечность мила нашей душе, но страшит наш взор. Мы миновали остров Аланд, где полномочные послы Петра I и Карла XII вели переговоры о мире; на этой ледяной земле, которую смогла на мгновение согреть лишь кровь их подданных, оба монарха попытались положить предел своему честолюбию.[855] Мы надеялись назавтра прибыть в Стокгольм, однако из-за встречного ветра принуждены были бросить якорь около скалистого острова, где единственную растительность составляли редкие низкорослые деревья, едва заметные среди камней.[856] Тем не менее мы поспешили сойти на берег и прогуляться по этому острову, чтобы ощутить под ногами твердую землю.

Я всегда легко становилась жертвой скуки; я совсем не умею занять себя чем-либо в пустые часы, предназначенные, кажется, для занятий умственных…[857]

Жермена де Сталь и её «Философическая география»

Книга «Десять лет в изгнании» — это рассказ Жермены де Сталь не только о себе, но и «о времени», об истории. В этом смысле мемуары г-жи де Сталь можно поставить в один ряд с такими сочинениями, как «Замогильные записки» Шатобриана, «Поэзия и правда» Гёте или «Былое и думы» Герцена. Однако, как ни значителен в книгах такого рода исторический план, личность автора играет здесь роль первостепенную. В автобиографическом повествовании герой предстает изображенным изнутри. Отзывы окружающих остаются за пределами книги, а между тем они представляют немалый интерес. Книга «Жермена де Сталь в воспоминаниях современников», будь она составлена, являла бы собою довольно толстый том. Предлагаемая подборка портретов писательницы далеко не полна, но достаточно репрезентативна. Люди самых разных национальностей, разного возраста и убеждений изображают г-жу де Сталь на редкость схоже, выделяя одни и те же черты (разве что оценивают они эти черты подчас диаметрально противоположно).

Самым лаконичным образом выразил свое мнение о французской писательнице К. Н. Батюшков в известном эпистолярном отзыве: «Дурна, как черт, и умна, как ангел».[1] Этот контраст невыигрышной внешности и замечательного ума, некрасивого лица и неподражаемого умения вести беседу подчеркивают все: французы, русские, австрийцы, немцы.

Бенжамен Констан, многолетний возлюбленный г-жи де Сталь, в автобиографической повести «Сесиль» вывел ее под именем г-жи де Мальбе:

«Она была скорее приземиста, нежели высока ростом, чересчур плотна, чтобы быть стройной; черты неправильные и чересчур резкие, цвет лица далекий от совершенства, прекраснейшие в мире глаза, красивые руки, ладони, пожалуй, слишком большие, но отличавшиеся ослепительной белизной, великолепная грудь, чересчур скорые движения и чересчур мужественные позы, нежный голос, от волнения срывающийся на редкость трогательным образом, — все это вместе поначалу производило самое неблагоприятное впечатление, однако стоило г-же де Мальбе заговорить и оживиться, как лицо ее исполнялось неодолимой прелести. Ум ее, каким не может похвастать ни одна женщина, а возможно, и ни один мужчина, был, когда дело шло о предметах серьезных, исполнен не столько изящества, сколько

силы, а когда речь заходила о предметах, связанных с чувствами, обнаруживал величавость и трогательность». [2]

Сергей Семенович Уваров — человек иной национальности, иных политических взглядов, вдобавок не питавший к г-же де Сталь особой любви, — описывает ее в 1851 году, через четыре десятилетия после их знакомства, подчеркивая тот же самый контраст: «Невысокого роста, полная, она была одета в зеленое платье, усыпанное крупными золотыми звездами; на груди красовалась огромная миниатюра — портрет Неккера. Черные, как смоль, кудри выбивались из- под малинового тюрбана; плечи укутывала небрежно накинутая шаль; в руке она держала веер — любимую свою игрушку, которую при необходимости заменяла листом бумаги. Всё вместе, как нетрудно заметить, имело вид довольно странный, вдобавок у платья, по тогдашней моде, талия была очень высока, что придавало всей фигуре вид массивный, неуклюжий и нимало не напоминавший Коринну на Мизенском мысу. […] Наконец, чтобы довершить ее портрет, скажу, что прекрасные и очень живые черные глаза, равно как круглые и очень белые руки, служили ей неоспоримым украшением, тогда как все остальное было вульгарно и едва ли не уродливо» [3]. Высказав всё не слишком лестное по поводу внешности г-жи де Сталь, Уваров переходит к ее манере говорить и общаться с людьми — и тон его тотчас меняется: «Собеседника с первой минуты поражали неожиданная естественность ее языка и простота ее выражений; в речах ее не было ни манерности, ни деланности, ничто в них не выдавало сочинительницу; она говорила обо всех предметах с одинаковой легкостью, и разговор этот был разговором хорошего общества, к которому не примешивались никакие неологизмы; если какой-либо незадачливый собеседник выказывал намерение заговорить с г-жой де Сталь о литературной ее репутации, она тотчас переводила разговор на другую тему», когда же речь заходила о вещах возвышенных или злободневных, г-жа де Сталь «пускала в ход все разнообразные богатства своего великолепного красноречия».[4]

Еще один венский знакомец г-жи де Сталь, связанный с нею чувством взаимной симпатии, — знаменитый острослов, военный и литератор князь Шарль- Жозеф де Линь (1735–1814) незадолго до смерти вспоминал: «Лицо у нее было нехорошо: рот и нос совсем некрасивы. Зато восхитительные глаза блестяще умели выразить все возвышенные и энергические мысли, рождавшиеся в ее голове; красивы были у нее руки; поэтому она старалась привлечь к ним внимание собеседника и вертела ветку тополя с двумя-тремя листьями, чье шуршание, говорила она, вторит ее

речам. Речи же эти были совершенно замечательны: она рассуждала на любую тему с чудесной легкостью; говорила живо, взволнованно, поэтично: чем шире был круг ее слушателей, тем выше воспарял ее гений. Она чувствовала себя непринужденно лишь в обществе людей, способных ее оценить; но в этих случаях была поистине великолепна». [5] Прославленному князю де Линю вторит свидетель куда менее известный — служащий венского книгопродавца Шаумбурга, а затем личный секретарь Луи Бонапарта Ф. Греффер, также видевший г-жу де Сталь в Вене в 1808 году: «Говорила она одна: она импровизировала, как ее Коринна. Все молчали, все внимали ей одной. Вначале ее терпели, потом венцам начало казаться, что дольше так продолжаться не может; и тем не менее все шло, как прежде… Она не была ни красива, ни очаровательна. Но дело заключалось не в этом. Что сказать о ее глазах и руках? Они вызывали зависть… Невозможно представить себе, сколько жизни, блеска, выразительности было в ее глазах, точно так же как невозможно описать глаза Наполеона. Эти глаза следовало видеть, следовало чувствовать; в них выражалась душа… Имея такие глаза, г-жа де Сталь могла не прибегать к кокетству… Венцы до сих пор говорят: „Прошло 38 лет со времени приезда г-жи де Сталь“». [6]

Наконец, то же сочетание контрастных свойств отмечают мемуаристы, которые сами не были знакомы с г-жой де Сталь и пересказывали чужие впечатления. Так, Антонина Дмитриевна Блудова, появившаяся на свет в том самом 1813 году, когда ее отец и мать общались с г-жой де Сталь в Стокгольме, пишет (явно со слов своих родителей): «Она была очень дурна собою; но ее разговор был так увлекателен и, блистая им сама, она так хорошо умела вызывать живость ума в своих собеседниках, так искренно любила остроумие чужое, что все знавшие ее забывали ее некрасивую наружность и пленялись ею более, чем иной красавицей. Остроумный разговор, живой обмен мнений был для нее насущной потребностью». [7]

Так отзывались о г-же де Сталь люди, настроенные доброжелательно. Недоброжелатели, разумеется, расставляли акценты иначе, но говорили, в сущности, о том же. Современница (сама, впрочем, симпатизировавшая г-же де Сталь) подвела итог выдвигавшимся против писательницы обвинениям: «Существовали люди, которые, можно сказать, считали своим долгом и целью своей жизни ненавидеть г-жу де Сталь. Ее обвиняли, с одной стороны, во всех несчастных последствиях Революции, а с другой, в том, что она вечно пребывает в центре интриг и в окружении пустопорожних и опасных болтунов; кроме того, множество людей в один голос твердили, что сочинения ее

им непонятны. Между тем не подлежит сомнению, что г-жа де Сталь никогда и никому не причинила зла и что все ее сочинения исполнены гения. […] Беседовать с г-жой де Сталь в свете было весьма затруднительно. От собеседника требовалось только одно — дать ей возможность говорить. О спорах с ней нечего было и думать; беседа с ее участием очень скоро превращалась в постановку пьесы, а собеседники — в публику». [8]

Диагноз, поставленный г-жой де Шастене, справедлив: многих современников (и далеко не самых заурядных) приводили в недоумение не только сочинения, но даже устные монологи г-жи де Сталь. Возлюбленный г-жи де Сталь, Проспер де Барант, пишет о своем отце, префекте департамента Леман: «Манера г-жи де Сталь вести беседу его восхищала, но в то же самое время поражала чрезмерной непривычностью и даже смелостью. Ему казалось странным, что самые мимолетные впечатления облекаются в слова столь же пылкие и сильные, что и подлинно страстные чувства или глубоко продуманные мысли».[9] Американский же посол в Петербурге Джон Квинси Адамс в своем дневнике 10 апреля 1813 года высказался еще более резко: «Бурное воображение и противоречивость мыслей г-жи де Сталь оставляют такое ощущение, будто говоришь с помешанной».[10]

Однако г-жу де Сталь не просто не понимали; недоброжелатели ненавидели ее за то, что она превосходила их умом и красноречием и не скрывала этого, за то, что она — как им казалось — пыталась их учить, давать им политические и эстетические наставления, властно навязывала свою — чаще всего непривычную — точку зрения, свое — чаще всего неожиданное — видение мира. Сталь делала это не только в устной (салонные беседы), но и в письменной форме; ее публицистика революционного и послереволюционного времени (начиная с сочинения 1793 года о суде над королевой) — это декларация собственного мнения по самым злободневным вопросам современности. В эпоху политической нетерпимости, когда в обществе главенствовало то, что сама г-жа де Сталь называла «духом партий», политики не особенно уважительно относились к своим противникам, даже если это были мужчины, равные им по жизненному опыту и социальному происхождению; когда же в публичной полемике пыталась на равных принять участие женщина, судьба ее оказывалась незавидной. Подборка фрагментов из прессы революционного и послереволюционного времени[11] свидетельствует об этом более чем убедительно: г-жу де Сталь именуют ведьмой, амфибией и гермафродитом, обсуждают число ее любовников и кандидатуры на роль отца ее детей, утверждают, что турецкий посол, глядя на гримасы

сочинительницы, принял ее за одетую в женское платье обезьяну Если подобные замечания безнаказанно позволяли себе журналисты в печатных текстах, то у полицейских осведомителей, сочинявших донесения не для печати, а для собственного начальства, тем более не было оснований сдерживаться: один из них называет г-жу де Сталь «другом всего человечества, за вычетом собственного мужа»,[12] другой с нескрываемым удовольствием описывает, как на балу в Коппе, устраняя какой-то непорядок в собственном туалете, она в присутствии нескольких молодых людей «задрала юбку так высоко, что обнажилась вся подвязка»,[13] третий, пользуясь тем, что в 1812 году, ожидая ребенка от Джона Рокки, г-жа де Сталь объясняла изменение своей фигуры водянкой, отпускает нескончаемые шутки на счет постигшего писательницу «прискорбного недуга» («плодом этой девятимесячной водянки оказался здоровенький мальчуган; чудесное это исцеление приписывают женевцу по фамилии Рокка»[14]).

Не только бесцеремонные полицейские чиновники, но даже такие почтенные и толерантные люди, как Николай Михайлович Карамзин, охотно иронизировали над тем, что автор знаменитых книг о Французской революции и о Германии — женщина. По прочтении *РФР* Карамзин пишет Вяземскому, отозвавшемуся об этой книге очень лестно: «Соглашаюсь с Вами, что Mme Сталь достойна носить штаны на том свете»,[15] а в следующем письме прибавляет — уважительно, но с подчеркнутой «мужской» снисходительностью: «Mme Сталь действовала на меня не так сильно, как на Вас. Неудивительно: женщины на молодых людей действуют сильнее, а она в этой книге для меня женщина, хотя и весьма умная».[16] Разумеется, не все авторы-мужчины оценивали «мужской» ум г-жи де Сталь, «покойной умницы-разумницы»,[17] скептически-насмешливо. П. А. Вяземский в стихотворении «Библиотека» (1825) именовал ее: «По сердцу женщина и по душе мужчина, // Философ мудростью и пламенем поэт»,[18] а Н. В. Путята, осуждая своего приятеля А. А. Муханова за слишком резкую оценку «Десяти лет в изгнании»,[19] писал: «Не любя вообще, по какому-то предубеждению, женщин-писательниц, исключаю из этого числа г-жу Сталь, которая в сочинениях своих возвысилась над обыкновенным кругом деятельности и ума женского, обращающегося в тесной сфере наблюдений над характерами и мелочными пружинами, двигающими светское общество, и, отбросив равно притворную плаксивость и притворную любовь к природе многих из них, силою своих мыслей и глубиною чувств стала наряду с величайшими мужами нашего века».[20] Высокую оценку интеллекту г-жи де Сталь дал

даже такой скептик, как Байрон: «Это женщина незаурядная, сделавшая в интеллектуальной области больше, чем все остальные вместе взятые, — ей следовало бы быть мужчиной». [21]

Однако Наполеону «мужской» ум г-жи де Сталь не импонировал ни в малейшей степени. Драматическую историю отношений г-жи де Сталь с императором во многом предопределила именно эта коллизия: мало того, что Сталь имела собственные теории и политические убеждения, она еще осмеливалась навязывать их мужчинам, притом даже таким, которые стоят у кормила государственной власти.

* * *

Русские читатели и исследователи отнеслись к «Десяти годам в изгнании» так же «эгоистично», как, например, к творчеству Астольфа де Кюстина. Из Кюстина все знают и помнят только книгу о России, хотя он посвятил подробные (и во многих отношениях столь же нелицеприятные) сочинения Испании и Англии. Сходным образом на автобиографическую книгу г-жи де Сталь обращали внимание прежде всего потому, что путь писательницы в Швецию пролег через Россию; в результате для переводов выбирали именно последнюю часть,[22] а всё предшествующее оставалось русским читателям неизвестным. Между тем, само восприятие России у г-жи де Сталь предопределялось ее предшествующим опытом, ее оценкой современной политической ситуации, и в первую очередь — ее взаимоотношениями с Наполеоном. Взаимоотношения эти подробно описаны в тексте «Десяти лет в изгнании» и не однажды становились предметом рассмотрения французских историков.[23] Постфактум Сталь несколько преуменьшает свое первоначальное расположение к генералу Бонапарту и свою веру в то, что он способен спасти Францию и сохранить республику, избежав якобинских крайностей (умеренное республиканство и было политическим кредо г-жи де Сталь), однако в тексте оно все равно различимо. Сталь была готова всей душой поддержать Бонапарта — при условии, что он станет прислушиваться к ее советам и советам ее друзей и единомышленников. Но Бонапарт вообще был мало склонен следовать советам, даваемым не «снизу вверх», а «на равных», и менее всего — советам женщины. [24]

В пушкинском наброске «Мы проводили вечер на даче…» заходит речь о вопросе, заданном г-жой де Сталь Наполеону, «кого почитает он первою женщиною в свете», и о его ответе: «ту, которая народила более детей». Один из персонажей называет

этот ответ отнюдь не эпиграммой, а «буквально выраженным настоящим его [Наполеона] мнением». «Простодушие» Наполеона проблематично (сама г-жа де Сталь ему в этом качестве решительно отказывала),[25] однако ответ, вложенный в его уста преданием,[26] довольно точно описывает реальное положение дел: Наполеону нравился совершенно иной тип женщин. Бальзак, развивая ту же полуанекдотическую, но психологически довольно точно угаданную линию, писал о г-же де Сталь, что она «весьма неуклюже попыталась навязать себя в подруги Наполеону. Эти двое были бы несчастны в браке; Жозефина была женой куда более мудрой, чем сочинительница „Коринны“ — бой-баба XIX столетия».[27] Женщин, которые просто занимаются словесностью (сочиняют романы), Наполеон скрепя сердце терпел, но женщин, которые претендуют на руководство общественным мнением, терпеть не собирался. 30 декабря 1807 года в Шамбери он подробно объяснил это Огюсту де Сталю, который добился аудиенции у императора в надежде выпросить для своей матери, изгнанной из Парижа, дозволение проводить некоторое время в столице. Наполеон опасался свободолюбия г-жи де Сталь, ее влияния на общество, ее разговоров, ее «шуточек», боялся, что она «испортит» людей из его окружения, как уже «испортила» членов Трибуната.[28] Когда Огюст возразил, что мать его не собирается заниматься политикой, что ее интересуют исключительно общение с друзьями и литература, император воскликнул: «Ах вот оно что! Литература! И вы думаете, что я этому поверю!.. О чем бы ни велись разговоры — о литературе, о морали, об искусстве, — все это политика. Дело женщин — вязание».[29]

Эту сторону взаимоотношений императора и писательницы позже весьма точно охарактеризовала уже упоминавшаяся А. Д. Блудова. Г-жа де Сталь, писала она, «никогда не вмешивалась ни в какой заговор против правительства Наполеона. Она ему не льстила, вот и все. Она его не хвалила, она была ему лично неприятна, а из людей почтенных и блистательных парижского общества многие сходились в ее гостиную, которая составляла нечто независимое, общественно-нравственное, и эта-то независимость и была чем-то вроде протеста против всемогущества первого консула республики».[30] В самом деле, г-жу де Сталь можно было обвинить в знакомстве с заговорщиками, но не в какой-либо антинаполеоновской деятельности; ее преследовали не за дела, а за слова, за убеждения. Ее республиканизм и англофильство противоречили имперским устремлениям Наполеона и его желанию подчинить всю Европу; ее проповедь энтузиазма, бескорыстия и индивидуальной свободы — его теории «государственного

интереса» и его эгоизму диктатора; ее романы, в которых женщина оказывается морально сильнее мужчины, — его снисходительному отношению к женскому полу. Сталь вовсе не была, выражаясь современным языком, феминисткой; ее интересовали не формальные политические права женщин, но их право свободно высказывать свои мысли, право влиять на общественное мнение. И чем шире распространялась слава г-жи де Сталь (а слава эта была общеевропейской), тем сильнее ненавидел писательницу Наполеон; именно эта ненависть заставляла его, например, в письмах к министру полиции Фуше именовать ее «шлюхой, и притом уродливой».[31]

Сталь предвидела, что ее судьба (судьба женщины, сочиняющей серьезные трактаты и «проблемные» романы) окажется нелегкой; глава книги 0Л (1800), носящая название «О женщинах, посвятивших себя словесности», начинается с печальной констатации: «Роль женщин в обществе во многих отношениях еще весьма неопределенна. Желание пленять будит их остроумие, разум советует им оставаться в безвестности, и все их успехи, равно как и поражения, беззаконны. […] Участь их чем-то похожа на участь римских вольноотпущенников: стоит им приобрести некоторое влияние, и их начинают упрекать в оскорблении законов, если же они смиряются с рабской долей, их ждут одни притеснения. […] Если у женщины посредственный ум, мужчины легко примиряются с развращенностью ее сердца, но яркое дарование ей, пожалуй, не искупить даже самым безупречным поведением».[32] Поведение г-жи де Сталь, впрочем, с точки зрения блюстителей нравственности, безупречным не было (объектами ее сердечной привязанности становились в разные периоды ее жизни либеральный аристократ граф де Нарбонн, шведский дипломат Риббинг, литератор и политический деятель Бенжамен Констан, шотландский врач Роберт Робертсон, историк и начинающий чиновник Проспер де Барант, российский дворянин Балк-Полев, вышедший в отставку офицер французской армии Джон Рокка), однако эти «провинности» писательницы служили лишь поводом для ядовитых уколов прессы и полиции. Главное прегрешение г-жи де Сталь заключалось в том, что она не желала оставаться в тени, «исполнять послушно все, что предписывают происхождение и положение в обществе».[33]

При этом, публикуя книги на равных с мужчинами, Сталь требует обращения с собою как с *женщиной,* и среди упреков, бросаемых ею Наполеону, не последнее место занимает упрек в отсутствии «галантности», в неумении общаться с женщинами истинно светскими; это заметно и в тексте «Десяти лет в

изгнании», и в *РФР,* где она, в частности, пишет об императоре: «Он столько же почитал этикет, сколько ненавидел дух рыцарства; возрождая старинные нравы, он сделал не лучший выбор. Кроме того, от революционной молодости в нем осталась некая якобинская ненависть к блестящему парижскому обществу, в котором царили женщины; он боялся их умения высмеять человека — умения, которым, следует признать, француженки владеют особенно хорошо. Пожелай Бонапарт остаться верным великолепной роли великого генерала и первого лица в республике, сила его гения заглушила бы мелкие салонные колкости. Однако, решившись стать королем-выскочкой, мещанином во дворянстве, взобравшимся на трон, он, естественно, сделался мишенью для насмешек хорошего общества и не нашел иного средства справиться с ними, кроме шпионства и террора».[34]

Итак, Наполеон ненавидел и преследовал Жермену де Сталь; [35] он изгнал писательницу из Франции и окружил ее шпионами, он вынудил ее тайно покинуть швейцарский замок Коппе и, поскольку морские порты были для нее закрыты, добираться до Англии — воплощения свободы — долгим кружным путем — через Австрию, Россию и Швецию. Книга «Десять лет в изгнании» посвящена прежде всего этим двум сюжетам — отношениям с Наполеоном и путешествию по Европе, причем единство текста обеспечивается не только тем обстоятельством, что оба этих сюжета сыграли важнейшую роль в жизни г-жи де Сталь, но и присущим ей стилем мышления и обращения с описываемым материалом.

* * *

В последнее время становится все более и более популярным понятие «ментальных карт», или «воображаемой географии» [36]; психологи, географы, историки констатируют, что всякое изображение путешественником чужой страны есть не что иное, как конструкция, плод тенденциозной концептуализации, зависящий от множества факторов: личных убеждений пишущего, идеологической моды, исторической ситуации, степени изученности данной страны. Л. Вульф, цитируя американского путешественника Д. Ледъярда, называет географические представления людей XVIII века, которые «подчиняли географию своим философским конструкциям и населяли атласы идеологическими деталями, неподсудными стандартам научной картографии», «философической географией». [37]

Эта география носила условный, сконструированный характер и потому отличалась великим разнообразием мнений и оценок. Если античная картина мира строилась на противопоставлении цивилизованного Юга варварскому Северу, то Монтескье, исходя из климатической теории, считал Юг (Азию) родиной рабства, а Север (Европу) — отечеством свободы; при этом Россию он причислял к странам северным, следовательно, европейским. Напротив, Жан- Жак Руссо (почитаемый г-жой де Сталь ничуть не менее, чем Монтескье), исходя из политических реалий, видел в деспотических северных странах, и в том числе в России, потенциальный источник угрозы для стран южных.[38] Об опасности, которую сулит Европе Россия, писал в своем «Путешествии в Сибирь» (1768) и другой поклонник климатической теории, Шапп д'Отрош.[39] Россию в XVIII веке именовали страной то восточной (в этом случае она оказывалась в одном ряду с Крымским ханством и Оттоманской империей), то северной (в этом случае с нею рядом стояли Швеция и Дания), то европейской, то азиатской. Вариантов было так много, что современные исследователи, специально занимающиеся этим вопросом, не могут прийти к общему мнению и решить, какая именно ось — Восток / Запад или Север / Юг — главенствовала в политической географии конца XVIII века и считалась ли в этот период Россия страной восточной или северной. [40]

Традиции «философической географии» с ее концептуальностью и условностью были г-же де Сталь чрезвычайно близки. Сталь не случайно сочиняла не только романы (в которых, впрочем, большое место занимали размышления на исторические и философические темы), но и философско-публицистические трактаты; не случайно книги о Германии и Французской революции принесли ей не меньше, а то и больше славы, чем «Дельфина» и «Коринна». Для ее мышления характерна очень высокая степень «концептуализации» фактов. Сталь не просто описывает — она накладывает на описание концептуальную, философскую «сетку», объясняет конкретные факты и события причинами более общего свойства, причем одним из главных инструментов осмысления мира служит ей понятие национального характера, национальной литературы. Среди «ментальных карт» Европы карта, созданная Жерменой де Сталь и построенная на противопоставлении северной и южной литературы, занимает весьма значительное место.

Наибольшее влияние на г-жу де Сталь оказал Монтескье с его климатической теорией. Согласно этой теории, «характер ума и страсти сердца», иными словами, психические и даже моральные

свойства народов объясняются географическими и климатическими особенностями тех стран, где эти народы проживают: «Холодный воздух производит сжатие окончаний внешних волокон нашего тела, отчего напряжение их увеличивается и усиливается приток крови от конечностей к сердцу. Он вызывает сокращение этих мышц и таким образом еще более увеличивает их силу. […] Поэтому в холодных климатах люди крепче. Деятельность сердца и реакции окончаний волокон там совершаются лучше, жидкости находятся в большем равновесии, кровь энергичнее стремится к сердцу, и сердце в свою очередь обладает большей силой. Эта большая сила должна иметь немало последствий, каковы, например, большее доверие к самому себе, т. е. большее мужество, большее сознание собственного превосходства, т. е. меньшее желание мстить, большая уверенность в своей безопасности, т. е. больше прямоты, меньше подозрительности, политиканства и хитрости. Поставьте человека в жаркое замкнутое помещение, и он по вышеуказанным причинам ощутит очень сильное расслабление сердца. И если бы при таких обстоятельствах ему предложили совершить какой-нибудь отважный поступок, то, полагаю, он выказал бы очень мало расположения к этому. […] Народы жарких климатов робки, как старики; народы холодных климатов отважны, как юноши». [41]

Параллельно с этой «моральной» географией, в рамках которой климатом объясняется все, вплоть до привычки того или иного народа к пьянству, которая «возрастает вместе с градусами широты», [42] существовала еще и география, так сказать, общественно-политическая, в рамках которой одни страны и части света считались располагающими к свободе, а другие — к рабству. Г-жа де Сталь не только переняла от предшественников пристрастие к «философической» географии, но и сама сделала очень много для ее развития; ее вклад в формирование своеобразных культурных репутаций Севера и Юга, итальянцев и немцев трудно переоценить. Причем если Монтескье интересовала в первую очередь сфера юридическая (каким образом климат предопределяет не только «характер ума и страсти сердца», но и законы, которые устанавливают у себя жители разных стран), то Сталь еще в 1800 году, в книге *ОЛ*, поставила перед собой задачу объяснить, каким образом климатические и географические особенности той или иной страны предопределяют характер ее литературы.

Глава «О литературе Севера» начинается с признания: «Я убеждена, что существуют две совершенно различные литературы: одна — рожденная народами Юга и другая —

которой дали жизнь народы Севера; у истоков первой стоит Гомер, у истоков второй — Оссиан».[43] Южная литература — упорядоченная, ясная, гармоническая; северная (английская, немецкая) — меланхолическая, туманная, чувствительная. Обе имеют свои достоинства и право на существование, но искусству нового времени гораздо более пристала атмосфера и интонация литератур северных. Десять лет спустя, в книге *ОГ,* прежняя оппозиция южной и северной литератур превратилась в оппозицию литератур классической (восходящей к языческой поэзии древних) и романтической (восходящей к поэзии средневековой, христианской и рыцарской), но идея, что одни (южные) страны более расположены к словесности классической, а другие (северные) — к словесности романтической, осталась в силе. Сталь нигде не утверждает открыто, что северная литература *лучше, выше* южной, однако очевидно, что ее симпатии на стороне словесности, исполненной меланхолии и энтузиазма; иначе говоря, Сталь предпринимает попытку возвысить Север в глазах публики, исходя не из идеологических или геополитических, а из психолого-эстетических соображений.

Выше уже назывались источники конфликта г-жи де Сталь с Наполеоном; следует добавить, что конфликт этот имел и «национальный» аспект. Объясняя г-же де Сталь причины ее изгнания из Франции и запрещения ее книги *ОГ,* министр полиции Савари писал: «Я счел, что воздух нашей страны Вам не подходит, мы же не дошли еще до того, чтобы брать за образцы народы, кои Вас приводят в восхищение. Последнее сочинение Ваше писано не французским пером».[44]

Что, собственно, так возмутило и напугало Наполеона (ведь Савари действовал по его указке)? Об этом дают представление те фразы, которые приказали вычеркнуть из книги парижские цензоры. Одна из этих крамольных фраз звучала следующим образом: «Надеюсь, мы не хотим окружить литературную Францию великой китайской стеной, которая оградила бы ее от любых новых идей». Противники г-жи де Сталь, однако, хотели именно этого, [45] тогда как сама она в 1810 году так же, как и в 1800-м, и даже еще более убежденно, настаивала на том, что правила, по которым живет французская словесность, — отнюдь не единственно возможные. Между тем, в пору, о которой идет речь, сообщать французам истины такого рода было небезопасно.

Дело в том, что начиная со второй половины XVII века (так называемого «века Людовика XIV») Франция была для всей Европы законодательницей культурной моды; именно Франция диктовала литературные правила, именно французские сочинения считались неповторимыми образцами вкуса и

изящества; языком образованного общества был французский; не случайно в 1783 году Берлинская академия предложила следующую тему для конкурса: «В чем причины универсальности французского языка?», и французский литератор Антуан де Ривароль сочинил по такому случаю трактат, где доказывал, что всеобщая распространенность французского языка — следствие его на редкость «правильного» устройства, благодаря которому он лучше других приспособлен для выражения самых разнообразных мыслей и чувств.[46] Франция диктовала моды и правила всем — от портных до революционеров. Разумеется, веяния других стран и других национальных литератур проникали во Францию уже в XVIII веке: вторая его половина прошла в Париже под знаком увлечения всем английским: английскими чувствительными романами Ричардсона, английскими нерегулярными садами и проч. Возникала мода и на восточные (китайские) безделушки, на восточные мотивы, однако все «чужестранное» ценилось постольку, поскольку оно было признано в Париже. «Случаю было угодно поручить вам, парижанам, создавать литературные репутации в Европе. […] Все добропорядочные писатели не только во Франции, но и во всей Европе льстили вам для того, чтобы получить от вас взамен немного литературной славы», — утверждает Романтик в трактате Стендаля «Расин и Шекспир» (1823), причем — не вполне справедливо — обвиняет в желании подольститься к парижанам не кого иного, как г-жу де Сталь.[47] Тот же процесс, происходящий, однако, не в литературе, а в медицине, описывает Бальзак в романе «Урсула Мируэ» (1841): «Открыв феномен животного магнетизма, Месмер приехал во Францию, куда с незапамятных времен являются все изобретатели, желающие, чтобы их открытия получили права гражданства во всем мире. Благодаря своему ясному языку Франция — своего рода всемирный глашатай. „Если гомеопатию признают в Париже, она спасена“, — сказал недавно Ганнеман. „Отправляйтесь во Францию, — посоветовал господин Меттерних Галлю, — если там посмеются над вашими шишками, вы прославитесь“».[48]

Конечно, приведенные мнения о главенстве всего французского принадлежат французам и в этом смысле не могут считаться беспристрастными. В XIX веке Европа постепенно «эмансипировалась» от французского диктата, однако это происходило уже после падения Наполеона — и после появления книг г-жи де Сталь, во многом способствовавших этой эмансипации. Напротив, при Наполеоне, постепенно подчинившем себе всю Европу, культурное господство Франции не только не ослабело, но было подкреплено господством

политическим: вдобавок к идеологическим у французов появились «административные» способы навязывать другим народам свои культурные обыкновения, свой способ видения и изображения мира. И поступаться привилегированным положением Франции в мире Наполеон отнюдь не собирался. Сталь же попыталась напомнить французам, что они не единственная культурная нация на свете; что литература их соседей тоже обладает некоторыми достоинствами. Эту ситуацию выразительно обрисовала в посвященном г-же де Сталь биографическом очерке ее кузина, г-жа Неккер де Соссюр: «Литература народа остроумного и просвещенного кажется всеобъемлющей, когда смотришь на нее изнутри; она так точно отвечает духу, ее образовавшему, и тому, который, в свой черед, образуется ее стараниями, что людей, способных судить ее беспристрастно, не находится. Но стоит человеку выйти из этой сферы, стоит вдохнуть иной воздух, испытать новые ощущения, как он обнаруживает наслаждения, прежде неведомые. Возвратившись домой, он сожалеет об утрате этих удовольствий. Все является его глазам в новом свете, и то, что он прежде принимал за природу вещей, зачастую оказывается не более чем способом чувствовать, присущим определенному народу Именно об этом желала напомнить г-жа де Сталь». [49]

В *ОГ* г-жа де Сталь вела речь не только о литературе; она рассмотрела и образ жизни немцев, и их национальный характер, и их философию и мораль. Выводы, к которым она пришла, встревожили Наполеона и его приближенных. Из книги явствовало, что Сталь ставит северную литературу выше южной, немецкий романтизм выше французского классицизма, немецкий энтузиазм выше французской рассудочности, и предпочтения эти выглядели вовсе не так невинно, как можно подумать, если рассматривать их вне исторического контекста. Дело не только в том, что в условиях, когда английская конституционная монархия выступала самой непримиримой и могущественной противницей наполеоновской империи, а Германия только что была Наполеоном разбита и покорена, англофильство и германофильство г-жи де Сталь воспринимались как политический вызов. Такой же вызов власть расслышала и в эстетических декларациях г-жи де Сталь. [50]

Между тем «антифранцузскость» г-жи де Сталь была вовсе не так велика, как полагали ее гонители. Она в самом деле считала принципиально важным предложить своим соотечественникам «другие» образцы, привить чересчур рациональной, эгоистической и безжалостно насмешливой французской культуре немецкий «энтузиазм» и северную меланхолию. Однако сама она при этом

почти физически страдала, лишившись доступа в парижские салоны. В *ОГ* (ч. 1, гл. 11) она приводит выразительный пример, разъясняющий, что означает для истинного француза французская же светская беседа: эмигранты, покинувшие Францию во время революции 1789–1794 годов и основавшие колонию в пустынном уголке Соединенных Штатов, время от времени оставляли свои жилища и отправлялись за шесть сотен лье (больше двух тысяч километров) в Новый Орлеан «побеседовать в городе»; без этой беседы на французский лад жизнь была им не в радость. Точно так же и г-жа де Сталь не мыслила себя без французской культуры и французской беседы; немецкий писатель Шамиссо, общавшийся с ней в 1810 году, писал: «Она серьезна, как немцы, пылка, как южане, дорожит совершенством формы, как французы […] Ей надобно слышать по крайней мере грохот столичных карет; в ссылке она чахнет».[51] В запомнившемся Пушкину замечании г-жи де Сталь о том, что «хорошее общество сходно во всех странах; в этом царстве изящества предметов для трагедии не сыщешь»,[52] конечно, слышна тоска по сильным страстям и экзотическим эмоциям. Однако Сталь, скучающая по французской «общежительности» и парижскому искусству беседы, осуждает русских вельмож не только и не столько за недостаточную самобытность (эти упреки она предъявляет русской литературе), сколько, напротив, за недостаточный европеизм, за то, что жители Петербурга не умеют беседовать, как парижане: «Они [русские] куда гостеприимнее французов, однако под обществом они, в отличие от нас, понимают вовсе не собрание мужчин и женщин острого ума, которые с приятностью беседуют меж собой. В России общество подобно многолюдному празднеству, здесь люди едят фрукты и диковинные яства из Азии и Европы, слушают музыку, играют, одним словом, ищут впечатлений сильных, но не затрагивающих ни ума, ни души»; «блестящая и усладительная атмосфера [русских гостиных] доставляет много приятности, однако в ней невозможно ни научиться чему бы то ни было, ни развить свои способности, так что люди, проводящие жизнь таким образом, не приобретают никакой склонности к занятию вещами серьезными. Парижское общество было устроено иначе; кто не знает людей необразованных, которые, вращаясь в обществе аристократов и литераторов и слушая их беседы, разом и острые, и серьезные, научались в свете тому, чего не могли почерпнуть из книг». Мало того, что г-же де Сталь потребна была интеллектуальная атмосфера Франции, даже чисто физически пропагандистка северной литературы страдала на севере задолго до наступления зимы; характерно признание, вырывающееся у нее в финале

«Десяти лет в изгнании»: «Я всякую минуту сожалела о южном солнце, чьи лучи так долго согревали мою душу».

Неудивительно, что в 1812 году необходимость желать поражения Франции и победы ее противникам причиняла ей нешуточные страдания: «Г-н Нарышкин произнес тост за успех русской и английской армий; в ту же минуту он дал сигнал своей артиллерии, почти столь же громкозвучной, что и артиллерия его государя. Всех присутствующих охватило упоение надежды; у меня навернулись на глаза слезы. Вот до чего довел меня африканский тиран: я ждала поражения французов! „Пожелаем же, — сказала я тогда, — пожелаем же, чтобы корсиканцы были разбиты, ибо, если они проиграют, верх возьмут настоящие французы!“» Привязанность г-жи де Сталь к Франции сделалась особенно очевидна, когда армии союзников вторглись на французскую территорию; эти переживания отразились в *РФР* (ч. 4, гл. 19): Александр «вошел в завоеванный город [Париж] как всемогущий спаситель, как просвещенный филантроп; однако, даже восхищаясь им, можно ли было, оставаясь французом, не испытывать нестерпимой боли? После того как союзные войска перешли Рейн и вступили на землю Франции, чувства друзей Франции, кажется мне, должны были совершенно перемениться. Я в ту пору находилась в Лондоне, и один из английских министров спросил меня о моих желаниях. Я дерзнула ответить ему, что желаю Бонапарту *победы и смерти*» [53].

Категория «национального» вообще была для г-жи де Сталь чрезвычайно важна, однако в обстановке наполеоновских войн эти общие размышления неизбежно обретали политическую окраску. В приведенном фрагменте видно, как Сталь борется с Наполеоном с помощью того же самого понятия «национального», которое играло такую большую роль во всем ее творчестве. На всем протяжении «Десяти лет в изгнании» она пользуется любой возможностью подчеркнуть, что Наполеон — не француз; она именует его «корсиканцем», «иностранцем», «итальянцем», она утверждает: «Бонапарт имеет гораздо меньшее отношение к французской нации, нежели я, ибо я родилась на берегах Сены, а он завоевал звание французского гражданина лишь силою своего тиранства. Он родился на Корсике, вблизи дикой Африки; отец его, в отличие от моего, не жертвовал состоянием и досугом для спасения Франции от разорения и голода; воздух этой прекрасной страны для него не родной; может ли он понять горечь расставания с ней — он, видящий в этом плодородном крае всего лишь орудие своих побед?» В реальности это исключение Бонапарта из числа французов было лишено юридических оснований, [54] однако Сталь настаивает на своем, ибо ей

неприятна мысль, что за поступки императора отвечает французская нация. [55] С этим же связано не менее постоянное именование Наполеона «одним человеком», «этим человеком» — человек этот противопоставляется всей французской нации, которая таким образом частично освобождается от ответственности за все, что «один человек» приказал ей сделать. Кутузову, пишет Сталь, «предстояло вырвать все эти сокровища из когтей одного-единственного человека, ибо французы ничуть не больше виноваты в преступлениях его армии, чем немцы или итальянцы, воевавшие на его стороне».[56] Для Наполеона такие обвинения (если бы он мог их знать) были бы особенно обидны, поскольку он утверждал, что печется прежде всего о славе и благополучии французской нации. В ссылке на острове Святой Елены он напомнил своему собеседнику о том, что говорил некогда на заседании Государственного совета: «Я хочу, чтобы звание француза было самым прекрасным, самым желанным на земле; чтобы всякий француз, путешествуя по Европе, чувствовал себя как дома, да и в самом деле был дома». [57] Впрочем, в наполеоновском отношении к нациям было нечто механическое и авторитарное: он, по его собственным словам, перекраивал карту Европу ради «воссоединения, сплочения народов, некогда проживавших каждый на своей территории, но разрозненных, разъятых на части по вине революций и политики. В разных частях Европы живут более 30 миллионов французов, 15 миллионов испанцев, 15 миллионов итальянцев, 30 миллионов немцев; я хотел составить из всех этих народов единую нацию». [58] Между тем г-жа де Сталь была убеждена, что подобное обращение с народами сулит Европе гибель: создавая «европейскую монархию», пишет она, Наполеон «вынуждал европейские народы променять их покой и свободу, их язык, законы и состояние, их кровь и их детей на несчастья и стыд, на утрату национальной независимости и всеобщее презрение». О плодах наполеоновского перекраивания политической карты Европы Сталь отзывается с величайшим презрением: «отечество вызывает привязанность истинно глубокую, лишь будучи во всем отличным от стран сопредельных; народы, живущие по соседству и схожие меж собою многими чертами, могут объединиться и присвоить новосозданному союзу имя отечества, однако полюбить эту философическую химеру они не в силах».

Сталь не раз настаивала: «нет ничего хуже, чем утратить звание нации». «Национальные» и «географические» характеры служили писательнице одним из главных средств концептуализации, одним из главных способов осмысления и объяснения мира; в *ОЛ* она сформулировала это следующим

образом: «О народе, как и об отдельном человеке, следует судить по его основополагающему свойству: все остальные черты случайны, в главном же свойстве видна самая сущность человека или народа».[59]

Такой подход к действительности восходил, помимо теорий Монтескье или Руссо, к другой, гораздо более древней традиции, в рамках которой не только определенные человеческие типы («Характеры» Теофраста и Лабрюйера), но и представители той или иной национальности имеют совершенно определенный, повторяющийся набор свойств: «Французам надлежит быть отважными, любезными, нескромными, великодушными, ловкими, ветреными, пылкими, непостоянными, опрометчивыми, бегущими труда, учтивыми, изменчивыми в любви, нетерпеливыми и дерзкими. Испанцам — надменными, властными, скупыми, постоянными, готовыми снести любые тяготы и совершать подвиги под любыми небесами, тщеславными, презрительными, до смешного степенными, слепо преданными своему отечеству, нелепыми в любви и страшными в ненависти. […] Англичане — люди неверные, ленивые, храбрые, жестокие, любящие свое добро, ненавидящие иностранцев, высокомерные и корыстные. […] Итальянцы — бездельники, безбожники, соблазнители, плуты, домоседы, хитрецы, они подозрительны, мстительны, любят приличия и обожают выгоду».[60] Следы этой традиции различимы в самых разных жанрах, от сочинений моралистов до газетной публицистики и лубочной литературы; любопытно, что русские переводчики начала XIX века ощущали связь сочинений г-жи де Сталь, прежде всего ее книги ОГ, с традиционным «портретированием национальностей»; это хорошо видно по тем отрывкам, которые они выбирали для перевода и публикации в русских журналах.

Например, в публикации под названием «О подражании всему французскому» (ОГ, ч. 1, гл. 9) читаем: «Разговор приятный и занимательный, почти из ничего возникающий, разговор, которому от прелести выражений сообщается заманчивость, доставляет немалое удовольствие. Можно утвердительно сказать, никого не обижая, что одни только французы способны продолжать разговор такого рода».[61] В «Российском музеуме» статья «Пренебрегательная глупость и снисходительная посредственность» (ОГ, ч. 1, гл. 10) снабжена характерным подзаголовком, отсутствующим в оригинале: «или Французы и немцы», а текст пестрит афоризмами вроде: «Немец имеет всегда в голове более мыслей, нежели может их выразить», «в Германии невежа не смеет выговорить своего мнения с надежною смелостию», «у немцев, сколько бы они ограниченны ни были,

глупцы умеют, по крайней мере, одобрять и удивляться».[62] Все эти фразы есть в тексте г-жи де Сталь — но публикация их под заголовком «Французы и немцы» лишний раз напоминает о том, из какой давней традиции выросла книга, во многих других отношениях новаторская; о том же напоминает и соседство в «Сыне Отечества» за 1814 год фрагмента из книги Сталь «Изображение Аттилы» с очерком (к Сталь отношения не имеющим) «Характер древних галлов и нынешних французов».[63] В основе всех этих текстов лежит вера в то, что национальный характер можно свести к определенному набору свойств и качеств, которыми объясняется всё, с представителями данной нации происходящее. Именно исходя из этого принципа Сталь в романе «Коринна» сталкивает чистокровного англичанина Освальда Нельвиля с чистокровным же французом графом д'Эрфейлем и с итальянкой по воспитанию и духу (хотя и наполовину англичанкой по крови) Коринной; исходя из него же, она рассматривает в *ОГ* немецкий характер. В частности, даже оговорив здесь, что «немцы» — не что иное, как общее обозначение саксонцев, пруссаков, баварцев и проч., она все-таки продолжает давать общие характеристики «немцам вообще»: «Немцы вообще исполнены искренности и преданности; они почти никогда не изменяют своему слову и чуждаются лжи. Если немцы когда-либо начнут страдать этим пороком, то виной тому будет лишь их желание подражать иностранцам, доказать, что они не уступают последним в хитрости и, главное, не даются им в обман […] За редкими исключениями, немцы мало успевают во всем, для чего потребны ловкость и проворство». [64]

Но зато в немцах (опять-таки в немцах вообще, немцах, наделяемых единым национальным характером) Сталь отыскивает такие положительные качества, которых, по ее мнению, недостает французам и которые им следовало бы перенять от немцев, — это те самые энтузиазм, бескорыстие, возвышенность, которые противостоят французской расчетливости, французскому эгоизму. Сама оптика, при которой на первый план выходит категория постоянного, стереотипного национального характера, — оптика во многом традиционная, зато набор свойств, которые Сталь выделяет в том или ином национальном характере, был глубоко оригинален и оказал огромное влияние на очень многие сочинения XIX века: литературные «немцы», от пушкинского Ленского до бальзаковского музыканта Шмуке из романа «Кузен Понс», обязаны своей «возвышенной душой» не кому иному, как сочинительнице книги *ОГ*.

* * *

Если в том, что касается описания немецкого характера, Сталь сама стояла у основания традиции, то применительно к России и русскому характеру она во многом следовала за своими предшественниками. Впрочем, так действовала не она одна. В недавней статье [65] было очень точно отмечено, что европейская Россика вообще отличается повышенной степенью «центонности»: все писавшие о России особенно широко пользовались (зачастую не объявляя этого) наблюдениями предшественников. Для книги г-жи де Сталь также можно указать «параллельные» места в сочинениях авторов XVIII века — как тех, которые имелись в ее библиотеке,[66] так и других, относительно которых можно с большей или меньшей степенью уверенности предполагать, что она их знала. Эти подтвержденные документально или предположительные заимствования из «Истории

России» Левека, «Секретных записок о России» Массона, «Истории анархии в Польше» Рюльера, «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера, «Жизни Екатерины II» Кастера, «русских» писем князя де Линя, вошедших в его сборник, подготовленный к изданию самой г-жой де Сталь, а также из «Путешествия в Польшу, Россию, Швецию и Данию» Кокса в переводе Малле, «Путешествия двух французов в Германию, Данию, Швецию, Россию и Польшу» Фортиа де Пиля, «Истории обеих Индий» Рейналя указаны в соответствующих примечаниях к тексту книги. Такое следование за предшественниками для описания России, как уже было сказано, — вещь вполне обычная. Однако «русскую» часть «Десяти лет в изгнании» отличает оригинальное соотношение литературного и документального. Дело в том, что Сталь постоянно отмечает несовпадение реальности с готовыми концептуальными схемами, как чужими, так и своими собственными.

Оказавшись на «севере», то есть в России, Сталь в силу своей приверженности «концептуальному» восприятию и описанию действительности была, казалось бы, обречена смотреть на мир сквозь призму книжных, теоретических представлений о северных странах; к ее услугам были готовые схемы «северного» характера, северного образа жизни и мышления. Еще больше стереотипов было к ее услугам в том, что касается конкретно России (в данном случае речь идет уже не об отдельных мотивах и наблюдениях, а об общей репутации страны). Современные исследователи указывают на то, что явление, которому француз Альбер Лортолари в 1951 году дал укоренившееся в научной литературе название «русского миража», [67] не исчерпывало всех

нюансов отношения французских просветителей к России и что их вера в Екатерину II и в благотворность ее реформ была не так велика, как изображали они сами в письмах к императрице и в сочинениях, писанных по ее заказу. Судя по тому, что Сталь цитирует афоризм Дидро о русских, которые «сгнили, не успев созреть»,[68] она безусловно знала об этой оборотной стороне отношения «философов» к России. Разумеется, в сочинениях французских авторов XVIII века, посвященных России, можно было расслышать ноту восхищения (вспомним хотя бы восторженные отзывы Вольтера о присущей Петру I воле, которая помогла ему преобразовать Россию),[69] но не менее сильна была антирусская нота: французские авторы обвиняли русских государей в деспотизме, а русский народ — в том, что он самой природой предназначен к рабству.[70] Эти темы (русский деспотизм и русское варварство) активно эксплуатировались наполеоновской прессой 1805–1807 годов, которая вела последовательную антирусскую пропаганду и утверждала, что русские варвары чужды европейской цивилизации. [71]

Таковы были в общем виде «чужие» представления о Севере и России, из которых могла исходить г-жа де Сталь в 1812 году При этом у писательницы имелись на этот счет и теории, созданные ею самой, — то самое (весьма позитивное) видение «северной» литературы и культуры, контуры которого она впервые очертила в *ОЛ.* Кроме того, на отношение Сталь к России оказывала серьезное влияние политическая ситуация. Писательница не могла не помнить рассуждения своих соотечественников о русском деспотизме и русском варварстве, однако вышло так, что именно «деспотическая» Россия смогла укрыть ее от деспотизма Наполеона, и с констатации этого парадокса Сталь начинает описание пути через Россию: «До сих пор никому не приходило в голову считать Россию самой свободной из европейских держав, однако гнет, тяготеющий по вине французского императора над всеми странами нашего континента, так силен, что, оказавшись в стране, над которой Наполеон не властен, чувствуешь себя, словно в республике».

Все дальнейшее знакомство с Россией протекает по этой модели: Сталь постоянно констатирует неполное соответствие традиционных представлений о России тому, что она видит своими глазами. Не случайно в *РФР* (ч. 4, гл. 19) она называет Россию страной, «должным образом не известной»,[72] а в письме к С. С. Уварову от 2 мая 1813 года из Стокгольма утверждает: «Все, что говорили, а главное, писали о России, не дает о ней ни малейшего представления».[73] Сталь, впрочем, расходится с предшественниками не столько в наблюдаемых фактах русской

жизни, сколько в их оценке.

Так, Сталь не опровергает именование русских «варварами», однако «варварство» русских она воспринимает не как источник угрозы для цивилизованной Европы, а как первобытную силу, которой лишены другие — изнеженные, «старые» — нации и которая помогает русским защищать отечество: «Среди нынешних европейских наций могучи лишь те, которые именуются варварскими, то есть нации непросвещенные, иначе говоря, свободные. Что же до тех наций, которые цивилизация научила лишь одному — терпеть любое иго до тех пор, пока угнетатель не посягнет на домашний очаг каждого, оправдывать властителей и извинять рабство, — они созданы для того, чтобы оставаться побежденными. […] К счастью для русских, они по-прежнему остались народом, который мы именуем варварским, иначе говоря, ими движет инстинкт — подчас благородный, всегда невольный и предполагающий раздумья при выборе средств, но не при рассмотрении цели; я сказала „к счастью для русских“ не потому, что намерена восхвалять варварство, но потому, что под этим словом я разумею некую первобытную энергию, которая одна способна заменять нациям удивительную мощь, даруемую свободой».[74] Для г-жи де Сталь констатация наличия у русских «пламенной воли, для которой нет ничего невозможного», была чрезвычайно важной, так как позволяла отыскать в русском национальном характере, как прежде в немецком, качества, которых недостает французам и которые следовало бы им привить. Сильная воля, умение желать — это именно то, чего остро не хватало европейцам романтического поколения, которые, по словам Шатобриана, «жили с полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, были уже всем пресыщены».[75] Но, констатируя наличие у русских сильной воли, Сталь не только восхищается, но и удивляется; ведь это противоречит теории, согласно которой подобной страстностью должен был бы обладать народ южный (таков итальянский характер в «Коринне»,[76] чуть позже именно такими — и тоже в противоположность безвольным и рассудочным французам — изображал итальянцев Стендаль). Впрочем, то же самое обстоятельство внушает определенные надежды относительно будущности русской нации; ведь, по мнению Сталь, «первое достоинство нации, начинающей тяготиться правлением самодержавным, есть энергия. Прочие достоинства суть не что иное, как следствия установлений продолжительных, успевших образовать общественное мнение».[77]

Русские обманывают ожидания г-жи де Сталь в самых разных отношениях: например, если русские — северный народ, им

следовало бы испытывать склонность к меланхолии и умозрительному мышлению (эти свойства «северян» Сталь описала еще в *ОЛ),* между тем русские, «в отличие от народов Севера, до сих пор выказывали очень малую склонность к размышлениям». Другое несоответствие: если русские — северный народ, живущий в суровом климате, им следовало бы быть домоседами и прятаться от холода, а между тем кучера у них даже зимой спят под открытым небом, как итальянские лаццарони.[78] Сталь констатирует расхождение реальности с умозрительными представлениями («Русские имеют вид южного народа, обреченного жить на севере»[79]) и пытается как-то объяснить их: «Нации этой присущи свойства самые противоположные. Быть может, причина этих контрастов — в смешении европейской цивилизации и азиатского характера». Но зазор между концепцией и реальностью все равно остается; Сталь, например, ищет русской экзотики, а находит в светском обществе людей, имеющих вид европейцев: «Я тотчас полюбила эти восточные одеяния так сильно, что огорчалась, видя русских в европейском платье; я опасалась, что они вот-вот покорятся деспотической власти Наполеона, по милости которого все народы наслаждаются одними и теми же благодеяниями: вначале им преподносят всеобщую воинскую повинность, затем военные налоги, а под конец кодекс Наполеона, позволяющий навязать самым разным нациям одинаковый порядок». Мотивировка, по которой Сталь отдает предпочтение азиатским нарядам перед европейскими, здесь приведена политическая, антинаполеоновская, но в процитированной фразе нетрудно различить и желание, чтобы действительность соответствовала ожиданиям, которые она, напротив, все время опровергает. Дело в том, что экзотику Сталь ищет именно «восточную» или «северную», более или менее предсказуемую, а между тем многие детали и эпизоды ни в какие схемы не вписываются, не соответствуют ни одной теории и потому вообще не включаются в книгу и остаются в «Путевом дневнике»; см., например: «Возница, доставивший нас в Або, пил шоколад» или: «По дороге из Киева в Москву мы встретили православного попа, который говорил по-латыни и читал наизусть стихи Гомера. Мы спросили у него, что он думает о Наполеоне. „Это бич Божий, который Господь изломает, когда дело будет сделано“. Он угостил нас лимонами».[80] Сходным образом Сталь не описывает в книге своего общения с теми встреченными в России людьми, которые были способны вести беседу на европейском уровне: французами или русскими, имеющими большой опыт жизни в Европе, [81] — это не соответствовало бы образу России как страны «северной»,

«варварской» (пусть и в положительном смысле слова) и «экзотической».

Иными словами, Сталь ищет, но никак не может найти России место на своей географически-философической шкале; ей непонятно, какой это народ — северный или южный, восточный или европейский[82] и по каким меркам его судить: «Русские, как я надеюсь показать в этих записках, имеют куда больше сходства с народами Юга или, скорее, с азиатами, нежели с народами Севера. Придворные манеры у них, как и у всех прочих наций, европейские, характер же восточный».[83] Следы этого недоумения еще очевиднее в набросках книги: «Европа, спасенная Азией [т. е. Россией]. Герой Севера, родившийся на Юге [т. е. Бернадот]». [84]

Возможно, именно с этим постоянно отмечаемым г-жой де Сталь несовпадением конструкции и реальности связано то обстоятельство, что в качестве главной, доминантной черты русского характера она называет не одно свойство, а контрастную пару: вообще русские ленивы и бесстрастны, однако бесстрастие это внезапно сменяется неистовством. Эта антитеза представлялась г-же де Сталь главной для описания русского характера; больше того, она распространяет ее и на описание северной природы, весь год пребывающей в спячке и лишь очень недолго согреваемой солнцем (описание, также основывающееся на вполне умозрительных представлениях, ибо сама Сталь зимой в России не бывала).

Сталь не успела сделать в «Десяти годах в изгнании» для русских то, что в *ОГ* было сделано для немцев, — описать русский национальный характер как целое. Однако существенный шаг к такому описанию в «русской» части книги сделан; иначе, как «концептуализируя» реальность, истолковывая ее с помощью теории (прежде всего теории национальных характеров), Сталь писать не умела и не хотела.

* * *

Манера Сталь возводить наблюдаемую реальность к философическим схемам нередко вызывала иронию даже у самых доброжелательных читателей, [85] между тем манера эта, проявляющаяся решительно во всем, составляет, можно сказать, главную черту всего ее творчества. Вот фрагмент, выбранный едва ли не наугад, — описание развлечений на даче у Нарышкиных: «Вновь заиграла музыка, и звуки рогов и кимвалов погрузили душу в сладостное забытье. Дабы забыться окончательно, русские,

зимой разъезжающие по снегу в санях и вознаграждающие себя быстрой ездой за тяготы этого времени года, доставляют себе схожее удовольствие летом: усевшись на деревянную доску, они в мгновение ока скатываются с высокой горки. Забава эта пленяла женщин в той же степени, что и мужчин, и позволяла первым хотя бы отчасти разделить со вторыми радости войны, рождаемые острым ощущением опасности и стремительностью всех движений». На этом примере ясно видно, как Сталь возводит обыденную, хотя, с ее точки зрения, и экзотическую картину[86] к общим категориям, как приискивает бытовой сцене «умозрительное» объяснение с помощью абстрактных категорий мира и войны, Севера и Юга.

Этот принцип возведения реальности к абстракции распространяется в книге г-жи де Сталь не только на материал, связанный с национальной спецификой. Так, говоря о Наполеоне, Сталь не удовлетворяется рассказом о его деспотических деяниях; ей недостаточно разбросанных по тексту портретных зарисовок — между прочим, довольно тонких в психологическом отношении. Фигуру Наполеона она последовательно рисует с помощью «дьявольской» метафорики: Наполеон — «адский гений, которому Архимедовой точкой опоры стала людская низость»; он действует, потому что «боги ада толкают его вперед»; «встретив человека честного, он, кажется, тотчас утрачивает все свои способности, точь-в-точь как дьявол при виде крестного знамения»; «он судит о человечестве, исходя из своих сатанинских представлений, и, разумеется, полагает, что имеет все основания забавляться за счет людей, раз люди его терпят»; высмеивая несчастных, он «вкушает те наслаждения, какие испытывают духи ада, глумясь над родом человеческим»; наконец, он заключил договор с дьяволом: «Не один раз пугали нас бесконечностью земного существования Бонапарта. Впрочем, если таково было одно из условий его договора с дьяволом, людям следовало бы прекратить плодиться и размножаться, дабы он, не желающий знать никого, кроме себя самого, остался бы и впрямь один в целом свете».

Эти метафорические объяснения действий Наполеона посредством его «адского» происхождения не мешают г-же де Сталь весьма точно описывать исторический контекст совершенно реальных поступков первого консула, а затем императора, его взаимоотношения с представителями различных политических партий и сословий, его обращение с наследием революции и монархии.

«Адская» символика — далеко не единственный инструмент, с помощью которого Сталь придает фигуре Наполеона метафизический размах. Она постоянно подчеркивает его

враждебность истории, а значит — самому времени. Наполеон пытается отменить прошлое: «Бонапарт, сам выигравший столько битв, не способен уважать тени других полководцев. Для него не существует ни прошлого, ни будущего»; он «предлагает своим несчастным подданным выбросить из памяти все, что происходило до его вступления на престол»; «в любых других деспотических государствах сохраняются обычаи, законы, верования, на которые монарх, сколь бы абсолютным он ни был, не дерзает покушаться, но во Франции и в Европе, покорившейся Франции, все создано заново, а потому прошлое здесь никому и ни в чем не служит порукой». Таким образом, к прочим ужасным свойствам Наполеона прибавляется еще одно: он враг времени и, следовательно, страшит г-жу де Сталь ничуть не меньше, чем бесконечное российское пространство, которое, согласно лаконичному афоризму из «Путевого дневника», «пожирает время».[87]

Иными словами, «Десять лет в изгнании» — книга, где злободневность и концептуальность связаны неразрывно. Именно сплав документальных зарисовок и умозрительных рассуждений, живого чувства и философской концептуализации определяет своеобразие книг г-жи де Сталь, и прежде всего «Десяти лет в изгнании», на фоне прочих мемуарных сочинений и путевых заметок.

В. Мильчина

История текста и его переводов на русский язык

Г-жа де Сталь умерла, не успев опубликовать два крупных сочинения: почти законченные *РФР* и оборванные буквально на середине фразы «Десять лет в изгнании». Первое было издано Огюстом де Сталем в апреле 1818 года. Второе — в июне 1821 года.[88]

Г-жа де Сталь начала работу над книгой «Десять лет в изгнании» в Швейцарии, после запрещения *ОГ* [89] в 1810 либо в 1811 году Сын писательницы и первый публикатор текста Огюст де Сталь называет (в разных местах) обе эти даты. В первом издании Огюст де Сталь снабдил текст подзаголовком: «Фрагмент неизданного сочинения, писанного в 1810–1813 годах». Но тот же Огюст (непосредственный свидетель событий) оставил и другое указание: в копии, которую Фанни Рендал[90] выполнила, по-видимому, в 1818 году, когда Огюст начал готовить публикацию «Десяти лет», сделана им же другая помета: «Начато летом 1811 года». Некоторый свет на хронологию создания «Десяти лет в изгнании» проливает письмо историка Сисмонди к Бенжамену Констану от 6 сентября 1811 года.[91] В нем Сисмонди от имени г-жи де Сталь просит Констана напомнить ей некоторые эпизоды ее жизни 1800–1801 годов, из чего следует, что к сентябрю 1811 года Сталь продвинулась в сочинении своей автобиографической книги довольно далеко (повествование она начинает с 1797 года). Сама Сталь о новом сочинении упоминает впервые в письме к Клоду Оше от 5 мая 1812 года, где сообщает, что задумала книгу «Об изгнании», в которой расскажет, среди прочего, о своей собственной судьбе.

Книга «Десять лет в изгнании» делится на две части, создававшиеся в разных условиях. Первая часть существует в двух редакциях. Над ней Сталь работала самое позднее до весны 1812 года, то есть до бегства из Коппе. Сочиняя свои воспоминания, писательница подвергалась реальной опасности, ибо префект Капель утверждал, что знает обо всем, что происходит в ее доме, и в любой момент мог захватить ее бумаги.[92] Поэтому, написав несколько страниц, она отдавала их Фанни Рендал, и та переписывала их, заменяя, в соответствии с указаниями г-жи де Сталь, все собственные имена именами из истории английской революции. Именно эту «замаскированную» рукопись *(manuscrit deguisé* — термин Огюста де Сталя) писательница взяла с собою, покидая Коппе в мае 1812 года. Сохранившиеся страницы

«замаскированной» рукописи, дошедшие до нас, охватывают события, связанные с казнью герцога Энгиенского (он выведен под именем Марии Стюарт), подписанием Конкордата и путешествием г-жи де Сталь в Италию (эти последние фрагменты в беловую рукопись не вошли). «Замаскированная» рукопись была расшифрована в Стокгольме в конце 1812 года. Имея перед глазами расшифрованный текст, Сталь начала новую редакцию, в которой опустила период с 1805 по 1810 год (по всей вероятности, эта часть вообще не была написана, хотя сохранились сделанные для нее многочисленные подготовительные заметки, опубликованные впервые в *DAE-1996),* и, начав вторую часть с истории запрещения *ОГ,* довела повествование до отплытия из Або в Стокгольм. В работе над второй частью она использовала записи, которые делала по ходу путешествия.[93] Таким образом, если вторая часть существует в одной- единственной редакции, то для первой части (1797–1804) редакций известно две: в первой, впервые опубликованной в *DÂE-1996,* больше личных впечатлений и меньше исторических подробностей; во второй исторический фон прорисован более густо. Текст этой второй редакции, полностью написанный рукой г-жи де Сталь, создавался, по-видимому, в Стокгольме и, частично, в Лондоне.

О времени работы над второй редакцией можно судить по немногочисленным упоминаниям в переписке г-жи де Сталь. 4 марта 1813 года она пишет из Стокгольма герцогине Девонширской: «Я работаю нынче над историей моего десятилетнего изгнания».[94] Работа, начатая в Стокгольме, продолжалась в Лондоне. 13 июля 1813 года Сталь сообщает оттуда своему знакомому, шведскому дипломату Густаву фон Лёвенхилму: «Я напишу „Десять лет в изгнании“ — книгу, которая наделает много шуму, если у кого-либо еще останется возможность наделать шуму, иначе говоря, если все взоры не обратятся на него [Наполеона] с его победами или поражениями».[95] Кроме того, хронологию создания текста «Десяти лет» можно отчасти восстановить по упоминаниям некоторых исторических событий. Например, в первой части коалиция России, Пруссии и Австрии упоминается как желательная, но еще не заключенная; между тем Пруссия объявила войну в марте 1813 года, а Австрия — в августе 1813 года,[96] следовательно, отрывок, о котором идет речь, написан до августа 1813 года. Другой пример — во второй части г-жа де Сталь пишет: «В ту пору я еще не видела этого Александра, наилучшего гражданина своей империи, но уже предчувствовала, что благополучие всего мира, и Франции в частности, зависит от

успехов его войска. Что сталось бы с Европой, что сталось бы с несчастной Францией, одержи тиран новую победу? Из первой нации Европы, какой она была некогда, Франция окончательно превратилась бы в рабыню, ничем не отличающуюся от прочих порабощенных народов: немцев, итальянцев, хорватов, иллирийцев, — в которых ей приказывают видеть соотечественников». Здесь упомянуты успехи русской армии, но глагол «приказывают» стоит в настоящем времени, — значит, этот фрагмент написан уже после разгрома Наполеона в России, но еще до окончательной победы над ним, иначе говоря, до апреля 1814 года.

Решение назвать новую книгу «Десять лет в изгнании» Сталь приняла еще в Стокгольме.[97] Там же, в Стокгольме, она решила отложить завершение «Десяти лет» и выполнить свое давнее намерение — рассказать о политической карьере Жака Неккера; именно из этого замысла родилась книга, которая впоследствии получила название «Размышления о Французской революции».[98] Приступив же к сочинению этой книги, Сталь, по словам ее сына Огюста, «извлекла из первой части „Десяти лет в изгнании“ исторические фрагменты и общие рассуждения, согласующиеся с замыслом нового сочинения, частные же подробности оставила в воспоминаниях, к которым рассчитывала возвратиться позже».[99]

Ни одна из этих книг, как уже было сказано, при жизни писательницы напечатана не была. Издать *РФР* г-жа де Сталь завещала своему сыну Огюсту и Августу Вильгельму Шлегелю, а ее и Неккера полные собрания сочинений — одному Огюсту. Рукопись «Десяти лет в изгнании» в завещании не упоминалась, но Огюст решил, несмотря на незавершенность текста, включить его в собрание сочинений, и в июне 1821 года текст, составивший 15-й том этого собрания, вышел из печати (объявлен в «Газете типографов и книгоиздателей» 13 июля 1821 года). Огюст внес в текст значительные изменения (куда более значительные, чем в *РФР*) — он опустил те фрагменты, которые г-жа де Сталь включила в книгу о Революции (пассажи о вступлении французской армии в Швейцарию, о перевороте 18 брюмера, о заключении Конкордата, введении пожизненного консульства, взглядах Бонапарта на революцию и проч.); вычеркнул из соображений приличия некоторые «личности», например портрет Талейрана или упоминание о том, как Барера едва не ввели в состав Государственного совета (хотя в 1821 году Талейран был не у власти, а Барер вообще изгнан из Франции); заменил многие собственные имена обозначением должностей (генерал, министр, префект и проч.). По его собственному признанию, более значительные изменения Огюст внес в первую часть, политически

более опасную, а тематически более близкую к *РФР*, однако и вторая часть также подверглась правке, в частности стилистическому «приглаживанию», хотя сам Огюст и утверждал, что «выдает ее в свет без каких бы то ни было изменений».

В течение XIX века текст несколько раз (в 1836, 1844 и 1861 годах) переиздавался в том виде, какой придал ему Огюст де Сталь.

В 1904 году появилось издание Поля Готье, более полное и более строгое в текстологическом отношении, но все равно далекое от совершенства. Готье смешал разные редакции текста; кроме того, он сохранил многие исправления и сокращения, сделанные Огюстом де Сталем, и, в частности, введенное им деление на главы, которого у г-жи де Сталь в рукописи не было.

И наконец, в 1996 году вышло издание, подготовленное Мариэллой Вьянелло Бонифачьо (текстология) и Симоной Балайе (статья и комментарии). Здесь опубликован полный текст второй редакции, сохранившийся текст первой редакции, «замаскированная» рукопись вместе с ее расшифровкой, многочисленные наброски и записные книжки, относящиеся к «Десяти годам». Именно по этому изданию выполнен наш перевод. Русские современники, однако, имели дело с изданием Огюста де Сталя, поэтому расхождения в текстах, опубликованных в 1821 и 1996 годах, существенные для истории русской рецепции книги, отмечены в соответствующих примечаниях.

* * *

«Русские» страницы «Десяти лет в изгнании» впоследствии, возможно, составили бы часть отдельной книги, посвященной северным странам (в том числе Швеции, историей которой Сталь серьезно интересовалась во время своего пребывания в Стокгольме). 19 октября 1812 года Сталь сообщала Клоду Оше о своем намерении написать о Севере Европы «такую же книгу, какую она написала о Юге».[100] Однако замысел этот не был исполнен. Из написанного г-жою де Сталь о России известны, помимо «Десяти лет в изгнании», только набросок «Москва», возможно, предназначавшийся для публикации в каком-то журнале и отличающийся от текста «Десяти лет» лишь мелкими разночтениями, самые существенные из которых указаны в наших примечаниях, и несколько страниц в *РФР* (ч. 4, гл. 19). Здесь г-жа де Сталь также признается в намерении возвратиться к русской теме:

«Я намереваюсь однажды рассказать о том, что увидела в России. Впрочем, уже сейчас, не отклоняясь от предмета своего повествования, я могу сказать, что это страна, должным образом не известная, ибо те, кто бывал в ней, обращали внимание лишь на горстку придворных, чьи недостатки тем более велики, чем менее ограничена власть государя. Едва ли не единственное их достоинство — безграничная отвага, свойственная в России почти всем сословиям; зато русские крестьяне, составляющие большую часть нации и не знающие ничего, кроме земли, которую они возделывают, и неба, в которое вглядываются, поистине достойны восхищения. Кротость этих людей, их гостеприимство, их природное изящество поразительны; они не знают, что такое опасность, не понимают, как можно счесть неисполнимым то, что приказал их господин. Царедворцы полагают, что господину непременно следует льстить, а на его расположении строить расчеты; однако народ почти азиатский считает иначе. В России монарх, стоя также и во главе церкви, составляет неотъемлемую часть религиозного культа; крестьяне простираются ниц при виде императора точно так же, как при виде храма; никакое раболепство не примешивается к этому изъявлению преданности». [101]

* * *

Книга «Десять лет в изгнании» никогда не переводилась на русский язык полностью. Более того, сразу по выходе, в 1821 г., она была запрещена цензурой, [102] однако в силу особенностей функционирования цензуры иностранных изданий в этот период[103] формальное запрещение не отменяло реального наличия книги в библиотеках многих образованных читателей, тем более что «Десять лет в изгнании» были запрещены не «безусловно», а только «для публики», иначе говоря, «узкий круг благонадежных читателей» имел право читать их вполне законно. Кроме того, поскольку общегражданская цензура и цензура иностранных книг находились в ведении разных министерств (первой ведало министерство просвещения, вторая с 1819 г. подлежала министерству внутренних дел) и цензоры русских книг могли не интересоваться мнением своих коллег из цензуры иностранной, книга г-жи де Сталь, будучи запрещенной в оригинале, появлялась (в отрывках) на страницах русской периодической печати в русских переводах.[104]

Внимание русских литераторов естественным образом привлекала часть, посвященная России. Отрывки из книги

появились в русских журналах почти немедленно после выхода ее во Франции: в «Вестнике Европы» (1821), «Новостях литературы» (1822), «Русском вестнике на 1824 год», «Московском телеграфе» (1825).

Перевод «Вестника Европы» (выполненный, судя по подзаголовку, не непосредственно по книге, а по фрагментам из нее, напечатанным в газете «Журналъ де Деба») — типичный случай «актуального» использования.[105] В мае 1821 года умер Наполеон, и русский переводчик пользуется возможностью «послушать, что говорит голос, выходящий из мрака могилы», о покойном императоре. «Барон Сталь-Голстейн теперь только издал сочинение знаменитой своей матери, оставшееся в рукописях после ее смерти. При всеобщем гонении, от которого пострадала Франция и вся Европа, г-жа Сталь имела достохвальную судьбу терпеть частное, именно до лица ее относившееся гонение, с многими приключениями и с их причинами описанное ею в статье под титулом: *Десять лет изгнания* и напечатанное в числе вышедших в свет последних ее творений. Здесь видно, что думала и что знала о Буонапарте женщина, отличная превосходным умом своим, имевшая весьма близкую связь с такими людьми, которые играли важные роли в плачевных драмах как революции французской, так и хищничества императорского. Приговоры г-жи Сталь весьма строги, при всем уважении ее к истине, при всей осторожности против тайных внушений мести. Не страшимся укоризны в мнимом оскорблении гроба, еще недавно лишь закрытого: в минуту смерти человека, имевшего обширный круг деятельности в свете, историки его вступают в права свои. Ужас налагал на всех молчание во время могущества тирана — этого и довольно!»[106] Далее следует перевод нескольких фрагментов, посвященных Наполеону (в частности, эпизод смерти герцога Энгиенского).

Современная политика интересовала и С. Н. Глинку, поместившего в издаваемом им журнале заметку под названием «Свидание 1812 года государева генерал-адъютанта Александра Дмитриевича Балашова с императором Наполеоном (отрывок из сочинения г-жи Сталь с примечаниями издателя)».[107] Глинка вольно резюмирует мнение писательницы о Наполеоне, затем приводит весьма близко к тексту «Десяти лет» разговор французского императора с Балашовым относительно московских церквей и набожности русских,[108] а затем, приведя реакцию г-жи де Сталь («Ответ удивительный! И сей ответ предвестил, что русские спасут Россию»), добавляет от себя, что «ответ А. Д. Балашова был ответом самым естественным», и заключает патриотическим выводом: «Русский наш государственный

чиновник знал сердца соотечественников своих […] а потому как опытный россиянин А. Д. Балашов мог ручаться Наполеону, что набожность русских не уступит набожности гишпанцев…»

Если «Вестник Европы» и «Русский вестник» выделили в книге г-жи де Сталь современную политическую тему, то «Новости литературы» опубликовали в трех номерах[109] (с некоторыми сокращениями) перевод страниц, посвященных пребыванию писательницы в Москве и Петербурге. Перевод этот в целом более или менее адекватен оригиналу, но в некоторых весьма существенных местах меняет его самым радикальным образом. Так, если г-жа де Сталь замечает про Оружейную палату: «Арсеналы такого рода более достойны внимания в других странах Европы», то переводчик «Новостей литературы» убирает оценку и приравнивает русский «арсенал» к иностранным: «Памятники сего рода имеют здесь особенный характер». [110] Если г-жа де Сталь пишет о Москве: «Месяц спустя этот прекрасный город уже лежал в руинах, дабы ни у кого уже не оставалось сомнений в том, что всякую страну, однажды заключившую союз с этим человеком, пожрет пламя ада, ему покорного. Какой же, однако, дорогой ценой искупили русские и их государь свое заблуждение!» — то переводчик, разумеется, опускает упоминание об ошибках российского императора, прежде потакавшего императору французскому: «величественный сей город превратился в пепел и развалины, подобно всем, куда ненасытный завоеватель приносил с собою войну и опустошение! Но Государь и народ Российский заставил его дорого заплатить за сие минутное торжество честолюбия!»[111] В описании петербургского памятника Петру I русский переводчик, разумеется, убирает все критические замечания г-жи де Сталь и оставляет только похвалы.[112]

Наконец, фрагмент, посвященный Финляндии, был переведен и весьма своеобразно «откомментирован» в 1825 году на страницах «Сына Отечества» А. А. Мухановым.[113]

Более в XIX веке текст «Десяти лет в изгнании» не переводили, русская же рецепция книги сводилась в основном к тому, что из нее черпали сведения либо о биографии самой г-жи де Сталь и ее взаимоотношениях с Наполеоном,[114] либо об Александре I и о расположении умов в России в 1812 году.[115]

До 2003 года полного русского перевода мемуаров г-жи де Сталь не существовало; читатель располагал лишь двумя переводами русской части книги, выполненными Надеждой Ржигой и Н. П. Анисимовой: первый появился в 1912 году в журнале «Русский архив» (этот текст в 1991 году был воспроизведен в составе популярного свода перепечаток), [116]

второй увидел свет в 1993 году на страницах малотиражного научного издания. [117] В редакционном предисловии к переводу Н. П. Анисимовой констатируется, что текст ее предшественницы устарел и страдает многими погрешностями; однако и перевод Анисимовой вряд ли можно назвать образцовым, прежде всего из-за установки переводчицы на воссоздание литературного стиля начала XIX века за счет ресурсов современного языка и современного политического жаргона.

Первый полный комментированный перевод «Десяти лет в изгнании» вышел в 2003 году; в настоящем издании он перепечатан с некоторыми изменениями в комментариях.

В. Мильчина

Комментарии

Литература о Наполеоне и Первой империи огромна; поэтому в комментариях к французской части книги ссылки на научную литературу сведены к минимуму, а сами комментарии носят обобщенно-энциклопедический характер; сведения о французских политических деятелях и военных, многие из которых продолжили свою карьеру в эпоху Реставрации и Июльской монархии, ограничиваются, как правило, рамками Империи. Иную задачу решают комментарии к русской части: здесь поясняются не только и не столько реалии, сколько возможные источники сообщаемых г-жой де Сталь сведений, как письменные, так и устные, а также «общие места» европейской россики. В комментариях использованы некоторые сведения из справочного аппарата DAE-*1996*. Это издание, образцовое в отношении текстологии и комментирования французских реалий, разумеется, более лаконично в раскрытии русских контекстов; кроме того, примечания к русской части не свободны от ошибок, впрочем вполне объяснимых (таких, например, как отождествление графа Дмитрия Петровича Бутурлина — библиографа, с его полным тезкой, историком — или упоминание Владимира Григорьевича Орлова там, где речь должна идти о его сыне Григории Владимировиче). Поэтому в настоящем издании русская часть комментария более подробна и больше ориентирована на восстановление реальных и литературных контекстов, чем французская.

Даты, за исключением тех, которые связаны с сугубо русскими источниками и реалиями, даются по григорианскому календарю.

Часть первая

[1] Хотя г-жа де Сталь не успела закончить книгу «Десять лет в изгнании», название ее принадлежит самой писательнице. Впервые оно появилось во второй редакции, начатой в Стокгольме. Сталь неоднократно подвергалась изгнанию и до прихода к власти Наполеона: 2 сентября 1792 г., в разгар убийств аристократов, она покинула Париж, а затем и Францию, едва избежав смерти (см.: *РФР,* ч. 3, гл. 10). 15 октября 1795 г. Комитет общественного спасения предписал ей покинуть Францию по причине ее роялистских знакомств, которые стали особенно компрометирующими после попытки роялистского переворота 13 вандемьера (5 октября 1795 г.); 22 апреля 1796 г. Директория объявляет, что если Сталь (в это время находившаяся в Швейцарии) вернется во Францию, она будет арестована; декрет этот стараниями барона де Сталя был отменен, однако во Францию г-жа де Сталь возвратилась только в самом конце 1796 г., а в Париж — в мае 1797 г. Однако поскольку вся книга строится вокруг фигуры Наполеона, то ясно, что и отсчет изгнаниям г-жа де Сталь ведет, исходя из преследований, какие она претерпела от него, иначе говоря, с сентября 1803 г. (см. примеч. 330). Впрочем, о *десяти* годах, проведенных ею в изгнании, Сталь упоминала и в письмах 1812 г. (из Стокгольма — к Этьенну Дюмону и Александру I; см.: *CS.* № 39. P. 32, 42), и в письмах 1813 г. из Лондона (Ibid. P. 120); в *РФР* (ч. 5, гл. 6) она пишет, что вернулась во Францию (в 1814 г.) «после десяти лет в изгнании» *(CRF.* P. 460). Иначе говоря, г-жа де Сталь исходила не из точного подсчета лет, а из символической «круглой» цифры, подчеркивающей длительность гонений. Больше того, выражение «десять лет в изгнании» было у нее в ходу задолго до того, как она приступила к сочинению своей автобиографической книги; 3 июля 1803 г. она писала Камилю Жордану по поводу его перевода Клопштока: «Я плакала над ним так, как если бы внезапно услышала язык отечества после десяти лет изгнания» (цит. по: *DAE-1996.* P. 17); о десяти годах изгнания идет речь и в ее драме «Женевьева Брабантская» (Ibid.).

[2] Франция вступила в конфликт между Англией и ее американскими колониями (1775–1782) на стороне последних в 1780 г., отправив в Новый Свет экспедиционный корпус под командованием генерала Рошамбо; впрочем, французское общественное мнение приняло сторону восставших почти сразу после начала военных действий в Америке. В *РФР* (ч. 1, гл. 7) г-жа де Сталь дает этому предреволюционному эпизоду

неоднозначную оценку. Конечно, пишет она, все благородные души желали, чтобы американцы обрели независимость; однако французской монархии не следовало поддерживать восстание против монархического принципа, лежавшего в ее основании; к тому же поездки добровольцев в Америку (вначале без согласия короля; именно так, например, еще в 1777 г. поехал в Америку маркиз де Лафайет) подавали французам пример неповиновения монарху и, следовательно, усиливали и без того существовавший разлад между королем и нацией. Поэтому отец г-жи де Сталь, Жак Неккер, несмотря на сочувствие американцам, уговаривал Людовика XVI не вступать в войну. Король, однако, к мнению министра не прислушался.

[3] Людовик XVI принял решение о созыве Генеральных штатов (собрании депутатов от трех сословий: духовенства, дворянства и буржуазии) в августе 1788 г. Король ждал от депутатов только согласия на изменение налоговой системы, которое позволило бы французской монархии избежать финансового краха, общество же надеялось, что созыв Генеральных штатов приблизит давно ставшие насущными политические реформы. Именно эти реформы (прежде всего отмену заключения в тюрьму без суда, по королевским указам [lettres de cachet], и провозглашение свободы печати), призванные в конце концов постепенно превратить Францию в конституционную монархию, пытался от имени короля провести в жизнь Неккер, в августе 1788 г. возвращенный королем на пост министра финансов (о Неккере см. подробнее примеч. 4). Что касается «участи Франции», то Генеральные штаты, открывшиеся 5 мая 1789 г., изменили ее гораздо сильнее, чем можно было предвидеть накануне их открытия. По инициативе депутатов от третьего сословия первоначальный вид и статус Генеральных штатов очень скоро был радикально изменен; депутаты провозгласили себя сначала (17 июня) Национальным собранием, а затем (7 июля) Национальным учредительным собранием, призванным дать стране Конституцию, иначе говоря, поставили себя выше короля, что во многом предопределило последующий ход Революции.

[4] Жак Неккер (1732–1804), уроженец и гражданин Женевы, с 1747 г. жил в Париже и сделал там карьеру на финансовом поприще. Начал он клерком в парижском банке женевского банкира Верне, а в 1765 г. стал директором собственного банка, одного из крупнейших во французской столице. С 29 июня 1777 по 19 мая 1781 г. Неккер занимал пост главноуправляющего финансами Франции и пытался исправить крайне тяжелое положение королевства; эта первая попытка окончилась увольнением от должности и высылкой из Парижа, причиной

которой стало обнародование «Отчета королю о состоянии финансов королевства». По словам г-жи де Сталь, Неккер «решил сообщить всем французам об истинном положении дел в сфере финансовой и тем самым в определенном смысле заменить дебаты в английской палате общин. В этом усмотрели покушение на власть короля» (*CRF*. P. 92–93). 25 августа 1788 г. король снова назначил Неккера на тот же пост, надеясь таким образом спасти королевство от неминуемого банкротства. О политических принципах Неккера, поклонника конституционной монархии английского образца, сама г-жа де Сталь писала следующее: «Из поездки в Англию он вынес безграничное восхищение большей частью ее установлений; тщательнее же всего изучил он влияние гласности на кредит и огромные возможности, какие открывает представительное правление для укрепления и обогащения финансов государства. Тем не менее в ту пору [в начале первого министерского срока] он был далек от мысли предлагать какие бы то ни было перемены в политическом устройстве Франции. Не вынуди обстоятельства самого короля к введению таких перемен [т. е. к созыву Генеральных штатов], г-н Неккер никогда не счел бы себя вправе приложить к этому руку. Превыше всего он ставил долг, каковой лично он обязан исполнять в настоящую минуту, а потому, будучи уверен больше, чем кто-либо, в преимуществах представительного правления, полагал, что министр, назначенный королем, вправе предлагать подобные реформы лишь с согласия самого короля. Хотя г-н Неккер был ярым противником таких привилегий, как феодальные права и освобождение от уплаты налогов, он желал вступить в переговоры с обладателями этих привилегий, дабы не жертвовать безжалостно сегодняшними правами ради завтрашнего блага» *(CRF*. P. 87–88; см. также примеч. 52; об англофильстве г-жи де Сталь см. примеч. 147). В 1789 г. Неккер, инициатор прогрессивных реформ (см. примеч. 3), пользовался огромной популярностью в народе, и его увольнение королем с поста министра 11 июля 1789 г. стало поводом к восстанию, закончившемуся взятием Бастилии. 16 июля 1789 г. он был вновь поставлен во главе правительства (см. подробнее примеч. 289) и оставался на этом посту до 4 сентября 1790 г., когда сам подал в отставку, испуганный как слишком радикальным развитием Революции, так и перспективой выпуска бумажных денег (ассигнатов), который, как он предвидел, не мог не привести к финансовому краху, что в конце концов и произошло. Для своей дочери Неккер и при жизни, и после смерти был идеалом поведения и общественного, и частного; о первом аспекте его биографии она рассказала в *РФР* (см. примеч. 6), о втором — в

написанном сразу после смерти отца сочинении «О характере господина Неккера и о его частной жизни» (1804).

[5] В произведениях г-жи де Сталь слово «enthousiasme» выступает в качестве чрезвычайно важного идеологического понятия, своего рода термина (поэтому в переводе оно передается соответствующим русским словом, а не, например, словом «воодушевление»). Следуя ренессансной традиции понимания «энтузиазма» как состояния наваждения, в котором человек получает способность к общению с высшими существами, г-жа де Сталь прибавляет к бытовому, светскому значению этого слова (восторженность) оттенок трансцендентности. Глава «Об энтузиазме» в *ОГ* (ч. 4, гл. 10) начинается следующим образом: «Многие люди питают предубеждение против энтузиазма; допуская серьезную ошибку, они путают его с фанатизмом. Фанатизм, однако, есть исключительное пристрастие к определенному мнению; что же до энтузиазма, то он есть не что иное, как форма приобщения ко всемирной гармонии; это любовь к прекрасному, возвышенность души, наслаждение самоотверженностью, соединенные в одном чувстве, высоком и покойном. Благороднейшим его определением мы обязаны грекам: в переводе с их языка энтузиазм означает „Бог внутри нас“. В самом деле, существование человека, исполненного подобных чувств, несет в себе нечто божественное» (*DA*. T. 2. P. 301). Энтузиазм «побуждает нас жертвовать собственным благополучием и даже жизнью» (Ibid.); современным немцам, убеждена г-жа де Сталь, это качество присуще в гораздо большей степени, чем современным французам, и своим описанием немецкой философии г-жа де Сталь хочет предложить французам способ избавиться от свойственного им эгоизма (качества, во всем противоположного энтузиазму). Не случайно финальная фраза *ОГ* (та, которая, согласно примечанию самой г-жи де Сталь, вызвала «наибольшее негодование полиции») звучит следующим образом: «О Франция! Земля славы и любви! Если бы однажды энтузиазм навсегда покинул тебя, если бы всем стал править расчет, если бы даже презрение к опасности рождалось исключительно из холодных рассуждений, что пользы было бы тогда в твоем прекрасном небе, в твоих блестящих умах, в твоей богатой природе! Деятельный ум и расчетливая пылкость способны сделать Францию владычицей мира, однако по себе она оставит лишь потоки песка, страшные, словно волны, бесплодные, словно пустыня!» (*DA*. T. 2. P. 316). Авторы критических статей, посвященных г-же де Сталь, постоянно предъявляли ей самой и ее любимым персонажам упреки в чрезмерном энтузиазме, который трактовали либо как манерность, либо как глупость; см.,

например, отзыв Фелетца, критика газеты «Журналь де л'Ампир», недовольного тем, что сочинительница «Коринны» «видит чувства, достойные этого имени, лишь в энтузиазме, восторженности, преклонении, идолопоклонничестве, видит страсти лишь в исступлении» (цит. по: *Balayé S.* «Corinne» et la presse parisienne de 1807 // Approches des Lumières. P., 1974. P. 2–3). С этой точкой зрения полемизировал в статье «О госпоже де Сталь и ее произведениях» (1829) Бенжамен Констан (см. о нем примеч. 90): *«Но Коринна проникнута энтузиазмом, а энтузиазм таит в себе много опасностей.* Воистину, я и не подозревал, что эти опасности грозят нам: признаюсь, глядя вокруг, я не замечаю избытка энтузиазма. Где они, эти исступленные люди, чей пыл надо столь спешно охладить? Много ли мы видим женщин, я уж не говорю мужчин, самозабвенно пренебрегающих ради чувства богатством, мнением окружающих, покоем? Много ли найдется людей, жертвующих собою во имя любви, дружбы, милосердия, справедливости, чести? Так ли настоятельна потребность положить конец этим жертвам?» (*Эстетика*. С. 252). Одна из черт Наполеона, вызывающая у г-жи де Сталь последовательное неприятие, — это его себялюбие и полное отсутствие энтузиазма в том смысле, в каком понимала это качество она сама.

[6] Книгой г-жи де Сталь, выросшей из ее желания рассказать о политической карьере отца, Жака Неккера, стали *РФР,* изданные Огюстом де Сталем уже после смерти матери, в 1818 г. В первой, второй и третьей частях этого сочинения г-жа де Сталь рассказывает о событиях Революции, начиная с открытия 5 мая 1789 г. Генеральных штатов и кончая эпохой Директории. О первом периоде Революции (1789–1791) Сталь всегда вспоминала с восхищением. Помимо либеральных убеждений на ощущения писательницы влияли и факты ее личной биографии: в это время г-жа де Сталь обрела невиданную прежде свободу и влиятельность; в единственной форме, доступной ей как женщине, она активно участвовала в политической жизни, принимая различных политических деятелей в своем салоне и обсуждая с ними насущные вопросы общественного устройства.

[7] В ходе своей первой Итальянской кампании (1796–1797) Бонапарт разбил австрийцев при Лоди, Арколе и Риволи и захватил Северную Италию; кампания закончилась подписанием 17 октября 1797 г. по инициативе самого Бонапарта, без предварительного согласия Директории, мирного договора в Кампо-Формио, по которому Австрия отдавала Франции Бельгию, левый берег Рейна и Ионические острова, а также признавала создание на захваченных итальянских территориях Цизальпинской республики.

[8] Г-жа де Сталь имеет в виду политику Директории, правившей Францией с 26 октября 1795 до 10 ноября 1799 г., то есть до государственного переворота, совершенного Бонапартом. Подробную оценку этому периоду в жизни Франции г-жа де Сталь дала в *РФР* (ч. 3, гл. 21, 24 и 25). Первый этап деятельности пяти «директоров» Сталь оценивает сугубо положительно: разруха и хаос времен Террора сменились относительным порядком; «на смену бумажным деньгам пришли металлические; старые собственники зажили мирно рядом с новыми, приобретшими во время Революции национальные имущества; дороги сделались совершенно безопасны; армии одерживали едва ли не чересчур много побед; печать вновь обрела свободу; выборы происходили в согласии с законом, так что, обладай дворяне и священники теми же правами, что и прочие граждане, Францию можно было бы считать свободной» (CRF. P. 322). Однако, продолжает Сталь, справедливым нельзя назвать даже такое государство, где преследованиям 11 подвергается один-единственный человек; что же говорить о режиме, при котором вне закона пребывает целая сотня тысяч? Рубежом, после пересечения которого Директория окончательно попрала законность, Сталь называет переворот 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.), когда трое из пяти членов Директории при поддержке армии объявили недействительными результаты апрельских выборов, давших большинство в органах исполнительной власти (Совете старейшин и Совете пятисот) роялистам, сослали в Гвиану три десятка депутатов и даже одного из «директоров» — Бартелеми, ограничили свободу печати и вновь ужесточили репрессии против эмигрантов и священников. Г-жу де Сталь переворот 18 фрюктидора ужаснул, потому что он, «разрушив обоснованные надежды на введение представительного правления, дал Франции правление военное» (*CRF.* P. 329); конечно, добавляет она, Франция в эту пору еще не подчинилась одному вождю-военному, как это произошло после 18 брюмера, однако беззакония, чинимые Директорией, подготовили почву для того переворота, который два года спустя совершил Бонапарт.

[9] Восхищение г-жи де Сталь «героем Италии» выражалось в ту пору в разговорах, письмах к друзьям и даже в посвященных ему стихах. По свидетельству современницы, «Бонапарт, *герой,* как нередко именовали его в ту пору, часто становился предметом романических мечтаний г-жи де Сталь; полагаю, она с радостью последовала бы за ним в пустыню и разделила его судьбу» (*Chastenay.* T. 1. P. 365). Если верить самому Наполеону, Сталь в эту пору писала ему «многочисленные и пространные послания, исполненные ума, огня и метафизики; она уверяла его, что одни

лишь ложные людские установления сделали его женой кроткую и смирную госпожу Бонапарт, на самом же деле ему потребна пламенная душа, подобная ее собственной, что именно она предназначена природой стать женой такого героя, как он, и проч.» (*Las Cases.* P. 141; запись от 18–20 января 1816 г.); ср. сходную реплику, якобы произнесенную г-жой де Сталь в присутствии множества гостей в доме Талейрана и зафиксированную в дневнике Вильгельма фон Гумбольдта: «Ах! Отчего я не была рождена стать женой Бонапарта?» (*Humboldt.* P. 267). Что касается «любовных посланий» г-жи де Сталь к Бонапарту, то в 1821 г. в письме к брату Жозефу Наполеон просил опубликовать их, однако этого не произошло, и текст этих писем нам неизвестен; современные исследователи склоняются к предположению, что, превознося героизм генерала Бонапарта, г-жа де Сталь просила его совершить поступок, достойный героя, и добиться освобождения Лафайета из австрийского плена (см.: *DAE-1996.* P. 47). Ко второй половине 1790-х годов относится целый ряд анекдотов, в которых г-жа де Сталь задает молодому и успешливому генералу кокетливые вопросы и получает на них холодные и нелюбезные ответы: так, на ее вопрос о том, какую женщину он ценит в мире превыше всего, Бонапарт якобы отвечал: «Ту, которая родила больше детей», а на замечание о том, что он имеет репутацию человека, мало любящего женщин: «Я люблю ту, на которой женат» (*Las Cases.* P. 298, 419; записи от 18–20 января и 13 августа 1816 г.). Анекдот этот был весьма популярен; ср. его использование в статье П. А. Вяземского о записках г-жи де Жанлис (1826) и в наброске Пушкина «Мы проводили вечер на даче…». См. также примеч. 26 и 191. Не входя в оценку достоверности этих анекдотов — впрочем, исходящих по преимуществу от самого Наполеона и мемуаристов его круга и потому заведомо недоброжелательных, ибо неприязнь к г-же де Сталь император сохранил до конца своих дней, — следует отметить, что расстановку сил они передают в общем верно: честолюбивая, склонная рассуждать на отвлеченные темы и подчинять политиков своему влиянию, г-жа де Сталь принадлежала к тому типу женщин, который Бонапарту решительно не нравился, и это разделяло их еще до всяких политических разногласий.

[10] В *РФР* (ч. 3, гл. 26) Сталь приводит особенно понравившиеся ей фразы из прокламаций Бонапарта, обращенных к итальянцам: «Вы были разъединены и покорялись тирании; вы не были способны завоевать свободу», а также: «Истинные победы, единственные, которые не вызывают раскаяния, суть те, что одержаны над невежеством» (*CRF.* P. 337).

[11] Бонапарт женился на Жозефине (Марии-Жозефе-Розе Таше де Ла Пажери, по первому мужу Богарне; 1763–1814) 9 марта 1796 г. В первой редакции «Десяти лет» далее говорилось: «Уверяли, что он любит читать Оссиана — автора стихов, в которых военный пыл смешан с чувством меланхолическим, исполняющим как побежденных, так и победителей одной и то же сердечной тоски» (*DAE-1996*. P. 319); для Сталь любовь к сочинениям легендарного кельтского барда, истинным автором которых был шотландский поэт Дж. Макферсон, была весомым аргументом в пользу Бонапарта; ведь она видела в Оссиане основоположника литературы Севера — меланхолической и философической, близкой к природе и исполненной энтузиазма, той самой, чье право на существование *наравне* с литературой Юга (восходящей к Гомеру) она отстаивала в *ОЛ* (ч. 1, гл. 11 и 12).

[12] Интонация фразы («*именно* Бонапарта») объясняется намеком на фразу из «Гения христианства» (ч. 1, кн. 1, гл. 10), в первом издании которого (1802) Шатобриан, рассуждая о девственности, называл Бога «величайшим в мире отшельником, вечным холостяком Вселенной»; из второго издания (1803) Шатобриан исключил этот образ, показавшийся публике чересчур смелым и вызвавший насмешки г-жи де Сталь и ее круга (см.: *CG*. T. 4. P. 487; *Chateaubriand F.-R. de.* Essai sur les révolutions. Génie du christianisme. P, 1978. P. 505, 1695); тем не менее в *ОГ* (ч. 3, гл. 7) Сталь прибегла к нему в полемике с идеализмом Фихте: «если предметы, которые мы видим, и существа, которые мы любим, суть не что иное, как порождение наших идей, тогда *величайшим в мире холостяком* следует назвать самого человека» (*DA*. T. 2. P. 147).

[13] Эта встреча произошла в доме Талейрана. Бонапарт приехал в Париж из Италии 5 декабря 1797 г.; Талейран, занимавший в это время пост министра иностранных дел, на который он был назначен благодаря ходатайству Сталь перед Баррасом (см. о нем примеч. 38 и 83), пригласил ее на встречу с генералом, состоявшуюся 6 декабря.

[14] Эпитет «engraissé» (упитанный) Сталь употребляла метафорически не только в негативном контексте. Ср. ее «словцо» о князе Петре Борисовиче Козловском (1783–1840), знакомом ей с 1805 г.: «Русский, упитанный европейской цивилизацией» (приведено А. И. Тургеневым в письме к брату от 1 июля 1843 г.; цит. по: *Kozlovski P.* Diorama social de Paris. P., 1997. P. 8; об общении г-жи де Сталь с Козловским см.: *Козловский П. Б.* Социальная диорама Парижа. М., 1997. С. 165–166). Отзывы Козловского о пассажах из *РФР,* повторяющих соответствующие

места «Десяти лет», см. в примеч. 39, 47, 58; ср. также примеч. 790.

[15] Египетская операция началась весной 1798 г. (экспедиционный корпус отплыл из Тулона 15 мая), между тем г-жа де Сталь в начале января 1798 г. уехала из Парижа в Коппе, поэтому с Бонапартом она виделась всего месяц, но зато почти каждый вечер, в домах общих знакомых, в частности 10 декабря 1797 г. на приеме в честь Бонапарта, устроенном во дворе Люксембургского дворца (резиденции членов Директории), и 3 января 1798 г. на приеме, который устроил в честь Бонапарта Талейран.

[16] В первой редакции даны уточнения касательно места и обстоятельств этой встречи: дело происходило на балу у министра внутренних дел Франсуа- Себастьена Летурнё (1752–1814); поскольку «платье генерала было лишено каких бы то ни было знаков различия», Сталь вначале не узнала его и, «лишь оказавшись с ним совсем рядом, поняла, кто это, и, потрясенная, отступила, невольно вскрикнув» (*DAE-1996*. P. 322).

[17] Эммануэль-Жозеф Сьейес, или Сийес (1748–1836), прославившийся накануне Революции брошюрой «Что такое третье сословие?» (1789), в течение всего революционного десятилетия играл значительную роль в политической жизни Франции: депутат Генеральных штатов от третьего сословия, затем член Национального собрания и Конвента, он после переворота 18 фрюктидора стал председателем Совета пятисот (нижней палаты). Пикантность соседства Сьейеса и Бонапарта за одним столом заключалась в том, что *позже* Сьейес принял сторону Бонапарта во время переворота 18 брюмера и в благодарность был назначен временным консулом, но очень скоро оттеснен Бонапартом от участия в реальной политической жизни, а в качестве компенсации сделан сенатором; характеристику политических взглядов Сьейеса см.: *Тырсенко А. В.* Аббат Э.-Ж. Сийес // Новая и новейшая история. 1998. № 6. О Сьейесе см. также примеч. 62.

[18] В первой редакции этот образ был конкретизирован; сначала г-жа де Сталь написала: «он как будто прятал глаза за мраморной стеной», потом зачеркнула этот вариант и заменила его другим: «он как будто опускал на глаза серую вуаль, которая лишала их какого бы то ни было выражения» (*DAE-1996*. P. 320).

[19] Обращения «сударь» и «сударыня» были отменены 20 августа 1792 г., в самый разгар Революции, через десять дней после низложения королевской власти; хотя формально режим Директории продолжал революционную политику, повседневная жизнь людей благородного происхождения в это время

постепенно возвращалась в прежнее русло. Что касается Наполеона, то он, по свидетельству г-жи де Ремюза, «тщательно придерживался обращения „гражданин“, давно забытого в свете», вплоть до 1804 г.; обращение «сударь» он впервые употребил 18 мая 1804 г., после того как был провозглашен императором (*Rémusat*. T. 1. P. 370–371). Наполеон вообще был весьма чуток к «знаковой» стороне обращений; если верить той же мемуаристке, вскоре после провозглашения его императором он сказал ее мужу, обер-камергеру нового двора: «Вы, французы, любите монархию, это единственное правление, которое вам по душе. Бьюсь об заклад, господин Ремюза, что вам в сотню раз приятнее называть меня *Ваше Величество* и слышать, как я называю вас *господином*» (Ibid. P. 390).

[20] После подписания Кампоформийского мирного договора Бонапарт был назначен полномочным представителем Франции на мирном конгрессе в немецком городе Раштатте и, направляясь туда, проехал через Коппе, однако в этот раз Неккер с ним не встретился. Увиделись они только в 1800 г. в Женеве (см. примеч. 160 и 161).

[21] Пророк Валаам был послан царем моавитян Валаком проклясть народ Израиля, вышедший из Египта, но по воле Господа четырежды благословил тех, на кого должен был обрушить проклятия (Числа, 22–24).

[22] Из пометы на полях экземпляра, переписанного компаньонкой г-жи де Сталь Фанни Рендал, явствует, что фразу эту произнесла вдова философа Кондорсе, арестованного во время Террора и принявшего яд в тюремной камере. Во время Директории в салоне г-жи де Кондорсе, урожденной Софи де Груши (1764–1822), собирались философы-«идеологи», со многими из которых Сталь была хорошо знакома и даже дружна.

[23] Улица, на которой жил Бонапарт, до конца 1797 г. называлась улицей Шантерен, затем была переименована в улицу Победы (de la Victoire), в 1816 г. вновь сделалась улицей Шантерен, а в 1833 г. опять получила имя Победы, которое носит по сей день. Жозефина де Богарне наняла особнячок на улице Шантерен в 1795 г. После женитьбы Бонапарт поселился в этом доме, а в 1798 г. купил его; после переворота 18 брюмера супруги переехали в Люксембургский дворец. В 1806 г. император подарил дом на улице Победы своей кузине Стефании Ролье Беньелли по случаю ее бракосочетания с полковником Лефевром-Денуэттом (см.: *Hillairet J.* Dictionnaire historique des rues de Paris. P, 1985. T. 2. P 628–629).

[24] До 1798 г. земля Во, на территории которой располагалось имение Неккера Коппе, подчинялась Бернскому кантону. В 1798 г.

земля провозгласила себя независимой. Впрочем, далеко не все жители Во были сторонниками независимости; 17 000 человек в 1801 г. подписали петицию о присоединении их к Бернскому кантону, которая, однако, осталась неудовлетворенной; среди сторонников независимости преобладали люди знатные, среди сторонников возвращения под власть Берна — крестьяне, которых господство бернских патрициев не смущало. Бонапарт прикрывал задуманную им оккупацию Швейцарии и создание на ее территории вместо союза кантонов единой Гельветической республики (провозглашенной 22 марта 1798 г.) свободолюбивыми лозунгами, на самом же деле одной из главных его целей был захват богатой бернской казны; часть полученных таким образом денег пошла на финансирование Египетского похода. В теории основание Гельветической республики должно было способствовать демократизации Швейцарии; Конституция, принятая в апреле 1798 г. в городе Ааргау, была копией французской Конституции 1795 г. и узаконивала такие прогрессивные перемены, как уничтожение крепостной зависимости, отмену цензуры, введение свободы совести и проч. На практике, однако, швейцарцы противились французскому влиянию, поэтому Сталь, сочувствовавшая швейцарцам и ненавидевшая Бонапарта, осуждала политику первого консула по отношению к Швейцарии как в описываемый период, так и позже, в 1802–1803 гг. (см. примеч. 292), видя в его республиканских лозунгах исключительно демагогию.

[25] В *РФР* (ч. 3, гл. 27) Сталь воспроизводит реплику Бонапарта более подробно: «Позже слово *принцип* стало вызывать у генерала Бонапарта большие подозрения, но в ту пору ему еще казалось приличным прибегать к нему, и он именно так и поступил. Когда я принялась описывать ему благоденствие и красоту Гельвеции, покой, каким она наслаждается уже много столетий, он перебил меня: „Да, разумеется, но людям потребны *политические права; да-да,* — повторил он как нечто, заученное наизусть, — *политические права“*» (*CRF*. P. 343).

[26] Ср. обсуждение вопроса о простодушии Наполеона в связи с анекдотом о его разговоре с г-жой де Сталь (см. примеч. 9) в незаконченном наброске Пушкина «Мы проводили вечер на даче…». Об источниках пушкинских представлений о простодушии Наполеона см.: *Вацуро В. Э.* Записки комментатора. СПб., 1994. С. 117–119. Пушкин вслед за Н. П. Румянцевым и П. А. Вяземским придерживается в данном случае мнения, противоположного мнению г-жи де Сталь.

[27] На самом деле Арман-Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье (1585–1642), всесильный первый министр Людовика XIII,

родился и умер в Париже, а в Риме провел всего несколько месяцев в 1607 г. по случаю своего рукоположения в епископы. Сталь относилась к Ришелье резко отрицательно, видя в нем «деспота, который полностью уничтожил самобытность французского национального характера, его честность, простодушие, независимость», заставил французов свыкнуться с преступлениями и тем обусловил их нравственное падение. Кардиналу Ришелье она противопоставляла своего отца, Неккера, в котором видела образец политика: «Сторонники деспотизма, желавшие обрести в лице первого министра короля нового кардинала Ришелье, были очень недовольны г-ном Неккером…» (*CRF*. P. 75, 88; ч. 1, гл. 2, 4). Скептическое отношение к Ришелье Сталь унаследовала от глубоко чтимого ею Монтескье, который в книге «О духе законов» (кн. 3, гл. 5), доказывая, что «добродетель не есть принцип монархического образа правления», замечал: «Если же в народе и найдется какой-нибудь злополучный честный человек, то кардинал Ришелье в своем „Политическом завещании“ намекает, что государю следует остерегаться пользоваться его услугами» (*Монтескье*. С. 30). Критика Ришелье в *РФР* вызвала возражения современников; см.: *Bailleul J.-Ch.* Examen critique de l’ouvrage posthume de Mme la baronne de Staël ayant pour titre: Considérations sur les principaux événements de la Révolution française. P., 1818. T. 1. P. 40–46. Б *РФР* Сталь так же, как и в комментируемом фрагменте, объясняет порочность Ришелье тем, что он не француз: «Во многих отношениях кардинала Ришелье можно считать чуждым Франции: будучи священником, вдобавок священником, воспитанным в Италии, он не имел ничего общего с истинным французским характером» (*CRF*. P. 75). Что касается Бонапарта, то причисление его к «иностранцам» (об отсутствии формальных оснований для этого см. примеч. 247), которые именно в силу своего чужеземного происхождения поставили Францию на край гибели, было распространенным мотивом антинаполеоновской публицистики. Так, Шатобриан в брошюре «О Буонапарте и Бурбонах», вышедшей в свет 5 апреля 1814 г., писал: «Надеюсь, настанет время, когда французы обретут свободу и торжественно объявят, что непричастны к преступлениям тирана, что убийство герцога Энгиенского, пленение папы и войны в Испании суть деяния безбожные, святотатственные, отвратительные и, главное, антифранцузские, а потому ответ за них должен держать только *чужеземец.* […] Как сказал один сенатор, мы избрали королем человека, принадлежащего к племени, откуда римляне гнушались брать рабов» *(Chateaubriand F.-R. de.* Grands écrits politiques. P., 1993. T. 1. P. 70, 97). Шатобриан исключил эту фразу из второго

издания брошюры, но позже, в «Замогильных записках», привел ее, назвав фамилию сенатора — Ланжюине — и пояснив: «Независимые мыслители, к какой бы партии они ни принадлежали и какие бы взгляды ни исповедовали, вели в пору публикации моей брошюры схожие речи. Лафайет, Камиль Жордан […], госпожа де Сталь, Шенье, Бенжамен Констан […] думали и писали примерно то же, что и я» *(Шатобриан.* С. 264).

[28] Прием этот состоялся 10 декабря 1797 г. в полдень.

[29] В *РФР* Сталь описывает ту же церемонию чуть более подробно: «Пять членов Директории в римских тогах поместились на подмостках в глубине двора; подле них располагались депутаты обоих советов, судьи и академики. Если бы дело происходило до 18 фрюктидора, иначе говоря, до того, как военная сила обрушила гонения на орган народного представительства, зрелище это могло бы показаться величественным: оркестр играл патриотические мелодии, над головами членов Директории развевались знамена, напоминавшие о великих победах. […] Лучшие люди Франции встретили генерала Бонапарта рукоплесканиями; он воплощал надежды каждого; республиканцы, роялисты, все сознавали, что настоящее и будущее находятся в его могучих руках. Увы! многие ли из юношей, кричавших в тот день „да здравствует Бонапарт!“, уцелели и не принесли свою жизнь в жертву его ненасытному честолюбию?» *(CRF.* P. 340). Римскими тогами Сталь называет торжественное одеяние членов Директории — алую мантию.

[30] В состав Директории в это время входили Баррас, Жан-Франсуа Ревбель, Луи-Мари Ла Ревельер-Лепо, Филипп-Антуан Мерлен из Дуэ и Никола-Луи Франсуа де Нёшато (в 1798 г. его сменил Ж.-Б. Трейяр).

[31] В Кампо-Формио Бонапарт уступил Венецианскую область Австрии в обмен на присоединение к Франции левого берега Рейна.

[32] Поскольку генуэзские власти пытались сохранить нейтралитет по отношению к Франции, в мае — июне 1797 г. Бонапарт пришел на помощь мятежникам, стремившимся свергнуть олигархическую республику и превратить Геную в республику демократическую. Между Генуей и Французской республикой (представляемой Бонапартом) была заключена «конвенция» о создании будущей Лигурийской республики. При составлении этой конвенции и при назначении (14 июня 1797 г.) временного правительства Бонапарт проявил немалую умеренность: генуэзцам гарантировали территориальную целостность и неприкосновенность религии, а в правительство не вошел никто из радикалов-якобинцев (именно их крайние

взгляды Сталь и именует «демагогией»).

33 Ср. в РФР: *«Г-н де Талейран, представляя Бонапарта членам Директории, назвал его* освободителем Италии и миротворцем, даровавшим Европе покой. *Он уверил их, что* генерал Бонапарт презирает роскошь и блеск, жалкое тщеславие заурядных душ, и что он любит стихи Оссиана, ибо они заставляют забывать о земле. *Земля, полагаю, была бы счастлива, если бы он в самом деле забыл о ней» (*CRF. *P. 340). Об Оссиане см. примеч. 11.*

34 Англия находилась в состоянии войны с революционной Францией начиная с 1793 г.

35 Герой этого эпизода, изложенного в «Истории упадка и крушения Римской империи» (1776, т. 1, гл. 6, примеч. 28) Эдуарда Гиббона (1737–1794), — мужчина, Гельвий Пертинакс. Поскольку воинственный император Каракалла прибавлял к своему имени названия покоренных им народов, среди которых были готы, или геты, Пертинакс высказал предположение, что Каракалле будет весьма уместно именоваться «гетическим» (geticus). Тем самым он намекнул на совершенное императором преступление: придя к власти в 211 г. вместе со своим братом Гетой, Каракалла в 212 г. убил его. Император понял намек и приказал казнить остроумца. Имя Гиббона Жермена Неккер слышала с детства; он ухаживал за ее матерью до ее замужества, и хотя Сюзанна Кюршо не пожелала стать женой английского историка, чета Неккеров относилась к нему с большим почтением; по семейному преданию, в десять лет Жермена Неккер вообразила, что, дабы доставить родителям возможность постоянно беседовать с милым их сердцу Гиббоном, она должна выйти за него замуж, и всерьез предложила это матери (см.: *OC.* T. 1. P. XXIII); пикантность ситуации усугублялась тем, что Гиббон был очень некрасив.

36 Назначенный главнокомандующим «английской» армией, Бонапарт выехал на побережье 8 февраля 1798 г., а 20 февраля, побывав в Дюнкерке, Булони, Кале, Остенде, вернулся в Париж и 23 февраля сообщил членам Директории, что без господства на море высадка в Англии невозможна.

37 Жан-Батист Бернадот (1763–1844), генерал, в 1797 г. воевавший с Бонапартом в Италии, в январе 1798 г. был назначен послом Французской республики в Австрии; его отзыв из Вены в апреле того же года был во многом вызван поведением самого Бернадота — генерала-республиканца, мало пригодного для дипломатической службы при австрийском императорском дворе. Об этом отзыве Бернадот сам попросил министра иностранных дел Талейрана 12 апреля, а на следующий день, сочтя свою миссию в Вене исчерпанной, решил отметить свой отъезд

запоминающимся жестом и вывесил на своем балконе огромный трехцветный флаг, привлекавший внимание прохожих; венцев зрелище республиканского флага возмутило; ночью недовольные взобрались на балкон и сорвали ненавистный символ республики, а затем сожгли его; начались беспорядки, а виновник происшествия потребовал сатисфакции у императора и обвинил министра Тугута в покушении на его жизнь, после чего покинул Австрию (см *:.Pingaud L.* Bernadotte, Napoléon et les Bourbons. P., 1901. P. *21–25; Егоров А. А.* Генерал Бернадот в Вене в 1798 г. // Французский ежегодник, 2000. М, 2000. С. 168–175); ср. изложение того же эпизода в воспоминаниях Барраса, утверждающего, что Бернадот действовал по собственной инициативе, а Бонапарт и Талейран воспользовались его неловкостью, чтобы его очернить (*Barras*. Т. 3. P. 206–211). Войну Австрии Директория объявила позже, 12 марта 1799 г., после того как австрийцы разрешили русским армиям, направлявшимся в Италию воевать с французами, пройти по австрийской территории. Избранный в 1810 г. шведским наследным принцем, Бернадот довольно быстро эволюционировал в сторону сближения с антинаполеоновскими силами в Европе — эволюция, завершившаяся в 1813 г. вступлением Швеции в антинаполеоновскую коалицию. Во время работы над «Десятью годами» Сталь уже знала о занятой Бернадотом позиции, поэтому на протяжении всей книги она отзывается о нем с неизменным восхищением.

[38] Поль-Франсуа-Жан-Никола, виконт де Баррас (1755–1829), во время Революции член Конвента, в 1794 г. был одним из активных участников термидорианского переворота, покончившего с диктатурой Робеспьера; избранный 31 октября 1795 г. членом Директории, он был единственным, кто оставался в ее составе до ноября 1799 г. В истории Франции этого периода Баррас сыграл важнейшую роль: именно он помог выдвижению Бонапарта (знакомого ему с 1793 г., со времен осады Тулона), который его стараниями был поставлен в 1796 г. во главе Итальянской армии; именно его позиция во время переворота 18 фрюктидора способствовала поражению роялистов и победе республиканцев.

[39] В своих воспоминаниях Баррас приводит тот же эпизод и сообщает, что рассказал о нем г-же де Сталь на следующий же день (см.: *Barras.* Т. 3. P. 160). Что же касается объявления о Египетском походе, то оно было сделано несколько позже; в *РФР* (ч. 3, гл. 27) Сталь приводит тот же диалог между Бонапартом и Баррасом, но не связывает его напрямую с Египетским походом и пишет, что Наполеон решился отправиться покорять Египет лишь

после того, как убедился в невозможности высадки в Англии (см. примеч. 36). Непосредственным поводом к Египетскому походу послужило нежелание Барраса способствовать выборам Бонапарта одним из членов Директории; сама же мысль о завоевании Египта была высказана еще в июле 1797 г. Талейраном в специальной записке; 26 января 1798 г. Талейран обсуждал это намерение с Бонапартом. Комментируемый фрагмент удостоился похвалы П. Б. Козловского, который на его основании ставит г-жу де Сталь выше Вольтера: «С глубокими идеями, достойными мыслителя, который привык иметь дело с предметами самыми серьезными, идеями на первый взгляд совсем простыми, но, по существу, весьма философическими, соседствует у ней целый ряд тонких беглых наблюдений над жизнью большого света, которые мужчина не сумел бы ни сделать, ни развить. Меж тем наблюдения эти в высшей степени важны как для живописания характеров, так и для объяснения событий. Сколько мне известно, один лишь Вольтер, благодаря великой изощренности своего ума, обладал до известной степени этой способностью угадывать едва заметные черты характера и нрава, открывающие человека изнутри. Г-жа де Сталь, однако, имеет перед Вольтером то преимущество, что описывает лишь тех людей, каких знала лично. Сравните, например, портрет Карла XII, который разрывает шпорами платье великого визиря в отместку за подписание Прутского мира, в сочинении Вольтера, и портрет Наполеона, который внезапно вскакивает в ответ на слова Барраса, отговаривающего его от намерения стать деспотом, в сочинении г-жи де Сталь» *(АВПРИ,* ф. Канц., оп. 498, № 11298, л. 127 об. — 128; ориг. по-фр.; ср.: *Дурылин.* С. 312).

[40] Имеется в виду участие Шарля-Пьера-Франсуа Ожеро (1757–1816) в перевороте 18 фрюктидора; по совету Бонапарта Ожеро был назначен командующим парижского гарнизона и помог Директории расправиться с неугодными депутатами-роялистами. В РФР (ч. 3, гл. 24) Сталь характеризует Ожеро весьма неприязненно: «человек, весьма решительный в поступках, но мало способный к размышлениям и потому всегда готовый сделаться орудием деспотизма, лишь бы деспотизм этот именовался Революцией» *(CRF.* P. 331).

[41] В РФР (ч. 3, гл. 23) Сталь комментирует эту реплику Ожеро гораздо более сочувственно и менее иронично: «Этот удивительный ответ был вполне в духе времени. Убежденные республиканцы сочли бы негодяем всякого, кто, пусть даже обладая выдающимися способностями, вознамерился бы извлечь из Революции пользу для себя самого. Отчего чувство это не овладело французами с большей силой и не поселилось в их

сердцах на более долгий срок!» *(CRF.* P 328). Признаваться в желании быть королем казалось неприличным и год спустя; когда в конце 1799 г., сразу после переворота 18 брюмера, Бонапарт и Сьейес обсуждали будущую конституцию и Сьейес, недовольный претензиями Бонапарта, воскликнул: «Вы что же, хотите быть королем?» — Бонапарт в ответ принялся «горько жаловаться на то, что его плохо поняли; то обстоятельство, что кто-то посмел усомниться в искренности его республиканских убеждений, привело его в негодование» *(Vandal* T. 1. P. 504).

[42] В *РФР* (ч. 3, гл. 27) Сталь поясняет: «Вторжение в Африку, бои в Египте, краю почти сказочном, — все это не могло не поразить умы французов. Их можно было без труда убедить, что основание колонии на Средиземном море принесет им большую пользу, ибо позволит в один прекрасный день атаковать английские владения в Индии. Замыслы эти были величественны и не могли не добавить блеска к славе Бонапарта» *(CRF.* P. 342).

[43] Неккер покинул Францию в сентябре 1790 г., после своей окончательной отставки с поста министра финансов; эмигрантом он не мог считаться по двум причинам: во-первых, потому, что был гражданином Женевы, а не французским подданным, а во-вторых, потому, что уехал с разрешения Учредительного собрания; тем не менее в 1793 г. его включили в список эмигрантов за то, что, находясь в Швейцарии, он во время суда над королем Людовиком XVI выступал в его защиту. Сталь добилась временного исключения отца из списка эмигрантов и отмены секвестра его французской собственности в июле 1797 г.; окончательно этот вопрос разрешился годом позже (см. примеч. 53).

[44] Огюсту (род. 31 августа 1790 г.) в это время было семь лет, Альберу (род. 20 ноября 1792 г.) — пять, а Альбертине (род. 8 июня 1797 г.) — полтора года.

[45] В Швейцарию французы вторглись ночью 25 января 1798 г., а в имение Коппе, располагавшееся на территории земли Во, вошли 27 января. О земле Во см. примеч. 24.

[46] Женева была независимой республикой до того, как в апреле 1798 г. ее захватили французы; летом 1798 г. город был превращен в столицу французского департамента Леман и вновь обрел независимость от Франции в 1814 г. Что же касается остальной Швейцарии, то здесь была создана единая Гельветическая республика (см. примеч. 24), просуществовавшая до 1803 г.

[47] Этот фрагмент о четырехстах швейцарцах, повторенный в *РФР* (ч. 3, гл. 28), заслужил высокую оценку П. Б. Козловского; г-же де Сталь, пишет он, после вторжения французских войск в

Швейцарию пришлось выбирать между своими благодетелями из Директории и своей первой родиной, и она по велению великодушного сердца встала на сторону гонимых (см.: *Дурылин.* С. 312).

[48] Николас Фридрих Штайгер, мэр Берна, принадлежал к партии войны, члены которой полагали необходимым противостоять французам; в Берне, однако, имелись и сторонники мира с Францией, поэтому сопротивление оказывали отнюдь не все бернцы. Жители горных кантонов сопротивлялись более яростно, однако 4 марта они отвели свои войска, и на следующий день Берн был взят.

[49] Имеются в виду кантоны Ури, Швиц, Гларус и Цуг, которые не желали подчиняться навязываемой им французами конституции и входить в состав единого централизованного государства; жители некоторых из них продолжали сопротивляться французам вплоть до апреля 1799 г.

[50] Намек на континентальную блокаду, причиной которой была отнюдь не борьба за мифическую «свободу морей», а вполне реальная война против Англии; см. подробнее примеч. 447.

[51] Имеется в виду кантон Нидвальден; его жители оказали завоевателям особенно упорное сопротивление, и потому французы действовали здесь с особенной жестокостью: сжигали здания, убивали женщин и детей.

[52] Феодальные права представляли собой совокупность повинностей разного рода (личных, денежных и проч.), которые крестьяне обязаны были исполнять; деньги и/или часть урожая, которые крестьяне отдавали дворянам, и составляли источник существования этих последних. Неккер еще с дореволюционных времен был сторонником отмены феодальных прав, однако условием такой отмены он считал возмещение помещикам их убытков, то есть выкуп крестьянами отменяемых прав.

[53] Прошение Неккера было датировано 17 июня 1798 г.; решение о его окончательном исключении из списка эмигрантов принято 31 июля 1798 г.

[54] Посланником Женевской республики при французском дворе Неккер был назначен в 1768 г.

[55] См. выше примеч. 43.

[56] Сталь, говоря об отце, неизменно подчеркивала его бескорыстие; ср. в сочинении «О характере господина Неккера»: «Вскоре после женитьбы отец был назначен посланником республики Женева в Париже. Приняв этот пост, он отказался от жалованья, посланнику причитающегося. Кажется, именно с этих пор он взял за правило никогда не принимать никакого денежного вознаграждения за государственную службу. Когда он

был королевским министром, его обвиняли в гордыне, ибо он первым во Франции, а быть может, и в целом мире отказался от огромного вознаграждения, ему полагающегося, а на роскошный образ жизни, какого требует министерское звание, тратил часть собственного своего капитала» (ОС. Т. 17. Р. 11–12).

[57] Этот указ был издан 11 июля 1789 г. Неккер вложил в королевскую казну 2 400 000 ливров (примерно половину своего состояния) в 1777 г.; вклад этот был оформлен как пятипроцентная ссуда. В сентябре 1790 г., перед отъездом из Франции после окончательной отставки, он забрал 400 000 ливров, однако 2 миллиона остались в казне; до мая 1793 г. Неккер получал с них проценты, но затем выплаты прекратились. В сочинении «О характере господина Неккера» Сталь добавляет, что Неккер вполне мог забрать из казны и оставшиеся два миллиона, ибо имел на это письменное разрешение короля, но правом этим не воспользовался (ОС. Т. 17. Р. 69). До конца наполеоновского правления деньги семье Неккера возвращены не были (об их возврате Огюст де Сталь просил Наполеона во время Ста дней — см.: *CS.* № 4. Р. 15–16). Правительство Франции расплатилось с г-жой де Сталь только при Второй Реставрации, да и то не полностью.

[58] В *РФР* (ч. 2, гл. 28) Сталь излагает этот эпизод более подробно: Директория готова была вернуть Неккеру эти деньги за счет продажи земель, которые до Революции принадлежали церкви, однако Неккер отказался — «не потому, что полагал продажу этих земель незаконной, но потому, что ни при каких обстоятельствах не хотел смешивать убеждения с корыстью, ибо не желал, чтобы хоть у одного-единственного человека могли возникнуть сомнения относительно совершенного его беспристрастия» (*CRF.* Р. 347). Ср. оценку этого эпизода в письме П. Б. Козловского к И. Каподистрии от 7/19 августа 1818 г.: «Я не могу простить г-же де Сталь ее преданности духу партии, по велению которого она преуменьшила цену прекраснейшего деяния своего отца, которого вообще превозносит до небес. Когда Наполеон предложил ему часть имуществ духовенства, дабы возместить два миллиона, отданные им Франции и потерянные, Неккер отказался. Г-жа де Сталь объясняет этот отказ тем, что отец ее не захотел марать репутацию либерала, вмешивая в дело свой личный интерес. Все, кто читал его сочинения и знал его самого, понимают, что такое объяснение неверно. В глубине души Неккер ненавидел несправедливость, которая в один день ограбила людей невинных или, что то же самое, осужденных без суда и уничтожила право наследования или дары государей, освященные столетиями» *(АВПРИ,* ф. Канц., оп. 468, № 11298, л.

118 об.; ориг. по-фр.).

[59] Имеется в виду 18 фрюктидора (см. выше примеч. 8).

[60] Речь идет о победах, одержанных русско-австрийскими войсками под командованием Суворова: взятие Милана, Турина и Мантуи (апрель — май 1799 г.), победа в сражениях при Треббии (17–19 июня 1799 г.) и Нови (15 августа 1799 г.).

[61] Этот «переворот внутри сераля» именовался иначе государственным переворотом 30 прериаля VII года (18 июня 1799 г.). В этот день все члены Директории, за исключением Барраса (их перечень см. в примеч. 30), подали в отставку, а на их место обоими Советами (старейшин и пятисот) были избраны Сьейес, Луи-Жером Гойе (1746–1830) — адвокат, министр юстиции в 1793–1794 г., Пьер- Роже Дюко (1747–1816) — якобинец, бывший член Конвента (г-жа де Сталь, по свидетельству современницы, говорила о нем, что он, занимая в Директории место между Сьейесом и Баррасом, играет роль «хлопчатой прокладки между двумя фарфоровыми чашками» — Chastenay. T. 1. P. 406), и Жан-Франсуа-Огюст Мулен (1752–1810) — инженер, во время Революции волонтером вступивший в армию и подавлявший в 1793 г. контрреволюционное восстание в Вандее, а затем сделавший стремительную военную карьеру и дослужившийся до бригадного генерала. Таким образом, умеренных политиков сменили люди более левых убеждений. Более подробные характеристики новых членов Директории даны в *РФР* (ч. 3, гл. 29): «Выбор пал на людей до того заурядных, что Франция, очень скоро наскучив ими, стала громко призывать вверить бразды правления человеку военному […] Адвокаты, включенные в 1799 г. в состав Директории, были способны лишь выставить власть в смешном свете, талантами же и добродетелями, которые делают власть столь полезной и почтенной, природа их обделила; удивительно, с какой быстротой новый член Директории начинал вести себя по-королевски; должно быть, ремесло это не такое уж трудное. Стоило безвестнейшим из смертных — Гойе, Мулену, Бог знает кому еще? — войти в Директорию, и назавтра они уже толковали исключительно о самих себе: они рассказывали о своем здоровье и своих семейных делах так, как если бы предметы эти занимали весь свет». Вдобавок, продолжает Сталь, поскольку все эти люди запятнали себя во время Террора каким-либо злодеянием, они при первом удобном случае начинали рассказывать о нем подробнейшим образом, ибо «жизнь всякого человека, повинного в преступлении политическом, навеки связана с этим преступлением: виновный стремится либо оправдаться, либо захватить побольше власти, чтобы заставить забыть о своем

деянии» (CRF. P. 348–349). О Гойе и Мулене см. также ниже в тексте и в примеч. 79.

62 Иронический, хотя и не лишенный сочувствия, портрет Сьейеса нарисован г-жой де Сталь также в *РФР* (ч. 2, гл. 6): «До сорока лет он вел жизнь уединенную, посвященную размышлениям о вопросах политических, причем размышления эти носили характер по преимуществу умозрительный; он был мало приспособлен к общению с другими людьми, ибо его слишком сильно раздражали их несовершенства, а их — его собственные. Тем не менее, ценя его выдающийся ум и манеру изъясняться коротко и решительно, депутаты [члены Учредительного собрания] выказывали ему суеверное почтение. Мирабо охотно соглашался с теми, кто предпочитал его собственному красноречию молчание аббата Сьейеса, ибо соперничество такого рода безопасно. Все верили, что Сьейес, человек загадочный, знает о конституциях нечто такое, что, однажды оглашенное, принесет поразительные плоды. Иные юноши, больше того, зрелые мужи выдающегося ума, взирали на него с величайшим восхищением; всякий был готов превозносить его в ущерб остальным, ибо он ни при каких обстоятельствах не обнаруживал себя целиком» (CRF. P. 195). Ср. также близкий по духу, хотя и куда более жесткий портрет Сьейеса, нарисованный Бенжаменом Констаном: «Больше всего на свете он ненавидел дворян. Ненависть эта владела им с детства, а поскольку он был умнее прочих революционеров, ненависть в его душе усугублялась сознанием, что ему никогда не удастся извести дворянство окончательно. Его гневные речи против дворян оканчивались тяжелым вздохом: „И подумать только, что мне никогда не принадлежать к роду Монморанси!“ […] Другой страстью, владевшей Сьейесом, был страх. Он повсюду различал грозившие ему опасности и искал, кого бы подставить вместо себя […] В начале своей политической карьеры он был предельно бескорыстен, ибо не ведал цены деньгам; так львы сидят смирно до тех пор, пока не узнают вкуса крови. Но уяснив, как много пользы приносят деньги, он тотчас переменился; теперь, сколько ни дай, ему все было мало. В ответ на упреки одной из своих приятельниц он сказал: „Видите ли, когда я ходил пешком, встречные говорили обо мне гадости, и я все это слышал; теперь я езжу в карете и не слышу ровно ничего; вот и вся разница“. Приняв участие в Революции, этот человек, повинующийся двум страстям: ненависти и страху, сделался чудовищем» (*Constant*. P. 32; впрочем, Констан признавал за Сьейесом «изумительные способности к созданию и развитию теорий общественного устройства», ценность которых, однако, существенно уменьшало

«совершенное неумение приказывать, убеждать и действовать» — Ibid. P. 79). Подробный портрет Сьейеса с указанием на трусость и желчный нрав как главные черты его характера см. также: *Талейран.* С. 363.

[63] Генерал Жан-Виктор Моро (1763–1813) в 1799 г. командовал французской армией в Италии до прибытия на театр военных действий генерала Жубера (4 августа) и после его гибели в битве при Нови (15 августа), а в сентябре был назначен на пост командующего Рейнской армией; в перевороте 18 брюмера он участвовал скрепя сердце и на вторых ролях (изолировал членов Директории Гойе и Мулена). В дальнейшем отношения Бонапарта и Моро становились с каждым годом все напряженнее: первый консул завидовал военным победам Моро, Моро насмехался над «пошлыми выдумками» Бонапарта. Кончилось все обвинением Моро в причастности к роялистскому заговору и судом (1804), о котором г-жа де Сталь подробно рассказывает ниже.

[64] Жан-Шарль Пишегрю (1761–1804), один из самых популярных генералов революционной армии, с 1795 г. тайно перешел на сторону роялистов; избранный в 1797 г. в Совет пятисот, он после переворота 18 фрюктидора был выслан в Гвиану, сумел бежать и добраться до Англии, откуда в феврале 1804 г. тайно вернулся во Францию, чтобы принять участие в антинаполеоновском роялистском заговоре (см. с. 78).

[65] Бернадот с 3 июля по 14 сентября 1799 г. занимал пост военного министра.

[66] То есть роялисты, сражавшиеся против революционной Франции в войсках государств так называемой Первой коалиции, созданной в 1792 г.; в нее входили Россия, Сардиния, Испания, Королевство обеих Сицилий, Пруссия, Австрия и (с 1793 г.) Англия. В этом случае, как и много раз в дальнейшем, Сталь, принадлежавшая к числу умеренных, подчеркивает сложность положения Франции, раздираемой противоречиями между крайними партиями: радикальными республиканцами-якобинцами, с одной стороны, и не менее радикальными роялистами — с другой.

[67] Оба брата, и Жозеф Бонапарт (1768–1844), впоследствии король Испании, и Люсьен Бонапарт (1775–1840), впоследствии впавший в немилость из-за женитьбы на особе, неугодной императору, принадлежали в описываемый период к кругу близких знакомых г-жи де Сталь; ср. в первой редакции: «Я испытывала искреннее расположение к одному из братьев Бонапарта, Жозефу; я искренне восхищалась умом другого, Люсьена» (DAE-*1996*. P. 323).

[68] Членом Французского Института (то есть совокупности

академий) по классу наук и математики Бонапарт был избран 25 декабря 1797 г. В Египетский поход Бонапарт взял с собой членов Института и других видных ученых и литераторов, чтобы с их помощью основать в Каире Институт по типу парижского и тем самым начать просвещение покоренного Египта.

[69] Готовности перейти в ислам Бонапарт не изъявлял, но в прокламациях к арабам, которые составлял от его имени ориенталист Жан-Мишель Вантюр де Паради, демонстрировал уважение к мусульманской религии. В *РФР* (ч. 4, гл. 1) Сталь издевательски пересказывает апокрифический диалог Бонапарта с муфтием внутри пирамиды: «„Слава Аллаху! — сказал Бонапарт. — Нет Бога, кроме Бога, и Магомет — пророк его“. […] — „Ты говоришь как мудрейший мулла“, — отвечал муфтий. „Я могу спустить с небес на землю огненную колесницу“, — продолжал Бонапарт. „Ты величайший полководец из всех, в чью руку Магомет вложил оружие“, — отвечал муфтий» (CRF. P. 354). Приведя этот диалог, Сталь не без злорадства добавляет, что Магомет не помешал англичанам разбить блистательного полководца Бонапарта при Сен-Жан-д'Акре (см. подробнее примеч. 227).

[70] Здесь, как и при описании эпизода, после которого Бонапарт якобы решился отправиться в Египет, Сталь сближает события, в реальности отделенные одно от другого как минимум десятком дней; почту из Парижа Бонапарт получил около 10 августа, а отплыл из Египта в ночь с 22 на 23 августа 1799 г.

[71] Имеются в виду события 27 фрюктидора (13 сентября 1799 г.), когда Жан- Батист Журдан, будущий наполеоновский маршал, а в описываемый период депутат Совета пятисот и глава так называемой «неоякобинской» партии, потребовал (в связи с военными неудачами, которые в этот момент переживала Франция в Швейцарии и Голландии) провозгласить «отечество в опасности» и прибегнуть к тем репрессивным мерам, какие принимал во время Террора Комитет общественного спасения. Однако после бурных дебатов Совет пятисот это предложение отверг.

[72] Андре Массена (1758–1817) встал во главе французской армии, сражавшейся в Швейцарии, в феврале 1799 г., а 9 апреля ему было вверено командование Гельветийской, Рейнской и Дунайской армиями; 25–26 сентября он разбил русско-австрийскую армию в сражении при Цюрихе.

[73] Англо-русские войска высадились в Голландии 27 августа и в сентябре осадили город Алкмар, однако франко-голландские войска под командованием генерала Брюна вынудили их снять осаду; 18 октября 1799 г. в Алкмаре была подписана конвенция о

выводе из Голландии английских и русских войск.

[74] В армии, как и вообще в стране, царил беспорядок, который Бернадоту за время его недолгого пребывания на посту военного министра (см. примеч. 65) отчасти удалось ликвидировать: он осуществил реорганизацию национальной гвардии, провел набор рекрутов и, главное, сохранил независимость, не приняв сторону ни одной политической группировки. Реальной причиной отставки Бернадота стало намерение якобинцев — организаторов неудавшегося переворота 27 фрюктидора (см. примеч. 71) — предложить этому генералу единоличную власть.

[75] Бонапарт высадился во Фрежюсе 9 октября 1799 г.; 13 октября 1799 г. он добрался до Лиона, а 16 октября был уже в Париже.

[76] Карантин был устроен для того, чтобы прибывшие из Египта не занесли в Европу чуму.

[77] Согласно воспоминаниям Барраса, Жан-Франсуа Ревбель (1747–1807), член Директории с ноября 1795 по май 1799 г., подтвердил свои слова о Бонапарте делом; он возражал против Египетского похода, а когда Бонапарт воскликнул, что, если экспедицию в Египет отменят, он подаст прошение об отставке, Ревбель протянул ему перо. Ситуация разрядилась только благодаря вмешательству двух других членов Директории: Барраса и Франсуа де Нёшато.

[78] В 1800 г. во Франции проживало примерно 29 миллионов человек (см.: *Dictionnaire.* P. 1357); цифра, называемая г-жой де Сталь, восходит к дореволюционным данным, которыми располагал ее отец в бытность свою министром; с тех пор население Франции значительно увеличилось за счет жителей территорий, завоеванных республиканской армией.

[79] Гойе, последний председатель Директории, опубликовал в 1775 г. сатирически-аллегорическую пьесу, посвященную восшествию на престол Людовика XVI, а в 1794 г. — выдержанное в надлежащем патриотически-революционном духе продолжение трагедии Вольтера «Смерть Цезаря». Гойе и Мулен (см. о них примеч. 61) принадлежали к числу «неоякобинцев». Единомышленник г-жи де Сталь Бенжамен Констан в поздней (1829) мемуарной заметке оценивает этих двух членов Директории иначе: «…генерал Мулен, о котором мало говорили прежде и, насколько мне известно, вовсе не говорили после его короткого пребывания у власти, и Гойе […] пользовавшийся уважением всех, кто его знал, убежденный республиканец, безупречный гражданин, не допускавший и мысли о том, что можно нарушить Конституцию, которой ты присягал, и, по

причине цельности своей совестливой натуры, всю жизнь почитавший себя членом Директории, ибо он был лишен этого звания незаконно, а все, что незаконно, он полагал небывшим» (*Constant*. P. 117). Перечисленные Сталь римские полководцы упомянуты здесь как образцы высокого героизма; из них не все были врагами Цезаря; будучи его политическим противником, Красс тем не менее входил вместе с ним и Помпеем в первый триумвират и погиб (в 53 г. до н. э.) еще до начала противоборства между Цезарем и Помпеем; Катон Утический, защитник республики, вначале выступал против всех триумвиров и лишь впоследствии принял сторону Помпея в его борьбе против Цезаря. В *РФР* (ч. 4, гл. 2), сопоставляя безвестных противников Бонапарта со славными оппонентами Цезаря, Сталь называет Помпея, Катона и Цицерона (*CRF*. P. 356).

[80] В беседах с Лас Казом на острове Святой Елены Наполеон вспомнил эту реплику в связи с речью, которую Шатобриан в апреле 1811 г. намеревался произнести во время церемонии принятия его в члены Института (Французской академии); император просмотрел речь заранее и остался крайне недоволен обнаруженными там намеками на то, что он незаконно захватил французский престол, по праву принадлежащий Бурбонам. «Неужели, — воскликнул он, — все мы бандиты, а я — всего-навсего узурпатор? Я никого не свергал с трона, я поднял корону из канавы, а народ венчал меня ею: его деяния следует уважать!..» *(Las Cases.* P. 304; ту же фразу, сказанную Наполеоном Государственному совету, см.: Ibid. P. 65). Ср. также у г-жи де Ремюза: «В конце концов Бонапарт был не обычным узурпатором; его возвышение не имело ничего общего с возвышением Кромвеля: „Французская корона, — говорил он, — валялась на земле; я поднял ее острием шпаги“» (*Rémusat*. T. 1. P. 380).

[81] Имеются в виду идеи философов шотландской школы, или школы «здравого смысла» (Т. Рид, Д. Стюарт и др.), согласно которым знания, приобретаемые опытным путем, сочетаются во всяком рассудке с суждениями интуитивными (см.: Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М., 1982. С. 272–321); Сталь высоко оценила роль шотландских философов в полемике с сенсуализмом в *ОГ* (кн. 3, гл. 2).

[82] В переписке того времени Сталь отзывалась о Бонапарте более восторженно, называя его человеком, который «один стоит целой армии», героем, «который спас Республику» (письма к А. Мейстеру от 15 октября 1799 г. и к Ш. Пикте де Рошмону от 24 октября 1799 г.; цит. по: *DAE-1996.* P. 67).

[83] Накануне 18 брюмера Баррас был проинформирован о готовящемся перевороте, но не стал ему препятствовать; он уже

не верил в прочность режима Директории и даже вступил в тайные эпистолярные отношения с пребывавшим в эмиграции графом Прованссским (будущим Людовиком XVIII). Позиция Барраса, 18 брюмера добровольно подавшего в отставку, способствовала победе Бонапарта: Сьейес был на его стороне, а остальные три члена Директории не имели ни сил, ни авторитета для борьбы. В Гробуа, куда Баррас высказал желание удалиться, его по приказу Наполеона сопровождала сотня драгун. Это роскошное поместье в крае Бри (на востоке Парижского бассейна) было куплено Баррасом на деньги, нажитые в бытность его членом Директории (среди источников его состояния не последнюю роль играли взятки от банкиров и армейских поставщиков). В 1801 г. Бонапарт приказал Баррасу удалиться от Парижа на 40 лье, и тот уехал в Брюссель, а Гробуа продал генералу Моро. После ареста Моро поместье было конфисковано и подарено императором генералу Бертье, а Баррасу Наполеон вернул те 100 000 франков, которые ему остался должен Моро. Сталь прекрасно знала Барраса и была с ним в хороших отношениях; именно его заступничеству она, изгнанная из Франции осенью 1795 г., была обязана возможностью вернуться в Париж в мае 1797 г.

[84] Подробнее о роли Сьейеса в составлении Конституции VIII года см. ниже в тексте Сталь и в примеч. 102 и 103.

[85] Имеется в виду переворот 18 фрюктидора (см. примеч. 8).

[86] Бонапарт в этот период встречался с Бернадотом дважды: 28 октября (6 брюмера) и утром 10 ноября (19 брюмера); на это последнее свидание Бернадот пришел в гражданском платье и отказался принимать в перевороте активное участие; впрочем, он не стал и противодействовать заговорщикам и отправился завтракать в дом приходившегося ему свояком Жозефа Бонапарта, в задачу которого входило привлекать на сторону инициаторов переворота общественное мнение. Именно нейтралитет Бернадота, равно как и всех других видных генералов, за исключением «неоякобинцев» Журдана и Ожеро, способствовал успеху предприятия.

[87] Бернадот был отставлен от этой должности 14 сентября 1799 г., поскольку его заподозрили в причастности к неудавшемуся якобинскому перевороту (см. примеч. 74).

[88] Намек на роль, которую Бернадот уже в качестве шведского наследного принца сыграл в борьбе против Наполеона в 1812–1814 гг.

[89] До этого Совет пятисот заседал в Манеже, где прежде работало Учредительное собрание, а Совет старейшин — во дворце Тюильри, где прежде собирался Конвент. Бонапарт

опасался, что парижская толпа, настроенная проякобински, окажет поддержку депутатам. Если решение о переводе Законодательного собрания в Сен-Клу было принято в соответствии с Конституцией, то другое, не менее важное решение (о назначении Бонапарта командующим парижским гарнизоном) было принято Советом старейшин в обход закона, ибо по Конституции оно являлось прерогативой самой Директории.

[90] Имеется в виду Бенжамен Констан де Ребек (1767–1830); его знакомство с г-жой де Сталь состоялось в 1794 г., любовная связь началась в 1796 г. и длилась, несмотря на многочисленные ссоры и разрывы, рано или поздно оканчивавшиеся примирениями, до 1811 г. Страстно любя Констана, Сталь, однако, овдовев, не соглашалась выйти за него замуж (поскольку не хотела отказываться от титула баронессы и фамилии, которую она успела прославить литературными трудами), но не хотела и расставаться с ним; о перипетиях их отношений см., в частности: *Констан.* С. 449–452. Летом — осенью 1799 г. Констан находился в Париже и, подобно многим другим республиканцам, много общался с Сьейесом (19 июня избранным председателем Директории), надеясь с его помощью сохранить и укрепить республиканский режим во Франции. 5 ноября Констан выехал из Парижа навстречу г-же де Сталь, возвращавшейся из Коппе, и вернулся в столицу вместе с нею 9 ноября (18 брюмера) во второй половине дня. Утром следующего дня, узнав о начавшемся государственном перевороте, он «более в качестве зрителя, нежели в качестве сообщника, не без колебаний и грусти отправился в Сен-Клу и присутствовал там при крушении представительной власти, которой Франция лишилась в тот день на целых четырнадцать лет» (*Constant.* P. 76).

[91] Эти слова Бонапарт адресовал в Каире сановникам египетского «генерального дивана» — организованного им совещательного органа из местных жителей; в *РФР* (ч. 4, гл. 2) Сталь описывает поведение Бонапарта 19 брюмера следующим образом: «Он попытался сказать старейшинам: „Я бог войны и удачи, следуйте за мной“. Однако на деле он хотел обратиться к ним с речью куда менее высокопарной: „Все вы ничтожества, и я прикажу расстрелять вас, если вы не будете мне повиноваться“» (*CRF.* P. 358).

[92] Люсьен Бонапарт, в 1793–1794 гг. активно поддерживавший якобинцев, был избран в члены Совета пятисот от Корсики в апреле 1798 г., а председателем этого Совета — 1 брюмера (23 октября 1799 г.), и это стало важным этапом в подготовке переворота.

[93] Версия о кинжале, которым был якобы вооружен корсиканский депутат Совета пятисот Бартелеми Арена (1765–1829), была обнародована в правительственной газете «Монитёр» 23 брюмера; на самом деле кинжал в этом эпизоде скорее всего вообще не фигурировал. Бонапарт «пострадал» от рук другого депутата, силача Юга Дестрема (1754–1804), который с силой стукнул его по плечу и крикнул: «Так вот для чего ты одерживал победы?» (*Vandal.* Т. 1. P. 374). Дестрем на следующий день, 20 брюмера, был приговорен к высылке на Антильские острова. Арена, всю жизнь отвергавший обвинения в покушении на убийство Бонапарта, сумел бежать из Франции и благодаря этому спасся от проскрипции.

[94] Командовал этими гренадерами Иоахим Мюрат (1765–1815), получивший во время Египетской кампании звание дивизионного генерала; вначале он поднялся на трибуну и объявил: «Граждане! Ваше собрание распущено!» Поскольку депутаты расходиться не хотели, к гренадерам Мюрата присоединились гренадеры под командованием зятя Бонапарта, генерала Леклерка (см. о нем примеч. 216); впрочем, возглас «Вышвырните всю эту сволочь вон!» позднейшие воспоминания приписывают именно Мюрату.

[95] Сталь уподобляет тогам древнеримских сенаторов расшитые алые мантии, в которых закон обязывал членов Совета пятисот являться на заседания.

[96] Сторонники Бонапарта и Сьейеса активно распространяли накануне переворота версию о готовящемся во Франции «заговоре якобинцев», состоящих вдобавок «на жалованье у англичан». Говоря, что бояться якобинцев не стоило, Сталь противоречит сказанному ею же самой несколькими абзацами раньше о ее готовности покинуть город в случае, если якобинцы возьмут верх. Отрицание якобинской угрозы необходимо ей, чтобы возложить всю ответственность за переворот на Бонапарта. В соответствующем месте *РФР* (ч. 4, гл. 2) пассаж о якобинцах, которых Франции более не стоило бояться, опущен.

[97] Решение о национализации и продаже имений духовенства было принято Учредительным собранием 2 ноября 1789 г.

[98] В письме к Жозефу Бонапарту от 18 декабря 1801 г. Сталь приписывает сходную реплику Антуану-Клеру Тибодо (1765–1854), во время Революции монтаньяру и члену Конвента, при Директории члену Совета пятисот, при Консульстве и Империи префекту департамента Буш-дю-Рон.

[99] Во время сочинения «Десяти лет в изгнании» г-жа де Сталь еще не знала лично Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона (1769–1852), зато ей, разумеется, были хорошо известны его

военные подвиги, в частности победа над французскими войсками в Португалии и Испании в 1809–1812 гг. Личное знакомство Сталь и Веллингтона состоялось в Париже в июне 1814 г. и продолжилось во время пребывания Веллингтона в Париже на посту английского посла во Франции (август 1814 — январь 1815 г.); политические разногласия (консервативные взгляды Веллингтона были далеки от либерализма г-жи де Сталь) не мешали дружеским отношениям, о которых свидетельствует их переписка (см.: P*ange)*. Комментируемая фраза, впрочем, не лишена снисходительности по отношению к английскому полководцу: если за Наполеоном г-жа де Сталь признает гений (хотя и весьма специфический — «адский»), то Веллингтону она, восхваляя его порядочность, в гении отказывает.

[100] Под истинными республиканцами Сталь подразумевает себя, Констана и тех их единомышленников, которые начиная с 1789 г. выступали за политическое равенство, представительное правление и уважение к собственности, чуждаясь при этом крайностей — как правых (роялизм), так и левых (якобинство).

[101] Вечером 19 брюмера была создана консульская комиссия, в которую вошли Бонапарт и два члена Директории: Сьейес и Роже Дюко, и две комиссии, составленные из депутатов, которые поддерживали Бонапарта (25 человек из бывшего Совета старейшин и 25 человек из бывшего Совета пятисот). Им предстояло спешно сочинить новую конституцию, которая получила название Конституция VIII года (см. о ней примеч. 103).

[102] Репутацию величайшего теоретика-конституционалиста Сьейес завоевал благодаря ряду речей, которые он произнес и опубликовал накануне принятия так называемой Конституции III года, по которой Франция жила в 1795–1799 гг. Предложения Сьейеса по поводу новой конституции были опубликованы в «Монитёре» 10 фримера VIII года (1 декабря 1799 г.), причем текст этот записал под диктовку Сьейеса член комиссии Совета пятисот, Буле из департамента Мёрт.

[103] Формально Конституция Сьейеса не отменяла всеобщего избирательного права, однако в реальности предложенная им система, во-первых, существенно расширяла полномочия исполнительной власти, а во-вторых, делала выборы многоступенчатыми. Все было устроено в соответствии с максимой Сьейеса: «Власть должна исходить сверху, а доверие — снизу». Страна делилась на «коммунальные избирательные округа». Каждый округ выбирал сотню нотаблей («коммунальный список»); те выбирали одну десятую из своего состава, и эти люди составляли список следующего уровня — «департаментский список». Наконец, нотабли, входившие в этот последний список,

выбирали из своего состава «национальный список» из 5000 граждан, из которого и выбирались представители законодательной и исполнительной власти. Определять этих последних должны были организаторы переворота 18 брюмера, ставшие пожизненными членами несменяемого органа под названием «консервативный Сенат». Эта часть замысла Сьейеса в общем устраивала Бонапарта. Разногласия касались самой верхушки пирамиды власти. По мысли Сьейеса, на самом верху должен был стоять «великий выборщик», чья функция сводилась к назначению двух глав исполнительной власти — консулов; в ведении одного из них должны были находиться внешние дела, в ведении другого — внутренние, причем у каждого в подчинении находились бы собственные советники и министры, ими же и назначенные. Великий же выборщик, назначив консулов, получал бы огромное жалованье и царил в Версале, не делая ровно ничего, как некий «праздный король». Естественно, эту роль Сьейес поначалу отводил себе, но затем согласился уступить ее Бонапарту Однако Бонапарта роль бездельника, не имеющего доступа к реальной власти, или, по его собственному определению, «свиньи для откорма», устроить не могла. Поэтому в конечном счете система приняла следующий вид: на верху пирамиды стоят три консула, из которых второй и третий имеют совещательный голос, а все решения принимает первый консул — Бонапарт; имена всех трех консулов (Бонапарта, Камбасереса и Лебрена), а также двух первых сенаторов: Сьейеса и Роже Дюко (члена Директории, участвовавшего в подготовке переворота 18 брюмера) были записаны непосредственно в Конституции. Первый консул назначает членов Государственного совета, которые под его руководством готовят проекты законов, а два первых сенатора вместе со вторым и третьим консулами кооптируют в Сенат остальных его членов; 60 сенаторов назначаются таким способом, а 20 выбираются из «национального списка» (по два человека в год в течение десяти лет). Сенаторы выбирают из «национального списка» две палаты Законодательного собрания: сто членов Трибуната (с ежегодным обновлением одной пятой части), которые обсуждают предложенные Государственным советом законы; 300 членов Законодательного корпуса (с ежегодным обновлением одной пятой части), которые в соответствии с намерениями первого консула утверждают или отвергают решения Трибуната без обсуждения. Таким образом, Конституция VIII года (принятая 13 декабря 1799 г.) предоставляла огромные возможности первому консулу — Бонапарту. Что касается Сьейеса, то он скрепя сердце согласился с поправками, совершенно извратившими его

замысел, и в качестве компенсации получил должность председателя Сената.

[104] Согласно Конституции, члену Трибуната полагалось в год жалованье в 15 000 франков, члену Законодательного корпуса — в 10 000 франков. Первому консулу, также по Конституции, причиталось за VIII год 500 000 франков, а сенаторам — одну двадцатую часть от жалованья первого консула, то есть 25 000 франков.

[105] 21 декабря по инициативе Бонапарта консульская комиссия постановила подарить Сьейесу «от имени благодарной нации» имение Крон в департаменте Сена и Уаза, оцененное в 480 000 франков.

[106] Семья Жан-Жака-Режи Камбасереса (1753–1824) принадлежала к дворянству мантии (то есть к судейским, получившим дворянство за государственную службу); до Революции Камбасерес, пойдя по стопам отца, начал службу в суде, решавшем спорные вопросы, связанные с налогами, в родном Монпелье, где в 1785 г. с ним познакомилась 19-летняя Жермена Неккер, оказавшаяся в этом городе вместе с родителями; во время Революции он начал делать политическую карьеру как член Конвента, сочувствующий монтаньярам. Вопрос об учреждении чрезвычайных революционных трибуналов, приговор которых не подлежит обжалованию, был поставлен на голосование в Конвенте 9 марта 1793 г.; Камбасерес голосовал «за», однако вообще он даже во время Террора пытался сохранить ту умеренность, которая была свойственна ему и позже (так, он сначала был против казни Людовика XVI и, лишь узнав мнение большинства, резко изменил свою позицию). В гору Камбасерес пошел после термидорианского переворота, став сначала председателем Конвента, затем членом Совета пятисот, а с июля 1799 г. министром юстиции. Его знакомство с будущим императором началось в сентябре 1794 г., когда он, не читая, подписал бумагу об отрешении от должности некоего генерала Бонапарта, а затем, по просьбе этого последнего, приказ отменил. Камбасерес деятельно участвовал в подготовке переворота 18 брюмера; именно в его доме заговорщики сошлись накануне решительного дня, а уже на следующий день после переворота Камбасерес снова получил назначение на пост министра юстиции; находясь на этом посту, он способствовал внесению в новую конституцию статей, существенно расширяющих полномочия первого консула; когда же Конституция VIII года была принята, министр юстиции стал вторым консулом. Бонапарт без колебаний назначил его на эту должность; ему импонировали и юридические познания Камбасереса, и его личная преданность

первому консулу, и его убеждения «государственника»: Камбасерес желал сохранить традиции сильного государства, каким оно было при абсолютной монархии, но при этом приспособить его к новым революционным условиям; впрочем, он был убежден, что сильная власть должна стремиться к умеренности, и пытался смягчить меры чересчур авторитарные; наряду с Жозефиной он был единственным, кто умел умерять гнев Бонапарта, и пользовался этим умением. В 1804 г. после провозглашения Наполеона императором Камбасерес был назначен на одну из высших должностей — должность великого канцлера.

[107] Если кандидатура второго консула не вызывала у Бонапарта сомнений, то на Шарле-Франсуа Лебрене (1739–1824) он остановил свой выбор не сразу. Если верить воспоминаниям Пьера-Луи Рёдерера (см. о нем примеч. 124), в начале Консульства очень близкого к Бонапарту, первого консула расположила к Лебрену информация о его чиновничьей и литературной карьере. Начав службу при Рене-Шарле-Никола-Огюстене де Мопу (1714–1792), первом президенте Парижского парламента (с 1763 г.), а затем канцлере (с 1768 г.), Лебрен хранил ему верность не только до тех пор, пока Мопу оставался в силе, но и после 1774 г., когда с приходом к власти нового короля Мопу впал в немилость. Во время Революции Лебрен был сначала депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, а затем членом Учредительного собрания; тем не менее при Терроре дважды подвергался аресту и вышел на свободу только после термидорианского переворота. На заседаниях Совета старейшин, депутатом которого он был избран в 1797 г., Лебрен выступал в защиту родственников эмигрантов и потому пользовался уважением в роялистских кругах. Говоря об «одном посвящении, опубликованном еще при Старом порядке», Сталь, по всей вероятности, имеет в виду текст, предваряющий перевод «Илиады» Гомера, выпущенный Лебреном в 1776 г. В качестве предисловия здесь напечатан перевод диалога, якобы сочиненного неким древнегреческим рапсодом; изложенная в нем политическая концепция не могла не импонировать Бонапарту: в качестве панацеи от всех политических бедствий здесь предлагается конфедерация государств с монархической формой правления — не азиатской, где «один человек навязывает свои желания всем остальным, но такой, где один человек приказывает делать то, чего все остальные желают». Демократия в этом диалоге отвергается, потому что народы для нее не созрели, а олигархия — потому что при ней «у страны обнаруживается слишком много правителей, причем правителей, стоящих

чересчур близко к подданным, и характер власти определяется их желаниями, прихотями и даже безумствами», а правительство, «вечно встревоженное и снедаемое подозрениями, боится подданных и самого себя» (Iliade de Homère traduite par Charles-François Le Brun. P., 1776. T. 1. P. XIII–XVI).

[108] Уильям Питт-младший (1759–1806), премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг., был убежденным противником экспансионистской политики революционной и наполеоновской Франции. В 1783 г., когда Жермене Неккер исполнилось семнадцать лет, у ее родителей было намерение выдать ее за Питта; замуж за него Жермена не пошла, однако как политика ставила очень высоко. Впрочем, в «Размышлениях о мире, адресованных г-ну Питту и французам» (напечатанных в Швейцарии в конце 1794 г., а в Париже в феврале 1795 г.), Сталь спорит с воинственным Питтом и принимает сторону его оппонента в парламенте, более миролюбивого Чарлза Джеймса Фокса; см. о нем примеч. 281.

[109] Эта церемония состоялась 19 февраля 1800 г.

[110] Намек на брошюру «Параллель между Цезарем, Кромвелем, Монком и Бонапартом, фрагмент, переведенный с английского», о которой см. с. 40 и примеч. 171.

[111] В *РФР* (ч. 4, гл. 18) Сталь разъясняет разницу между истинным содержанием сочинений Макиавелли и тем, что прочел в них Бонапарт: «Мне кажется, что Макиавелли, ненавидя иностранное иго, тяготевшее над Италией, допускал и одобрял любые средства, к каким тамошние государи могли бы прибегнуть, дабы однажды взять верх над войсками немецкими и французскими. […] Если он запятнал себя снисходительностью к злодеяниям семейства Борджиа, то, быть может, потому, что слишком сильно верил в необходимость пойти на всё ради возвращения отечеству независимости. Бонапарт, разумеется, смотрел на „Государя“ Макиавелли с иной точки зрения; он искал в этой книге то, в чем души вульгарные по сей день прозревают глубину, — способы обманывать людей» *(CRF.* P. 422). Неприятие «макиавеллистов», то есть людей, которые истолковали творения Макиавелли превратно и взяли на вооружение именно то, что он порицал и ненавидел, сочеталось у г-жи де Сталь с восхищением самим автором «Государя» и «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия». Едва ли не единственный упрек, который предъявляет она ему в *ОЛ,* заключается в том, что Макиавелли писал, «вовсе не заботясь о действии, какое произведут его сочинения. Можно подумать, что он вообще не помышлял о читателях и не считал нужным распространяться об исходных посылках своих рассуждений — ведь самому ему они были прекрасно известны.

Макиавелли, пожалуй, виноват в том, что не предвидел пагубного воздействия своих книг, но я ни за что не поверю, что этот гений создал теорию, оправдывающую преступление» (*О литературе.* С. 173).

[112] Контрреволюционное восстание в Вандее, департаменте на западе Франции, началось в феврале 1793 г.; к концу этого года оно было в основном подавлено, однако отдельные отряды шуанов (крестьян, ведущих партизанскую войну против республиканской армии) продолжали вооруженную борьбу вплоть до начала XIX столетия. Хотя Бонапарт командовал ненавистной им республиканской армией, вандейские крестьяне восхищались его военными талантами; что же касается вандейских вождей, то у них после переворота 18 брюмера возникла надежда, что истинной целью Бонапарта является возвращение на престол короля из династии Бурбонов, поэтому один из контрреволюционеров, граф д'Андинье де Бланше (1765–1857), встретился с Бонапартом и предложил ему стать французским Монком, то есть сделать для Людовика XVIII и французской законной монархии то же, что сделал для английской монархии генерал Джордж Монк (1608–1670), возвративший английский престол Карлу II Стюарту Это предложение Бонапарт отверг, однако на первых порах старался не разочаровывать вандейских роялистов. С этой целью он 7 нивоза VIII года (28 декабря 1799 г.) объявил частичную амнистию для всех шуанов, которые сложат оружие.

[113] Переговоры с первым консулом от лица вандейской оппозиции вел аббат Этьенн Бернье (1762–1806), который бежал в Вандею после того, как в 1792 г. отказался присягать Равенству и Братству. Встреча Бернье с Бонапартом, состоявшаяся 26 января 1800 г., не принесла успеха роялистам-вандейцам, но способствовала личному возвышению Бернье, который получил от первого консула поручение вести переговоры с римским престолом о заключении Конкордата (см. ниже примеч. 255 и 257), а после их удачного завершения был назначен (в 1802 г.) епископом Орлеанским.

[114] О Фуше см. примеч. 136.

[115] Национальными имуществами назывались имения, которые в ходе Революции были конфискованы у церкви и дворянства и проданы новым собственникам из числа зажиточной буржуазии и частично крестьянства. Если после переворота 18 фрюктидора (см. примеч. 8) законы против эмигрантов, принятые во время Революции, стали применяться еще более строго, то после 18 брюмера, напротив, положение эмигрантов стало постепенно изменяться к лучшему: официально запрет на их возвращение никто не отменял, однако французские дипломаты за границей получили приказ выдавать им паспорта без больших затруднений; тем не менее для того, чтобы вернуться во Францию и жить там на законных основаниях, следовало добиться исключения своего имени из списка эмигрантов, а для этого предъявить особой комиссии бумагу, подписанную двадцатью свидетелями и заверенную муниципалитетом, которая подтверждала бы, что податель сего не покидал Франции (местные власти за взятки или по природной снисходительности охотно выдавали такие бумаги). В октябре 1800 г. был принят декрет о том, что факт отсутствия во Франции до 25 декабря 1799 г. эмиграцией не считается и что продажа еще не распроданных национальных имуществ приостанавливается. Эти нераспроданные имения могли быть возвращены владельцам; что же касается имений уже проданных, их можно было только выкупить («неотменяемость продажи национальных имуществ» была таким важным обстоятельством для послереволюционной Франции, что упоминание о ней вошло даже в клятву, которую принес Бонапарт, коронуясь императором). Примерно в тех же выражениях, что и Сталь, описывает тактику Бонапарта такой серьезный историк наполеоновского правления, как А. Вандаль: «Бонапарт хотел, чтобы эмигранты, если даже они вновь вступят во владение остатками своей прежней собственности, получали эту собственность из его рук и были обязаны своим преуспеянием лично ему […] он понял, что уничтожить следы великой войны между французами можно, позволив побежденным занять место рядом с победителями, однако он старался внушить и тем, и другим чувство признательности к своей особе и накрепко связать их благополучие со своим собственным» (*Vandal.* Т. 2. P. 482).

[116] 6 января 1801 г. было принято постановление о создании генеральной администрации по управлению лесами, призванной охранять леса от злоупотреблений со стороны частных лиц. В отличие от прочих нераспроданных национальных имуществ, леса не подлежали возврату старым собственникам, вернувшимся из эмиграции (см. предыдущее примеч.).

[117] 21 марта 1801 г. был принят закон о консолидации одной

трети государственного долга и о превращении двух третей в особые боны; хотя эти боны принимались в государственное казначейство всего за одну двадцатую часть их номинальной стоимости, с их помощью вплоть до начала эпохи Реставрации производились многочисленные покупки национальных имуществ.

[118] В Древнем Риме народными трибунами называли должностных лиц, которые охраняли права плебеев от посягательств патрициев. «Трибуны» эпохи Консульства, с точки зрения Сталь, для подобной роли не годились. Впрочем, в их число входили и люди независимых взглядов, попытавшиеся оказать сопротивление первому консулу (см. с. 52 и примеч. 240).

[119] В ночь с 4 на 5 августа 1789 г. Учредительное собрание поддержало двух аристократов: виконта де Ноайя и герцога д'Эгийона, предложивших отменить феодальные права и различные дворянские привилегии; эти решения были закреплены в декрете от 11 августа, начинавшемся словами: «Собрание полностью уничтожает феодальный порядок».

[120] О порядке назначения членов Трибуната см. примеч. 103.

[121] Постановление правительства от 17 января 1800 г. уменьшило число парижских политических газет даже не до 14, а до 13: из выходивших до этого 73 газет 60 были запрещены «вплоть до заключения мира» (следует добавить, что за время правления Наполеона число газет продолжало уменьшаться, так что к 1811 г. их осталось всего четыре); то же постановление запрещало открывать какие-либо новые газеты без предварительного разрешения и грозило закрытием всем печатным органам, в оригинальных или переводных публикациях которых будут содержаться неуважительные отзывы о «суверенитете народа, славе армии, о правительствах и нациях, дружественных Республике» и проч. Предварительной цензуры в это время еще не существовало, но было создано специальное подразделение, находившееся в подчинении у министерства полиции; служившие там чиновники были обязаны просматривать все выходившие газеты и информировать Бонапарта об их содержании; вдобавок к этому у первого консула имелись и свои персональные советники по прессе. Цензура была официально введена в 1805 г., причем у каждой из выходивших в это время газет имелся свой собственный «контролер». Газеты, уже вышедшие из печати, вторично подвергались строгому просмотру со стороны разнообразных министерств и самого императора, и любая провинность могла послужить предлогом для запрещения печатного органа, причем число табуированных предметов с каждым днем возрастало. Сталь протестует против

наполеоновского «единомыслия», однако во время Революции, когда газетчики пользовались почти неограниченной свободой, у Сталь также имелись к ним серьезные претензии, хотя и иного свойства, чем к журналистам наполеоновской поры; см. об этом примеч. 550.

[122] «Монитёр», первая из французских газет, заимствовавшая у английских ежедневных периодических изданий формат in folio, была основана издателем Панкуком в ноябре 1789 г.; еще во время Революции редакция «Монитёра» проявила готовность подчиняться всякому, кто стоит у власти в данный момент; в 1793–1794 гг. она получала денежные субсидии от Комитета общественного спасения, в 1797–1798 гг. печатала материалы, одобренные Директорией. Бонапарт, придя к власти, поставил во главе «Монитёра» государственного секретаря Юга-Бернара Маре, которому приказывал, о чем именно и в какой форме следует проинформировать читателей; порой он даже сам правил гранки. «Монитёр» насаждал в консульской, а затем императорской Франции любезное Бонапарту единомыслие: о военных и иностранных делах другие газеты (впрочем, немногочисленные) могли рассказывать только в точном соответствии с его публикациями, департаментские же газеты были обязаны просто заимствовать все новости, за исключением сугубо местных, из газеты правительственной. Кроме того, поскольку было известно, что «Монитёр» выражает мнение императора, чиновники всерьез опасались критических статей этой газеты.

[123] В первые годы после прихода к власти Наполеон диктовал статьи своему секретарю Бурьену; впрочем, случалось ему писать их и собственноручно; печатались они без подписи, но стиль первого консула был узнаваем по большому числу восклицательных и вопросительных знаков, лаконичности фраз и резкости тирад, касающихся европейских государей (некоторые из них были до такой степени оскорбительны, что Бурьен брал на себя смелость не передавать их в редакцию «Монитёра»).

[124] Пьер-Луи Рёдерер (1754–1835) — адвокат, член Учредительного собрания, скрывавшийся от ареста во время Террора. После термидорианского переворота Рёдерер стал владельцем газеты «Журналь де Пари», в которой проповедовал уважение к законности и терпимость по отношению к эмигрантам. Принимавший активное участие в подготовке переворота 18 брюмера и сочинении Конституции VIII года, Рёдерер был в описываемый период на очень хорошем счету у Бонапарта, благодаря чему стал членом Государственного совета. В относительную немилость Рёдерер впал в 1802 г., однако это не помешало ему получить должность сенатора. Восхищение

Рёдерера талантом Бонапарта, о котором г-жа де Сталь, знакомая с ним с 1795 г., слышала, по-видимому, от него самого, носило вполне искренний характер: Рёдерер, поклонник философии Просвещения, мечтал о режиме умеренном, но далеком от анархии, о режиме, который сохранял бы завоевания первого периода Революции, но избегал ее крайностей, о режиме, при котором властители прислушивались бы к мнению людей порядочных и образованных, и Бонапарт казался ему человеком, способным такой режим установить. О Бонапарте-журналисте см. также примеч. 551.

[125] Ценя разные виды веселости: «веселость, вдохновленную, если можно так выразиться, вкусом и гением, веселость другого рода, проистекающую из игры, и, наконец, ту веселость, которую англичане именуют юмором» (*О литературе.* С. 206), сознавая важную социальную роль веселости во французском обществе при Старом порядке («в еще большей степени, чем изящная учтивость, различия между сословиями стирала остроумная веселость; ока позволяла вельможам мнить себя ровней королям, поэту — считать себя ровней вельможам» — Там же. С. 246), Сталь, однако, никогда не забывала о тех опасностях, которыми грозит человеку чувствительному смех: «Вообще насмешка сильна тем, что убивает всякий душевный порыв и, не ведая пощады, хладнокровно гасит пламя страсти. Смех — незаменимое оружие в борьбе со спесью и предрассудками, однако любовь к свободе и отечеству невозможна без живейшего сочувствия счастью и славе нации, и вы лишь остудите пыл людей вдохновенных, если вселите в их души то пренебрежительное отношение ко всем делам человеческим, плодом которого становится равнодушие и к добру, и к злу» (Там же. С. 307). «Осмеяние пороков, вредящих общественному благу», достойно похвалы, насмешка же над «манерами, расходящимися с теми, что приняты в обществе», издевательство над «неловкой добродетелью» (Там же. С. 309) — черта вредная и опасная; такой смех — главный враг энтузиазма, который в системе ценностей г-жи де Сталь занимает одно из главных мест (см. примеч. 5). Не случайно, критикуя в *ОГ* (ч. 3, гл. 4) сенсуалистскую философию (см. следующее примеч.), Сталь ассоциирует ее с насмешками и дает соответствующей главе название «О глумлении, насаждаемом определенного рода философией». В качестве примера такой жизненной философии она приводит повесть «Кандид», где Вольтер «пускает в ход издевательскую философию, по видимости столь снисходительную, в действительности же столь жестокую; он изображает человеческую природу в самом неприглядном виде и не дает нам никакого утешения, кроме сардонического смеха,

который, заставляя нас отречься от жалости к себе, освобождает нас и от необходимости жалеть других» *(DA.* Т. 2. P. 115). Помимо теоретических у г-жи де Сталь были и чисто практические, жизненные причины не любить иронию и насмешку: начиная с революционных времен она сама и ее частная жизнь постоянно становились предметом журналистского глумления (один из многочисленных примеров: в 1800 г. роялистская газета «Архангел Гавриил» отозвалась на известие о назначении Бенжамена Констана членом Трибуната вымышленным монологом Сталь, в котором та восклицает: «Мы на коне; вся Франция наша!» и строит планы: «Бенжамена сделаю консулом, финансы отдам папочке» — цит. по кн.: *Bastid.* Т. 1. P. 153). О газетных инсинуациях и реакции на них г-жи де Сталь см. также примеч. 550.

126 Имеется в виду, естественно, не вся философия эпохи Просвещения, но лишь философия сенсуалистическая и атеистическая, проповедуемая, в частности, в работах Гельвеция и Гольбаха; такую философию Сталь с ее культом энтузиазма принять не могла. Причины этого неприятия она объясняет в *ОГ* (ч. 3, гл. 4): «За последние сто лет в Европе родился и вошел в силу некий насмешливый скептицизм — плод метафизики, объясняющей все наши идеи ощущениями. Первый принцип этой философии заключается в том, чтобы верить лишь вещам, могущим быть неопровержимо доказанными; к этому принципу прибавляются презрение к чувствам, именуемым чересчур пылкими, и приверженность наслаждениям материальным. Эти три принципа порождают ироническое отношение к религии, чувствительности и морали». Этой доктрине, согласно которой «все идеи воспринимаются нами с помощью глаз и ушей», «к числу истинных философов принадлежат все люди, пребывающие в добром здравии и свободно распоряжающиеся своими органами», а все добродетельные поступки совершаются людьми лишь из эгоизма, ради наслаждений физических, Сталь противопоставляет философию, утверждающую независимость морали от внешних ощущений; такую философию она нашла в Германии, прежде всего в работах Канта.

127 Морис-Жан-Мадлен де Брой (Broglie; 1776–1821) окончил семинарию и был посвящен в священники в разгар Революции, за пределами Франции; из эмиграции он вернулся только после переворота 18 брюмера; поначалу жизнь его здесь складывалась удачно: после провозглашения Наполеона императором Брой стал высшим духовным лицом при особе императора, затем (1805) получил место епископа в Акви, а два года спустя — в Генте (Фландрия). Разногласия его с Наполеоном начались после того,

как император аннексировал Папскую область, похитил папу Пия VII и заключил его под стражу (1809); во время национального церковного собора 1811 г. де Брой присоединился к тем священникам, которые поддержали папу и тем самым выказали неповиновение императору; поэтому 12 июля 1811 г. он был отрешен от должности, затем заключен в Венсеннский замок, а еще позднее сослан на Святую Маргариту (остров в Средиземном море, где еще в XVII в. была выстроена крепость-тюрьма). К своим епископским обязанностям он смог вернуться лишь в мае 1814 г. Епископ де Брой приходился дядей Виктору, герцогу де Брою, за которого в 1816 г. вышла замуж Альбертина де Сталь.

[128] Слова, произнесенные галльским царем Бренном в 390 г. до н. э.; когда побежденные им римляне выразили недовольство тем, что победители взвешивают взимаемую с них контрибуцию слишком тяжелыми гирями, Бренн вдобавок бросил на чашу весов свой тяжелый меч и воскликнул: «Vae victis!» (см.: *Тит Ливий.* История. V, 48, 9). Реплика, вложенная в уста Наполеона г-жой де Сталь («Позор побежденным!»), звучит еще более цинично, чем традиционный перевод: «Горе побежденным!»

[129] По Конституции, члены Трибуната имели право обсуждать проекты законов, предложенные правительством, и голосовать за или против них, однако поскольку Бонапарту нужен был не реальный, а декоративный парламент, на практике голос трибунов был чисто совещательным: высказанные ими суждения не могли помешать представлению проекта на рассмотрение Законодательного корпуса, который и принимал окончательное решение.

[130] О знакомстве Сталь и Констана см. примеч. 90. Констан был убежденным сторонником республики, и даже тирания Робеспьера, которую он, впрочем, наблюдал из-за границы (в 1788–1794 гг. он состоял на службе при Брауншвейгском дворе), не могла заставить его отказаться от веры в тождественность республиканского режима и свободы. Приехав в Париж вместе с г-жой де Сталь в мае 1795 г., Констан, уроженец Лозанны, решил добиваться французского гражданства и делать политическую карьеру во Франции; он выпустил несколько брошюр, поддерживающих режим Директории и призывающих правительство к терпимости и умеренности, а после 18 брюмера, благодаря своей близости к Сьейесу, был назначен членом Трибуната (недоброжелатели указывали на то, что Констан — швейцарец, а не француз, но поскольку отец Констана был гражданином Женевы, а Женева с 1798 г. вошла в состав Франции, Констану удалось доказать свое право считаться

французом). С самого дня переворота Констан не скрывал от Сьейеса своих опасений насчет деспотических замашек Бонапарта, а на посту трибуна вместе со своими единомышленниками попытался, апеллируя к законности, ограничить власть первого консула, за что в конце концов и поплатился исключением из Трибуната (см. примеч. 240). Со своей стороны, Наполеон, согласно его позднейшим воспоминаниям, тоже относился к Констану скептически и включать его в число трибунов не хотел, но уступил настояниям своего брата Жозефа. Существует мемуарное свидетельство, согласно которому Констан почти одновременно просил покровительства и включения своего имени в состав Трибуната у Бонапарта и у Сьейеса, причем первому обещал поддержку его власти, «невзирая на различие идей и принципов», а второму — поддержку его принципов и борьбу с диктатурой Бонапарта; однако современная историография считает эту версию «скорее популярной, нежели достоверной» и «при всей ее пикантности весьма подозрительной» (*Dictionnaire*. P. 490); как бы там ни было, очевидно, что единомышленника Констан видел не в Бонапарте, а в Сьейесе.

131 Эту фразу и несколько следующих за ней цитирует А. Д. Блудова (1813–1891), описывая со слов своих родителей их общение со Сталь в Стокгольме в 1813 г. (отец мемуаристки, Д. Н. Блудов, был в это время советником русского посольства в Швеции). Цитату предваряет рассказ о «разговоре» самой Сталь, «самом натуральном, самом блистательном, оживленном, без всякой изысканности, напыщенности и доктринерства» *(РА*. 1879. № 12. С. 481).

132 Монтень. Опыты. Кн. 3, гл. 9.

133 Ни Талейран (см. о нем примеч. 139–144), с 15 июля 1797 по 20 июля 1799 г. бывший министром иностранных дел, ни Рёдерер, занимавшийся журналистикой (см. примеч. 124), ни Мишель-Луи-Этьенн Реньо де Сен-Жан д’Анжели (1762–1819), участник Египетского похода Бонапарта и комиссар Директории на острове Мальта, не подвергались при Директории никаким репрессиям, хотя, разумеется, причастность всех их к перевороту 18 брюмера открывала перед ними более увлекательные карьерные перспективы, чем те, какие были предоставлены им до переворота. Единственный, кто до 18 брюмера никак не участвовал в политической жизни (впрочем, не по принуждению, а по доброй воле), был граф Луи-Филипп де Сегюр (1753–1830): при Старом порядке военный и дипломат, он во время Революции и при Директории жил уединенно в своем имении и лишь в 1801 г. стал членом Законодательного корпуса. Полицейскому

доносу, обвинявшему Сегюра, Рёдерера, Талейрана и еще нескольких человек в причастности к заговору, имеющему целью восстановление монархии, Баррас хода не дал (см.: *Lacour-Gayet.* P. 231–232).

[134] Особенно неприятны для г-жи де Сталь были два эпизода, произошедшие в 1800 г.: 25 февраля Талейран не пригласил ее на большой бал, где присутствовали все значительные особы Парижа и, главное, сам первый консул. Напротив, в июне 1800 г., когда г-жа де Сталь появилась на балу у г-жи де Монтессон, которая некогда была любовницей герцога Орлеанского (того самого, который во время Революции получил прозвище Филипп-Эгалите и заседал в Конвенте), а теперь занимала почетное место при дворе Бонапарта, толпа отхлынула от нее и только графиня Дельфина де Кюстин (1770–1826), мать будущего писателя Астольфа де Кюстина и сестра доброго знакомого г-жи де Сталь, Эльзеара де Сабрана (см. примеч. 544), не побоялась подойти и заговорить с ней; вскоре в ее честь Сталь назвала Дельфиной героиню одноименного романа, где этот эпизод использован дважды.

[135] Объявление о назначении Констана членом Трибуната появилось в «Монитёре» 7 нивоза IX года (28 декабря 1799 г.), а речь, прогневившую Бонапарта, друг г-жи де Сталь произнес в Трибунате через неделю, 15 нивоза (5 января 1800 г.). Поводом к ней стал проект рассмотрения законов, представленный правительством 12 нивоза и предписывавший трибунам осуществлять это рассмотрение строго в назначенный день. Констан спорил с теми, кто хочет заставить трибунов «рассматривать предложения правительства, можно сказать, на лету, в надежде, что мы не успеем в них вглядеться» и что они «станут законами прежде, чем мы сможем на них посягнуть». В этом случае, предрекал Констан, Трибунат не сможет выполнять ту задачу, ради которой он был создан, а именно отстаивать интересы народа, и в нем возобладают «низкопоклонство и безмолвие — безмолвие, которое услышит вся Европа» (цит. по: *Gautier*. P. 38). Тон Констана, хотя и вполне умеренный, раздражил Бонапарта своей независимостью. В тот же день в «Журналь де Пари» Рёдерера появилась статья, явно инспирированная первым консулом; в ней Трибунат с прискорбием именовался «организованной оппозицией», а о членах его говорилось следующее: «Неужели правда, что трибун обречен всегда, не имея причины и не зная меры, противостоять правительству, нападать на все, что оно делает, и на все, что оно предлагает; выступать против правительства, когда оно одобряет все действия трибуна; клеветать на правительство, когда оно

говорит о трибуне только хорошее; оскорблять правительство, когда его усердие оказывается достойно самых великих похвал; вносить смуту во все, что правительство благоустраивает; лишать правительство сил и выбивать у него почву из-под ног, когда оно более всего нуждается в твердости и силе; объявлять ему войну, когда само оно стремится к миру; болтать вздор, когда оно выказывает мудрость; удручать его, когда оно наслаждается совершёнными им благодеяниями; возмущаться и раздражаться, когда его поведение вселяет радость в сердца большей части французов и надежду в сердца всех их без изъятия? Если бы ремесло трибуна состояло именно в этом, оно было бы самым подлым и отвратительным из всех ремесел» (цит. по: *Gautier*. P. 36), Впрочем, репрессии первый консул обрушил не столько на самого Констана, который до начала 1802 г. продолжал свои выступления в Трибунате, сколько на г-жу де Сталь, которую не без оснований считал вдохновительницей независимого трибуна.

[136] Жозеф Фуше (1759–1820), во время Революции монтаньяр, член Конвента и активный участник Террора, после термидорианского переворота едва избежал ареста и лишился места в Конвенте, однако в 1797 г. получил от Барраса поручения, связанные с тайным надзором за роялистами, и зарекомендовал себя в этом деле так хорошо, что 20 июля 1799 г. был назначен Директорией на пост министра полиции. Приступив к исполнению своих обязанностей, он стал принимать меры, направленные и против якобинцев, и против роялистов (в первом случае он закрывал клубы и газеты, во втором — сеял рознь и искал предателей, которых можно было бы подкупить). Зная о готовящемся перевороте 18 брюмера, Фуше не сделал ничего, чтобы его предотвратить, и в награду был оставлен Бонапартом на прежнем посту, который занимал до 15 сентября 1802 г. К Сталь Фуше относился вполне доброжелательно; через своего хорошего знакомого Клода Форьеля, впоследствии известного историка литературы, а в эту пору секретаря Фуше, она обращалась к министру полиции с просьбами вычеркнуть из списка эмигрантов многих своих знакомых (например, Шатобриана), и Фуше неизменно шел ей навстречу; см, также следующее примеч. и Приложение (наст, изд., с. 442).

[137] Такая успокоительная манера общаться с людьми была вообще свойственна Фуше; по свидетельству современницы, «он умел принимать сторону победителей, но в то же время любил оказывать услуги и делал это всегда с приятностью […] невозможно было расстаться с ним, не испытав удовлетворения от беседы и не проникнувшись самыми радужными надеждами» (*Chastenay*. T. 2. P. 41). Ср. также точку зрения Баранта: «То

обстоятельство, что министерством полиции командовал Фуше, не служило гарантией справедливости и свободы; однако, наученный долгим опытом, он не совершал поступков, вредных для правительства. Он бережно относился к тем, кого знавал в прежние времена. Он не был немым исполнителем приказов своего господина и, прежде чем повиноваться, высказывал возражения» (*Barante*. Т. 1. P. 334).

[138] Сталь уехала в принадлежавшее ее отцу поместье Сент-Уан 14 января и провела там около трех недель, работая над гранками *ОЛ,* вышедшей из печати в конце апреля 1800 г.

[139] Огюст де Сталь не включил следующий (с. 33–34) портрет Шарля Мориса де Талейрана-Перигора (1754–1838) в первое издание «Десяти лет», боясь оскорбить Талейрана.

[140] Талейран оказался в Америке после того, как в феврале 1794 г. английское правительство вынудило его покинуть Англию, где он находился сначала (в 1791–1792 гг.) в качестве французского посла, а затем, после свержения во Франции монархии, в качестве эмигранта. Именно то обстоятельство, что Талейран покинул Францию не по собственной воле, но по поручению тогдашнего французского правительства, было одним из главным аргументов, на которые ссылались покровители Талейрана, когда хлопотали об исключении его из списка эмигрантов. Решающую роль в этом деле сыграла г-жа де Сталь, с которой Талейрана с конца 1780-х гг. связывали дружеские, а возможно, и любовные отношения (см.: *Lacour-Gayet.* P. 180; *Staël G. de.* Lettres à Narbonne. P., 1960. P. 16). Талейран был одним из завсегдатаев парижского салона г-жи де Сталь на улице Бак, особенно же тесно они сблизились в Лондоне, где Сталь провела первую половину 1793 г. Из списка эмигрантов Талейран был исключен после того, как член Конвента Мари-Жозеф Шенье, уступив настояниям г-жи де Сталь, 4 сентября 1795 г. произнес в Конвенте речь в защиту изгнанника. В Европу Талейран приплыл в июле 1796 г., а 20 сентября того же года прибыл в Париж.

[141] Талейран в своих «Мемуарах» признает, что «настоятельные просьбы» г-жи де Сталь немало способствовали его назначению министром. Более подробно рассказал об этом эпизоде в своих мемуарах сам Баррас. Дело происходило в июле 1797 г.; Сталь уже несколько раз заговаривала с могущественным членом Директории о Талейране и о необходимости устроить его на службу; она представила Талейрана как человека, «обладающего всеми пороками старого и нового порядков, человека, который имел и будет иметь доступ во все политические партии, а значит, способен стать для правительства бесценным агентом». Поэтому, сказала Сталь, его нужно сделать

министром иностранных дел. Баррас, наведя справки, сообщил просительнице через несколько дней, что кандидатура Талейрана вызвала отвращение у всех остальных членов Директории; тем лучше, отвечала, если верить Баррасу, г-жа де Сталь, — значит, он будет верен вам лично. В конце концов, продолжает Баррас, г-жа де Сталь явилась в Люксембургский дворец и, рыдая, сообщила, что если Талейран немедленно не будет назначен на пост министра иностранных дел, он утопится в Сене. Талейран в самом деле пугал свою приятельницу перспективой самоубийства: по возвращении из Америки он занял у нее 24 000 франков и быстро их растратил; меж тем других средств к существованию у него не было. Поскольку члены Директории выбирали министров открытым голосованием, то в результате сложного торга 16 июля 1797 г. Талейран все-таки набрал три голоса из пяти и смог начать политическую карьеру, дававшую ему возможность, по его собственным словам, произнесенным в тот знаменательный день, «составить огромное состояние — огромное, колоссальное, гигантское» (см.: *Barras.* T. 2. P. 443–465, 478); талейрановскую версию этого эпизода см.: *Талейран.* С. 137–139. На посту министра иностранных дел Талейран пробыл до 20 июля 1799 г., а затем, назначенный управлять этим же министерством 22 ноября 1799 г., оставался в этой должности до 9 августа 1807 г.

[142] Сохранившиеся письма Талейрана к г-же де Сталь опубликованы в изд.: Revue d'histoire diplomatique. 1890; все они полны самых нежных чувств к адресатке.

[143] Личное общение г-жи де Сталь с Талейраном возобновилось в эпоху Реставрации; больше того, она имела возможность «отомстить» ему самым великодушным образом: в июле — сентябре 1815 г. Талейран возглавлял кабинет министров, а затем был отправлен в отставку и сохранял за собой лишь придворную должность обер-камергера; однако после того как 18 ноября 1816 г. на приеме у английского посла он публично осыпал оскорблениями министров из кабинета Ришелье, и прежде всего любимца короля Людовика XVIII Эли Деказа, он впал в немилость и получил приказание больше не появляться при дворе. Немилость, постигшая Талейрана, не помешала, однако, г-же де Сталь навестить его, «дабы показать, как следует держать себя с друзьями, на которых обрушились невзгоды; г-н де Талейран предал меня при Бонапарте; противоположность нашего поведения забавляла меня — вот месть не хуже любой другой» (письмо к Веллингтону от 23 ноября 1816 г.; цит. по: *Pange.* P. 67). Меж тем в начале 1800-х гг. Сталь переживала обиду на Талейрана гораздо более остро. Тогдашняя ее месть выразилась в

том, что она придала некоторые черты министра иностранных дел коварной и циничной героине романа «Дельфина» (1802), г-же де Вернон, которая «в глубине души ничего не любила, ни во что не верила, ничем не смущалась и помышляла лишь о том, как бы преуспеть» («Дельфина», ч. 1, письмо 7); свои же собственные черты Сталь придала несчастной жертве козней г-жи де Вернон, Дельфине. Прототип г-жи де Вернон не был секретом для современников (см.: *Remacle.* P. 428); не возражал против отождествления с нею и сам Талейран, который, по преданию, отозвался об этом романе следующим образом: «Говорят, г-жа де Сталь изобразила нас обоих переодетыми в женское платье». По-видимому, именно это имела в виду Сталь, когда 27 марта 1803 г. писала Жозефу Бонапарту: «Говорят, что г-н де Талейран наконец изволил узнать себя в г-же де Вернон» (цит. по: *Staël G. de.* Delphine. Genève, 1987. T 1. P. 34–35).

144 Опала, о которой говорит здесь Сталь, — разумеется, не та, которая упомянута в предыдущем примечании. Поскольку над «Десятью годами в изгнании» писательница работала в 1811–1813 гг., до начала эпохи Реставрации, то в данном случае речь идет о немилости, в которую впал Талейран в последние годы правления Наполеона: отставленный с поста министра иностранных дел в августе 1807 г. из-за разногласий с императором (Талейран считал необходимым прекращение войны и сближение Франции с Англией и Австрией), эксминистр пребывал в полуопале; император не доверял ему — и правильно делал, если учесть тайные отношения, в которые Талейран начиная с 1808 г. вступил с русским императором Александром.

145 Ср. устный рассказ Сталь о Талейране, переданный анонимным мемуаристом в записке о пребывании писательницы в Стокгольме: «Г-жа де Сталь говорила: „Г-н де Талейран был человек умный и острый на язык, однако он не умел написать ни одной страницы, где мысли его были бы изложены связно и четко. Когда Ревбель, не любивший его, хотел сыграть с ним шутку, он вызывал его на долгий разговор, а дослушав его речь до конца, говорил: „Директория полностью согласна с вашим мнением; мы просим вас пройти в соседнюю комнату и записать ваши соображения“. Не было случая, чтобы Талейран не сослался на мигрень, лишь бы этого не делать“. Наследный принц [Бернадот], который тоже не любит записывать свои мысли собственноручно, отвечал г-же де Сталь: „Полагаю, сударыня, что г-н де Талейран, как и многие другие, не горазд писать и что перо не поспевает за быстрым его вдохновением и за озарениями его ума. Сколько я помню, речь, в которой он сообщил Учредительному собранию о смерти Мирабо и которая снискала столь большой успех, была

сочинена не кем иным, как вами, сударыня!“» (цит. по: *Riordan S. M.* Un manuscrit inédit sur le séjour de Mme de Staël à Stockholm // *CS.* № 48. P. 84–85). Молва приписывала г-же де Сталь также участие в подготовке доклада о народном образовании, который Талейран произнес на заседаниях Учредительного собрания 10, 11 и 19 сентября 1791 г. и на который сама она сослалась в предисловии ко второму изданию *ОЛ* (см.: *О литературе.* С. 63; *DAE-1996.* P. 90); впрочем, доклад этот приписывали самым разным мыслителям той эпохи, а сам Талейран в своих «Мемуарах» открыто признается, что пользовался советами «образованнейших людей своего времени» (см.: *Lacour-Gayet.* P. 144–145). То обстоятельство, что тексты, подписанные его именем, Талейрану на самом деле не принадлежат, отмечают многие мемуаристы, оценивая этот факт по-разному, в зависимости от их отношения к герою воспоминаний. Так, ненавидевший Талейрана Шатобриан произносит приговор: «Неспособный самостоятельно написать ни строки, господин де Талейран нанимал сведущих людей, которые работали на него: когда, зачеркнув и переправив все, что не нравилось хозяину, его секретарь наконец составлял депешу во вкусе министра, тот переписывал ее своей рукой» (*Шатобриан.* С. 577). Напротив, под пером боготворившего Талейрана князя П. Б. Козловского та же черта предстает едва ли не добродетелью: «Мало кто из государственных людей был так невежествен, как г-н де Талейран […] Однако […] он с таким вниманием слушал поучительные речи своих собеседников, его способность впитывать знания была так велика, а умение подводить итог услышанному так сильно развито, что он усваивал себе сокровища, находимые таким образом, сообщая им притом форму столь оригинальную и индивидуальную, как если бы он сам почерпнул эти сведения из источников. Он с трудом мог написать письмо, но из различных, совершенно несходных набросков создавал целое столь безупречное, что его можно было уподобить правильным узорам калейдоскопа» (*Козловский П. Б.* Социальная диорама Парижа. М., 1997. С. 134). Самыми большими специалистами по приданию письменной формы идеям Талейрана были два его подчиненных в министерстве иностранных дел: начальник первого, северного, отделения барон Дюран де Марёй и начальник второго, южного, отделения граф д’Отерив; особенным умением превращать бесформенные черновики Талейрана в связные и логичные тексты, впрочем, точно выражавшие мысль министра, отличался Дюран (см.: *Lacour-Gayet.* P. 412–414).

146 Шарль-Морис де Талейран-Перигор происходил из

древнего рода; в начале XVII в. Людовик XIII выдал его предку королевскую грамоту, подтверждающую его происхождение от графов де Перигоров, соперничавших в X в. с королями Франции.

147 Бертран Барер де Вьёзак (1755–1841) был депутатом Учредительного собрания и Конвента и членом Комитета общественного спасения; он председательствовал в Конвенте во время суда над Людовиком XVI и голосовал за казнь короля (по-видимому, именно это Сталь называет «подсказыванием слов палачу»). После термидорианского переворота Барер чудом избежал высылки в Кайенну и скрывался до переворота 18 брюмера, после которого был амнистирован и стал заниматься журналистикой. В 1805 г. Барер сделал попытку вернуться в политику однако Сенат отказался включить его в члены Законодательного корпуса. «Анакреоном гильотины» назвал его английский публицист Эдмунд Бёрк. Периодическое издание под названием «Антибританский мемориал, газета историческая и политическая» выходило с 26 сентября 1803 по март 1810 г.; вообще разоблачение Англии было излюбленным занятием Барера еще со времен Революции, когда он сочинял отчеты «о преступлениях Англии против французского народа»; впоследствии полемике с Англией Барер посвятил несколько брошюр: «Свобода морей, или Разоблаченное правительство Англии» (1798); «Письмо французского гражданина в ответ лорду Гренвилу» (1800) и др. При Империи Барер зарабатывал на жизнь также и компиляторством, лишенным политической подоплеки; среди прочего этот якобинец и англофоб в 1808 г. выпустил сборник «Избранные мысли г-жи Неккер»; нетрудно вообразить, какое негодование должно было вызвать появление подобной книги у г-жи де Сталь. Именование Англии «ковчегом» было излюбленной риторической фигурой Сталь; ср., например, ее письмо к лорду Джону Кемпбеллу от 9 октября 1812 г. из Стокгольма, где Англия названа «ковчегом, в котором образцы всего, что есть на свете прекрасного, спаслись от потопа грязи» (цит. по: *Gautier*. P. 333). Английская политическая система представлялась г-же де Сталь наиболее близкой к идеалу, а роль Англии как главной противницы наполеоновской империи лишь усиливала англофильство писательницы; в последней, шестой части *РФР* Сталь отозвалась об истории и общественном устройстве Англии так восторженно, что ее кузина, г-жа Неккер де Соссюр, даже сочла необходимым приискать этим восторгам оправдание: «Англия в ее глазах есть не что иное, как грядущая Франция. Она как бы говорит французам: вот к чему вы придете, а ведь для того, чтобы вдохновить человека на движение вперед, следует превозносить ту цель, к какой он движется. Она,

разумеется, восхищается благородным английским характером; но в нем она видит лишь поздний плод прекраснейших установлений; французы представляются ей человеческими существами, разумными творениями Божьими, которые ничем не уступают англичанам, а то и превосходят их. […] Как возмущает ее мысль, что французы не созданы для свободы! С каким содроганием упоминает она о чужестранцах на улицах Парижа! С каким гордым гневом встречает одну мысль о разделе Франции! Следует обращать внимание на общий тон, на главную идею этой книги *[РФР],* а не останавливаться на некоторых деталях, которые г-жа де Сталь, возможно, исключила бы из книги или переменила» *(ОС.* Т. 1. Р. CXCI–CXCII). О швейцарских корнях ее англофильства см.: *Зенкин С. Н.* Кружок Коппе // История швейцарской литературы. М., 2002. Т. 2. С. 39–40; об «английском мифе», созданном г-жой де Сталь и усвоенном из чтения *РФР* декабристами, см.: *Парсамов.* С. 104–110.

[148] Письмо Бонапарта английскому королю Георгу III (1738–1820) датировано 25 декабря 1799 г. Ответ Уильяма Уиндема Гренвила (1759–1834), в 1791–1801 гг. министра иностранных дел Великобритании в кабинете Питта (после смерти Питта в 1806 г. Гренвил сменил покойного на посту премьер-министра), адресованный французскому министру иностранных дел Талейрану, был написан 4 января 1800 г. Гренвил, как и Питт, был противником примирения с революционной Францией. Мир с Англией был заключен в Амьене двумя годами позже, 25 марта 1802 г., при другом кабинете министров (в 1801–1804 гг. английским премьер-министром был Генри Аддингтон).

[149] Слава в понимании Сталь — категория бесспорно положительная. Сталь считала стремление к славе вовсе не тождественным тщеславию, а почтение к славе — отнюдь не равняющимся подобострастию или суетности. По Сталь, способность испытывать восхищение великими людьми и награждать их славой есть механизм, сплачивающий и возвышающий нацию, а в особенности нацию, живущую по республиканским законам: «Не стоит отнимать у великих душ их благоговейную преданность славе, не стоит отнимать у народов способность восхищаться. Из восхищения рождаются все чувства, связующие правителей и подданных. […] Слава великих людей — достояние свободной страны; после их смерти ее наследует весь народ. Любовь к отечеству слагается только из воспоминаний. Как прекрасны древние, когда оплакивают знаменитого человека, отдают дань его памяти, ставят его в пример потомкам! […] Свободным нациям потребны неподкупные судьи, которые всегда вершат справедливый суд без гнева и пристрастия. Но поручив

должностным лицам исполнять неколебимую волю законов, нация вправе смело хвалить или хулить их, вправе даровать великим людям единственную награду, ради которой они не щадят себя, единственное воздаяние, единственную иллюзию, от которых не в силах отказаться даже добродетель, — одобрение современников и потомков» (*О литературе.* С. 293–294).

[150] То же самое свойство итальянцев, которое здесь ставится первому консулу в вину (поскольку Сталь необходимо отделить Бонапарта от французской нации и объяснить его пороки нефранцузским происхождением), в «Коринне» оценивается гораздо более снисходительно: «Жители Юга очень быстро переходят от сильнейшего возбуждения к глубокому спокойствию; вот еще одно противоречие в их характере: беспечная леность в них сочетается с неутомимой энергией. […] Если сейчас они кажутся излишне осмотрительными, то через минуту покажут себя безрассудно храбрыми; если сейчас они предаются праздности, то, значит, отдыхают после трудов или же готовятся к ним; вообще говоря, они не расточают своих душевных сил на глазах у всех, но берегут их для решительных действий. […] В итальянском народе можно найти еще нечто дикое, несмотря на присущую ему хитрость, которая напоминает хитрость охотника, умело подстерегающего добычу. Беспечные народы склонны к лукавству: они умеют под мягкой улыбкой таить даже гнев, когда им это нужно; такая привычная маска позволяет легко скрывать свое бедственное положение» (*Коринна*. С. 93–94). Следует заметить, что Сталь вообще была очень чувствительна к подобному сочетанию чувств: ленивую бесстрастность, внезапно перетекающую в неистовство, она называет главной чертой русского характера, и черта эта вызывает у нее реакцию скорее восхищенную.

[151] Книга *ОЛ* вышла из печати в конце апреля 1800 г. В основе ее лежит крайне важная для Сталь мысль о том, что новое республиканское мироощущение может быть создано не принуждением, но апелляцией к чувствам людей, а это под силу только интеллектуальной элите нации — литераторам, которые своими произведениями ведут за собой непросвещенный народ. В *ОЛ* не было ни слова, направленного впрямую против первого консула, но его раздражения не могло не вызвать пронизывающее книгу убеждение в том, что философы и литераторы играют в обществе не меньшую (а то и большую) роль, чем правители и военные, и потому правители вынуждены с ними считаться и к ним прислушиваться, военные же должны дорожить хвалебными речами, которые посвятят им литераторы: «Восхищение, которое вызывают удачливые полководцы, совершенно не зависит от того,

какое дело они защищают — правое или неправое. […] Военные могут победить противников свободы на поле брани, но приблизить ее торжество в своей стране они не в силах; на это способна лишь мысль, которая, вооружившись всеми воинскими добродетелями — отвагой, пылом, решимостью, — пробуждает в душах человеческих добровольные порывы, угасшие было из-за длительного господства силы. […] Сила презирает историю и подчиняет себе чужую волю, но именно поэтому она бесплодна. В революционные годы французам постоянно внушали, что свободе не восторжествовать без помощи деспотизма. Порядки, установленные насильно, могут притворяться свободными, но свобода эта мертва […] Нация нерешительная и пресыщенная неспособна к страстному восхищению, и даже военные успехи не смогли бы удостоиться вечной славы, если бы литература и философия не учили людей чтить героев- воинов и прославлять их» (*О литературе*. С. 80–81, 75). Кроме того, Бонапарту была совершенно чужда положенная в основу книги теория бесконечного совершенствования человеческого рода. Теория эта окончательно сложилась в работах философов-просветителей XVIII в. и связывалась в сознании современников г-жи де Сталь с их именами, поэтому после Революции, не без основания считавшейся логическим завершением просветительских теорий, многие мыслители и публицисты сочли эту теорию скомпрометированной эксцессами Террора. Между тем Сталь против такой трактовки решительно возражает: «Есть люди, которые возненавидели учение о совершенствовании из-за тех ужасных последствий, к которым оно привело в некоторые роковые периоды Революции; однако ничто так мало не связано с этим благородным учением, как подобные злодеяния. […] Если жестокие люди осквернили своими речами великодушные слова, следует ли из этого, что отныне никому не позволено размышлять о возвышенном? Все политические преступления нынче совершаются во имя добродетели, но не значит же это, что мы позволим негодяям похитить у нас все, чему мы поклоняемся» (Там же. С. 85–86). На словах первый консул также не отказывался от верности Революции и свободе, однако на деле его интересовало совсем иное; об истинных его помыслах гораздо больше говорит фраза, сказанная после 18 брюмера: «Революция утвердилась в тех принципах, ради которых она была начата, и ныне должна считаться оконченной» (цит. по: *Vandal.* T. 1. P. 560); восторженная апология свободы и республики, содержащаяся в книге Сталь, не могла не привести его в раздражение.

[152] Предварительная цензура книг была введена 5 февраля 1810 г., что имело самые плачевные последствия для *ОГ* (см. наст,

изд., с. 96–99).

[153] Обе эти комиссии были учреждены Конституционными законами (senatus-consulte organique; см. примеч. 272) от 18 мая 1804 г. одновременно с провозглашением Бонапарта императором. Деятельность обеих носила вполне декоративный характер: комиссия, ведавшая свободой личности, рассматривала дела о беззаконных арестах, но к решениям ее никто не прислушивался; деятельность же комиссии, ведавшей свободой печати, не распространялась на периодические издания, что лишало ее существование всякого смысла.

[154] Должность епископов, которые управляли епархиями, расположенными вне Франции (in partibus infidelium), считалась почетной и прибыльной, но не связанной ни с какой реальной деятельностью.

[155] Сталь называет «трудом о литературах Севера и Юга» *ОЛ,* где она впервые наметила ту мысль, которую потом более подробно развила в *ОГ* (где деление на северную и южную литературу сменилось делением на литературу романтическую и классическую) и которая впоследствии получила всеевропейскую известность, — мысль о том, что европейская словесность не сводится к французской литературе и подражаниям ей, что наряду с литературой Юга (самым совершенным образцом которой и является литература французская) существует литература Севера — иная, но в своем роде ничуть не менее значительная. Больше того, северная литература, более меланхолическая и философическая, по мнению Сталь, более пристала свободным народам, ибо «суровая природа и печальные небеса взрастили в жителях Севера гордость и презрение к смерти, которые никогда не позволили бы им стать рабами» (*О литературе.* С. 187).

[156] Эти романы появились в продаже соответственно в декабре 1802 и начале мая 1807 г.

[157] Все книги Сталь вызывали в печати бурную, но весьма неоднозначную реакцию. К возражениям эстетическим (далеко не все французские критики были согласны со стремлением писательницы поставить наравне с французской, классической литературой литературу другого типа — северную, романтическую) примешивались возражения морального порядка: героинь писательницы (а опосредованно и ее саму) обвиняли в безнравственности, в нарушении благопристойности, в попрании светских приличий. Наконец, бурные возражения и злые насмешки вызывало то обстоятельство, что *женщина* не только пишет романы, но и сочиняет серьезные трактаты, в которых высказывает собственные суждения о политике и философии. В

комментируемом пассаже Сталь более оптимистично смотрит на участь женщины-автора, чем в главе книги *ОЛ,* носящей название «О женщинах, посвятивших себя словесности» (ч. 2, гл. 4), итог которой весьма печален: «Публика заранее проникается предубеждением против всякой женщины, славящейся выдающимися способностями. […] Их тревожит даже даровитый мужчина, но даровитая женщина, отклоняющаяся от проторенных путей гораздо дальше, неминуемо вызывает изумление и, следовательно, бесит толпу еще сильнее. […] Умные люди, с удивлением обнаруживающие в числе своих соперников женщину, не умеют оценить ее ни с великодушием противника, ни со снисходительностью покровителя и попирают в этом невиданном доселе сражении законы чести и доброты» (*О литературе.* С. 302).

158 Наполеон нюхал табак в таких количествах, что, например, в 1808 г. для него одного табака было заказано 44 килограмма; он не только носил табак в табакерках, но еще и набивал им карманы; привычка эта развилась у него едва ли не до мании; напротив, к курению трубки (популярному в войсках, в отличие от нюхания табака, распространенного в эпоху Революции и Империи среди аристократии и буржуазии) он пристраститься не сумел. Нюхать табак, вертеть в руках табакерку или кромсать перочинным ножом стол или ручки кресла во время заседаний Государственного совета — все это для Наполеона были способы «занять себя», чтобы не слишком часто перебивать своих советников и выслушивать их соображения до конца (см.: *Madelin.* Т. 6. P. 59); ср. также воспоминания министра внутренних дел графа Шапталя: «По привычкам и характеру Наполеон был разрушителем. В зале Совета, в разгар обсуждений, он, вооружившись перочинным ножиком, кромсал подлокотники своего кресла с такой силой, что их то и дело приходилось заменять; впрочем, назавтра новые подлокотники постигала судьба старых» (цит. по: *Fierro.* P. 1036).

159 Кампания в Германии началась в конце апреля 1800 г.; первую победу над австрийцами Моро (см. о нем примеч. 63) одержал 3 мая 1800 г. при Штоккахе; летом Жозеф Бонапарт и Кобенцль, представлявший Австрию, вели переговоры, однако в ноябре 1800 г. военные действия возобновились, и 3 декабря 1800 г. Моро одержал победу при Гогенлиндене. Военные успехи Моро были так велики, что едва не затмили достижения первого консула. Опасаясь, как бы Моро не захватил Вену, австрийцы 25 декабря 1800 г. подписали в Штейере перемирие с французами. Конец этой войне между Францией и Австрией положил Люневильский мирный договор (см. примеч. 182).

[160] Бонапарт приехал в Женеву 9 мая 1800 г. и остановился в доме Соссюров — родителей кузины г-жи де Сталь, жены племянника Неккера, г-жи Неккер де Соссюр. Сюда 10 мая приехал из Коппе Неккер.

[161] В *РФР* (ч. 4, гл. 7) Сталь описывает реакцию отца иначе: «Эта беседа, длившаяся два часа, произвела на батюшку довольно приятное впечатление, ибо Бонапарт рассказывал ему о своих видах на будущее в тоне весьма доверительном» (*CRF*. P. 377). Зато Наполеон на Святой Елене (запись Лас Каза от 13 августа 1816 г.) отзывался о Неккере в крайне пренебрежительном тоне: «Я увидел всего-навсего толстого и напыщенного школьного учителя» *(Las Cases.* P. 419).

[162] Семидесятилетний генерал Михаэль Фридрих Бенуа Мелас (1729–1806), служивший в австрийской армии с 1746 г., был поставлен во главе австрийской армии, воевавшей в Италии, в 1799 г. и поначалу действовал весьма успешно: выиграл сражения при Кассово и Нови, окружил армию Массена в Генуе и вынудил ее капитулировать; он уже собирался захватить Прованс, но появление Бонапарта с резервной армией, перешедшей через альпийский перевал Сен-Бернар на границе между Швейцарией и Италией, заставило его изменить планы, а победа французов при Маренго 14 июня 1800 г. радикально преобразила весь ход кампании.

[163] Строки из «Оды на фортуну» Жан-Батиста Руссо (1670–1741); перевод М. В. Ломоносова (*Ломоносов М. В.* Избр. произв. Л., 1986. С. 434; сердечно благодарю за это указание К. А. Осповата). Имеется в виду битва при Каннах (216 г. до н. э.), которую вопреки воле римского полководца Павла Эмилия, консула 219 и 216 гг., начал Варрон, другой консул 216 г.; Павел Эмилий погиб в сражении, а победа осталась за карфагенянином Ганнибалом. Сам Наполеон вспоминал эти строки летом 1812 г., когда ошибки Мармона позволили англичанам выиграть битву при Саламанке (см.: *Fain A.* Manuscrit de 1812. P., 1827. T. 2. P. 10).

[164] См. примеч. 57. Старшему брату Неккера, Луи Неккеру де Жермани, Бонапарт сказал в Женеве, что непременно возвратит Неккеру долг, однако никаких практических последствий этот разговор не имел.

[165] Бонапарт прибыл в Лозанну 12 мая, пробыл там до 16 мая, а 20 мая основная часть армии под его командованием перешла через альпийский перевал.

[166] Такое желание испытывала не одна г-жа де Сталь; участники переворота 18 брюмера, полагавшие, что Бонапарт захватил слишком большую власть, и надеявшиеся, что в Италии

он потерпит поражение, намеревались воспользоваться случаем и поставить во главе страны новых людей: Лазара Карно (см. о нем примеч. 425), Лафайета или Жозефа Бонапарта, имевшего репутацию либерала (см.: *Vandal.* Т. 2. P. 400–402).

[167] Анж-Мари д'Эмар (1747–1803), во время Революции депутат Генеральных штатов, а затем Учредительного собрания, отличался либеральными убеждениями. После термидорианского переворота Эмар был назначен комиссаром Директории при Цизальпинской республике, затем представителем Франции в Турине, а 2 марта 1800 г. получил должность префекта департамента Леман.

[168] Сражение при Маренго состояло из трех этапов: с 9 до 14 часов австрийцы наступали, а французы, за исключением части корпуса Ланна, отступали; с 14 до 17 часов казалось, что сражение французами проиграно; Мелас, контуженный вследствие двух падений с лошади и вдобавок уже не сомневавшийся в исходе сражения, передал командование начальнику своего штаба генералу Заху и отправился в Алессандрию докладывать императору о победе. Тут, однако, наступил третий этап, продлившийся с 17 до 22 часов: австрийская армия, лишившись главнокомандующего, утратила напор и предоставила французам отступать спокойно и организованно. Между тем французские генералы собрались на совет, и генерал Луи-Шарль-Антуан Дезе (1768–1800) вызвался дать австрийцам арьергардный бой, чтобы остановить их; его поддерживала артиллерия Мармона и кавалерия Келлермана; в этом бою Дезе погиб, однако австрийцы были сломлены, начали в панике отступать, и победа осталась за французами.

[169] Алессандрийская конвенция, подписанная французским военным министром генералом Бертье 15 июня 1800 г. в Алессандрии, оставляла во владении Австрии Тоскану. Австрия окончательно утратила господство над Италией полгода спустя, после заключения Люневильского мира (см. примеч. 182).

[170] Представления о рыцарственном характере Павла восходят, по всей вероятности, к слухам о его намерении ради прекращения войны в Европе предложить государям сразиться между собой (см.: *Россомахин А., Хрусталев Д.* Вызов императора Павла. СПб., 2011). Что же касается курса Павла на сближение с Францией, то он был вызван не только горячностью и наивностью российского императора, но и расстановкой сил на политической сцене: участие в кампании 1799 г. не принесло России никаких выгод; Англия в 1800 г. заняла Мальту, невзирая на покровительство, которым Павел с 1797 г. удостоил владевший ею Мальтийский орден, между тем Бонапарт искусно

поддерживал в душе Павла надежду на возвращение острова под его покровительство (о Мальте см. примеч. 251). Именно этими обстоятельствами объяснялся поворот Павла к союзу с Францией; кроме того, Павла восхищали военные таланты первого консула. Все это побудило российского императора в самом конце 1800 г. обменяться с Бонапартом приветственными посланиями, а в феврале 1801 г. принять его предложение о совместных военных действиях против Англии. Убийство Павла (инициаторы которого, по свидетельству некоторых современников, пользовались моральной и денежной поддержкой англичан) в ночь с 11/23 на 12/24 марта 1801 г. положило конец этим планам (см.: *Шильдер* Я. Император Павел Первый. М., 1996. С. 396–407; *Эйдельман Н. Я.* Грань веков. М., 1982. С. 186–189, 208–209). В дальнейшем наполеоновские дипломаты и публицисты в моменты обострения русско-французских отношений неоднократно припоминали Александру убийство Павла; так, 8 августа 1812 г. «Монитёр» от лица вымышленного немца утверждает, что германским дворам союз с Францией сулит больше спокойствия, чем союз с Россией, где происходят катастрофы, подобные «гибели Петра от руки Екатерины, а Павла от руки…»; см. также примеч. 397.

171 Точное название этой брошюры — «Параллель между Цезарем, Кромвелем, Монком и Бонапартом, фрагмент, переведенный с английского»; она вышла в свет 1 ноября 1800 г. анонимно. По всей вероятности, среди ее авторов, помимо Люсьена Бонапарта, был Луи де Фонтан (1757–1821), впоследствии, при Империи, министр просвещения, а в описываемый период чиновник министерства внутренних дел. Бонапарт, утверждалось в брошюре, не похож ни на одного из тех, кто упомянут в заглавии: ему чужды лицемерное тщеславие и жестокость цареубийцы, которые были присущи Кромвелю; он, в отличие от Монка (о котором см. примеч. 112), далек от мысли об измене идеалам революции и восстановлении на престоле прежней королевской династии; наконец, от Цезаря его отличает то обстоятельство, что Цезарь искал прежде всего поддержки плебеев, Бонапарт же опирается на людей образованных и обладающих собственностью, на тех, кто заинтересован в порядке и стабильности. Между тем для поддержания порядка в государстве следует сделать положение первого консула более прочным: ведь он, к несчастью, не бессмертен, а без него что станется с Францией? Ни одна из существующих партий, по мнению автора брошюры, для управления страной не подходит; значит, Бонапарт обязан назначить себе наследника; в противном случае Францию ждут неисчислимые бедствия: «Французы! В

любую минуту вы можете лишиться того спокойствия, каким наслаждаетесь ныне! Вы спите на краю пропасти и ни о чем не тревожитесь! Какое безрассудство!» (цит. по: *Vandal.* Т. 1. Р. 521–522).

[172] Официальное извещение об этом Люсьен получил 6 ноября 1800 г. и выехал в Испанию 9-го. Отозван из Мадрида он был в октябре 1801 г. за нежелание следовать указаниям из Парижа в переговорах с Португалией.

[173] На самом деле Сталь вернулась в Париж 21 или 22 декабря 1800 г.

[174] См. выше примеч. 159.

[175] В *РФР* (ч. 4, гл. 16) Сталь приводит эту фразу Наполеона в более полном виде: «А ведь это он [Руссо] был причиной Революции. Впрочем, не мне на него жаловаться, ведь благодаря ему я завладел троном» (*CRF*. Р. 417). Между тем в Эрменонвиле Бонапарт еще не мог говорить о троне: ведь это поместье в окрестностях Парижа, где в 1778 г. скончался Жан-Жак Руссо, он посетил 28 августа 1800 г., еще и года не пробыв первым консулом. Эрменонвиль в это время принадлежал Станисласу де Жирардену (1762–1827), члену Трибуната, сыну маркиза Рене-Луи де Жирардена, который приютил Жан-Жака. Станисласу де Жирардену фраза Наполеона запомнилась иначе: «Будущее покажет, не лучше ли было бы для всеобщего счастья, чтобы ни Руссо, ни я не родились на свет» (цит. по: *DAE-1996*. Р. 101). Г-жа де Сталь, автор книги «Письма о сочинениях и характере Ж.-Ж. Руссо» (1788), с юности боготворила Руссо как писателя и поборника свободы, хотя и не разделяла некоторые его идеи (о развращающем действии общества, о том, что женщины от природы менее совершенны, чем мужчины). Об усвоении г-жой де Сталь идей Руссо см.: *Старобинский Ж.* Поэзия и знание. М., 2002. Т. 1. С. 314–333. Что касается мысли об ответственности Руссо за некоторые эксцессы Революции, то порой с ней была склонна согласиться и сама Сталь: «Он [Руссо] ничего не изобрел, но все воспламенил; стремление к равенству, способное вызвать гораздо большие потрясения, чем любовь к свободе, рождающее вопросы гораздо более жгучие и происшествия гораздо более ужасные, — стремление к равенству во всем своем величии и во всей своей низости звучит в каждой строке Руссо и взывает ко всем добродетелям человека, равно как и ко всем его порокам» *(О литературе.* С. 257). Политические идеи Руссо сделались популярны во время Французской революции, причем наиболее ревностными поклонниками автора «Общественного договора», стремившимися воплотить в жизнь его идеи, были якобинцы во главе с Робеспьером; именно в правление Робеспьера прах Руссо

был перенесен в Пантеон; отсюда у современников и потомков желание обвинить в преступлениях Робеспьера не кого иного, как Руссо (см.: *Rousseau J.-J.* Œuvres complètes. R, 1964. T. 3. P. XXII).

[176] Покушение на первого консула было совершено 24 декабря 1800 г. Через две минуты после того, как его карета, направлявшаяся из дворца Тюильри в Оперу на улице Ришелье, где в тот вечер должно было состояться первое во Франции исполнение оратории Гайдна «Сотворение мира», проехала по улице Сен-Никез (ныне площадь Карусели), произошел взрыв «адской машины», в результате которого двое прохожих были убиты, а шестеро тяжело ранены. Готовили покушение роялисты-шуаны, соратники Жоржа Кадудаля (см. о нем примеч. 369). Жестокость покушавшихся вызвала сочувствие к первому консулу у самых разных людей, в том числе и у самой Сталь, которая в письме к Жозефу Бонапарту, написанном по свежим следам, сразу после «ужасного происшествия», отозвалась о Бонапарте гораздо более мягко; впрочем, она выражала уверенность в том, что «будущее принадлежит умеренности», между тем виновные во взрыве «адской машины», роялисты Карбон и Сен-Режан, арестованные в январе 1801 г., 20 апреля того же года были казнены.

[177] Намек на появившееся в газете «Публицист» 29 декабря 1800 г. письмо А.-А.-Ф. Каде де Во (между прочим, специалиста по общественной гигиене, оздоровлению условий жизни заключенных и проч.) с предложением восстановить старинные казни вроде колесования или сожжения на костре (для поджигателей); публикация эта выглядела особенно неуместно на страницах газеты, имевшей репутацию либеральной и включавшей в число редакторов Сюара, Гизо и Баранта, а в число авторов — Бенжамена Констана, который, в частности, печатал в ней рецензии на произведения г-жи де Сталь. Впрочем, далеко не все «философы» разделяли точку зрения Каде де Во; так, журнал «Философическая декада», вокруг которого группировались так называемые «идеологи» — убежденные последователи философии Просвещения, 10 января 1801 г. выступил с резкой критикой его «инициативы».

[178] Реминисценция из трагедии Вольтера «Смерть Цезаря» (1735), где в финале (д. 3, явл. 7) консул Марк Антоний указывает народу на тело Цезаря, покрытое окровавленной тогой, и, призвав народ покарать убийц, признается сенатору Долабелле в том, что намеревается, «за Цезаря отмстив, принять его наследство».

[179] Генерал Бернадот был одним из популярнейших французских военачальников того времени; о его причастности к

оппозиции в начале 1800-х гг. см. ниже примеч. 260.

[180] Список якобинцев, подлежащих высылке (130 человек, которые были известны своей оппозиционностью режиму, установленному после 18 брюмера), составил министр полиции Фуше, впрочем, знавший, что истинные виновники покушения на улице Сен-Никез — роялисты (которых он арестовал позже, во второй половине января). Сенат одобрил список осужденных якобинцев 5 января 1801 г., и уже 6 января их (в реальности не 130, а 68 человек) отправили в Нант, а оттуда — на Сейшельские острова (а не на Мадагаскар, как сказано у Сталь). Больше половины высланных умерли в ссылке.

[181] Понятие распределительной справедливости, или распределительного правосудия, восходит к «Никомаховой этике» Аристотеля; у Аристотеля речь идет об одном из видов права, предполагающем «распределение почестей, имущества и всего прочего, что может быть поделено между согражданами определенного государственного устройства» соответственно их достоинству (сердечно благодарю Н. В. Брагинскую за это указание). Сталь, разумеется, употребляет это выражение в ироническом смысле, обыгрывая прежде всего семантику слова «распределительный».

[182] Люневильский договор, подписанный 9 февраля 1801 г., в основном закреплял те же условия, какие четыре года назад содержались в Кампоформийском договоре (см. примеч. 7). Относительно Венеции Сталь несколько опережает события: Венеция и Венецианская область, которые Бонапарт уступил Австрии в Кампо-Формио (см. примеч. 31), были присоединены к Итальянскому королевству, пребывавшему под властью Наполеона, в 1805 г., после подписания Пресбургского мира.

[183] Итальянский маркиз Джироламо Луккезини (1752–1825) некогда поступил на службу к прусскому королю Фридриху II, который назначил его своим библиотекарем, и с тех пор служил Пруссии. В октябре 1800 г. Луккезини был назначен чрезвычайным посланником прусского короля в Париже; после 1806 г. из-за несогласий с королем вышел в отставку и вернулся в родную Лукку, где получил должность камергера при дворе сестры Наполеона Элизы Баччоки, которой Лукка была подарена в 1805 г. Транслитерация фамилии Луккезини как «Люккезини», принятая в *ВПР,* кажется нам неверной по причине итальянского, а не французского происхождения маркиза. Считается, что Сталь придала черты Луккезини старому испанскому дипломату герцогу Мендосе, персонажу «Дельфины»; во всяком случае, портрет Мендосы в этом романе (ч. 1, письмо 10) очень близок комментируемой характеристике прусского посланника: «Его

встреча с власть имущими — зрелище в высшей степени примечательное; завидев министра, он сгибается в поклоне так стремительно и так страстно, что это не может не вызвать улыбки; распрямившись же, пожирает министра глазами с видом столь предупредительным, столь ласковым, я бы даже сказала, столь растроганным, что становится совершенно очевидно: ко всем, кто в последние три десятка лет был в чести при испанском дворе, он питает самую искреннюю привязанность. Ничуть не менее любопытна манера герцога Мендосы вести беседу: он начинает фразы с тем, чтобы министр их закончил; он заканчивает фразы, которые министр начал; о каком бы предмете министр ни говорил, он сопровождает его речи вежливой улыбкой и похожими на басовый аккомпанемент возгласами одобрения, немало утомляющими окружающих, но, по всей вероятности, весьма приятными для того, кому они адресованы. Если у него появляется повод упрекнуть министра в недостаточном попечении о собственном здоровье или в чрезмерных трудах, надобно видеть, с какой силой он бросает ему в лицо эти дерзкие истины; по тону его можно подумать, будто он готов на все, лишь бы не пойти против своей совести, и лишь по размышлении понимаешь, что он просто разнообразит формы раболепства, переходя от лести пресной к лести грубой, чуть менее привычной. Человек он не злой; он предпочитает не причинять окружающим зла, и если решается на это, то только из корысти» (*Delphine.* T. 1. P. 96).

[184] Граф Людвиг фон Кобенцль (1753–1809), канцлер Австрии с 1801 по 1805 г., представитель Австрии на переговорах, предшествовавших подписанию Люневильского мира (см. примеч. 182), жил в Париже с февраля по сентябрь 1801 г. Послом Австрии в Петербурге он был в 1779–1797 гг. Выразительную характеристику Кобенцля, нарисованную С. С. Уваровым в 1808–1809 гг., см.: *Дурылин.* С. 229–230. Пребывание Кобенцля в России и его театральные пристрастия (включая женскую роль в мольеровской пьесе) описаны у Массона: «Его страстью были комедии: он не только любил смотреть на игру других, но и сам выступал на сцене; и все это у него выходило совсем недурно. […] часто курьер из Вены, привозя ему известие о каком-нибудь событии или поражении, заставал его перед зеркалом: он разучивал роль, облаченный в костюм графини д'Эскарбаньяс или Крупильяка» (*Массон.* С. 53; ср. также анекдоты о театральных переодеваниях Кобенцля в воспоминаниях приятеля г-жи де Сталь, Ф. Головкина: *Golovkine.* P. 214–215). Графиня д'Эскарбаньяс — богатая вдова, героиня одноименной комедии Мольера (1671); Криспен — тип хитрого слуги в итальянской

комедии дель арте; из французских комедий с его участием наиболее известны две: «Криспен — соперник своего господина» А.-Р. Лесажа (1707) и «Единственный наследник» Ж.-Ф. Реньяра (1708). Кризаль — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины» (1672), скучный, эгоистичный и приземленный буржуа. Эту роль Кобенцль, «хорошо загримированный», игравший «с живостью и талантом, которые вызвали бы зависть у опытного актера» (свидетельства очевидцев см. в: *Дурылин.* С. 322), исполнил 11 мая 1808 г. в Вене вместе с г-жой де Сталь, которая играла Филаминту.

185 Жеро-Кристоф-Мишель Дюрок (1772–1813), адъютант Бонапарта в ходе Итальянской и Египетской кампаний, генерал с 1801 г., выполнял дипломатические поручения первого консула в разных европейских странах, в том числе в Вене.

186 Замок Морфонтен в окрестностях Санлиса, прежде принадлежавший семейству Конде, Жозеф Бонапарт приобрел в 1799 г. Он принимал здесь многочисленных гостей, в том числе литераторов и философов, многие из которых были хорошими знакомыми Сталь; она сама также не раз пользовалась гостеприимством Жозефа. См. также о Морфонтене с. 73 и примеч. 338.

187 Кобенцль, по воспоминаниям Головкина, был человек «толстый, рыжий, косой и неопрятный даже в самом роскошном наряде» (*Golovkine.* P. 213). Карл Лотарингский, герцог Майенский (1554–1611), второй сын герцога Франсуа де Гиза, во время религиозных войн второй половины XVI в. возглавлял войска католической Лиги и, в частности, сражался с Генрихом IV. В 1596 г. Генрих, желая положить конец гражданской войне, подписал с герцогом Майенским договор о мире. По преданию, во время свидания двух политиков король взял герцога, чудовищно толстого и страдавшего ишиасом, за руку и повел гулять по парку Монсо, а когда тот совсем запыхался, сказал со смехом: «Черт побери, стойте, братец, и вот что я вам скажу: никакого иного зла и неудовольствия я вам не причиню».

188 Кобенцль был отозван в Вену из Петербурга в апреле 1797 г.; он был назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел; в этом качестве он представлял Австрию на переговорах с французами в Раштатте, а затем возвратился в Петербург, но в феврале 1800 г. Павел I, разгневанный исходом Швейцарского похода Суворова, не принесшего России никаких выгод, потребовал его отзыва.

189 Дело было не только в том, что Бонапарт боялся быть убитым так же, как был убит Павел; в лице русского императора он терял могущественного союзника в борьбе против Англии (см.

примеч. 170). Известие о смерти Павла дошло до Парижа 12 апреля 1801 г.

[190] Сходным образом мать писательницы, г-жа Неккер, перед приемом гостей набрасывала на бумаге остроумные ответы на те вопросы, которые, как она предвидела, могли быть затронуты в общей беседе (см.: *Gautier*. P. 66).

[191] Если верить рассказу, который граф Ф. Головкин, по его словам, слышал от самой г-жи де Сталь, на этом приеме у генерала Луи-Александра Бертье (1753–1815), в описываемый период военного министра (он занимал этот пост с ноября 1799 по август 1807 г.), Бонапарт, бросив взгляд на глубокое декольте г-жи де Сталь, осведомился у нее, сама ли она кормила своих детей, и, не услышав ответа, отошел и сказал своему брату Люсьену: «Видите, она не может даже ответить ни да ни нет» (см.: *Golovkine.* P. 377–378).

[192] Здесь Сталь открыто указывает на одну из главных причин их расхождения с Наполеоном — отношения соперничества, которые возникали между ними из-за его нежелания видеть в ней советчицу. Если верить воспоминаниям Люсьена Бонапарта, Сталь говорила ему «чуть не плача»: «Что же делать! Я так хочу понравиться вашему брату, что глупею в его присутствии. Я желаю говорить с ним, приискиваю нужные слова, меняю их, стараюсь привлечь его внимание и в конце концов делаюсь глупа, как гусыня»; Бонапарт же, узнав об этом, воскликнул смеясь: «Выходит, что ее гений трепещет моего!» (цит. по: *Gautier*. P. 65). Наполеон и от мужчин-философов терпеть не мог советов, даваемых «на равных»; тем более не желал он их выслушивать от женщины.

[193] На самом деле трибунов было 100, а не 80. Цифра «80» появилась в тексте Сталь скорее всего потому, что, согласно Конституции, Трибунат каждый год должен был обновляться на одну пятую, то есть 80 членов оставались прежними, а 20 сменялись.

[194] Закон об учреждении особых судов для людей, обвиняемых в подготовке мятежей, убийствах и разбое, был принят 7 февраля 1801 г. Закон этот давал право создавать повсюду, где в том имелась необходимость, особые суды, состоявшие из председателя, двух судей обычного уголовного суда, а также трех военных и двух гражданских особ, назначенных первым консулом. Суды эти, таким образом, обходились без присяжных, а приговоры их не подлежали обжалованию; обвинения в разбое чаще всего предъявлялись шуанам из западных департаментов, так что деятельность особых судов приобретала политическую окраску. Люди республиканских

убеждений, входившие в состав Трибуната и Законодательного корпуса, отнеслись к предложенному правительством закону настороженно: в Трибунате «за» высказалось 49 человек, а «против» — 41, в Законодательном корпусе на 192 проголосовавших «за» пришлось 88 высказавшихся «против». Наполеона это сопротивление взбесило; впрочем, оно не помешало закону быть принятым.

195 Подобной «скверной метафизикой», к которой прибегают фанатики, желающие «обосновать логически» самые отвратительные убеждения, Сталь возмущалась еще на страницах книги *ОЛ:* «„Защитниками невинных закон назначает присяжных-патриотов; заговорщикам защитники не положены“, — сказал Кутон о законе 22 прериаля [законе от 10 июня 1794 г. об учреждении Революционного трибунала]. Разве в этой фразе есть ошибки против грамматики? А между тем можем ли мы привести другую фразу, где в столь немногих словах было бы высказано столько жестоких нелепостей?» (*О литературе.* С. 331).

196 О герцоге Энгиенском и его гибели см. с. 79–83, примеч. 377 и след.

197 Со своей стороны, Наполеон считал понятия «равенство» и «тщеславие» тесно связанными; равенство он понимал как возможность для *всех* подданных соревноваться в борьбе за милости императора и получение из его рук выгодных должностей и знатных титулов. Ср. обсуждение этой темы на Святой Елене: «Равенство прав, то есть права каждого стремиться, притязать и добиваться, было одним из врожденных, неотъемлемых убеждений Наполеона. „Не всегда я царствовал, — говорил он. — Прежде чем стать государем, я был подданным и превосходно помню, как сильно чувство равенства воздействует на воображение и воспламеняет сердце“, […] Поручая некоему члену Государственного совета подготовку некоего закона, он сказал: „Главное, старайтесь не ограничить свободу, и еще менее — равенство, ибо свободой при необходимости можно пожертвовать; если обстоятельства того требуют, это простительно; равенство — дело иное; его надобно сохранять любой ценой. Упаси меня Господь покуситься на равенство! Наш век без ума от равенства, а я сын века и хочу им остаться!“ Заслуги всех подданных в его глазах имели одинаковую цену, а значит, были достойны одинаковых наград, поэтому одни и те же титулы и ордена полагались духовным особам, военным, художникам, ученым и литераторам» *(Las Cases.* P. 583; 18–19 ноября 1816 г.); ср. также выразительный монолог Наполеона на эту тему в воспоминаниях г-жи де Ремюза: «С вами, французами, можно иметь дело, только возбуждая ваше тщеславие; суровость

республиканского правления навеяла бы на вас смертельную скуку. Что послужило причиной Революции? Тщеславие. Что положит ей конец? Опять-таки тщеславие. Свобода — не более чем предлог. Равенство — вот от чего вы сходите с ума, поэтому народ рад повиноваться королю, вышедшему из рядов солдат»; имперская система была задумана Наполеоном именно как способ «с помощью нескольких слов, поставленных перед фамилиями, и нескольких кусочков красной ленты уравнять феодальные притязания с притязаниями республиканскими» (*Rémusat*. T. 1. P. 392, 381). О системе титулов в Империи см. примеч. 430.

198 То есть с англичанами, живущими в конституционной монархии, которая установилась в Англии в 1689 г., когда на престол взошел Вильгельм III Оранский.

199 В число «дельных» и снискавших одобрение нации мер входила борьба с разбоем, который в послереволюционные годы достиг в провинции ужасающих масштабов; в первые годы Консульства удалось уничтожить большую часть банд, причем для этого пригодились те самые особые суды, которые Сталь критикует выше (см. примеч. 194).

200 Наполеон придавал дорогам огромное политическое значение, так как видел в них эффективное средство управления; разумеется, не забывал он и о военном и экономическом их использовании. Не меньшее внимание уделял Наполеон и каналам; за время его правления (1800–1814) было проложено 208 км каналов (до Революции их общая протяженность составляла 1000 км); запланировано, впрочем, было гораздо больше. Строительство дорог и каналов находилось в ведении главноуправляющего дорогами и мостами, который, хотя формально подчинялся министерству внутренних дел, фактически находился в ранге министра и имел в своем подчинении разветвленный штат чиновников и инженеров.

201 См. примеч. 136 и 137.

202 Г-жа де Сталь говорит здесь о так называемых «идеологах». Философы, входившие в эту группу, которая именовалась также «Отейской» (в Отее, пригороде Парижа, они собирались в доме вдовы философа Гельвеция), стремились придать социальным наукам экспериментальный характер, уравняв их тем самым в доказательности и объективности с науками точными; они пытались объяснить идеи ощущениями и составить их четкую классификацию (грамматику). В число «идеологов» входили такие мыслители, как Дестют де Траси, Кабанис, Вольней, Рёдерер, Сьейес. Периодическим изданием, выражавшим их идеи, был журнал «Философическая декада»,

официальным местом пропаганды их взглядов — созданное в октябре 1795 г. Отделение моральных и политических наук Института Франции, в которое почти все они постепенно были приняты. «Идеологи» были наследниками философии XVIII в., и это сближало с ними г-жу де Сталь; разделяло их отношение к религии: ненавидя религиозный фанатизм и отдавая предпочтение перед более авторитарным католицизмом более толерантному и свободному протестантизму, Сталь, однако, не могла принять сенсуализм и религиозный скептицизм «идеологов». Что касается Бонапарта, то поначалу он восхищался «идеологами» и с ними заигрывал, желая поставить себе на службу (что отчасти и произошло во время переворота 18 брюмера, в котором многие из «идеологов» принимали самое активное участие), однако не желал терпеть их свободомыслия; они же, храня верность традициям эпохи Просвещения, не желали простить первому консулу союз с католической церковью, видя в нем возрождение тех самых предрассудков, с которыми они всю жизнь боролись. Поскольку «идеологи», входившие в состав Трибуната (Мари-Жозеф Шенье, Дону, Женгене и др.), вместе с либералами (такими, как Констан) пытались оказать сопротивление принятию некоторых законов, предложенных правительством Бонапарта, первый консул счел необходимым удалить «жалких метафизиков» из этого законодательного органа. Вопреки закону, предписывавшему производить обновление одной пятой Трибуната и Законодательного корпуса с помощью жребия, он в начале 1802 г. самолично назвал имена тех депутатов, которых следует исключить из числа законодателей, и тех, кого следует поставить на их место (см. примеч. 240). При этом исключенными оказались именно те, кто принадлежал к оппозиции, в частности «идеологи».

[203] Сталь хочет сказать, что Бонапарт, сам видевший в религии не более чем средство для укрепления своей власти, использовал благородные религиозные чувства для борьбы с «идеологами», которых упрекал в отсутствии этих чувств. Об отношении Бонапарта к католицизму и папскому престолу см. ниже, примеч. 255.

[204] Пьер-Жан-Жорж Кабанис (1757–1808), врач и философ, автор книги «Соотношение физического и морального в человеке» (1802), сенсуалист и атеист, член группы «идеологов», в 1798 г. был избран в Совет пятисот, в ноябре 1799 г. активно способствовал приходу Бонапарта к власти и за это получил место сенатора, которое занимал до смерти.

[205] На самом деле неприязнь Бонапарта к Жюльетте Рекамье (урожд. Бернар; 1777–1849), в 1793 г, вышедшей замуж за

банкира Жака-Роза Рекамье, объяснялась, по всей вероятности, причинами вполне материальными, причем как семейного, так и общественного свойства: в 1799 г. в число обожателей красавицы Жюльетты входил Люсьен Бонапарт, чьи пламенные ухаживания она отвергла (см.: *Констан.* С. 393–398). Кроме того, не подлежали сомнению более или менее прямые связи г-жи Рекамье с роялистскими кругами; ее отец, нотариус Жан Бернар, в 1801 г. был назначен главноуправляющим почтой, но вскоре был уволен и едва избежал тюремного заключения, поскольку выяснилось, что он тайно способствует почтовым сношениям между шуанами и эмигрантами. К этому времени относится эпизод, о котором сам Наполеон вспоминал на Святой Елене: г-жа Рекамье явилась к первому консулу просить о восстановлении отца в должности; тот отказал, а поскольку красавица к отказам не привыкла, «все ее многочисленное окружение принялось громко возмущаться и так никогда и не простило первому консулу подобного обращения с нею» *(Las Cases.* P. 171). Салон г-жи Рекамье, дружной с Бернадотом и Моро, служил местом сбора людей, недовольных режимом Бонапарта, и это не могло не раздражать первого консула (см.: *Remacle.* P. 249).

206 Пьер-Франсуа Мешен (1744–1804), член Института с 1795 г., был знаком с Бонапартом еще со времен Египетского похода, в котором принимал участие в числе других ученых (см. примеч. 68).

207 Португалия с начала XVIII в. была союзницей Англии; Бонапарта это устроить не могло, и под его давлением 20 мая 1801 г. Испания начала войну против Португалии, продлившуюся всего несколько дней и окончившуюся подписанием двух договоров (6 июня и 29 сентября 1801 г.), очень невыгодных для португальской стороны, которая должна была согласиться на выплату огромных компенсаций, пересмотр границ с Испанией и дать обещание закрыть португальские порты для английских кораблей. Что касается испанского престола, то его с 1788 г. занимал король Карл IV (1748–1819); в 1808 г. испанский народ, недовольный политикой королевского фаворита и первого министра Годоя, восстал и вынудил Карла IV отречься от престола в пользу сына, который был провозглашен королем Испании под именем Фердинанда VII. Карл IV, желая вернуть престол, прибег к помощи Наполеона, который принудил Фердинанда отдать корону, а его отца — отречься от нее вторично, на сей раз в пользу французского императора, после чего государственная хунта, составленная из нескольких испанских нотаблей, провозгласила королем Жозефа Бонапарта.

208 В 1802 г., после смерти эрцгерцога Фердинанда III де

Бурбона, герцога Пармского (1751–1802), его владения были присоединены к Франции, а сын Фердинанда, Людовик де Бурбон (1773–1803), женатый на инфанте Марии- Луизе, дочери испанского короля Карла IV, получил в качестве компенсации Тоскану, которую французы завоевали еще в 1799 г. и которая теперь была превращена в королевство Этрурию (так называлась в древности страна, располагавшаяся на территории современной Тосканы и завоеванная в конце IV в. до н. э. римлянами). Испанский король в благодарность за этот декоративный жест Бонапарта переуступил Франции испанскую часть Луизианы, отдал французам принадлежавшую ему часть острова Эльба, который в результате сделался полностью французским, и согласился начать войну против Португалии (см. предыдущее примеч.). Королевство Этрурия просуществовало недолго: после смерти Людовика де Бурбона в 1803 г. от эпилепсии престол перешел к его четырехлетнему сыну Людовику II, при котором его мать состояла регентшей, но уже в 1807 г. Наполеон по договоренности с Испанией отобрал у них эти земли и включил в состав Франции, а в 1809 г. создал на месте бывшего королевства великое герцогство Тосканское, правительницей которого сделал свою сестру Элизу Баччоки. Людовику II Наполеон посулил взамен новое королевство Лузитанию, которое так и не было создано; после падения Наполеона бывший король Этрурии сделался князем Луккским (1814) и герцогом Пармским (1817).

209 Король и королева Этрурии были в Париже с 3 по 30 июня 1801 г. под именами графа и графини Ливорнских.

210 Эту реплику Филоктета из трагедии Вольтера «Эдип» (1718; д. 2, явл. 4) использовала в рассказе об отношениях между Бонапартом и королем Этрурии не только Сталь; ту же фразу процитировал, описывая приезд Людовика де Бурбона в Париж, личный секретарь Наполеона, барон Меневаль, чьи воспоминания были опубликованы лишь в 1893–1894 гг. В записных книжках, рассказывая о свидании Наполеона и Александра I в Эрфурте в октябре 1808 г., Сталь упоминает о представлении вольтеровского «Эдипа», на котором присутствовали оба императора, и о реплике из этой пьесы, произведшей сильнейшее действие на Александра I, который, услышав ее, вскочил и обнял Наполеона: «Великих дружество есть чистый дар небес» (см.: *DAE-1996*. P. 453, 471).

211 «Государь этот отличался ребяческими вкусами, менее всего подобающими человеку женатому, отцу семейства. Первый консул поселил его на несколько дней в Мальмезоне, где король Этрурии забавлялся тем, что играл с адъютантами в чехарду и в жмурки, бегал с ними взапуски и бросал им волан. Глядя на него,

Бонапарт говорил: „Этот Рубикона не перейдет“» (*Norvins J. de.* Mémorial; цит. по: *Fierro.* P. 1171). Королю Этрурии было в описываемую пору 28 лет.

212 Музеем искусств называлось открытое для публики с 1793 г. собрание произведений искусства, хранившихся в Лувре; Кабинетом, а точнее, Музеем естественной истории, с 1793 г. именовался парижский Ботанический сад.

213 Министром внутренних дел с 21 января 1801 по 7 августа 1804 г. был Жан-Антуан Шапталь (1756–1832), человек либеральных взглядов и глубоких познаний (профессиональный химик, автор многочисленных научных трудов). Упоминание танцовщиц из Оперы связано с тем, что одна из них была любовницей Шапталя.

214 Сталь ошибается; ниже (см. наст, изд., с. 92) она сама упоминает празднование 14 июля, состоявшееся в 1804 г.; празднества в честь взятия Бастилии состоялись также в 1802 и 1803 г., хотя в 1803 г. церемония проходила вне дворца Тюильри.

215 Сталь имеет в виду учрежденные декретом от 3 марта 1810 г. тюрьмы для государственных преступников — особ, «которых невозможно ни предать суду, ни выпустить на свободу». В Париже с этой целью использовались Тампль, Бисетр и Венсеннский замок. Противники Наполеона регулярно обвиняли его в постройке «новых бастилий» и возобновлении дореволюционной традиции заключать людей в тюрьму без суда и следствия; во всяком случае, когда 20 июля 1816 г. Наполеон обсуждал с Лас Казом на Святой Елене устройство своих тюрем и всячески прославлял их как заведения гуманные и функционировавшие в соответствии с законом, Лас Каз в ответ заметил: «Да, ваше величество, но в наших салонах они большого успеха не имели и немало скомпрометировали вас в глазах общества. Со всех сторон только и слышались крики о *новых бастилиях, о* новых *заключениях в тюрьму без суда и следствия» (Las Cases.* P. 373).

216 Манера Бонапарта именовать своих зятьев «нашими» вызывала возмущение и насмешки не у одной Сталь; ср. ироническое обыгрывание этой формулы в донесении агента графа Прованского (будущего Людовика XVIII): «Наш зять Мюрат несколько дней как болен […] Наш зять Леклерк трудится над приумножением своего состояния…» (*Remacle.* P. 140; 11 октября 1802 г.). Позднее эту позицию Бонапарта афористически описал Шатобриан: «При Империи мы исчезли; о нас никто и не вспоминал, все принадлежало Бонапарту: „Я приказал, я победил, я сказал; мои орлы, моя корона, моя кровь, моя семья, мои подданные“» (*Шатобриан.* С. 263). Виктуар-Эмманюэль Леклерк

(1772–1802) с 14 июня 1797 г. был женат на сестре Бонапарта Полине (1780–1825). Название Сан-Доминго носила западная часть острова Гаити, с 1697 г. бывшая французской колонией. Приказ об отправке на Сан-Доминго французского экспедиционного корпуса под командованием генерала Леклерка для подавления мятежа под руководством Туссена-Лувертюра (см. примеч. 218) Бонапарт отдал 7 октября 1801 г. Генерал Леклерк, отправившийся на Сан-Доминго вместе с женой, умер там 2 ноября 1802 г. от желтой лихорадки, после чего Полина возвратилась в Европу.

[217] Слухи о грубом обращении Бонапарта с сестрами охотно распространялись в роялистских кругах; так, в донесении одного из тайных агентов Людовика XVIII сообщалось, что Полина Леклерк отказывалась ехать с мужем на Сан- Доминго, ссылаясь на то, что она беременна и не перенесет дурных дорог Нижней Нормандии, по которым ей предстоит добираться до морского порта, Бонапарт же, не желая внять мольбам сестры, приказал доставить ее в порт на носилках (см.: *Remacle.* P. 69). Полина вообще часто жаловалась на недомогания и уже после смерти Леклерка и возвращения с Сан-Доминго постоянно ездила на воды, пытаясь поправить расшатанное здоровье.

[218] Уроженец Сан-Доминго Франсуа-Доминик Туссен (1743–1803), называемый обычно Туссеном-Лувертюром (от фр. Touverture — брешь; эти бреши Туссен многократно проделывал в рядах противника), негр-невольник, в 1791 г. принял участие в мятеже рабов против французских властей, затем перешел на службу к испанцам (владевшим до 1795 г. восточной частью острова), а в 1794 г., после того как французский комиссар Сонтонакс, узаконив положение, сложившееся на острове в результате восстания, отменил рабство, а французский Конвент подтвердил эту отмену своим декретом от 4 февраля 1794 г., принял сторону Франции. В 1797 г. Сонтонакс назначил Туссена начальником французской колонии, но вождю гаитян захотелось стать полноправным властелином острова, и он отправил Сонтонакса на корабле во Францию, захватил те части острова, которые принадлежали англичанам (с 1794 г.) и испанцам, после чего 8 июля 1801 г. провозгласил автономию Сан-Доминго в составе Французской республики и обнародовал Конституцию собственного сочинения, назначающую его самого пожизненным губернатором острова с правом выбора себе преемника. Бонапарт поначалу предпочел вступить с Туссеном в союз: он назначил его «первым агентом Французской республики» в Сан-Доминго, однако при этом лишил его звания главнокомандующего войсками острова и главенства в администрации бывшей

испанской территории. Однако после провозглашения Туссеном Конституции он решил покарать «мятежника» и отправил на Сан-Доминго своего зятя Леклерка, которому и надлежало взять на себя управление колонией. Войска Леклерка добрались до Сан-Доминго в феврале 1802 г. и после двухмесячных ожесточенных боев одержали победу над негритянскими военачальниками. Туссен-Лувертюр в начале мая капитулировал, выговорив себе право жить в своей резиденции, однако 7 июня Леклерк, вызвав мятежника якобы для обсуждения неких военных вопросов, арестовал его и отправил во Францию. Именно это дало повод обвинять французские власти и непосредственно Бонапарта в предательстве. 12 июля 1802 г. корабль, на котором везли Туссена, прибыл в Брест, а 23 июля было издано постановление о заключении его в форт Жу, вблизи города Понтарлье (департамент Ду), где он скончался меньше чем через год, 7 апреля 1803 г., от голода и холода; см. об этом наст, изд., с. 100. Сталь внимательно следила за событиями на Сан-Доминго и принимала участие в судьбе уроженца Гваделупы, негра по имени Пелаж, несправедливо арестованного и заключенного в тюрьму во Франции; в желании чернокожих жить в соответствии с конституцией она видела неопровержимое доказательство «совершенствования рода человеческого» (письмо к Жозефу Бонапарту от 18 апреля 1801 г.; цит. *по: DAE-1996. P.* 115).

[219] Параллель «машины-люди» содержится уже в петербургской части «Путевого дневника»: «Монетный двор: блеск серебра. Огромные машины. Бедность людей, изготовляющих деньги. 60 рублей в минуту. Черные лица работников и их грубые перчатки делают их неотличимыми от огромных машин» (*Carnets*. P. 309). Однако уподобление машин, штампующих монеты, покорным подданным тирана Бонапарта появилось только в тексте «Десяти лет». Использование петербургского впечатления в этой части книги свидетельствует о том, что над данной редакцией Сталь работала в Стокгольме, уже после отъезда из России. Переводчик «Вестника Европы» (1821. Ч. 119. № 15. С. 209) предваряет перевод фрагмента о Монетном дворе (который он называет просто «огромным заводом») следующим комментарием: «Заключим выпискою, которая дает самое лучшее понятие о бывшем могуществе Бонапарта и вместе служит убедительнейшим примером прекрасного таланта сочинительницы».

[220] Сталь уехала из Парижа 19 мая 1801 г. и прибыла в Коппе около 25 мая.

[221] Слегка искаженная (Сталь явно цитировала по памяти) реплика Цицерона из трагедии Вольтера «Спасенный Рим» (1750;

д. 5, явл. 2).

222 Сочинение Неккера, о котором идет речь, носило название «Последние соображения относительно политики и финансов». О его публикации, состоявшейся в начале августа 1802 г., см. с. 58 и примеч. 269.

223 Эти предварительные статьи, предшествовавшие Амьенскому миру, заключенному 25 марта 1802 г., были подписаны в Лондоне 1 октября 1801 г.; это стало возможным благодаря смене английского кабинета: сторонника войны до победного конца Питта сменил Аддингтон (см. примеч. 148). На самом деле подписание мира было вынужденным и для Бонапарта, и для Англии; обе стороны находились в трудном положении: Англия переживала экономический кризис, Бонапарт со смертью Павла I утратил могущественного союзника (Александр I поспешил восстановить дружеские отношения с Англией), а кроме того, потерпел неудачу в Португалии и Египте (см. примеч. 224).

224 После убийства генерала Клебера (см. примеч. 225) командование французской армией в Египте перешло к генералу Мену (1750–1810), который действовал крайне неудачно и 2 сентября 1801 г. подписал капитуляцию; Египет вновь перешел под власть турок, Александрия осталась в руках англичан.

225 Жан-Батист Клебер (1753–1800) сменил Бонапарта на посту главнокомандующего французской армией в Египте. 20 марта 1800 г. Клебер одержал победу над турками в сражении при Гелиополисе близ Каира, а затем подавил народное восстание в Каире, но 14 июня 1800 г. был убит турецким религиозным фанатиком Сулейманом аль-Халеби. К смерти Клебера Бонапарт был непричастен, однако не подлежит сомнению, что он ревновал к его славе и опасался соперничества не только при жизни генерала, но даже и после его смерти: Клебера похоронили в замке Иф, и останки его пребывали там в полной безвестности до 1818 г., когда их перенесли в Страсбургский собор.

226 Граф Жан-Луи Ренье (1771–1814), дивизионный генерал с 1796 г., после отъезда Бонапарта из Египта поссорился с генералом Мену, и тот приказал генералу Жаку-Захарии Дестену (1764–1802) его арестовать. Отправленный из Александрии во Францию, оскорбленный Ренье опубликовал в 1802 г. памфлет «О Египте после сражения при Гелиополисе» с резкой критикой своих обидчиков. Результатом стала дуэль между ним и Дестеном 5 мая 1802 г.; Дестен был убит, а Ренье по приказу Бонапарта выслан в свое поместье, однако несколько лет спустя был прощен и продолжил военную карьеру в Италии, а затем в Португалии и

Испании.

[227] Сен-Жан-д'Акр — город в Галилее близ границы с Сирией (ныне Акка на территории Израиля), бывшая крепость крестоносцев; войска Бонапарта осаждали его с 19 марта по 20 мая 1799 г. Турки, поддерживаемые английской флотилией Сиднея Смита, оказали французам упорное сопротивление, которое, вкупе с чумой, распространявшейся среди французских солдат и офицеров после взятия Яффы (7 марта 1799 г.), обусловило неудачу Бонапарта. Ему пришлось отступить в Яффу. Перед отступлением Бонапарт приказал врачу Рене-Никола Деженетту (1762–1837) дать тяжелобольным опиум; сам он объяснял это желанием «избавить их от надругательств со стороны турок». Деженетт, однако, воспротивился, ссылаясь на то, что его долг как врача — сохранять жизнь, а не отнимать ее. Опиум больным дал главный аптекарь армии Клод Руайе. Сведения относительно числа больных чумой, умерщвленных в Египте, расходятся: тогдашняя английская пресса утверждала, что их было 350, Деженетт называет цифру 30, Наполеон на Святой Елене говорил о семи убитых (см.: *Dictionnaire.* P. 596).

[228] Празднество состоялось в Париже 10 ноября 1801 г.; Сталь, с мая находившаяся в Швейцарии, выехала из Коппе 13 ноября; впрочем, она еще в июне наметила свою поездку в Париж на ноябрь, так что отъезд именно в это время был мотивирован не только нежеланием присутствовать на праздновании мира, но и давними планами.

[229] Иначе говоря, вместо Юпитера (бога войны и победы) Бонапарт, по чьей вине в сражениях гибло множество людей, стал ассоциироваться с богом Плутоном — владыкой царства мертвых.

[230] С начала XVIII в. Алжиром управляли местные правители (деи) — вассалы турецкого султана. Отношения Франции с Алжиром во время Революции и при Директории развивались мирно, однако после того, как французы начали военную операцию в Египте, Турция вынудила алжирского дея Мустафу к военному противостоянию с Францией; перемирие между Французской республикой и Алжиром было заключено 30 июля 1800 г., а 30 сентября был подписан мирный договор. Турция, однако, вновь принудила Мустафу к войне; на сей раз военные действия продлились с января по сентябрь 1801 г., а затем, после заключения перемирия между Парижем и Константинополем, 17 декабря 1801 г., представители Франции и Алжира подписали новый мирный договор, возобновлявший предыдущие. Первая фраза договора звучит так же, как в тексте Сталь, но упоминается в ней не первый консул, а «французское правительство»; см.: Recueil des traités de paix, d'amitié, d'alliance, de neutralité et autres, conclus entre la république française et les différentes puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix générale. Hambourg; P., 1803. Pt. 4. P. 605.

[231] С 1794 по 1798 г. Соединенные Штаты, не находясь с Францией в состоянии войны, тем не менее считались ее врагами, поскольку заключили договор о дружбе и торговых сношениях с Англией, находившейся с Францией в состоянии войны. В 1798 г. отношения между Америкой и Францией обострились настолько, что конгресс дал право американским военным кораблям захватывать суда под французским флагом. Мирный договор, положивший конец этой необъявленной войне, был подписан в Морфонтене 30 сентября 1800 г.; полномочным министром Соединенных Штатов был назначен Роберт Р. Ливингстон (1746–1813); первому консулу он был представлен 6 декабря 1801 г.

[232] Декрет об организации консульской гвардии на основе той гвардии, что охраняла Директорию и Законодательный корпус, был опубликован вскоре после переворота 18 брюмера, 3 января 1800 г. Командиром консульской гвардии Бонапарт назначил Мюрата, который несколько недель спустя женился на его сестре Каролине; в апреле 1800 г. Мюрата сменил на этом посту Ланн. Состояла гвардия из двух с небольшим тысяч человек и комплектовалась, согласно регламенту, из людей, отличившихся в сражениях. Впоследствии гвардия получила название императорской и стала подчиняться непосредственно Наполеону.

[233] Сходство этой формулы с лермонтовской характеристикой Печорина («Об глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся!.. Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти») — еще один штрих, дополняющий представления о лермонтовском бонапартизме. Комментируемый фрагмент вошел в число тех, которые появились на русском языке в «Вестнике Европы» (1821. Ч. 119. № 15. С. 203); интересующая нас фраза здесь звучит так: «глаза были всегда в противуречии с губами». Впрочем, это «противуречие» было, по-видимому, непременным штрихом для недоброжелательного портрета венценосного деспота; ср. описание Николая I у Кюстина: «когда глаза его улыбаются, губы остаются неподвижны, если же улыбка трогает его губы, серьезными остаются глаза» (*Кюстин*. С. 146, 806).

[234] Орас-Франсуа-Бастьен Себастиани (1772–1851) приходился Бонапарту не родственником, как утверждает чуть ниже Сталь, а только земляком — он тоже родился на Корсике. Начав военную службу во время Революции, он пошел в гору после переворота 18 брюмера, в котором принял активное участие (его драгуны помогали изгнанию членов Совета пятисот из зала заседаний в Сен- Клу). В эпоху Консульства и Империи он занимался дипломатией (в частности, в 1802 и 1806–1808 гг. был послом Франции в Константинополе), а затем продолжил военную карьеру: сражался в Испании, России и Франции.

[235] В третьей записной книжке Сталь называет автора этой реплики по фамилии: «г-н Гонто»; по-видимому, имеется в виду Эме-Шарль-Элизабет де Гонто-Бирон (1776–1840), в самом деле ставший впоследствии камергером императора.

[236] С 1799 г. Баварией правил Максимилиан I Иосиф (1756–1825), курфюрст, а с 1806 г. король баварский; он был женат вторым браком на Каролине Баден-Дурлахской, сестре российской императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I. Бавария с начала эпохи Консульства состояла в союзе с Наполеоном, благодаря чему по условиям Брюннского договора (10 декабря 1805 г.) была превращена в королевство. Наполеон побывал в Мюнхене дважды: первый раз в октябре 1805 г., еще до того как Максимилиан I стал королем, второй раз с 1 по 16 января 1806 г. по случаю женитьбы своего пасынка Евгения Богарне на Августе- Амалии (1788–1851), дочери новоиспеченного короля. Говоря об отсутствии у баварского короля и королевы причин для веселости, Сталь имеет в виду их зависимость от Наполеона.

[237] Комментаторы *DAE-1996* сочли, что г-жа де Сталь ошиблась, назвав этого курфюрста баварским, и предположили,

что здесь следует читать «курфюрста баденского», поскольку таковой курфюрст, носивший имя Карл-Фридрих, присутствовал в Мюнхене во время пребывания там Наполеона; впрочем, замечают комментаторы, никаких сведений о том, что он претендовал на корону Священной Римской империи германской нации (прекратившей свое существование в 1806 г.), не имеется. Между тем Сталь имела в виду именно баварского правителя, только не своего современника, а государя, жившего пятью десятками лет раньше, а именно Карла VII Альбрехта (1697–1745), курфюрста баварского с 1726 г. После смерти в 1740 г. императора Карла VI (1685–1740) Карл VII Альбрехт высказал претензии на корону Священной Римской империи германской нации. Претензии эти привели к общеевропейской войне за Австрийское наследство (1740–1748), в которой сторонники Карла VII сражались против сторонников передачи императорской короны дочери Карла VI, Марии-Терезии. Карл VII Альбрехт в 1742 г. на Франкфуртском сейме был избран германским императором, но три года спустя умер. Наполеон танцевал старинную кадриль в платье именно этого «старинного» курфюрста. Заметим, что в издании Огюста де Сталя в соответствующем месте речь идет именно об «императоре Карле VII» *(см.: DAE-1821.P. 50)*.

238 Имеется в виду революционное прошлое некоторых трибунов, в частности таких, как Жан-Пьер Шазаль (1766–1840) или Жак-Шарль Байёль (1762–1843), между прочим, выпустивший много позже, в 1818 г., «критическое рассмотрение» *РФР,* в котором обвинял г-жу де Сталь в недооценке Революции. Впрочем, причиной недовольства Бонапарта их присутствием в составе Трибуната стало вовсе не их членство в Конвенте в годы Революции, а излишняя самостоятельность, проявленная ими в ходе работы в Трибунате.

239 Пьер-Клод-Франсуа Дону (1761–1840) был во время Революции членом Конвента, однако занимал весьма умеренную позицию: не голосовал за смерть короля Людовика XVI, выступал против изгнания из Конвента жирондистов, за что поплатился четырнадцатимесячным тюремным заключением. После переворота 18 брюмера Дону был избран членом Трибуната, а в самом конце 1801 г. оппозиционно настроенные депутаты предложили избрать его сенатором. 1 января 1802 г. Дону получил большинство голосов и в Законодательном корпусе, и в Трибунате, однако Бонапарт, которому кандидатура Дону была неприятна, решительно воспротивился его назначению; сенатором вопреки результатам голосования стал Жан Фабр де Ла Мартийер; что же касается Дону, то он был исключен также и из Трибуната (см. следующее примеч.) и вернулся в библиотеку

Пантеона, которой управлял до своего избрания трибуном; три года спустя он был назначен директором Национального архива и занимал этот пост в течение всего правления Наполеона.

240 Вскоре после эпизода с Дону (см. предыдущее примеч.) Конституция была нарушена вторично: в процессе обновления одной пятой части Трибуната кандидатуры двадцати исключаемых были определены не по жребию, а по выбору Сената (фактически — по воле самого Бонапарта); в число тех, кто 17 января 1802 г. был лишен звания трибуна, вошли «идеологи» (см. примеч. 202) Мари- Жозеф Шенье, Дону, Пьер-Луи Женгене, Пьер Ларомигьер и люди независимых взглядов: Бенжамен Констан, экономист Жан-Батист Сей, выступавший против введения особых уголовных судов (см. примеч. 194) юрист Никола-Франсуа Тьессе. Изгнанные из Трибуната высказывались слишком независимо о таких важных для первого консула проблемах, как принятие нового Гражданского кодекса (см. примеч. 244) или подписание Конкордата с папским престолом (см. примеч. 255 и 257). Бонапарт же никакой нужды в оппозиции не имел. На место исключенных были назначены преданные ему чиновники или офицеры; стал трибуном и Люсьен Бонапарт, таким образом возвратившийся во французскую политическую жизнь.

241 Ливром в XIX в. называли франк при исчислении ежегодного дохода.

242 Трибунат был окончательно упразднен 19 августа 1807 г.

243 Ср. свидетельство роялистского осведомителя: «Некто сказал в присутствии этой дамы [г-жи де Сталь], что Бонапарт произвел в Трибунате и Законодательном собрании чистку „Вы ошиблись, — возразила г-жа де Сталь, — следовало сказать: *снял сливки*“. — „Я в самом деле ошибся, — подхватил собеседник, — следовало сказать: *снял пену*“» (*Remacle*. P. 42).

244 Потребность в унификации французского гражданского права французская политическая элита осознавала с самого начала Революции, однако ни один из проектов, предложенных в 1793–1796 гг. Камбасересом, не был осуществлен. Поэтому 12 августа 1800 г. Бонапарт создал специальную комиссию из четырех юристов, которым поручил подготовку Гражданского кодекса. Комиссия работала стремительно и уже в январе 1801 г. представила проект кодекса для обсуждения в Государственном совете. Бонапарт — хотя Сталь и утверждает обратное — принимал в этом обсуждении весьма активное участие (он присутствовал на половине заседаний); в первую очередь его интересовали вопросы, касающиеся семьи, — способы укрепления отцовской и супружеской власти, лишение непризнанных побочных детей права на наследство (и ограничение прав

признанных побочных детей), а также сохранение права на развод (в этом первый консул был заинтересован лично). Кодекс закрепил многие завоевания Революции: личную свободу, равенство перед законом, свободу совести и право на труд, однако главная его цель заключалась в защите собственности и интересов государства, которые в определенном смысле ставились даже превыше интересов собственников (см.: *Lefebvre*. P. 136–137). Поэтому утверждение нового кодекса представителями законодательной власти натолкнулось поначалу на некоторые трудности: оппозиционные члены Трибуната сочли кодекс слишком консервативным; эта критика и явилась одной из причин, по которой Трибунат был подвергнут «чистке» (см. примеч. 240). К обсуждению кодекса законодатели вернулись в 1803 г., а 21 марта 1804 г. он был обнародован. Об отношении Сталь к Гражданскому кодексу см. также наст, изд., с. 64–65.

[245] Об Амьенском мире см. примеч. 251. Цизальпинская республика со столицей в Милане была создана Бонапартом на занятых французами итальянских территориях еще в июне 1797 г., а затем признана Австрией в Кампоформио и Люневиле. Цизальпинский совет (consulte), составленный из четырех с половиной сотен депутатов, собрался в Лионе 29 декабря 1801 г. Либеральный миланский аристократ Франческо Мельци д'Эриль (1753–1816), хотя сам был сторонником превращения Италии в единое и независимое ни от Франции, ни от Австрии монархическое государство, согласился помогать Бонапарту в устройстве лионского собрания и принять на себя обязанности вице-президента новосозданной республики, которая получила название Итальянской и президентом которой 25–26 января 1802 г. был объявлен сам Бонапарт. В дальнейшем именно Мельци стал инициатором проведения в Италии либеральных реформ, однако присутствие французских войск под командованием Мюрата и недостаток толковых помощников затрудняли его деятельность. В 1805 г., после превращения Итальянской республики в королевство, Мельци получил почетное звание великого канцлера, но утратил реальные рычаги управления. Сталь была знакома с Мельци, которому в *РФР* (ч. 4, гл. 17) дает характеристику более развернутую и более восторженную: «Герцог Мельци [титул герцога Лоди Мельци получил от Наполеона в 1807 г.] был один из самых достойных людей, каких произвела на свет Италия, столь богатая и плодородная во всех отношениях. Рожденный от матери-испанки и отца-итальянца, он соединял достоинство одной нации с живостью другой; не знаю, сыщется ли даже во Франции человек, так же блистательно владеющий искусством беседы и

наделенный даром еще более важным и полезным — а именно способностью понимать и судить по справедливости всех, кто играет в европейской политике роль сколько-нибудь значительную. Первый консул обязан был прибегнуть к его помощи, ибо герцог пользовался величайшим уважением среди своих сограждан и никому из них не пришло бы в голову усомниться в его любви к отечеству. Бонапарт не любил иметь дела с людьми бескорыстными и обладающими нерушимыми принципами, поэтому он то и дело приступал к Мельци в надежде его подкупить. В 1805 году, короновавшись итальянским королем, Бонапарт объявил Законодательному корпусу Ломбардии, что желает подарить герцогу Мельци крупное поместье в благодарность за его заслуги перед обществом; тем самым он надеялся лишить герцога народной любви. Я в ту пору была в Милане и видела, в какое отчаяние привела г-на Мельци коварная и непредвиденная выходка Бонапарта; поскольку отказа Бонапарт бы не потерпел, я посоветовала г-ну Мельци немедля объявить, что все навязанные ему доходы он будет передавать какому-нибудь общественному заведению. Он согласился, и на другой же день, прогуливаясь с императором, сообщил ему о своем намерении. Бонапарт схватил его за руку и воскликнул: „Бьюсь об заклад, что эту мысль вам подсказала г-жа де Сталь. Поверьте мне, выкиньте из головы романическую филантропию восемнадцатого века: на этой земле достойны внимания только деньги и власть; все остальное — химеры“» (*CRF*. P. 423–424). В кругу г-жи де Сталь отношение к Мельци было весьма положительным; см. высокую оценку его приверженности идеям Просвещения в воспоминаниях Баранта *(Barante*. T. 1. P. 137–138).

246 Статья 4 Конституции VIII года гласила, что человек, принявший должность или пенсию от иностранного государства, утрачивает звание французского гражданина.

247 Проходящее через всю книгу именование Бонапарта корсиканцем и даже «африканским тираном» призвано объяснить все его преступления нефранцузским происхождением и тем самым снять вину с французской нации; юридических оснований оно лишено: поскольку в 1768 г. Корсика, до этого принадлежавшая Генуэзской республике, была продана Франции, Наполеон, родившийся в 1769 г., имел все основания считать себя французом.

248 Эти три разряда, или три коллегии выборщиков, должны были выдвигать кандидатов в Законодательное собрание Итальянской республики. В реальности кандидатуры, естественно, называл сам Бонапарт.

249 Френсис Джеймс Джексон (1771–1814) был полномочным

посланником Великобритании в Париже с ноября 1801 по апрель 1802 г.

250 Генерал Дезе, переменивший ход сражения при Маренго и в ходе его погибший (см. примеч. 168), принимал участие в осаде Мальты в июне 1798 г. (см. подробнее следующее примеч.). Сходным образом о взятии Мальты отзывались и другие участники осады; см., например, реплику военного инженера Л.-М.-Ж.-М. Каффарелли: «Наше счастье, что в крепости нашелся человек, который отворил нам ворота» (цит. по: *Dictionnaire.* P. 1126).

251 По условиям Амьенского (или, как говорили тогда, «всеобщего») мира, подписанного 25 марта 1802 г. Жозефом Бонапартом от Франции и лордом Корнуоллисом от Англии, а также Асарой и Шиммельпеннинком от Испании и Голландии (союзниц Франции), Англия возвращала Франции и ее союзницам все их колонии, за исключением острова Тринидад, до 1797 г. принадлежавшего Испании, и бывших голландских владений на острове Цейлон. Что касается Мальты, то этот вопрос имел свою непростую предысторию: с XVI в. остров принадлежал рыцарям Ордена святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского ордена); к господству над островом стремились и Англия, и Россия (см. примеч. 170), однако в июне 1798 г. Мальту осадил флот Бонапарта, и благодаря тому, что некоторые мальтийские рыцари французского происхождения и республиканских убеждений предали орден и помогли осаждавшим, Мальта, считавшаяся неприступной, была взята и оставалась французской до сентября 1800 г., когда ее захватили англичане. Статья 10-я Амьенского мирного договора предусматривала возвращение Мальты рыцарям-иоаннитам, однако в реальности Англия так и не вывела свои войска с этого острова. Помимо Мальты англичане, согласно Амьенскому договору, должны были покинуть также остров Эльбу и Египет. Именно эти условия имеет в виду Сталь, говоря о «безвозмездных уступках», на которые шла Англия (между тем французы, по договору, должны были вывести войска из Неаполя и папских владений). О ее взгляде на отношение англичан к Бонапарту см. также примеч. 281.

252 До Революции Пьемонт представлял собой континентальную часть владений сардинского короля; в 1792 г. французы оккупируют Ниццу и Савойю, а в 1798 г. захватывают весь Пьемонт; в феврале 1799 г. устроенный среди жителей Пьемонта плебисцит (впрочем, проведенный в нарушение всех «демократических» правил) утвердил присоединение всей этой территории к Франции. Правда, вскоре Пьемонт отбили у французов австрийцы, но после победы французов при Маренго

вынуждены были его оставить. Ни Люневильский, ни Амьенский мирный договоры о судьбе Пьемонта не упоминали, и, хотя итальянцы мечтали о присоединении его к Итальянской республике, Бонапарт решил иначе: 11 сентября 1802 г. было объявлено о превращении Пьемонта в шесть новых французских департаментов.

[253] Амьенский договор был разорван в мае 1803 г.; подробнее см. примеч. 310.

[254] Это произошло 21 августа 1802 г.; все три консула отправились в Люксембургский дворец с тем, чтобы сенаторы принесли им присягу. В тот день первый консул впервые председательствовал на заседании Сената.

[255] 12 июля 1790 г. Учредительное собрание проголосовало за введение во Франции нового закона религиозной жизни — Гражданской конституции духовенства; согласно этому закону архиепископы, епископы и кюре должны были избираться гражданами, а перед вступлением в должность приносить присягу на верность нации, королю и Конституции (в 1792 г. текст присяги изменился: теперь присягать следовало Нации, Равенству и Братству). Папа римский Пий VI осудил Гражданскую конституцию духовенства, и большинство священнослужителей приносить присягу отказались. В результате французское духовенство разделилось на два разряда: присягнувших и неприсягнувших; последние либо эмигрировали, либо стали жертвами разнообразных гонений. Те, кто уцелел, скрывались от преследований вплоть до термидорианского переворота; после свержения Робеспьера скрывавшиеся смогли выйти из подполья, однако формально их положение никак не изменилось, а после переворота 18 фрюктидора на неприсягнувших священников опять обрушились репрессии (см. примеч. 8). Двери церквей было позволено открывать только в последний день декады (которою республиканский календарь заменил неделю). Меж тем народ, особенно в западных департаментах, сохранил веру и желал возвращения к прежней религиозной жизни; даже роялистское сопротивление было сломить легче, чем сопротивление католическое. Бонапарт знал об этом, а поскольку сразу после прихода к власти он стремился привлечь на свою сторону все слои населения и представителей всех политических убеждений, то принял среди прочего некоторые меры, облегчавшие жизнь французских католиков: после переворота 18 брюмера церкви были отданы гражданам, которые, следовательно, получили возможность открывать их чаще, чем один раз в десять дней; вновь зазвонили колокола (что имело огромное значение не только в религиозном, но и в бытовом смысле: колокольный звон

позволял простолюдинам, не имевшим часов, определять время). Все священники, принесшие присягу новой Конституции, получили право отправлять культ (причем присяги в ненависти к королю, введенной в сентябре 1797 г., от них больше не требовалось). При этом во Франции по-прежнему сосуществовали два духовенства: присягнувшее и неприсягнувшее; последнее, в свою очередь, также делилось на два разряда: одни священники оставались непримиримыми врагами нового режима, другие занимали более умеренную позицию. В результате в религиозной сфере царила анархия.

Стремление Бонапарта к примирению с Католической церковью объяснялось — в этом Сталь совершенно права — по преимуществу социальными мотивировками; мало того, что таким образом он завоевывал симпатии населения, он еще и стремился использовать Церковь как средство дисциплинировать народ и держать его в подчинении; иначе говоря, в католичестве он видел одно из орудий власти и потому хотел поставить его себе на службу; для этого ему требовалась лояльность не только присягнувших священников, но и тех, которые не желали сотрудничать с новым государством без благословения Рима. Свою роль играли и обстоятельства внешнеполитические: в борьбе с Англией Бонапарт делал ставку на страны исконно католические — Италию и Испанию. Вследствие всех этих причин он и заключил Конкордат (род мирного договора) с папским престолом. Об «инструментальном» отношении Бонапарта к религии свидетельствует, среди прочего, его высказывание, известное со слов Рёдерера; дело настоящего политика, говорил первый консул, использовать в своих интересах народные верования, какими бы они ни были: «Став католиком, я закончил войну в Вандее, став мусульманином, укрепился в Египте, став ультрамонтаном, завоевал доверие итальянцев. Управляй я иудеями, я бы восстановил храм Соломона» (цит. по: *Vandal.* Т. 2. P. 459). Этот «инструментальный» подход был отчасти эксплицирован в ходе обсуждения Конкордата в Законодательном собрании. Ж.-Э.-М. Порталис, назначенный в 1801 г. государственным секретарем по делам вероисповеданий, сказал, обращаясь к законодателям, что, поскольку человек нуждается в религии, а новую религию создать невозможно, наиболее логичным и полезным является договор с папой. Речь эта была воспринята католиками-роялистами как доказательство того факта, что Конкордат есть всего лишь «сделка между христианами и философами, заключенная по настоянию правительства, не являющегося ни философским, ни христианским» и видящего в религии «политический рычаг,

который полезнее иметь в своих руках, чем оставлять в руках противника» (*Remacle*. P. 23). Ср. также свидетельство г-жи де Ремюза: «Бонапарт использовал духовенство, но не любил священников. […] В узком кругу он охотно насмехался над всем, что связано с религией, да и вообще, полагаю, придавал слишком большое значение событиям земным, чтобы тревожиться о жизни небесной. Осмелюсь сказать, что бессмертие его имени волновало Бонапарта куда больше, нежели бессмертие его души. Святош он терпеть не мог и неизменно именовал их лицемерами» (*Rémusat*. Т. 2. P. 368–369).

Переговоры между французским правительством и папским престолом, начавшиеся в июне 1800 г. и продолжавшиеся около года, шли трудно из-за разницы в подходах: Бонапарта интересовала политическая сторона дела, папу и его приближенных — духовная. В конце концов Конкордат был подписан в ночь с 15 на 16 июля 1801 г. в Париже представителями обеих сторон, а затем ратифицирован в Париже 10 сентября 1801 г. По Конкордату, католическая религия признавалась вероисповеданием большинства французских граждан, которым давалось право исповедовать ее свободно и публично (Конвент и Директория разрешали гражданам исповедовать свою веру только частным образом); Церковь признавала право первого консула назначать архиепископов и епископов, папе же давалось право их инвеституры (введения в должность); в результате после заключения Конкордата все прежние епископы были вынуждены отказаться от своих постов и каждую новую кандидатуру утверждал сам Бонапарт. Все священнослужители были обязаны присягать на верность правительству Французской республики. В их распоряжение предоставлялись все храмы, им давалось право иметь в соборах капитулы и организовывать семинарии. Папа отказывался от каких бы то ни было претензий на имущества церкви, проданные во время Революции, а французское правительство давало обязательство платить епископам и кюре достойное жалованье (в реальности оказавшееся весьма скромным). Таким образом, обе стороны пошли на уступки, но и папа, и Бонапарт столкнулись с сопротивлением своих подданных: в Риме папу обвиняли в уступках Революции, в Париже Бонапарта обвиняли в предательстве принципов Революции и возвращении страны под власть клерикалов. Однако 8 апреля 1802 г., после изгнания из Трибуната «идеологов» — скептиков или даже атеистов (см. примеч, 240), обе палаты Законодательного собрания ратифицировали Конкордат и прилагавшиеся к нему Конституционные статьи (Articles organiques), зафиксировавшие

новый статус церкви и ее подчинение государству

[256] О графе Луи-Филиппе де Сегюре, при Империи получившем придворную должность обер-церемониймейстера, см. примеч. 133. Его старший сын Октав, занимавший должность супрефекта в Суассоне, в 1802 г. внезапно бросил службу и семью, под вымышленным именем записался в армию и до 1809 г. не подавал о себе никаких вестей, так что его считали погибшим.

[257] Торжественное обнародование Конкордата состоялось в пасхальное воскресенье 18 апреля 1802 г. в соборе Парижской Богоматери. В *РФР* (ч. 4, гл. 6) Сталь дала Конкордату и отношению Наполеона к церкви характеристику более развернутую и еще более критическую: «В пору, когда Бонапарт пришел к власти, самые искренние католики, столь долгое время страдавшие от преследований политической инквизиции, не мечтали ни о чем, кроме совершенной свободы в отношении религии. Вся нация хотела только одного — чтобы прекратились гонения на священников и от них больше не требовали никаких присяг, иначе говоря, чтобы любой человек мог исповедовать свою веру независимо от властей. Таким образом, пожелай консульское правительство пойти навстречу общественному мнению, оно установило бы во Франции режим совершенной терпимости, какой существует в Америке, населенной людьми, чья неустанная набожность и суровые нравы, ею рождаемые, не могут быть никем поставлены под сомнение. Однако не эти святые мысли двигали первым консулом; он знал, что, обрети духовенство прежнее политическое значение, оно непременно примет сторону деспотизма, а ему требовалось подготовить почву для своего восхождения на трон. Он нуждался в духовенстве так же, как в камергерах, титулах, орденах, одним словом, во всех древних кариатидах власти; поднять их с земли было под силу ему одному. Нынче [в эпоху Реставрации] люди ропщут против воскресших старых установлений, между тем не следует забывать, что воскресил их не кто иной, как Бонапарт. Именно он оживил духовенство, дабы заставить его служить своим целям. Революционеры, которые четырнадцать лет назад еще не утратили своего грозного влияния, никогда не потерпели бы возвращения духовенству политического значения, если бы человек, которого они считали во многих отношениях своим единомышленником, не убедил их, заключая Конкордат с папой, в величайшей полезности этой меры для поддержания новых установлений. […] Бонапарт не раз признавался, что хотел бы управлять страною, где монарх, как в Англии и в России, является одновременно и главою церкви; увидев, однако, что французское духовенство предано папскому престолу, он решил вступить в

переговоры с папой. […] Возрождая духовенство, полностью подвластное его воле, он меньше всего помышлял о религии или философии; слыша разговоры о союзе алтаря и трона, он решил начать с восстановления алтаря. Иначе говоря, заключая Конкордат, он, можно сказать, провел генеральную репетицию своего коронования. В апреле 1802 г. он устроил торжественную церемонию в соборе Парижской Богоматери. […] Он явился в церковь в старинной карете короля с теми же кучерами, с теми же лакеями; он вызнал до мельчайших деталей весь придворный этикет и, невзирая на свое консульское звание, отпраздновал заключение Конкордата с пышностью поистине королевской. Никогда еще, признаюсь, не испытывала я такого сильного раздражения. Я заперлась у себя дома, чтобы не видеть этого отвратительного зрелища; но даже оттуда я слышала пушечные залпы, возвещавшие новое порабощение французского народа. […] Французов обвиняют в безбожии; меж тем пагубное это свойство развилось в них прежде всего потому, что в течение четверти века разные партии неизменно хотели приспособить религию для достижения политических целей, истинное же благочестие не терпит использования религии для цели, ей посторонней. […] Катехизис, бывший в употреблении в течение всего царствования Бонапарта, грозил вечными муками всякому, кто не будет любить и защищать династию Наполеона. Что станется с вами, если вы не будете любить Наполеона и его семейство, спрашивал этот катехизис […] и отвечал: в этом случае вас ждет вечное проклятие. Следовало ли полагать, что если Бонапарт создает для людей ад на этом свете, он будет распоряжаться и в аду потустороннем? Поистине, искренней набожностью народы обладают лишь в тех странах, где церковная доктрина не имеет ничего общего с политическими догмами, а священники не имеют власти над государством» (CRF. P. 373–376).

Отрицательное отношение Сталь к Конкордату объяснялось не только и не столько тем, что это был пакт с духовенством, сколько тем, что это был пакт с духовенством католическим. Сталь, рожденная в протестантской семье, видела в католичестве религию рабов, а в протестантизме, напротив, — религию свободных, мыслящих людей, религию, проповедующую терпимость и не страдающую догматизмом. По мысли Сталь, выраженной уже в оставшемся неопубликованным сочинении «О нынешних обстоятельствах, которые могут положить конец Революции» (1798), только протестантская религия подходит для республики, и именно ее следовало бы сделать государственной религией во Франции; при этом позиция Бонапарта, который

видел в религии средство держать народ в повиновении, своего рода залог общественного спокойствия, для Сталь неприемлема; в ее глазах религия есть источник нравственных чувств и тяги к прекрасному.

[258] Жан де Дье, Рэмон де Буажелен де Кюсе (1732–1804), до Революции епископ Эксский и член Французской академии, в 1789 г. был избран депутатом Генеральных штатов от духовенства, но в 1792 г. эмигрировал и вернулся из Англии только после подписания Конкордата. Для Бонапарта самым существенным в карьере Буажелена было, как отмечает Сталь, его участие в коронации Людовика XVI в 1774 г. По возвращении из Англии Буажелен, как и подобало законопослушному священнослужителю, сложил с себя сан архиепископа Эксского и 9 апреля 1802 г. получил от Бонапарта назначение на пост архиепископа Турского.

[259] Жан-Батисту де Беллуа (1709–1808) было в то время 93 года; до Революции архиепископ Марсельский, он в течение всего революционного и послереволюционного периода оставался во Франции, хотя и принадлежал к числу священников, не принесших присяги (см. примеч. 255). В сентябре 1801 г. он сложил с себя сан архиепископа Марсельского, а 10 апреля 1802 г. Бонапарт назначил его архиепископом Парижским, впоследствии же осыпал милостями: сделал сенатором, графом и кавалером Большого креста ордена Почетного легиона.

[260] Авторство этой реплики составляет отдельную проблему. В первой редакции Сталь приписала ее самой себе: «Некто однажды сказал мне: „Теперь у нас опять все, как до Революции“. — „Да, — отвечала я, — все, за вычетом тех двух миллионов, что отдали жизнь за свободу“. Слова эти поразили одного генерала, который стал повторять их как свои собственные. Первый консул догадался, что генерал, часто видевшийся со мной, слышал эту фразу и некоторые другие от меня, и, придя в ярость, изрек со своей обычной любезностью, что велит постричь меня в монахини» (DAE-*1996*. P. 335–336). Судя по комментируемому тексту, генералом этим был Бернадот; впрочем, некоторые мемуаристы приписывают фрондерскую реплику генералу Дельмасу (1776–1813), известному атеистическими взглядами и причастностью к антинаполеоновским заговорам; существует также версия, согласно которой комментируемые слова были сказаны генералом Ожеро, который также входил в число лиц, недовольных заключением Конкордата (см.: DAE-*1996*. P. 127). Что касается Бернадота, то он, по всей вероятности, имел отношение и к тайным сборищам оппозиционеров весны — лета

1802 г., и к раскрытому в 1802 г. «заговору прокламаций», инициатором которого был начальник штаба Западной армии генерал Эдуард-Франсуа Симон. Заговорщики отпечатали очень резкие прокламации, призывавшие «братьев по оружию» к борьбе против тирана Бонапарта (текст их см. в изд.: Guillon. P. 30–34), и намеревались разослать их из Ренна надежным людям во всех концах Франции, однако были выданы полиции префектом Мунье. В результате Симона и еще нескольких офицеров, непосредственно причастных к заговору, арестовали и выслали на остров Олерон, но, поскольку Бонапарт не хотел настраивать против себя армию, ни громких процессов, ни жестоких репрессий не последовало. Бернадот лишился командования Западной армией и был переведен на восток, однако вообще Бонапарт его щадил (отчасти ради г-жи Бернадот, в девичестве Дезире Клари, в которую он некогда, еще до ее замужества, был влюблен и которая была сестрой жены Жозефа Бонапарта).

261 О продлении срока речь пошла после того, как 6 мая 1802 г. Трибунат, ратифицировавший Амьенский мир, предложил «дать первому консулу неопровержимое доказательство всенародной признательности». 8 мая в соответствии с пожеланиями трибунов был издан закон о продлении срока Консульства еще на 10 лет, то есть до 1819 г., но Бонапарту этого было недостаточно, и один из сенаторов поставил вопрос о том, чтобы сделать его консулом пожизненно. Однако Сенат, в составе которого нашлись противники этой меры, ее не одобрил, и тогда 10 мая было издано консульское постановление о проведении плебисцита на сей счет. Результат был объявлен 2 августа, а уже 4 августа была провозглашена новая Конституция (так называемая Конституция X года), включавшая положение о пожизненном консульстве Бонапарта, Камбасереса и Лебрена и о праве первого консула назначать себе преемника. Кроме того, новая Конституция давала Бонапарту право назначать новых сенаторов в неограниченном количестве, вдвое уменьшала число трибунов, а Законодательный корпус освобождала от необходимости собираться на заседания регулярно.

262 Брошюра эта, носившая название «Истинный смысл общенародного голосования по поводу пожизненного консульства», вышла в июле 1802 г. анонимно; впрочем, имя ее автора, публициста Камиля Жордана (1771–1821), ни для кого не составляло секрета, однако хотя брошюра была запрещена, автора репрессии не коснулись. В брошюре Жордан признавался, что, как и большинство французов, отдал свой голос за пожизненное консульство Бонапарта, но резко выступал против возможности передачи первым консулом своего поста по наследству, ибо это

означало бы предать интересы и республиканцев, и роялистов, не получив при этом никаких гарантий свободы: ведь преемник Бонапарта может оказаться отнюдь не таким великим человеком и «втянуть французов в бессмысленные войны, разорить их бесстыдной страстью к роскоши» (цит. по: *Remade.* P. 87). Впрочем, согласно донесению одного из агентов Людовика XVIII, «Фуше уверил Камиля, что Бонапарт не так уж недоволен его сочинением, но что время для истин, в нем содержащихся, еще не приспело» (*Remacle.* P. 65), иначе говоря, Бонапарту не нравилось преждевременное обсуждение (и тем более осуждение) его монархических замыслов. Русский перевод брошюры Жордана, выполненный Н. М. Карамзиным, см.: Вестник Европы. 1802. Ч. 6. № 22. С. 139–153; № 7. С. 230–244. Брошюра эта, вызвавшая горячее одобрение в кругу Неккера, была в большой степени вдохновлена г-жой де Сталь; о ее общении с Жорданом, прекрасным знатоком немецкой литературы и философии, см.: *Kloocke K.* Une lettre du prince de Ligne et deux lettres de Camille Jordan à Mme de Staël // *CS.* № 38. P. 138–144.

263 Слухи о том, что Бонапарт хочет стать императором галлов, распространялись начиная с середины 1802 г.; в частности, об этом писала 17 июля 1802 г. в письме, присланном якобы из Гамбурга, газета «Парижский бюллетень» (*DAE-1996*. P. 129); 31 мая 1802 г. один из агентов Людовика XVIII доносил, что «Бонапарт, если верить людям, к нему близким, желает восстановить монархию для себя и своих потомков», а для этого хочет восстановить то устройство общества и государства, какое существовало до Революции: заключает Конкордат, чтобы заручиться поддержкой церкви, и основывает Почетный легион [19 мая 1802 г.], чтобы создать новую знать (см.: *Remade.* P. 19).

264 Помимо Бернадота в число недовольных политикой Бонапарта генералов входили Массена, Ожеро и Моро; в число сенаторов — «идеологи» Кабанис, Гара и Вольней. Г-жа де Сталь была связана с этим кругом лиц не только напрямую, но и через свою приятельницу г-жу Рекамье, которая содействовала сближению двух оппозиционных генералов: Бернадота и Моро (см.: *Констан.* С. 404–405, 541–542). Об этом «заговоре генералов» известно немного; сам Наполеон в 1808 г. вспоминал, что «дюжина генералов задумала поделить Францию на дюжину провинций. Мне любезно собирались предоставить Париж с пригородами. Они подписали договор в городке Рюэй и решили, что мне его отвезет Массена. Тот отказался, признавшись, что не хочет быть расстрелянным моими гвардейцами. Вот человек, хорошо знавший мой характер…» *(Villefosse L. de., Bouissounouse J.* L'opposition à Napoléon. P., 1969. P. 224). О связях Бернадота с

заговорщиками см. также примеч. 260.

265 Бонапарт знал и о связях Сталь с оппозиционерами, и о ее отрицательном отношении к Конкордату; на Святой Елене он вспоминал, что «в пору подписания Конкордата, против которого она ополчилась, она вдруг принялась натравливать на меня разом и аристократов, и республиканцев. „Теперь или никогда, — убеждала она их, — если вы ничего не сделаете сегодня, завтра в подчинении у тирана окажется сорок тысяч прислужников“» *(Las Cases.* P. 419; запись от 13 августа 1816 г.; речь шла о католических священниках). Впрочем, принадлежность Сталь к действующей оппозиции весьма сомнительна, и сам Бонапарт никогда не подозревал ее в причастности к заговорам. Для того чтобы выслать ее из Парижа, ему достаточно было видеть в ней не заговорщицу, но идейную вдохновительницу оппозиции, хозяйку салона, где собираются недовольные, женщину чересчур независимую и чересчур влиятельную. Выразительное свидетельство этого отношения — его беседа с Огюстом де Сталем, который в январе 1808 г. в Шамбери добился встречи с императором и пытался получить у него для матери позволение вернуться в Париж; в ответ на реплику Огюста, заверявшего, что г-жа де Сталь будет жить в Париже весьма уединенно и видеться только с горсткой ближайших друзей, Наполеон, если верить мемуаристу Бурьену, воскликнул: «Как же, как же! И вы думаете, что я поверю этим россказням! […] Ни с кем не видеться! Да разве она на это способна? К ней начнут ездить с визитами, она начнет отдавать визиты, наделает массу глупостей, станет болтать с массой людей, начнет отпускать шуточки; она этому значения не придает, а вот я — придаю, и очень большое; моя империя — не шутка, и я принимаю ее всерьез, да будет это известно всем» *(Bourrienne L.-A. de.* Mémoires. P., 1829. T. 8. P. 105–106; ср. рус. пер.: Московский телеграф. 1830. Ч. 33. № 12. С. 442–454).

266 Сталь выехала из Парижа 5 или 6 мая с сыном Альбером и больным мужем, которого собиралась отвезти из Коппе на воды в Экс. Барон де Сталь, однако, чувствовал себя все хуже и хуже, и в ночь с 8 на 9 мая 1802 г. скончался в Полиньи, вблизи швейцарской границы.

267 Бернадот и Жозеф Бонапарт были женаты на сестрах Дезире и Жюли Клари. О последней см. примеч. 338.

268 Последним штатгальтером (главой исполнительной власти) Нидерландов был Вильгельм V Нассау (1751–1795). Штатгальтерская власть в Нидерландах с середины XVIII в. была наследственной, однако в 1794 г. французы полностью захватили Голландию, а в 1795 г. превратили ее в Батавскую республику,

свою союзницу. Сын Вильгельма V, принц Вильгельм Оранский (1772–1843), смирился с потерей своих нидерландских владений, за которые в качестве компенсации получил, вдобавок к сохранявшемуся за ним графству Нассау, небольшие территории в Рейнской области. В описываемый период он поддерживал с первым консулом хорошие отношения, однако впоследствии отказался от вхождения в созданный Наполеоном Рейнский союз и, потеряв после победы французов над Пруссией все, чем владел, превратился в частное лицо и в безвестности проживал в Берлине; только создание королевства Нидерланды в 1815 г., после Ватерлоо, позволило Вильгельму выйти из политического небытия и стать королем под именем Вильгельма I.

269 «Последние соображения относительно политики и финансов» вышли из печати в начале августа 1802 г.; Сталь в эту пору находилась в Коппе, и Неккер мог быть спокойным насчет ее безопасности. Неккер начал брошюру с похвал Бонапарту — «человеку необходимому для Франции», который, «установив в стране диктатуру, уберег ее от многих несчастий» (цит. по: *Gautier*. P. 89), однако такие комплименты не могли понравиться первому консулу, ибо привлекали внимание к тому, чего он раньше времени афишировать не хотел; но еще меньше понравились ему рассуждения Неккера о политических перспективах Франции. В настоящее время, писал Неккер, Францию никак нельзя назвать республикой, ибо народ в ней не принимает никакого участия в делах государственных; сам Неккер предпочел бы видеть Францию монархией, однако предсказывал, что, решив установить во Франции монархический режим, Бонапарт захочет основать собственную династию, а для этого ему придется создавать новую аристократию, тех же, кто этому воспротивится, подавлять с помощью военной диктатуры. Указывая на опасность этого пути, Неккер призывал Бонапарта, сохраняя так долго, как это потребуется, исполнительную власть в своих руках, возвратиться к коллективному правлению в области законодательной. Эти призывы Неккера подверглись насмешкам публики, издевавшейся над желанием бывшего министра навязать Франции «семь директоров» вместо пяти (см.: *Remacle*. P. 112). В *РФР* Сталь посвятила «последнему сочинению г-на Неккера, опубликованному во время консульства Бонапарта», отдельную главу (ч. 4, гл. 7), в которой разбирает его содержание более подробно. Неккер, пишет она, «желал для Франции свободы, монархии и представительного правления, и всякий раз, когда правительство уклонялось от этой линии, считал себя обязанным употребить свой талант писателя и свои познания государственного мужа для возвращения умов на верный путь.

Впрочем, видя в Бонапарте стража порядка, человека, уберегающего Францию от анархии, он в своей последней книге назвал его человеком необходимым и несколько раз отозвался о его талантах с величайшим почтением. Однако похвалы эти нимало не обезоружили первого консула. Дело в том, что г-н Неккер угадал самую суть его честолюбивых замыслов и заговорил о его намерении восстановить во Франции монархию, стать государем и окружить себя знатью, им же самим и созданной. Бонапарт не желал преждевременного обсуждения этого замысла, не говоря уже об исследовании его изъянов. Поэтому, не успело сочинение г-на Неккера увидеть свет, как журналисты получили приказ обрушить на него самую безжалостную критику. Бонапарт назвал г-на Неккера главным виновником Революции: ведь сам он, любя эту Революцию за то, что она вознесла его на трон, одновременно, повинуясь чутью деспота, ненавидел ее; он желал бы пользоваться следствиями, но уничтожить причину. Вдобавок, будучи великим мастером во всем, что касается ненависти, он угадал, что г-н Неккер, страдая более, чем кто-либо, из-за несчастий, поразивших во Франции такое множество почтенных людей, будет глубоко оскорблен, если его — и притом совершенно несправедливо — назовут виновником этих несчастий. […] В первой части своего сочинения г-н Неккер исследовал тогдашнюю Конституцию Франции и высказывал предположение, что цель Бонапарта есть установление в стране королевской власти. Он утверждал, что правление представительное невозможно без прямых выборов, в которых участвует весь народ, и что отклонений от этого принципа быть не может. Разбирая затем аристократические установления, служащие преградой между национальным представительством и исполнительной властью, г-н Неккер заранее предсказал, чем станет Консервативный сенат, сделавшийся с тех пор палатой, рассмотрению которой подвергают всё и которая не может ничего, палатой, члены которой ежемесячно получают жалованье от того самого правительства, за работой которого они призваны наблюдать. Сенаторам отводилась в этом случае роль простых комментаторов консульской воли. Многочисленное собрание разделяло ответственность за деяния одного-единственного человека, и каждый мог спокойно совершать подлости под прикрытием большинства. Предсказал г-н Неккер и уничтожение Трибуната […] Трибунат был задуман для обличения произвола во всех областях жизни: несправедливых арестов, указов об изгнании, покушений на свободу прессы. Г-н Неккер показал в своем сочинении, каким образом члены Трибуната, обязанные званием

трибуна не народу, а Сенату, не находили в себе сил для осуществления своей миссии. Тем не менее, поскольку первый консул намеревался предоставить им много поводов для жалоб, он предпочел упразднить Трибунат, пусть даже всецело ему преданный. Само название этой палаты содержало, на вкус Бонапарта, нечто чересчур республиканское» (CRF. P. 377–380; Трибунат был распущен в 1807 г.). Русский пересказ брошюры Неккера, включающий пространные цитаты, см.: Вестник Европы. 1802. Ч. 5. № 20. С. 301–319.

[270] Имеется в виду казнь герцога Энгиенского, о которой см. ниже, примеч. 377 и след.

[271] «Доказав, что при консульском правлении республики во Франции не существовало, г-н Неккер естественным образом выводит из этого, что намерение Бонапарта заключается в установлении власти королевской; именно в этом месте г-н Неккер доказывает совершенно неопровержимо, что умеренную монархию невозможно установить, не прибегнув к помощи знати уже существующей, которая, как правило, предана государю старинного рода. Разумеется, военная слава может заменить знатных предков; больше того, она действует на воображение сильнее воспоминаний: однако королю потребно окружать себя людьми выдающимися, между тем граждан, прославившихся своими подвигами, невозможно отыскать столько, чтобы они составили новую аристократию, способную сдерживать власть, эту аристократию породившую. Нации не похожи на Пигмалионов, обожающих собственные создания, а потому Сенат, составленный из новых людей такого рода, не будет иметь силы и не сможет внушать почтение» (*CRF.* P. 381). Иначе говоря, Неккер заранее подверг критике ту новую, имперскую аристократию, которая была создана Наполеоном лишь два года спустя. Наполеону, по словам Сталь, это понравиться не могло: «Сей сфинкс нового рода обрушивает гнев на того, кто отгадывает его загадки. Конечно, люди питают безграничное почтение к военной славе, однако Бонапартову тщеславию мало было основать империю на превратностях сражений; он хотел положить начало новой династии, хотя отказывал в праве на величие всем, кроме себя самого» (*CRF.* P. 382).

[272] Понятие Конституционного, или Сенатского закона (sénatus-consulte) восходит к идеям, выдвинутым Сьейесом в его знаменитой брошюре «Что такое третье сословие?», опубликованной в начале 1789 г., в самый канун Революции. Здесь Сьейес утверждал, что из народного суверенитета вытекает право народа в любой момент изменять конституцию государства. После проведения плебисцита относительно пожизненного

консульства Бонапарт стал деятельно претворять в жизнь эту идею: отныне для изменения конституции более не требовалось получать одобрение народа; достаточно было, чтобы Сенат (действующий по указке самого первого консула) издавал Конституционные законы. Законы эти делились на ординарные (касавшиеся назначения консулов и роспуска Законодательного корпуса и Трибуната) и органические (касающиеся изменения самой Конституции); инициатива при этом всегда исходила от Бонапарта, сенаторы же (все в той или иной степени обязанные местами в Сенате лично первому консулу) лишь одобряли его предложения и приводили их в исполнение.

[273] Политехническая школа была учреждена во время Революции декретом Конвента от 28 сентября 1794 г. под названием Центральной школы общественных работ; название Политехнической она получила согласно закону от 1 сентября 1795 г. В ее задачи входила подготовка военных и гражданских инженеров, топографов, кораблестроителей, артиллеристов и проч. Наполеон, ценя Политехническую школу за высокий уровень преподавания, относился к ее ученикам с подозрением; в июле 1804 г., став императором, он переустроил внутренний распорядок школы на военный лад, но все равно продолжал опасаться чрезмерной независимости ее учеников, исповедовавших республиканские взгляды; посетил он школу один-единственный раз, да и то в период Ста дней. Среди прославленных выпускников Политехнической школы были физики Беккерель и Френель, математик Коши, астроном Араго и др. В 1805 г. Огюст де Сталь выдержал экзамен в Политехническую школу, однако в праве учиться в ней ему было отказано по велению императора.

[274] До Революции преподаванием в основном занималось духовенство, в частности члены религиозных орденов — иезуиты и ораторианцы; во время Революции и при Директории республиканская власть начала выстраивать на месте прежней системы образования новую, государственную (так, Конвент постановил открыть на месте религиозных коллежей центральные школы — по одной в каждом департаменте, а также основать высшие профессиональные школы, однако эта реформа не была доведена до конца). Бонапарт, понимая, что воспитание верноподданных следует начинать с детства, стал создавать свою систему государственного образования. В результате в 1806 г. была установлена монополия государства на народное образование, а в 1808 г. создана система Университета — светской педагогической корпорации, ведавшей не только высшим, но также и средним (получаемым в коллежах и лицеях)

и начальным (получаемым в начальных школах) образованием. Наибольшее внимание уделялось лицеям, которые, согласно закону о народном просвещении от 1 мая 1802 г., были открыты в главном городе каждого департамента; именно в них начиналось воспитание имперской элиты. Ученики, в большинстве своем государственные стипендиаты, носили форму (в 1808 г. лицеистам было предписано облачиться в мундиры из серого сукна, по образцу пехотных), о начале и конце уроков возвещал барабанный бой, учителя старались поддерживать дисциплину, подобную военной. Лицейские программы были двух типов: «латинские» (гуманитарные) и «математические».

275 Агент Людовика XVIII в донесении от 31 мая 1802 г. извещает о настойчивом стремлении «слуг правительства» в связи с введением пожизненного консульства напомнить о том, как происходили смены династий, и «оживить в умах память о Карле Великом» (*Remacle*. P. 20). Сталь, сопоставляя Карла Великого и Наполеона на том основании, что оба они основали империи, противопоставляет их как просвещенного монарха и монарха-тирана; характеристика Карла Великого уточнена в одной из записных книжек, содержащей наброски к «Десяти годам»: «По ночам он изучал звездное небо, основал Парижский университет […] защищал страну от сарацинов, северян и византийцев» (*DAE-1996*. P. 423). В *РФР* (ч. 4, гл. 11) Сталь пишет, что в голове Наполеона перепутались «почтение к Аттиле и Карлу Великому, к феодальным законам и восточному деспотизму» и он вознамерился создать империю разом и восточную, и каролингскую, однако от каждой системы взял лишь то, что укрепляло его личную власть (*CRF*. P. 398).

276 В записных книжках Сталь несколько раз приводит аналогичное высказывание Наполеона без упоминания Тамерлана: «Арабы идут на край света, не спрашивая, куда их ведут» *(DAE-1996*. P. 447, 475).

277 Речь идет о 15 августа 1802 г.; в этот день в Тюильри состоялся торжественный прием и концерт, а в соборе Парижской Богоматери — торжественное богослужение. На 15 августа, день рождения Бонапарта, приходится церковный праздник Успение Богородицы; но в феврале 1806 г. Наполеон издал декрет о том, чтобы в тот же день 15 августа по всей империи отмечали еще один праздник — день святого Наполеона.

278 Годом позже, в июне 1803 г., префект департамента Па-де-Кале Жак-Франсуа де Ла Шез (1743–1823) обратился к первому консулу, посетившему главный город департамента, Аррас, со следующей речью: «Всем известно, что ради счастья и величия Франции, ради того, чтобы возвратить всем народам свободу

торговли и свободу морей, ради того, чтобы на всей земле наконец воцарился мир, Господь создал Бонапарта и почил от трудов своих». 7 июля 1803 г. речь эта была напечатана в «Журналь де Деба». Шли слухи, что злые языки из числа роялистов продолжили речь префекта следующим образом: «Но Господу покой неведом: // Он де Ла Шеза сотворил // За нашим Бонапартом следом // И лишь затем от дел почил».

279 В немецком городе Раштатте с 1797 по 1799 г. шли переговоры между представителями Австрии, Пруссии и Франции о возмещении убытков (индемнизации) германским князьям, которые по Кампоформийскому договору утратили территории на левом берегу Рейна, отошедшие к Франции. В 1801 г. обсуждение этого вопроса было продолжено на переговорах, предшествовавших подписанию Люневильского мира; статья 7-я Люневильского договора предусматривала, что компенсации должна предоставить сама Германская империя, однако пункт этот касался только светских князей; нерешенной оставалась судьба трех духовных курфюршеств: Майнцского, Трирского и Кельнского. Передел имперской территории открывал большие возможности для спекуляций, и этим не замедлил воспользоваться Талейран, который, улаживая с немецкими князьями вопрос о компенсациях, получал от них щедрые взятки (в общей сложности от 10 до 15 миллионов); не случайно его биограф называет эту работу «самым выгодным делом из всех, какими занимался Талейран в эпоху Консульства», делом, которое «стало фундаментом его огромного состояния» (*Lacour-Gayet*. P. 452–453). В 1801–1802 гг. Франция заключила отдельные договоры со многими германскими государствами: Баварией, Вюртембергом, Гессен-Даршмтадтом, Пруссией и др. В результате 25 февраля 1803 г. Регенсбургский сейм принял, а 27 апреля германский император ратифицировал имперский протокол, кардинально менявший всю политическую карту империи: 112 государств прекратили свое существование; духовные курфюршества, за исключением архиепископства Майнцского и владений Тевтонского и Мальтийского орденов, были секуляризованы. Этот эпизод стал важным шагом на пути к полному уничтожению Германской империи и основанию вместо нее Рейнского союза под протекторатом Наполеона (12 июля 1806 г).

280 Агент Людовика XVIII в донесении от 7 августа 1802 г. свидетельствует, что «иностранцы, и прежде всего англичане, во множестве прибывают в Париж, но нетрудно заметить, что движет ими одно лишь любопытство. Недаром они никогда не задерживаются у нас надолго. Они приезжают взглянуть на

первого консула, побывать на разводе и на театральных представлениях, осмотреть музеи и другие достопримечательности, а затем уезжают», поскольку не находят в Париже хорошего общества и видят в этом городе «не что иное, как большой трактир, где можно наблюдать последствия Революции и любоваться произведениями искусства, вывезенными из Италии и Фландрии» (*Remacle*. P. 93). По данным английского посланника в Париже в 1802 г. Мерри, летом этого года в столице Франции побывало около пяти тысяч англичан, однако уже к зиме 1802–1803 гг. их осталось всего 1700.

281 Чарлз Джеймс Фокс (1749–1806) возглавлял партию вигов, которая, в отличие от правящей партии тори, выступала сначала за примирение с революционной Францией, а затем за союз с Бонапартом; Фокс сыграл большую роль в подготовке Амьенского мира. Уважая политиков, стоящих во главе обеих партий, — и саркастического властного Питта, и пылкого свободолюбивого Фокса (их параллель см. в *РФР,* ч. 3, гл. 14), Сталь «по велению души сочувствовала тому, кто не стоит у власти», то есть Фоксу (*О литературе.* С. 227), с которым она была знакома со времен своего пребывания в Лондоне в 1793 г. Тем не менее отношение английской оппозиции к Бонапарту она считала ошибочным, о чем подробно пишет в *РФР* в главе «Следовало ли Англии заключать мир с Бонапартом после назначения его первым консулом?» (ч. 4, гл. 5): «В 1803 году, к несчастью для духа свободы в Англии, а следовательно, и на всем континенте, коему эта страна служит маяком, оппозиция, возглавляемая г-ном Фоксом, заблуждалась насчет Бонапарта самым прискорбным образом, и именно с тех пор эта партия, впрочем весьма почтенная, утратила то влияние на нацию, какое в других отношениях было бы для страны весьма благотворным. Защищая Французскую революцию во времена Террора, члены английской оппозиции и без того зашли чересчур далеко, но что могло быть опаснее объявления Бонапарта защитником этой Революции, чьи принципы он на самом деле безжалостно разрушал!» *(CRF.* P. 371).

282 Фокс приехал в Париж в начале августа 1802 г. и дважды (2 сентября и 7 октября) был принят Бонапартом, который на Святой Елене вспоминал эти визиты в весьма восторженном тоне и утверждал, что «полдюжины людей, подобных Фоксу», хватило бы для нравственного оправдания любой нации *(Las Cases.* P. 317; 10 июня 1816 г.). Сталь во время пребывания Фокса в Париже находилась в Коппе.

283 В понимании Сталь беседа представляла собой нечто большее, чем обычное светское препровождение времени;

революционная эпоха, когда была объявлена свобода печати и появилось множество газет самых разных направлений, а в выборных политических собраниях стали устраиваться дебаты, убедила Сталь в силе красноречия как орудия и оружия; однако для нее как женщины политические собрания были закрыты, поэтому она пользовалась доступной ей формой использования слова как политического инструмента — салонной беседой. Этот опыт в дальнейшем отразился в ее теоретических сочинениях; в *РФР* (ч. 2, гл. 17) она описывает первые революционные годы как золотое время французской беседы, когда та утратила фривольную пустопорожность, царившую во многих салонах при Старом порядке, но еще не стала жертвой «духа партий» или раболепства царедворцев, как эпоху, когда «сила свободы смешалась с элегантностью аристократии» (*CRF*. P. 228). В салонах обсуждались серьезные политические и общественные проблемы, но при этом дух светскости позволял носителям самых разных убеждений сидеть за одним столом и общаться самым мирным образом. С 1789 до конца 1791 г., пишет Сталь, «интересы, чувства, образ мысли разделяли французов на две партии [сторонников свободы и сторонников Старого порядка], однако до тех пор, пока одна из них не начала воздвигать эшафоты, слово оставалось достойным посредником между ними. В ту пору французский ум явил себя — увы, в последний раз — во всем своем блеске; в ту пору парижское общество в последний, а в каком-то смысле и в первый раз показало, что означает сообщение выдающихся умов — благороднейшее из наслаждений, на какое способна человеческая природа» (*CRF*. P. 229). Это «сообщение выдающихся умов» и происходило в форме салонной беседы, которая затем подверглась «порче»: ей стало недоставать и серьезности в выборе тем, и уважения к собеседникам. Между тем настоящая светская беседа — отнюдь не просто суетная забава; она способна играть огромную «цивилизующую» роль: «Только светскость способна смягчить политические страсти, благодаря ей мы можем видеться, еще не полюбив друг друга, беседовать, еще не придя к общему мнению, и вот уже глубокое отвращение к человеку, с которым мы сроду не перемолвились двумя словами, начинает слабеть: учтивые разговоры, почтительная предупредительность собеседника будят в нашей душе добрые чувства и связуют нас с тем, кого мы прежде считали своим врагом, узами братской любви» (*О литературе.* С. 284). Сходным образом в *ОГ,* в главе, которая так и называется — «О духе беседы» (ч. 1, гл. 11), Сталь, подчеркивая, что беседа есть определенная форма общения в свете, и отмечая ее сильные и слабые стороны («аристократические представления о хорошем

тоне и элегантности брали верх над энергией, глубиной, чувствительностью и даже умом»), призывает, тем не менее, серьезных, трудолюбивых и несветских немцев воспользоваться некоторыми преимуществами французской «разговорной» культуры — в частности, «почерпнуть из искусства беседы привычку вносить в книги ту ясность, которая делает их доступными для большинства читателей, тот талант быть краткими, который известен народам, ищущим развлечений, куда лучше, чем народам, занятым делами, то почтение к приличиям, которое не искажает природу, но щадит воображение» (*DA*. T. 1. P. 110). Наполеону, по мнению Сталь, были чужды и умение развивать в беседе серьезные и высокие идеи, и умение уживаться в рамках светского разговора с политическими противниками. О сталевской концепции беседы см.: *Principato A.* Madame de Staël: la conversation et son miroir romanesque // *CS*. № 52. P. 52, 53–74; *Serman J.-P.* Conversation et écriture chez Madame de Staël // Ibid. P. 75–93; *Зенкин С. Н.* Французский романтизм и идея культуры. М., 2002. С. 110–112.

[284] Этот пост занимал в то время А.-М. д'Эмар (см. примеч. 167).

[285] По словам Рёдерера, Наполеон как-то воскликнул: «Никогда дочь Неккера не вернется в Париж!» (цит. по: *DAE-1996*. P. 136). Первый консул не ограничился разговорами «в своем кругу»; узнав, что Сталь намеревается вернуться из Швейцарии во Францию, он 10 февраля 1803 г. отправил министру юстиции Ренье (в чьем ведении с сентября 1802 г. находились и полицейские дела) письмо с приказанием выслать ее назад, лишь только она пересечет французскую границу; министр отдал приказ направить в город Мелён (к юго-востоку от Парижа) жандармского офицера, чтобы арестовать Сталь, если она направится в столицу, и она, узнав о готовящихся против нее репрессивных мерах, во Францию не приехала. О ярости, с которой Бонапарт высказывается против ее пребывания в Париже, г-жу де Сталь 22 июня 1803 г. предупредил сенатор Доминик-Жозеф Гара, многолетний друг семьи Неккеров (см.: *DAE-1996*. P. 137).

[286] Намек на Жана-Мари Савари (1774–1833), который в описываемый период командовал жандармерией (фактически — личной гвардией первого консула) и был доверенным лицом Бонапарта. В дальнейшем Савари исполнял различные военные и дипломатические поручения императора (из них самым позорным было его участие в аресте и казни герцога Энгиенского — см. с. 80–81 и примеч. 380 и 381), а в 1810–1814 гг. занимал пост министра полиции. Г-жа де Ремюза, статс-дама императрицы

Жозефины, рассуждая в своих «Мемуарах» о доверии, которое питал император к Савари (особенно удивительном, если учесть его собственную убежденность в том, что этого приближенного «необходимо постоянно подкупать»), приводит следующее высказывание императора: «Прикажи я Савари избавиться от жены и детей, я уверен, что он покорился бы без колебаний» (*Rémusat*. Т. 2. P. 245).

[287] Роман в письмах «Дельфина» вышел из печати 14 декабря 1802 г. Отзывы о нем в печати (за исключением трех, написанных людьми, близкими к Сталь: Констаном, Клодом Оше и Женгене) были весьма критическими; журналисты нападали на Сталь за ее отношение к религии (противопоставление толерантного и свободного протестантизма черствому, бездушному католицизму), за излишнее свободомыслие ее героини — молодой вдовы, которая от невозможности соединиться с возлюбленным уходит в монастырь, но, узнав о том, что предмет ее страсти, Леонс, овдовел и вновь свободен, разрывает обет и бежит из монастыря, а после смерти возлюбленного кончает жизнь самоубийством. Такое «философическое» поведение само по себе уже представляло собой вызов общественной морали, а то обстоятельство, что подобный поступок совершала женщина, возмущало критиков еще сильнее. Поскольку главная героиня «Дельфины» жертвует своей репутацией ради любви, роман этот упрекали даже в непристойности, хотя с современной точки зрения он более чем целомудрен. Суть претензий в сжатой форме выразил критик Виллетерк на страницах «Журналъ де Пари»: «Дельфина рассуждает о любви, как вакханка, о Боге — как квакер, о смерти — как гренадер, а о морали — как софист» (цит. по: *Delphine*. Т. 1. P. 42). Аналогичные мнения высказывались позже и в России; так, М. А. Волкова писала своей подруге В. И. Ланской 3 сентября 1812 г.: «Дельфина, по-моему, в тысячу раз хуже Корины. Этот отвратительный роман представляет смесь беззаконий и сумасбродства, его и нельзя читать хладнокровно. Можно ли восхищаться женщиной, осмелившейся изобразить такую скверную сцену в церкви, а именно: женатый Леонос [так у Волковой. — *В. М.]* требует от Дельфины клятвы перед алтарем, что она будет принадлежать ему? Разве это не отвратительно?» *(РА*. 1872. № 12. Стлб. 2396–2397). Наполеон на Святой Елене упрекал «Дельфину» за то, что в этой книге царит «беспорядок ума и воображения» *(Las Cases*. P. 140), но в куда большей степени его, по всей вероятности, возмутила независимость г-жи де Сталь, которая в предисловии к роману призналась, что обращает его к «молчаливой, хотя и просвещенной Франции», ее нежелание подпевать хору льстецов (например, в связи с заключением

Конкордата воспевать католицизм); сказалась и история с «Последними соображениями» Неккера (см. примеч. 222 и 269), и общее раздражение первого консула оппозиционностью писательницы.

[288] Огюсту в это время исполнилось тринадцать лет, Альберу — одиннадцать, Альбертине — шесть (ср. примеч. 44).

[289] 16 июля 1789 г. Неккер, чье увольнение с поста министра финансов стало одним из поводов к народному мятежу и взятию Бастилии, был возвращен Людовиком XVI на этот пост; 30 июля Неккер вернулся в Париж из Швейцарии, и народ устроил ему триумфальную встречу. Сталь подробно анализирует эту сцену в *РФР* (ч. 1, гл. 21): «Эти бурные изъявления радости до сих пор живы в моей памяти; они вновь пробуждают во мне то же волнение, какое будили в прекрасную пору юности и надежд. Все эти голоса, повторявшие имя моего отца, казалось, принадлежали целой толпе друзей, разделявших мою почтительную нежность. Народ в ту пору еще не запятнал себя никакими злодействами; он любил своего короля; он полагал, что того обманывают, и преклонялся перед министром, в котором видел своего защитника; энтузиазм его был благороден и искренен. Царедворцы попытались уверить французов, будто г-н Неккер сам устроил эту сцену. Даже если бы он захотел это сделать, как смог бы он тайком внушить толпе столь многочисленной чувства столь пылкие? Вся Франция думала сходно с парижанами, из самых разных ее концов приходили адреса, а в ту пору именно адреса выражали общую волю. Однако те, кто живет при дворе, к несчастью, понятия не имеют о том, что такое нация. Они все объясняют интригами, меж тем интриги бессильны повлиять на общественное мнение» (CRF. 157).

[290] В письме, датированном 5 апреля 1803 г., Лебрен писал: «Я получил, сударь, Ваше письмо и отдал его истинному его адресату… Первый консул пришел к власти, имея на Ваш счет совершенно определенное мнение; порой мне казалось, что он намерен просить у Вас совета, и до выхода „Последних соображений“ он неизменно отзывался о Вас с почтением, которым Вы были бы польщены. Однако это последнее сочинение, внезапно представленное публике, вдохновлено, как кажется первому консулу, отнюдь не Вами. […] „Имей Вы даже, — сказал мне первый консул, — потребность сообщить важные истины, Вам следовало бы начать с того человека, какого Вы назвали *необходимым,* и лишь если бы он их отверг, обратиться к публике…“ Слова, вырвавшиеся у г-жи де Сталь, и более чем нескромные поступки людей, с которыми ее, как известно, связывают узы самой задушевной дружбы, убедили первого

консула в том, что именно Ваша дочь повлияла на ход Ваших мыслей и побудила Вас к сочинению Вашей брошюры. Первый консул полагает, что она желает любой ценой лишить общество покоя, сам же он, хотя вовсе не страшится слухов, не хочет, однако, прослыть слабым или неосторожным, вследствие чего никому не позволит осмеивать его правление. Вы сами понимаете, что в этом случае все попытки повлиять на его убеждения бесполезны. Не знаю, изменится ли что-либо со временем, и потому не подаю Вам никаких надежд. Примите мои соболезнования» (цит. по: *Gautier*. P. 96–97). Сам Наполеон на Святой Елене вспоминал этот эпизод в том же издевательски-пренебрежительном тоне, в каком вообще отзывался о Сталь в беседах с Лас Казом: «…в надежде с моею помощью возвратиться на политическую сцену он [Неккер] напечатал брошюру, в которой доказывал, что Франции более не должно быть ни республикой, ни монархией. Немного же ей в этом случае оставалось на выбор, прибавлял император. Неккер в этом сочинении именовал первого консула *человеком необходимым,* и проч., и проч. Лебрен ответил ему письмом на четырех страницах, писанным превосходнейшим слогом и весьма язвительно: он осведомлялся, не достаточно ли Неккер причинил зла Франции и не следует ли ему после опыта с Учредительным собранием отказаться от притязаний на управление страной. Оказавшись в опале, г-жа де Сталь одной рукой сражалась, а другой выпрашивала милости. Первый консул дал знать, что предоставляет ей покорять целый мир, но запрещает жить в Париже и не велит даже приближаться к столице. Меж тем г-жа де Сталь мечтала только о Париже. Консул твердо стоял на своем, однако г-жа де Сталь время от времени возобновляла попытки его умилостивить. При Империи она возжелала стать придворной дамой; но имея г-жу де Сталь при дворе, пришлось бы забыть о покое» *(Las Cases.* P. 419).

[291] Неккер умер 9 апреля 1804 г.; таким образом, Сталь здесь ведет отсчет не от получения ответа от Лебрена, а скорее от публикации «Дельфины» и атак на нее в печати.

[292] О создании на территории Швейцарии вместо союза кантонов единой Гельветической республики см. примеч. 24. В 1802 г. эта республика фактически распалась, центральная власть была отменена, однако споры между сторонниками объединения и федералистами, выступавшими за сохранение кантональной структуры, продолжались, а в августе 1802 г., после того как Бонапарт намеренно вывел из Швейцарии французские войска, споры эти перешли в гражданскую войну. 30 сентября 1802 г. Бонапарт предложил себя в качестве посредника, французские

войска под командованием Нея снова вошли в Швейцарию, и в результате 19 февраля 1803 г. первый консул даровал представителям швейцарских кантонов, число которых увеличилось с изначальных тринадцати до девятнадцати, Посредническую конституцию, или Посреднический акт, представлявший собой некоторую уступку федерализму: каждый из кантонов получал собственную конституцию, причем в аристократических кантонах реальная власть возвращалась патрициям. От новых, более демократических порядков, существовавших при единой республике, остались отмена наследственных привилегий, равенство кантонов, упразднение внутренних таможен и слабый орган центральной законодательной власти — сейм, где каждый из кантонов имел, смотря по величине, один или два голоса. Что касается исполнительной власти, то ее возглавляли по очереди ландманы (начальники) шести «старых», «главных» кантонов. Первого ландмана, Луи д'Аффри, назначил сам Бонапарт (см.: *Lefebvre.* P. 154); впрочем, ландман, не имевший ни денег, ни войска, не обладал почти никакой реальной властью и был вынужден постоянно идти на уступки главам кантонов.

293 27 сентября 1803 г. Гельветическая конфедерация подписала с Францией договор об оборонительном союзе на 50 лет, согласно которому обязывалась предоставить четыре полка по четыре тысячи человек каждый.

294 Совет (consulte) по образцу Цизальпинского совета (см. примеч. 245) из представителей швейцарских кантонов собрался в Париже несколько раньше, чем указывает Сталь: не в январе 1803 г., а в декабре 1802 г.; депутаты (45 централистов-аристократов и 18 федералистов-демократов) прибыли в Париж в начале декабря, а первая встреча в Тюильри с первым консулом состоялась 12 декабря; вообще вся деятельность «совета», закончившаяся написанием Посреднического акта (см. примеч. 292), шла под диктовку Бонапарта.

295 В ОЛ (1800) к фразе «В слоге воплощаются, если можно так выразиться, поступь, интонация, жесты пишущего; вульгарность манер ни при каких обстоятельствах не способна придать новую силу ни мыслям, ни словам» г-жа де Сталь сделала примечание: «Я прекрасно знаю, что до сих пор никто еще не употреблял слова „вульгарность", но оно кажется мне выразительным и точным» (*О литературе.* С. 251). Прилагательное *vulgaire* (от латинского *vulgus* — толпа, чернь) существовало во французском языке с XVI в., что же касается производного от него существительного *vulgarité,* то оно, как подтверждают лексикографы, в самом деле было впервые введено

в язык г-жой де Сталь, которая разумела под ним свойство «образов и выражений, страдающих недостатком изящества и утонченности» (Там же. С. 61), иначе говоря, заурядность и приземленность. См.: Le Grand Robert de la langue française. P., 1988. T. 9. P. 839; Trésor de la langue française. P, 1994. T. 16. P. 1380.

[296] См. примеч. 251 и 310.

[297] Финансовая система Франции была расшатана Революцией и Директорией; стремительно обесценивавшиеся ассигнаты подорвали доверие к бумажным деньгам; между тем экономика нуждалась в надежных, общепризнанных бумажных деньгах, которые могли бы служить средством для расчетов во всей стране. Попытки создать банк, который, находясь под покровительством государства, выпускал бы такие деньги, неоднократно предпринимались во время Директории, однако успехом в самом начале 1800 г. увенчалась лишь инициатива банкиров Лекутё и Перрего. Новосозданному банку, получившему название Французского, был обеспечен режим наибольшего благоприятствования: туда были переведены фонды национальной лотереи, парижской ввозной пошлины и некоторых других финансовых учреждений; акции этого банка приобрели первый консул, его родственники и приближенные. В апреле 1803 г. Французский банк получил еще более выгодную привилегию — исключительное право выпуска банковских билетов в Париже на 15 лет.

[298] В отличие от англичан, чья финансовая система строилась на кредите, то есть долгосрочных и краткосрочных займах, осуществляемых государством, Наполеон кредитам не доверял, а потому в 1805 г. по его приказу была заведена отдельная Армейская казна, позднее получившая название Экстраординарной и пополнявшаяся за счет денег, полученных с завоеванных стран; часть этих денег шла на нужды армии, часть пополняла фонд Комиссии по погашению государственных долгов, часть, обращенная в драгоценные металлы, хранилась в Тюильри, и Наполеон брал из нее деньги для себя и своих приближенных.

[299] О Гражданском кодексе см. примеч. 244.

[300] Сталь выделяет это слово как неологизм; в тогдашнем французском более употребителен был глагол «денационализировать» в значении «лишать национального характера». Сталь с ее вниманием к разным национальным характерам и разным типам национальных культур видела в этом стремлении Наполеона к нивелированию национальных различий еще одно проявление его деспотизма.

[301] В *РФР* (ч. 4, гл. 15) Сталь приводит ту же реплику в несколько иной, но не менее афористичной форме: «Однажды некий государственный советник осмелился заметить ему, что Кодекс Наполеона противоречит решению, которое он намеревается принять, „Что ж, — отвечал он, — Кодекс Наполеона был сочинен для блага народа; раз благо это требует иных мер, их-то и следует предпринять“» (*CRF*. P. 413).

[302] Чарлз Уитворт (1752–1825) был назначен английским послом в Париже после заключения Амьенского мира и приехал во французскую столицу в начале 1803 г.; в 1788–1800 гг. он представлял Англию в Петербурге, откуда был отозван в июне 1800 г. по требованию Павла за оскорбительные отзывы об императоре в перлюстрированных русской стороной депешах. Агенты Людовика XVIII описывают в нескольких донесениях «сцены», которые Бонапарт, в нарушение всех правил дипломатического этикета, устраивал английскому послу: «Во время последней публичной аудиенции он приблизился к лорду Уитворту и сказал: „Ну что, скоро ваш парламент соберется и набросится на меня? Они откроют стрельбу по мне, а я покамест займусь вами: отчего Англия не исполнила ни одного из условий Амьенского мира?“ Лорд Уитворт в ответ не произнес ни слова. Все знатоки дипломатии утверждают, что иначе он поступить не мог, но все они утверждают также, что нет ничего более противного правилам дипломатии, чем поведение первого консула. Приведенные слова были произнесены Бонапартом очень громко и тотчас стали известны посланникам всех иностранных держав» (*Remacle.* P. 255–256; донесение от 18 февраля 1803 г.); «Послы всех европейских держав, равно как и все знатные иностранцы, собрались в воскресенье 13 марта у г-жи Бонапарт. Первый консул вошел в залу и, направившись прямо к лорду Уитворту, осведомился у него, с какой целью писано послание Его Величества короля Британии к парламенту. Милорд отвечал коротко, что того требует Конституция. Бонапарт спросил: „Разве в Амьенском договоре есть что-то неясное?“ Ответа не последовало. Тогда первый консул заявил, что договор этот понятен и десятилетнему ребенку. „Я могу высказаться еще яснее, — прибавил он, — убирайтесь прочь с Мальты, иначе — война!“ Посол, непривычный к сим новым дипломатическим формам, по-прежнему хранил молчание…» (*Remacle.* P. 279; донесение от 24 марта 1803 г.); ср. также описание этой сцены, во время которой «все присутствовавшие от изумления и ужаса лишились дара речи», в воспоминаниях Гортензии де Богарне (*Fierro.* P. 377–378). Об обращении Бонапарта с английским послом см. также наст, изд., с. 66 и примеч. 308.

[303] Жан-Габриэль Пельтье (1760–1825) — журналист и памфлетист, один из редакторов роялистской сатирической газеты «Деяния апостолов» (1789–1791), в 1792 г. эмигрировал в Англию и продолжил журналистскую деятельность выпуском газеты о французских делах «Париж в 1795 году», «Париж в 1796 году» и т. д. Колоритный портрет Пельтье, «безбожника, повесы, зарабатывающего кучу денег и тут же их проматывающего», см.: *Шатобриан.* С. 141. После прихода к власти Бонапарта Пельтье обрушивал на него в своих памфлетах самые резкие нападки. Например, в газете «Париж в 1801 году» по поводу Конкордата говорилось, что Бонапарт намерен «использовать своих межеумочных священников как жандармов в сутанах», что он хочет «унизить в глазах Европы папу, епископов и священников с тем, чтобы в нужный момент с тем большей легкостью свергнуть их всех; так якобинцы напялили на голову Людовику XVI красный колпак, и это стало знаком и предвестием его скорого убийства» (цит. по: *Dieshach G. de.* Histoire de l'émigration. P, 1998. P. 568). В том же духе была выдержана выходившая с 1803 по 1818 г. газета «Смесь, заметки жестокие и забавные» (Ambigu, variétés atroces et amusantes). В ней Пельтье продолжал в самых разных формах резко нападать на первого консула и его правление. Так, виньетка в начале первого номера изображала сфинкса с головой Бонапарта, увенчанной фантастической короной, а в пятом номере тот же сфинкс был изображен обезглавленным; из словосочетания «Французская революция» Пельтье извлекал такие анаграммы, как «Вор! Долой корсиканскую нацию!» или «Корсиканский король будет убит» (см.: *Hatin E.* Bibliographie historique et critique de la presse périodique française. P., 1866. P. 314–315). Французское посольство в Лондоне обвинило Пельтье в подстрекательстве к убийству первого консула и потребовало его выдачи Франции, а Аддингтон, сменивший Питта во главе кабинета, согласился на проведение суда над журналистом. Процесс состоялся 21 февраля 1803 г.; защитником Пельтье выступил сэр Джеймс Макинтош (1756–1832), произнесший пламенную речь против тирании Бонапарта. Пельтье присудили к уплате небольшого штрафа и судебных издержек, причем деньги ему собирали по тотчас открытой подписке. Шатобриан, сотрудничавший и приятельствовавший с Пельтье в эмиграции, описал этот эпизод в «Замогильных записках»: Пельтье «схватил Бонапарта за ворот: Наполеон по наивности принялся с ним боксировать. Секундантом у Пельтье был либеральный публицист Джеймс Макинтош; осужденный британскими судьями, Пельтье немедленно заработал деньги (которые так же быстро и растратил) на продаже материалов

своего процесса» *(Chateaubriand.* Т. 1. P. 726). Личное знакомство Сталь с Макинтошем состоялось в Англии в 1813 г.; он оказал ей большую помощь в переговорах с издателем Мерреем, выпускавшим лондонское издание книги *ОГ*. Письма г-жи де Сталь к Макинтошу 1813–1815 гг. см.: *CS.* № 10. P. 27–54. Что касается Пельтье, с которым Сталь в 1813–1814 гг. также общалась в Лондоне, то в начале 1800-х гг. писательница могла видеть в нем союзника по борьбе против Бонапарта, в эпоху же Директории наверняка относилась к нему без всякого сочувствия, поскольку в своих лондонских изданиях (в частности, в газете «Париж в 1797 году») он перепечатывал из тогдашних парижских газет самые оскорбительные материалы о «дочери Неккера» — «амфибии, соединившей в себе наихудшие черты обоих полов», «славной супруге шведского посла», не ведающей, кто отец ее будущего ребенка (см.: *CS.* № 53. P. 36–42).

[304] С 1714 г., когда ганноверский курфюрст Георг-Людвиг стал королем Великобритании и Ирландии под именем Георга I, Ганновер принадлежал английским королям. Французские войска под командованием генерала Мортье вторглись в Ганновер в конце мая 1803 г.; в 1806 г. Наполеон уступил Ганновер Пруссии, но осенью того же года, после Иенского сражения, забрал «подарок» обратно. При Империи часть Ганновера входила в состав Вестфальского королевства, а часть — непосредственно во Французскую империю (департаменты Буш-дю-Везер и Буш-де-л'Эльб). Венский конгресс 1814–1815 гг. превратил Ганновер в самостоятельное королевство.

[305] О Мальте см. примеч. 251.

[306] О Буажелене, с 9 апреля 1802 г. архиепископе Турском, см. примеч. 258; его пастырское послание, в котором он называет власть первого консула «правительством законным, разом и национальным и католическим, правительством, без которого не имели бы мы ни религии, ни отечества», датировано 30 декабря 1802 г.

[307] Жан-Этьенн-Мари Порталис (1746–1807; о его роли в подготовке Конкордата см. примеч. 255) осуществлял государственное руководство делами религии с 8 октября 1801 г. до самой смерти (25 августа 1807 г.); в ранг министерской его должность была возведена 11 июля 1804 г. Сталь называет его «старшим», чтобы избежать путаницы с «младшим» Порталисом — Жозефом- Мари (1778–1858), сыном министра вероисповеданий; в описываемый период Порталис-младший находился на дипломатической службе, с 1806 г. состоял в Государственном совете, в 1810–1811 гг. назначен директором Книжного департамента, а затем оказался в опале. «Старший»

Порталис, юрист по образованию, просветитель и умеренный конституционный монархист по убеждениям, неизменно выступал за подчинение церкви государству; именно его стараниями 15 августа стало днем святого Наполеона, а в новый, «имперский» катехизис была включена фраза о покорности императору (ср. примеч. 257).

[308] О лорде Уитворте, отозванном из Парижа 12 мая 1803 г., см. выше примеч. 302. Подробности его общения с первым консулом, приведенные в комментируемом тексте, так сильно поразили г-жу де Сталь, что она отметила их в одной из записных книжек: «Обращение Бонапарта с лордом Уитвортом. Как тот выставлял вперед ногу» (*DAE-1996*. P. 415).

[309] В описываемую эпоху теснее всего Сталь общалась с тремя шотландцами: лордом Джоном Кемпбеллом (впоследствии герцогом Аргайлом), его личным врачом и другом Робертом Робертсоном и, наконец, Уильямом Мак-Каллохом; с первым ее связывали дружеские узы, со вторым — любовные, третий был страстно влюблен в нее и даже собирался вызвать на дуэль своего более счастливого соперника Робертсона (см.: *Johnson-Cousin D.* Un Ecossais à Coppet en 1803 // *CS*. № 38. P. 121–131).

[310] 1 мая 1803 г. Англия в ультимативной форме потребовала, чтобы Франция вывела войска с территории Голландии и согласилась с британским присутствием на Мальте; 11 мая Франция отказалась выполнить ультиматум; 16 мая Англия наложила эмбарго на все французские и голландские суда, находившиеся в английских портах, 20 мая Законодательному собранию Франции было объявлено о разрыве Амьенского мирного договора, а 22 мая все британские подданные, находившиеся во Франции, были задержаны. До Женевы (в эту пору бывшей главным городом французского департамента Леман) это известие дошло 27 мая; те англичане, которые получили его утром, в том числе Кемпбелл и Робертсон (см. предыдущее примеч.), успели уехать и на несколько дней нашли приют в Коппе (имение Неккера, хотя и находилось недалеко от Женевы, располагалось на территории кантона Во, то есть в Швейцарии); остальные были задержаны.

[311] Элджернон Перси, лорд Беверли (1750–1830) с семьей провел зиму 1802–1803 гг. в Италии и возвращался домой. Он и его спутники были задержаны в Женеве, а старший сын лорда, Джордж Перси, — в Вердене. Сталь, вообще по возможности принимавшая деятельное участие в судьбе интернированных англичан, через г-жу Рекамье хлопотала о том, чтобы Джорджу Перси позволили, по крайней мере, перебраться в Женеву (CG. T. 5. Pt 1. P. 7, 78); в конце концов вся семья Беверли оказалась во

французском городе Мулене, где и жила под надзором.

[312] О первой (несостоявшейся) попытке Бонапарта приступить к высадке в Англии еще во времена Директории см. примеч. 36. Более основательные приготовления начались в эпоху Консульства, после заключения Люневильского мира; в феврале 1801 г. возле Булони, на берегу Ла-Манша, был разбит военный лагерь. Амьенский мир на время прервал эту деятельность, однако после разрыва мира в мае 1803 г. она продолжилась с еще большей интенсивностью. Бонапарт сам побывал в Булони и отдал приказ о постройке нескольких портов, откуда могло бы одновременно выйти большое число кораблей, приспособленных для перевозки людей и лошадей, но очевидное превосходство англичан на море и смерть (в августе 1804 г.) адмирала Латуша-Тревиля, который должен был командовать операцией, не позволили намерениям Бонапарта осуществиться. В *РФР* Сталь комментирует тогдашнее соперничество Франции с Англией следующим образом: «Как ни прекрасна Англия, скажут мне, Франция не может не ревновать к ее могуществу; не случайно французские государи испокон веков пытались ее победить. Единственный способ сравняться с Англией, отвечу я, это подражать ей. Если бы Бонапарт, вместо того чтобы затевать нелепую комедию с высадкой, единственным результатом которой стали английские карикатуры, и континентальную блокаду — предприятие более серьезное, но также и более гибельное, захотел позаимствовать у Англии ее конституцию и ее промышленность, Франция имела бы сегодня торговлю, основанную на кредите, кредит, основанный на национальном представительстве и на общественном спокойствии, им порождаемом. Однако английское министерство, к несчастью, слишком хорошо знает, что единственное — положительно единственное — средство обеспечить Франции долговременное процветание есть превращение ее в конституционную монархию. Конечно, Людовик XIV одерживал победы над английским флотом, однако в ту пору обе страны были одинаково богаты; меж тем последние восемьдесят или даже сто лет Англия наслаждается свободой, Франция же сравняется с ней, лишь когда обретет законные гарантии, сходные с английскими. Что же предпринял Бонапарт вместо того, чтобы сделать своим компасом эту истину? Провозгласил континентальную блокаду, тем самым объявив своего рода европейский крестовый поход против Англии…» (CRF. P. 405).

[313] Из записной книжки Сталь явствует, что арка с этой надписью была построена в Амьене (см.: DAE-*1996*. P. 417). О «благороднейшем энтузиазме, вдохновляющем французов» на

борьбу против Англии, и о строительстве повсюду, в том числе на «мирных брегах Сены», разнообразных плавучих средств Сталь узнавала не только из газет, но и из писем своих французских корреспондентов (см., например: CG. T. 5. Pt 1. P. 11).

[314] 18–21 июля 1803 г.

[315] О Карле IV см. примеч. 207. Договор, согласно которому Испания давала обещание остаться нейтральной в конфликте Франции и Англии и выплатить Франции субсидию в шесть миллионов франков, был подписан Талейраном и испанским послом в Париже Азарой 19 октября 1803 г.

[316] Эти три державы объединились в борьбе против Франции лишь в 1813 г.: Пруссия разорвала союз с Францией и заключила договор с Россией 22 февраля 1813 г., а 17 марта объявила Франции войну; что касается Австрии, то она разорвала союз с Францией 14 апреля, а войну ей объявила 12 августа 1813 г.

[317] 19 августа 1803 г. Сталь писала из Женевы Жозефу Бонапарту: «Я надеюсь увидеться с Вами этой осенью, ибо полагаю, что первый консул почитает полтора года в изгнании достаточной карой за неуместные речи. Я совершенно потеряла вкус к ним, да, пожалуй, и способность их вести» (CG. T. 5. Pt. 1. P. 10).

[318] 26 сентября 1803 г. Сталь поселилась в окрестностях Экуана, в принадлежавшем ее нотариусу Фурко де Павану поместье Мафлье, которое отделяли от Парижа не 10 лье, а гораздо меньшее расстояние. Для Сталь это место было удобно тем, что неподалеку находились поместья Бенжамена Констана и г-жи Рекамье: Эрбаж и Сен-Брис (о последнем см. ниже примеч. 328).

[319] Музей — Лувр (см. примеч. 212).

[320] Анахронизм г-жи де Сталь; Бонапарт в это время оставался первым консулом.

[321] П. Готье (DAE-*1904*. P. 93) полагал, что здесь имеется в виду ненавидевшая г-жу де Сталь писательница графиня де Жанлис; однако из письма Сталь к отцу от 7 октября 1803 г. следует, что этой «адской особой» (вычеркнутое из письма выражение) была Анна-Элизабет де Вен (урожд. Расин), хозяйка известного в эпоху Консульства салона, вдова умершего в 1803 г. Жана де Вена, который до Революции числился по министерству финансов и в бытность Неккера министром служил под его началом. От нее, писала Сталь, «первый консул с удивлением узнал, что я живу в шести лье от Парижа, а не в десяти, как он думал, и заявил, что если я осмелюсь поселиться еще ближе, он пошлет четырех жандармов, чтобы они доставили меня назад в Коппе» (CG. T. 5. Pt. 1. P. 48). Впрочем, если г-жа де Вен в самом

деле оказала г-же де Сталь эту дурную услугу, причиной изгнания стала отнюдь не только ее беседа с первым консулом; о том, что г-жу де Сталь навещало множество знакомых, сообщали в своих донесениях и полицейские агенты (см.: CS. № 44. P. 144). 3 октября 1803 г. в письме к министру юстиции Ренье, содержавшем приказ выслать г-жу де Сталь из Франции, Бонапарт писал: «Эта женщина подобна зловещей птице; ее появление всегда сулит беспорядки. Я не намерен терпеть ее во Франции» (цит. по: CG. T. 5. Pt. 1. P. 52).

322 В XVIII в. сочувствие высшего света людям, впавшим в немилость, было симптомом расшатывания политической системы. Характерным образцом «моды на неповиновение, разрушившей могущество королевской власти», было, например, отношение знати к отправленному в отставку в 1770 г. министру иностранных дел герцогу де Шуазелю: после того как герцог удалился в свое имение Шантелу, число дам и кавалеров, пожелавших навестить опального министра, оказалось так велико, что в Шантелу «образовался новый двор, который, казалось, мог соперничать с двором версальским» (процитированные оценки принадлежат Талейрану, который в юности знал Шуазеля, а в старости посвятил ему мемуарный очерк; см.: Mémoires du prince de Talleyrand. P., 1892. T. 5. P. 586–591).

323 П.-М. Демаре, начальник тайной полиции, в описываемый период подчинявшийся непосредственно министру юстиции Ренье, пытался использовать на этот предмет давнего друга г-жи де Сталь, Матье де Монморанси (см. о нем примеч. 472), однако тот от поручения отказался. Другом, сообщившим г-же де Сталь дурную весть, был, скорее всего, Бенжамен Констан, который, как писала Сталь отцу 7 октября 1803 г., побывал у Фуше, и тот, описав ему положение г-жи де Сталь, за которой вот-вот должны приехать четыре жандарма, имеющие приказ выпроводить ее из Франции, спросил: «А вы? Вы не получали приказа? — Нет, — отвечал Бенжамен, — с какой стати? — С какой стати? Что за вопрос; кто же теперь в этой стране задает такие вопросы? Впрочем, насчет вас я ничего не слышал. Я говорил г-же де Сталь, что, останься я министром, она могла бы ничего не бояться, но теперь, после моей отставки, заступаться за нее некому» *(CG.* T. 5. Pt. 1. P. 48).

324 Как сообщает в примечании к первому изданию Огюст де Сталь, эти двое — г-жа де Ла Тур (жена Жан-Батиста де Ла Тура, до Революции главноуправляющего финансами Орлеанского финансового округа) и Реньо де Сен-Жан д'Анжели (см. примеч. 133), в описываемую эпоху член Государственного совета. Реньо

верно служил Бонапарту, но «дорожил дружескими связями с людьми известными и достойными, сумевшими сохранить свои либеральные убеждения» *(Barante*. T. 1. P. 256), в частности, с г-жой де Сталь.

325 Анна-Олива Южине (урожд. Компленвиль; 1772-?), жена Жозефа Южине (см. о нем примеч. 535).

326 Ср. признание в письме к отцу от 7 октября 1803 г.: «Жизнь моя невыносима: стоит кому-нибудь открыть дверь, как я бледнею, стоит всаднику проскакать по улице, как я принимаю его за жандарма» (*CG*. T. 5. Pt. 1. P. 50).

327 В этом письме, датируемом 4 или 5 октября 1803 г., Сталь писала: «Мне нужно знать, где я проведу зиму. Если я не смогу остаться в Париже, мне придется попросить паспорт для отъезда в Германию; там сын мой сможет посещать лекции в каком-нибудь премудром немецком университете; решение я должна принять прежде, чем дороги сделаются непроездными». Далее Сталь заверяла брата первого консула в своей лояльности: «Разве можете Вы сомневаться в моем искреннейшем желании возвратить себе доброе отношение правительства, которое одно только и способно даровать мне покой и право жить во Франции?» — и одновременно угрожала тем, что ум ее, «покорный властям во Франции, будет пользоваться куда большей свободой за ее пределами», иначе говоря, что в странах, не зависимых от Бонапартовой Франции, она сможет публиковать сочинения, враждебные режиму Бонапарта (*CG*. T. 5. Pt. 1. P. 39–41). В ночь с 7 на 8 октября Сталь написала также письмо первому консулу, в котором просила позволить ей жить в Сент-Уане (имении ее отца) или, если это невозможно, выдать паспорт для поездки в Германию. Просительный тон сочетался в этом письме с интонациями едва ли не грозными: «Я мирно жила в Мафлье, полагаясь на разрешение остаться там, которое Вы благоволили мне дать; вдруг мне объявляют, что меня с детьми вот-вот выдворят из дома жандармы. Гражданин консул, я не могу в это поверить; неужели Вы избрали столь жестокий способ даровать мне славу и вписать мое имя в Вашу историю. […] Прошу Вас, гражданин консул, подумайте хорошенько, прежде чем причинить большое горе существу беззащитному; выказав простую справедливость, Вы сумеете поселить в моем сердце признательность искреннюю и долговечную, какой, пожалуй, не заслужить самыми великими милостями» (цит. по: *Lenormant.* P. 30). Жозеф Бонапарт пытался заступиться за Сталь перед первым консулом, но успеха не имел; о своих тщетных попытках он информировал Сталь в письмах от 16 и 23 октября 1803 г.; об оказанном им г-же де Сталь гостеприимстве см. ниже в тексте и

примеч. 338.

[328] В имении Рекамье Сталь провела шесть дней — с 9 по 15 октября. Знакомство Сталь с Жюльеттой Рекамье состоялось, по-видимому, в 1799 г.; начало их дружбы исследователи датируют 1800–1801 гг. (см.: *Balayé.* P. 78).

[329] См. примеч. 303.

[330] В действительности жандармский лейтенант Антуан Годрио, привезший г-же де Сталь приказ об изгнании, прибыл в Мафлье, куда Сталь вернулась из поместья г-жи Рекамье, 15 октября, в самый день ее возвращения.

[331] Для Сталь вопрос о ее подданстве был очень болезненным. До Революции она имела статус сначала дочери французского высокопоставленного чиновника, а затем жены шведского дипломата, и этого было достаточно для спокойной жизни в Париже. Однако Революция все изменила. Покинувший Францию Неккер, числясь французом, попадал в разряд эмигрантов, а значит, на его имущество власти имели право наложить секвестр; с другой стороны, дочь его, числясь иностранкой, рисковала в любой момент быть выдворенной из Франции по простому повелению полиции, а затем быть объявленной эмигранткой. Революционные публицисты охотно предъявляли г-же де Сталь обвинения в том, что она иностранка, не имеющая права вмешиваться в дела Франции (см.: *CS.* № 53. P. 35, 47). Барон де Сталь в 1796 г. перестал быть послом Швеции во Франции, а следовательно, жена его утратила дипломатическую неприкосновенность и, для того чтобы спокойно жить в Париже, нуждалась в удостоверении своего французского гражданства. В 1796–1797 гг. барон де Сталь, Бенжамен Констан и сама г-жа де Сталь подавали Директории прошения о признании ее француженкой, в чем правительство Франции ей отказывало на том основании, что отец ее — гражданин Женевы, а сама она несовершеннолетней вышла замуж за шведского подданного; правда, аннексия Женевы Францией превращала г-жу де Сталь во француженку по отцу, однако по Конституции 1795 г. всякая француженка, вышедшая за иностранца, автоматически теряла французское гражданство, но получала его обратно, овдовев. Таким образом, с 9 мая 1802 г. (день смерти барона де Сталя) его вдова могла считаться французской подданной, тем не менее осенью 1803 г. ее выслали из Франции как иностранку; 26 октября 1803 г., направляясь в Германию и остановившись в городе Мец (см. ниже примеч. 349), она подала мэру декларацию о зачислении ее во французское подданство и до 1808 г. путешествовала по Европе с французским паспортом; преследованиям со стороны императора она также подвергалась

как французская подданная. Лишь в июне 1815 г., в изменившейся ситуации, Сталь сочла необходимым объявить себя швейцарской подданной — на том основании, что в Швейцарии находятся принадлежащие ей земли (см.: *Balayé S.* La Nationalité de Madame de Staël // Humanisme actif: Mélanges offerts à Julien Cain. P., 1968. P. 73–85). Ср. любопытный пассаж из воспоминаний французского дипломата Алексиса-Франсуа Арто де Монтора (1772–1849), который был французским поверенным в делах в Риме в 1805 г., в то самое время, когда там находилась г-жа де Сталь. Однажды писательница спросила у него: «Чьей подданной считаете меня вы, дипломаты? К какой нации вы меня причисляете?» Арто задумался, а потом ответил: «Сударыня, согласно законам государственного права, мы считаем вас подданной короля Швеции; для нас вы больше не швейцарка; не знаю я за вами и таких уз, какие позволили бы считать вас француженкой. Впрочем, вы, если угодно, нечто большее; вы госпожа де Сталь, вы один из столпов словесности, и вас почитают едва ли не во всех странах мира: вот почему все здешние посланники спешат исполнить ваши приказания» (*Carnets*. P. 469).

[332] Генерал Андош Жюно, с 1808 г. герцог д'Абрантес (1771–1813), был соратником Бонапарта начиная с Итальянской и Египетской кампаний. Из того факта, что о Жюно в тексте Сталь говорится как о живом, можно сделать вывод, что эта часть «Десяти лет» написана до 29 июля 1813 г., когда он в припадке безумия покончил с собой.

[333] Этот особняк на Лилльской улице Сталь наняла 15 апреля 1802 г.

[334] В сказке Шарля Перро (впервые опубликована в сборнике «Истории, или Сказки былых времен», 1697) жена Синей Бороды просит сестру подняться на башню и посмотреть, не едут ли братья, от которых она ждет спасения, и до тех пор, пока братья не появляются, спрашивает вновь и вновь: «Анна, сестрица Анна, не видать ли кого вдали?»

[335] В письме к г-же Рекамье в 1811 г. Сталь употребила еще более выразительный образ: «Изгнание — та же могила, разве что с почтовым сообщением» *(Lenormant*. P. 208).

[336] Английский политический деятель и историк Генри Сент-Джон, лорд Болингброк (1678–1751), член партии тори, при королеве Анне был военным министром, а затем государственным секретарем, однако после смерти королевы (1714) большинство в палате общин перешло к вигам, и глава нового правительства Роберт Уолпол вознамерился предать членов последнего кабинета тори суду; Болингброк бежал из

Англии, после чего его обвинили в государственной измене и под страхом смерти запретили ему въезд в Англию. До 1725 г. он жил в поместье Ласурс близ Орлеана; именно там были написаны его «Размышления об изгнании» (1716).

[337] Спасаясь от преследований за участие в раскрытии и подавлении заговора Катилины, Цицерон добровольно покинул Рим в 58 г. до н. э., после чего был издан указ о его изгнании. Ср. описание его жизни в Греции (где он провел около полутора лет) у Плутарха: «Хотя множество посетителей навещало Цицерона, чтобы засвидетельствовать свою дружбу и расположение, хотя греческие города наперебой посылали к нему почетные посольства, он оставался безутешен, не отрывал, словно отвергнутый любовник, жадных взоров от Италии и проявил пред лицом несчастия такую подавленность, такое бессилие и малодушие, каких никто не ждал от человека, всю свою жизнь столь близкого к подлинной мудрости и учености» (Цицерон, 32 // *Плутарх*. Сравнительные жизнеописания. М., 1964. Т. 3. С. 178–179). Подвергнут проскрипции (объявлен вне закона) Цицерон был в 43 г. до н. э. триумвиратом Октавиана, Марка Лепида и Антония (этот последний мстил Цицерону за направленные против него гневные «Филиппики»); на сей раз Цицерон не успел своевременно уехать в Грецию и пал от руки убийц, подосланных Антонием; по описанию того же Плутарха, при этом Цицерон также не проявил никакого особого мужества («бежал от смерти и прятался от убийц, которые пришли за ним немногим раньше срока, назначенного природой»), так что противопоставление в тексте Сталь объясняется скорее всего соображениями риторическими. Сталь впервые сослалась на Болингброка и Цицерона как авторов, объявлявших изгнание «мучительнейшим из несчастий», в письме к Наполеону, написанном осенью 1810 г., еще до запрещения *ОГ* (цит. по: *Chateaubriand*. Т. 2. P. 1900; это письмо было впервые опубликовано в «Замогильных записках»).

[338] О Морфонтене см. примеч. 186. В этом поместье Жозефа Бонапарта, которое отделяли от Мафлье всего двадцать километров, Сталь провела три дня, с 19 по 21 октября. Жюли Бонапарт (урожд. Клари; 1771–1845), жена Жозефа Бонапарта с 1794 г., не любила торжественных придворных церемоний и старалась проводить как можно больше времени вдали от столицы. Ср. ее характеристику в «Воспоминаниях» герцогини д’Абрантес: «Отвергая всякий блеск, она, напротив, предпочитала выставлять напоказ свою скромность. Она сторонилась блеска и роскоши и в делах, и в нарядах. Одетая всегда очень просто, она носила лишь те драгоценности, которых непременно требовало ее

положение в обществе» (цит. по: *Fierro.* P. 1076). Став испанской королевой (см. примеч. 340), жена Жозефа Бонапарта не утратила дружеского расположения к опальной писательнице; см. ее записку к г-же де Сталь от 31 августа 1809 г., подписанную «Жюли», в кн.: *Barante-Lettres.* P. 79.

339 Огюсту де Сталю было тринадцать лет (см. примеч. 44); Альбер и Альбертина на эти дни были отданы в пансион (см. донесение полицейского осведомителя от 16 октября 1803 г. в: *CS.* № 44. P. 71). Перед отъездом в Германию Сталь отослала Альбера к Неккеру в Швейцарию, а Огюста и Альбертину взяла с собой (см.: *DAE-1996.* P. 342).

[340] Наполеон сделал своего старшего брата сначала (31 марта 1806 г.) неаполитанским, а затем (7 июня 1808 г.) испанским королем; честолюбие было не настолько чуждо Жозефу, как это изображает г-жа де Сталь, однако он в самом деле тяготился ролями, которые навязывал ему брат-император: в 1805 г. отказался от титула итальянского короля, а заняв испанский престол, отдавал себе отчет в том, что «долгое время будет для подданных источником страха и предметом ненависти» (цит. по.: *Dictionnaire.* P. 975).

[341] Реминисценция из басни Жана де Лафонтена «Два голубя» (Басни, 9, 2); тот же образ с прямой отсылкой к Лафонтену встречается и в начале второй части «Десяти лет» (см. наст, изд., с. 100).

[342] Сталь не поехала в Швейцарию, так как ей недоставало там элемента, для нее жизненно важного, — беседы разом и светской, и интеллектуальной (см. примеч. 283). Тайный агент Людовика XVIII не без язвительности описывал эту ситуацию: узнав об угрозе быть высланной из Франции с жандармами, г-жа де Сталь пишет Бонапарту «весьма трогательное письмо», где среди прочего напоминает, что «ее почтенный отец не замедлит осведомиться у первого консула, за какое преступление дочь его подвергается столь суровому наказанию»; однако, убедившись, что отъезд неизбежен, она едет в Германию, а не в Швейцарию, ибо, «судя по всему, не слишком стремится повидать своего почтенного отца» (*Remacle.* P. 431; 26 октября 1803 г.).

[343] В первой редакции выбор монархической Германии мотивирован еще более определенно: «…первый консул множество раз повторял на разные лады, что изгоняет меня из Франции за мои чересчур резко выраженные республиканские убеждения, поэтому мне захотелось показать ему, насколько справедливее оценят мой образ мыслей настоящие короли» (*DAE-1996*. P. 341).

[344] Постоялый двор, где Сталь провела ночь с 22 на 23 октября 1803 г. и откуда 23 октября направилась в Германию, располагался в местечке Бонди (к северу от Парижа).

[345] См. примеч. 240.

[346] Констан не хотел следовать за г-жой де Сталь «в странствиях по Германии и Италии» и разделять с нею «кочевую жизнь в разных странах Европы», однако сочувствие к ее горестному положению и ее упреки в том, что он «предает узы дружбы» (*Констан*. С. 119), взяли в его душе верх над желанием порвать их связь. Сталь прекрасно понимала величину принесенной Констаном жертвы; 26 октября 1803 г. она писала отцу из Меца: «Бенжамен оказал мне в нынешних моих

обстоятельствах услугу неоценимую» (цит. по: *Carnets*. P. 23).

[347] Ощущения человека, выброшенного из привычной колеи, выразительно переданы в начале немецкого «Путевого дневника» г-жи де Сталь: «Вступая на чужую землю, испытываешь чувство одиночества и ужаса, о котором заранее невозможно составить ни малейшего представления. За время долгой жизни на одном месте, в кругу родных, мы обрастаем своего рода клиентами, благодаря которым, если вдуматься, все делается нам доступным; стоит войти в лавку, как купцы несут нам все, что имеют; стоит карете сломаться посреди улицы, как мимо проходит кто-то нам знакомый и преисполненный сочувствия по той простой причине, что ему известно наше имя; за какое бы дело мы ни взялись, на помощь непременно приходит либо старый друг наших родителей, испытывающий к нам чувства, подобные отцовским, либо молодой человек, который приходится нам ровесником и помнит, как нежно любил нас в том возрасте, когда все ощущения еще живы и сладостны. Однако пересеките пределы отечества, и единственным средством прослыть не вовсе чужаком сделается ваша известность; отныне всё будет зиждиться исключительно на вашем имени; сочувствие к вам обретет характер сугубо умозрительный, и до тех пор, пока первый луч приязни не напомнит вам о родном очаге, вы не будете возбуждать в людях ничего, кроме любопытства» (*Carnets*. P. 31). Впрочем, имя Сталь было известно в Германии благодаря ее сочинениям; это стало одной из причин, по которой она направилась именно в эту страну, и надежды ее оправдались. 31 января 1804 г. она писала из Веймара своей кузине, г-же Неккер де Соссюр: «В Германии у меня появилась привычка — быть может, дурная, но вполне естественная — признаваться в своих странностях. […] В таланте есть нечто, вносящее беспорядок в обыденную жизнь. […] Швейцария походит на пасеку, где каждый живет в улье, в точности похожем на улей соседа. Здесь, в Германии, больше оригинальности, и в этом отношении Германия нравится мне куда больше. Нравится она мне и тем, что немцы в тысячу раз лучше понимают, чего я стою» (цит. по: *DAE-1904*. P. 391). Однако любовью к Германии Сталь прониклась далеко не сразу; первые ее впечатления были весьма мрачные; 22 ноября 1803 г. она писала отцу из Франкфурта: «Более чем когда-либо я убеждена, что могу жить только в Париже; Германию я ненавижу; в Англию путь мне заказан, истинную же цену Франции узнаешь, только пускаясь в путешествие. В этом городе люди совершенно равнодушны к новостям; только самые страшные известия способны прорвать тройную стену, выстроенную из привычек, еды и курения трубки» (CG. T. 5. Pt. 1. P. 119).

[348] В Шалоне 25 октября они отпраздновали день рождения Констана и выпили шампанского по этому поводу (см.: *DAE-1996*. P. 342).

[349] С 26 октября по 8 ноября 1803 г.

[350] Шарль де Виллер (1765–1815), француз, в 1792 г. эмигрировавший в Германию и там посвятивший себя изучению немецкой литературы и философии, в конце 1790-х гг. опубликовал в гамбургском журнале «Северный зритель» (Spectateur du Nord) ряд статей о современной немецкой литературе, а в 1801 г. выпустил в Меце книгу «Философия Канта, или Основные принципы трансцендентальной философии». Сталь хорошо знала работы Виллера, с 1802 г. состояла с ним в переписке и прислушивалась к его суждениям.

[351] Сталь приехала во Франкфурт 13 ноября, а 19 ноября Альбертина заболела скарлатиной. Во Франкфурте Сталь пробыла до 3 декабря. Путешествие по Германии подробно описано в «Путевом дневнике», опубликованном в: *Carnets.* P. 28–91; многие из изложенных там впечатлений затем вошли в книгу *ОГ,* поэтому в «Десяти годах» Сталь рассказывает о своем пребывании в Германии крайне лаконично, включая в текст лишь общий очерк маршрута и факты собственной биографии; впечатления «культурологического» свойства она в основном опускает.

[352] Сталь объяснялась с доктором Самуилом Томасом Зёммерингом (1755–1830) по-английски. Ни ей, ни ему их общение большого удовольствия не доставило (см.: *CG.* T. 5. Pt. 1. P. 116–117, 125).

[353] 14 декабря 1803 г.

[354] Сталь начала учить немецкий в феврале 1800 г.; уроки ей давал находившийся в это время в Париже Вильгельм фон Гумбольдт; в декабре того же года он оценивал ее знание немецкого как «изрядное» (см.: *Balayé.* P. 100).

[355] В *ОГ* в главе «Веймар» (ч. 1, гл. 15) Сталь писала: «Из всех немецких княжеств ни одно не доказывает так ясно, как Веймарское, преимущества маленькой страны, управляемой государем великого ума, которого подданные любят, не переставая ему повиноваться. […] Герцогиня Луиза Саксен-Веймарская — истинный образец женщины, которой самой природой назначено царить со славой: не выказывая излишних притязаний, но и не проявляя чрезмерной слабости, она внушает в равной мере и доверие, и уважение; душа ее проникнута героизмом рыцарских времен, который, однако, нимало не отнимает у нее кротости, свойственной ее полу. […] Веймар называли немецкими Афинами; в самом деле, то было единственное место, где любовь к изящным искусствам

сделалась, можно сказать, национальной и связала различные сословия братскими узами. Либеральный двор постоянно искал общества литераторов, а литература много выигрывала от влияния хорошего вкуса, господствовавшего при этом дворе» (*DA*. T. 1. P. 123, 125). Карл-Август, великий герцог Саксен-Веймарский (1757–1828), пригласивший к своему двору перечисленных г-жою де Сталь писателей, был знаком с Неккерами с 1775 г., когда посещал их парижский салон. С его женой Луизой, великой герцогиней Саксен-Веймарской (урожденной Гессен-Дармштадтской; 1757–1830), г-жа де Сталь после пребывания в Веймаре много лет состояла в переписке (см.: *Lenormant.* Passim). В *ОГ* каждому из перечисленных немецких писателей посвящена отдельная глава (ч. 2, гл. 4, 7, 8), причем Сталь дает характеристику не только творчеству Виланда, Гёте и Шиллера, но и личным качествам этих писателей, которым сочинения их, как отмечено в главе «Веймар», в точности соответствуют (рус. пер. И. И. Пущина под названием «Гёте, Виланд и Шиллер, изображенные госпожою Сталь» см.: Вестник Европы. 1814. Ч. 77. № 18. С. 120–127; № 19. С. 181–190; другой перевод: Сын Отечества. 1820. Ч. 63. № 31. С. 219–224). О Виланде Сталь пишет: «Разговор Виланда имеет большую прелесть потому именно, что природные склонности этого сочинителя противоречат его философии. Расхождение это может повредить ему как писателю, но беседам с ним прибавляет остроты: он оживлен, исполнен энтузиазма и, подобно всем гениям, молод даже в старости; а между тем желает быть скептиком. […] Немецкий поэт и французский философ вместе живут в его душе, ссорясь друг с другом…» (*DA*. T. 1. P. 174). С Гёте Сталь состояла в переписке с 1795 г., когда он перевел на немецкий ее «Опыт о вымысле», однако впервые увиделись они лишь в декабре 1803 г. в Веймаре. В *ОГ* Сталь описывает Гёте как человека, который, «возносясь мыслью до созданий самых величественных, никогда не отрывается от земли»; его красноречие «напитано мыслями, его шутки исполнены разом и изящества, и философичности». В первое мгновение, пишет Сталь, «удивляешься, замечая в создателе „Вертера“ некую холодность и принужденность, но стоит завоевать доверие Гёте, и полет фантазии изгонит из вашего сердца всякое смущение; ум его всеобъемлющ; его беспристрастие не равно безразличию; оно — не что иное, как двойное бытие, двойная сила, двойной свет, освещающий любую вещь разом с двух сторон» (*DA*. T. 1. P. 189–191). Наконец, Шиллер в изображении Сталь — «человек редкостного гения и совершенного чистосердечия […] В Германии серьезность и искренность распространены повсеместно, но Шиллер

превосходит всех добродетелями и талантами. Совесть — его муза. […] Дурные чувства никогда не имели над ним власти. Он жил, говорил, действовал так, как если бы злые люди не существовали на свете. […] Первый раз я увидела Шиллера в салоне герцога и герцогини Веймарских, в присутствии общества столь же просвещенного, сколь и высокорожденного: он прекрасно читал по-французски, но никогда не говорил на этом языке. Я принялась с жаром отстаивать преимущества нашей драматической системы перед другими. Он принял вызов и, не смущаясь ни своим неумением говорить по- французски легко и быстро, ни мнением окружающих, противным его собственному, заговорил, повинуясь внутреннему своему убеждению. Поначалу в споре с ним я прибегнула к французскому оружию — живости и шутке, однако очень скоро за неловкими речами Шиллера обнаружилось столько идей, а простодушие, заставившее человека гениального вступить в борьбу, имея в запасе больше мыслей, нежели слов, так поразило меня, […] что я тотчас прониклась к нему дружеским расположением, смешанным с восторгом» (*DA*. T. 1. P. 193–195).

[356] Из Веймара в Берлин Сталь ехала через Саксонию; здесь ее поразил чиновник на дрезденской заставе, который сказал ей, что «уже несколько лет он мечтал лишь об одном — увидеть г-жу де Сталь и что теперь, когда эта мечта исполнилась, он может умереть счастливым» *(Lettres à Récamier*. P. 129; письмо к г-же Рекамье от 13 июня 1804 г.). К этому эпизоду отсылает краткая помета в записной книжке: «Не забыть чиновника с дрезденской заставы» (*DAE-1996*. P 423). В Берлин Сталь прибыла 8 марта 1804 г., уже без Констана, с которым простилась в Лейпциге 6 марта (Констан направился в Швейцарию).

[357] Ср. в первой редакции: «Я выехала в Берлин 1 марта 1804 года и по прибытии туда была в качестве шведской подданной представлена ко двору в день рождения прекрасной королевы прусской. Когда она вошла в залу, где собрались пять сотен дворян, оркестр заиграл праздничную музыку; в самом деле, можно ли вообразить что-нибудь более праздничное, чем явление этой царственной особы, обязанной беспредельным очарованием величию своего сана и любви подданных; она приблизилась ко мне и с неподражаемым изяществом произнесла: „Сударыня, я уже давно восхищаюсь вами и мечтала увидеть вас здесь“. Ее доброта привела меня в смущение; со времен Французской революции я успела забыть, что сильные мира сего могут желать понравиться людям более скромного звания, а мое положение было таково, что доброжелательные речи трогали мою душу особенно сильно» (*DAE-1996*. P. 345). Ср. в письме к Жозефу

Бонапарту от 17 апреля 1804 г.: «В присутствии пяти сотен гостей королева сказала мне: *надеюсь, вы почитаете меня наделенной достаточно хорошим вкусом для того, чтобы быть польщенной вашим приездом в Берлин, ведь я уже давно восхищаюсь вами*» (*CG*. T. 5. Pt. 1. P. 328). Прусская королева Луиза (1776–1810; урожденная герцогиня Мекленбург-Стрелицкая), с 1793 г. жена Фридриха-Вильгельма III (1770–1840), прусского короля с 1797 г., была убежденной сторонницей войны против Франции, а после поражения Пруссии в кампании 1806 г. отправилась на переговоры в Тильзит, чтобы просить Наполеона смягчить требования, предъявляемые к ее стране, но натолкнулась на отказ. Безвременная смерть королевы довершила ее превращение в символ прусского патриотизма; именно так относилась к ней Сталь, писавшая после ее смерти, что королева была «хранительницей всего просвещенного и справедливого, что еще оставалось в Пруссии» (письмо от 12 декабря 1810 г. к Каролине фон Берг, цит. по: *DAE-1996.* P. 160). Ср. замечание г-жи Неккер де Соссюр: «Несчастная королева Пруссии, невинная жертва человека, который, царствуя над целым миром, находил удовольствие в оскорблении женщины прекрасной и страждущей, — королева Пруссии говорила, что вынуждена была прерывать чтение „Коринны“, ибо сердце ее разрывалось — не столько от боли, сколько от безнадежности, напоминавшей ей ее собственную участь» (ОС. Т. 1. P. CXXXII).

[358] Эти размышления о пределах монархической власти предвосхищают известную в передаче г-жи де Сталь реплику российского императора о себе как о счастливой случайности (см. примеч. 771).

[359] Имеется в виду патриотическое движение за освобождение от французских завоевателей, достигшее своего апогея в 1813 г.; см. примеч. 832.

[360] Понятию соревнования, или рвения (émulation), как движущей силы общественного развития посвящена отдельная глава в *ОЛ (*ч. 2, гл. 3), в которой г-жа де Сталь задается целью выяснить, «отчего при монархии покровительство унижало великодушных людей, ревнующих к совершенствованию разума», и по какой причине республика «может вдохновить их на небывалые свершения»: «Все люди с деспотическим характером, каковы бы ни были их убеждения, ненавидят людей мыслящих, и если власть имущие опираются на слепых фанатиков, самую большую опасность для них представляет человек, сохранивший способность свободного суждения. Тираны хорошо уживаются лишь с людьми ограниченного ума, которые смиряются или восстают только по команде повелителя». Такими тиранами

могут быть и монархические, и революционные правители; напротив, республиканское правительство охотно прибегает к талантам людей просвещенных, а потому оно «более, чем любое другое, заинтересовано в том, чтобы возбуждать рвение сочинителей; ведь чем больше трудов оно вдохновит, тем в большем останется выигрыше. Немногие добиваются успеха, но все мечтают о нем, и, если известность обретает лишь тот, кто преуспел, пользу подчас приносит и тот, кто пробует свои силы в безвестности» (О *литературе.* С. 285–286, 293).

[361] Кадм (греч. миф.) — сын финикийского царя Агенора, посланный отцом на поиски своей сестры Европы, похищенной Зевсом; в том месте, где ему было указано оракулом основать город, Кадм убил дракона и засеял поле его зубами, из которых выросли вооруженные люди, вступившие в борьбу друг с другом; пятеро оставшихся в живых стали родоначальниками знатнейших фиванских родов. Убитый Кадмом дракон был сыном Ареса (бога нечестной войны); зубами того же дракона царь Колхиды Ээт велел Ясону (предводителю аргонавтов, отправившихся на борту корабля «Арго» за золотым руном) засеять поле, вспаханное на медноногих огнедышащих быках Ареса; из зубов стали вырастать могучие воины, однако колдовское зелье, переданное Ясону влюбленной в него дочерью Ээта волшебницей Медеей, сделало его на один день неуязвимым; воины начали сражаться друг с другом, а Ясон их перебил.

[362] Имеются в виду поражения прусской армии в кампании 1806 г., самым крупным из которых было проигранное сражение при Иене и Ауэрштедте 14 октября 1806 г.

[363] В ОГ Берлину посвящена отдельная глава (ч. 1, гл. 17), где Сталь, признавая красоту Берлина, ставит ему в упрек отсутствие памятников старины: «…на нашей старой земле всякой вещи необходимо прошлое. Берлин, как бы он ни был красив, не производит должного впечатления, потому что он — город совсем новый; в его облике не заметны ни отпечатки истории страны, ни следы характера ее обитателей […] Красивейшие дворцы Берлина выстроены из кирпича; тесаный камень здесь можно увидеть разве что в триумфальных арках. Столица Пруссии подобна самой Пруссии; возраст зданий и установлений здесь равняется возрасту человеческой жизни, и не более того, ибо созданы они исключительно руками человека» *(DA.* T. 1. P. 133). То же самое впечатление произвел на Сталь Петербург (см. наст, изд., с. 150), однако русской столице писательница это не ставит в вину — очевидно, по причине экзотичности увиденного, которая служила заменой древности. Другой упрек, предъявляемый Сталь Берлину и вообще Германии, особенно четко сформулирован в ее письме к

г-же Неккер де Соссюр от 1 апреля 1804 г.: «Два общества, ученое и придворное, существуют совершенно раздельно одно от другого, вследствие чего ученые не умеют беседовать, а светские люди не умеют мыслить» (цит. по: DAE-*1904*. P. 395).

364 В *ОГ* в главе «Об иностранцах, желающих подражать французскому уму» (ч. 1, гл. 9) Сталь не могла позволить себе выразиться столь определенно (так как в пору написания этой книги вся Германия в той или иной степени зависела от французского императора), однако желание немцев во что бы то ни стало подражать французскому салонному остроумию оценивается здесь весьма критически: «Истинная сила страны заключается в ее природном характере; подражание иностранцам, в чем бы оно ни выражалось, выдает недостаток патриотизма […] За неимением иных товаров мы сбываем иностранцам груз мадригалов, каламбуров и водевилей, однако сами французы ценят в иностранных литературах лишь местные красоты. В подражании нет природы, нет жизни» *(DA*. T. 1. P. 97).

365 Сталь имеет в виду «французскую партию» в прусском обществе, члены которой, видя во Французской революции триумф идей Просвещения, желали такого же обновления, тех же реформ и для Пруссии; самые ярые сторонники сближения Пруссии с Францией, такие как публицист Пауль Фердинанд Фридрих Бухгольц (1767–1843), прославлявший в лице Наполеона «героя нашего времени», или К.-Д. Фосс, автор не менее восторженной по отношению к заглавному герою поэмы «Век Наполеона» (1811), не отказались от своих идей и после разгрома прусской армии при Иене; более сложную позицию занял в это время философ Фихте, который не скрывал своих «якобинских» симпатий и высоко оценивал реформы, осуществленные во Франции Бонапартом, считая их необходимыми и для его родины, но в то же время не мог не видеть в Наполеоне после Иены завоевателя и угнетателя прусской нации (эти идеи выразились в его «Речах к немецкой нации», произнесенных в 1807–1808 гг. в Берлине).

366 Принц Людвиг-Фердинанд Прусский (1772–1806), племянник Фридриха II, приходившийся, следовательно, дядей своему ровеснику, прусскому королю Фридриху-Вильгельму III, погиб 10 октября 1806 г. в сражении при Заальфельде от руки вахмистра 10-го гусарского полка Генде. Французский гусар безуспешно предлагал принцу сдаться, но, получив в ответ удар саблей, ответил другим ударом, который оказался смертельным (см.: *DAE-1904*. P. 111–112). В финале главы «Берлин» книги *ОГ* (ч. 1, гл. 17) Сталь посвятила Людвигу- Фердинанду восторженные строки: «Прусский национальный характер более

благороден и пылок, чем можно предположить, исходя из последних событий, *и пламенный героизм несчастного принца Людвига не может не бросить отблеска славы и на его товарищей по оружию»* (*DA*. T. 1. P. 135–136; курсивом выделены строки, вычеркнутые наполеоновской цензурой). Впрочем, в текстах, не предназначенных для печати, Сталь оценивала принца Людвига с гораздо большим скептицизмом: г-же Неккер де Соссюр она пишет не без иронии, что «пленительный принц Людвиг», «немецкий Ловлас», после обеда изъясняется бессвязно, так что общаться с ним следует по утрам (*Lenormant*. P. 396), а отцу объясняет попросту, что принц каждый вечер напивается допьяна (*Carnets*. P. 445).

[367] Эта характеристика развернута и уточнена в «Путевом дневнике»: «Принц Людвиг был человек, проникнутый любовью к славе; порывы души толкали его то к юношеским излишествам, то к дерзким подвигам. Он во всем составлял противоположность тому человеку, что повелевал Францией, ибо характер у него был во многих отношениях французский. Наполеон же оказывал на французскую нацию тем большее влияние, что не имел с нею никакого сходства. Принц Людвиг блистал всем — лицом, манерами, разговором, однако достоинства его были так же беспорядочны, как и его недостатки; более всего занимало его стремление к славе. Первое, что я от него услышала, была жалоба на Бонапарта, который нравственно уничтожает всех своих противников, разрушая их репутации; он постоянно возвращался к этой мысли, ибо ему была потребна великая известность» (*Carnets*. P. 444–445).

[368] Ахеец Синон уговорил троянцев ввести в город дар Афине — деревянного коня, в чреве которого скрылись ахейские воины. Что же касается Жана-Клода-Ипполита Меэ де Ла Туша (1760–1826), то его биография была куда более запутанной, а роль в истории — более темной. Агент тайной полиции при Старом порядке и во время Революции, он в 1792 г. принимал активное участие в сентябрьской резне, жертвой которой оказались сотни узников и узниц парижских тюрем; это не помешало ему в 1794 г., уже после термидорианского переворота, выпустить резкий антиякобинский памфлет «Охвостье Робеспьера, или Опасности, какими чревата свобода печати». После 18 брюмера он стал выпускать «Газету свободных людей», которая вызвала ярость первого консула и послужила причиной высылки Меэ на один из островов близ побережья Франции в Бискайском заливе. Оттуда Меэ сумел бежать в Англию, где предложил свои услуги по организации заговора против Бонапарта как английскому кабинету, так и французским эмигрантам-роялистам, в частности

бывшему морскому министру 1791–1792 гг. графу Антуану-Франсуа де Мольвилю (1744–1818), которого соблазнил планом совместного заговора якобинцев и роялистов против общего врага. После разрыва Амьенского мирного договора, в сентябре 1803 г., Меэ был послан в Мюнхен, где вошел в сношения с англичанином Френсисом Дрейком, который с июля 1802 г. был полномочным посланником Великобритании в Мюнхене и при этом руководил разветвленной шпионской сетью; Дрейка французский авантюрист пленил рассказами о готовящемся мятеже республиканцев против первого консула. Одновременно Меэ информировал о всех своих действиях французскую сторону. Наконец, весной 1804 г., уже после казни герцога Энгиенского, Меэ выпустил брошюру под названием «Союз французских якобинцев с английскими министрами», которую Талейран, покровительствовавший ее изданию, использовал для доказательства участия Англии в заговоре против Бонапарта и покушении на его жизнь (см.: *Welschinger*. P. 377–381; о Меэ как двойном агенте см. также: *Сб. РИО*. Т. 77. С. 509). Обвиняя Бонапарта в том, что именно он был первопричиной заговора, Сталь несколько сгущает краски; более взвешенную оценку ситуации см. у Баранта: «Не следует думать, что полиция собиралась руками агентов готовить покушения на первого консула, с тем чтобы в последнюю минуту их раскрыть […] Ни один полицейский не дерзнет ввязываться в игру столь глупую. Однако шпионы, отправленные в Англию, стремились выведать побольше секретов и сообщить больше занимательности своим рассказам, а посему, можно сказать, соревновались в полицейской подлости и низости и очень скоро сделались провокаторами и двойными агентами. Меэ и его собратья вели двойную игру ради двойного жалованья; возможна, впрочем, и другая причина: не зная, какая сторона возьмет верх, эти агенты служили обеим» (*Barante*. Т. 1. P. 107).

369 В отличие от Моро (о его позиции см. следующее примеч.), стоявшие во главе заговора шуанов Жорж Кадудаль (1771–1804), убежденный роялист, с 1793 г. сражавшийся против революционеров, и генерал Жан-Шарль Пишегрю (см. примеч. 64) в самом деле желали свергнуть Бонапарта и возвести на престол находившегося в эмиграции законного монарха из династии Бурбонов — Людовика XVIII. План их заключался в том, чтобы захватить первого консула, когда он будет ехать из Парижа в Мальмезон, отвезти его на нормандское побережье и выдать англичанам, которые отправят его на пустынный остров (по другой версии, первого консула собирались убить). Тем временем власть перейдет к временному правительству, во главе которого

встанут Моро и Пишегрю; они передадут престол графу д'Артуа, который с этой целью тайно приедет во Францию и примет корону для передачи своему старшему брату, законному королю Людовику XVIII. Граф д'Артуа во Францию не приехал, а Кадудаль с соратниками 19 августа 1803 г. высадились на французском берегу и начали подготовку к исполнению намеченного плана; Пишегрю также тайно прибыл во Францию из Англии, однако уже в январе — феврале 1804 г. по доносам почти все участники заговора были арестованы. Моро оказался в руках властей 15 февраля, Пишегрю — 26 февраля; дольше всех оставался на свободе Кадудаль, постоянно менявший тайные квартиры, однако 9 марта 1804 г арестовали и его. Следуя современной ей традиции, Сталь везде именует Кадудаля по имени — Жоржем.

370 Первая встреча Моро с Пишегрю и Кадудалем состоялась 28 января 1804 г.; Моро не разделял монархических устремлений заговорщиков и выступал за свержение Бонапарта при сохранении республики. Меж тем репутация оппозиционера сопровождала Моро вплоть до процесса над ним вне зависимости от его реальных действий, а популярность генерала заставляла Бонапарта особенно сильно бояться его союза с заговорщиками (см.: *Remacle.* P. 239, 249, 275–276).

371 Сталь, в соответствии со своими политическими симпатиями и общей политической ситуацией, идеализирует англичан, которые не только были заинтересованы в свержении Бонапарта, но и приняли в заговоре Кадудаля и Пишегрю весьма активное участие, снабдив заговорщиков крупной денежной суммой.

372 Причины нелюбви французов к Пишегрю более подробно объяснены в *РФР* (ч. 3, гл. 24): «Иные удивляются поведению солдат, относившихся без должного уважения к генералу, который так часто вел их к победе; однако он имел репутацию контрреволюционера, а при свободном правлении репутация эта оказывает на французов действие поистине чудотворное. Вдобавок генерал Пишегрю вовсе не умел возбуждать воображение: он был человек очень достойный, но не имевший своего лица ни в чертах, ни в речах; глядя на него, никто не вспоминал о его победах, поскольку ничто в его поведении не обличало в нем победителя. Многие утверждали, что в сражениях он руководствовался чужими советами; не знаю, правда ли это, но поверить этому было нетрудно: взгляд его глаз и манера говорить были настолько бесцветны, что его невозможно было вообразить во главе какого бы то ни было предприятия» (*CRF*. P. 332).

373 Помимо закрытия застав к этим чрезвычайным мерам относились обыски и аресты в частных домах, приостановка

действия суда присяжных (который Бонапарт вообще считал чересчур либеральным). Ср. рассказ Баранта о периоде поисков Кадудаля: в шесть утра полицейские проникли в дом, где он нанимал квартиру, и потребовали у него паспорт; Барант возразил, что он не путешествует и потому паспорта иметь не обязан, тем не менее полицейские увезли его и еще двух обитателей дома с собой и, заключив под стражу, продержали в тюрьме почти сутки — до тех пор, пока за него не поручился его министерский начальник (см.: *Barante.* Т. 1. P. 111–113; о паспортном режиме при Империи см. примеч. 450). Описание «чрезвычайных мер, принятых в Париже» («заставы запираются в десять часов вечера, и никто не может пройти через них, не исключая курьеров. Чтобы пойти за город прогуляться, нужно показывать свой паспорт. По улицам города всю ночь разъезжают многотысячные патрули»), см. также в донесении русского поверенного в делах П. Я. Убри от 24 февраля / 7 марта 1804 г. (*Сб. РИО.* Т. 77. С. 507).

374 Полиция схватила Жоржа Кадудаля в тот момент, когда он переезжал с одной тайной квартиры на другую, более надежную, в кабриолете, нанятом его соратником-шуаном Ле Риданом, на которого поэтому и пало подозрение в измене (см.: *Lenotre.* P. 200–201); однако ордена Почетного легиона удостоился не Ле Ридан, а переодетый полицейский Леблан (наст. фам. Блан-Монбрен), выдавший Пишегрю; вспоминая эти события на Святой Елене, Наполеон осудил поступок Леблана, назвав его «подлым предательством» (*Las Cases.* P. 279; 30 мая 1816 г.).

375 Этот и следующий абзацы процитированы Шатобрианом в «Замогильных записках» (кн. 16, гл. 9; см.: *Шатобриан.* С. 221); там же на с. 215–216 см. историю ареста герцога Энгиенского.

376 Дело происходило 23 марта 1804 г.; в первом варианте речь идет не о восьми утра, а о часе дня. О принце Людвиге-Фердинанде см. примеч. 366 и 367.

377 Сталь ошибается в дате; «Монитёр» с приговором герцогу Энгиенскому вышел не 16, а 22 марта (по революционному календарю — *25 вантоза)*. Предлогом для ареста герцога послужили сведения, полученные в ходе расследования заговора Пишегрю и Кадудаля; было известно, что заговорщики ждали приезда некоего принца (см. упоминание об этом в наст. изд., с. 82), однако все представители рода Бурбонов: граф д'Артуа и его младший сын герцог Беррийский, принц де Конде и герцог де Бурбон (дед и отец герцога Энгиенского) находились в это время в Англии, а Людовик XVIII и его старший сын герцог Ангулемский — в Варшаве; поблизости от французской границы — в Эттенгейме на территории маркграфства Баденского — с 1801 г.

жил в это время лишь один Бурбон — тридцатидвухлетний Луи-Антуан-Анри, герцог Энгиенский. Безграмотный и лживый донос сержанта Ламота, посланного в Эттенгейм для надзора за герцогом, навел Бонапарта на мысль, что заговорщики ожидали именно этого принца; другой доносчик, сообщник Жоржа Кадудаля Ле Ридан, показал на допросе, что Жоржа посещал на тайной квартире в Париже юноша аристократической наружности. Властям было угодно увидеть в этом посетителе герцога Энгиенского, тайно приехавшего в Париж (хотя на самом деле это был граф де Полиньяк; см.: *Welschinger*. P. 98–104). В результате в ночь с 14 на 15 марта французский вооруженный отряд вступил на территорию маркграфства Баденского, арестовал герцога Энгиенского и доставил его в Страсбургскую крепость. Оттуда он 17 марта был отправлен в Венсеннский замок, где немедленно предстал перед чрезвычайным военным трибуналом, который допросил его и, несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств его причастности к заговору, приговорил к расстрелу. Герцог был расстрелян в ночь с 20 на 21 марта.

[378] Дореволюционная карьера Пьера-Огюстена Юлена (1758–1841) включала следующие этапы: солдат Шампанского пехотного полка в 1771 г., швейцарский гвардеец в 1787 г., затем слуга маркиза де Конфлана, затем хозяин прачечной; приняв участие во взятии Бастилии, он вернулся к военной службе и к 1803 г. дослужился до бригадного генерала; в 1807 г. был произведен в дивизионные генералы и до 1812 г. занимал пост генерал-губернатора Парижа. О своем участии в суде над герцогом Энгиенским Юлен рассказал в изданной в 1823 г. брошюре «Объяснения для беспристрастных читателей» (см. о ней: *Chateaubriand*. P. 922–926); в брошюре Юлен кается в содеянном и перекладывает большую часть вины на Савари. Кроме Юлена, в чрезвычайный трибунал входили еще пять полковников и один жандармский капитан — Пьер д'Отанкур (1771–1832), тот самый «капитан-докладчик, или капитан-доносчик», о котором Сталь пишет чуть ниже; впоследствии он также сделал неплохую карьеру — дослужился до кавалерийского генерала, а во время Ста дней командовал жандармерией Императорской гвардии.

[379] При Лансе и Рокруа в 1648 и 1643 гг. французская армия под командованием предка герцога Энгиенского, Великого Конде (Людовика II де Бурбона, 4-го принца де Конде, 1621–1686), одержала победу над испанцами.

[380] О Савари см. примеч. 286. Именно он руководил допросом и расстрелом герцога Энгиенского; он же в мае 1808 г., после

отречения от престола испанского короля Карла IV, обманом захватил его сына и наследника Фердинанда VII (еще не признанного королем), равно как и его брата Дона Карлоса, и отправил их обоих в замок Талейрана Балансе, где членов испанского королевского семейства насильственно удерживали до марта 1814 г. Об убийстве Пишегрю см. ниже, примеч. 405. У Сталь были и собственные причины ненавидеть Савари, так как именно он, занимая в 1810 г. пост министра полиции, сыграл большую роль в уничтожении тиража *ОГ* и высылке самой Сталь из Франции (см. об этом во второй части с. 98–99).

381 Этим знакомым, возможно, был барон Проспер де Барант (1782–1866), сын префекта департамента Леман барона Клода-Иньяса де Баранта; Барант- младший познакомился с г-жой де Сталь в начале 1803 г. в Женеве; к 1805 г. знакомство переросло в страстную влюбленность, а к концу 1800-х гг. сменилось дружеским чувством, связывавшим Баранта и Сталь до последних дней жизни писательницы (см.: *Perchellet J.-P.* «Une griffe sur le cœur»; Prosper de Barante, Madame de Staël et Madame Récamier // *CS.* № 51. P. 125–148). В своих «Воспоминаниях» Барант пересказывает беседу с Савари о пленении испанского королевского семейства (см. предыдущее примеч.): «Прежде чем стать министром, генерал Савари обожал совершенно прямо и откровенно, с самолюбием сугубо полицейским, рассказывать о сложных поручениях, какие давал ему император. Похищение астурийского принца принадлежало к числу подвигов, которыми он гордился более всего. Он повествовал о нем со всеми подробностями, описывал лживые речи, лицемерные уверения, усилия, какие пришлось применить, чтобы убедить принца продолжать свой путь из Бургоса, где он не нашел императора, до Виттории, занятой французским гарнизоном […] упоминал о том, как он сам перепрягал лошадей, чтобы не мешкать на почтовых станциях, и торопил возниц, чтобы не потерять ни единой минуты…» (*Barante*. T. 1. P. 275–276).

382 На Святой Елене Наполеон вспоминал в разговоре с Лас Казом: «А ведь после, друг мой, я узнал, что этот несчастный [герцог Энгиенский] был расположен ко мне; меня уверяли, что он отзывался обо мне едва ли не с восхищением; вот какова распределительная справедливость на этом свете!..» *(Las Cases.* P. 588; 20 ноября 1816 г.).

383 Брак герцога Энгиенского с принцессой Шарлоттой де Роган-Рошфор (1767–1841) не был признан родственниками герцога при его жизни, однако после смерти герцога Энгиенского его отец, герцог де Бурбон, предложил принцессе Шарлотте узаконить этот брак post factum; она отказалась, не желая

претендовать на состояние покойного, но всю жизнь хранила ему верность (см: *Welschinger.* P. 255–275).

[384] Герцог Энгиенский в 1791 г. вступил в контрреволюционную армию под командованием своего деда, принца де Конде.

[385] Рост Наполеона, если верить мерке, снятой на Святой Елене после его смерти доктором Антомарки, равнялся 1,686 метра (см.: *Dictionnaire.* P. 1229); у герцога Энгиенского рост был хотя и не намного, но все-таки выше, чем у императора; он составлял 1,7 м (Ibid. P 664); в реплике Бонапарта желание унизить свою жертву смешивается с жаждой самоутверждения и самооправдания. Придворная дама — возможно, г-жа де Ремюза; в своих мемуарах она пишет о том, как 18 марта Бонапарт в Мальмезоне играл в шахматы «с лицом спокойным и ясным», и о безуспешных попытках Жозефины заступиться за герцога Энгиенского (см.: *Rémusat.* T. 1. P. 314–319). Ср. также в «Замогильных записках»: «18 марта, в Вербное воскресенье, он [Бонапарт] уехал в Мальмезон. Госпожа Бонапарт, которая, как и вся семья первого консула, знала об аресте принца, заговорила об этом деле с супругом. Тот отвечал: „Ты ничего не смыслишь в политике“» (*Шатобриан.* С. 216).

[386] Заседание трибунала закончилось в два часа ночи; герцог был расстрелян в три часа ночи (*Welschinger.* P. 191–192).

[387] Это та самая оратория Гайдна, слушать которую Бонапарт направлялся в тот день, когда на него было совершено покушение на улице Сен-Никез (см. примеч. 176). Сталь слышала «Сотворение мира» в Вене в 1808 г. (см.: *ОГ,* ч. 3, гл. 23*) Дурылин.* С. 247).

[388] Луи-Жозеф де Бурбон, принц де Конде (1736–1818) — дед герцога Энгиенского.

[389] По-видимому, Сталь знала об этом эпизоде от Баранта, который слышал рассказ о гибели герцога Энгиенского от секретаря генерала Даву, секретарь же, в свою очередь, разговаривал непосредственно с жандармом, который под командою Савари участвовал в расстреле. По словам жандарма, Савари отказался выполнить поручение молодого человека, приговоренного к смерти (в тот момент рассказчик еще не знал, что это герцог Энгиенский), и назвал его разбойником. «Что ж, — вскричал юноша, — вот письмо и пакет, я бросаю их на землю; найдется добрый француз, который подберет их и передаст по назначению» *(Barante.* T. 1. P. 117–118).

[390] По другой версии, герцог отдал конверт с прядью своих волос и обручальным кольцом лейтенанту Нуаро; тот обещал передать конверт принцессе де Роган-Рошфор, однако и конверт,

и вещи, найденные на теле покойного принца, попали в руки Реаля, члена Государственного совета, который вел расследование дела Кадудаля — Пишегрю (о Реале см. примеч. 413), и надолго остались в его личном архиве; много лет спустя их обнаружили там потомки Реаля и передали в Тюильри (см.: *Welschinger*. P. 190). В настоящее время медальон с прядью волос герцога хранится в музее Конде в Шантийи (см.: *Baudus F. de.* Le sang du prince. Vie et mort du duc d'Enghien. P, 2002. P. 284).

391 Ср. в записной книжке: «Дети швыряли камни на могилу и кричали: „Эй, герцог Энгиенский, вставай же!“ Старый инвалид велел им перестать» *(DAE-1996.* P. 454). Герцог Энгиенский был похоронен во рву, окружавшем Венсеннский замок.

392 Едва ли не единственным из французов, кто выразил возмущение расстрелом герцога Энгиенского не только речами, но и делом, был Шатобриан: незадолго до того он был назначен послом Франции в республике Вале, но, узнав о казни принца, немедленно подал прошение об отставке, сославшись, впрочем, на болезнь жены (жест, который Наполеон воспринял как вызов своей власти, а Бурьен впоследствии назвал «единственным мужественным деянием той эпохи»). Значимый поступок совершила и Дельфина де Кюстин (см. примеч. 134): она прервала общение с Жозефиной, с которой приятельствовала еще со времен Революции, когда они вместе ожидали смерти в тюрьме (см.: *Madelin.* T. 5. P. 361–362). Однако в основном аристократы роптали не публично, а лишь в своем кругу.

393 Фуше в «Мемуарах» называет автором этой фразы самого себя (см.: *Fouché J.* Mémoires. P, 1993. P. 168); впрочем, существует и другая версия (см.: *Barante.* T. 1. P. 118), согласно которой комментируемая фраза была сказана не Фуше, а членом Государственного совета графом Буле из департамента Мёрт (1761–1840); в *РФР* (ч. 4, гл. 11) Сталь, не называя ничьего имени, приписывает ее «одному из придворных макиавеллистов Бонапарта», которые гордятся тем, что «ставят себя выше добродетели»: «Пусть бы попробовали хоть раз поставить себя выше эгоизма — это куда труднее и удается куда реже!» *(CRF.* P. 396).

394 В одной из записных книжек Сталь называет собеседником Бонапарта в этом разговоре актера Тальма (см.: *DAE-1996.* P. 419); сходные монологи Наполеона, в которых он утверждает, что в современных трагедиях место древнего рока занимает политический, государственный интерес и что, следовательно, политики, совершающие преступления во имя государства, так же неповинны в них, как Эдип в своих преступлениях, запечатлены в мемуарах Фуше, Сегюра, г-жи де Ремюза (в первом случае

собеседником императора выступает сам мемуарист, во втором — генерал Жюно, в третьем — муж мемуаристки); сводку данных см. в: *Welschinger*. P. 400–401. О «теории государственного интереса» как оправдании деспотизма и о попытках авторов многих исторических трагедий времен Консульства и Империи оспорить абсолютное главенство интересов государства над личной нравственностью и честью см.: *Реизов Б. Г.* Между классицизмом и романтизмом. Л., 1962. С. 7–49. В Корнеле Наполеон видел драматурга, который, напротив, неизменно отстаивал интересы государства, и потому ценил его очень высоко. «Если бы он был жив сегодня, я сделал бы его князем», — говорил император на Святой Елене (*Las Cases*. P. 171; 25–28 февраля 1816 г.). Сталь всю жизнь полемизировала с «макиавеллистами», «рассудительными варварами, бестрепетно приносящими в жертву тому, что они полагают счастьем большинства, жизнь многих тысяч людей» *(О литературе.* С. 332). В *ОГ* она посвятила особую главу (ч. 3, гл. 13) «Морали, основанной на национальном интересе»; здесь, опираясь на авторитет Канта и Ж.-Ж. Руссо, убежденного, что «непозволительно добиваться даже самых благотворных перемен в жизни нации ценою крови одного невинного человека» *(DA*. T. 2. P. 189), она утверждает, что «если личности добродетельны, когда приносят свои частные интересы в жертву интересу общему, правительства, которые суть те же индивиды, также обязаны жертвовать своими личными выгодами закону долга; мораль, пекущаяся только об общественном благе, способна — если не всегда, то хотя бы изредка — приводить государственных мужей к преступлению, меж тем довольно оправдать одно исключение, и нравственности придет конец» (*DA*. T. 2. P. 190). Император и его приближенные прекрасно понимали, что подобные рассуждения ведут к подрыву выстроенного ими общественного механизма; не случайно протест цензуры вызвал следующий пассаж из процитированной выше главы: «Стоит начать ссылаться на обстоятельства, и все будет потеряно; ведь обстоятельства случаются у всех без изъятия. У всякого человека есть или жена, или дети, или племянники, о которых необходимо позаботиться; одни полны сил, другие мечтают занять себя, третьи не желают таить под спудом таланты — и все это вынуждает их искать мест, дающих либо деньги, либо власть. Разве не надоели нам эти отговорки, которые мы во множестве слышали во времена Революции? Отовсюду раздавались жалобы людей, которых, если верить им, заставили проститься с вожделенным покоем, с бесценной жизнью в лоне семьи, а между тем очень скоро выяснялось, что люди эти дни и ночи напролет

только тем и занимались, что умоляли принудить их к занятию делами общественными, хотя дела эти превосходно обошлись бы без них» (Ibid. P. 191–192).

395 Решение об аресте герцога Энгиенского Наполеон принял 10 марта, на следующий день после ареста Жоржа Кадудаля (см. примеч. 369); именно тогда он отдал военному министру Бертье приказ захватить герцога (см.: *Welschinger*. P. 107). Наполеон вплоть до последних дней жизни считал, что, приказав расстрелять герцога Энгиенского, поступил совершенно правильно. На Святой Елене он излагал Лас Казу свои аргументы следующим образом: «…я всего лишь прибегнул к самообороне. Герцог и его единомышленники мечтали лишить меня жизни; я мог ждать нападения с любой стороны, каждую минуту; духовые ружья, адские машины, заговоры, засады — все было против меня. Мне это надоело, и я воспользовался случаем навести страх на всех на них, включая тех, кто находился в Лондоне. Я своей цели добился: с того дня заговоры прекратились. Кто же посмел бы меня за это упрекнуть? Неужели я не имел права ответить врагам, которые, находясь от меня в полутора сотнях лье, ежедневно наносили мне смертельные удары […], их же оружием? Разве человек здравомыслящий может меня за это осудить?» (*Las Cases*. P. 588; 20 ноября 1816 г.). Иначе говоря, всю вину за смерть герцога Энгиенского Наполеон возлагал на тех, кто покушался на его, Наполеона, жизнь.

396 В одной из записных книжек (*DAE-1996*. P. 443) автором этой реплики назван якобинец Кюре, сам бывший членом Конвента (см. о нем примеч. 422). Ср. у г-жи де Ремюза ссылку на рассказ ее мужа о том, как после казни герцога Энгиенского «вожди якобинцев говорили друг другу о Бонапарте: „Теперь и он с нами заодно“» (*Rémusat*. Т. 1. P. 326).

397 В России казни герцога Энгиенского было посвящено заседание Государственного совета 5/17 апреля 1804 г.; члены совета выразили возмущение «столь явным нарушением всяких обязательств, которые могут быть предписаны справедливостью и международным правом», пришли к выводу, что не могут «сохранять долее сношения с правительством […], которое запятнано таким ужасным убийством, что на него можно смотреть лишь как на вертеп разбойников», и объявили о готовности разорвать эти отношения (см.: *ВПР*. Т. 1. С. 686–696); однако немедленного разрыва не произошло. Тем не менее русский двор на неделю надел траур по герцогу Энгиенскому, а в петербургской католической церкви отслужили по нему заупокойную службу (о всеобщем возмущении, которое казнь принца вызвала в Петербурге, см.: *Welschinger*. P. 349–353;

Сб. РИО. Т. 77. С. 585–587). 30 апреля /12 мая 1804 г. русский поверенный в делах П. Я. Убри вручил Талейрану ноту с протестом против ареста и казни принца. 16 мая Талейран прислал Убри ответную ноту, в которой протест русского правительства отклонялся под тем предлогом, что это внутреннее дело Франции; если Бонапарт не вмешивается во внутренние дела России, писал Талейран, то и Александру I не следует вмешиваться во внутренние дела Франции. Французская сторона указывала российской на необходимость удалить из России французов- эмигрантов, «которые прославились лишь своими кознями против Франции», а в финале Талейран напоминал об убийстве Павла I (намек, для российского императора более чем неприятный): «Предъявленная теперь жалоба заставляет спросить: если бы в то время, когда Англия замышляла убиение Павла I, знали, что зачинщики заговора находятся на расстоянии одного лье от границы, неужели не постарались бы схватить их?» (*Сб. РИО*. Т. 77. С. 608–609; см. также: *ВПР*. Т. 1. С. 57, 61). Ответом на ноту Талейрана от 16 мая стала врученная ему Убри нота от 9/21 июля 1804 г., где Россия выдвигала те условия, на которых она готова поддерживать дружественные отношения с Францией: выведение войск из Ганновера, соблюдение нейтралитета Германской империи и проч.; в противном случае, говорилось в ноте, Убри покинет Францию (см.: *ВПР*. Т. 2. С. 109–110). Ноту о разрыве дипломатических отношений между Россией и Францией Убри вручил Талейрану 16/28 августа 1804 г. (см.: *ВПР*. Т. 2. С. 116); что же касается французского посланника, генерала Эдувиля (Hedouville), то он выехал из Петербурга (под предлогом отпуска) еще в июне 1804 г.

398 Шведский король Густав IV Адольф, женатый на Фредрике, внучке баденского курфюрста (см. примеч. 400), и находившийся в момент казни герцога Энгиенского в Баденском маркграфстве, надел траур по принцу, поддержал ноту протеста против «посягательства на спокойствие и территориальную целостность Германии», которую 8/20 апреля 1804 г. российский министр-резидент в Регенсбурге Ф. А. Клюпфель подал в сейм Германской империи (текст ноты см.: *ВПР*. Т. 2. С. 7–8), и предписал своему посланнику покинуть Париж (см.: *Welschinger*. P. 346–347).

399 Реакция английского правительства на казнь герцога Энгиенского не могла не быть резко отрицательной не только потому, что Франция и Англия в этот момент находились в состоянии войны, но и потому, что причастность английских дипломатов-шпионов Френсиса Дрейка и Спенсера Смита (посланника при Вюртембергском дворе) к интригам двойного

агента Меэ дала Талейрану и министру юстиции Ренье повод обвинить Англию в заговоре, имеющем целью покушение на жизнь первого консула. 30 апреля 1804 г. все иностранные державы получили циркулярное письмо лорда Хоуксбери (Hawkesbury), где сообщалось, что английский король с негодованием отвергает клеветнические обвинения, которые на самом деле имеют целью отвлечь внимание Европы от кровавого злодеяния, совершенного в нарушение международного права и законов чести *(Welschinger.* P. 380–381).

400 Маркграфством Баденским с 1738 г. правил курфюрст Карл-Фридрих (1728–1811); он не только не выразил возмущения арестом герцога Энгиенского на территории его маркграфства, но практически ему попустительствовал; лишь спустя некоторое время после казни принца баденский посланник в Париже герцог Дальберг принялся уверять своих коллег-дипломатов в том, что французский отряд вторгся на баденскую территорию без согласия курфюрста. По настоянию Талейрана курфюрст 2 июля 1804 г. представил в Регенсбургский сейм декларацию, в которой просил не давать хода ноте России (см. примеч. 397); ту же позицию заняли представители Австрии, Пруссии и мелких немецких государств; таким образом, Россию никто не поддержал и протест ее остался без последствий (см.: *Welschinger.* P. 338–383; ноту австрийского императора Имперскому сейму от 14 мая 1804 г. см.: *ВПР.* Т. 2. С. 660). Гласно и официально убийством принца из рода Бурбонов не возмутился также ни один из царствующих представителей этой династии (Бурбоны в это время занимали испанский, неаполитанский и этрурийский престолы). Разумеется, иначе отреагировали находившиеся в изгнании французские Бурбоны; ср.: «Пуля прошла навылет через все изгнанное семейство Бурбонов: Людовик XVIII возвратил королю Испании орден Золотого руна, ибо им недавно был награжден Бонапарт; сопроводительное письмо делает честь королевской душе: „Милостивый государь и дорогой кузен, не может быть ничего общего между мной и чудовищным преступником, которого дерзость и удача возвели на престол, варварски запятнанный невинной кровью одного из Бурбонов — кровью герцога Энгиенского. Христианские чувства могут побудить меня простить убийце, но тиран моего народа навсегда останется моим врагом“» *(Шатобриан.* С. 214).

401 Неккер заболел 30 марта и скончался 9 апреля 1804 г. в Женеве. Г-жа де Сталь узнала о болезни отца 18 апреля в Берлине; два письма, известившие ее об этом (от г-жи Неккер де Соссюр и Бенжамена Констана), привез в Берлин Франсуа Южине, брат ее управляющего Жозефа Южине (см. о нем примеч. 535).

Одновременно оба корреспондента Сталь написали — одна к княгине Радзивилл (сестре принца Людвига-Фердинанда Прусского), а другой — к шведскому поверенному в делах Бринкману, прося их постепенно подготовить дочь Неккера к печальному известию. Те сообщили г-же де Сталь, что ее отец болен, но скрыли, что его уже нет в живых. На следующий день Сталь тронулась в путь; 22 апреля, в день своего рождения, она прибыла в Веймар, куда к этому времени уже приехал из Швейцарии Констан, и только тут узнала о смерти отца (см.: *CG.* T. 5. Pt. 1. P. 333–336).

402 В сочинении «О характере г-на Неккера и его частной жизни», опубликованном осенью 1804 г. в качестве предисловия к «Рукописям г-на Неккера», Сталь писала: «Когда вы представляете собой копию своего отца, копию ухудшенную, но притом весьма верную, когда тот, кого вы любите, воспитывал вас с самого раннего детства и вы усвоили его чувства, мнения, всё, исключая небесные добродетели, которые могли принадлежать лишь ему и более никому; когда он требовал от вас только одного — чтобы вы были счастливы и любили его; когда с его смертью вы утратили всякую опору, не приобретя и тени свободы; когда вы, до того чуждые делам финансовым, внезапно переходите от самой безграничной беспечности к самой тягостной неуверенности, ибо прежде даже с тяготами жизни материальной, способными испортить отношения душ самых независимых, справлялся именно этот возвышенный гений; когда нет ни единой стороны жизни, ни главной, ни второстепенной, ни явной, ни тайной, которую его смерть не изменила бы непоправимо и безвозвратно, — как вынести это испытание? Я не знаю. А между тем я живу, лишенная этой заботы, распространявшейся решительно на все; живу, лишенная этого постоянного попечения о моей жизни, о моем счастье, делавшего меня достойной собственного интереса и сочувствия» *(OC.* T. 17. P. 108). Г-жа де Сталь в самом деле лишилась со смертью отца не только духовной, но и вполне материальной поддержки; по воспоминаниям ее кузины, г-жи Неккер де Соссюр, «при жизни г-на Неккера г-жа де Сталь была совершеннейшим ребенком почти во всем, что касается материальной стороны существования; она была убеждена, что и дня не сможет прожить без отца, и от него этого не скрывала; отец помогал ей решительно во всем. Итак, после его смерти земля, казалось, ушла из-под ног его дочери, и ей, объятой горем, потребовалось огромное усилие воли, чтобы войти в курс дел» *(OC.* T. 1. P. CCXXXIII).

403 Г-жа де Сталь выехала из Веймара 1 мая 1804 г; в Коппе она прибыла 19 мая. Сопровождали ее Констан и Август

Вильгельм Шлегель (1767–1845), с которым она познакомилась в Берлине (он стал учителем ее сыновей и наставником самой Сталь в области немецкой словесности и с тех пор практически неотлучно находился при ней до самой ее смерти).

[404] Процесс над Моро, Жоржем Кадудалем и еще сорока пятью заговорщиками проходил с 25 мая по 10 июня 1804 г.

[405] Пишегрю был найден задушенным в камере тюрьмы Тампль 6 апреля 1804 г. Люди оппозиционных взглядов склонны были обвинять в его смерти не кого иного, как Бонапарта и его приспешников, а прирожденные интриганы, такие, как Талейран, это обвинение не опровергали (на вопрос г-жи де Ремюза относительно смерти Пишегрю Талейран ответил, что она «произошла внезапно и очень кстати»; см.: *Rémusat.* T. 1. P. 349). Некоторые исследователи склоняются к мысли, что Пишегрю действительно покончил с собой (см.: *Madelin.* T. 5. P. 116–119), однако авторы последних работ это отрицают; см.: *Saugier B.* Pichegru: histoire d'un suicide. Bourg-en-Bresse, 1992.

[406] О переговорах Бонапарта с вандейцами см. примеч. 112, 113. Протоколы допросов Пишегрю, которые велись с 27 февраля по 15 марта, не сохранились.

[407] Луи Пико, слуга Жоржа Кадудаля, был арестован 8 февраля 1804 г.; чтобы вынудить его указать местонахождение Кадудаля, допрашивавшие прищемляли ему пальцы ружейным курком; хозяина он не предал даже под пыткой, но рассказал многое о планах заговорщиков и об их намерениях убить Бонапарта (*Lenotre*. P. 194).

[408] Клод-Жак Лекурб (1759–1815), воевавший под началом Моро (в частности, в 1800 г. в Германии) и не скрывавший своего к нему дружеского расположения, пострадал за верность опальному генералу: Наполеон исключил его из числа кавалеров ордена Почетного легиона, уволил из армии и сослал во Франш-Конте, где Лекурб прожил в безвестности до начала эпохи Реставрации. На процессе Моро Лекурб поднял на руки сына обвиняемого, показал его солдатам и крикнул: «Солдаты, вот сын вашего генерала!» — после чего солдаты взяли на караул. По словам Бурьена, «по первому знаку Моро они смели бы судей и освободили подсудимых» (см.: *Dictionnaire.* P. 1199); Моро, однако, этого знака не подал.

[409] Среди очевидцев, от которых Сталь могла знать, как проходил суд над Моро, была г-жа Рекамье, подруга детства жены Моро (урожденной Александрины-Эжени Юло); узнав, что генерал желает видеть ее в зале суда, г-жа Рекамье на следующий же день отправилась туда; ее впечатления воспроизведены в «Замогильных записках» Шатобриана (кн. 29, гл. 7); здесь также

подчеркивается, что жандармы, приставленные к подсудимым (каждый из заговорщиков сидел между двух солдат), «обходились с генералом Моро почтительно и предупредительно» (*Chateaubriand*. Т. 2. P. 1886). В кругах, более близких к императору и менее оппозиционных, главенствовала, по-видимому, иная точка зрения на поведение Моро, зафиксированная, в частности, в «Воспоминаниях» г-жи де Ремюза: «Все, кто рассматривал этот эпизод [суд над Моро, Кадудалем и проч.] сколько-нибудь хладнокровно, сходятся на том, что на скамье подсудимых Моро выказал слабость характера и весьма посредственный ум; в поведении его не обнаружилось ни значительности, ни величия, которых от него ожидали» (*Rémusat*. Т. 2. P. 2).

410 В обществе ходили слухи, что речь для Моро написал сенатор Доминик- Жозеф Гара, внешне вполне лояльный по отношению к власти Бонапарта, но внутренне близкий к оппозиционерам (см.: *Barante*. Т. 1. P. 134); в 1814 г. он посвятил Моро отдельную брошюру. Ср. у Сталь в первой записной книжке упоминание обоих имен рядом: «Речь Моро, Гара» (*DAE-1996*. P. 443).

411 Клод-Амбруаз Ренье (1746–1814) с 1802 по 1813 г. занимал пост министра юстиции; 14 сентября 1802 г., после того как Бонапарт отстранил Фуше от руководства министерством полиции, функции этого министра перешли формально к Ренье, а фактически к Пьеру-Франсуа Реалю (см. примеч. 413). Титул герцога Масса ди Карара Ренье получил в 1809 г.

412 Речь Моро в 1804 г. была выпущена отдельной брошюрой трижды (см.: Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. P., 1933. T. 119. P. 119).

413 Пьер-Франсуа Реаль (1757–1834) во время Революции принадлежал к числу ультрареволюционеров-«эбертистов»; при Директории он был ставленником Барраса, однако во время переворота 18 брюмера принял сторону Бонапарта и в благодарность получил место члена Государственного совета; именно ему было поручено расследование дела Кадудаля, Пишегрю и Моро; после воссоздания в июле 1804 г. министерства полиции под командой Фуше Реаль стал правой рукой министра.

414 В записных книжках (*DAE-1996*. P. 442) Сталь приписывает эту реплику Этьенну Клавье, который выступал за оправдание Моро, но в конце концов согласился приговорить генерала к трехмесячному заключению; другой судья, Анри Лекурб (ум. 1827), брат генерала Лекурба (см. примеч. 408), не соглашался даже на такой мягкий приговор и произнес в суде пламенную речь в защиту Моро, вызвавшую гнев Бонапарта. Поскольку и

Клавье, и Лекурб держали в суде сторону Моро, Огюст де Сталь колебался в атрибуции реплики, процитированной в тексте его матери; на полях одной из рукописей (копии, сделанной Фанни Рендал) он приписал ее Лекурбу, а в печатном тексте (в своем подстрочном примечании) — Клавье. Сам Лекурб, впрочем, называл эту мужественную реплику своей (см.: *Lecourbe H.* Opinion sur la conspiration de Moreau, Pichegru et autres… P, 1814; *Madelin.* Т. 5. P. 130).

415 Бонапарт был готов помиловать Моро, если бы его приговорили к смерти; в этом случае суд засвидетельствовал бы виновность генерала, а император продемонстрировал свое милосердие. Однако, поскольку причастность генерала к заговору доказать не удалось, судьи вынесли ему мягкий приговор, и это привело императора в ярость; такие приговоры, кричал он, годятся только для «карманных воришек» (см.: *Madelin.* Т. 6. P. 130–131).

416 Приговор был вынесен 10 июня. Половину осужденных оправдали, половину приговорили к смертной казни. Жорж Кадудаль и еще одиннадцать шуанов были казнены 12 июня 1804 г. Остальных (людей дворянского происхождения) помиловали; в частности, герцогу Арману де Полиньяку (1771–1847) смертную казнь заменили пожизненным заключением, князя Жюля де Полиньяка (1780–1847) приговорили к двухлетнему заключению; тем не менее оба оставались под стражей (в форте Ам, а затем в Венсеннском замке) до 1810 г., после чего обоих братьев перевели в лечебницу, где их держали взаперти вплоть до января 1814 г., когда они наконец сумели бежать.

417 Моро оставался в Соединенных Штатах — конечной цели его путешествия — до 1813 г., когда по приглашению Александра I возвратился на континент, принял участие в военных действиях на стороне союзников, был ранен под Дрезденом и скончался в ночь с 1 на 2 сентября 1813 г.

418 Собеседником Бонапарта в этом разговоре был вице-председатель Сената Жан-Бартелеми Лекутё де Кантелё (1746–1818); см.: *Welschinger.* P. 226–227. По свидетельству начальника тайной полиции П.-М. Демаре, Бонапарт еще в 1802 г., после раскрытия «заговора прокламаций» (см. примеч. 260), говорил Фуше, что готов положить конец соперничеству с Моро посредством дуэли в Булонском лесу (см.: *Guillon.* P. 45).

419 Перед Жозефиной, а затем и перед Наполеоном за Полиньяка ходатайствовала близкая к императрице г-жа де Ремюза, которую просила о помощи герцогиня де Полиньяк, жена Армана; г-жа де Ремюза упросила императора принять герцогиню;

та, увидев императора, без чувств упала к его ногам, Талейран назавтра описал этот эпизод в маленькой заметке, напечатанной в «Журналь де л'Ампир», — «и герцог де Полиньяк был помилован», то есть спасен от смертной казни (см.: Remusat. T. 2. P. 8–21).

[420] Ср. в воспоминаниях г-жи де Шастене пересказ реплики Наполеона по поводу знаменитой сцены милосердия Августа из трагедии Корнеля «Цинна»: «Каждому политику выгодно прощать… Разве у прощения бывают какие-нибудь другие причины?» *(Chastenay*. T. 2. P. 141). В одном из вариантов Сталь назвала фамилию того человека, по отношению к которому Наполеон проявил показное, хладнокровно продуманное милосердие, — Хатцфельд. Князь Франц Людвиг фон Хатцфельд (1758–1827) в 1806 г. был назначен губернатором Берлина после взятия города французами; арестованный 30 октября 1806 г. по обвинению (по всей вероятности, ложному) в шпионаже в пользу пруссаков, он был приговорен к смертной казни, но помилован Наполеоном (за Хатцфельда, как и за Полиньяка, просила жена). Наполеон, по-видимому, и не собирался казнить Хатцфельда; он сознательно разыграл этюд на тему «Милосердие Наполеона», нашедший затем отражение в газетных статьях и даже в изобразительном искусстве.

[421] Франсуа-Луи Рюзийон (1751–1821), адъютант графа д'Артуа, тайно прибыл во Францию вместе с Пишегрю и Жюлем де Полиньяком и был арестован 6 марта 1804 г.

[422] Вначале (23 марта 1804 г.) мнение, что во Франции следует ввести наследственную монархию, высказали сенаторы. Затем, 30 апреля, предложение провозгласить Бонапарта императором и дать ему право передавать власть по наследству членам своей семьи внес член Трибуната Жан-Франсуа Кюре (1756–1835). Формально Сталь совершенно обоснованно именует его якобинцем, поскольку во время Революции он был членом Учредительного собрания, а затем Конвента и поначалу входил в число сторонников Робеспьера, однако якобинцем был весьма умеренным, в частности не голосовал в Конвенте за смерть короля, а при Директории зарекомендовал себя сторонником стабильности и порядка. Франсуа Жобер (1758–1822), адвокат из Бордо, во время Революции был близок не к якобинцам, а к жирондистам и уцелел лишь благодаря термидорианскому перевороту; в Трибунат он входил с 1802 г.; адвокат из Экса Жозеф- Жером Симеон (1749–1842) за свои умеренные взгляды расплачивался дважды: в 1793 г., когда, чтобы избежать преследований, уехал в Италию, и в 1797 г., когда после переворота 18 фрюктидора был приговорен к депортации,

скрывался от преследований, а затем отбывал наказание на острове Олерон и получил свободу только после 18 брюмера. Лестная характеристика, которую дает ему Сталь, связана, по-видимому, с теми прогрессивными реформами, которые Симеон проводил уже после описываемого периода, в 1807–1813 гг., когда был министром внутренних дел и юстиции, а также председателем совета министров в новосозданном Вестфальском королевстве (ср. высокую оценку деятельности Симеона в Вестфалии таким строгим и щепетильным судьей, как Н. И. Тургенев; см.: *Тургенев.* С. 20).

[423] Тулузский адвокат Жан-Пьер Фабр (1755–1832) проявлял умеренные взгляды и во время Революции (при Терроре он был объявлен вне закона), и в бытность членом Совета пятисот (куда он был избран в 1795 г. как представитель департамента Од), и в Трибунате, куда входил с 1799 г.

[424] Жозеф-Мари-Франсуа Моро (1764–1849), брат генерала, входил в Трибунат с 1800 г.; он протестовал против суда над братом, однако оставался членом Трибуната вплоть до роспуска этого органа в 1807 г.

[425] Относительно назначения военным министром Сталь ошиблась: Лазар- Никола Карно (1753–1823), который при Революции был членом Конвента и Комитета общественного спасения и в 1793–1794 гг. выиграл, стоя во главе республиканской армии, несколько сражений (за что удостоился прозвища «Организатор победы»), занимал пост военного министра задолго до событий 1804 г., а именно со 2 апреля по 8 октября 1800 г. В следующий же раз Наполеон сделал его министром, но не военным, а внутренних дел, лишь при Ста днях; Карно занимал эту должность с 20 марта по 22 июня 1815 г., причем Наполеон остановил свой выбор на нем потому, что в 1815 г., противодействуя политике Реставрации, стремился возвысить бывших якобинцев. Что же касается республиканских убеждений Карно, то здесь Сталь совершенно права: Карно, член Трибуната, в 1802 г. выступал против пожизненного консульства Бонапарта (см.: *Remacle.* P. 117), а в 1804 г. против его провозглашения императором, однако всегда сохранял лояльность по отношению к Наполеону, а после поражения при Ватерлоо со слезами на глазах выступил против его отречения. Умер Карно в изгнании, к которому был приговорен в самом начале Второй Реставрации.

[426] Новая Конституция, согласно которой Бонапарт становился императором, была провозглашена 18 мая 1804 г. и в этот же день обрела статус закона. Предметом всенародного голосования стала не вся новая Конституция, но лишь две

открывавшие ее статьи: первая, гласившая, что управление Республикой доверяется императору французов, а именно — Наполеону Бонапарту, и вторая, определявшая условия передачи императорской власти потомкам Наполеона по мужской линии либо тем, кого он усыновит. Мотивировались эти нововведения теми опасностями, которые грозили бы Франции в случае гибели Бонапарта, возможной в условиях военного времени.

[427] Огюст де Сталь в примечании называет имя этого человека: «Г-н Галлуа». Настоящее имя этого члена Трибуната, близкого к «идеологам» (см. примеч. 202) и связанного с г-жой де Сталь узами дружбы (см.: *CG*. T. 5. Pt. 2. P. 627–628), было Жан-Антуан Говен (1755–1828). В записной книжке (*DAE-1996*. P. 419) Сталь замечает, что Галлуа предлагал принять «хартию» — то есть установить определенные конституционные ограничения для императорской власти Наполеона.

[428] Никола-Луи Франсуа де Нёшато (1750–1828), автор нескольких поэтических сборников и публикаций в «Альманахе муз», изданных при Старом порядке, во время Революции был членом Законодательного собрания, а затем — жертвой Робеспьеровской диктатуры: его пьеса «Памела, или Вознагражденная добродетель» была запрещена за проповедь терпимости, а сам драматург почти год провел в тюрьме. При Директории Франсуа де Нёшато дважды (1797; 1798–1799) занимал пост министра внутренних дел, а в 1797–1798 гг. был одним из пяти директоров; после 18 брюмера он принял сторону Бонапарта и за это удостоился членства в Сенате, а в 1804–1806 гг. был его председателем.

[429] См. примеч. 153. Римские жрецы-авгуры смеялись при гаданиях, ибо не верили в них.

[430] Создание имперской знати происходило постепенно. 18 мая 1804 г., одновременно с провозглашением Наполеона императором, его братьям был присвоен титул принца; обращаться к ним отныне следовало, именуя их «императорскими высочествами». 30 марта 1806 г. в Италии были созданы двадцать два герцогства, которыми Наполеон намеревался вознаграждать своих верных слуг. Затем были учреждены придворные должности — такие как «великий канцлер», «великий казначей», «обер-камергер», «обер-церемониймейстер» и проч. Наконец, 1 марта 1808 г., когда общественное мнение было уже подготовлено к восстановлению наследственных дворянских титулов (упраздненных декретом Людовика XVI в 1790 г.), Наполеон издал закон об учреждении имперских титулов. Система их не вполне соответствовала той, какая существовала при Старом порядке; во-первых, она была строго иерархична (при Старом

порядке превосходством обладали только герцоги); во-вторых, титулы находились в строгой зависимости от должностей, занимаемых их носителями в государственном аппарате Империи: так, министры, сенаторы, пожизненные члены Государственного совета, архиепископы получали титул графа, генеральные прокуроры, епископы и мэры — титул барона, члены Почетного легиона — титул шевалье. Всего за время Империи Наполеон учредил примерно 3600 титулов, из них 42 княжеских и герцогских, 500 — графских, 1550 — баронских, 1500 — титулов шевалье. Общее число подданных, награжденных этими титулами, равнялось 3300 (некоторые имели по два титула одновременно); см.: *Dictionnaire.* P. 1248. О создании имперской знати как своеобразной форме уравнивания всех подданных см. примеч. 197.

[431] Реминисценция из «Мещанина во дворянстве» Мольера (д. 3, сц. 5).

[432] Ср. сходное описание у другой мемуаристки, наблюдавшей придворную жизнь изнутри: «Всеми обитателями императорского дворца в Сен-Клу овладела, кажется, настоящая болезнь: они занялись разысканиями насчет этикета. В библиотеке были отысканы толстые тома с придворными регламентами двора Людовика XIV, и все принялись делать из них извлечения, которые можно было бы приспособить к нуждам двора императорского. Г-жа Бонапарт послала за г-жой Кампан, камерфрау королевы [Марии-Антуанетты]. […] У нее попросили подробнейших сведений о распорядке жизни последней королевы Франции; мне было приказано записывать под диктовку все рассказы г-жи Кампан, и толстую тетрадь, в которую вошло содержание наших бесед, Бонапарт присовокупил ко всем прочим» (*Rémusat.* T. 1. P. 408–409). В *РФР* (ч. 4, гл. 11) г-жа де Сталь описывает жизнь нового двора более подробно и гневно: «Бонапарт льстил новой знати, смешивая ее со старинной, а сам при этом соединял тщеславие выскочки с исполинской мощью завоевателя; он предпочитал выслушивать льстивые похвалы от царедворцев былых времен, потому что они знали это ремесло куда лучше даже самых раболепных из новых людей. Всякий раз, когда дворянин, бывавший некогда при королевском дворе, делился воспоминаниями о тогдашнем этикете, предлагал ввести в обиход лишний реверанс, более церемонный способ стучать в дверь чьей-либо прихожей, вручать депешу, складывать письмо, заканчивать его той или иной формулой, дворянина этого приветствовали так, как если бы он споспешествовал благополучию рода человеческого. Описание имперского этикета красноречивейшим образом свидетельствует о том, до какой

подлости можно довести этот самый человеческий род» (*CRF*. P. 398).

433 Здесь, как и ниже, в рассуждении о покорности европейских армий (см. с. 117), г-жа де Сталь меняет привычную систему оценок. Обычно европейские авторы, рассуждавшие о России, приписывали русским политические и культурные нравы татаро-монгольских завоевателей и называли русских «татарами» (см.: *Liechtenhan*. P. 51); это речевое обыкновение не было чуждо и самой г-же де Сталь (см., например, именование Уварова «татарским фатом» в письме к М. О'Доннелу от 14 августа 1808 г. — *Дурылин*. С. 263). В комментируемом фрагменте, напротив, Сталь переносит негативные характеристики, обычно относимые европейцами к России, на наполеоновскую Францию; татарам она уподобляет французов, повинующихся императору, а не русских, как обычно делали европейцы, описывавшие «систему чина»; эскиз такого видения российской системы см. наст, изд., с. 148 и примеч. 725.

434 Аполог — нравоучительный иносказательный рассказ. Г-жа де Сталь считала пристрастие к каламбурам и вычурному стилю одним из недостатков литературы «классической», «южной» (то есть восходящей к Гомеру, а не к Оссиану); она осуждала стиль итальянских авторов за верность «злосчастной манере, основанной на антитезах и игре слов», а о французах века Людовика XIV писала, что только свет разума уберег их от тлетворного влияния «заимствованной у итальянцев манерности мыслей и чувств» (*О литературе*. С. 178, 246). Впрочем, в светской беседе г-жа де Сталь сама не чуждалась остроумной игры слов (см., например, примеч. 243), и публике это было хорошо известно (ср. отмеченное Пушкиным в «Рославлеве» ожидание остроты от прославленной путешественницы).

435 Принцами и принцессами крови именуются близкие родственники и родственницы монарха; в данном случае речь идет о сестрах Наполеона. Приводимая г-жой де Сталь острота имела, по-видимому, широкое хождение; ср. сообщение о том, что членов семьи Бонапарта называют «принцами крови Энгиенского», в донесении русского поверенного в делах в Париже П. Я. Убри от 30 мая /11 июня 1804 г. (см.: *Сб. РИО*. Т. 77. С. 641).

436 Почетный легион был основан Бонапартом 19 мая 1802 г. для формирования новой политической элиты (ср. примеч. 263); решение о форме знака отличия, которым награждались его члены, было принято двумя годами позже, 1 июля 1804 г.: члены Легиона получали пятиконечную звезду (золотую или серебряную в зависимости от их звания) на красной муаровой ленте. Красный

цвет роднил новую награду не только с якобинским колпаком, но и с красной лентой, на которой носили свой знак отличия (восьмиконечную звезду) кавалеры ордена Святого Людовика (он был учрежден в 1693 г. Людовиком XIV для героев, отличившихся на поле брани). Иначе говоря, и в данном случае, как и при создании новых герцогов и баронов, Наполеон копировал установления Старого порядка.

437 Жан-Жак Дессалин (1750–1806) сражался с французами под командой Туссена-Лувертюра (см. примеч. 218), который произвел его в генералы; после капитуляции Туссена Дессалин сделал вид, что также сотрудничает с французами, но уже в октябре 1802 г, вновь начал против них вооруженную борьбу, которая увенчалась провозглашением Гаити независимым государством 1 января 1804 г.; 25 января того же года жители острова по наущению самого Дессалина предложили ему принять титул императора, он дал согласие и 8 октября был коронован «Жаком, первым императором Гаити». Правил он деспотически и уже в октябре 1806 г. был убит мятежниками.

438 Некоторые из этих стойких аристократов названы поименно в *РФР* (ч. 4, гл. 11): Адриан де Лаваль и Матье де Монморанси, Эльзеар де Сабран (см. примеч. 544), герцог и герцогиня де Дюрас (*CRF*. P. 399).

439 Монморанси — представители древнейшего французского дворянского рода — не имели никакой нужды в имперском графском титуле; тем не менее если друг г-жи де Сталь, Матье де Монморанси, отказался от какого бы то ни было сотрудничества с Наполеоном, среди представителей рода Монморанси нашлись люди более сговорчивые: генерал Матье-Пьер-Луи де Монморанси- Лаваль получил графский титул, а Анн-Шарль-Франсуа и Анн-Шарль-Луи де Монморанси стали камергерами. Положение старинной аристократии при Империи было несколько более сложным, чем его описывает г-жа де Сталь: чтобы избежать полного бездействия, родовитым дворянам приходилось соглашаться служить новой власти либо в армии, либо при дворе и в государственном аппарате; военная служба считалась более достойной уважения, нежели служба «в передней Бонапарта», однако к ней были способны далеко не все (тонкий анализ этой ситуации см в.: *Chastenay*. T. 2. P. 68–75). Сталь прекрасно знала, что в число людей, служивших Наполеону, входили не только льстецы и карьеристы; ее возлюбленный Проспер де Барант, например, при Империи был аудитором Государственного совета, супрефектом в Брессюире, а затем префектом в Вандее.

440 Трагедия маркиза Мари-Анри-Франсуа де Карьона де Низа

(1762–1842) «Петр Великий» была впервые представлена на сцене «Комеди Франсез» 18 мая 1804 г., в тот самый день, когда Бонапарт был провозглашен императором; в основе сюжета лежала история заговора царевича Алексея против отца. Интерес к представлению был огромный, в заглавной роли выступал Тальма, но, несмотря на все это, пьеса провалилась: ее освистали и при первом представлении, и на следующий день, после чего она была исключена из репертуара.

[441] Результаты плебисцита были объявлены 6 ноября 1804 г. По официальным данным, «за» было подано 3 521 675 голосов, против — 2 579 (см.: *Dictionnaire*. P. 502). Впрочем, об особой объективности результатов говорить не приходится, если учесть условия, в каких проходило голосование. Не подлежит сомнению, пишет Барант, бывший очевидцем и участником этого плебисцита, что мэры, секретари суда или нотариусы, у которых хранились книги записей, «могли внести в них голоса всех тех, кто не записал свое мнение сам или не продиктовал его. Чем длиннее оказался бы список, тем лучше выглядел бы мэр или нотариус в глазах начальства. […] Среди бумаг, присланных из военного министерства, обращало на себя внимание письмо некоего генерала, отправленного производить смотр войскам. Он подал свой голос сначала в Орлеане, потом в Анжере, а затем в Нанте и свято верил, что никто не осудит его рвение» (*Barante*. T. 1. P. 133).

[442] На самом деле Лафайет проголосовал *против* только в 1802 г.; в 1804 г. он просто не участвовал в голосовании. Впрочем, по сути Сталь характеризует позицию, которую занимал Лафайет при Консульстве и Империи, совершенно верно: он отказался от звания сенатора и держался подчеркнуто в стороне от политической деятельности.

[443] Согласно второй статье Конституции 1804 г. («О наследовании»), Наполеону, не имевшему детей, предоставлялось право усыновлять для передачи престола того, кого он сочтет нужным, и только в случае, если бы этот наследник назван не был, престол должен был перейти к одному из братьев новоявленного императора — либо к Жозефу, либо к Луи; ни Люсьен, впавший в немилость (см. примеч. 67) и в апреле 1804 г. уехавший в Рим, ни Жером в Конституции не упоминались.

[444] См. примеч. 214.

[445] Сходная проблема встала два с половиной десятка лет спустя перед герцогом Орлеанским, который в результате Июльской революции 1830 г. взошел на престол под именем Луи-Филиппа. Николай I, считавший «короля французов» узурпатором (поскольку по закону престол должен был перейти от Карла X к

его внуку, малолетнему герцогу Бордоскому, а герцог Орлеанский должен был исполнять при нем роль регента), неизменно отказывался называть его братом, что страшно обижало Луи-Филиппа.

[446] Эта реплика Наполеона имела широкое хождение; ср., например, в письме Жозефа де Местра к шевалье де Росси из Петербурга от 20 августа / 1 сентября 1810 г.: «Война объявлена всем королевским родам; Наполеон недаром объявил, *что хочет сделать свою династию старейшей в Европе»* (*Maistre*. T. 11. P. 475; курсив автора).

[447] Этим благовидным предлогом Наполеон прикрывал желание раздавить Англию (о лицемерности этого предлога см. примеч. 50); на самом деле речь шла о континентальной блокаде. В полной мере она была установлена после издания Берлинского (21 ноября 1806 г.) и Миланского декретов (17 декабря 1807 г.), когда был наложен запрет на какие бы то ни было торговые сношения с Англией для всех европейских стран. Начало этой торговой войне было положено в мае — июне 1803 г., когда, не дожидаясь даже официального разрыва Амьенского мира и объявления войны, Франция и Англия закрыли друг для друга свои порты и наложили эмбарго на товары противоположной стороны. О позднейших нарушениях континентальной блокады самим Наполеоном см. примеч. 645.

[448] Сталь ведет отсчет от разрыва Амьенского мира (см. предыдущее примеч.); таким образом, комментируемый пассаж можно датировать 1813 годом.

[449] Сталь имеет в виду «знаковые» жесты прусского короля и российской императрицы, призванные доказать их принадлежность к числу просвещенных монархов: Фридрих II в 1750 г. пригласил к своему двору Вольтера, Екатерина II состояла с Вольтером и Дидро в переписке, а последний в 1773 г. по ее приглашению побывал в Петербурге. Сталь, очевидно, было известно, что трехлетнее пребывание Вольтера в Берлине окончилось разрывом с королем (сводку данных об их взаимоотношениях см.: Inventaire Voltaire. P., 1995. P. 572–575), а Дидро, которого юная Жермена Неккер видела в парижском салоне своих родителей (см.: *Haussonville O. d'.* Salon de Mme Necker. P, 1882. P. 170–176), разочаровался в надеждах на реализацию в России своих реформаторских идей (см.: *Dulac G.* Diderot et le «mirage russe» // *Mirage.* P. 149–192). Однако ей важнее противопоставить Наполеону государей, которые хотя бы внешне выказывали уважение к просвещенным советчикам.

[450] В сентябре 1791 г. Учредительное собрание отменило паспорта, существовавшие при Старом порядке (впрочем, только

для некоторых категорий подданных: парижских рабочих, отправлявшихся на заработки в провинцию, и купцов, выезжающих в Левант и Берберию), поскольку усмотрело в них «покушение на личную свободу». Однако уже 25 июня 1792 г. паспорта были вновь введены для всех районов, расположенных в десяти и менее лье от границы, а при Терроре паспорт уже требовали от всякого, кто пускался в путешествие даже по территории Франции, не говоря уже о выезде за ее пределы. Эту политику продолжила и Директория: 2 октября 1795 г. был принят декрет о том, что каждый гражданин, выезжающий за пределы своего кантона, обязан иметь паспорт. 17 апреля 1798 г. был принят закон об образовании жандармерии: жандармам было дано право требовать паспорт у любого гражданина, а тех, у кого этого документа не окажется, арестовывать. При Империи этот режим постепенно ужесточался: так, желающие выехать за границу обязаны были получать паспорта у префектов, а те выдавали их только по представлении положительной характеристики из полиции. В 1807 г. паспорт стал состоять из двух одинаковых половин: одну получал владелец паспорта, другая оставалась у властей. Наконец, в 1810 г. паспорта стали платными: заграничный стоил 10 франков, местный — 2.

451 Упоминание «вечной войны» отсылает, по всей вероятности, к идее «вечного мира», восходящей к плану министра Генриха IV герцога де Сюлли и бывшей чрезвычайно популярной на протяжении XVIII в.: проекты вечного мира разрабатывались аббатом де Сен-Пьером, Жан-Жаком Руссо, Кантом и становились предметом рассмотрения многочисленных академий; все они были основаны на идее создания конфедерации европейских государей либо народов, которые заключат между собою вечный и нерасторжимый союз, а конфликты будут разрешать с помощью третейского суда. Проекты вечного мира, таким образом, не предполагали уничтожения национальных государств, напротив, Бонапарт, пишет Сталь, желает построить «всемирную монархию» и именно поэтому ведет Европу вместо вечного мира к вечной войне (см. о проектах «вечного мира»: *Rousseau J.-J.* Œuvres complètes. P., 1964. T. 3. P. CXX–CLVIII; *Зорин.* С. 76–83; *Рудницкая Е. Л.* Мир без войны: русское преломление европейской идеи // Отечественная история. 2002. № 3. С. 67–83).

452 Особый вид горючей смеси, по-видимому состоявший из канифоли, серы и селитры; считается, что впервые эта смесь (первоначальная форма пороха) была применена в VII в. греком Калликоном. Сталь прибегает к этой метафоре также и в *РФР* (ч. 2, гл. 10): «Людовик XV поступил благородно и не пожелал узнать

состав греческого огня, хотя ему и предлагали открыть этот роковой секрет; сходным образом англичане никогда не стали бы раздувать разрушительный костер якобинства, будь они даже в силах породить это невиданное чудовище, угрожающее общественному порядку» *(CRF.* P. 207).

[453] В первом издании в этом месте после слов «Конец первой части» следовало написанное Огюстом де Сталем «Предуведомление издателя», призванное заполнить лакуну между первой и второй частью воспоминаний г-жи де Сталь. Текст О. де Сталя см. в Приложении, с. 441–445.

[454] Друг Неккера и его дочери, Жан-Донасьен Лере (или Ле Ре) де Шомон (1760–1840), сдал г-же де Сталь свой замок Шомон-на-Луаре до августа 1810 г., когда рассчитывал вернуться во Францию из деловой поездки в Америку, где он унаследовал от своего отца, друга Б. Франклина, обширные земли и где занимался также и финансовыми делами самой г-жи де Сталь, часть состояния которой была вложена еще Неккером в покупку американских имений (ср. диалог Наполеона с Огюстом де Сталем во время Ста дней: «Я полагал, что вы богаты. У вас есть земли в Америке». — «В самом деле, у меня там весьма обширное поместье». — «Право? Какой же величины?» — «Увы, до нынешнего дня оно приносило мне больше убытков, нежели выгод». — *CS.* № 4. P. 16). О намерении отправиться в Америку, возникавшем у г-жи де Сталь неоднократно, и ее отношении к этой стране см.: *CS.* № 19. R 8; *Hawkins R. L.* Madame de Staël and the United Stated, Cambridge, Mass., 1930. В июле 1806 г. г-жа де Сталь, жившая в это время в замке Венсель (см. примеч. 11 к Приложению), уже провела в Шомоне-на-Луаре несколько дней (см.: *CS.* № 44. P. 75–76).

[455] Владельцем замка Фоссе неподалеку от Блуа был граф Шарль-Мари д'Иромберри де Салаберри (1766–1847), роялист баскского происхождения, сражавшийся во время Революции в рядах эмигрантской армии принца де Конде и в контрреволюционной армии вандейцев (см. примеч. 112), в эпоху Реставрации — консервативный публицист, автор книги в защиту иезуитов.

[456] Неаполитанец Пертоза, «с утра до ночи игравший на гитаре» *(Barante-Lettres.* P. 81; письмо г-жи де Сталь к Клоду-Иньясу де Баранту от 8 августа 1810 г.).

[457] Г-жа Рекамье, аккомпанировавшая Пертозе на бубне *(Barante-Lettres.* P. 81). В письме к К.-И. де Баранту (см. предыдущее примеч.) г-жа де Сталь называет замок Фоссе «островом Звонким» (реминисценция из пятой книги «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле).

[458] В их число входили Матье де Монморанси (см. примеч. 472), Эльзеар де Сабран (см. примеч. 544), г-жа Рекамье, А. В. Шлегель (см. примеч. 403 и 519) и его секретарь Адальберт де Шамиссо, в 1810 г. занятый переводом с немецкого на французский шлегелевских «Лекций о драматической литературе», прочитанных в Вене в 1808 г.; иногда в Шомон приезжали Проспер де Барант, занимавший в это время пост

префекта департамента Вандея, и Б. Констан.

[459] Голландская королева — Гортензия де Богарне (1783–1837), дочь Жозефины, которую Наполеон в 1802 г. выдал за своего брата Луи (брака этого не хотели ни жених, ни невеста, и он оказался на редкость несчастливым: супруги с трудом выносили друг друга и куда охотнее жили врозь, чем вместе). На голландский престол Наполеон посадил Луи в 1806 г., однако четыре года спустя Луи, принимавший в конфликтах между императором и голландцами сторону своих подданных и потому постоянно навлекавший на себя неудовольствие брата, отрекся от престола. «Королева Гортензия». На самом деле этот древний французский девиз использован «королевой Гортензией» (титул, официально присвоенный ей после отречения Луи Бонапарта) в качестве эпиграфа одного из романсов под названием «Другому не служу» (см.: Album artistique de la reine Hortense, P., 1853, p. 47). Припевом эти слова служат в романсе Мильвуа «Припев старых времен». Итальянец Петроза учил королеву Гортензию музыке (см.: *Caudaux J.-D., King N.* Théâtre et société: la correspondance des Staël et des Odier // *CS*. № 38. P. 61).

[460] В *ОГ* (ч. 3, гл. 13) Сталь называет эту фразу «максимой, содержащей в самой простой форме всю теорию морали» (*DA*. Т. 2. P. 193).

[461] Одни участники этой переписки использовали ее для объяснений в любви (в частности, Огюст де Сталь, страстно влюбленный в г-жу Рекамье, напоминал ей о своем чувстве; см.: *Wagener*. P. 202–203), другие — для обсуждения серьезных литературных вопросов. Так, г-жа де Сталь допытывалась у Шамиссо (француза, эмигрировавшего в Германию и начавшего писать по-немецки), понравится ли ее новая книга *(ОГ)* немцам, на что тот отвечал: «В сущности, следовало бы прежде задаться вопросом, понравится ли она французам. Ваша книга, судя по тем страницам, какие я читал, есть книга немецкая, но по прихоти ее создательницы явившаяся на свет во французском обличье» (*Riegel*. P. 343; то же: *CS*. № 46. P. 60). С другой стороны, в переписке с Шамиссо г-жа де Сталь не чуждалась и кокетства: *«Ст.* Мне отказались подарить розу за то, что я подарила Вам гелиотроп. А Вы среди этих ароматов продолжаете курить трубку. — *Ш.* Мой Бог, кто же мог в чем-либо Вам отказать? — *Ст.* Меня назвали пошлой; ладно бы кокеткой, но пошлой — это неправда. — *Ш.* Помилуйте! Как это возможно? Назовите мне имя этого человека, я потребую у него объяснений. — *Ст.* Разве можно говорить о таких вещах? Ведь тогда наступит конец любым шуткам […] Наша игра невинна и задумана только для удовольствия; из нее может родиться дружба, а никакими иными

опасностями она грозить не должна. Поскорее возьмите назад свои гадкие слова» *(Riegel.* P. 338; то же: *CS.* № 46. P. 55).

462 Слово «педантство» употреблено здесь в значении «демонстрация часто и некстати своей учености» — смысл, присущий французскому слову «pédanterie» и по сей день, а в русском языке вытесненный в XX в. другим значением («излишний формализм, мелочная точность»), но в XIX в. зафиксированный в словарях наравне с другими (см.: *Добродомов И. Г., Пильщиков И. Л.* Из заметок о лексике и фразеологии «Евгения Онегина» // Пушкинская конференция в Стэнфорде: Материалы и исследования. М., 2001. С. 256–270).

463 Комическая опера (музыка Николо, либретто Этьенна), премьера которой состоялась в Париже 22 февраля 1810 г. и имела большой успех.

464 По свидетельству полицейского осведомителя, датированному 7 сентября 1810 г., людей, желавших взглянуть на опальную писательницу, собралось так много, что самые проворные, чтобы получше разглядеть ее, вставали на стулья (*CS.* № 19. P. 16); агент, впрочем, объясняет этот ажиотаж не простым любопытством, а фрондерскими настроениями, якобы возбуждаемыми появлением г-жи де Сталь на публике.

465 Савари (см. примеч. 286), с февраля 1808 г. носивший титул герцога де Ровиго, был назначен министром полиции 3 июня 1810 г.

466 Примечание Огюста де Сталя: «Г-н де Корбиньи, человек любезный и просвещенный» (примечания О. де Сталя здесь и далее приводятся по изд.: *DAE- 1821)*. Луи-Антуан-Анж Шикуале де Корбиньи (1771–1811), некогда протеже философа Кондорсе, занимал должность префекта департамента Луар и Шер с 1800 г. и держался весьма толерантно и демократично; он с удовольствием бывал «при дворе» г-жи де Сталь в Шомоне и Фоссе, принимал ее в своем доме и потому с большой неохотой участвовал в истории с изъятием рукописи *ОГ* (см. ниже).

467 В 1810 и 1811 гг. намерение направиться в Англию через Америку, где у г-жи де Сталь имелась собственность (см. примеч. 454), было, по-видимому, вполне серьезным: в январе 1810 г. она даже получила паспорт для отъезда в Соединенные Штаты (см.: *Balayé.* P. 194), а осенью 1811 г. просила о его возобновлении (см. примеч. 524).

468 Г-жа де Сталь просила разрешения дождаться в Вандоме (неподалеку от Блуа) окончания печатания *ОГ*. Когда в 1811 г. Матье де Монморанси (см. примеч. 472) был выслан из Парижа за посещение в Швейцарии г-жи де Сталь (см. примеч. 537) и поселился в Вандоме, та писала г-же Рекамье: «Я тоже мечтала

жить в Вандоме, но тщетно. То, что казалось нам мукой, вследствие ударов судьбы обращается в счастье. Наступает время, когда малейшая частица жизни кажется благом; я знала паралитика, который почитал за счастье возможность пошевелить кончиками пальцев» (цит. по: *Lenormant.* P. 219). Пребывание г-жи де Сталь в окрестностях Вандома нашло отражение в повести Бальзака «Луи Ламбер» (1832–1835), где знаменитая писательница беседует с юным заглавным героем и называет его «истинным ясновидцем»; сам Бальзак в 1810 г. учился в Вандомском коллеже вместе с одним из сыновей владельца поместья Фоссе графа де Салаберри (см.: *Balzac H. de.* Œuvres complètes. P, 1980. T. 11. P. 1517).

469 Сталь ведет отсчет от своего первого пребывания в Германии в 1803–1804 гг.; работа над текстом *ОГ* началась летом 1808 г.

470 Это прежде всего тезис о сосуществовании в литературе двух разных типов поэзии — классической (восходящей к языческой поэзии древних) и романтической (восходящей к поэзии средневековой, христианской и рыцарской); в современности наследниками первой являются французы, наследниками второй — немцы, причем в этой второй, «германской» поэзии автор *ОГ* находила много достоинств. Мысль эта впервые была высказана г-жой де Сталь в *ОЛ,* однако в *ОГ* она приобрела гораздо более отчетливую и смелую форму Кроме того, эгоизму и цинизму современных «последователей Макиавелли» (в которых было нетрудно узнать защитников теории «государственного интереса», столь любезной сердцу Наполеона; см. примеч. 394) Сталь противопоставила в *ОГ* энтузиазм и бескорыстие, пропагандистами которых, по ее мнению, являются немецкие поэты и, главное, философы.

471 5 февраля 1810 г. был принят декрет о предварительной цензуре книг. Издатель Габриэль-Анри Николь (1767–1829), приобретший у г-жи де Сталь рукопись *ОГ* за 13 000 франков, решил представлять рукопись в цензуру том за томом; первый том был послан цензорам 7 мая, второй — 8 августа. 15 сентября Николь отправил цензорам часть третьего тома, а сам тем временем пошел на риск и, не дожидаясь окончательного одобрения книги в целом, отпечатал тираж двух первых томов (по 5000 экземпляров каждого). Между тем цензоры Пелленк и Деласаль, ознакомившись с рукописью, дали свой отзыв о ней 26 сентября 1810 г. Они с неодобрением отметили «антифранцузскую направленность» нового сочинения Сталь и его «странный» язык, однако констатировали, что идеи, которые при их развитии могли бы стать опасными, рассеяны по всему тексту

и указать на них трудно, а потому сочли, что при внесении самых незначительных изменений рукопись может быть напечатана (их отзыв см.: CS. № 19. P. 27–30); в 1813 г., когда г-же де Сталь все-таки удалось издать *ОГ* в Лондоне, она отметила все фрагменты, вызвавшие опасения у цензоров, и с тех пор *ОГ* переиздается с этими примечаниями. Однако мнение цензоров уже мало что значило, ибо накануне министр полиции, еще прежде по приказу императора затребовавший у типографа Мама гранки *ОГ,* арестовал — опять-таки по приказу императора, успевшего к 23-му, самое позднее к 24 сентября познакомиться с текстом книги Сталь, — все отпечатанные экземпляры (см.: CS. № 19. P. 19–20).

[472] С Матье-Жаном-Фелисите, виконтом, а затем герцогом де Монморанси- Лавалем (1767–1826) г-жа де Сталь дружила еще с дореволюционной эпохи; в донесении французского резидента в Женеве Депорта от 19 июня 1796 г. Монморанси наряду с Констаном назван «задушевнейшим агентом» Сталь в Париже (CS. № 44. P 54); знакомством с ним навеян сюжет не опубликованной при жизни трагедии «Монморанси» (см.: *ОС.* T. 1. P. LIII). После смерти мужа г-жи де Сталь Монморанси стал опекуном ее детей; его имя было окружено для Сталь особым ореолом еще и потому, что он находился в Коппе в пору ее последнего свидания с Неккером: «он видел, как батюшка входил в малейшие подробности моей судьбы, видел, как он меня благословил» *(ОС.* T. 17. P. 105). Имение Матье де Монморанси называлось Годиньер; располагалось оно во Фретвальском лесу примерно в 50 километрах от Блуа и в 25 километрах от Вандома.

[473] Сражение, в котором 5 июля 1194 г. Филипп-Август был разбит английским королем Ричардом Львиное Сердце; г-жа де Сталь интересовалась этой эпохой и собиралась посвятить ей эпическую поэму (см. примеч. 652).

[474] Матье де Монморанси отличался большой набожностью; он состоял членом Конгрегации — основанного в 1801 г. собрания благочестивых католиков, посвященного Пресвятой Деве, а в том самом 1810 г., о котором идет речь в тексте г-жи де Сталь, был избран «великим мастером» Ордена рыцарей веры — тайного общества, созданного роялистом и ревностным католиком Фердинандом де Бертье по образцу масонских лож и рыцарских орденов для борьбы против Наполеона.

[475] Примечание Огюста де Сталя: «Замок Конан, принадлежащий г-ну Шевалье, ныне префекту департамента Вар». В 1810 г. Жан-Жорж-Луи-Арман Шевалье де Конан (род. 1778) был аудитором Государственного совета; префектом он стал в эпоху Реставрации, в 1818 г.

[476] Примечание Огюста де Сталя: «Встревоженный

отсутствием матушки, я оседлал коня и отправился ей навстречу, дабы смягчить, насколько можно, горечь той вести, какую ей предстояло узнать, но вслед за ней заблудился среди однообразных вандомских равнин и лишь глубокой ночью по счастливой случайности добрался до ворот замка, где она нашла приют. Я разбудил г-на де Монморанси и, сообщив ему о новых преследованиях, каким полиция подвергла матушку, поскакал в Фоссе, чтобы переправить в надежное место ее бумаги, а г-ну де Монморанси предоставил готовить матушку к новому удару, на нее обрушившемуся».

[477] Граф де Салаберри (см. примеч. 455), который сопровождал г-жу де Сталь в этой поездке.

[478] Сталь слегка сдвигает реальную хронологию событий: возвращаясь в Фоссе из замка Конан (где она провела ночь с 26 на 27 сентября), она узнала не об уничтожении книги, а только об аресте набора и отпечатанных листов, а также о том, что ей самой приказано покинуть Францию (даже не в три, а в два дня). Приказ этот, отданный 24 сентября 1810 г., исходил формально от министра полиции Савари, по сути же от самого Наполеона. Именно это «особенное обстоятельство» (слова Савари из его письма к коллеге, министру внутренних дел Монталиве) заставило министра полиции нарушить закон, согласно которому он имел право арестовать тираж только в том случае, если автор отказался выполнить указания цензора, а издатель или типограф отпечатали тираж без разрешения директора Книжного департамента. Решение пустить тираж *ОГ* под нож и рассыпать набор было принято несколько позже; сама Сталь узнала о нем 3 октября от своего сына Огюста, которому сообщил об этом решении Савари при их свидании (см. примеч. 493).

[479] Спасением рукописи и корректурных листов занимались в ночь с 26 на 27 сентября 1810 г. Огюст де Сталь и компаньонка г-жи де Сталь Фанни Рендал (см. о ней примеч. 482).

[480] Г-жа де Сталь надеялась не только на успех среди публики, но и на смягчение своей участи — надежда, иллюзорность которой была очевидна большинству ее друзей. Дело в том, что и в сфере литературы, и в области морали (см. примеч. 470) Сталь в *ОГ* шла наперекор тем тенденциям, какие насаждал среди своих подданных Наполеон. Особенное раздражение вызывал «антифранцузский» дух *ОГ,* восхваление иностранных образцов (прежде всего, недавно побежденной Германии), выглядевшее крайне неуместным в ту эпоху, когда, по выражению г-жи Неккер де Соссюр, французский язык во всем мире считался родным для образованного общества, а французских авторов читали и играли на сцене во всех странах, и,

следовательно, «говорить с французами нелицеприятно было то же, что говорить истину королям» *(ОС.* Т. 1. P. CXLIX). «Германофильство» г-жи де Сталь выглядело особенно вызывающе в силу ее симпатии к тем немецким мыслителям, которых полицейские донесения квалифицировали как «фанатических поклонников независимости» и «агентов Англии»: Ф. Генца, Фихте, братьев Шлегелей и др. (См.: *CS.* № 44. P. 93, 118; *CS.* № 19. P. 62–63). Кроме того, в некоторых фрагментах книги легко прочитывались политические антинаполеоновские аллюзии; таковы прежде всего портреты двух тиранов из пьес З. Вернера: Карла V и Аттилы (ч. 2, гл. 24). Современники остро ощущали этот смысл книги; не случайно именно портрет Аттилы пользовался особенной популярностью сразу после падения Наполеона: он был переиздан отдельной брошюрой в 1814 г., он же оказался первым фрагментом *ОГ,* в начале июля 1814 г. переведенным на русский язык (см.: *Заборов.* С. 185–186). Сталь, однако, в 1810 г. была уверена в том, что *ОГ* переменит ее судьбу к лучшему, и незадолго до катастрофы с арестом тиража написала императору письмо, в котором рекомендовала ему свою книгу о Германии как сочинение, свидетельствующее об уме «зрелом и способном к размышлению», и просила о получасовом свидании, в ходе которого надеялась получить у императора дозволение жить в деревне в окрестностях Парижа (см.: *Chateaubriand.* Т. 2. P. 1898–1900).

[481] Ср. в воспоминаниях современницы: «Письменного стола у нее [г-жи де Сталь] не было; и книги, и письма она сочиняла, пристроив на коленях маленький письменный прибор из зеленого сафьяна, который носила за собой из комнаты в комнату» *(Boigne, comtesse de.* Mémoires. P., 1986. Т. 1. P. 176).

[482] Примечание Огюста де Сталя: «Мадемуазель Рендал». Фанни (наст, имя Френсис) Рендал (1777–1833) поселилась в Женеве вместе с сестрой, вышедшей замуж за женевца, зимой 1801–1802 гг. Б декабре 1808 г. г-жа де Сталь наняла ее в качестве гувернантки для Альбертины; очень скоро мисс Рендал сделалась конфиденткой писательницы и не расставалась с ней до самой ее смерти (исключая 1812–1814 гг.); после смерти г-жи де Сталь мисс Рендал жила в семье Альбертины, вышедшей замуж за герцога де Броя. Адальберт Шамиссо, наблюдавший Фанни Рендал в Шомоне и Фоссе, характеризует ее как «англичанку холодную, неуступчивую, круглую как шар, […] толстую, уродливую, угрюмую, ворчливую, резкую, ревнивую, обожающую г-жу де Сталь до безумия или, по крайней мере, убеждающую себя в этом, между тем как г-жа де Сталь сносит ее общество по доброте душевной» (*Riegel.* P. 324).

[483] Одновременно Корбиньи сообщил г-же де Сталь приказ министра полиции о ее немедленном отъезде. Она заверила его, что намерена выехать в Соединенные Штаты, и попросила о небольшой отсрочке для устройства личных дел. В реальности предоставленную ей недельную отсрочку она и ее друзья использовали для того, чтобы переправить в надежное место рукописи и корректурные листы. Снисходительность Корбиньи немало способствовала успеху предприятия; в вычеркнутой фразе Сталь упомянула «префекта, которого ныне нет на свете, что и позволяет мне хвалить его, не боясь ему повредить: он тайно предупредил моих друзей через одного доброго священника, и это позволило им спасти мои бумаги» (DAE-*1996*. P. 497). В результате г-же де Сталь удалось уберечь от полиции три экземпляра рукописи (два варианта текста *OT,* написанные самой г-жой де Сталь, а также копию с ее обильной правкой, по которой и производился набор в парижской типографии), два экземпляра отпечатанных листов книги (которые она провезла через всю Европу в Англию), а также один переплетенный экземпляр издания 1810 г., который через Августа Вильгельма Шлегеля был переправлен в Вену и по сей день хранится в Университетской библиотеке австрийской столицы (см. подробнее: CS. № 19. P. 71–72: СУ № 44. P. 99).

[484] Корбиньи скончался от горячки 29 апреля 1811 г.; Наполеон выразил ему свое «неудовольствие» не только в связи с делом г-жи де Сталь, но и потому, что префект недостаточно бдительно следил за некоторыми местными дворянами и испанскими принцами, интернированными в замке Балансе (см. примеч. 380).

[485] Альбертине 8 июня 1810 г. исполнилось 13 лет (см. примеч. 44).

[486] Текст этого письма г-жи де Сталь к Савари, герцогу де Ровиго, датируемого ориентировочно 29 сентября 1810 г. (СУ № 19. P. 39), см.: DAE-*1904*. P. 401–403. Сталь всячески подчеркивает здесь свою законопослушность и, следовательно, необоснованность обрушившейся на нее кары: «Я добровольно представила свою книгу в цензуру, меж тем как за границей мне повсеместно предлагали издать ее; понятно, что я не желала оставить в ней ни единой строки, не угодной правительству. Г-н де Порталис [директор Книжного департамента] попросил меня внести изменения в первый том, и я повиновалась. Г-н де Порталис дозволил печатание первого и второго тома; издатель начал печатание лишь после того, как получил на то разрешение; неужели он обречен на разорение — а разорение это неминуемо — лишь потому, что доверился разрешению, выданному Книжным

департаментом? Я знаю, что новый декрет позволяет министрам накладывать арест даже на те произведения, которые уже прошли цензуру; однако можно ли наказывать автора, исполняющего все предписания властей? И возможно ли, чтобы декрет Императора перестал служить путеводной нитью? Не стану говорить Вам, господин герцог, об уничтоженном в одно мгновение плоде шестилетних трудов и разысканий, которые казались мне весьма полезными; я привыкла страдать; спрошу о другом: возможно ли, чтобы запрещению подверглась книга, посвященная немецкой литературе? Если требуется внести в нее изменения, достаточно мне об этом сообщить. Если я смогу внести их, не искажая духа всей книги, я это сделаю; однако разве выполняют такую работу в экипаже? А между тем, если данный мне приказ немедленно уехать не будет отменен, иного прибежища у меня не останется».

[487] См. наст, изд., с. 70.

[488] Это письмо г-жа де Сталь впервые опубликовала в 1813 г. в предисловии к лондонскому изданию *ОГ,* и оно традиционно печатается во всех изданиях этой книги; однако писательница намеревалась поместить его и в текст «Десяти лет»; это ее намерение исполнил при первой публикации Огюст де Сталь.

[489] Комментарий г-жи де Сталь в предисловии к *ОГ,* датированном 1 октября 1813 г.: «Генерал Савари утверждает, *что французы не дошли еще до того, чтобы брать за образцы пароды, кои приводят меня в восхищение;* к числу народов этих принадлежат в первую голову англичане и — во многих отношениях — немцы. Не думаю, однако, чтобы я заслужила упреки в нелюбви к Франции. Слишком сильно печалилась я о разлуке с местами, где осталось у меня столько привязанностей, столько людей, милых моему сердцу! Однако эта любовь — быть может, чересчур страстная — к стране столь блистательной и к ее исполненным острого ума обитателям не могла помешать мне восхищаться Англией. Страна эта, подобно рыцарю, взявшему на себя защиту общественного порядка, в течение десяти лет охраняла Европу от анархии, а в течение следующих десяти лет — от деспотизма. В начале Революции ее Конституция составляла для французов предмет надежд и цель устремлений; тому, чего хотели они тогда, я сохраняла верность и в последующие годы» (*DA*. Т. 1. Р. 40; об англофильстве г-жи де Сталь см. примеч. 147). Что же касается отсутствия в книге восхваления Наполеона, в обществе ходили устойчивые слухи о том, что именно это является главной причиной запрещения книги; Сталь, со своей стороны, объясняла, что не хочет льстить императору, потому что выступает по отношению к нему просительницей: от него зависело и ее возвращение в Париж, и возвращение ей денег,

которые Неккер когда-то ссудил французскому королевству (см.: *CS*. № 19. P. 41–42).

490 Комментарий г-жи де Сталь в предисловии к *ОГ*: «Хотя генерал Савари объявил в своем письме, что книга моя *писана не французским пером,* не в нем вижу я представителя Франции и потому вверяю сочинение, в котором я, по мере сил, стремилась прославить плоды ума человеческого, французам, какими знала их прежде» (*DA*. T. 1. P. 41). Л. Пенго видел в настойчивом причислении Наполеона к числу корсиканцев, то есть не французов (см. примеч. 247), своего рода месть г-жи де Сталь за этот отказ считать ее француженкой (*Pingaud*. P. 736).

491 После уничтожения тиража издатель Николь попросил г-жу де Сталь вернуть ему 13 000 франков, которые он заплатил ей за рукопись, и она выполнила эту просьбу (см.: *DAE-1996*. P. 423).

492 Примечание г-жи де Сталь: «Понять смысл этой приписки нетрудно: она имела целью закрыть мне путь в Англию». Все четыре перечисленных Савари порта располагаются в Бискайском заливе.

493 Беседа Савари с Огюстом де Сталем состоялась 3 октября 1810 г., в тот же день, когда было написано письмо министра полиции к г-же де Сталь.

494 Савари ведет отсчет от 1792 г.: в апреле этого года революционная Франция объявила войну Австрии, а летом Австрию поддержала Пруссия.

495 Именно поэтому г-жа де Сталь в переписке именовала *ОГ* «сожженной»; на самом деле набор книги 11 октября был рассыпан, а тираж 14–15 октября пущен под нож. О том, как это происходило, Сталь рассказала в предисловии к английскому изданию книги: «Министр полиции, известный под именем генерала Савари, послал жандармов к книгопродавцу, приказав им уничтожить весь тираж, а около всех выходов из склада поставить часовых, чтобы ни один экземпляр этого опаснейшего сочинения не попал на волю. Наблюдение за этой военной операцией генерал Савари поручил полицейскому комиссару; операция увенчалась полной победой, однако несчастный комиссар умер: слишком тяжело дался ему надзор за уничтожением огромного множества томов или, вернее сказать, их превращением в чистейшее сырье, не несущее на себе никаких следов человеческой деятельности» (*DA*. T. 1. P. 38). Первое издание *ОГ,* дошедшее до читателя, появилось в ноябре 1813 г. в Лондоне; первое парижское издание (у того же Николя) вышло в мае 1814 г.

496 Г-жа де Сталь приехала в Блуа из замка Фоссе, чтобы получить паспорт для отъезда в Коппе, 6 октября 1810 г.; письмо

Савари она получила в Фоссе 5 октября.

[497] Фраза эта была сказана во время встречи Савари с Огюстом де Сталем (см. примеч. 493).

[498] Расстояние от Орлеана до Парижа равняется 25 лье. Г-жа де Сталь прибыла в Орлеан 7 октября. Затем, заехав в город Бриар для встречи с Б. Констаном, она через Осерр, Дижон, Доль и Лозанну направилась в Коппе, куда добралась 25 октября. Памятник Жанне д'Арк, который видела г-жа де Сталь в Орлеане в 1810 г., был установлен там в 1804 г.; автором его был скульптор Эдм Гуа (1765–1836); в 1855 г. этот памятник был заменен другим, работы Дени Фуатье, который стоит в Орлеане и поныне. В *ОГ* (ч. 2, гл. 19) несколько страниц посвящены Жанне д'Арк как главному действующему лицу «романтической трагедии», в которой Шиллер вступился за честь французской героини, опороченную в «Орлеанской девственнице» Вольтера.

[499] Страдания г-жи де Сталь усугубляло то обстоятельство, что высылка из Франции разлучила ее с тогдашним возлюбленным, Петром Федоровичем Балк-Полевым, российским подданным, который с 1809 г. жил во Франции; ее письма к Балку от октября 1810 г. см.: *Balayé S.* Un amour inconnu de Madame de Staël // *CS.* № 2. P. 4–33. Балк обещал приехать к г-же де Сталь в Коппе, но испугался прогневить Наполеона.

[500] Условия жизни военнопленных в эпоху Империи были различны для солдат и офицеров; солдат использовали на принудительных работах; офицеры, давшие честное слово не пытаться убежать, пользовались частичной свободой, и лишь если они все-таки предпринимали такую попытку, их запирали в крепость. К концу правления Наполеона число британских подданных, содержавшихся в плену на территории Франции, равнялось приблизительно 17 000 (из них 16 000 военных и одна тысяча штатских); число пленных испанцев доходило до 50 000.

[501] Этот город г-жа де Сталь осенью 1810 г. не проезжала; о тамошних тюрьмах она знала от Матье де Монморанси и его кузена Адриана де Лаваля, которые в 1811 г. побывали во всех тюрьмах для государственных преступников, где содержались пленные испанцы, — гласно с филантропической целью, а негласно для того, чтобы выяснить настроения узников и в дальнейшем попытаться привлечь их на свою сторону, если во Франции начнется антинаполеоновский мятеж (см. мемуарную записку Адриана де Лаваля в: *Herriot.* P. 259–263).

[502] Примечание Огюста де Сталя: «Мадемуазель де Сен-Симон». Маркиз Клод-Анн де Сен-Симон (1743–1820), в 1789 г. депутат Генеральных штатов, эмигрировал в Испанию и в 1808 г. участвовал в обороне Мадрида от французов; попав в плен, он

был приговорен к смерти и помилован лишь благодаря своей дочери, которая вымолила у Наполеона замену смертной казни тюремным заключением; Сен-Симон вышел на свободу в 1814 г. и вернулся в Испанию. О пребывании маркиза и его дочери в безансонской крепости г-жа де Сталь знала от Матье де Монморанси, который в 1811 г. навестил его там (см. предыдущее примеч.).

503 См. примеч. 218.

504 Реминисценция из скандинавской мифологии, о чем свидетельствует запись в одной из записных книжек: «Ад Одина — ледяной, адский холод»; эту информацию г-жа де Сталь почерпнула из книги Ла Токне «Прогулки француза по Швеции и Норвегии» (1801), имевшейся в ее библиотеке; см.: *DAE-1996*. P. 430, 433; впрочем, столь же вероятны здесь и реминисценции из Данте; ср. в *РФР* (ч. 4, гл. 19): «Восхитительная стойкость императора Александра, отказавшегося от мира, который Бонапарт, по своему обыкновению, предложил ему, находясь на вершине славы; энергия русских, которые сожгли Москву, дабы мученичество святого города спасло христианский мир, разумеется, много способствовали бедствиям, какие испытали войска Бонапарта при отступлении из России. Однако уничтожить армию Ксеркса было по силам одному только холоду, адскому холоду, какой описан у Данте» *(CRF.* P. 430).

505 Источник цитаты из Лафонтена см. в примеч. 341; в Ветхом Завете радуга названа «знамением вечного завета» между Богом и землей (Бытие 9:8-17); радуга явилась Ною и его сыновьям после окончания потопа, сходным образом и Сталь надеялась, что радуга предвещает ей окончание бедствий.

506 Поскольку, в отличие от Коппе, располагавшегося на территории швейцарского кантона Во, Женева входила в состав *французского* департамента Леман, по точному смыслу императорского приказа г-жа де Сталь лишалась возможности бывать в этом ближайшем к Коппе крупном городе. В конце октября 1810 г., когда Сталь добралась до Коппе, должность префекта департамента Леман с 10 декабря 1802 г. занимал ее давний знакомец Клод-Иньяс Брюжьер де Барант, который, хотя и не одобрял любовной связи писательницы с его сыном Проспером де Барантом (см. примеч. 381), относился к г-же де Сталь с уважением и симпатией (его донесения о г-же де Сталь сразу после ее возвращения в Коппе см.: *CS.* № 19. P. 64–65, 73–74). В ответ на запрос Баранта о праве г-жи де Сталь бывать в Женеве Савари ответил, что ей дозволяется жить в этом городе, «и только»; вследствие этого 26 ноября г-жа де Сталь с семьей обосновалась в Женеве и провела там зиму.

[507] Впоследствии из этого правила были сделаны исключения: около 10 апреля 1811 г. префект Капель известил Ровиго, что старший сын г-жи де Сталь, «имеющий здесь репутацию юноши с хорошими принципами, просвещенного, благонамеренного, воздержанного и дающего г-же де Сталь превосходные советы», просит выдать ему паспорт для короткой поездки в Париж, и 18 апреля Савари разрешил Капелю удовлетворить просьбу Огюста (см.: *CS.* № 44. P. 100–101).

[508] См. примеч. 286.

[509] О степени осведомленности Савари свидетельствует его письмо к префекту Баранту от 27 октября 1810 г.: «По моему приказанию г-жа де Сталь возвратила мне два экземпляра корректурных листов первого и второго тома своего сочинения о Германии, а равно и одну рукопись. Она утверждала, что гранки третьего тома были арестованы и у нее их нет. Меж тем, согласно показаниям книгопродавца Николя, ей были отправлены три экземпляра всех отпечатанных листов; один из них она возвращала типографу с собственной правкой, из чего следует, что у нее остались еще два экземпляра листов третьего тома. Вдобавок я знаю из верного источника, что уже после того, как она возвратила корректурные листы двух первых томов, в ее руках оставался один том — по всей видимости, составленный из листов третьего тома. Что же касается рукописи, которая была мне возвращена, это не оригинал, а копия, в которой мало что написано рукою самой г-жи де Сталь» (CS. № 19. P. 67). О рукописях и верстках, сохранившихся у г-жи де Сталь, см. примеч. 483.

[510] Баранта-старшего отставили с должности префекта департамента Леман в конце ноября 1810 г., однако вплоть до февраля 1811 г., когда его преемник Капель переехал в Женеву, он продолжал исполнять обязанности префекта. Причиной отставки Баранта было, по всей вероятности, желание Наполеона поставить на его место человека более жесткого и способного осуществлять более строгий надзор над изгнанной из Франции писательницей.

[511] Гийом-Антуан-Бенуа Капель (1775–1843) принадлежал «к тому более чем распространенному типу оппортунистов, которые служат каждому следующему повелителю с еще большей угодливостью, нежели предыдущему» *(Yvert B.* Dictionnaire des ministres, 1789–1989. P., 1990. P. 112). В самом деле, Капель никогда не шел наперекор мнению властей: в начале Революции он ревностный республиканец; при Империи — вернейший слуга Наполеона, получивший за преданность титул барона; в эпоху Реставрации — ультрароялист, в мае — июле 1830 г. — министр

общественных работ в ультраконсервативном кабинете Полиньяка, чья политика послужила причиной Июльской революции (Капель избежал суда, которому подверглись другие министры Карла X, только потому, что сумел бежать за границу). До назначения на пост префекта департамента Леман (30 ноября 1810 г.) Капель был префектом Средиземноморского департамента. На старом месте, в Ливорно, он скомпрометировал себя любовной связью с Элизой Баччоки, сестрой Наполеона, с 1809 г. великой герцогиней Тосканской (именно эта связь и послужила причиной его отставки), и теперь страстно желал выслужиться перед императором, а потому преследовал г-жу де Сталь с особой жестокостью. Любопытно, что через двадцать с лишним лет после описываемых событий Капель, в полном противоречии с фактами, изображал себя защитником г-жи де Сталь: летом 1835 г. в Лондоне он рассказывал А. И. Тургеневу, что «хлопотал за m-me Staël, но без успеха. Он уговорил ее поподличать перед Наполеоном и обещать Наполеону талант свой в пользу его славы. Она написала из швейцарской ссылки письмо к грозному владыке, но в это время Шатобриан сказал свою речь в Институте, рассердил ею Наполеона, который в гневе своем смешал его фразы с гермафродитическим талантом m-me Staël и отвечал Капелю так, что тот едва не подал в отставку за обидный ответ ему на ходатайство Сталь» (*Тургенев А. И.* Хроника русского. М.; Л., 1964. С. 63; речь Шатобриана по случаю его избрания во Французскую академию была запрещена Наполеоном за излишнее свободомыслие).

512 Капель иначе описывал содержание своих бесед с г-жой де Сталь: «Она то и дело заводила со мною разговор о своем сочинении, посвященном Германии; более всего ей хотелось узнать, прочел ли его сам император. Я избегал прямого ответа; наконец, по всей вероятности чтобы вынудить меня объясниться, она сказала: „Сударь, если бы император прочел мою книгу, то не запретил бы ее, ибо там нет ни единого слова, направленного против него“. На это я счел своим долгом ответить: „Сударыня, император слишком велик, чтобы не презирать все нападки на него самого, но его, полагаю, оскорбило все, что в этом сочинении направлено против французского народа“. Она попыталась опровергнуть это обвинение, но не могла не согласиться, что в книге своей хвалит немцев и унижает французов» (*CS*. № 44. P. 99). Об отсутствии в *ОГ* комплиментов императору см. примеч. 489.

513 Ср. в письме Сталь к Анри Мейстеру от 5 октября 1811 г.: «Мне опять предлагали поправить кое-что в сожженном [так Сталь в переписке называла рукопись *ОГ*], кое-что выбросить, кое-

что добавить, переменить название и выпустить в свет; но у меня не осталось ни таланта, ни мыслей, ни вдохновения; я утратила способность действовать, что вовсе не в моем характере» (*Meister*. P. 221–222). Ср. также свидетельство одного из первых биографов г-жи де Сталь, Ш.-И. Кузена д'Авалона, опубликованное еще до первого издания «Десяти лет»: «…вскоре после запрещения ее книги „О Германии“ один префект [Капель] сделал мне на ее счет несколько полуофициальных признаний, из коих следовало, что единственный способ положить конец ее изгнанию или, по крайней мере, смягчить его — напечатать что-либо во славу Наполеона и законности его династии. Предложение это возмутило г-жу де Сталь: не желая посвящать ни единой строки прославлению тирании, она решилась, невзирая на опасности, навсегда проститься с родиной и отправиться через Россию и Швецию в Англию» (*Cousin d'Avalon Ch.-Y.* Staelliana. P, 1820. P. 105–107).

514 Ныне Эксле-Бен; Сталь провела здесь две недели — с 14 по 26 мая 1811 г.

515 Савари узнал об отъезде г-жи де Сталь не из донесений Капеля, а из другого источника (по всей вероятности, от префекта департамента Мон-Блан). Чтобы обелить себя, Капель в донесении от 22 мая 1811 г. заверяет министра полиции, что г-жа де Сталь выехала из Женевы позже, чем это произошло на самом деле («два или три дня назад», тогда как в действительности Сталь покинула Женеву 10 мая), и даже пытается отчасти оправдать ее: «Не думаю, чтобы на сей раз следовало отдавать приказ о ее аресте, ибо до сих пор ей еще не было объявлено положительно, что она не имеет права бывать где бы то ни было, кроме Коппе или Женевы, даже в самых близких окрестностях. Эксские воды отстоят от этих краев всего на несколько лье» (*CS*. № 44. P. 102; между тем от Женевы до Экса примерно 80 километров, или 20 лье). Получив приказ возвратиться, г-жа де Сталь 24 мая ответила, что находит его «пожалуй, чересчур странным», но что она «завтра или послезавтра» намерена выехать в Женеву, оставив Альбера на водах (см.: *DAE-1904*. P. 185).

516 Антуан-Бернар Фино (1780–1844), назначенный на этот пост 30 ноября 1810 г.

517 Неологизм г-жи де Сталь; если слово «префект» как обозначение должности главного администратора департамента вошло в язык в 1800 г., когда эти должности были созданы, то производное от него прилагательное стало употребительным во французском языке позже, в 1815 г. (см.: Trésor de la langue française. P., 1988. T. 13. P. 1042; авторы словаря приводят в

качестве источника политический памфлет «Словарь флюгеров»).

518 О подданстве г-жи де Сталь см. примеч. 331.

519 На самом деле Шлегель жил в семье г-жи де Сталь в качестве наставника ее детей не восемь, а семь лет: его порекомендовал г-же де Сталь в 1804 г. в Берлине Гёте. Сталь была сильно увлечена новым знакомцем; 1 апреля 1804 г. она писала из Берлина г-же Неккер де Соссюр: «Угадайте, кто в этом городе заинтересовал меня более всего? Прославленный принц Людвиг? Нет. Знатные господа, встречающиеся здесь во множестве? Нет. Профессор, немецкий профессор!» (цит. по: *DAE-1904*. P 394). Об истории их отношений, которые не прерывались до самой смерти Сталь и в которых литература и политика были перемешаны с влюбленностью Шлегеля в сочинительницу «Коринны» и «Дельфины», см.: *Pange, comtesse Jean de.* A.-G. Schlegel et Madame de Staël. P, 1938. Получив от Савари приказ об изгнании Шлегеля из Коппе и Женевы, Капель в донесении от 22 мая 1811 г. горячо благодарил министра полиции за «позволение принять эту строгую меру; удаление этого человека произведет наилучшее действие как в Женеве, так и в доме г-жи де Сталь» (*CS*. № 44. P. 103). 10 июня Капель извещал министра о том, что выписал Шлегелю паспорт для возвращения на родину, в Саксонию.

520 Брошюра А. В. Шлегеля «Сравнение „Федры“ Еврипида с „Федрой“ Расина» вышла на французском языке в Париже осенью 1807 г. Критика условностей французского классицизма, на которую осмелился немецкий литератор, вызвала весьма резкую оценку парижской прессы, причем анонимный автор цикла статей, опубликованных в феврале — марте 1808 г. в «Журналь де л’Ампир», не скрывал, что уделяет столько внимания этой брошюре по причине связей ее автора с «одной прославленной француженкой» (*DAE-1904*. P 187). О Шлегеле как «хулителе французской словесности», оказывающем пагубное влияние на г-жу де Сталь, писал в своем отчете еще цензор ОГ Пелленк (см.: *CS*. № 19. P 28).

521 Капель в донесениях министру полиции неизменно подчеркивал вредное влияние А. В. Шлегеля на г-жу де Сталь: 28 сентября 1811 г. он писал, что «если г-жа де Сталь отправится в Америку в обществе этого человека, следует ожидать от нее новых сочинений в нежелательном духе», а 12 ноября 1811 г. — что Шлегель «способен принести много вреда, особенно если г-же де Сталь будет дозволено выехать в Италию. Не то чтобы я считал его человеком злым или очень опасным, но он в высшей степени проникнут духом *германским, антифранцузским,* и хотя он готов исполнять все приказы дамы де Сталь и называет себя ее

вольноотпущенником, эрудиция его вкупе с твердым характером имеют большое влияние на сию даму, которая не обладает в должной мере ни тем, ни другим» (*CS*. № 44. P. 108, 115). Причиной удаления Шлегеля было не только желание навредить г-же де Сталь, но и связи немецкого литератора с теми немецкими общественными деятелями, которых парижская официальная газета «Монитёр» еще в 1809 г. именовала интриганами и «авантюристами, каких Англия содержит на континенте для разжигания распрей» (Ibid. P. 104), иначе говоря, сторонниками независимости Германии — Ф. Генцем, Ф. Шлегелем и др.; именно эти симпатии самой Сталь явились одной из причин запрещения *ОГ* (см. примеч. 480). Изгнанный из Коппе, Шлегель отправился в Вену, где передал брату Фридриху спасенный от французской полиции экземпляр *ОГ* (см. примеч. 483), а затем обосновался в Берне (*Lenormant*. P. 193).

522 Г-жа де Сталь, гораздо больше привязанная к отцу, чем к матери, вначале написала в этом месте «могилу отца» и лишь затем исправила первоначальный вариант (см.: *DAE-1996*. P. 498). Ср. характерную проговорку, свидетельствующую о силе ее чувства, в сочинении «О характере г-на Неккера и его частной жизни»: «Разумеется, батюшка до последнего дня жизни глубоко почитал матушку и сохранял величайшую к ней привязанность; однако блаженство мое заключалось в том, что в течение нескольких лет эта великая душа принадлежала мне и моим детям почти исключительно…» (ОС. Т. 17. P. 93–94). См. также примеч. 563.

523 Речь идет о Бернадоте, который 21 августа 1810 г. был избран наследником шведского престола. В войну против Наполеона Швеция вступила летом 1813 г. (см. примеч. 823).

524 Г-жа де Сталь обдумывала путь в Англию через Россию еще в 1809 г.: 17 марта в письме к князю фон Шварценбергу она спрашивала, не может ли князь помочь «одному семейству, мне близкому, попасть в Англию через Ригу или Петербург», имея в виду себя и свою семью (см.: *Ullrichova.* P. 83). Затем в 1811 г. (в письме из Коппе от 23 июля) она просит великую герцогиню Веймарскую Луизу через ее невестку, сестру российского императора Марию Павловну, похлопотать о русском паспорте для поездки в Ригу, причем подчеркивает, что разрешение должно быть выдано втайне от французского правительства, которое стало бы мешать отъезду (см.: *Lenormant.* P. 188). По-видимому, еще осенью 1811 г., после отъезда Шлегеля, Сталь приняла решение бежать в Англию через Россию и с удвоенным усердием просила выдать ей паспорта для отъезда в Америку или Италию (см.: *CS.* № 44. P. 109–116) преимущественно для того,

чтобы сбить со следа французскую полицию.

[525] По Пресбургскому мирному договору (1805) Тироль, до этого принадлежавший Австрийской империи, был передан Баварии, которая в 1806 г. вошла в состав Рейнского союза под протекторатом Наполеона, однако тирольцы не захотели с этим смириться и подняли восстание под руководством Андреаса Гофера (см. примеч. 576), подавленное французскими войсками. В 1814 г. Тироль возвратился в состав Австрии.

[526] Австрийский император Франц I согласился выдать дочь за «корсиканца» Бонапарта; бракосочетание состоялось в Вене 11 марта 1810 г.

[527] Имеется в виду Меттерних, с октября 1809 г. министр иностранных дел Австрии; он активно способствовал заключению брака Марии-Луизы с Наполеоном — впрочем, вовсе не из симпатии к этому последнему (в котором видел воплощение ненавистной ему революции), а из соображений тактических.

[528] Поездка эта состоялась между 3 и 11 августа 1811 г.; г-жу де Сталь сопровождали ее сын Огюст, Матье де Монморанси и его кузен Адриан де Лаваль. Монморанси и Лаваль стремились побывать в траппистском монастыре, поскольку трапписты служили посредниками между французским духовенством, интересы которого представлял в данном случае набожный Матье, и римским папой Пием VII, который по приказу Наполеона содержался под арестом в итальянском городе Савона (см. примеч. 530); что же касается г-жи де Сталь, то она намеревалась в ходе этого путешествия тайно увидеться с высланным из Женевы А. В. Шлегелем (эта встреча состоялась во Фрибуре; см.: *Balayé*. P. 201). Монашеский орден траппистов (цистерцианцев строгого устава) был основан в середине XII в.; реформирован в 1664 г. аббатом Рансе, который возвратил траппистов, в XVII в. приобретших дурную славу одного из самых распущенных орденов, к первоначальному аскетизму: трапписты должны были хранить молчание, прерывая его лишь для молитв и песнопений, постоянно размышлять о смерти, питаться исключительно овощами и водой. В тех местах, где побывала в 1811 г. г-жа де Сталь, располагались на расстоянии 10 км один от другого, разделенные горным массивом Берра, два траппистских монастыря — мужской монастырь Валь-Сент, где трапписты, изгнанные из Франции во время Революции, обосновались в 1791 г. (в 1798 г. в связи с наступлением французских войск они вынуждены были его покинуть, но в 1803 г. возвратились на прежнее место), и женский Петит-Рьедера. Основателем обеих обителей был аббат Луи-Анри-Огюстен де Лестранж (1754–1827), с которым Матье де Монморанси, как сообщает г-жа де Сталь в

одном из вариантов, вычеркнутом ею из рукописи «Десяти лет», был знаком (см.: *DAE-1996*. P. 498). Эпизод посещения траппистского монастыря вполне реален, однако исследователи справедливо замечают, что его включение в текст «Десяти лет» преследовало цели символические и метафизические: образ монастыря, где люди максимально удалены от большого света и думают только о смерти, — это доведенная до предела, едва ли не до абсурда картина той жизни в изгнании, на которую Наполеон обрек г-жу де Сталь и от которой она спаслась бегством (см.: *Rosset F.* Madame de Staël et les paradoxes de l'autobiographie dans les *Dix années d'exil // CS.* № 48. P. 63–64).

[529] Примечание Огюста де Сталя: «Я сопровождал матушку в той поездке, о какой здесь идет речь. Потрясенный дикой красотой тамошних мест и увлеченный умным разговором принимавшего нас трапписта, я попросил позволения переночевать в монастыре, с тем чтобы наутро перейти пешком через перевал, осмотреть большой мужской монастырь Валь-Сент, а затем нагнать во Фрибуре матушку и г-на де Монморанси. Монах этот очень скоро догадался, что я ненавижу правление императора; мне показалось, что он разделяет мои чувства. Впрочем, поблагодарив трапписта за гостеприимство, я совершенно потерял его из виду и никак не мог предположить, что он меня помнит. Поэтому по прошествии пяти лет, в самом начале эпохи Реставрации, я был немало удивлен, получив от него письмо. Траппист писал, что теперь, после возвращения на престол законного государя, у меня наверняка много друзей при дворе, и просил меня походатайствовать о возвращении монахам его ордена имущества, каким они некогда владели во Франции. Письмо было подписано „Отец О[гюстен]… священник, прокурор Ордена траппистов“, а постскриптум гласил: „Если двадцать три года жизни в эмиграции и четыре кампании в составе полка конных егерей армии Конде дают мне право на королевские милости, прошу Вас помочь мне их добиться“. Я не мог не посмеяться как над представлениями доброго монаха о моей влиятельности, так и над выбором в качестве заступника не кого иного, как протестанта. Я передал его прошение г-ну де Монморанси, чья влиятельность была куда больше моей, и имею основания думать, что оно было удовлетворено. Вообще говоря, трапписты, поселившиеся в горных долинах кантона Фрибур, были вовсе не так далеки от политики, как можно было бы предположить, судя по их местопребыванию и одеянию. После я узнал, что через них осуществлялась переписка между французским духовенством и папой, в ту пору содержавшимся под арестом в Савоне. Обстоятельство это, разумеется, нисколько

не извиняет той жестокости, с какой обошелся с монахами Бонапарт, но оно ее объясняет».

[530] В феврале 1808 г. французские войска заняли Рим, а 17 мая 1809 г. папские владения были присоединены к империи. В июне 1809 г. папа Пий VII отлучил Наполеона, которого, впрочем, не осмелился назвать по имени, а лишь обозначил перифрастически, от церкви. Поэтому в ночь с 5 на 6 июля 1809 г. непокорный прелат был похищен и отвезен сначала в Савону, а затем в Фонтенбло, где оставался под стражей до 1814 г., отказываясь поставить свою подпись под новым Конкордатом, сужающим права Святого престола во Франции.

[531] Республика Вале была 31 декабря 1810 г. присоединена к Франции и превращена в департамент Симплон.

[532] Португальцы воевали в составе французской армии после того, как в 1807 г. в ответ на отказ короля Португалии исполнить ультимативное требование Наполеона о присоединении к континентальной блокаде в Лиссабон вошли французские войска под командованием генерала Жюно, а королевское семейство вместе с несколькими тысячами португальцев отплыло в Бразилию. Впрочем, меньше чем через год в Португалии высадились английские войска и вплоть до падения Наполеона страна оставалась полем франко-английского военного конфликта.

[533] Кретинизм, или умственная неполноценность, — болезнь жителей некоторых горных долин Швейцарии. Этому заболеванию и способам борьбы с ним посвящен роман Бальзака «Сельский врач» (1833).

[534] Речь идет о водопаде Салланш; в этом месте вода низвергается в Рону с 65-метровой высоты.

[535] Капель узнал о поездке г-жи де Сталь из Коппе во Фрибур и Валь-Сент только после ее возвращения домой; министру полиции он объяснял свою неинформированность тем, что соглядатай, помещенный им в Коппе, «человек ловкий и надежный, который должен извещать обо всех действиях г-жи де Сталь, о наносимых ей визитах значительных персон, одним словом, обо всем, что касается до этой дамы и ее домашних» *(CS.* № 44. P. 104; донесение от 10 июня 1811 г.), в это время был в отъезде. По предположению Н. Кинга, этим соглядатаем мог быть многолетний (с 1792 г.) управляющий г-жи де Сталь и ее доверенное лицо Жозеф Южине (домашнее имя — Эжен; 1771–1853), отсутствовавший в Коппе именно в первую половину августа 1811 г. (см.: *CS.* № 4. P. 23). Если сотрудничество Южине с Капелем в этот период не доказано, то отчет о путешествии г-жи де Сталь через Австрию и Россию в 1812 г., поступивший в начале

1813 г. на рассмотрение Наполеона из министерства внутренних дел, как доказал тот же исследователь (Ibid. P. 16–23), безусловно принадлежит Южине. Впрочем, поскольку г-жа де Сталь в это время находилась уже в Швеции, вне досягаемости французских властей, повредить ей этот отчет не мог, составлен же был скорее всего не по доброй воле, а под угрозой ареста. После смерти г-жи де Сталь Южине много лет находился на службе у герцога Орлеанского (с 1830 г. — короля Луи-Филиппа); об этом периоде его жизни см.: *Robert H.* Joseph Uginet: du service de Madame de Staël à celui de Louis-Philippe // *CS*. № 49. С. 133–155.

536 Строка из басни «Животные, больные чумой» (VII, 1).

537 Поездка к г-же де Сталь была отнюдь не единственным прегрешением Матье де Монморанси; его оппозиционные настроения (см. примеч. 474 и 501) не были тайной для властей. Получив приказ о высылке, датированный 21 августа 1811 г. (*Herriot*. P. 259), Матье де Монморанси 31 августа отправился в Монмирай — поместье своего зятя Состена де Ларошфуко. Капель, описывая его отъезд в донесении от 2 сентября 1811 г., отказывает г-же де Сталь даже в сочувствии друга: «Он [Монморанси] менее огорчен своей высылкой, нежели предполагаемой ее причиной. „Если бы по крайней мере люди могли думать, что меня высылают из-за религии, из-за дел церковных, ссылка была бы для меня почетной, славной перед Богом и людьми! Но быть высланным из-за г-жи де Сталь, из-за протестантки, из-за светской женщины, получить приказ о высылке в ее доме!..“ Он убежден, что по этой причине большинство людей благочестивых откажут ему в доверии. Поэтому он, кажется, охотно удалится от света, дабы искупить это прегрешение. Самое забавное в его горе заключается в том, что он предавался ему в присутствии г-жи де Сталь» (*CS*. № 44. P. 106–107).

538 В планах г-жи Рекамье было свидание с влюбленным в нее принцем Августом Прусским в швейцарском городе Шафхаузене; свидание это не состоялось.

539 Г-жа де Сталь, не желая подвергать подругу опасности, в самом деле просила ее не приезжать (см.: *Lettres à Récamier*. P. 193–194; письмо к г-же Рекамье от 4 мая 1811 г.), однако г-жа Рекамье 23 августа выехала из Парижа в Коппе. Предостерегающего письма от Матье де Монморанси, посланного 28 августа, она получить не успела, а курьера, высланного ей навстречу г-жой де Сталь, не послушалась; в Коппе она провела три дня, а 3 сентября министр полиции известил ее мужа, банкира Рекамье, о том, что г-же Рекамье приказано удалиться от Парижа по меньшей мере на сорок лье. Она направилась из Коппе

сначала к своей кузине, баронессе де Дальмасси, в замок Ришкёр в департаменте Верхняя Сона, а затем в Шалон-на-Марне, где прожила до весны 1812 г. Узнав о бегстве г-жи де Сталь из Коппе и, следовательно, потеряв надежду на встречу с ней, г-жа Рекамье направилась в свой родной город Лион, а оттуда — в Италию. Как и в случае с Матье де Монморанси, свидание с г-жой де Сталь было не единственной причиной немилости: императора давно раздражали дружеские связи г-жи Рекамье с людьми оппозиционных взглядов и отказ этой прославленной красавицы от придворных должностей (о безуспешных попытках императора при посредничестве Фуше и Мюрата, с которым г-жа Рекамье была дружна, привлечь ее ко двору см.: *Hernot.* P. 127–129). Задолго до истории с посещением опальной г-жи де Сталь Наполеон во всеуслышание объявил в салоне императрицы Жозефины, что будет «считать своим личным врагом всякого иностранца, бывающего у г-жи Рекамье» (Ibid. P. 257).

[540] Банкир Рекамье обанкротился в ноябре 1805 г.; банкротство это было связано с финансовым кризисом в Испании и колониях; при этом кредиторы были настолько уверены в личной порядочности самого банкира, что поставили его во главе ликвидационной комиссии (см.: *Wagener.* P. 144–147).

[541] Франсуа-Эммануэль Гиньяр, граф де Сен-При (1735–1821) до Революции был послом Франции в Турции, затем (в августе 1788 г.) стал министром без портфеля, а 19 июля 1789 г., через три дня после назначения Неккера на пост министра финансов, был назначен министром Королевского штата (должность, в августе 1790 г. получившая название министра внутренних дел). Сен-При продержался в кабинете министров на три месяца дольше Неккера, однако 24 декабря 1790 г. подал в отставку и эмигрировал в Россию, где был милостиво принят Екатериной II, пожаловавшей ему пенсию. С мая 1797 по март 1800 г. Сен-При состоял в качестве министра при короле в изгнании Людовике XVIII. В Женеве, входившей при Наполеоне в состав Франции, Сен- При получил разрешение жить благодаря протекции императора Александра; удаление его из Женевы в январе 1812 г. имело причиной не только контакты с г-жой де Сталь, но и общее нерасположение Наполеона к этому роялисту. Сен-При пришлось уехать в Вену и там дожидаться падения Наполеона; лишь после этого он смог возвратиться во Францию. См.: *Barante P. de.* Notice sur M. le comte de Saint-Priest // Lettres et instructions de Louis XVIII au comte de Saint-Priest. P, 1845. P. CCXXVII–CCXXXIII; «Мемуары» Сен-При были впервые опубликованы в 1929 г.

[542] Сыновья графа Сен-При надолго связали свою жизнь с

Россией. Старший, Гийом-Эммануэль (Эммануил Францевич) Гиньяр, граф де Сен-При (1776–1814), в 1792 г. вступил в корпус принца де Конде, затем был принят на русскую службу, участвовал в сражениях против французов (Аустерлиц, Ломиттен); в кампании 1807 г. и он, и его младший брат Луи (Людвиг Францевич) Гиньяр, граф де Сен-При (1789–1881), сражавшиеся в рядах русской армии, были ранены. В тот период, о котором рассказывает г-жа де Сталь, Эммануэль де Сен- При за подвиги в русско-турецкой войне получил звание генерал-адъютанта и ордена Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 2-й степени. Во время войны 1812–1814 гг. оба брата Сен-При сражались в рядах русской армии, а в конце 1812 — начале 1813 г. по приказу Александра I занимались устройством на лечение французов, раненных при отступлении наполеоновской армии из России. Эммануэль де Сен-При скончался в Лане 17 марта 1814 г. вследствие ранения, полученного от руки француза под Реймсом; Луи де Сен-При был взят в плен французами и приговорен к смертной казни, которой ему удалось избежать только чудом; впоследствии был послом Франции в Пруссии и Испании. Средний брат, Арман-Эммануэль-Шарль (Карл Францевич) Гиньяр, граф де Сен-При (1782–1863) также поступил на русскую службу: служил в гвардии, затем, перейдя в гражданское ведомство, был губернатором в Херсоне и Каменец-Подольске и вернулся во Францию лишь в 1821 г., после смерти отца, от которого унаследовал звание пэра.

[543] Речь идет о бароне Каспаре фон Фохте (1752–1839), гамбургском коммерсанте, который восхищался г-жой де Сталь и вызывал ее интерес своей филантропической деятельностью (в 1809 г. она выпустила в Женеве французский перевод его доклада о помощи бедным). Фохт собирался заехать в Женеву по дороге из Италии и увидеться с г-жой де Сталь, но, как сообщал Капель министру полиции 28 сентября 1811 г., «он приехал, посетил меня и назавтра отправился в Лион. Он почувствовал, что, ставши подданным императора и желая иметь честь служить ему, не имеет права видеться с женщиной, навлекшей на себя немилость его величества. Поступок его был замечен в Женеве, тем более что у него в этом городе много друзей и он намеревался провести здесь часть зимы, меж тем в предыдущие годы он, бывая здесь, поддерживал самую тесную связь с г-жой де Сталь» (*CS*. № 44. P. 107–108). Фохт прислал г-же де Сталь письмо с извинениями, однако она ими не удовлетворилась, назвав его доводы «лицемерными», а поведение — «жалким» (см.: *Lettres à Récamier*. P. 217). Впрочем, Сталь, по-видимому, с самого начала переоценивала свободомыслие Фохта, который относился к ее

оппозиционным взглядам весьма скептически. «Я хотел бы суметь уговорить ее вычеркнуть все, что связано с политикой, убрать все метафоры, способные повредить ясности, простоте и правильности книги, — писал он 18 октября 1809 г. г-же Рекамье по поводу фрагментов *ОГ,* с которыми ему удалось познакомиться. — Я хотел бы придать этому сочинению невинный вид, который обезоружил бы критиков и обманул ожидания недоброжелателей. Г-же де Сталь нет нужды доказывать свои республиканские взгляды и богатое воображение; ей потребно выказать мудрость и умеренность» (цит. по: *Pingaud.* P. 734).

[544] Примечание Огюста де Сталя: «Граф Эльзеар де Сабран». Граф де Сабран (1774–1846), литератор, брат Дельфины де Кюстин (возлюбленной Шатобриана и матери писателя Астольфа де Кюстина; см. о ней примеч. 134), был безответно влюблен в г-жу де Сталь. Осенью 1807 г. он гостил у нее в Коппе, осенью 1810 г. — в Фоссе; видевший его там А. де Шамиссо характеризует его как «ужасного сумасброда, изнеженного, ревнивого, остроумного, отчаявшегося, ломающего комедию, признанного всеми за безумца, подслушивающего у дверей, больного, влюбленного» (*Riegel.* P. 324). 13 апреля 1813 г. Сабран был арестован и заключен в Венсеннский замок; причиной послужили его оппозиционные взгляды, нежелание занимать какие бы то ни было придворные должности и, среди прочего, общение с г-жой де Сталь; впрочем, уже в июле император сменил гнев на милость и Сабрана освободили (см.: *Tarn J.-F.* Le marquis de Custine. R, 1985. P. 38, 835).

[545] В «замаскированной» рукописи (см. наст. изд., с. 200) г-жа де Сталь обозначила именем Марии Стюарт герцога Энгиенского.

[546] По-видимому, имеется в виду А. В. Шлегель, который постоянно уговаривал г-жу де Сталь бежать из Коппе.

[547] На самом деле г-жа де Сталь оставалась на месте не только потому, что боялась возможного ареста, но и потому, что с августа 1811 г. была беременна; она ждала ребенка от Джона (настоящее имя Альбер-Жан-Мишель) Рокки (1788–1818). Уроженец Женевы, Рокка воевал во французском гусарском полку в Испании, был тяжело ранен и, освобожденный от воинской повинности, возвратился домой, в Женеву. Здесь в начале 1811 г. он познакомился с г-жой де Сталь и больше с нею не расставался; их брак был узаконен только в октябре 1816 г., поэтому г-же де Сталь приходилось тщательно скрывать свою беременность от всех, включая родную дочь (Альбертине в 1812 г. исполнилось 15 лет). Официально утверждалось, что у г-жи де Сталь водянка (префект Капель в донесениях именовал эту водянку

«девятимесячной» — *CS*. № 44. P. 119). 7 апреля 1812 г. сорокашестилетняя г-жа де Сталь родила сына Луи-Альфонса Рокку (1812–1842) и только после этого, оставив новорожденного кормилице, смогла осуществить давно намеченный план и бежать из Коппе.

[548] Рассказ этот г-жа де Сталь скорее всего слышала от Матье де Монморанси, объезжавшего тюрьмы в 1811 г. (см. примеч. 501). Осада испанского города Сарагосы французскими войсками — эпизод войны в Испании, которую французы вели с 1807 г. до самого крушения Империи; осада происходила в два этапа: первый длился с 15 июня по 14 августа 1808 г., второй — с 20 декабря 1808 по 21 февраля 1809 г., и лишь после этого Сарагоса пала.

[549] Реплика аббата Рене д'Эспаньяка (1752–1794), парижского каноника, прославившегося как своим вольтерьянством (которого он, несмотря на свое духовное звание, не скрывал), так и участием в крупных денежных спекуляциях и до, и во время Революции; за присвоение 25 миллионов ливров, нажитых на армейских поставках, Эспаньяк был подвергнут суду революционного трибунала и в апреле 1794 г. казнен.

[550] Сталь с юности очень болезненно реагировала на газетную клевету, жертвой которой становилась; ср. запись в дневнике Вильгельма фон Гумбольдта от 29 июня 1798 г.: «Г-жа де Сталь, говорят, так чувствительна к клевете, что порою проливает слезы над газетными страницами» (*Humboldt*. P. 161). Такая реакция вполне естественна, если учесть, что именно газеты, причем как левого, так и правого толка, писали о г-же де Сталь; см., например, в якобинской «Газете свободных людей», выходившей под покровительством Фуше, обращение «Народа» к г-же де Сталь: «Не ваша вина, что вы уродливы; ваша вина, что вы плетете интриги» или характеристику ее в роялистской газете «Архангел Гавриил» как женщины, пишущей «о метафизике, в которой она ничего не смыслит; о морали, которая ей чужда; о добродетелях своего пола, которых она лишена» (*Gautier*. P. 40–41), «гермафродит», «проститутка», «амфибия», «чудовищное порождение Неккера» — определения, каких удостаивала г-жу де Сталь революционная пресса (см.: *CS*. № 53. P. 23–52). Неудивительно, что в оставшемся неопубликованным сочинении «О нынешних обстоятельствах, могущих положить конец Революции» (1798) Сталь решительно отделяла книги, для сочинения которых нужны время и знания, от газет — сиюминутных публикаций, авторы которых легко путают правду с ложью и клеветой и не несут за это ответственности; Сталь выступала за право оскорбленных людей подавать в суд на

журналистов и таким образом защищать свое достоинство. Ср. также примеч. 125.

551 Сталь вторично ссылается на мнение Рёдерера (см. примеч. 124). Возможно, именно эту фразу вспомнил в письме к Вяземскому от 25 мая и около середины июня 1825 г. Пушкин: «А ты не пренебрегай журнальными мелочами: Наполеон ими занимался и был лучшим журналистом Парижа (как заметил, помнится, Фуше)» (*Пушкин*. Т. XIII. С. 184). С начала 1825 г. Пушкин, находящийся в Михайловском, страстно мечтает прочесть «Мемуары» прославленного наполеоновского министра полиции, вышедшие в 1824 г. (см. письма к Л. С. Пушкину от конца января — первой половины февраля, 14 марта и 22–23 апреля 1825 г.), поэтому естественно, что он сослался именно на него, однако видеть в этой ссылке на Фуше доказательство знакомства Пушкина с его мемуарами опрометчиво, хотя такой вывод напрашивается при чтении комментария Б. Л. Модзалевского (*Пушкин*. Письма. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 441). Во-первых, 26 сентября 1825 г. Плетнев по-прежнему еще только обещает доставить Пушкину мемуары Фуше (см.: *Пушкин.* Т. XIII. С. 235–236); во-вторых, в «Мемуарах» этих упоминания о «журналистской» деятельности Наполеона носят весьма специфический характер: Фуше пишет преимущественно об отношении императора к цензуре (лицемерном отрицании ее на словах и постоянном обращении к ней на деле), а также об использовании прессы для влияния на умы (см.: *Fouché J.* Mémoires. P., 1993. P. 186–189). Мысль Рёдерера в передаче Сталь гораздо ближе к тому, о чем говорится в письме к Вяземскому, а книга г-жи де Сталь (в отличие от «Мемуаров» Фуше, уже прочитанная) была летом 1825 г. предметом особого пушкинского внимания (см. примеч. 853). Что же касается атрибуции процитированной мысли не Рёдереру, а Фуше, она, очевидно, связана с тем, что первое упоминание этого мнения о Наполеоне-журналисте (со ссылкой на Рёдерера) в издание 1821 г. не вошло, а Сталь в комментируемом отрывке ссылается на *безымянного* сенатора, между тем имя Фуше (который с 1802 г. также носил звание сенатора) было у Пушкина на памяти, поскольку его мемуары еще оставались скандальной новинкой.

552 Латинская фраза «Ultima ratio regum» [последний довод королей] была выбита на французских пушках в царствование Людовика XIV. Параллели артиллерии и прессы придал афористическую форму известный остроумец Антуан де Ривароль, который в «Национальной политической газете», выходившей в 1789–1790 гг., писал, восстанавливая причины революции: «Почти всему причиной свобода прессы. Философы

научили народ насмехаться над священниками, священники разучились уважать королей; это, разумеется, привело к ослаблению власти. *Книгопечатание — артиллерия мысли»* (Rivarol [Œuvres choisies] / Choix de textes par Jean Dutourd. P., 1963. P. 143; курсив мой. — *В. М.;* эту фразу заимствовал у Ривароля Пушкин, процитировавший ее в одном из планов «Сцен из рыцарских времен»).

553 Ср. признание г-жи де Сталь в письме к Мейстеру от 5 октября 1811 г.: «Нынче главное событие моей жизни — это солнце. В хорошую погоду я еще надеюсь, что Господь меня не оставил» (*Meister*. P. 222).

554 О возможности уехать в Америку или Италию г-жа де Сталь просила Савари через Капеля начиная с сентября 1811 г. (см.: *CS*. № 44. P. 110–111); не получив ответа, она 12 ноября собственноручно написала к Савари письмо, где, ссылаясь на то, что предыдущая просьба выдать ей паспорт для отъезда в Америку, адресованная ему же полтора месяца назад, осталась без ответа и отплытие сделалось невозможным из-за погодных условий, просит разрешить ей уехать в Италию: «Подарите мне южное солнце. Это последнее утешение для несчастных, лишенных всего остального» (*Pingaud*. P. 29). Письмо это, по всей вероятности, осталось без ответа; срок действия предыдущего паспорта, выписанного в 1810 г. (см. примеч. 467), уже истек; то же самое касалось и паспорта «для отъезда в Америку через Германию», выписанного в декабре 1810 г. мировым судьей кантона Коппе (*CS*. № 44. P. 122–123). О реальных намерениях г-жи де Сталь в этот период см. примеч. 524.

555 Г-жу де Сталь эта реплика Наполеона поразила так сильно, что она дважды отметила ее в записных книжках (*DAE-1996*. P. 415, 466) и включила в *РФР* (ч. 4, гл. 19; *CRF. P. 426)*.

556 Для префекта Капеля и специального комиссара женевской полиции Мелена, считавших г-жу де Сталь болтливой и не умеющей хранить тайну, отъезд ее в самом деле явился полной неожиданностью; как докладывал Мелен министру полиции Савари 2 июня 1812 г. (через десять дней после того, как Сталь покинула Коппе), отъезд этот «совершился в такой глубокой тайне, что целых три дня о нем ничего не знали даже в самом Коппе» (*CS*. № 44. P. 122). Капель, очевидно, чтобы загладить свою вину, в донесении от 4 июня 1812 г. даже сдвинул дату отъезда г-жи де Сталь на четыре дня (27 мая вместо 23-го). Что же касается министра полиции Савари, то он, по-видимому, также чувствуя необ ходимость оправдаться перед императором и смягчить удар, сделал на донесении Капеля приписку:

«Счастливого пути. Доложить об этом императору в анекдотическом виде» (*CS*. № 44. P. 123).

557 Сталь, по всей вероятности, перефразирует больно задевшее ее письмо Шатобриана, который 18 октября 1810 г., вскоре после ее изгнания из Франции, писал: «Будь у меня, как у Вас, прекрасный замок на берегу Женевского озера, я бы жил там безвыездно. Публика никогда не увидела бы ни единой строки, мною написанной. Я с таким же жаром добивался бы забвения, с каким безрассудством прежде домогался известности. Неужели Вы, любезнейшая, можете быть несчастны от того, что составило бы мое счастье? Вот каково сердце человеческое» (*Chateaubriand F.-R. de.* Correspondance générale. P, 1979. T. 2. P. 84). 1 мая 1811 г. г-жа де Сталь писала по этому поводу г-же Рекамье: «Ах! Как плохо г-н де Шатобриан знает человеческое сердце, если допускает, что я могу быть счастлива. Он говорит, что, имея деньги, не стал бы писать. Таковы его понятия о счастье. Что за вульгарность в человеке вообще столь возвышенном!» (*Lettres à Récamier*. P. 192–193); в пересказе самого Шатобриана ответ Сталь звучал следующим образом: «Вы, сударь, рассуждаете, как министр полиции» (Ibid. P. 285). К Шатобриану отсылает в комментируемом фрагменте и предшествующая фраза о «проторенных дорогах» (voies communes), вне которых, по мнению неких оппонентов г-жи де Сталь, не бывает счастья; это — реминисценция из повести «Рене» («Счастье обретается только на проторенных дорогах»). Характерно, что Пушкин, который вообще любил и ценил эту фразу Шатобриана (он применил ее к себе накануне женитьбы, в письме к Кривцову от 10 февраля 1831 г.), вспомнил ее в «Рославлеве», повести, в которой выведена г-жа де Сталь, причем именно в том месте, где повествовательница полемизирует со страстным монологом Полины в защиту героизма г-жи де Сталь, не пожелавшей умереть «в государственной темнице»: «Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума? Правду сказал мой любимый писатель: Il n’est de bonheur que dans les voies communes [Счастье обретается только на проторенных дорогах]» (*Пушкин*. Т. VIII. С. 154). Иначе говоря, Пушкин в этом фрагменте сталкивает точки зрения г-жи де Сталь и Шатобриана примерно так же, как столкнула их в комментируемом тексте сама г-жа де Сталь: проторенные пути — это прозябание в родном замке. Для одних (Шатобриана и повествовательницы «Рославлева») расставание с проторенными путями — безрассудство, другие (сама Сталь и ее последовательница, пушкинская Полина) именно в этом видят

спасение.

[558] Комментаторы *DAE-1996* (P. 446) сближают эту фразу с фразой из записной книжки: «„What is is“, — говорил пражский отшельник», заимствованной из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь» (д. 4, сц. 2; в пер. Д. Самойлова: «Один старый отшельник из Праги, сроду не знавший пера и чернил, остроумно сказал племяннице короля Горбодука: „Что есть, то есть“»). Эту фразу Сталь процитировала также в *ОГ* (ч. 4, гл. 21), рассуждая о людском стремлении оправдать все, что происходит в обществе: «Нынче убеждения не в моде, и если человек говорит, что придерживается определенного мнения, это понимают в том смысле, что у него есть определенная корысть. Самые порядочные люди начинают в этом случае выдавать собственную леность за добродетель: они говорят, что сделать ничего нельзя, повторяют, вслед за шекспировским пражским отшельником: „что есть, то есть“, утверждают, что теории не оказывают на жизнь ни малейшего влияния. В конце концов то, что говорят эти люди, становится правдой, ибо с таким образом мысли воздействовать на других невозможно…» (*DA*. T. 2. P. 308).

[559] Имеются в виду управляющий г-жи де Сталь и ее доверенное лицо Жозеф Южине и его жена (см. примеч. 535 и 325).

[560] Г-жа Неккер де Соссюр описала этот памятник в своем очерке о кузине: «Легкая, словно уже во славе фигура увлекает к небесам другую фигуру, которая, кажется, с состраданием смотрит на молодую женщину под вуалью, распростертую на могиле. Здесь г-жа Неккер, ее супруг и их дочь служат эмблемами перехода от жизни земной к жизни вечной» *(ОС.* Т. 1. P. CCXXXVIII). Ср. также описание усыпальницы в Коппе уже после того, как в ней похоронили г-жу де Сталь: «Неподалеку от парка есть рощица, где старые деревья растут вперемежку с молодняком; ее огораживает сырая, полуразвалившаяся стена. Рощица эта напоминает купы деревьев посреди равнины, именуемые на языке охотников островами: именно туда загнала смерть свою добычу, там заточила свою жертву. Здесь загодя был выстроен склеп, которому предстояло принять тела господина Неккера, госпожи Неккер и госпожи де Сталь, боготворившей отца: когда дочь воссоединилась с родителями, дверь склепа замуровали. Сын Огюста де Сталя и сам Огюст, умерший раньше своего дитяти, погребены снаружи, у подножия склепа. На надгробной плите высечены слова Писания: „Что вы ищете живого между мертвыми?“» *(Шатобриан.* С. 484).

[561] Огюст де Сталь в своем примечании приводит по-латыни соответствующие строки из первой книги поэмы «Против Руфина»

(396) латинского поэта конца IV — начала V в. Клавдия Клавдиана; приводим их в русском переводе М. Л. Гаспарова: «Часто я размышлял и часто надвое думал: // Точно ли над землей державствуют боги, иль в мире // Правящих нет и случай царит над течением жизни? […] Только теперь Руфинова казнь уняла мою смуту // И оправдала богов! Теперь не ропщу я, что часто // Низкий возносится ввысь; я знаю, чем выше он прянет, // Тем страшней падет с высоты» (Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 216).

562 Имя Франсуа де Салиньяка де Ла Мота Фенелона (1651–1715), архиепископа Камбрейского, писателя и проповедника, служило г-же де Сталь символом мудрости и терпимости: «Можно ли остаться равнодушным, читая духовные сочинения Фенелона? Где еще найдем мы столько мудрости, столько утешения, столько снисходительности? Здесь нет ни фанатизма, ни суровости, исключая суровость добродетели, ни нетерпимости» *(ОГ,* ч. 4, гл. 5; *DA*. T. 2. P. 267).

563 Об отношении Сталь к памяти отца свидетельствует эпизод, приведенный в очерке г-жи Неккер де Соссюр: «Г-жа де Сталь не расставалась с портретом отца, ставшим для нее предметом суеверного поклонения. Во время болезни она утешалась, глядя на этот портрет, и сочла, что он сможет произвести такое же действие на ее дочь, которая скоро должна была родить. Только поэтому она согласилась расстаться с портретом и послала его дочери. „Смотри на него, когда тебе станет нестерпимо больно“, — написала она ей» *(ОС.* T. 1. P. CCXXXIV).

564 Известно письмо г-жи де Сталь к г-же Рекамье, датированное 23 мая (см.: *Lettres à Récamier*. P. 233); 27 мая Альбертина написала письмо другу матери, швейцарскому философу и историку Ш. Симонду де Сисмонди, а Сталь сделала к этому письму приписку; наконец, о своем отъезде она, по-видимому, известила Б. Констана, который уже 4 июня занес известие об этом в свой дневник. Письма некоторым друзьям, например женевской приятельнице Адриенне Одье, г-жа де Сталь оставила Фанни Рендал для последующей пересылки адресатам, которые получили их с большим опозданием (см.: *Candaux J.-D., King N.* Théâtre et société: la correspondance des Staël et des Odier // *CS*. № 38. P. 89).

565 Сталь покинула Коппе в субботу 23 мая. С нею была дочь Альбертина и горничная Олива Южине; Огюст проехал с матерью и сестрой несколько лье, а затем простился с ними; Альбер уехал из Коппе пять дней спустя, 27 мая, и нагнал родных только в Вене. Управляющий Жозеф Южине выехал из Коппе накануне и

присоединился к беглецам в Монпревере (деревушке, расположенной на пути из Лозанны в Берн), где они провели первую ночь после отъезда. Известно, что г-жу де Сталь сопровождали в путешествии еще двое слуг-швейцарцев: Этьенн Мерсье и Жан Пуатри.

566 Джон Рокка (см. примеч. 547), который был всего на два года старше Огюста. Рокка в тот же день вернулся в Женеву, чтобы уладить свои дела перед отъездом, и нагнал г-жу де Сталь в Зальцбурге.

567 Примечание Огюста де Сталя: «В ту пору Англия составляла надежду всякого, кто страдал за дело свободы; какое несчастье, что после победы английские министры так жестоко обманули ожидания Европы!» Огюст де Сталь осуждает позицию английского кабинета после битвы при Ватерлоо и окончания Ста дней; англичане, по его мнению, виновны в том, что не предотвратили начавшуюся во Франции ультрароялистскую реакцию (так называемый «белый Террор») и не способствовали либерализации политического режима.

568 Около 9 000 километров.

569 В деревушке Папирмюле, в 4 километрах к северо-востоку от Берна, беглецы провели ночь с 24 на 25 мая; здесь к ним присоединился А. В. Шлегель. Огюст, расставшись с матерью и сестрой, отправился из Папирмюле в Берн к австрийскому посланнику за паспортами, необходимыми для въезда в Австрию. Ожидая его, Сталь еще не была точно уверена, что поедет в Австрию, и — в случае, если в австрийском паспорте ей откажут, — подумывала о поездке вместе с Роккой на воды в Швинцнах. Однако в два часа дня 25 мая Огюст вернулся с паспортами, и, простившись с ним, Сталь продолжила путь в обществе дочери, Шлегеля и слуг (см.: *Carnets*. P. 264–265).

570 Когда умер Неккер, Огюсту было тринадцать с половиной лет.

571 Примечание Огюста де Сталя: «Мало было уехать из Коппе, обманув бдительность префекта Женевы; следовало еще раздобыть паспорта для проезда по Австрии, причем устроить так, чтобы эти паспорта были выписаны на имя, которое не привлекло бы внимания немецких полицейских служб. Матушка послала за паспортами меня; никогда не забуду волнения, охватившего меня в ту минуту. В самом деле, от исхода моих хлопот зависело все дальнейшее; если бы паспортов нам не дали, матушка оказалась бы в положении, куда более тяжелом, чем прежде; планы ее сделались бы известны, бегство стало невозможным, а гонения с каждым днем ужесточались все больше и больше. Руководствуясь той верой в добрые чувства ближних,

коя свойственна от природы всякому порядочному человеку, я решил, не мудрствуя лукаво, обратиться к австрийскому посланнику. Г-н фон Шраут незамедлительно выписал мне столь желанные паспорта; надеюсь, он позволит мне высказать ему на этих страницах мою признательность. В ту пору, когда Европа еще пребывала под игом Наполеона, когда преследования, жертвой которых была матушка, заставляли держаться от нее поодаль даже тех особ, что были обязаны ее мужественному заступничеству состоянием или даже жизнью, г-н австрийский посланник выказал великодушие, которое меня не удивило, но живо тронуло. Я простился с матушкой и воротился в Коппе, чтобы заняться делами имущественными; несколько дней спустя мой брат, которого жестокая смерть вскоре отняла у нас в самом юном возрасте, отправился следом за матушкой в дорожной карете и в сопровождении слуг. Префекта департамента Леман и его агентов насторожил только этот второй отъезд: недаром говорится, что среди шпионских добродетелей не последнее место занимает глупость. К счастью, матушка была уже вне досягаемости жандармов и смогла продолжить путешествие, описанное в этой книге». Франц Альбан Риттер фон Шраут занимал пост австрийского посланника в Берне с 1806 по 1825 г.; на какое имя он выписал паспорт г-же де Сталь, неизвестно; Альбер де Сталь погиб на дуэли в Швеции 12 июля 1813 г.

572 Лорд Уильям Рассел (1639–1683) — английский политический деятель, казненный по обвинению (несправедливому) в причастности к заговору против Карла II, служил в глазах г-жи де Сталь символом героического сопротивления тирании; в *РФР* (ч. 6, гл. 12) она упоминает его в одном ряду с Регулом, Катоном, Брутом, Вильгельмом Теллем *(CRF.* P. 604).

573 «Путешествие по Австрии», «Путешествие по России» и «Отъезд в Швецию» — единственные подзаголовки, которые есть в рукописи «Десяти лет»; названия глав, присутствующие в издании 1821 г. и воспроизведенные частично в русском переводе 1912 г. и полностью в русском переводе 1993 г., вставлены Огюстом де Сталем.

574 Ср. примеч. 276 и 433.

575 О Тироле см. примеч. 525.

576 Иосиф фон Гуделист (1759–1818) — начальник австрийской тайной полиции в 1803–1818 гг., не раз упомянутый в тексте ниже: в отсутствие Меттерниха он руководил слежкой за г-жой де Сталь и доставлял ей многообразные неприятности. Австрийское правительство предало тирольцев, когда в октябре 1809 г., после подписания Венского мирного договора с

Францией, приказало Андреасу Гоферу (1767–1810), трактирщику, возглавившему восстание тирольцев против франко-баварского господства, прекратить сопротивление войскам маршала Лефевра, с которыми он до этого сражался весьма успешно; после недолгого перерыва Гофер продолжил борьбу, но 8 января 1810 г. был схвачен, а 20 февраля казнен.

[577] Иосиф фон Хормайр (1782–1848) — директор Государственного архива Австрии, с 1815 г. имперский историограф, автор трудов по истории Тироля; уроженец Инсбрука, Хормайр полагал, что Тиролю лучше было бы оставаться в составе Австрийской империи, и осуждал политику Наполеона; в 1809 г. принимал участие в восстании под руководством Андреаса Гофера. Г-жа де Сталь была знакома с Хормайром еще со времен своего пребывания в Вене в 1808 г. (см.: *CS.* № 41. P. 18).

[578] Ср. близкую оценку, данную в декабре 1812 г. поведению германских государей бароном фон Штейном (о нем см. примеч. 832). Когда вдовствующая императрица Мария Федоровна призналась, что стыдится своего немецкого происхождения, Штейн возразил: «С большим основанием вы могли бы сказать, что стыдитесь не немецкого народа, но стыдитесь ваших свойственников и родственников, немецких государей. […] Если бы немецкие государи добросовестно выполнили лежавший на них долг, никогда ни единый француз не переступил бы ни через Эльбу, ни через Одер, не говоря уже о Висле или Днепре» (цит. по: *Кирилина.* С. 56–57).

[579] Это понимание австрийского уклада жизни Сталь подробно развила в *ОГ* (ч. 1, гл. 6): «В Австрии все совершается по неизменным правилам и потому происходит в глубочайшем молчании. Молчание это не есть следствие страха, ибо чего бояться в стране, где все решают добродетели государя и принципы справедливости? Однако глубочайшая безмятежность умов и душ делает слова ненужными. Здешней жизни не знакомы ни преступление, ни гений, ни нетерпимость, ни энтузиазм, ни страсти, ни геройство, а потому ничто здесь не смущает души, но ничто и не воодушевляет. […] Справедливое правительство, плодородная земля, богатая и мудрая нация — все это внушает уверенность, будто для счастья надобно только поддерживать равновесие, вмешательство же людей выдающихся — вещь излишняя. В мирное время без него в самом деле можно обойтись, иное дело — пора суровых испытаний. […] В Австрии едва ли не стыдятся поощрять людей выдающихся; порой можно счесть, будто правительство желает быть даже более справедливым, чем сама природа, и обходится с талантами ровно

так же, как и с посредственностями. Отсутствие соревновательности, разумеется, благотворно, ибо смиряет тщеславие; однако зачастую оно приводит к тому, что люди гордятся одной лишь внешней стороной дела, не стремясь ни к чему большему. […] В стране, где всякое движение затруднено, в стране, где все дышит глубочайшим спокойствием, довольно малейшего препятствия, чтоб ничего не делать, ничего не писать и даже, если угодно, ни о чем не думать. Да ведь это счастье; что же может быть лучше? — возразят мне. Надобно, однако, условиться, что именно мы понимаем под счастьем. Заключается ли счастье в развитии способностей или же в их подавлении? Вне всякого сомнения, правительство, не злоупотребляющее своею властью и не приносящее правосудие в жертву собственной корысти, неизменно достойно уважения; однако блаженство дремоты обманчиво; его в любую минуту могут нарушить великие потрясения […] Нация легко может довольствоваться всеобщими жизненными благами, каковы покой и достаток; мыслители поверхностные выведут из этого, что все искусство правления заключается в том, чтоб обеспечить народу эти блага. Однако всякий, кто желает иметь отечество, нуждается в благах более возвышенных» (*DA*. T. 1. P. 78–80). Кроме того, среди причин, препятствующих «развитию гения» в Австрии, Сталь называет запрет на ввоз иностранных книг и пренебрежение литературными занятиями, якобы ослабляющими боевой дух нации.

[580] Утес Мартинсванд вблизи города Цирль. Император Максимилиан I (1459–1519) правил Священной Римской империей германской нации с 1493 г.

[581] С баварским наследным принцем Людвигом (1786–1868), впоследствии (1825–1848) королем Баварии, меценатом, превратившим Мюнхен в «немецкие Афины», г-жа де Сталь была лично знакома (они встречались в 1805 г. в Риме).

[582] См. примеч. 576.

[583] Мария Терезия фон Штернбах (1775–1829), которая верхом, с оружием в руках вдохновляла соотечественников на борьбу против французов и была арестована маршалом Лефевром.

[584] Колоссальных бронзовых статуй XVI в., окружающих кенотаф (а не гробницу), во францисканской церкви инсбрукского императорского дворца не 40, а 28.

[585] Августу Вильгельму Шлегелю.

[586] Имеется в виду Джон Рокка (см. примеч. 547).

[587] С XIII в. Зальцбург управлялся архиепископом в звании князя Священной Римской империи германской нации; в 1802 г.

по условиям Люневильского мира архиепископство было секуляризировано и превращено в герцогство; после Пресбургского мира включено в состав Австрии, в 1810 г. передано Баварии, а в 1814 г. окончательно присоединено к Австрии. Архиепископы, как и все католические священнослужители, давали обет безбрачия, поэтому ниже Сталь именует их «безбрачными повелителями» Зальцбурга.

588 Этот грот описан в «Коринне» (кн. 13, гл. 3): «Они проехали через грот Паузилиппо при свете факелов: так всегда проезжают через него, даже в полдень; этот грот, прорытый в горе, тянется на протяжении четверти мили, и проникающий в него дневной свет чуть брезжит на середине дороге» (*Коринна*. С. 225). Проход Неутор был прорыт в горе Мёншберг в середине XVIII в. при князе-архиепископе Зигмунде III, который правил Зальцбургом в 1753–1772 гг. Туаз равен примерно 2 метрам.

589 В ходе кампании 1809 г. французы сначала (21–22 мая) практически проиграли битву при Эсслинге, но затем (5–6 июля) одержали блестящую победу над австрийцами в Ваграмском сражении, после чего 12 июля в Цнаиме (Зноймо) было подписано перемирие, а затем, 14 октября 1809 г., заключен Венский (или Шёнбруннский — по названию дворца, где он был подписан) мир. Условия его были крайне тяжелы для Австрии: она утратила целый ряд территорий (в том числе Зальцбург, Триест, Хорватию, Западную и часть Восточной Галиции) и обязалась выплатить Франции многомиллионную контрибуцию. Вследствие этого финансовое положение Австрии было весьма неблагоприятным, и государство приступило к печатанию бумажных денег для внутренних нужд.

590 Ср. на с. 147 впечатления г-жи де Сталь, когда она, поднявшись на колокольню Ивана Великого, смотрит на Москву; ей немедленно приходит в голову мысль о том, что с этой же возвышенной точки на город скоро может взглянуть Наполеон. В 1809 г. император провел в Мелькском бенедиктинском аббатстве ночь с 7 на 8 мая 1809 г., а затем направился к Вене, которая капитулировала 13 мая.

591 Сталь приехала в Вену 6 июня; граф Густав Оттонович Штакельберг (1766–1850) был послом России в Вене с1810 по 1816 г.

592 Встреча Наполеона с австрийским императором Францем I и германскими монархами состоялась в Дрездене 18 мая; 29 мая Наполеон покинул столицу Саксонии; на следующий день после приезда г-жи де Сталь в Вену он прибыл в Данциг, где стояли французские войска. К этому времени он уже принял решение о войне против России и заключил секретные договоры о

союзе против нее с Пруссией (24 февраля 1812 г.) и Австрией (14 марта 1812 г.), так что дрезденская встреча была призвана послужить своего рода демонстрацией силы. Что же касается австрийского императора и его двора, они отправились из Дрездена в Прагу. Подробнее см.: *Вандаль.* Т. 4. С. 400–454.

593 После заключения Тильзитского мира побежденная Пруссия должна была выплатить Франции контрибуцию в 120 миллионов франков, однако прусский долг этим не исчерпывался: Пруссия, территория которой после Тильзита уменьшилась вдвое, обязалась выплачивать долги тех земель, которых она лишилась, и платить за содержание французских войск, стоящих в крепостях на Одере (*Dictionnaire.* P. 1421).

594 Карл Август фон Гарденберг (1750–1822) с июня 1810 г. был прусским канцлером. Фраза, сказанная ему Наполеоном, так поразила г-жу де Сталь, что она дважды упомянула ее в записных книжках (см.: *DAE-1996.* P. 458, 473).

595 Имеется в виду переориентация Бернадота, в августе 1810 г. избранного шведским наследным принцем, на союз с Россией и Англией; толчком к этому послужила оккупация французами Шведской Померании в январе 1812 г., в связи с чем в феврале 1812 г. Швеция объявила о своем нейтралитете и открытии доступа в ее порты судам всех стран, Первый союзный договор между Швецией и Россией, подготовка к которому велась с начала февраля 1812 г., был заключен 24 марта / 5 апреля 1812 г. (см.: *ВПР.* Т. 6. С. 726, 732–733, 738–739). Шведско-английский договор был подписан 3 марта 1813 г., когда г-жа де Сталь находилась в Стокгольме.

596 О строгом соблюдении придворного протокола, которое Наполеон предписывал императрице Марии-Луизе, см, в частности: Marie-Louise et Napoléon. 1813–1814: Lettres inédites. P, 1955. P. 26 et suiv.

597 В реальности впечатления г-жи де Сталь от Вены были не так радужны даже в прошлое ее здесь пребывание (в январе — мае 1808 г.); конечно, в Вене к ее услугам были образованные собеседники и партнеры для любительских театральных постановок, однако в частных письмах 1808 г. она признавалась, что в Вене ей скучно (см.: *Trtnik.* P 306), отмечала отсутствие вкуса у императора, «раболепство перед аристократией, лишенной всякого изящества» (*Дурылин.* С. 224; ср. также о ее отношении к Австрии примеч. 579). Со своей стороны, и жители Вены, вначале смотревшие на французскую писательницу с восхищением, постепенно охладели к ней; ср. запечатленный мемуаристом устный рассказ на эту тему князя де Линя: «Ум человеческий неизбежно переходит от энтузиазма к насмешкам.

Венцы стали обращать внимание на одни лишь недостатки г-жи де Сталь, вовсе забыв о ее блистательных достоинствах. В общем разговоре, утверждали они, она желала скорее ослеплять, нежели нравиться: произнося монологи, низводила собеседников до роли вольнослушателей; она не беседовала, а импровизировала; задавая вопрос, редко выслушивала ответ. Она любила свет, где имела такой успех, но не любила общества женщин, ибо оно, как правило, не оставляло ей возможности блеснуть умом. Женщины ей этого не простили, как бы много она ни сделала для прославления их пола» (*La Garde.* T. 1. P. 215–216). Ср. также замечание начальника австрийской полиции Эрхарда фон Лея (впрочем, изначально весьма недоброжелательного по отношению к г-же де Сталь) в донесении от 8 февраля 1808 г.: «Любопытно, что эту женщину, которая благодаря своему отцу своим писаниям, а возможно, и благодаря своему поведению пользуется немалой известностью, никто не любит, и в официальных кругах даже особы, с ней не знакомые, говорят о ней с ненавистью» (*CS.* № 41. P. 19). В новый свой приезд г-жа де Сталь возбудила еще больше слухов и сплетен, чем в 1808 г.; по свидетельству современницы, впрочем недоброжелательной, в свете «толковали о множестве вещей: о водянке, о беременности, о некоем г-не Рокке, о тайном браке», злословили о неотлучном пребывании рядом с г-жой де Сталь А. В. Шлегеля (*Montet, baronne de.* Souvenirs. P. 70). О венском круге общения г-жи де Сталь см. также примеч. 20 к Приложению и примеч. 602.

598 В результате первого раздела Польши (1772) Австрия получила Галицию (за исключением Кракова), в результате третьего раздела (1795) — Краков и территорию между реками Пилицей и Бугом (см.: История внешней политики России. XVIII век. М., 2000. С. 168–197); после кампании 1809 г. Наполеон лишил Австрию большой части этих территорий (Западная Галиция, Краков, Люблин), включив их в созданное им герцогство Варшавское, переданное в управление его союзнику, саксонскому королю Фридриху-Августу. Желая заручиться поддержкой поляков накануне войны против России, Наполеон приказал созвать чрезвычайный сейм, который 28 июня 1812 г. принял акт о создании Генеральной конфедерации Польского королевства, целью которой было объединение Польши и создание Польского королевства под покровительством Франции (акты Варшавской конфедерации см.: *Сб. РИО.* Т. 128. С. 4–83). Под галицийскими поляками Сталь подразумевает поляков, проживавших в той части Галиции, которая еще принадлежала Австрии. Тридцатитысячный австрийский вспомогательный корпус вошел в состав наполеоновской Великой армии в соответствии с

франкоавстрийским союзным договором от 14 марта 1812 г.; командовал им князь фон Шварценберг (см. примеч. 600).

599 См. примеч. 646 и 647.

600 Эрцгерцог Карл (1771–1847), младший брат австрийского императора Франца, был талантливым полководцем, реформатором австрийской армии и убежденным противником Наполеона; г-жа де Сталь познакомилась с ним в Теплице в 1808 г. После поражения Австрии в кампании 1809 г. эрцгерцог впал в немилость, вышел в отставку и простился с большой политикой. В июне 1812 г., после отказа эрцгерцога Карла встать во главе австрийского вспомогательного корпуса в составе наполеоновской армии, командование этим корпусом было поручено князю Карлу Филиппу фон Шварценбергу (1771–1820), так же хорошо знакомому г-же де Сталь. В 1808 г. в Вене она принимала князя у себя, затем состояла с ним в переписке и вновь встретилась с ним в Вене летом 1812 г. (см.: *Ullrichova.* P. 82–87; *Trtnik.* P. 309).

601 Меттерних в то время, когда Сталь добралась до Австрии, находился в Праге, куда прибыл из Дрездена (см. примеч. 592); в Вену он вернулся только в конце июля. Сталь была знакома с Меттернихом еще с 1804 г., со времени своего пребывания в Берлине, где Меттерних был в ту пору послом Австрии. Однако австрийский политик, судя по его более поздним отзывам, никогда не испытывал к Сталь особого расположения. 3 февраля 1819 г. он писал своей тогдашней возлюбленной, графине Д. Х. Ливен: «Я хорошо знал госпожу де Сталь. Удивить меня ей удавалось, но привести в восхищение — нет. Решительно не могу понять, как она вообще могла привести в восхищение кого бы то ни было. Я тем больше уверен в своих словах, что она старалась меня очаровать и приступала ко мне усердно и искусно, но без всякого успеха. Я впервые познакомился с ней в Берлине, где она провела одну зиму. Я виделся с нею постоянно, но ей хотелось видеться со мной еще чаще. Однако взгляды наши рознились. Любезность ее обращалась в сношении со мной в препятствие непреодолимое. Тонкость ее меня ранила, поведение — пугало. Женщины-амазонки наводят на меня скуку. Салон госпожи де Сталь, вместо того чтобы служить местом отдохновения, напоминал форум: свой стул она обращала в кафедру. Она желала видеть у своих ног скованных рабов, даже когда сама притворялась, будто смиренно вверяет себя чужой власти. Тирания, равно как и рабство, мне противна. Мне потребен свободный обмен мыслями; когда я люблю, я требую слишком многого, но все это не должно иметь вид милости и еще менее — вид наказания» (цит. по: *Ullrichova.* P. 88–89). В 1810 г., по

свидетельству самого Меттерниха, Сталь просила его походатайствовать за нее перед Наполеоном и испросить для нее позволение «получить вещь, самую для нее желанную, а именно дозволение возвратиться в Париж и болтать в тамошних салонах», однако Меттерних, «убежденный, что заступничество его принесет мало пользы», просьбу выполнять не стал *(Ullrichova.* P. 87, 89). Во время пребывания в Австрии в 1812 г. Сталь дважды писала Меттерниху письма с просьбой защитить ее от произвола местных властей. Письма эти опубликованы в кн.: *Ullrichova.* P. 90–94. В первом письме, написанном через два дня после прибытия в Вену, 8 июня 1812 г., Сталь ограничивается тем, что сообщает Меттерниху о своей поездке с детьми «на родину их отца» и вверяет себя его попечительству, выражая огорчение тем обстоятельством, что его нет в Вене.

602 О пребывании г-жи де Сталь в Вене в 1808 г. см. примеч. 20 к Приложению и примеч. 597. Круг венских придворных знакомств г-жи де Сталь в 1808 г. был так широк, что начальник австрийской полиции даже счел известие о ее опале не более чем предлогом и заподозрил ее в шпионстве в пользу Франции, тем более что поначалу французский посол Андреосси принимал ее у себя и ей покровительствовал (см.: *CS.* № 41. P. 20; здесь же см. перечисление всех высокопоставленных венцев, бывавших в салоне г-жи де Сталь); слух о том, что Сталь — шпионка Наполеона, зафиксирован также в венском дневнике графа Карла фон Цинцендорфа (см.: *Trtnik.* P. 308). Ср. ироническое обыгрывание слухов такого рода в пушкинском «Рославлеве»: «„Может быть, — заметили мне, — m-me de Staël была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна ** доставляла ей нужные сведения“. — „Помилуйте, — сказала я, — m-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая m-me de Staël […] будет шпионом у Наполеона!..“ — „Очень, очень может статься, — возразила востроносая графиня Б. — Наполеон был такая бестия, а m-me de Staël претонкая штука!“» (*Пушкин.* Т. VIII. С. 152).

603 Донесения этих шпионов частично опубликованы в кн.: *Mistier.* P. 283 et suiv. Австрийские полицейские не только следили за г-жой де Сталь, но и перлюстрировали ее письма.

604 Французским послом в Австрии был с конца 1809 г. Луи-Гийом Отто, граф де Молуа (1754–1817); в конце мая он одновременно с австрийским императором выехал в Дрезден, а в описываемый период находился вместе с двором в Праге.

605 В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Бухарест, столица Валахии, был занят русскими войсками, однако в описываемое время он России уже не принадлежал, ибо согласно мирному договору, подписанному в этом городе 16 / 28 мая

1812 г., незадолго до приезда г-жи де Сталь в Вену, вся Валахия отходила Турции.

606 Эрцгерцог Франц (1779–1846), сын наместника Ломбардии, эрцгерцога Фердинанда Австрийского, отправился на Сардинию, где в это время находился изгнанный из своих континентальных владений пьемонтский двор, и в 1812 г. женился на Марии-Беатрисе Савойской, дочери сардинского короля Виктора- Эммануила I; в 1814 г. Франц стал герцогом Моденским.

607 Этот пост в 1812 г. занимал барон Бунге.

608 Ныне Братислава.

609 Один из примеров «умозрительной» географии г-жи де Сталь: Азией она именует Россию, хотя в строго географическом смысле дорога в Швецию пролегала, разумеется, через европейскую часть Российской империи. Впоследствии, проезжая через Россию, Сталь постоянно будет размышлять над соотношением «азиатского» и «европейского» элемента в русской цивилизации.

610 Г-жа де Сталь с Джоном Роккой и детьми выехала из Вены 22 июня 1812 г. Паспорт для путешествия по австрийской территории путешественнице помог получить знакомый ей еще с 1808 г. публицист Ф. Генц (см.: *Carnets*. P. 271–272; *Mistier*. P. 281; о взаимоотношениях Генца с г-жой де Сталь см.: *King N.* De l'enthousiasme à la réticence: Germaine de Staël et Friedrich von Gentz // *CS*. № 41). Шлегель и Южине (см. о нем примеч. 535) остались в Вене ждать русских паспортов.

611 Ныне Брио; Сталь приехала туда 25 или 26 июня 1812 г.

612 Здесь, как и во многих других случаях (ср., например, оценку причастности Ф. Дрейка к деятельности двойного агента Меэ — см. примеч. 368), г-жа де Сталь идеализирует англичан: «безобидный» полковник Джордж Миллс, с которым она познакомилась в Вене еще в 1808 г. и который затем гостил в Коппе весной 1809 г., был на самом деле тайным агентом британского правительства. Слово *inoffensif* (безобидный) встречалось уже в произведениях французских авторов конца XVIII в., но еще в начале XIX в. воспринималось как неологизм (в частности, оно присутствует в вышедшей в 1801 г. «Неологии, или Словаре новых слов» С. Мерсье); современные лексикографы предположительно называют его заимствованием из английского языка (см.: *Trésor de* la langue française. P., 1983. T. 10. P. 263–264).

613 Сталь ошибается: крепость Шпильберг оставалась тюрьмой для государственных преступников до середины XIX в. (именно в Шпильберге австрийские власти в 1820-х гг. держали в заточении итальянского карбонария Сильвио Пеллико, который

посвятил этому периоду своей жизни книгу «Мои темницы»).

[614] Моравский губернатор граф Прокоп Лазаньский (1771–1824) получил из Вены приказание держать Сталь под надзором и не позволять ей останавливаться в поместьях своих друзей больше чем на краткое время, необходимое для отдыха (Ullrichova. P. 125). Кроме того, Лазаньскому было предписано разлучить Джона Рокку с г-жой де Сталь, поскольку в ее паспорте его имя не было указано в числе сопровождающих (в нем фигурировали ее сын и дочь, безымянный личный секретарь, Август Вильгельм Шлегель и четверо слуг-швейцарцев). Рокке было приказано следовать другим путем, через Опаву (Верхняя Силезия), под тем предлогом, что это более короткий путь в Швецию. Опавскому комиссару полиции Рихтеру и интенданту ольмюцкого (оломоуцкого) округа было предписано наблюдать за Роккой и следить за тем, чтобы он не встречался в дороге с г-жой де Сталь. Все письма на имя Рокки Рихтеру было приказано отправлять в Брюнн для перлюстрации (см.: Ullrichova. P. 128–139). Поскольку Шлегель и Южине остались в Вене, Сталь, к ее огорчению, пришлось продолжать путешествие в обществе детей и слуг, не имея при себе мужчины, способного защитить ее и быть ей опорой. Сталь покинула Брюнн 1 июля, а 2 июля Хагер, заместитель начальника венской полиции, известил Лазаньского, что Рокке разрешено путешествовать вместе с г-жой де Сталь, с условием, что оба нигде не будут задерживаться (Ullrichova. P. 146); до г-жи де Сталь, однако, это разрешение дошло лишь несколькими днями позже, поэтому они с Роккой порознь доехали до Ольмюца, встретились там 2 июля, а затем продолжали следовать разными путями и воссоединились только в Бродах, на русско-австрийской границе (о несостоявшемся свидании в Ланьцуте см. ниже примеч. 635).

[615] 30 июня 1812 г. Сталь послала Меттерниху письмо с жалобами на то, что Хагер не позволяет Рокке, ее «родственнику и секретарю», продолжать вместе с нею путешествие по Галиции и вообще подвергает ее и ее семью всяческим преследованиям. Меттерних впоследствии вспоминал этот эпизод весьма иронически и даже неприязненно по отношению к Сталь: «Г-ну Рокке, ее сопровождавшему, грозила опасность быть выданным Франции и предстать перед судом за дезертирство из французской армии. Однако г-же де Сталь не довольно было простого обещания, что г-н Рокка не будет выдан французским властям, она желала ввести этого господина в венские салоны. Чиновник, на которого она так горько жалуется, г-н Хагер, был человек замечательный, кристально честный, но, без сомнения, весьма суровый. Г-жа де Сталь попросила у него позволения

представить г-на Рокку; он отвечал: „Стоит ли нам, сударыня, затевать войну из- за г-на Рокки?“ На что г-жа де Сталь возразила: „Почему бы и нет? Г-н Рокка — мой друг и будет моим супругом“. Сие доказывает, что сам по себе ум не много значит. Талейран был прав, когда говорил: „Ум всему служит и ни к чему не ведет“. Для г-жи де Сталь известность была силой. Что же касается до меня, то чем я дольше живу, тем меньше доверяю этой силе» (цит. по: Ullrichova. P. 93–94; на самом деле Рокке, уволенному из армии вследствие тяжелого ранения, обвинение в дезертирстве не грозило). Впрочем, позже, в марте 1813 г., когда Сталь находилась уже в Стокгольме, Меттерних через Ф. Генца попросил у нее извинения за венские мытарства.

616 Изабелла (Эльжбета) Любомирская (урожд. Чарторыйская; 1733–1816) — вдова великого маршала коронного князя Станислава Любомирского (1700–1793). Ее брат, князь Адам Казимир Чарторыйский (1734–1823), отец известного государственного деятеля александровских времен Адама Чарторыйского, в 1812 г. был назначен главой новосозданной Польской конфедерации (см. примеч. 598); после занятия Польши русскими войсками отошел от дел. Со старой княгиней Любомирской, так же как и с ее племянником, графом Генрихом Любомирским, и его женой (см. следующее примеч.), Сталь познакомилась в Вене зимой 1807–1808 гг. (см.: *Trtnik*. P. 310–311); общалась она со старой княгиней и во время своего пребывания в Вене в 1812 г., в частности обедала у нее 17 июня (см.: *Carnets*. P. 278). Большую часть времени старая княгиня Любомирская проводила в Вене; ср. ее характеристику, относящуюся к 1814 г.: «Среди салонов, которые могли соперничать с салоном г-на де Талейрана в отношении хорошего тона, элегантности и самой утонченной общежительности, следует назвать в первую очередь салон княгини Любомирской, вдовы маршала. Дама эта, обосновавшаяся в Вене много лет назад, казалось, раз и навсегда решилась открыть двери своего дома для всех иностранцев, которые желали быть ей представленными […] Кто бывал у княгини Любомирской, тот мог понять, какую баснословную жизнь вели польские магнаты в золотую пору своего благоденствия. В княгине соединились величие Потоцких, роскошество Радзивиллов, благородство Любомирских и многих других польских вельмож. Дворец на окраине Вены, слуги, окружение, все в доме княгини и в ней самой являло сочетание Европы и Азии» *(La Garde*. T. 5. P. 11). О политических взглядах княгини дает представление фрагмент из воспоминаний жены ее внука, графини Анны Потоцкой (урожденной Тышкевич): «Чуждая всему, кроме старинных

традиций французского двора, она лучше знала век Людовика XIV, нежели недавнюю историю своей родины. Быв свидетельницей ужасов, опорочивших Революцию 1789 года […] она ненавидела все новое. Наполеон был для княгини не кем иным, как *жалким проходимцем*, которого *случай* возвел на высоту, которой он *не мог соответствовать*. Она избегала упоминаний о нем, а будучи вынужденной произнести ненавистное имя, называла императора *маленьким Буонапарте*. Храня верность Бурбонам, она носила траур по герцогу Энгиенскому и осыпала благодеяниями всех эмигрантов, каких только могла подобрать на больших дорогах» (*Potocka Л.* Mémoires. P, 1897. P. 54–55).

617 Князь Генрих Любомирский (1777–1850) — польский эрудит, собиратель книг, картин и медалей; об общении Сталь с ним и его женой Терезой (урожд. Чарторыйской; 1785–1868) в 1808 г. в Вене, а в 1810–1811 гг. в Коппе и Женеве см.: *Заборов*. С. 212–215, 219; *Candaux J.-D., King N.* Théâtre et société… // *CS*. № 38. P. 67–73.

618 Cm. примеч. 598.

619 Фердинанд III Габсбург (1769–1824), брат императора Франца I, великий герцог Тосканский, покинул свои владения, оккупированные французами, в 1799 г.; в 1801 г., по условиям Люневильского мира, он получил взамен герцогство Зальцбургское, но после Пресбургского мира лишился и его и стал курфюрстом Вюрцбургским; тосканские владения были ему окончательно возвращены в 1815 г. Великий герцог был очень музыкален; Шатобриан вспоминает, как он пел «с большой приятностью» в Фонтенбло на концертах у императрицы Жозефины (*Chateaubriand*. Т. 2. P. 2702). Три дамы, упоминаемые в комментируемом фрагменте, — три сестры Наполеона: Полина (княгиня Боргезе), Каролина (жена Мюрата) и Элиза, княгиня Пьомбино с 1805 г., великая герцогиня Тосканская со 2 марта 1809 г.

620 Рудольф I (1218–1291), родоначальник династии Габсбургов, стал германским императором в 1273 г.

621 Мария-Луиза д'Эсте (1787–1816) стала женой императора Франца I (третьей по счету) в 1808 г.; г-жа де Сталь присутствовала на бракосочетании, что нашло отражение в *ОГ* (ч. 1, гл. 7), где новобрачная охарактеризована как символ «величия и невзгод» (ее родители, эрцгерцог Моденский и эрцгерцогиня Беатрис д'Эсте, лишились своих владений в результате наполеоновских войн), а сама брачная церемония — как удачное соединение семейственных чувств и древних монархических традиций (см.: *DA*. Т. 1. P. 86–87).

[622] Сталь выехала из Брюнна 1 июля (см. примеч. 614).

[623] Согласно Кампоформийскому мирному договору (1797), Венеция, до этого бывшая аристократической республикой, отошла к Австрии (см. примеч. 31), а в 1805 г., по условиям Пресбургского мира, была передана Франции. При австрийском губернаторе, графе Каэтане Александре Биссингене-Ниппенбурге, в театрах свирепствовала цензура, а во время карнавала было запрещено закрывать лица масками.

[624] Основными источниками сведений г-жи де Сталь о Польше до и во время разделов были, по всей вероятности, два сочинения, проникнутые симпатией к полякам: «История анархии в Польше» Рюльера (изд. 1807; эта книга имелась в библиотеке Сталь; см.: *CS.* № 11. P. 52) и «Соображения об образе правлении в Польше» (изд. 1782) Ж.-Ж. Руссо — автора, высоко ценимого г-жой де Сталь (см. примеч. 175). В сочинении Руссо особую важность для г-жи де Сталь представляли, по всей видимости, рассуждения о необходимости опираться на национальное и патриотическое чувство поляков (Ibid. P. 960–961); обзор литературы, которой пользовался Руссо при написании этого сочинения, см.: *Rousseau J.-J.* Œuvres complètes. P., 1964. T. 3. P. CCXVI–CCXLIII, 1735–1741.

[625] Эта церемония целования или обнимания колен, производившая сильное впечатление на иностранных путешественников, подробно описана у Кокса: «Когда простолюдин встречает знатного господина, он кланяется совсем низко, почти до самой земли, а рукой при этом касается ноги того человека, которому хочет выказать уважение» *(Coxe.* T. 1. P. 66); ср. также: *Вульф.* С. 273. Об историческом «прототипе» этого жеста — поцелуе колена или ступни как форме оммажа (добровольного вверения вассала своему господину) см.: *Кулаева С. Д.* Символические жесты зависимости // Одиссей: Человек в истории, 2002. М., 2002. С. 166.

[626] См. примеч. 598.

[627] Антуан де Сартин, граф д'Альби (1729–1801) в 1759–1774 гг. был начальником парижской полиции и зарекомендовал себя на этом посту превосходным администратором, умеющим обеспечить парижанам и безопасность жизни, и чистоту на улицах. Однако в должности морского министра (1774–1780) он достиг куда меньших успехов и был уволен по настоянию Неккера, занимавшего в это время пост министра финансов. Взаимная неприязнь двух министров отразилась на отношении г-жи де Сталь к Сартину: дочь Неккера была склонна изображать его, вопреки реальности, человеком недалеким и неумелым; ср. характерный эпизод в *РФР* (ч. 1, гл. 8) — сразу после назначения

морским министром Сартин «обил стену географическими картами и сказал посетившему его г-ну Неккеру: „Видите, каких успехов я уже добился: с закрытыми глазами могу показать вам на карте четыре части света“» *(CRF.* P. 102).

628 Отсутствие в Польше и России кроватей в европейском понимании традиционно поражало всех приезжих. См., например, у Шаппа д'Отроша: «В Тобольске и почти повсюду в России знатные особы имеют в своих домах лишь одну кровать для мужа и жены и еще несколько для детей; все прочие домочадцы спят обычно на скамьях или циновках» *(Chappe.* T. 1. P. 258) или у Кокса: «Я часто имел случай заметить, что кровать в здешних краях — вещь непривычная; из всех русских крестьянских домов, порог которых я переступал, кровати имелись только в двух […] обычно вся семья спит на лавках, на земле или на печи […] мужчины, женщины и дети спят все вместе, без различия пола и состояния» *(Coxe.* T. 1. P. 193–194); в московском трактире тот же Кокс нашел «все необходимое, исключая кровати и простыни. Поскольку в здешних краях редко кто пускается в путь, не запасшись тем и другим, в трактирах предметы эти — большая редкость» (Ibid. P. 129). Ср. также более позднюю афористическую формулировку Кюстина: «европейская кровать кончается на Одере» *(Кюстин.* С. 369, 887).

629 Русские паспорта для г-жи де Сталь и ее спутников прибыли в Вену 30 июня, когда Сталь находилась в Брюнне; заместитель начальника венской полиции Хагер известил об этом моравского губернатора Лазаньского в письме от 1 июля 1812 г., однако путешественница выехала из Брюнна прежде, чем успела получить это известие *(Ullrichova.* P. 144). Шлегель с паспортами нагнал г-жу де Сталь 7 июля, накануне ее приезда в Ланьцут.

630 См. примеч. 617.

631 Началу войны предшествовало резкое ухудшение дипломатических отношений между Россией и Францией. Французская сторона уклонялась от решения сложных вопросов; поскольку ноты посла России в Париже князя Куракина оставались без ответа, он 29 апреля / 11 мая 1812 г. затребовал у министра иностранных дел Франции Маре паспорта для себя и всего персонала посольства; Маре ответной нотой от 12 июня уведомил Куракина, что, поскольку Франция не может принять требование России об отводе французских войск за Эльбу в качестве предварительного условия мирных переговоров, он высылает ему паспорта, требование же их выдачи рассматривает как объявление войны. Ноту сходного содержания 10/22 июня 1812 г. отправил на имя управляющего министерством иностранных дел России А. Н. Салтыкова посол Франции в

Петербурге Лористон; она гласила, что, по мнению французской стороны, требование русским послом в Париже князем Куракиным паспортов «означает разрыв, и его императорское и королевское величество с этого времени считает себя в состоянии войны с Россией» (*ВПР*. Т. 6. С. 755–756). Два дня спустя, 12 /24 июня 1812 г., французские войска перешли Неман и вторглись на территорию Российской империи.

632 Ср. сходную формулу в письме от 28 апреля 1813 г. к княгине Терезе Любомирской (см. примеч. 617): «Надеюсь, что мир вскоре обретет свободу и Польша восстанет во имя независимости мира, а не его порабощения» (цит. по: *Заборов.* С. 218–219).

633 Имение Любомирских Ланьцут располагалось на территории Жешувского округа, административным центром которого был город Жешув. Полицейского агента, которому управляющий Жешувским округом Штибер поручил сопровождать г-жу де Сталь, звали Цопот (см.: *Mistier.* P. 300–301).

634 Берлина — четырехколесный дорожный экипаж; в русском языке это слово, происходящее от фр. *berline,* употребляется и в мужском (берлин), и в женском роде.

635 Примечание Огюста де Сталя: «Чтобы доказать, что тревоги, снедавшие матушку, были не напрасны, скажу, что австрийская полиция преследовала не ее одну. Приметы г-на Рокки, а равно и приказ арестовать его как французского офицера были разосланы во все города на пути нашего следования, и, хотя он был уволен из армии, а раны его делали невозможным продолжение военной службы, нет никакого сомнения, что, будь он выдан Франции, с ним обошлись бы самым безжалостным образом. Поэтому он ехал по Галиции в одиночестве и под чужим именем; они с матушкой назначили друг другу свидание в Ланьцуте. Он приехал туда раньше нее и, не ожидая найти ее в обществе полицейского комиссара, выехал ей навстречу, объятый радостью и не подозревая, какая опасность его подстерегает. Матушка, похолодев от ужаса, едва нашла в себе силы дать ему знак удалиться, и, если бы не благородство и смекалка польского дворянина, который помог ему бежать, г-н Рокка непременно был бы опознан и арестован полицейским комиссаром. Не зная, какая участь постигнет ее рукопись и при каких обстоятельствах, как общественных, так и личных, рукопись эта увидит свет, матушка сочла своим долгом опустить эти подробности, которые сегодня уже могут стать достоянием публики». По всей вероятности, полицейский комиссар Цопот в самом деле не заметил Рокку; во всяком случае, в своем донесении он этот эпизод не упоминает (см.: *Mistier.* P. 301).

[636] Ныне Львов; здесь Сталь провела по меньшей мере три дня — с 9 по 11 июля. Если верить рассказу барона дю Монте, беседовавшего с г-жой де Сталь в Бродах (см. примеч. 640), «леопольские дамы, с ней не знакомые, являлись взглянуть на знаменитую писательницу, подобно тому как царица Савская явилась к царю Соломону, прослышав о его славе» (цит. по: *DAE-1904*. P. 408).

[637] Пост наместника Галиции в 1809–1815 гг. занимал граф Иоганн Петер Гёсс (1774–1846); см.: *Ullrichova.* P. 94.

[638] Ср. ту же мысль, изложенную более развернуто в *РФР* (ч. 4, гл. 19): «Россия по праву считается абсолютной монархией, однако, въезжая во владения императора Александра, я впервые с тех пор, как во Франции пришел к власти Наполеон, почувствовала себя свободной, и причиною тому не одни только личные добродетели императора Александра; Россия оставалась единственной страной, над которой Наполеон не был властен. Нет правительства, которое могло бы сравняться с Наполеоновой тиранией, выросшей из революции, с тиранией, которая воспользовалась самим просвещением, дабы вернее подавить всякую свободу» *(CRF*. P. 428).

[639] Примечание Огюста де Сталя: «В 1817 году Господь отнял у нас матушку и призвал ее к себе в тот же самый день 14 июля. Чья благочестивая душа не взволнуется при виде подобных таинственных совпадений, коими отмечены судьбы человеческие?» Сталь, естественно, указывает даты по григорианскому календарю.

[640] Личность этого человека не установлена; сохранилось свидетельство (весьма язвительное) другого француза, барона дю Монте, находившегося в Бродах в тот день, когда г-жа де Сталь проезжала через этот пограничный город, и описавшего этот эпизод в письме к жене от 16 июля 1812 г.: «Г-жа де Сталь приехала и уехала. Ты велела мне быть остроумным; но откуда взять остроумие такому бедняку, как я? Чтобы найти выход из этого незавидного положения и не дать ей повода изобразить меня человеком несносным в записках, которые она, возможно, опубликует, я решил принять вид простака, недостойного даже упоминания. Первый раз мы беседовали с глазу на глаз. Увлекательность беседе сообщала она, я же был так рассеян, что не запомнил и половины ее замечательных рассказов, на которые отзывался невпопад. Бедняжка Александрина! Ты достойна сострадания! Г-жа де Сталь убедилась, что супруг твой — бестолочь; он изрекал одни глупости. — Позвольте, сударыня! Вы неправы. — Как это? — А вот как. Пифия вещала уже четверть часа, а я еще не успел ничего разобрать; мысли мои были далеко;

вслушавшись наконец в ее речи, я догадался, что она толкует о вреде, который порой может нанести излишняя предусмотрительность, и отвечал наугад: „Кто желает все предвидеть и предугадать будущее, упускает из виду настоящее, а меж тем настоящее быстротечно, прежде всего надобно позаботиться о нем“. Ты и вообразить не можешь, какое впечатление произвела моя максима, рожденная случаем и рассеянностью; она была названа новой, философической, глубокой и проч. И это еще не все: я, право, был в ударе. Превознеся меня и немного успокоившись, г-жа де Сталь продолжила свои речи, а я вновь предался рассеянности. Мне послышалось, будто она толкует о преследованиях, которым она подверглась за то, что не желала кадить Наполеону. Я недолго думая отвечал: „В таком случае на свете осталось всего три независимых державы: Англия, Россия и вы“. Не успел я это изречь, как сделался красен, как рак, ибо подумал, что сморозил глупость. Меж тем — ничего подобного! Фразу мою сочли остроумной, оригинальной; я удостоился нежного рукопожатия». Далее барон дю Монте, по его словам, еще один раз порадовал г-жу де Сталь: положив конец спорам о том, куда изгнаннице следует направиться (в Одессу, Константинополь, Яссы, на Мальту), барон посоветовал ей самым коротким путем ехать в Москву (цит. по: *DAE-1904*. P. 426–427). В самом деле, вплоть до прибытия в Броды г-жа де Сталь не могла решить, как ей лучше добраться до Англии — через Турцию или через Швецию; именно пересекши границу с Россией, Сталь окончательно остановилась на втором варианте.

641 У Сталь именно так: sourds-muets (глухонемые), хотя у Левека она могла прочесть более точное объяснение: «Греки и римляне называли чужестранцев *варварами;* русские именовали их *немыми*, ибо, по их мнению, не говорить на их языке означало быть просто-напросто лишенными дара речи. От слова *немой* или *нем* образовалось слово *немец,* обозначавшее поначалу любых чужестранцев, а затем — одних только уроженцев Германии» (*Levesque*. T. 4. P. 121; здесь и далее ссылки на «Историю России» Левека даются по изданию 1783 г., которое имелось в библиотеке г-жи де Сталь; ссылки на третий том этого издания, отсутствующий в московских библиотеках, даются по изданию 1800 г.). В цикле статей «Москва в 1812 году» *(РА*. 1875. № 8. С. 398–401) А. Н. Попов приводит комментируемый абзац из «Десяти лет» как доказательство отсутствия у русского народа в 1812 г. слепой ненависти к иностранцам вообще и к французам в частности. В Москве и Петербурге никаких проблем в общении с говорящими по-французски представителями высшего общества у

г-жи де Сталь, по-видимому, не возникало, хотя случались забавные недоразумения, одно из которых запечатлено мемуаристом-москвичом: «Довольно неуклюжий швейцар довольно неуклюже начал на нее надевать шубу и, видно, сделал какое-то медвежье движение, к каким знаменитость европейская не привыкла. „Qu'est-ce donc?“ [В чем дело? — *фр.*] — вскрикнула она. „Сударыня, ваш салоп“… — „Comment? — закричала знаменитость. — Vache salope! Madame, que veut dire cela?“ [Грязная корова! Сударыня, как это понимать? — *фр.*] […] все мы расхохотались, и все разъяснилось» *(Свербеев.* С. 80–81); впрочем, вполне вероятно, что в данном случае молва просто-напросто связала забавный каламбур с именем знаменитой путешественницы, которая вообще не имела никакой необходимости в салопе (шубе), поскольку ее пребывание в Москве пришлось на летнее время.

642 В это время французы, через четыре дня после начала войны занявшие Вильну, уже захватили Минск и Борисов и подошли к укрепленному Дрисскому лагерю на реке Двине.

643 Россия получила восточную часть Волыни в 1793 г. по второму разделу Польши, а западную — в 1795 г. по третьему разделу.

644 Французские войска заняли Вильну 28 июня 1812 г. Посылая к Наполеону вечером 25 июня 1812 г. Александра Дмитриевича Балашова (1770–1837), Александр I мотивировал это следующим образом: «Я не ожидаю от сей посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы» *(Дубровин.* С. 15). Балашов, с июля 1810 по март 1812 г. занимавший должности министра полиции и петербургского военного губернатора, 28 марта / 9 апреля 1812 г. был от этих должностей уволен и отправился в Вильну к армии за императором, при котором с 25 июня / 7 июля по 4 / 16 июля состоял для особых поручений (см.: *Шилов.* С. 62); тем не менее в глазах общества он все равно оставался министром полиции; ср. свидетельство осведомленной современницы, В. И. Бакуниной (жены петербургского гражданского губернатора М. М. Бакунина): «Государь, прибыв сюда в июле, считается в походе еще поныне, 1 октября; не принимает министров: кроме военного и морского нет докладных дней для прочих; по сей самой причине Балашов ничего не делает, хотя называется министром полиции и здешним военным губернатором. Вязмитинов правит обеими должностями» (*Бакунина.* С. 408). Балашов прибыл с письмом от Александра в ставку Наполеона в окрестностях Вильны 26 июня; до 30 июня он ждал ответа Наполеона на привезенное им письмо

Александра, а 1 июля утром в Вильне был принят Наполеоном. С французским императором он беседовал дважды: утром, а затем вечером за обедом; его записка, посвященная этому эпизоду, была впервые опубликована частично в 1859 г. (см.: *Богданович.* Т. 1. С. 138–145); полный французский текст см.: *Tatistcheff.* P. 592–609; рус. пер.: *Дубровин.* С. 14–31. Ниже Сталь воспроизводит два фрагмента беседы Наполеона с Балашовым: один (о поляках) весьма неточно, второй (о Москве и религии) — почти дословно, за исключением числа церквей в Москве (см. подробнее примеч. 649). Беседа Балашова с Наполеоном была предметом обсуждения русских людей (см. примеч. 650) и иностранных дипломатов; см., в частности, донесение сардинского посла Жозефа де Местра, в котором, впрочем, подчеркнуты иные темы, также затрагивавшиеся в этой беседе: упреки Наполеона Александру в неумении воевать и в том, что он ведет войну вопреки желанию народа (*Maistre.* T. 12. P. 150; ср.: *Местр.* С. 209). О содержании беседы Сталь могла слышать в московских или петербургских салонах либо находясь в Стокгольме — от Бернадота или его окружения; в пользу последней версии свидетельствует то, что в «Путевом дневнике», куда Сталь вносила записи, еще находясь в России, беседа Балашова с Наполеоном резюмирована гораздо более коротко и менее точно: «Император сказал г-ну Бада [sic!]: „Я знаю, что подвергаю себя величайшим опасностям, но я привык искушать судьбу из- за пустяков. Турция никогда не подпишет мира, я захвачу ее, лишь только захочу“» (*Carnets.* P. 288); вопрос о Турции обсуждался в связи с недавно заключенным Бухарестским мирным договором (см. примеч. 605), подробности которого Наполеон пытался выяснить у Балашова.

645 Ср. свидетельство Фуше, согласно которому французы были убеждены, что «война с Россией была развязана из-за сахара и кофе» *(Fouché J.* Mémoires. P, 1993. P. 276). При всей шаржированности этого утверждения экономическую подоплеку франко-русского конфликта оно описывает довольно точно. С 1809 г. Наполеон стал выдавать так называемые лицензии (licences) «разным лицам для вывоза французских товаров в Англию или куда они хотят, с разрешением ввезти за это на ту же сумму колониальных товаров» (*Тарле Е. В.* Континентальная блокада: Исследования по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона. М., 1913. С. 492). Выдавая лицензии, Наполеон допускал «прямое отступление в *свою* пользу от принципов континентальной блокады», что, естественно, вызывало недовольство Александра I, который постоянно обсуждал эту тему с французским послом Коленкуром; в одной из таких бесед, состоявшейся 7 декабря 1810 г., русский император

сказал: «Будем говорить откровенно. Какова для Франции цель принимаемых вами мер? Иметь ей одной выгоды от торговли колониальными товарами, иметь монополию этой торговли. Я этому не противлюсь, я не мешаюсь в то, что происходит у других. Пусть так действуют и относительно меня. Почему бы я не имел права получать сахар от американцев, когда за ту или иную пошлину вы позволяете у себя и у других потреблять продукты ваших и даже чужих колоний?» (цит. по: *Тарле Е. В.* Указ. соч. С. 493–494). Ответом Александра на действия Наполеона стало введение указом от 19 / 31 декабря 1810 г. запретительного таможенного тарифа на товары, ввозимые по суше (то есть по преимуществу французские); формально указ не нарушал континентальную блокаду и английские товары подлежали конфискации, однако торговля с Америкой при этом допускалась; все это было крайне невыгодно для Франции и послужило одной из причин резкого охлаждения в отношениях с русским императором.

646 20 октября 1809 г., в ходе подготовки франко-русской конвенции о судьбе герцогства Варшавского, заключенной 4 января 1810 г., Жан-Батист де Номпер де Шампаньи, герцог Кадорский (1756–1834), министр иностранных дел Франции с 9 августа 1807 по 16 апреля 1811 г., адресовал канцлеру Н. П. Румянцеву письмо, где объяснял, почему Варшавскому герцогству была передана большая часть Галиции, и заверял, что Наполеон не намерен восстанавливать Польшу. «Его Величество, — писал Шампаньи, — с одобрением относится к тому, чтобы слова „Польша“ и „поляки“ исчезли не только из всех политических актов, но даже из истории» (*ВПР*. Т. 5. С. 680; см. также: *Соловьев С. М.* Сочинения. М., 1996. Т. 17. С. 382–393). Информация г-жи де Сталь об этом письме восходила, по всей вероятности, к устным источникам; во всяком случае, Шатобриан в биографии Наполеона, приведя со ссылкой на Сталь фразы о «поляках-якобинцах» и о письме Шампаньи, замечает: «Благодаря своим высокопоставленным друзьям г-жа де Сталь была прекрасно осведомлена обо всем, что делалось в правительстве» (*Chateaubriand*. Т. 1. P. 1247). Впрочем, министр внутренних дел Монталиве и сам Наполеон дали сходные обещания относительно судьбы Польши в речах перед Законодательным корпусом 1 и 3 декабря 1810 г. (см.: *Tatistcheff*. P. 513–514). Если в том, что касается письма Шампаньи, информация Сталь очень точна, то в беседе Наполеона с Балашовым польская тема, судя по докладу самого Балашова, была затронута в совершенно ином ключе. Наполеон не только не выказал безразличия к судьбе поляков, но, напротив, отозвался о них крайне лестно: «Мой Бог, что за народ

эти поляки, какой неистовый энтузиазм их воодушевляет, они, я вас уверяю, сражаются, как львы, и нет ничего в мире, на что они бы не пошли ради возвращения своего старинного отечества» (*Дубровин.* С. 22).

647 Проект русско-французской конвенции, подписанной в Петербурге 23 декабря 1809 / 4 января 1810 г. Коленкуром и Румянцевым, в самом деле предусматривал, что Польское королевство не будет восстановлено никогда и что ни к одной из частей, которые входили в это королевство прежде, не будут применены названия «Польша» и «поляки», однако Наполеон эту конвенцию не ратифицировал и предложил включить в нее формулировку гораздо более обтекаемую; он «изъявил готовность обязаться в том, что он никогда не будет способствовать никакому предприятию, клонящемуся к восстановлению Польши» (см.: *Николай Михайлович, вел. кн.* Дипломатические сношения России и Франции. СПб., 1906. Т. 4. С. 407–411). В результате конвенция ратифицирована не была, а дальнейший ход событий показал, что Наполеон не только не вычеркнул Польшу (пускай под именем герцогства Варшавского) и поляков из истории, но, наоборот, сделал на них ставку в войне против России. Таким образом Наполеон перехватил инициативу у Александра, который также размышлял о «восстановлении» Польши как насущной проблеме и с конца 1810 г. вел переговоры на эту тему при посредничестве князя Адама Чарторыйского (см.: *ВПР*. Т. 6. С. 743). В мае 1812 г. среди поляков, живших в Петербурге, ходили слухи, что «Государь отправился в Варшаву, где будет коронован королем Польским» *(Искюль С. Н.* Война 1812 года и русское общество («Осведомительные письма» тайной полиции) // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения. М., 2001. С. 277). Весной 1812 г. Александр I поручил сардинскому послу в Петербурге Жозефу де Местру составить проект обращения к полякам, и тот выполнил поручение к концу июля; по-видимому, намечался проект манифеста о «восстановлении» Польши под скипетром русского царя (см.: *Степанов.* С. 603, 662); манифест, однако, запоздал: польское дворянство стало на сторону Наполеона, и 28 июня варшавский сейм провозгласил восстановление Польского королевства (см. примеч. 598). Во время войны против России в рядах наполеоновской армии воевало около 100 000 поляков, из них две трети были распределены по разным корпусам, а одна треть составляла 5-й корпус под командованием И. Понятовского.

648 Арман Огюстен, маркиз де Коленкур, герцог Виченцский (1773–1827) с ноября 1807 по май 1811 г. был послом Франции в Петербурге, а в 1812 г. сопровождал Наполеона в походе на

Россию.

649 Этот фрагмент беседы Наполеона с Балашовым в передаче Сталь очень близок к рассказу самого Балашова (см.: *Дубровин.* С. 29); единственное разночтение состоит в числе московских церквей: сам Балашов, по его словам, уверил Наполеона, что их в Москве 240. Подсчет московских церквей был проблемой, специально занимавшей путешественников. Цифра, приводимая Сталь в комментируемом фрагменте (заметим, что в *РФР* число московских церквей составляет уже не 1600, а 1800; см.: *CRF.* P. 430), восходит, возможно, к книге ганноверского резидента Фридриха Христиана Вебера «Преобразованная Россия» (1721; фр. пер. под названием «Новые записки о настоящем состоянии Руси, или Московии» — 1725). Вебер сообщает, что в Москве уже есть полторы тысячи церквей, но местные жители хотят довести их число до 1600. В дальнейшем, однако, была предложена более скромная цифра: у Леклерка — «270 церквей и множество частных часовен» (*Leclerc.* T. 2. P. 367), у Кокса — «более тысячи» *(Coxe.* T. 1. P. 150); Фортиа де Пиль, однако, снова возвращается к веберовским данным: «по меньшей мере полторы тысячи» *(Fortia.* T. 3. P. 272).

650 То есть будут оказывать французским войскам такое же упорное сопротивление, какое оказывали им испанцы, которые с 1808 по 1813 г. вели против французов партизанскую войну, окончившуюся поражением французов. Этот обмен репликами между Наполеоном и Балашовым обсуждался уже в 1812 г. на основе устных рассказов последнего; ср. в воспоминаниях А. Г. Хомутовой, написанных, по-видимому, в 1830-х гг., то есть задолго до публикации записки Балашова (см. примеч. 644), воспроизведение услышанного в Москве в июле 1812 г. рассказа Балашова о его беседе с Наполеоном: «Он спросил меня: „Да что же поддерживает русских?“ — „Вера, Государь!“ — „Да разве ее так много в России?“ — „Так же много, как в Испании“. Он насупил брови и вскоре отпустил меня» *(РА.* 1891. Кн. 3. С. 316). Комментируемый фрагмент «Десяти лет в изгнании» был переведен на русский язык С. Н. Глинкой в «Русском вестнике на 1824-й год» (см. подробнее в наст. изд. в статье «История текста и его переводов на русский язык», с. 204).

651 Арман-Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье (1767–1822), эмигрировавший из Франции во время Революции, в 1803 г. был назначен губернатором города Одессы, а через два года — генерал-губернатором всего Новороссийского края. Этот пост он занимал до сентября 1814 г., когда возвратился во Францию, где год спустя был назначен главой кабинета министров. Приветствуя это назначение, г-жа де Сталь писала

ему: «Не пугайтесь трудности дела, на Вас возложенного; да возвратят нам Ваши достоинства утраченную Францию. Какая слава и, что еще лучше, какое блаженство души ожидают Вас, если Вы возродите для нас отечество!» (цит. по: *Waresquiel E. de.* Le duc de Richelieu. P, 1990. P. 233–234).

652 О замысле этой эпической поэмы Сталь рассказывала еще в 1808 г. в венских салонах (см.: *Rzewuska.* T. 1. P. 96). Собирать материалы для нее Сталь начала в 1811 г. в Швейцарии (см.: *Lenormant.* P. 223), и об этом литературном замысле знали даже наполеоновские осведомители, один из которых, начальник сыскной полиции Демаре, сообщал императору о намерении г-жи де Сталь отправиться через Одессу в Константинополь — «ибо без этого она, как ей кажется, не сумеет завершить „Жизнь Ричарда Львиное Сердце“ — сочинение, задуманное с тем, чтобы превзойти „Путешествие из Парижа в Иерусалим“ Шатобриана» *(CS.* № 4. P. 7). Полицейский допустил неточность: на самом деле Сталь хотела превзойти эпическую поэму в прозе «Мученики», посвященную первым христианам; ср. письмо к Анри Мейстеру 3 апреля 1812 г.: «Это историческая поэма о Ричарде Львиное Сердце и, прежде всего, об энтузиазме крестовых походов. Главных действующих лиц четверо: Фридрих Барбаросса, Филипп- Август, Ричард и Саладин; развязка — свобода Англии и Великая хартия вольностей. […] „Мученики“, которые, по-моему, не удались автору, внушили мне мысль сочинить произведение в этом роде; оно может выйти превосходным, но для этого нужно увидеть Левант и проч., ибо описания мест, тобою не виденных, подобны описаниям чувств, тобою не испытанных» *(Meister.* P. 224). Сталь продолжала работу над этой поэмой в 1814 г. *(DAE-1996.* P. 542, 24), а в 1815–1816 гг. по-прежнему мечтала о поездке в Константинополь. Никаких рукописей этой поэмы до наших дней не дошло.

653 В Киев г-жа де Сталь прибыла 21 июля 1812 г. (*DAE-1996*. P. 544).

654 Путешественники XVIII в. неизменно отмечали чрезвычайную набожность русских простолюдинов и, в частности, обыкновение, «завидев церковь (а их здесь великое множество) или образ святого, каковых также великое множество на улицах и перекрестках, кланяться и креститься бессчетное число раз» («Путешествие в Англию, Россию и Швецию в 1775 году» Даниэля Лескалье, 1799; цит. по: *Voyage.* P 389–390); см. также: *Faber.* T. 2. P. 11. Впрочем, иностранцы зачастую видели в этом обыкновении «пустое кривлянье» (*Voyage*. P. 389) либо проявления фанатизма («Путешествие в Сибирь» Шаппа д’Отроша, 1768; см.: *Voyage.* P. 1081) и лицемерия, не имеющего никакого отношения к

реальным добродетелям; ср., например, у Массона: «Некий офицер-иностранец нанял слугу из солдат и повел к себе. Проходя мимо церкви, солдат останавливается, преклоняет колена и крестится. Ах так! — говорит офицер. — Выходит, ты плут; ступай прочь, ты мне не нужен; предшественник твой тоже крестился, а потом обокрал меня. Офицер не успокоился до тех пор, пока не нашел слугу, который проходил мимо церкви, не останавливаясь. Этого он нанял и не прогадал: слуга оказался честен» (*Masson.* P. 187; другие примеры поверхностной набожности см.: *Массон.* С. 141–142). Напротив, Сталь в соответствии со своим желанием оценивать все увиденное в России и могущее послужить делу борьбы против Наполеона сугубо положительно склонна видеть в набожности русских залог чистоты их нравов.

655 Источник — *Levesque.* Т. 1. P. 63.

656 Подробное описание этой церемонии Сталь могла прочесть у Кокса (*Coxe.* Т. 1. P. 73–75) и у Фортиа де Пиля (*Fortia.* Т. 3. P. 80–82). Наблюдатели скептические и недоброжелательные называли церемонию водосвятия «фарсом» (см.: *Liechtenhan.* P 160).

[657] Источник — *Levesque.* T. 1. P. 120.

[658] Источник — *Levesque.* T. 1. P 115–116.

[659] Сталь опирается в данном случае не столько на знание фактов, сколько на логику; при этом она продолжает одну из двух традиций оценки религиозной ситуации в России. Европейские путешественники, симпатизировавшие России, охотно отмечали веротерпимость Петра I и Екатерины II, имевшую, впрочем, вполне прагматические мотивы (так, принимая в России иезуитов после того, как их орден был распущен папой Климентом XIV в 1773 г., Екатерина рассчитывала вывести русских католиков из-под влияния римского престола). В «Истории обеих Индий» (кн. 19) Рейналя «веротерпимость в Петербурге» именуется даже «почти безграничной» и распространяющейся на все исповедания, кроме иудейского (*Raynal.* T. 10. P 41). Популярным примером российской веротерпимости для благожелательных наблюдателей служил Невский проспект, именовавшийся «улицей Веротерпимости, где рядом располагаются две греческие церкви, две протестантские, две лютеранские, одна армянская, одна католическая» (*Faber.* T. 2. P. 16; об авторе этой книги см. примеч. 676); ср. высказывание австрийского императора Иосифа, «канонизированное» в позднейшем (1816–1828) описании П. П. Свиньина (кстати, состоявшего со Сталь в переписке; см.: *Дурылин.* С. 286): «Вообразите, говорил он [император Иосиф], что пять или шесть человек идут в воскресенье вместе по улице и разговаривают дружески; придя на Невский проспект, они расходятся все на разные стороны […]. Все они пошли к обедне, но только один из них идет в русскую церковь, другой — в лютеранскую, третий — в реформатскую и так далее: все они были различных вер. Сие согласие между разноверцами не приносит ли отличной чести русскому правительству и характеру россиян?» (*Свиньин.* С. 26). Напротив, иностранцы, писавшие о России неприязненно, изображали русских православных людьми совершенно нетерпимыми; см., например, у Рюльера противопоставление толерантных поляков нетерпимым русским (*Rulhiere*. T. 1. P. 33–37; 76–77). О восприятии православной церкви иностранными мемуаристами см. также: *Liechtenhan.* Passim.

[660] Указание на то, что духовная власть в России подчинена светской, было так же традиционно для европейских авторов путевых заметок, как и подчеркивание чрезвычайной набожности русских (см. примеч. 654), и точно так же, в зависимости от убеждений пишущего, могло оцениваться самым противоположным образом — от одобрения действий Петра I, который, упразднив патриаршество и смирив сопротивление

невежественных попов, способствовал просвещению страны, до осуждения деспотизма государей, узурпировавших духовную власть (см.: *Liechtenhan.* P. 139–171; см. также примеч. 734). Сталь, естественно, почти не касается негативной стороны, хотя сдержанному указанию на отсутствие у православного духовенства морального авторитета соответствовали у ее предшественников весьма резкие пассажи. См., например, в «Путешествии в Сибирь» Шаппа д'Отроша: «Дворяне в России в священники не идут; третьего сословия здесь не существует. Итак, духовное сословие состоит исключительно из простолюдинов или из детей священников, которые зачастую развращены еще сильнее; ни те, ни другие не получают никакого воспитания, отчего духовенство в России отличается исключительным невежеством и распутством» (*Chappe.* T. 1. P. 213) или у Рюльера: «Дворяне в священники никогда не шли; духовными особами становились либо крепостные, купившие у своих хозяев право уйти в монастырь, либо сыновья священников, следовавшие по стопам своих отцов» (*Rulhière.* T. 1. P. 80).

661 Фрагмент, основанный на чтении Левека (*Levesque-1800.* T. 3. P. 191): «…подобно грекам и римлянам, русские нанимают публичных плакальщиц, торгующих слезами. Чужестранцы с трудом сохраняют равнодушие, слыша вопросы, которые эти женщины задают покойникам во время этих печальных церемоний: „Зачем ты умер? Разве ты был недостаточно богат, недостаточно одарен милостями князя? Разве жена твоя не красавица? Разве дети твои не подавали великие надежды? Зачем же ты умер?“»; ср. резюме этого пассажа Левека в: *Carnets.* P. 482.

662 Римские катакомбы г-жа де Сталь осмотрела во время своего пребывания в Риме в 1805 г., и они произвели на нее очень тяжелое впечатление: «Сколько энтузиазма требовалось, чтобы здесь жить! Как сильно эта жизнь походила на смерть!» (*Carnets.* P. 197); более развернуто те же впечатления отражены в словах Коринны: «Эти убежища преследуемых за веру христиан так мрачны и страшны, что я бы не решилась спуститься туда еще раз: там не ощущаешь той умиротворяющей печали, которая нисходит на душу близ мест погребения под открытым небом. […] Конечно, мы преклоняемся перед людьми, которые были охвачены таким религиозным экстазом, что смогли обречь себя на жизнь под землей, расставшись с природой и солнечным светом; но наша душа в подземелье томится, ничто там ее не радует» (*Коринна*. С. 81). Впрочем, упомянув киевские «катакомбы» в «Путевом дневнике», Сталь предположила, что «в здешнем краю контраст между белым светом и подземным миром, должно быть, не так велик» *(Carnets*. P. 281).

[663] Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825), правнук серба, перешедшего при Петре I из турецкой в русскую службу, граф с 1813 г., состоял киевским военным губернатором с апреля 1810 до лета 1812 г.; в начале Отечественной войны в чине генерала от инфантерии принял руководство формированием в районе Калуги запасных войск и с ними 15 августа 1812 г. присоединился к главным силам армии и участвовал в Бородинской битве. 5 декабря 1812 г. в письме из Стокгольма к княгине Е. И. Кутузовой, жене полководца, Сталь просит ее передать Милорадовичу, что она «плетет ему лавровый венок, ибо он показал себя достойным адъютантом своего генерала» (*DAE-1904*. P. 412; имеются в виду успешные действия Милорадовича в боях под Красным 5–7 ноября 1812 г.; отсюда исправление ошибочной датировки *DAE-1904* — 5 октября, произведенное в изд.: *Дурылин.* С. 279).

[664] Ср. в «Путевом дневнике»: «Суворов: его старания показать, что он действует исключительно по наитию. „Мой план — чистый лист бумаги“. Ночью изучал карты, а утром диктовал маршруты, исчисляя города и леса. Ломал комедию, чтобы уберечь себя от зависти, столь свойственной его соотечественникам» (*Carnets*. P. 322). Имена Суворова и Милорадовича традиционно упоминались вместе с 1799 г., когда в Итальянском и Швейцарском походах Милорадович состоял дежурным генералом штаба Суворова; уже после событий, описываемых Сталь, 27 января 1813 г., Милорадович занял Варшаву, которую некогда, в 1794 г., занял Суворов, причем ключи были поднесены Милорадовичу тем же самым мэром, который подносил их Суворову. Сталь воспринимала фигуру Суворова как принадлежащую истории недавней и вполне злободневной: на рубеже веков (то есть в ту самую пору, с какой Сталь начинает свое мемуарное повествование) русская армия под командованием Суворова сражалась с французами в Европе и французские газетчики много писали о Суворове, стремясь «снизить» его образ насмешками; упоминалось в газетах и имя Милорадовича (см.: *Corbet.* P. 36–39). В 1800-х гг. в литературе на французском языке соседствовали противоположные оценки личности Суворова: если в «Секретных записках о России» (1800–1802) Ш. Массона подробно и весьма неприязненно описаны его «сумасбродство» и «шутовство» (см.: *Массон.* С. 120–123), то в книге служившего в его штабе в 1794–1796 гг. Г.-П.-И. Гийоманша-Дюбокажа особый раздел посвящен опровержению «клеветнических» анекдотов, изображающих Суворова шутом (см.: *Guillaumanches-Duboscage G.-P.-I.* Précis historique sur le célèbre feld-maréchal comte Souworov Rymnikski… Hambourg, 1808. P. 337–

351), а в книге «бывшего драгунского офицера» Л.-М.-П. де Лаверна подчеркивается, что Суворов не только не был шутом, но и был превосходно образован и знал множество языков (см.: *Láverne L.-M.-P. de.* Histoire de feld-maréchal Souwarof… P., 1809. P. 446–448, 458, 473). О литературных и исторических познаниях Суворова см.: *Лопатин В. С.* Суворов в своих письмах // Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 463–465.

665 Возможно, имеется в виду княгиня Елизавета Ипсиланти (урожд. Вакареско; 1770–1866), жена князя Константина Ипсиланти (ум. 1816), в прошлом господаря Молдавии и Валахии, который в 1806 г. бежал в Россию и жил в Киеве. Неясно, что имел в виду Пушкин, когда писал Вяземскому 27 мая / 8 июня 1826 г.: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда […] пред M-me de Staël заставляем Милорадовича отличаться в мазурке» (*Пушкин.* Т. XIII. С. 280). Современные комментаторы предполагают, что Пушкин «слышал об этой сценке на юге» (Переписка Пушкина. М., 1982. Т. 1. С. 245), однако «Путевые дневники» г-жи де Сталь не содержат ни единого намека на посещение ею какого-либо бала в Киеве. Впоследствии Пушкин наделил сходным чувством героиню «Рославлева»: Полина точно так же негодует, наблюдая недостойное поведение русских дворян в присутствии славной французской писательницы.

666 Тема жестокости русских правителей дебатировалась во французской прессе начала века в период антирусской пропагандистской кампании (см.: *Corbet.* P. 47–56); см., например, характерное название вышедшего в 1802 г. памфлета республиканца Сильвена Марешаля «Преступления российских императоров». Как цепь преступлений и убийств русская история изображена и в одной из новейших французских книг, частично посвященных России, которыми располагала г-жа де Сталь, — «Истории анархии в Польше» (1807) К.-К. де Рюльера (см.: *Rulhiere.* Т. 1. P. 71–100).

667 П. А. Вяземский в статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» (1823) цитирует эту мысль Сталь в связи со сценой боя Ермака с Мегмет-Кулом из поэмы Дмитриева «Ермак» и прибавляет: «Можно подумать, что она сделала это заключение, слушая стихи из упомянутого отрывка» *(Вяземский П. А.* Сочинения. М., 1982. Т. 2. С. 63).

668 Судя по серому цвету одежды, казаки, встретившиеся г-же де Сталь, не входили в состав регулярных казачьих войск (у которых цвет форменной одежды был темно-синий) и либо принадлежали к числу резервных, то есть тех, которые, «состоя сверх положенного в каждом полку, предполагаются к

зачислению […] взамен убылых людей», либо входили в состав ополчения. Резервные казаки носили чекмени (верхнюю одежду, присборенную у талии, без воротника) «из серого сукна с красною выпушкою и черной кожаной обшивкою», а казаки-ополченцы, согласно постановлению от 15 июля 1812 г., — «русские серые кафтаны из крестьянского сукна» (*Висковатов А. В.* Историческое описание одежды и вооружения российских войск. СПб., 1901. Ч. 18. С. 25, 49–50). Что касается головных уборов, то резервным казакам были предписаны «фуражные шапки из серого с околышем из синего сукна и с козырьком из черной кожи. При шапке полагались пришитые к ней и в случае надобности подбиравшиеся внутрь ее: серые суконные наушники и черный кожаный затыльник», а ополченцам — суконные фуражки такого фасона, «чтобы оную мог каждый во время холоду подвязывать сверх ушей под бородою». Впрочем, замечает Висковатов, «постановление сие [о форме одежды ополченцев] по случаю быстрого приближения неприятеля […] не могло быть исполнено в точности», поэтому ополченцы одевались «весьма разнообразно», и среди их головных уборов фигурировали «круглые поярковые шляпы», шляпы четырехугольные, а по большей части — «серые суконные шапки» (Там же. С. 50). В состав форменной одежды казаков входил также башлык — «съемный капюшон с двумя длинными концами, которые могут быть обмотаны вокруг шеи» (*Кирсанова Р. М.* Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX в. М., 1995. С. 32). Поскольку ружей на ополченцев не хватало, вооружены они были по преимуществу пиками, производившими сильное впечатление даже на европейских наблюдателей, куда более искушенных в военной науке, чем г-жа де Сталь; генерал Вильсон (см. примеч. 831) в донесении в Англию от 9 / 21 января 1813 г. писал о желательности введения пик, которыми пользуются русские казаки, в английской армии (см.*: Дубровин.* С. 445).

669 Представления Сталь о казаках были, по-видимому, почерпнуты из литературных описаний: Левек писал о казаках, что они «так любили свободу, так ненавидели всякое принуждение, что не стали бы неволить себя даже ради собственной безопасности» (*Levesque.* T. 4. P. 152–164); Кокс описывал «нерегулярное войско», составленное из людей, которые «испытывают отвращение к какому бы то ни было послушанию, отчего невозможно объединить их в эскадроны» (*Coxe.* T. 1. P. 40–41). См. также подробное описание воинских талантов казаков, изначально приученных «к набегам и грабежу», у Массона (*Masson.* P. 299–321).

[670] Французы в это время вступили в Витебск (28 июля) и начали продвигаться к Смоленску. Вопрос о том, где находится французская армия, волновал г-жу де Сталь во время всей ее поездки по России; ср. воспоминание Д. П. Рунича о встрече с ней на середине пути между Москвой и Петербургом: Сталь обратилась к нему «с обычным в то время вопросом: что знают о Наполеоне и где он находится? И когда я ответил, что трудно определить, где он, что он везде и нигде, г-жа Сталь сказала: ах, милостивый государь, доныне он вполне доказал справедливость первого; императору Александру выпало на долю доказать второе» (*РС*. 1901. № 3. С. 598–599).

[671] Гражданским губернатором Орловской губернии в 1812 г. был действительный статский советник Петр Иванович Яковлев (см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1812. Ч. 2. С. 168); Тульской губернии — тайный советник Николай Иванович Богданов (см.: Там же. С. 136; *РС*. 1889. Т. 64. № 11. С. 260). Чья именно супруга принимала Сталь «с шербетом и розами», сказать затруднительно.

[672] Образ фруктов, растущих в теплицах и не способных окончательно созреть (ср. у Сталь ниже: «Фрукты, которыми меня угощали, имели терпкий вкус, ибо созрели слишком быстро»), постоянно употреблялся в книгах о России как в прямом, так и в переносном, метафорическом смысле; об этом, например, говорится в одной из посвященных России глав книги «Философическая история обеих Индий» Рейналя (2-е изд. 1774); текст этот восходит к «Политическим фрагментам, извлеченным из портфеля одного философа» Дидро и был впервые обнародован в 1772 г. в «Литературной корреспонденции» Гримма (см.: *Mirage*. P 165–166). Знаменитости, приглашенные в Россию из-за границы, именуются здесь «экзотическими растениями, которые погибнут в этой стране, как гибнут иностранные растения в наших теплицах». О распространении этого образа, восходящего к описанию фруктов в московских и петербургских теплицах в «Путешествии в Сибирь» (1768) Шаппа д’Отроша, и его философском подтексте — полемике с прославлением благородного и полезного насилия над природой, выразившемся, например, в вольтеровской апологии Петра I (о котором см. примеч. 708), см.: *Goggi G.* Alexandre Deleyre et le *Voyage en Sibérie* de Chappe d’Auteroche: la Russie, les pays du Nord et la question de la civilisation // *Mirage*. P. 80–82. См. также оставшееся за пределами статьи Годжи использование этого образа Массоном в его полемике с А. фон Коцебу: «Весной в петербургском порту выгружают на берег множество ящиков с

цветами и фруктовыми деревьями; богачи покупают их для украшения своих гостиных и садов, однако очень скоро они увядают навсегда, и разве назовет их кто-либо плодами русской земли?» *(Masson-Lettres.* P. 143–144).

673 Первое употребление слова «confort» во французском языке в значении «комфорт, удобства» словари датируют 1815 г., причем ссылаются на частное письмо Шатобриана (см.: Trésor de la langue française. P, 1977. T. 5. P. 1313–1314); до XIX в. и во французском, и в английском языках слово «confort» (в английском написании — «comfort») употреблялось в значении «помощь, ободрение, утешение»; англичане первыми расширили его семантику, а затем новое значение вошло и во французский язык, но вплоть до начала 1840-х гг. могло ощущаться как неологизм (см.: *Кюстин.* С. 450, 910). Как английское заимствование его воспринимали и в России; ср. в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «Труба в каждой избе, стекла заменили натянутый пузырь — вообще более чистоты, удобства, того, что англ[ичане] называют comfort» *(Пушкин.* Т. XI. С. 256).

674 Тот же анекдот рассказан в *РФР* (ч. 4, гл. 14), но не про генерала, а про «бесстрашного маршала», который отпускает реплику об охапке сена «в припадке раздражения» *(CRF.* P. 409); имя маршала раскрыто в рукописи *РФР* — это маршал Ланн (см.: *DAE-1996.* P. 267).

675 Ср. у Массона пространное рассуждение насчет пристрастия русского народа к воровству, оканчивающееся констатацией, сходной с выводом Сталь: «Если два главных порока русских — воровство и пьянство, два главных их достоинства — гостеприимство и отвага» *(Masson.* P. 175).

676 В обстановке войны 1812 г. понятие «варварство» могло отсылать к разным объектам и употребляться как в позитивном, так и в негативном смысле. Наполеон перед началом войны настаивал на том, что русские варвары не принадлежат к числу европейцев, что цивилизация «отторгает» этих жителей Севера и что Европа должна жить без них; «Монитёр» по его приказу постоянно писал о техническом несовершенстве русских (см.: *Corbet.* P. 80–81); «варварами» Наполеон именовал русских и в своих бюллетенях. Однако в то же самое время «варварами» и «каннибалами» именовали русские люди французов; см., например, призыв спасти мир «от варварства и рабства, которые готовятся поглотить их» в письме, которым император Александр I приглашал барона Штейна приехать в Россию (см.: *Пыпин.* С. 298). Наконец, понятие варварства получало и еще одну, на сей раз позитивную трактовку: иностранные (если не по подданству, то по культуре и воспитанию) наблюдатели,

симпатизирующие России, осмысляли русское «варварство» как животворную молодость нации. Сталь, по всей вероятности, обсуждала эту тему с европейски образованным российским подданным Готгильфом Теодором Фабером (1768–1847), автором книги «Безделки. Прогулки праздного наблюдателя по Санкт-Петербургу», изданной на французском языке в Петербурге в 1811 г. (рус. пер. отрывков см.: Новое лит. обозрение. 1993. № 4. С. 356–368). В 1812 г. Фабер был чиновником статистического отделения министерства полиции и протеже барона Штейна (см. примеч. 832). Сталь высоко ценила информацию Фабера о русской политической жизни и, оказавшись в Стокгольме, с нетерпением ждала его писем (см.: *Galiffe.* P. 317, 324, 323). Одно такое письмо (датированное 1/13 декабря 1812 г.) сохранилось; размышления о русском «варварстве», в нем содержащиеся, имеют немало общего с идеями Сталь, а возможно, являются их источником: «Вступать в сделку с неприятелем — такая мысль не вмещается в русской голове. Никакое примирение невозможно, ни о каком сближении не хотят и слышать. Победить или быть побежденным, середины для русских не существует. Конечно, в таком настроении есть что-то дикое, но ведь русский еще недалек от первобытного состояния. Он разрушает все то, чем владеет. […] В своих бюллетенях вы зовете это чувство народности варварством. Я люблю варварство, спасающее отчизну» (*Фабер.* С. 33–34).

677 См. ниже примеч. 721.

678 Сходное наблюдение сделал и проживший 14 лет в России Жозеф де Местр (о его взаимоотношениях с г-жой де Сталь см. примеч. 722): «Главный закон для русского — молчание; находясь в затруднении или испытывая к вам нерасположение, он ни за что не станет искать слова для выражения своих чувств; он предпочтет промолчать. Никаких объяснений; объяснения — вещь, для него неведомая; что бы вы ни делали, он от вас ускользнет. Даже прекрасно зная заранее, что он не сумеет сделать то, о чем вы просите, русский, как правило скажет вам „да“, оставив за собою право ничего не делать и ни о чем не говорить» (Religion et mœurs des Russes / Anecdotes recueillies par le comte Joseph de Maistre et le P. Grivel. P, 1879. P. 80). О «русском молчании» см. также примеч. 804; о молчании австрийском — примеч. 579.

679 О склонности русских к подражанию и, как следствии этого, утрате ими национальной самобытности упоминают почти все европейцы, анализирующие русский национальный характер (см. сводку примеров: *Кюстин.* С. 813–814), Руссо в «Общественном договоре» трактует русскую подражательность

как свойство Петра I («Петр обладал талантами подражательными, у него не было подлинного гения») и пагубное следствие его реформ: «Он [Петр] хотел сначала создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских» *(Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С. 183). Авторы XVIII в. в большинстве своем оценивали способность русских к подражанию отрицательно — как признак несамостоятельности; см., например, у Рюльера: «Примечательно, что, хотя русская нация существует на свете уже много столетий, она не может похвастать никакими изобретениями. Жилища русских построены по образцу самых древних и незамысловатых греческих домов. Во все времена русские были такими же, какими видим мы их ныне: привыкшими следовать чужим мыслям, но не способными породить ни единой мысли самостоятельно: стоит им отыскать образец для подражания, и всякая задача становится им по плечу; идя по чужим стопам, они выказывают чудеса изобретательности и ловкости; стоит, однако, им лишиться наставника или образца, и вместе с исчезновением предмета исчезает и его отражение» (*Rulhiere*. Т. 1. P. 86). Впрочем, «физическая и умственная гибкость» русского человека, который способен «быть фриволен, как прежний французский петиметр, сходить с ума от музыки, как итальянец, быть рассудителен, как немец, своеобразен, как англичанин» (*Массон*. С. 137), могла оцениваться и положительно — как залог дальнейших свершений, путь к которым чужие достижения лишь облегчают; именно так оценивал ее Г.-Т. Фабер в «Безделках» (см. примеч. 676). Что касается г-жи де Сталь, то она, констатируя, вслед за предшественниками, подражательный талант русских, колеблется в оценке этого свойства, упрекая людей, встреченных в России, одновременно и в избытке подражательности, и в ее недостаточной глубине, в чересчур поверхностном следовании европейским образцам.

680 Парафразу этого описания русского светского общества (с усилением отрицательной оценки) см. в пушкинском «Рославлеве»: «Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою m-me de Staël» *(Пушкин.* Т. VIII. С. 151). О «бытовом» критерии «просвещенности» у Пушкина (критерии, которому не удовлетворяют «обезьяны просвещения», сталкивающиеся с г-жой де Сталь в пушкинском «Рославлеве») см.: *Вацуро В. Э.* Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 153–155.

681 Об отношении Александра I к крестьянскому вопросу и его осторожных и половинчатых попытках решить проблему освобождения крестьян (издание в 1803 г. указа о свободных

хлебопашцах, освобождение крестьян в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии в 1816–1817 гг.) см.: *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПб., 1888. Т. 1. С. 477–500; *Мироненко С. В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 66 и след.

682 Традиция описаний России требовала осуждения рабства как питательной среды деспотизма и одновременно его следствия. Предполагалось, что рабы не обладают ни гражданскими добродетелями, ни любовью к отечеству, ни честью; ср. типичный обличительный пассаж в «Физической, нравственной, гражданской и политической истории современной России» (1783–1785) Леклерка: «Раб, особливо в России, низведен до состояния столь скотского, что не смеет противиться угнетателям; обычное его свойство есть леность; стремясь забыть о своих бедах, он напивается и засыпает […] рабы — люди опустившиеся, которым недостает силы для того, чтобы возвратить себе права, неотъемлемые от человеческого существования […] В сердцах народов порабощенных не зажигается тот благородный огонь, который горит в сердце доброго гражданина. Какая корысть может двигать рабами? Станут ли они сражаться из-за своих владений? Они не владеют ничем, все принадлежит их хозяевам. Станут ли защищать свое счастье? Но возможно ли счастье при тирании? Будут ли вдохновляться любовью к славе? Но ведь они не ведают стыда, откуда же им знать, что такое честь? Возьмутся ли они за оружие для защиты своей свободы и безопасности? Но ведь ни той, ни другой у них нет» (*Leclerc.* Т. 2. P. 143). В принципе Сталь и сама считала наличие у нации определенных добродетелей возможным лишь при существовании в данной стране свободных установлений, иначе говоря, конституционного строя; так, шестая часть «Размышлений о Французской революции» посвящена преимущественно перечислению тех счастливых перемен, которые претерпел характер англичан после революции 1688 года. Однако ситуация войны 1812 г. доказала возможность совершенно иного взгляда на наличие у русских «рабов» и вообще у подданных российского самодержавного государства гражданских чувств. Сталь, по всей вероятности, обсуждала эту тему с московскими и петербургскими собеседниками; см., в частности, в письме к ней Г.-Т. Фабера (см. примеч. 676) от 1 / 13 декабря 1812 г.: «Посмотрите на русского крестьянина. Живи он под тягостным игом, он не мог бы быть умным, ловким, искусным, веселым, смелым, предприимчивым. Скажите мне, неужели эти умные поселяне, ловкие, искусные, веселые, смелые

и предприимчивые — рабы? […] Мои слова покажутся парадоксом, они заставят кабинетного философа испустить громкий крик; но я скажу их только Вам: рабство в том виде, как оно сейчас существует в России, спасло на этот раз государство» (*Фабер*. С. 35). Сходно мыслил и сардинский посланник Жозеф де Местр, 5/17 августа 1812 г. сообщавший коллеге, сардинскому посланнику в Лондоне графу де Фрону: «Все книги наперебой толкуют о русском деспотизме и русском рабстве. Могу Вас заверить, однако, что нигде человек не пользуется такой свободой, как в этой стране, жители которой поступают, как им вздумается. Крайности сходятся, и самовластительное правление порождает немало республиканских свобод. Из сего проистекают сочетания, понятные лишь тому, кто наблюдал их вблизи. […] Если человек может достичь всего, чего желает, продвигаясь по служебной лестнице от чина к чину, он ничуть не заинтересован в разрушении родного государства. Рабство имеет свои выгоды и вовсе не отменяет национального энтузиазма. Бонапарт думал, что обнаружит здесь французских или итальянских буржуа, каких мы во множестве видели прежде; он жестоко заблуждался» (*Maistre*. T. 12. P. 195). Наконец, приведем соответствующее суждение еще одного петербургского собеседника г-жи де Сталь, Э. М. Арндта, который в «Воспоминаниях» пишет о «твердой, неразрушимой сущности» русского народа: «У последнего крестьянина написано на лице: я также нечто; выражается великая, несокрушимая общность, нечто похожее на гордость, о чем смиренный немец не имеет и понятия». Что же касается высших сословий, продолжает Арндт, то им присущи «решительность и независимость», «самоуверенная сила»: «Как? Независимость в таких странах, как Россия и Турция, где случай и произвол почти всегда сильнее, чем справедливость? Именно *независимость*. Отчасти это обусловливается, конечно, народным характером, но еще более способом правления»; там, где «страх может внушать всего лишь одно лицо», человеку мужественному «нужно только не забывать, что царь также смертный человек. Какая разница там, где действуют более свободные силы! Как в Англии, во Франции, в Германии даже самый энергичный характер, самая могучая воля должна дробиться и размениваться в своей деятельности! Со сколькими лицами и вещами приходится считаться. […] В странах, где поклоняются лишь одному Богу и одному самодержавному государю, где до Бога высоко, до царя далеко, всегда можно идти напролом. Ибо там, где господствует рабство, отдельные лица всегда наиболее независимы» (*РА*. 1871. Стлб. 0107).

683 Тезис об отсутствии в России третьего сословия был

выдвинут Монтескье, подтвержден Екатериной II в «Наказе» (см.: *Троицкий С. М.* Дворянские проекты создания «третьего чина» // *Троицкий С. М.* Россия в XVIII веке. М., 1982. С. 192–204; *Омельченко О. А.* «Законная монархия» Екатерины II. М., 1993. С. 229–231) и оставался общим местом для всех иностранцев, писавших о России. Немногочисленности представителей среднего сословия в России и бытовым трудностям, с которыми они сталкиваются, посвящена целая глава в книге Фабера «Безделки» (см.: Новое лит. обозрение. 1993. № 4. С. 356–361); о Фабере см. примеч. 676; можно предположить, что эта тема также обсуждалась в его беседах с г-жой де Сталь. Впрочем, наиболее внимательные и дотошные путешественники и историки отмечали, что отсутствие третьего сословия в России не абсолютно, а, так сказать, относительно. Ср. у Кокса: «Монтескье заметил, что в России третьего сословия нет и что русские делятся только на два разряда: дворян и рабов. Ему возразил г-н Леклерк, доказавший, что в России, вне всякого сомнения, есть и всегда был разряд людей, не принадлежащих ни к числу свободных, ни к числу рабов» *(Coxe.* T. 1. P. 385). Французские философы XVIII в. в зависимости от их отношения к деятельности Екатерины II (реальные реформы или спектакль для Европы) оценивали различные ее действия как шаги к созданию третьего сословия или как пустую имитацию таких шагов; см. анализ этих различных оценок в: *Dulac G.* Diderot et le «mirage russe» // *Mirage.* P. 161–192. Одной из мер, ведущей к созданию в России третьего сословия, считалось открытие Воспитательного дома (см. примеч. 711). С другой стороны, некоторые наблюдатели видели в создании в России третьего сословия шаг, чреватый расшатыванием общественного порядка и революциями и потому гибельный для царского правительства; традиционалисты опасались такого развития событий (см.: *Maistre.* T. 11. P. 291; *Степанов.* С. 595), радикалы — злорадно его предвкушали (см.: *Массон.* С. 133). О дальнейшей эволюции среднего класса в России см.: *Виртшафтер Э.* Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М., 2002. С. 190–205.

[684] Ниже Сталь вводит таким же образом цитату из Жозефа де Местра; это позволяет предположить, что и комментируемая фраза также принадлежит сардинскому посланнику в Петербурге (об их знакомстве со Сталь см. примеч. 722), однако приписывать ее Местру уверенно, безо всяких объяснений и ссылок, как это сделано в изд.: *Местр.* С. 57–58, оснований нет. Комментаторы *DAE- 1996* (p. 271) предлагают помимо Местра другую возможную кандидатуру — А. В. Шлегеля (на том основании, что он переводил Шекспира на немецкий).

[685] Начиная с этой фразы для текста «Десяти лет» имеется вариант — отрывок «Москва» (см.: *DAE-1996*. P. 519–522), отличающийся от основного текста лишь незначительными стилистическими разночтениями; наиболее существенные из них указаны ниже в примечаниях. В Москву г-жа де Сталь въехала 2 августа 1812 г. и оставалась там до 7 августа.

[686] Заблуждение, присущее не только г-же де Сталь; перенося впечатления от местности, окружающей Москву, на сам город, некоторые другие путешественники и до, и после нее также описывали его как плоскую равнину. Так, Шапп д'Отрош сообщает, что вся Россия, от Петербурга до Тобольска, представляет собой плоскую равнину и Москва, несмотря на имеющиеся в ней своего рода плоскогорья, не составляет исключения из общего правила (*Chappe*. T. 2. P. 348). Граф Л.-Ф. де Сегюр пишет в «Мемуарах» (изд. 1824–1826) о «широкой равнине», посреди которой расположена Москва, а Д. Лескалье (1799), не усматривая в этом никакого противоречия, — о «широкой равнине, именуемой Тригоры, что означает „три горы“» (цит. по: *Voyage*. P. 393, 391). Автор же, признающий за Москвой право не именоваться местом абсолютно плоским, спешит тотчас подчеркнуть, что хотя «место, где она выстроена, — едва ли не единственная возвышенность, какой может похвастать центр России», Москва, конечно же, «не Швейцария и не Италия, а просто пересеченная местность» (*Кюстин*. С. 457–458).

[687] А. Л. Осповат (*Осповат*. С. 477) предположил, что в этой фразе отразилась точка зрения Карамзина, запечатленная позже в его «Записке о московских достопамятностях» (1817), ав 1812 г. обсуждавшаяся им с г-жой де Сталь во время обеда у Ростопчина (см. ниже примеч. 716). Впрочем, поскольку общение с историографом, по-видимому, не произвело на г-жу де Сталь сильного впечатления, более вероятны в данном случае французские источники. Назовем, например, князя де Линя, который начинает письмо к маркизе де Куаньи из Москвы, включенное г-жой де Сталь в составленный ею сборник сочинений и писем де Линя 1809 г. (рус. пер. 1810), следующим восклицанием: «Сам ли я сказал или слышал от других, что город этот, в некоторых отношениях, как говорят, похожий на Испагань, еще больше напоминает соединение четырех или пяти сотен поместий знатных вельмож, которые водрузили свои деревни на колеса и съехались в одно место, да так все вместе и зажили» (*Ligne*. P. 521). В том же тоне (с упором на чрезвычайное многообразие и соединение несоединимых контрастов) изображена Москва и у Кокса: «Никогда еще не видел я города столь неправильного, столь необычайного, соединяющего в себе

столько противоположностей. […] жалкие хижины соседствуют здесь с просторными дворцами; кирпичные дома обиты досками, деревянные же, напротив, выкрашены краской или снабжены железными дверями и крышами […] в этом огромном городе одни кварталы похожи на необитаемые пустыни, а другие — на цветущие города, населенные множеством людей; на одной улице вы чувствуете себя в глухой деревне, на другой — в великой столице. О Москве надобно вести речь как о таком городе, который сначала был выстроен в азиатском вкусе и лишь постепенно и понемногу сделался европейским. В нынешнем своем состоянии являет она диковинный пример этой разнообразной архитектуры» *(Coxe.* Т. 2. P. 132). Ср. также у Фортиа де Пиля: «Поразительное зрелище представляют многие улицы, где полсотни скверных деревянных хижин, выдающих самую ужасную нищету, окружают огромный кирпичный дворец изысканной архитектуры, обличающий великое богатство» *(Fortia.* Т. 3. P. 274) или у Д. Лескалье: «По размерам Москва превосходит Париж и Лондон, однако все это огромное пространство есть не что иное, как бесформенное нагромождение деревянных хижин, дурно выстроенных кирпичных и деревянных дворцов, развалин, садов, огородов, прудов, пастбищ и пустошей, а также огромного множества церквей» (цит. по: *Voyage.* P. 388). Тот же мотив присутствует и в описаниях Москвы, опубликованных после смерти г-жи де Сталь, например в «Мемуарах» Л.-Ф. де Сегюра (1824): «…это соседство бедных хижин простонародья с богатыми купеческими домами и роскошными дворцами знати, это кипучее население, являющее собою смесь противоположных нравов и различных веков, диких народов и народов цивилизованных, европейских обществ и азиатских базаров, поражали и восхищали» (цит. по: *Voyage.* P. 393) или в «Воспоминаниях» Э.-Л. Виже-Лебрен (1835–1837): «Поразительное зрелище являет собою это множество дворцов, общественных зданий прекрасной архитектуры, монастырей и церквей вперемешку с сельскими уголками» (цит. по: *Voyage.* P. 397). Именно это смешение разнородных элементов — городских и деревенских, азиатских и европейских — в глазах приезжих иностранцев отличало Москву от «нормальных» европейских городов; см., например, описание Москвы у Леклерка: «Обширность Москвы имеет ту причину, что выстроена она не как Париж или Лондон; дома здесь все больше двухэтажные, при каждом просторный сад и большой двор, а стоят один от другого весьма далеко» *(Leclerc.* Т. 2. P. 367). Схожее впечатление Москва произвела в 1812 г. на немецкого публициста Э. М. Арндта: «Мне сдавалось, что я в Азии. Нищета и великолепие, хижины и сараи не только в предместьях, но кое-где

в середине города; при этом роскошь дворцов и садов, позлащенные куполы и башни церквей» *(РА.* 1871. Стлб. 087). Если в описаниях Петербурга, по наблюдению Л. В. Пумпянского, регулярно повторялась формула «Где прежде… там ныне…» *(см.: Пумпянский Л. В.* Классическая традиция. М., 2000. С. 161–169), то для Москвы такой формулой, по-видимому, следует считать конструкцию «И то… и то…», следы которой различимы и в Карамзинской «Записке» («смесь пышности с неопрятностию, огромного с мелким, древнего с новым, образования с грубостию» — *Карамзин Н. М.* Записки старого московского жителя. М., 1988. С. 321). Можно предположить, что, называя Москву не городом, а целой провинцией (plutôt une province qu'une ville), Сталь подразумевала именно этот аспект. О восприятии Москвы см. также: *Мартин А.* Просвещенный метрополис: Созидание имперской Москвы, 1762–1855. М., 2015.

[688] Ср. в выписках из Левека (*Carnets.* P. 480): «Базар — собрание множества лавок в согласии с азиатскими обычаями, столь распространенными в России, говорит Левек» (у Левека: «Все лавки в Москве располагались в одной ограде, как они до сих пор располагаются и в других русских городах: обычай этот азиатский, как почти все древние русские обычаи» — *Levesque-1800.* Т. 3. P 22); впоследствии Левек еще раз возвращается к этой мысли и поясняет, что это собрание лавок именовалось *«гостиным двором,* или даже, на восточный манер, *базаром»* (Ibid. P 199–200).

[689] Имеется в виду Китай-город. Сталь следует «народной этимологии», объясняющей название этого квартала тем, что в нем торгуют китайскими товарами, хотя в книгах французских авторов могла встретить наряду с этим и другое толкование: квартал, расположенный посередине между Кремлем и Белым городом, именуется «Китаем», что по-татарски означает «середина» (см.: *Leclerc.* Т. 2. P. 369; *Levesque P.-Ch.* Histoire de Russie. P, 1812. Т. 6. P. 165). Современные исследователи указывают также еще одно значение слова «китай» — связка жердей, употреблявшихся при возведении оборонительных сооружений, и предположительно соотносят название московского квартала именно с ним.

[690] Сталь — по-видимому, из деликатности, столь высоко оцененной Пушкиным в ходе полемики с Мухановым (см. примеч. 853), — практически не касается, если не считать этого скупого упоминания, распространенной темы московского фрондерства, о котором она могла знать хотя бы из «московского» письма князя де Линя к маркизе де Куаньи, где приведены слова Екатерины о нелюбви к ней московских вельмож (см.: *Ligne.* P. 521), или из

письма Фабера (см. примеч. 676): «В ней [Москве] поселялись богатейшие вельможи империи, чтобы жить здесь в некоторого рода независимости; в ней поселялись все, кому было за что жаловаться на двор, или те, кто понапрасну упрекал его в чем-нибудь. В Москве было ядро всех недовольных и дующихся, которые и образовывали род оппозиции. Екатерина Великая со знанием дела называла Москву Московской республикой» (*Фабер.* С. 40). О московском дворянстве как не служащем и «по-азиатски» богатом Сталь могла прочесть, например, у Фортиа де Пиля: «Трудно даже вообразить, какое великое множество дворян проживает в Москве; чтобы перезнакомиться со всеми ними, потребуется, пожалуй, несколько лет. Русские вельможи, обитающие в Петербурге, весьма немногочисленны; они занимают должности придворные или же такие, какие не позволяют удалиться от двора; однако стоит вельможам оставить службу, как они тотчас прощаются со столицей, где двор их подавляет, а присутствие государя не позволяет жить в такой роскоши, какая подобает их богатству, и переселяются в Москву. В самом деле, не в Петербурге, а в одной лишь Москве можно увидеть *колоссов,* чьи усадьбы отличает азиатское великолепие, достойное восточных сатрапов» (F*ortia.* T. 3. P. 345). Наконец, той же темы (связь между патриотизмом московского дворянства и его нежеланием служить), возможно, касался в беседах со Сталь и Жозеф де Местр (см. примеч. 722), писавший 27 октября / 8 ноября 1812 г. сардинскому королю Виктору-Эммануилу: «По замечательному стечению обстоятельств Москва, покинутая двором, сделалась предметом еще большего почитания, ибо здесь собрались фрондеры, укрепляющие национальный дух и почти независимые от влияния двора, этому духу враждебного» (*Maistre.* T. 12. P. 218). Что же касается сравнения Москвы и Петербурга в отношении вольности и приятности образа жизни, то оно встречается уже у Шаппа д'Отроша: «Пребывание в Москве показалось мне во многих отношениях более приятным, нежели жизнь в Санкт-Петербурге. Москву отделяют от Петербурга всего 200 лье, посему правители ее стоят слишком близко к Государю, чтобы сделаться тиранами, жители же обитают достаточно далеко, чтобы не опасаться казни за малейшую светскую нескромность. В Москве ищут наслаждений, в Петербурге же о них едва осмеливаются говорить» (*Chappe.* T. 1. P. 310).

691 Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1790–1863) произнес в Московском дворянском собрании патриотическую речь, о тексте которой (до нас не дошедшем) дает представление черновик пушкинского «Рославлева», где упомянута «бессмертная речь молодого графа Мамонова,

пожертвовавшего всем своим имением»: «У меня 15 тысяч душ и — жертвую отечеству три миллиона и поголовным ополчением моих крестьян» (*Пушкин*. Т. VIII, 2. С. 751). Император, отказавшись от денежных пожертвований, предложил Мамонову составить конный полк из своих крестьян. «Препоручив практическую сторону дела своим помощникам, Мамонов уехал в действующую армию. Полк формировался медленно, но отдельные его подразделения и прикомандированные к нему офицеры принимали участие в сражениях 1812 г. и последующих кампаниях. 12 марта 1813 г. Дмитриев-Мамонов был произведен в генерал-майоры и назначен шефом полка» (*Лотман Ю. М.* Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // *Лотман Ю. М.* Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 288). О последующей судьбе Дмитриева-Мамонова см.: *Лотман Ю. М.* Указ, соч.; Русские писатели, 1800–1917. Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 131–132. Именование графа М. А. Мамонова «молодым» объясняется тем, что в обществе были еще живы воспоминания о его отце, графе Александре Матвеевиче Дмитриеве-Мамонове (1758–1803), в 1786–1789 гг. фаворите Екатерины II (о нем Сталь могла знать из книги Массона; см.: *Массон.* С. 72). Ср. в письме Жозефа де Местра к графу де Фрону, датированном 1812 годом: «Самый значительный дар [императору] принес граф Мамонов, сын самого любимого и самого прославленного фаворита Екатерины II. Он пожертвовал 800 000 рублей *серебром* (2 400 000 рублей ассигнациями) и все свои брильянты, стоящие 300 000 рублей» (*Maistre*. Т. 12. P. 173; ср. сходное описание пожертвований графа Мамонова в: *Тургенев.* С. 101).

692 Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (1785–1848) — единственная дочь екатерининского вельможи графа Алексея Григорьевича Орлова (1737–1808) и наследница его многомиллионного состояния; в Петербурге г-жа де Сталь общалась с ее двоюродным братом, графом Григорием Владимировичем Орловым, сыном Владимира Григорьевича (1743–1831), младшего из «екатерининских» братьев Орловых (см. примеч. 756). В письме Жозефа де Местра, процитированном в предыдущем примечании, идет речь и о пожертвованиях графини Орловой, исчисляющихся, по словам Местра, примерно двумя миллионами рублей.

693 В манифесте Александра I о созыве народного ополчения от 19 / 31 июля 1812 г. специально оговаривалось, что «каждый из военачальников и воинов при новом звании своем сохраняет прежнее… а по прошествии надобности, т. е. по изгнании неприятеля из земли нашей, всяк возвратится с честию и славою в

первобытное свое состояние и к прежним своим обязанностям» (цит. по: *Бутурлин Д. П.* История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 г. СПб., 1837. Т. 1. С. 170). Крестьяне и дворовые могли вступать в ополчение только от лица своего помещика, как его пожертвование; добровольчество крепостных без санкции хозяев считалось незаконным и приравнивалось к побегу (см.: *Бабкин В.* Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962. С. 39). Поэтому никаких формальных оснований для надежд на освобождение у крепостных, воевавших в ополчении, не имелось. Тем не менее надежды эти зрели как среди ополченцев-крестьян, которые ощущали себя переменившими статус — перешедшими из-под власти помещика непосредственно под власть царя, так и среди либерально настроенных дворян (будущих декабристов), убежденных, что народ, с оружием в руках защищавший отечество, не может долее оставаться в рабстве (см.: *Тургенев.* С. 26).

694 Фраза г-жи де Сталь отразилась в пушкинском «Рославлеве»: «Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: „Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“» (*Пушкин.* Т. VIII. С. 152). В 1812 г. деятельное участие народа в войне против французов выражалось среди прочего в увеличении числа «бородачей» на улицах городов; ср. свидетельство очевидца о Петербурге конца 1812 г.: в пешей толпе на улицах «гораздо реже можно было встретить военную или европейскую одежду, а все больше русские бороды, кафтаны и чуйки» *(Бутенев А.* Воспоминания // *РА.* 1883. Кн. 1. С. 5). Среди собеседников, с которыми Сталь могла обсуждать эту тему, — граф Ростопчин, в письме к императору Александру от 11 / 23 июля 1812 г. назвавший бороды «оплотом России» (цит. по: Пожар Москвы. М., 2001. С. 78), или Фабер (см. примеч. 676), писавший г-же де Сталь: «Русский народ под оружием, он поднялся как один человек […] Совершенно исключительное зрелище представлял этот народ в походе, эти грозные бороды и нечесаные головы, этот народ, прямо подставляющий неприятелю свои открытые груди» (*Фабер.* С. 31).

695 См. выше примеч. 654.

696 К народам Севера г-жа де Сталь относила прежде всего англичан и во вторую очередь немцев; в изображении г-жи де Сталь поэзия северных народов меланхолична и «дружна с философией»; природа «туманного и сумрачного отечества», христианская религия, а в особенности протестантизм, который «не препятствует философическим изысканиям и блюдет чистоту

нравов», «горестное ощущение неудовлетворенности своею судьбой», являющееся «источником всех великодушных порывов и всех философических идей», — все эти факторы располагают северных поэтов к размышлениям; напротив, южная поэзия «не только не располагает к размышлениям и не внушает, если можно так выразиться, прозрений, которые разум призван обосновать, — нет, эта сладострастная поэзия чуждается серьезных идей» (*О литературе.* С. 186–191).

697 В отдельном наброске «Москва» (см. примеч. 685) вместо «азиатскому» — «татарскому».

698 Комментируемое определение Москвы запомнилось читателям г-жи де Сталь, которые, впрочем, охотно его оспаривали; см., например, у Вигеля: «Не знаю, почему госпожа Сталь называла Москву татарским Римом; гораздо справедливее и основательнее можно было назвать Казань татарскою Москвой» *(Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 2000. С. 171). Полемику с этой точкой зрения см. также у Кюстина, который, впрочем, толкует высказывание Сталь неточно и пристрастно; описав обилие церквей в Москве, он замечает: «Должно быть, именно эта поэтическая картина внушила госпоже де Сталь восклицание: „Москва — это северный Рим!“ Восклицание не слишком справедливое, ибо между этими двумя городами нет решительно ничего общего! Москва приводит на память скорее Ниневию, Пальмиру, Вавилон, нежели шедевры европейского искусства, будь то творения языческие или христианские» (*Кюстин.* С. 440). Кюстин объясняет «несправедливость» суждения своей предшественницы тем, что она, «попав в Россию, менее всего интересовалась этой страной», и пренебрегает вполне внятными доводами, с помощью которых Сталь обосновывает свою точку зрения. Во-первых, она сближает Москву и Рим как два города, которые пережили эпоху своего величия и отличительной чертой которых является соединение несоединимых элементов (см. примеч. 687); ср. описание Рима в «Коринне»: «Здесь [в Риме] мы находим поразительное смешение руин и величественных зданий, цветущих полей и пустырей» (*Коринна*. С. 64); отзвуки этой трактовки различимы в стихотворении П. А. Вяземского <«Из „Очерков Москвы“»> (1858): «Твердят: ты с Азией Европа, // Славянский и татарский Рим, // И то, что зрелось до потопа, // В тебе еще и ныне зрим. […] Здесь чудо — барские палаты // С гербом, где вписан знатный род; // Вблизи на курьих ножках хаты // И с огурцами огород» *(Вяземский П. А.* Стихотворения. Л., 1986. С. 350). Во-вторых, именуя Москву «азиатским Римом», Сталь подразумевает европеизированную, подражательную сторону русской (то есть, если употреблять традиционный для

путешественников XVIII в. синоним, «татарской») архитектуры. Не случайно в «Путевом дневнике» фраза «Москва, азиатский и татарский Рим» повторена не только в записях, посвященных Москве (*Carnets*. P. 285), но и после описания петербургского Казанского собора — «церкви, выстроенной по римскому образцу, но меньших размеров» (*Carnets*. P. 325). Предположение комментаторов *DAE- 1996* (p. 273), согласно которому во фразе г-жи де Сталь содержится намек на претензии Москвы стать «третьим Римом», представляется сомнительным, поскольку в XVIII в. доктрина монаха Филофея оставалась неизвестной не только в Европе, но даже в России; интерес к ней возник только в начале царствования Александра II (см.: *По М.* Изобретение концепции «Москва — Третий Рим» // Ab imperio. 2000. № 2. С. 61–86).

699 Александр I покинул армию 6/18 июля 1812 г., подписав манифест о созыве народного ополчения, и направился из Полоцка в Москву, куда въехал в ночь с 11 / 23 на 12 / 24 июля и остановился в Кремле; наутро он вышел на Красное крыльцо и направился к Успенскому собору, сопровождаемый криками: «Веди нас, куда хочешь; веди нас, отец наш, умрем или победим!»

700 Хотя Сталь именует место, где она побывала, арсеналом, посетила она не Арсенал, а Оружейную палату, ибо именно в этой царской сокровищнице хранились государственные регалии, посольские дары, редкие и драгоценные предметы. В частности, здесь был выставлен «престол царей Иоанна и Петра, сделанный в Гамбурге из цельного и прикладного серебра. […]…на отвале престола отверстие, завешенное сукном, вышитым золотом: полагают, что тут становилась царевна Софья» *(Глинка С. Н.* Путеводитель в Москве. М., 1824. С. 69). Что же касается лестницы, по которой всходил Александр, то это — Красное крыльцо Грановитой палаты, построенной в 1487–1491 гг. и служившей тронным залом московским правителям.

701 В изданиях 1821 и 1904 гг. *(DAE-1821*. P. 283*;DAE-1904*. P. 306) в соответствующем месте по непонятной причине вместо Бэкингема назван Перси (Percy), которого комментаторы русских изданий 1991 и 1993 гг. совершенно безосновательно отождествляют с «Персеем, победителем Горгоны Медузы», хотя имя этого античного мифологического героя смотрится по меньшей мере странно рядом с именем реального французского воина Пьера Террайя, сеньора де Баярда (ок. 1475–1524), за свою легендарную храбрость получившего прозвище «рыцарь без страха и упрека». Если бы в тексте г-жи де Сталь в самом деле упоминался Percy, то речь, конечно же, шла бы не о герое античного мифа, а об английском полководце Генри Перси,

первом графе Нортумберлендском (1342–1408). Но пикантность ситуации заключается в том, что на самом деле и в рукописи «Десяти лет», и в наброске «Москва» Сталь упоминает в этом месте вовсе не Перси, а другого, более известного англичанина — Бэкингема, причем его соседство с Баярдом заставляет предположить, что имеется в виду не всесильный министр Карла I, Джордж Вилльерс, первый герцог Бэкингем (1592–1628), известный современному читателю прежде всего по роману А. Дюма «Три мушкетера» и прославившийся более богатством и любовью к изящным искусствам, нежели храбростью, а Генри Стаффорд, герцог Бэкингем, казненный в 1483 г. Ричардом III, либо Эдуард Стаффорд, герцог Бэкингем, казненный в 1522 г. Генрихом VIII.

[702] В наброске «Москва» здесь вставка: «До Петра I русским запрещалось носить шпагу, и по этой причине они не могли не утратить ту способность отмщать за обиды, которая благодаря дуэлям сохранилась на Западе»; о запрещении дуэлей в старой России Сталь могла прочесть у Левека (*Levesque-1800*. Т. 3. P. 189). Левек, впрочем, подчеркивал, что отсутствие в России института дуэли вовсе не было равнозначно отсутствию у русских чувства чести (см. подробнее примеч. 705); сходным образом Массон утверждал, что русские доказали «право воина считаться отважным, не убивая своих товарищей на дуэли» (*Masson*. P. 173–174).

[703] В наброске «Москва» здесь вставка: «некогда».

[704] Комментируемая фраза, как предположил Ю. М. Лотман, восходит к афоризму Шамфора: «Правление во Франции представляло собой абсолютную монархию, ограниченную песенками» (Характеры и анекдоты; см.: *Лотман Ю. М.* Пушкин. СПб., 1995. С. 364–365). Г-жа де Сталь не сразу пришла к столь отточенной формулировке; в «Путевом дневнике» она разными способами варьирует эту мысль о своеобразных формах «ограничения» абсолютной монархии в России: «Дворяне скорее убьют своего государя, нежели обойдутся с ним непочтительно […] В деспотических странах преступления знати внушают куда меньшее отвращение, нежели в странах свободных. У русских нет иной защиты от тирании жестокого властителя […]. Дворяне, кажется, служат своего рода кровавой хартией между деспотическим правителем и безжалостным народом. […] Они охотнее меняют правителя, нежели форму правления. Они хотят сохранить за собою право карать своих государей» (*Carnets*. P. 308, 324–325). Во Франции этот афоризм г-жи де Сталь цитировали, зачастую даже без указаний на ее авторство, в той форме, в какой он фигурирует в «Десяти годах»; ср. у Кюстина: «Русское

правительство — абсолютная монархия, ограниченная убийством» (*Кюстин*. С. 133); о той же формуле, приписанной во второй половине XIX в. «одному знатному русскому», см.: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 99. Что касается России, то здесь оригинальную фразу г-жи де Сталь постепенно вытеснила более резкая и отточенная формулировка Пушкина, включенная им в «Некоторые исторические замечания» (1822, 1-е полное изд. интересующего нас фрагмента в собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, 1910) и, по всей вероятности, повторявшаяся в беседах с друзьями: «Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: En Russie le gouvernement est un despotisme mitigé par la strangulation» (*Пушкин*. Т. XI. С. 17); ср.: «…единственную возможность ограничить могущество русских царей стали усматривать в чудовищных и отвратительных дворцовых переворотах […] породивших жестокую шутку: „Россия — это абсолютная монархия, ограниченная удавкой“» (*Тургенев*. С. 278). Относительно того, какую именно «славную шутку» Сталь имел в виду Пушкин, мнения исследователей расходятся. Б. В. Томашевский в 1923 г. писал, что под «славной шуткой» разумелась фраза о характере Александра как замене конституции и о его совести как поруке в ее исполнении (см. примеч. 770), а в конце жизни согласился с мнением, что прообраз «славной шутки» — именно комментируемая фраза (см.: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 8. С. 388). Того же мнения придерживался Н. Я. Эйдельман (см.: Прометей. 1974. Вып. 10. С. 332). Л. И. Вольперт попыталась совместить обе точки зрения; она высказала предположение, что Пушкин, желая «сблизить в сознании читателей имена Павла и Александра и напомнить об отцеубийстве», смешал две «славные шутки» г-жи де Сталь и «как бы „создал заново“ нужную ему французскую цитату» *(Вольперт Л. И.* Еще о «славной шутке» госпожи де Сталь // Временник Пушкинской комиссии, 1973. Л., 1975. С. 125–126; ср.: *Ее же.* Пушкин в роли Пушкина. М., 1998. С. 29). Ю. М. Лотман вообще полагал, что Пушкин опирался не на печатный текст «Десяти лет», а на «устно переданный ему устный же разговор Жермены де Сталь» (*Лотман Ю. М.* Пушкин. С. 338). Представляется более вероятным, что Пушкин цитировал по памяти именно комментируемую фразу и переписал ее в своей манере. Что же касается содержательной стороны дела, то г-жа де Сталь придала афористическую форму вполне традиционному представлению о русском политическом устройстве; ср., в

частности, размышления об «азиатском средстве» (убийстве государя) как форме урегулирования конфликтов между русским дворянством и императором в переписке Ж. де Местра (*Степанов*. С. 587–588); наиболее характерный пример местровских размышлений на этот счет, весьма близкий к ходу мысли г-жи де Сталь, содержится в письме к королю Виктору-Эммануилу от 2 / 14 июня 1813 г.: «Султан или царь могут обезглавить или наказать кнутом, если им это угодно, и на это говорят: ах, как он могуществен, а следует сказать: ах, как он бессилен! — так как его могут на другой же день задушить» *(РА*. 1912. Кн. 1. С. 59). Ср. также в воспоминаниях Баранта рассказ о его беседе с Н. Н. Новосильцевым в 1836 г.: «„Иностранцы имеют о нашей стране самые ложные понятия; я уверен, что вы не найдете здесь того, что ожидаете увидеть. Мы здесь ведем точно такой же покойный образ жизни, как и обитатели других стран. Управление строится примерно на тех же началах, что и в других европейских государствах. У нас нет ни конституции, ни парламента, ни газет, однако вы не можете не согласиться, что и у нас существует некое общественное мнение, некий всеобщий здравый смысл, некая атмосфера, которая обволакивает правительство и заставляет его вести дела разумным образом“. Затем, отвечая на мое невысказанное возражение, он продолжил: „Вы скажете: а если характер у государя таков, что он не желает прислушиваться ни к голосу здравого смысла, ни к чувствам всего общества, ни к разумным советам, — ну что ж, тогда приходится выходить из положения по-другому…“ — И он засмеялся» *(Barante*. Т. 1. P. 76–77). Ср. также лаконичную реплику молодого военного в приватном разговоре 1838 г.: «Зато когда они [российские государи] нехороши, мы тоже делаем что хотим; отправляем на тот свет» *(Лямина Е. Э., Самовер Н. В.* Бедный Жозеф. М., 1999. С. 231). Гипотеза Б. В. Томашевского о зависимости от комментируемого фрагмента «Десяти лет в изгнании» стихотворения Пушкина «Кинжал» (см.: *Томашевский.* С. 83), принимаемая на веру современными исследователями (см.: *Немировский И. В.* Идейная проблематика стихотворения Пушкина «Кинжал» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Вып. 14. С. 201–202), опровергается хронологией: по мнению большинства пушкинистов, «Кинжал» написан в марте (см.: Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1999. Т. 1. С. 239), что же касается книги Сталь, то она вышла в Париже в июне 1821 г. (см.: *DAE-1996.* P. 37); ошибка исследователей объясняется тем, что в каталоге библиотеки Пушкина все тома собрания сочинений г-жи де Сталь, выпущенного Огюстом де Сталем, помечены 1820 годом, однако в реальности некоторые из них, и в

том числе 15-й том, куда вошли «Десять лет в изгнании», вышли в 1821 г. (см.: *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина. СПб., 1910. С. 341). Если же согласиться с новейшей гипотезой С. Фомичева и датировать «Кинжал» не 1821, а 1822 годом (см.: Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 2003. Т. 16/17. С. 46–47), то и тогда источник Пушкина следует искать не в комментируемом фрагменте; необходимо, вслед за Томашевским, обратиться к другому фрагменту — тому, где упоминается именно это орудие цареубийства (см. наст, изд., с. 162 и примеч. 800).

705 В наброске «Москва» вместо «чести» — «справедливости». Ср. у Левека (*Levesque-1800*. Т. 3. P. 197): «Русских тысячу раз упрекали в том, что им неведомо чувство чести. В самом деле, бывали времена, когда гнет тирании притуплял его в их сердцах, но прежде оно было им известно так хорошо, что даже тщательнейшим образом охранялось в законах…» 13 октября 1812 г. в письме из Стокгольма к Этьенну Дюмону, женевскому публицисту, жившему в Лондоне, Сталь подчеркивала отличие Александра I от прочих государей континентальной Европы, заключающееся именно в том, что он в отношениях с Наполеоном не поступился честью: «Надеюсь, что он сохранит твердость, а если он ее сохранит, это решит все дело, ибо гибель нациям приносят не столько войны, которые ведет Наполеон, сколько мирные договоры, которые он заключает; […] нации поступаются честью ради спасения всего остального, а потеряв честь, постепенно теряют и все преимущества, в обмен на нее приобретенные» (*CS*. № 39. P. 31–32). Ср. также размышления об относительности понятия «честь» у некоторых наций в «Коринне» (кн. 6, гл. 3): «Но часто бывает и так […] что жизнью своей они [итальянцы] дорожат больше, чем политикой, которая их мало волнует, ибо у них нет отечества. К тому же понятия рыцарской чести обычно не слишком в почете у народа, не имеющего общественного мнения» (*Коринна*. С. 100).

706 О двойном троне см. в примеч. 700; самостоятельным правителем Петр I стал в 1689 г. (см.: *Levesque*. Т. 4. P. 189). Подробное описание церемонии бракосочетания русских царей в XVII в. см. у Левека (*Levesque*. Т. 4. P. 172–180); Сталь в своих выписках из Левека специально подчеркивает: «Брачные церемонии, описанные у Левека, — совершенно восточные» (*Carnets*. P. 484).

707 В наброске «Москва» вместо «великий человек» — «российский завоеватель и законодатель».

708 Сомнения Сталь понятны: среди европейских авторов, чья точка зрения почти наверняка была ей известна, многие

оценивали размещение новой столицы на севере сугубо положительно. См., например, теоретическое обоснование выбора, сделанного Петром, у Монтескье: поскольку «чрезмерная жара подрывает силы и бодрость людей», а «холодный климат придает уму и телу известную силу», государь, который «поместит столицу на юге, рискует утратить север; а кто поместит ее на севере, легко сохранит за собою и юг» (О духе законов. Кн. 17. Гл. 2, 8); см. также куда более практическое и историческое рассуждение Кокса, который, приведя сначала доводы противников петровского выбора («Петру следовало видеть в себе государя более азиатского, нежели европейского; Москва располагается куда ближе к центру его империи, так что, удаляя столицу от этого центра, он пренебрег внутренними областями»), затем опровергает эти аргументы *против* строительства северной столицы указаниями на то, что без основания этого города Россия никогда не приблизилась бы к «цивилизованным нациям Европы», а Екатерина II не сделалась бы «третейским судьей Севера»; более того, если бы двор вернулся из Петербурга в Москву, «прежде чем нация преобразилась бы окончательно, она очень скоро возвратилась бы в состояние варварства и все славные и полезные установления, введенные Петром I и Екатериной II, стали бы достоянием истории» *(Coxe.* Т. 1. P. 207–208). С другой стороны, Сталь должна была быть памятна точка зрения Вольтера, изложенная им в «Истории Карла XII» (1730. Кн. 3), где основание Петербурга трактуется как деяние, противное природе и духу народов. Впрочем, двадцать лет спустя, в «Анекдотах о царе Петре Великом» (1748), тот же Вольтер оценил деяния Петра, и в том числе постройку Петербурга, иначе — как жест демиурга, заново пересоздающего свою нацию, и, главное, как проявление исключительной силы воли. «Повторяю, — завершает он рассказ об основании северной столицы в совершенно неподходящих условиях, — стоит только пожелать; мы не умеем желать достаточно сильно» *(Voltaire.* P. 398); см. о восприятии Вольтером Петра как демиурга: *Mervaud Ch. et M.* Pierre le Grand et la Russie de Voltaire: histoire ou mirage? // *Mirage.* P. 25–35. Иначе говоря, описания Петербурга западными историками и путешественниками традиционно колебались между осуждением деспотизма и гимном приобщению к европейской цивилизации, и Сталь в данном случае предпочитает уклониться от объявления собственной точки зрения. К Петербургу и Петру она подходит также, как и вообще к России; до тех пор пока Россия борется с деспотом Наполеоном, здешний деспотизм особенно пылкому осуждению не подлежит. О стереотипных оценках Петербурга (созданный могучим демиургом Петром город, отвечающий

идеалам европейского Просвещения, или же возведенная на болоте театральная декорация, где за роскошными фасадами скрывается азиатское варварство) см.: *Berelowitch.* P. 57–74. О предыстории споров относительно места российской столицы см. также: *Осповат. С.* 476–487. О французских оценках деятельности Петра I см.: *Мезии Л. С.* Петр I во французской историографии XVIII века // Россия и Франция XVIII–XX веков. Вып. 3. М., 2000. С. 14–36.

709 После присоединения Грузии к Российской империи (1783) грузинская церковь должна была подчиниться Святейшему синоду, а ее глава, именовавшийся католикосом, — стать постоянным членом синода. Однако процесс этот затянулся до 1811 г., когда на место католикоса — грузинского царевича Антония II — был назначен Варлаам (в миру князь Эристов), ставший митрополитом Мцхетским и Карталинским и экзархом Грузии (см.: *Смолич И. К.* История русской церкви: 1700–1917. М., 1996. Т. 8/1. С. 271–272, 665, 776; *РБС.* Вавила — Витгенштейн. М., 2000. С. 132–133). Таким образом, именуя главу грузинской церкви католикосом, г-жа де Сталь допускает анахронизм — впрочем, весьма незначительный.

710 С вершины колокольни Сталь, по всей вероятности, видела московскую усадьбу министра народного просвещения в 1810–1816 гг., графа Алексея Кирилловича Разумовского (1748–1822), располагавшуюся в Басманной части (ныне ул. Казакова). За домом здесь находился огромный парк с цветниками, прудами и гротами, по которому протекала Яуза (см.: *Пыляев М. И.* Старая Москва. М., 1990. С. 230). Однако упоминание о «превосходнейшей коллекции растений» позволяет предположить, что Сталь слышала от кого-то из московских знакомых рассказы о Горенках — подмосковном селе графа Разумовского, в котором был устроен богатейший ботанический сад, и контаминировала рассказы о двух владениях министра просвещения. Возможно, Сталь отнесла именно к Разумовскому слова Фабера из письма к ней от 1 /13 декабря 1812 г.: «Я сам слышал, как один из богатейших русских вельмож рассказывал с таким спокойствием, как говорят о прошлом, о разорении своего роскошного дворца и загородных домов. Голос его не могли изменить воспоминания о картинах, о бронзе, о самой утонченной мебели, о редком собрании книг и растений» (*Фабер.* С. 38); на самом деле в Горенках немного пострадал дом, но оранжереи и теплицы остались целы (см.: *РВС.* Притвиц — Рейс. СПб., 1910. С. 440). Дмитрий Петрович Бутурлин (1763–1829), отставленный от службы в двадцать два года из- за политического скандала, в котором он был замешан, поселился в собственном московском

доме в Немецкой слободе, на берегу Яузы, и в течение четверти века собирал богатейшую универсальную библиотеку (до 30 000 томов), включавшую несколько сотен инкунабул, издания прославленных типографов (Альдов, Эльзевиров, Бодони), первые русские книги гражданской печати и пр. О составе этой библиотеки, полностью сгоревшей во время пожара Немецкой слободы 4–5 сентября 1812 г., можно судить по нескольким сохранившимся экземплярам ее каталога, изданного в 1805 г. в Париже. *См.: Кунин В. В.* Библиофилы и библиоманы. М., 1984. С. 325–352.

[711] Московский Воспитательный дом для незаконнорожденных детей, учрежденный манифестом Екатерины II по инициативе И. И. Бецкого 1 сентября 1763 г., был построен архитектором К. И. Бланком в 1764–1768 гг. на Васильевском лугу между Солянкой и Москвой-рекой. О воспитательных домах см.: *Berelowitch W.* Les hospices des enfants trouvés en Russie, 1763–1914 // Enfance abandonnée et société en Europe, XlVe — XXe siècle. Rome, 1991. R 167–217.

[712] На этом месте набросок «Москва» обрывается.

[713] Петр Егорович Левшин (1737–1812), в 1758 г. принявший монашество под именем Платона, с 1787 г. митрополит Московский, в царствование Александра I из-за преклонного возраста и болезней почти безвыездно жил в Троице- Сергиевой лавре или в Вифании (небольшом монастыре по соседству). Платон не смог приехать в Москву в июле 1812 г., когда там находился император Александр, однако 26 августа / 7 сентября 1812 г., в самый день Бородинского сражения, в то время, когда викарий московский и прочие московские священнослужители готовились ее покинуть, он прибыл в Москву, чтобы поддержать дух москвичей, а вскоре, 11/23 ноября 1812 г., скончался. О Платоне Сталь знала еще до приезда в Россию — в частности, из писем князя де Линя, который в 1787 г. писал маркизе де Куаньи из Москвы: «Знай Вы нашего архиепископа, Вы бы полюбили его до безумия, а он бы ответил Вам взаимностью. Зовут его Платоном, и он куда лучше прежнего, того, кого именовали божественным. Вот Вам доказательство, что этот Платон — человеческий: вчера княгиня Голицына, выходя из его сада, попросила у него благословения; он сорвал розу и благословил ее розой» (*Ligne.* P. 522). Митрополита Платона (в петербургский период своей жизни изучившего французский язык) с симпатией упоминают и другие авторы книг о России: Фортиа де Пиль («архиепископ Платон — человек любезный, отличающийся обширными познаниями и веселостью» — *Fortia.* T. 3. P. 287), Массон, редко о ком отзывающийся сочувственно (*Массон.* С.

140), и даже весьма критичный по отношению к России автор «Путешествия по странам Европы…» англичанин Э. Д. Кларк (1810, фр. пер. 1813; см.: *Egron.* P. 250–255). В письме к Александру I от 14 / 26 июля 1812 г. Платон писал: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; но кроткая вера — сия праща российского Давида сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни» (Северная почта. 1812. № 61. 31 июля 1812 г.). Присланная при письме икона изображала не Богородицу, а преподобного Сергия; икона эта, «написанная в царствование Федора Алексеевича на доске от гроба преподобного Сергия», сопутствовала русским войскам в войне с Польшей при Алексее Михайловиче и в войне со шведами при Петре I (см.: *Попов А. Н.* Москва в 1812 году // *РА.* 1875. № 7. С. 305). Александр ответил Платону благодарственным письмом, и 23 июля / 4 августа митрополит написал к императору вторично. В этом письме среди прочего говорилось: «Фараон погрязнет здесь с полчищем своим, яко в Чермном море. Он пришел к берегам Двины и Днепра провести третию новую реку — страшно выговорить! реку крови человеческой. О! каждая крови капля воззовет от земли к небу!» (Северная почта. 17 августа 1812 г.). Именно на это второе письмо ссылается Сталь в «Путевом дневнике»: «Архиепископ Платон, старый и больной, покинул свое уединение, чтобы благословить московских ополченцев: „И перешел враг две реки, третья же будет из крови“» (*Carnets.* P. 314). К числу русских собеседников, от которых г-жа де Сталь могла слышать о посланиях Платона и присланной им иконе, принадлежал, возможно, Ф. В. Ростопчин (см. примеч. 716); ср. в его «Записках о 1812 годе»: «Он [Платон] имел уже несколько параличных припадков, так что даже очень плохо владел языком. Болезненное состояние это не помешало ему прислать, из своего уединения, икону св. Сергия с приложением прекрасного послания, в котором он предсказывал государю славное окончание войны, сравнивая его с пастырем Давидом, а Наполеона — с Голиафом» (*Ростопчин.* С. 268).

714 Наполеон в самом деле поднялся на колокольню Ивана Великого 16 сентября 1812 г., чтобы взглянуть на пожар, который охватил Москву накануне ночью. Ср. в *РФР* (ч. 4, гл. 19): «Я покинула Москву ровно за месяц до того, как в нее вошел Наполеон; я не осмеливалась оставаться в ней дольше именно потому, что опасалась его приближения. Прогуливаясь по Кремлю, старинному царскому дворцу, который возвышается над огромной столицей России и ее церквями, коих здесь насчитывается тысяча восемьсот, я размышляла о том, что

Бонапарту дано было видеть империи у своих ног, как Сатане дано было искушать властью над ними Господа нашего. И вот, когда в Европе больше не осталось стран незавоеванных, судьба швырнула его вниз с такой же стремительностью, с какой он поднялся наверх. Быть может, благодаря этому он наконец понял, что, какие бы события ни происходили в первых сценах трагедии, добродетель неизменно оказывает свое могущество в последнем акте, подобно античному богу, который являлся в конце пьесы и вмешивался в ее действие, если оно было того достойно» *(CRF.* P. 430).

715 Имеется в виду хан Золотой Орды Тохтамыш, который разгромил и сжег Москву в 1382 г. (см.: *Levesque.* T. 2. P. 186–190). Эта историческая реминисценция отозвалась в именовании французской армии «Золотой Ордой, которая со всех сторон осаждает империю, отделяющую Азию от Европы», в письме г-жи де Сталь к Этьенну Дюмону из Стокгольма от 13 октября 1812 г. (*CS*. № 39. P. 31).

716 Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) служил в Коллегии иностранных дел с 1798 г., а затем был первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел с сентября 1799 по февраль 1801 г., после чего впал в немилость, и Павел I, который прежде весьма к нему благоволил, уволил его от всех должностей. Поворот Павла I к сближению с первым консулом произошел еще при Ростопчине, который был в эту пору активным сторонником союза с Францией. При Александре I Ростопчин долгое время оставался не у дел из-за нерасположения императора; главнокомандующим в Москве он был назначен 29 мая 1812 г. и занимал эту должность до 30 августа 1814 г. (см.: *РБС.* Романов — Рясовский. Пг., 1918. С. 238–305). Сохранилось письмо Ростопчина к г-же де Сталь, датированное 22 июля / 3 августа 1812 г. (Сталь приехала в Москву накануне): «Сударыня! Киевский генерал-губернатор должен быть премного Вам благодарен за согласие воспользоваться рекомендательным его письмом, мне адресованным, — самое имя Ваше призвано служить вернейшим залогом того усердия, с каким всякий порядочный человек поспешит доказать Вам права Ваши на его предупредительное участие. По сей-то причине прошу я Вас располагать мною и позволить сказать, к великой радости моей, что сумел я Вам на что- нибудь пригодиться. Отправился бы к Вам самолично, кабы злосчастная головная боль дома не удерживала; жена счастлива будет Вас узнать и разделяет со мною глубочайшее уважение, с коим имею я честь оставаться, сударыня, покорнейшим и почтительнейшим слугою Вашим» (*CS.* № 39. P. 24; ориг, по-фр.). В позднейших воспоминаниях (1825)

Ростопчин отозвался о визите г-жи де Сталь в тоне весьма пренебрежительном: «Во время занятий, не оставлявших мне ни минуты покоя, злая судьба моя привела в Москву г-жу де Сталь. Надо было видаться с нею, приглашать ее к обеду и успокаивать насколько возможно. […] Г-жа де Сталь все жаловалась и страшно боялась, как бы Наполеон, занятый единственно ее преследованием и бесясь на то, что она ушла, не послал бы отряда кавалерии, чтобы похитить ее из Москвы. Чтобы более убедить меня в том, она всегда прибавляла: „Вы знаете этого человека, он на все способен!“ Так как в то время, когда она опасалась быть похищенной по приказу Наполеона, последний находился еще на расстоянии 800 верст от Москвы, то я не принимал никаких мер для воспрепятствования этому похищению» (*Ростопчин*. С. 280–281); ср. также остроту Ростопчина, который, перефразировав название оперы Россини «Сорока-воровка» («Pie-voleuse»), назвал г-жу де Сталь «сорокой-заговорщицей» (pie-conspiratrice) (*Дурылин*. С. 291). Такая глумливость вполне соответствовала показной галлофобии Ростопчина, который, хотя с 1815 по 1823 г. жил во Франции, в текстах этого времени продолжал оценивать французскую нацию весьма скептически (см., в частности, его «Картину Франции в 1823 году» — *РА*. 1872. Кн. 1). Вернувшись в Париж, Сталь пригласила Ростопчина к себе (письмо с приглашением см.: *Дурылин*. С. 290). Если судить по письму французского литератора Жуи, воспроизводящего парижскую беседу Ростопчина и Сталь о сравнительных достоинствах русской и французской истории (Там же. С. 290), общение их быстро превращалось в пикировку.

717 В «Путевом дневнике» характер Ростопчина оценен более резко: «Прокламация Ростопчина писана тоном деспотическим и жестоким» (*Carnets*. P. 314). Сталь не сочла нужным описать сколько-нибудь подробно свое пребывание на даче у Ростопчина. Между тем на этом обеде присутствовал также Н. М. Карамзин с женою; П. А. Вяземский (сам на обеде не бывший) сообщил об этом 5/17 августа 1812 г. в письме к Ж.-О. Галифу (*Galiffe*. P. 312; о Галифе см. примеч. 748). В 1796 г. Карамзин опубликовал перевод ранней повести г-жи де Сталь «Зюльма» (под назв. «Мелина»; см.: *Заборов*. С. 169–172); кроме того, по предположению Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, прототипом «г-жи Гло», чей салон изображен в «Письмах русского путешественника», следует считать г-жу Неккер, а следовательно, в 1790 г. Карамзин мог встретиться в этом салоне и с ее дочерью (см.: *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 222, 643). Тем не менее ни одно из этих обстоятельств не

способствовало сближению Сталь и Карамзина в 1812 г.; запись в путевом дневнике, посвященная обеду у Ростопчина, гласит: «Карамазин [sic!]. Никакой оригинальности. Сухой француз» (*Carnets.* P. 290). Одной из причин такой холодности было, по всей вероятности, сдержанное отношение Карамзина к «салонному красноречию», к умению обсуждать в светском разговоре политические темы, без которого Сталь не мыслила настоящей беседы (см.: *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 133, 278). Ср., впрочем, запечатленную А. Я. Булгаковым беседу Карамзина и Ростопчина на той же ростопчинской даче 27 августа / 8 сентября 1812 г., в ходе которой историк произносил монологи «не с прежним хладнокровием», «в жару разговора часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря, и опять садился» (*Погодин М. П.* Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Т. 2. С. 99–100), — однако этот разговор происходил в ситуации исключительной, на следующий день после Бородинского сражения, и среди своих, без посторонних. Добавим, что скептический отзыв г-жи де Сталь о Карамзине-собеседнике вполне соответствует той репутации, какая была создана французскими переводчиками Карамзину-прозаику. Французские литераторы (переводившие Карамзина начиная с 1796 г.) видели в его повестях «новеллы в Мармонтелевом духе», а в нем самом — «соперника Мармонтелей и Флорианов»; неудивительно поэтому, что, по замечанию французского исследователя, «сведений о каком бы то ни было впечатлении, произведенном во Франции этими переводами, не имеется» *(Corbet.* P. 29, 59; *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина на иностранные языки // XVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 324–342). Впрочем, г-же де Сталь было известно, что Карамзин работает над историей России; см. в одной из записных книжек: «Карамзин уберег свою историю от московского пожара» (*DAE-1996.* P. 427); эту информацию она, по всей вероятности, получила от Д. Н. Блудова, советника русского посольства в Швеции, с которым сдружилась во время своего пребывания в Стокгольме (см.: *Дурылин.* С. 279; *Заборов.* С. 217; Калашников М. В. Дмитрий Блудов и Жермена де Сталь // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. *7.* М., 2006. С. 87–114).

[718] Сталь побывала на даче Ростопчина, располагавшейся у Сокольнической заставы; помимо этого Ростопчину принадлежал дом на Большой Лубянке (оставшийся невредимым после ухода французов из Москвы) и подмосковная усадьба Вороново, расположенная на старой Калужской дороге (великолепный трехэтажный дом, окруженный парком). Именно этот дом Ростопчин сжег в 1812 г., прибив к двери церкви записку на

французском языке, где среди прочего говорилось: «…предаю огню дом свой, чтобы он не был осквернен вашим присутствием. Французы! В Москве оставил я вам два мои дома и движимости на полмиллиона рублей, здесь найдете вы только пепел» (цит. по: *РБС.* Романов — Рясовский. Пг., 1918. С. 287).

[719] См. двадцать третий бюллетень Великой армии, датированный 9 октября 1812 г.: «Русская армия не признает себя виновной в поджоге Москвы. Поджигатели вызывают отвращение у русских, видящих в Ростопчине второго Марата» (*Napoléon.* Œuvres. P, 1822. T. 6. P. 68; Марат упомянут здесь как воплощение фанатизма и жестокости по отношению к соотечественникам). Здесь же процитирована записка, оставленная Ростопчиным в Воронове (см. предыдущее примеч.), и московский генерал-губернатор назван «умалишенным». Еще во время пребывания французов в Москве по приказу Наполеона была учреждена особая комиссия, которая расследовала причины пожара и признала виновным в нем прежде всего Ростопчина. По мнению современного исследователя, Ростопчин в самом деле задумал сжечь Москву до вступления в нее неприятеля ради того, чтобы возбудить в народе патриотическое чувство, подать «сигнал беспримерного самопожертвования, пробуждающий в народе ожесточение и ненависть к захватчикам, ставящий преграду любым надеждам на примирение, любым попыткам Наполеона, как писал сам Ростопчин в брошюре-памфлете „Правда о пожаре Москвы“, „сблизиться с русскими, получить доверенность и, наконец, самые услуги“» *(Тартаковский А. Г.* Обманутый Герострат // Родина. 1992. № 6–7. С. 92). Однако замысел Ростопчина противоречил планам Кутузова (отступление войск через Москву), который, по-видимому осведомленный о намерениях московского губернатора, «сделал все, чтобы дезориентировать Ростопчина относительно истинных своих намерений и сорвать его замысел». В результате у Ростопчина не хватило времени на подготовку «всеобщего пожара», а поджоги в ночь на 2 сентября, для чего были выпущены из тюрем колодники и вывезен из города «огнегасительный снаряд», «явились не чем иным, как осколком […] этого грандиозного по разрушительной силе, поистине Геростратова замысла» (Там же. С. 93). По мнению исследователя, Ростопчин, задумав сжечь Москву в преддверии вступления в нее неприятеля, делился этим намерением далеко не со всеми адресатами, предпочитая не рисковать и представить пожар как «проявление стихийно возникшей решимости местных жителей» (Там же. С. 89). Тем не менее сочинитель донесения французскому министерству внутренних дел (по всей вероятности, Ж. Южине), описывая пребывание г-жи де Сталь в

доме Ростопчина с ее собственных слов, сообщает, что «там она узнала о его намерении сжечь Москву при приближении французов: г-жа де Сталь не верила, что план сей может осуществиться» *(CS.* № 4. R 11). Если сообщение это — не анахронизм (донесение написано в начале 1813 г.), следует предположить, что импульсивный Ростопчин не совладал с желанием похвастать перед заезжей писательницей.

720 Информация Сталь довольно точна: Ростопчин в своих афишках в самом деле описывал происшедшее по возможности в оптимистическом ключе, желая ободрить москвичей. Так, о сдаче Смоленска, куда французы вступили 6/18 августа 1812 г., он неделю спустя, 14 / 26 августа, сообщал следующим образом: «Неприятельские войска везде были отражаемы, и русские воины с храбростью и мужеством, им свойственным, на гибель врагов и защиту отечества шли с яростью […] Неприятель, расстроенный столь сильным поражением, остановился и, потеряв больше двадцати тысяч человек, приобрел в добычу старинный град Смоленск, руками его в пепел обращенный» (*Ростопчин*. С. 213)

721 Впервые эта фраза была опубликована в «Истории обеих Индий» Рейналя (2-е изд., 1774; кн. 19), в написании которой принимал активное участие Дидро, как принадлежащая «одному чужестранному наблюдателю, объехавшему большую часть империи» (цит. по.: *Raynal.* T. 10. P. 42). Дидро был частым гостем в парижском салоне родителей г-жи де Сталь и много общался с г-жой Неккер после возвращения из России (см.: *Haussonville O. d'* Salon de Mme Necker. P, 1882. P. 173–176), поэтому можно предположить, что, приписывая комментируемую фразу Дидро, Сталь опиралась на рассказы матери. Сам Дидро, впрочем, себя автором этой фразы не признавал (см.: *Toumeux M.* Diderot et Catherine II. P, 1899. P. 582). Комментируемый афоризм имел хождение и без ссылок на конкретного автора; ср., например, в панегирической биографии Александра I полемику с критиками России: «Россия, повторяли остроумцы, сгнила, не успев созреть. Удобная иллюзия! Пророчество, утешительное для близоруких политиков!» (*Egron*. P. 268). Как бы там ни было, подобная оценка русских соответствовала общему взгляду Дидро на судьбу цивилизации в России. В отличие от Вольтера, который верил в возможность «пересадки» наук и искусств из одной страны в другую и в необходимость «насиловать природу» (см. примеч. 708), Дидро выступал сторонником постепенных естественных изменений и проповедовал необходимость «следовать природе» (см.: *Goggi G.* Alexandre Deleyre… // *Mirage.* P. 81–82; *Dulac G.* Diderot et le «mirage russe» // *Mirage.* P. 165–166). По остроумному предположению Н. Г Охотина, репликой на фразу Дидро о

«сгнивших» русских стали появившиеся в 1830-е гг. во Франции, а затем усвоенные русскими авторами славянофильской ориентации концепции «гнилого Запада» (см.: *Струве П.* С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма о «гнилом» или «гниющем» Западе // Записки Русского института в Белграде. 1941. Т. 16. С. 201–263). Можно предположить, что Пушкин, замечая в письме к Вяземскому от второй половины сентября 1825 года: «Зрелости нет у нас на Севере, мы или сохнем, или гнием» (*Пушкин.* Т. 13. С. 218) — перефразирует комментируемую фразу из сочинения г-жи де Сталь, которое летом 1825 года было частым предметом его размышлений (ср. примеч. 551 и 853).

722 Имя этого «человека выдающегося ума» — граф Жозеф де Местр (1752–1821), посланник Сардинского королевства в Петербурге с 1803 по 1817 г. В «Четырех главах о России» он писал: «Я не раз говорил (и надеюсь, что в шутке этой есть немалая доля правды), что если бы можно было запереть русское желание в крепость, оно бы эту крепость взорвало. Нет человека, который умел бы желать так страстно, как русский. Понаблюдайте за тем, как русские тратят деньги, как гоняются за пригрезившимися им наслаждениями, и вы увидите, как они способны хотеть. Понаблюдайте, как они — даже те, что принадлежат к низшим сословиям, — занимаются торговлей, вы увидите, как они умны и сноровисты в достижении собственных целей; понаблюдайте за тем, как осуществляют они предприятия самые рискованные, наконец, как ведут себя на поле боя, и вы увидите, как они дерзки. Теперь вообразите, что тридцати шести миллионам людей такого закала дали свободу, — тотчас, не устаю это повторять, тотчас разгорится огромный пожар, пламя которого истребит Россию» (*Maistre J. de.* Quatre chapitres sur la Russie. P., 1859. P. 21–22). Местр закончил «Четыре главы о России», написанные для представления Александру I, в октябре 1811 г.; в отличие от некоторых других его «русских» сочинений, они не имели широкого хождения в рукописных копиях, а впервые опубликованы были только в 1859 г., однако совершенно очевидно, что в беседе с г-жой де Сталь сардинский посланник повторил «шутку», уже обретшую к этому времени письменную форму. Из книги Сталь эту характеристику русских почерпнул Кюстин (см.: *Кюстин.* С. 500). Оценка Местром такой категории, как умение желать, была неоднозначной (сложному соотношению воли, желания и молитвы посвящена шестая «беседа» его изданной в 1821 г. посмертно книги «Санкт-Петербургские вечера»), однако не подлежит сомнению, что люди, умеющие *желать,* то есть концентрировать свою волю, вызывали у Местра

восхищение (хотя и смешанное со страхом), которое вполне соответствует общеромантическому тяготению к сильным, деятельным героям (по контрасту с героями слабыми, безвольными, чьи страсти «смутны», а намерения неопределенны); о сходных симпатиях г-жи де Сталь см. наст, изд., с. 150. Любопытно, что в восприятии русских как людей, умеющих желать, Местр сходится с мыслителем, ему противоположным и ненавистным, — Вольтером (см. примеч. 708). Личное знакомство г-жи де Сталь и Местра состоялось в 1795 г. в Швейцарии; в частном письме 1803 г. Местр вспоминал о «богословских и политических спорах, которыми они некогда забавляли жителей Лозанны», а в 1805 г. вспоминал: «Никогда не учившись вместе с г-жой де Сталь ни богословию, ни политике, мы представляли с нею в Швейцарии зрелище пресмешное, однако же никогда не ссорились» (цит. по: *Darcel J.-L.* Introduction // *Maistre J. de.* De la souveraineté du peuple. P., 1992. P. 53). Вообще Местр, человек традиционалистских убеждений и язвительного нрава, относился к «прогрессистке» г-же де Сталь с неожиданной для него симпатией. «В г-же де Сталь, — пишет современный исследователь, — Местра привлекали прежде всего ее интеллектуальные способности и политический авантюризм. Он всегда тянулся к людям с неординарным и нестандартным мышлением. Кроме того, в швейцарском салоне изгнанницы, блеском не уступавшем парижскому, Местр мог удовлетворять свое любопытство не только посредством чтения газет» (Ibid. P. 54). В тот момент Местр видел в г-же де Сталь также и политическую союзницу; он считал ее «Размышления о мире» сочинением «осторожным и глубоким» (Ibid. P. 55) и разделял ее убежденность в том, что спасение Франции от якобинской угрозы может прийти только изнутри самой Франции, только благодаря внутренней политической эволюции, хотя, разумеется, не разделял республиканских симпатий Сталь. Что же касается встречи в Петербурге в 1812 г., то она позволила г-же де Сталь и Местру убедиться в наличии у них другой важнейшей точки схождения — ненависти к узурпатору Наполеону, свержения которого Местр желал ничуть не менее сильно, чем Сталь, поскольку при нем родина Местра, Савойя, была аннексирована Францией, а сардинский король изгнан из континентальных владений в Пьемонте на Сардинию. Забавное свидетельство об их общении см. в мемуарной заметке графини П. Н. Фредро (урожд. Головиной), где легенда о том, что «г-жа де Сталь в беседе с г-ном де Местром одержала над ним победу, что он пытался с ней спорить, но она заставила его замолчать», объясняется странным обыкновением Местра: во время любого разговора он засыпал, как

только переставал рассуждать (цит. по: *Гречаная.* С. 296).

[723] Графиня Екатерина Петровна Ростопчина (урожд. Протасова; 1775–1859), жена графа Ф. В. Ростопчина с 1794 г., принадлежала к числу тех русских дам, которые, отчаявшись обрести духовных пастырей в лице малообразованных православных священников, перешли в католичество. Е. П. Ростопчина сделалась католичкой в 1806 или 1810 г., последовав примеру своей старшей сестры Александры Петровны, жены князя Алексея Андреевича Голицына (см.: *Rouët de Joumel M.-J.* Un Collège de Jésuites à Saint-Pétersbourg, 1800–1816. P., 1922. P. 218, 220; *Schlafly D.* De Joseph de Maistre à la «Bibliothèque rose»: le catholicisme chez les Rostoptchin // Cahiers du monde russe et soviétique. 1970. T. XI. P 93- 109). Графиня оставила несколько книг духовного содержания на французском языке; книга, подаренная г-же де Сталь, — по всей вероятности, «Recueil de preuves sur la vérité de la religion» (Сборник доказательств истинности религии), вышедший в Москве в 1810 г. Можно предположить, что общение г-жи де Сталь с графиней Ростопчиной прошло не безоблачно; если верить воспоминаниям дочери графини, Натальи Нарышкиной, на вопрос г-жи де Сталь, читала ли она «Коринну», Ростопчина ответила: «Я романов не читаю; я предпочитаю серьезное чтение» (цит. по: *Schlafly D.* Op. cit. R 100–101).

[724] Образование, отданное на откуп иностранцам (немцам и/или французам), — «общее место» французских и, шире, европейских описаний России; см., например, у Массона перечисление прославленных ученых, работающих в России, которое завершается выводом: «Все эти достойные люди — немцы, и притом иностранные подданные. Скажите же, разве можем мы приписать их славу и плоды их ученых разысканий русским?» *(Masson-Lettres.* P. 143). Во многом такие представления соответствовали действительности, однако реальность, разумеется, была сложнее стереотипных представлений: многие «немцы», носившие немецкие фамилии, но родившиеся на территории Российской империи (например, в остзейских губерниях), сами себя ощущали отнюдь не немцами, а русскими, однако их происхождение позволяло при необходимости оживлять и пускать в ход миф о немецком засилье и «России, завоеванной немцами» (название французской брошюры, выпущенной в 1844 г. Ф. Ф. Вигелем). Об относительности в русских условиях самого понятия «немец» и о силе «антинемецких» нападок, обострившихся в атмосфере патриотического подъема 1812 г., свидетельствует хотя бы эпизод с отстранением 17 / 29 августа 1812 г. М. Б. Барклая де Толли с

поста командующего 1-й Западной армией: общественное мнение требовало отставки «немца» Барклая (потомка старинного шотландского рода, но рожденного в семье российского подданного), но встретило совершенно спокойно весть (впоследствии не подтвердившуюся) о назначении на этот пост настоящего немца Л. Беннигсена (три десятка лет служившего в русской армии, однако так и не принявшего русского подданства); не меньшей популярностью пользовался и другой потомок старинного германского рода — генерал П. Х. Витгенштейн (см.: *Тартаковский.* С. 118–121). См. также: *Рогов К. Ю.* Декабристы и «немцы» // Новое лит. обозрение. 1997. № 26. С. 105–126.

[725] Это утверждение — следствие убежденности г-жи де Сталь в том, что русские — «воинская» нация, а Россия — государство, устроенное на военный манер. В реальности университетское образование облегчало не военную, а гражданскую карьеру: ученые степени и дипломы различных учебных заведений давали право зачисления на службу с определенным классным чином; ученая степень доктора, полученная в российском университете, давала право на получение чина 8-го класса, магистра — 9-го класса, кандидата — 10-го класса; лица, окончившие университеты или Главный педагогический институт со званием действительного студента, имели право на чин 12-го класса. В военную службу после окончания университета вступали прежде всего те, кто желал получить потомственное дворянство (в описываемую эпоху его приносил первый офицерский чин). См.: *Раскин Д. И.* Исторические реалии биографий русских писателей XIX — начала XX в. // Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 596–599; *Он же.* Сословия в Российской империи и типовые сценарии жизненного пути россиян в XIX — начале XX в. // Английская набережная, 4. СПб., 2001. С. 232–235. Ниже (см. наст, изд., с. 156) сама Сталь описывает ситуацию иначе, подчеркивая, что лица, желающие получить дворянство, пренебрегают учебой и вступают в военное звание. По мнению Б. В. Томашевского, комментируемый пассаж относится к числу тех «замечаний, разительных по своей новости и истине» (*Пушкин.* Т. XI. С. 27), за которые Пушкин ценил «Десять лет в изгнании», и отзвук знакомства с ним различим в записке Пушкина «О народном воспитании» (1826) (см.: *Томашевский.* С. 85).

[726] Сталь, еще со времен *ОЛ* приветствовавшая сосуществование разных типов литератур (южной и северной), а в *ОТ* попытавшаяся объяснить французам, чем немецкая культура способна обогатить культуру французскую, разумеется, не могла

одобрить подражательный характер русской литературы, а в особенности то обстоятельство, что русские подражают *французской* словесности, тем самым способствуя распространению ее господства в мире, и без того значительного. Сходные упреки в подражании французской словесности и в недостатке «национальной самобытности» предъявлены в *ОГ* (ч. 2, гл. 4) Виланду. Даже пропагандируя переводы как форму контакта разных национальных литератур, Сталь в статье «О духе переводов» (1816) советовала итальянцам «не уподобляться французам, которые окрашивают все переводимые сочинения в привычные их соотечественникам тона; пусть даже при этом всё, к чему прикасается француз, обращается в золото, одними драгоценностями сыт не будешь: люди не найдут, чем питать свою мысль; под разными масками взору их будет являться всегда одно и то же лицо» (О *литературе.* С. 385). Тем больше оснований у нее было ожидать самобытности и экзотики от русских, о чьей литературе она, впрочем, могла судить исключительно по французским переводам.

727 В первой половине 1770-х гг. при русском дворе зародился так называемый «греческий проект» — воссоздание греческой монархии со столицей в Константинополе и под скипетром одного из представителей дома Романовых (см.: *Зорин.* С. 33–64). В политическом и мифологическом сознании русских людей завоевание Константинополя оставалось одной из доминирующих идей; что же касается европейских журналистов и политиков, то они рассуждали о походе русской армии на Константинополь даже в те моменты, когда реальная политическая власть Российской империи была от таких намерений максимально далека; так укреплялось представление об агрессивной мощи России и опасностях, какими чревато ее существование для остальных стран (см.: *Осповат.* С. 481–484). Из ближайших предшественников Сталь о проекте «восстановить престол Константина» упоминал Массон (*Массон.* С. 55).

728 В статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» (1823) П. А. Вяземский, рассуждая о том, что русскую поэзию пора вывести «из тесного круга общежительных удовольствий» и «вознести на степень высокую, которую она занимала в древности, когда поучала народы и воспламеняла их к мужеству и добродетелям государственным», цитирует комментируемую фразу Сталь, а затем прибавляет от себя: «Постараемся избегнуть сего справедливого упрека, и пусть поэзия, мужая вместе с веком, отстает от игр ребяческих, в коих нежится ее продолжительное отрочество» (*Вяземский П. А.* Сочинения. М., 1982. Т. 2. С. 64).

[729] В Москве г-жа де Сталь оставила Альбера, который не мог продолжить путь из-за болезни и прибыл в Петербург 21 августа, на неделю позже матери и ее спутников *(CS.* № 4. P. 13; Galiffe. P. 313).

[730] Levesque-*1800.* T. 3. P. 108; лангедокский дворянин на шведской службе Понтюс (а не Понтюссон, как у Сталь) де Ла Гарди, барон Экхольм (1530–1585) завоевал Нарву и подошел к стенам Новгорода в 1581 г.; шведский престол в это время (начиная с 1569 г.) занимал король Иоанн III (1537–1592). Тридцатью годами позже, в 1611 г., Новгород осадил и захватил сын Понтюса де Ла Гарди, Якоб (1583–1652); это происходило в царствование шведского короля Карла IX (1550–1611). Что же касается шведской королевы Кристины (1626–1689), то она вступила на престол гораздо позже, в 1644 г., и отреклась от него в пользу своего кузена Карла X десять лет спустя.

[731] Мысль, выраженная в еще более афористической форме в *РФР* (ч. 1, гл. 2): «Следует напомнить всем поклонникам старинных прав, что свобода родилась раньше деспотизма: он нов, а она стара как мир» *(CRF.* P. 70). Эту мысль г-жи де Сталь высоко ценили декабристы (см., например: *Тургенев.* С. 212, 301, 696; *Фонвизин М. А.* Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 107); современный исследователь, полагающий, что *РФР* в России, «подобно грибоедовскому „Горю от ума“, разошлись на поговорки», называет комментируемый афоризм самым любимым из них (см.: *Парсамов.* С. 202).

[732] *Levesque-1800.* T. 3. P. 281–282; Левек, датируя прикрепление крестьян к земле царствованием Бориса Годунова (изображенного в чрезвычайно отрицательном свете), замечает, однако, что сам этой версии не очень верит и полагает почти наверняка, что повсюду, кроме разве что Новгорода, закрепощение началось раньше, ибо «будь крестьяне вправе покидать владения своих слабых тиранов, эти князья, подчас владевшие одной-единственной деревней, очень скоро остались бы вовсе без подданных» (Ibid. P. 271–272). Однако г-жа де Сталь, отстаивающая тезис о сравнительной «юности» деспотизма, на эти оговорки внимания не обращает. Уже в выписках из Левека она прибавляет к фразе о закрепощении крестьян при Борисе Годунове: «Свобода древнее. В Новгороде свобода была испокон веков» (*Carnets.* P. 483). В основном тексте Сталь никак не использует информацию, дважды занесенную ею в записную книжку: «Не забыть, что крестьян закрепостили, чтобы не позволить им переселиться в другие края»; «Крестьян прикрепили к земле, чтобы не дать им бежать на юг» *(DAE-1996.* P 427).

[733] Формула почерпнута из Левека *(Levesque.* T. 4. P. 132; ср.:

Carnets. P. 484), однако у него последний глагол стоит (как и следует) в прошедшем времени, а не в будущем, как у Сталь, причем Левек приводит эту фразу также и по-русски: «Бояре приговорили, и царь приказал». Левек комментирует «формулу, сопровождавшую все царские декреты», следующим образом: «Итак, государь лишь приказывал привести в исполнение то, что решили магистраты. Это весьма далеко от деспотизма; однако зачастую формула представляет собою не более чем остаток древнего обычая, надолго его переживший. Если верить Мейербергу, совет мог лишь отвращать государя от указов самых ужасных. Вообще же царь все решал по своему разумению или по наущениям фаворитов, совет же всегда готов был ему подчиниться». Сталь опускает этот комментарий, поскольку для нее важно подчеркнуть ростки свободы, присутствовавшие в старинном государственном устройстве России; с другой стороны, она не включила в основной текст сведения о более поздних тенденциях такого рода, отмеченные ею в записной книжке: «Хартия при императрице Анне» *(DAE-1996.* P. 427–428; речь идет о «кондициях», предложенных Анне Ивановне при вступлении на престол). О дальнейшей судьбе этой формулы, трактуемой как зародыш русского парламентаризма, во французской публицистике см.: *Кюстин.* С. 920.

[734] Имеется в виду уничтожение Петром I патриаршества (в 1703 г.); в западной печати традиционными были упреки русским монархам в присвоении ими духовной власти (см., например, главку «Деспот, почитаемый как божество» в изд.: *Rulhiere.* T. 1. P. 78–80). Опровержение тезиса о том, что российский император являлся одновременно главой православной церкви, см.: *Тургенев.* С. 279–282. «Российские императоры, — пишет Тургенев, — не унаследовали власть патриархов, и по закону она принадлежит только Святейшему Синоду, а императоры и по закону, и по здравому смыслу являются и могут являться только покровителями или, скорее, защитниками русской церкви» (Там же. С. 281). Тем не менее сами монархи склонны были ощущать себя именно главами духовной власти (ср., например, фразу из письма Екатерины II к Вольтеру от 15 / 26 сентября 1773 г.: «Я как глава греческой церкви…» — *Voltaire-Kehl.* P. 280). О различных толкованиях тезиса об императоре как главе православной церкви см.: *Смолич И. К.* История русской церкви. 1700–1917. М., 1996. Ч. 1. С. 116–122.

[735] Фразу эту Сталь могла почерпнуть из разных источников, причем, скорее всего, не из «Мемуаров» герцога де Сен-Симона, на которые ссылаются комментаторы *DAE-1996*, а из сочинений, посвященных России, например из Левека (*Levesque*. T. 5. P. 47)

или Вольтера (та же фраза приведена в финале его «Анекдотов о царе Петре Великом»; см.: *Voltaire.* P. 401). Об отношении Сталь к кардиналу Ришелье см. примеч. 27.

736 См.: *Levesque.* T. 2. P. 253–266; у Левека эти события излагаются под 1470 и 1475 гг. В реальности Иван III первый раз завладел Новгородом в 1471 г., а окончательно покончил с его свободой зимой 1477 / 78 г.; тогда же был снят, отвезен в Москву и повешен на колокольне Успенского собора новгородский вечевой колокол.

737 Имеется в виду Левек, чья «История России» была главным книжным источником представлений Сталь о России (см. о нем: *Сомов В. А.* Книга П.-Ш. Левека «Российская история» (1782) и русский читатель // Книга и библиотеки в России в XIV — первой половине XIX в. Л., 1982; *Мезин А. С.* Петр I во французской историографии XVIII века // Россия и Франция XVIII–XX вв. Вып. 3, М., 2000. С. 27–36). Выписки из «Истории» Левека, сделанные рукою Сталь и сохранившиеся среди заметок, относящихся к путешествию 1812 г., см.: *Carnets.* P. 474–485. В комментируемом фрагменте Сталь цитирует мысль Левека почти дословно; ср.: «Покорившись Москве, он [Новгород] стал стремительно лишаться земель, населения, торговли, богатства, так что менее чем через сто лет его уже затруднительно было причислить к крупным городам: ибо самодержавная власть производит действие испепеляющее и разрушительное» *(Levesque.* T. 2. P. 265–266). Что же касается именования Левека «лучшим историком России», то оно, возможно, представляет собой цитату из другой книги о России, хорошо известной г-же де Сталь, — «Секретных записок» Массона (см.: *Массон.* С. 54).

738 Ср. тот же образ в «Путешествии в Петербург» Л. де Ла Мессельера (изд. 1803): «Мы прибыли в Санкт-Петербург 2 июля 1757 г. Зная, что меньше полувека назад на месте этого города простирались непроходимые болота, при первом взгляде на него является мысль, что он только что создан феями» (цит. по: *Berelowitch.* P. 65; здесь же см. другие примеры описания Петербурга европейскими путешественниками XVIII в. как города, «чудом» возникшего среди болот).

739 Реминисценция из Вольтера (см. примеч. 708).

740 1/13 августа 1812 г.

741 Выражение, возникновение которого (в значении «очень старый») словари датируют серединой XVII в. (см.: Le Grand Robert de la langue française. P., 1988. T. 8. P. 502). В «Путешествии из Москвы в Петербург» — тексте, включающем прямую ссылку на г-жу де Сталь (см. примеч. 761), Пушкин вспоминает это же выражение (причем тоже как неприменимое) в связи с

московскими барышнями: в Москве «остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую пословицу „vieilles comme les rues“: московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, все еще *цветущих розами!»* (*Пушкин*. Т. XI. С. 246). Сходство двух фрагментов отмечено в: *Томашевский.* С. 94.

[742] Ср. в «Путевом дневнике»: «Ничто не может сравниться с набережной Невы. *Это единственное, чем природа одарила Петербург»* (*Carnets*. P. 324).

[743] Нравы лаццарони (неаполитанских нищих) описаны в «Коринне»: «…на Толедской улице лаццарони валялись прямо на мостовой или лежали в ивовых корзинах, которые служили им жильем. Есть нечто своеобразное в этом смешении дикости и цивилизации. […] В Неаполе есть подземный грот, где проводят жизнь тысячи лаццарони, покидая его лишь в полдень, чтобы погреться на солнышке; остальную часть дня они спят, предоставляя своим женам заниматься пряжей» (*Коринна*. С. 188). Что касается кучеров, спящих на снегу, то о них Сталь, не видевшая Россию зимой, могла прочесть, например, у Массона, который в связи с этим даже называет русских извозчиков «олицетворением зимы» *(Masson*. P. 406–407).

[744] Тезис, восходящий к Монтескье: «В холодных странах в силу климата развивается некоторое национальное пьянство, сильно отличающееся от пьянства отдельного лица. Пьянство распространено по всей земле в прямом отношении к холоду и сырости климата. Двигаясь от экватора к нашему полюсу, вы увидите, что пьянство возрастает вместе с градусами широты. Двигаясь от экватора к полюсу, противоположному нашему, вы увидите, что тут оно возрастает в направлении к югу, подобно тому как там возрастало в направлении к северу. Естественно, что там, где употребление вина противно климату, а следовательно, и здоровью, злоупотребление им наказывается строже, чем в странах, где дурные последствия пьянства не велики как для личности, так и для общества и где оно только дурманит людей, а не делает их свирепыми. Поэтому закон, каравший пьяного человека и за совершенный им поступок, и за его пьянство, касался только его личного, а не национального пьянства. Немец напивается по обычаю, испанец — по личному желанию» (О духе законов. Кн. 14, гл. 10; *Монтескье.* С. 204).

[745] Сталь жила в Петербурге в трактире «Европа» (см.: Санкт-Петербургские ведомости. № 65. Второе прибавление. 13 августа 1812 г.; *Заборов.* С. 216). Об этом доме в комплексе Главного штаба, где располагались hôtel de l’Europe и ресторан, принадлежавшие французу Тардифу, см.: Шульц С. С. Невская

перспектива. СПб., 2004. С. 214–215.

[746] О сопротивлении подданных реформам Петра Сталь могла прочесть у Вольтера, который, в частности, замечал: «Петру суждено было вести долгую и трудную войну с врагами за пределами страны и мятежниками внутри нее; половина его собственной семьи осуждала его деяния, большинство священников упорно выступали против его предприятий, едва ли не вся нация долгое время не желала понять, в чем заключается ее счастье, и счастье это отвергала; Петру приходилось сражаться с предрассудками в головах и с недовольством в сердцах» *(Voltaire.* P. 317). Монумент работы французского скульптора Э.-М. Фальконе (1716–1791), открытый в 1782 г., составлял «предмет восхищения всей Европы» (*Schnitzler J.-H.* La Russie, la Pologne et la Finlande: Tableau statistique, géographique. P., 1835. P. 223) и входил в число петербургских памятников, «обязательных» для осмотра; возможно, разочарование, которое эта «хваленая статуя» вызывала у некоторых французских путешественников (см.: *Кюстин*. С. 111, 787), объяснялось именно тем, что действительность не могла оправдать столь завышенных ожиданий. Двойственная функция змеи (как опоры для статуи и как аллегории зависти и злобы) была общеизвестна; она обсуждалась еще в переписке Фальконе с императрицей Екатериной II и Дидро, причем если императрица сомневалась в целесообразности использования этого аллегорического элемента, то Фальконе и Дидро были его горячими сторонниками (см.: *Каганович А. Л.* Медный всадник: История создания монумента. Л., 1982. С. 88–90; Correspondance de Falconet avec Catherine II P., 1921. P. 53–54). Отметим, что в переводе комментируемого фрагмента, опубликованном в «Новостях литературы» (1822. № 11. С. 162), весь критический пассаж о змеях опущен и оставлены только похвалы пьедесталу и надписи. Несмотря на скептическую оценку памятника Петру I, г-жа де Сталь в «Путевом дневнике», сама того не сознавая, подхватила ту традицию отношения к этому памятнику как к живому лицу, которая нашла завершение в пушкинском «Медном всаднике» (см.: *Осповат А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальну повесть сохранить…» 2-е изд. М., 1987, passim): «Старый Платон говорил статуе Петра I: „Это твоя победа. Тебе они ею обязаны“» (*Carnets*. P. 334). Сталь, по-видимому имеет в виду речь, которую Платон (см. примеч. 713), в ту пору законоучитель великого князя Павла Петровича, произнес во время заупокойной литургии и панихиды по основателю русского флота, отслуженных по поводу побед русского флота над турецким; речь эта, в которой Платон обращался к Петру Великому «как к живому» и призывал его

взглянуть на «плоды трудов его», приобрела европейскую известность: императрица Екатерина приказала перевести ее на французский и отправила Вольтеру, который отозвался о ней с похвалой (см. его письмо к императрице от 15 мая 1771 г. в изд.: *Voltaire-Kehl* P. 160); Сталь, разумеется, ошиблась в «адресации» этой речи: Платон произнес ее у гроба Петра в Петропавловском соборе, памятник же работы Фальконе был открыт одиннадцатью годами позже.

747 Тезис, подхваченный Ансело в книге «Шесть месяцев в России» (1826): «Что бы ни говорили пристрастные современные историки, но коль скоро люди испытывают к имени этого государя столь глубокое уважение, следовательно, они сознают, сколь много сделал он для России: они — его потомки, а потомки нечасто льстят предкам» (*Ансело.* С. 50, 237).

748 В «Путевом дневнике» (записи Альбертины, исправленные г-жой де Сталь) значится имя этого негоцианта — барон Александр Александрович Раль (1756–1833), придворный банкир, у которого служил ее швейцарский знакомый Жак-Огюстен Галиф (*Carnets.* P. 296). Сталь обедала у Раля не на следующий день, а через день после приезда в Петербург, 15 августа (*DAE-1996.* P 282, 284). Раль жил в собственном доме на Староисаакиевской улице (см.: *Реймерс Г. фон.* Санкт-Петербургская адресная книга. СПб., 1809. С. 135–136, 492).

749 Гостеприимство русских вельмож и их обыкновение жить открытым домом с удивлением отмечали иностранные путешественники XVIII в.; см. сходные пассажи у Кокса *(Coxe.* Т. 1. P. 137), у Фортиа де Пиля, который, впрочем, видит в обыкновении приглашать к себе гостей «раз и навсегда» скорее остаток варварства, нежели признак европейской изысканности *(Fortia.* Т. 3. P. 346), и у Массона, для которого русское гостеприимство — следствие неприхотливости русских и скромности их потребностей: «Они живут одним днем и потому легко делятся тем, чем располагают. Крестьянин охотно дает путнику хлеб, соль и кров; дворянин так же охотно разделяет с чужестранцем трапезу и развлечения. […] В России прихлебатели до сих пор не навлекают на себя ничьего презрения. Генерал, богатый купец, любой человек, имеющий хоть малейший достаток, живет, можно сказать, открытым домом, и в доме этом всякий день принимают офицеров, друзей и знакомых хозяина, а также толпу молодых людей и заезжих гостей, которым некуда преклонить голову» *(Masson.* P. 176).

750 Так Сталь называет Казанский собор, строительство которого было задумано в 1800 г. императором Павлом I; планы собора были составлены по его приказу архитектором

А. Н. Воронихиным; первый камень был заложен уже императором Александром, при нем же в 1811 г. строительство было закончено. В то время, когда Сталь посетила Казанский собор, он еще не стал памятником русской славы и местом хранения трофеев, взятых у французов во время войны 1812–1814 гг. (первые французские трофейные знамена были помещены сюда в конце 1812 г.).

751 Останки князя Александра Невского (1220–1263) покоились в монастыре Живоначальной Троицы и Святого великого князя Александра Невского, основанном Петром I в 1710 г., с 1724 г.: сначала в Благовещенской Александро- Невской церкви, а с 1790 г. — в Троицком соборе. Серебряная рака была отлита в 1752 г. по приказу императрицы Елизаветы. В переводе, опубликованном в «Новостях литературы» (1822. № 11. С. 164), сообщение о монетах и загадывании желаний опущено.

752 Вначале могилу Суворова украшала лишь лаконичная надпись, сочиненная, по преданию, самим полководцем: «Здесь лежит Суворов». Уже после пребывания г-жи де Сталь в Петербурге текст надписи был расширен. «Достойно сожаления, — пишет П. П. Свиньин, — что прибавлено после: „Генералиссимус Суворов-Рымникский родился 1729 ноября 13, скончался 1800 майя 6 дня“» *(Свиньин.* С. 67).

753 Визит к Румянцеву, равно как и посещение Казанского собора и Александро-Невской лавры, состоялся 14 августа 1812 г. Николай Петрович Румянцев (1754–1826) был назначен министром иностранных дел в феврале 1808 г. (с сентября 1809 г. — в звании государственного канцлера) и официально занимал эту должность до августа 1814 г., когда был полностью уволен от службы. Однако в то время, когда его посетила г-жа де Сталь, Румянцев уже фактически отошел от дел, причем не только из-за своих симпатий к Наполеону и Франции, побуждавших его вплоть до самого начала войны утверждать, что французский император никогда не нападет на Россию, но и по причине болезни — апоплексического удара, случившегося с ним в начале 1812 г. (министерством с конца 1812 г. временно заведовал К. В. Нессельроде). 5 января 1813 г. Сталь писала графине Д. Х. Ливен: «Успех Вашего дела более не вызывает сомнений; на территории России не осталось ни одного француза, а г-н Румянцев, как можно судить по письму, полученному мною из Петербурга, представляет дело так, будто он лишь притворялся сторонником французской партии, в действительности же всегда ненавидел императора Наполеона» *(CS.* № 39. P. 56). Ср. зарисовку визита г-жи де Сталь к Румянцеву в записях Д. И. Хвостова: «Известная г-жа Сталь, автор романа Дельфины и

других, по приезде в Санкт-Петербург обедала у канцлера гр. Румянцева. За десертом был подан сервиз, подаренный ему от Наполеона. Она, любуясь тарелкою, на которой был ястреб с надписью *Roi des vautours* [король ястребов. — *фр.],* сказала ему: Вы, граф, получили это du vautour des Rois [от ястреба королей. — *фр.]» (Хвостов.* С. 386).

754 Джордж Тирконнел, граф, пэр Ирландии (1788–1813), находился в Петербурге с июля 1812 г. не в качестве посланника, а как адъютант герцога Йоркского (см.: *Вильсон.* С. 254–255), а затем как военный советник при русской армии; послом (а не посланником) Англии в России в августе 1812 г. был назначен Уильям Шоу, граф Кэткарт (1755–1843), прибывший в Петербург 4 сентября 1812 г.; Сталь не упоминает его в тексте «Десяти лет», хотя он вместе с другими англичанами, Тирконнелом и Бентинком, побывал у нее 6 сентября, накануне ее отъезда из Петербурга (см.: *Carnets.* P. 321).

755 Адмирал Уильям Бентинк (1765–1813) служил неофициальным посредником между Александром I и Бернадотом во время их встречи в Або в конце августа 1812 г.; по инициативе барона Штейна (см. примеч. 832) русский император намеревался отправить Бентинка в Вену для переговоров о вступлении Австрии в антифранцузскую коалицию, однако этот план не осуществился, а 21 февраля 1813 г. Бентинк скончался в Петербурге от плеврита (см.: *CS.* № 39. P. 72).

756 Примечание анонимного переводчика в «Новостях литературы» (1822. № 12. С. 177): «Остров сей, купленный потом в Казну, восприял ныне прежнее название *Елагина.* Кажется, что все искусства соединились, дабы придать новые красоты живописному его местоположению. Построенный там дворец может назваться образцом изящного вкуса и архитектуры, а обширный парк приобрел множество разнообразнейших украшений». До 1794 г. остров принадлежал обер- гофмейстеру И. П. Елагину, после его смерти сменил нескольких владельцев и в 1807 г. был куплен у С. П. Свечиной графом Григорием Владимировичем Орловым (1777–1826), сенатором с 1812 г.; в 1817 г. граф Орлов продал остров Александру I, после чего здесь разместилась одна из летних резиденций императорской фамилии (см.: *Пыляев.* С. 480–481). Граф Г. В. Орлов был меценатом, собирателем картин и автографов, литератором: ему принадлежат несколько книг о живописи и музыке, написанных по-французски и изданных в Париже уже после смерти г-жи де Сталь; в 1825 г. по его инициативе в Париже был выпущен сборник французских и итальянских переводов басен Крылова. Визит г-жи де Сталь в дом Орлова много лет спустя нашел

отражение в молве, дающей представление о том, как воспринимали французскую гостью наблюдатели недоброжелательные: «Граф Медем мне говорил, что она [Сталь] жила на Елагином острове у графа Федора [sic!] Орлова и так была невыносима, что Орлов не знал, как от нее избавиться. […] Один Фридрих [sic!] Вильгельм Шлегель, как терпеливый немец, выносил ее благодушно» (*Смирнова-Россет*. С. 149).

[757] Граф Г. В. Орлов был женат на Анне Ивановне Салтыковой (ум. 1824). Ср. характеристику, данную ей Штейном в письме к жене от 29 сентября 1812 г.: «Г-жа Орлова наделена умом острым, любезным, изысканным, нраву она не слишком ровного, но гордится чрезвычайной верностью в дружбе; она не хороша собой, пожалуй, даже дурна, однако вид ее не имеет в себе ничего неприятного. В доме ее собираются едва ли не все иностранцы, а также многие из здешней знати, так что общество у нее всегда оживленное» (цит. по: *Grunwald*. P. 200). Из- за слабого здоровья жены граф Орлов проводил с ней много времени во Франции, Италии и Швейцарии.

[758] Ср. в письме Штейна к жене от 16 августа 1812 г.: «Большая часть общества живет в загородных домах. Один из самых прелестных принадлежит графу Орлову; расположен он на острове посередине Невы, который носит имя графа. Парк и сад там просторны и ухоженны; из разнообразных пород деревьев не все могут прижиться в здешнем климате, на каковой предмет в саду выстроены теплицы; о каштанах и дубах здесь заботятся более тщательно, чем у нас об абрикосовых и персиковых деревьях; на зиму их укрывают циновками и соломой; впрочем, вид у них все равно хилый. В обществе тон непринужденный, но беседы не слишком содержательны» (цит. по: *Grunwald.* P. 198).

[759] Англо-русский мирный договор был заключен в Эребру 18 июля 1812 г.; ратифицирован обеими сторонами в Стокгольме 23 августа 1812 г. (см.: *ВПР*. Т. 6. С. 491–493, 758). Впрочем, в Петербурге известие о мире распространилось еще прежде обмена ратификационными грамотами; см. сообщение в «Северной почте» от 7 / 19 августа 1812 г.: «Мир с Англиею восстановлен. Порты наши на всех морях английским кораблям отворены». Сообщения Сталь о том, когда именно она посещала дом Орлова, противоречивы. Судя по «Путевому дневнику», она побывала у Орлова дважды: «во вторник» 18 августа (*Carnets*. P. 298) и «в понедельник» 31 августа (см.: *Carnets*. P. 298, 312). Однако в тексте «Десяти лет» речь идет о воскресенье, которое в интересующий нас период приходилось на 23 и 30 августа. В комментируемом фрагменте речь, по-видимому, идет о воскресенье 30 августа; именно в этот день Сталь прочла вслух в доме Орлова главу «О влиянии энтузиазма на счастье» — финал тогда еще не опубликованной ОГ о чем барон Штейн, присутствовавший при чтении, на следующий день, 31 августа, рассказал в письме к жене (см. примеч. 832). Особенно актуально должен был звучать в обстановке 1812 г. отрывок о любви к отечеству: «Когда обстоятельства того требуют, люди всегда встают на защиту отечества, однако особенно прекрасна любовь к родине, когда она зиждется на энтузиазме! Край, где родились эти люди, земля их предков, *море, омывающее утес* [согласно примечанию самой Сталь, намек на свободолюбивую Англию], многолетние воспоминания, многолетние надежды — все зовет их в бой; каждое биение их сердец исполнено любви и гордости. Господь даровал отечество мужчинам, которые могут его защитить, женщинам, которые ради него смиряются с опасностями, угрожающими их братьям, мужьям и сыновьям. Тучи, сгущающиеся над отечеством, не вызывают у его защитников ни трепета, ни ярости, но лишь ускоряют ток их крови; в такой борьбе каждое усилие достигается самым глубоким сосредоточением внутренних сил. Поначалу на лицах этих генералов-граждан заметно лишь спокойствие; чувства их исполнены слишком большого достоинства, чтобы вырываться наружу; однако пусть трубы протрубят атаку, пусть поплывет в воздухе национальный флаг, и вы увидите, как взгляд этих воинов, некогда столь кроткий и готовый вновь смягчиться при виде несчастья, одушевится волей священной и ужасной! Отныне их не могут испугать ни раны, ни даже кровь; отныне и боль, и смерть — все отступает перед Богом войны, коему приносится жертва; ни сожалениям, ни сомнениям не остается места там, где принимаются решения самые отчаянные. Сладостно

существование того, кто отдает всего себя достижению цели; стоит, однако, человеку поддаться разъедающим изнутри сомнениям, и жизнь покажется ему несчастьем; из всех чувств энтузиазм дарует наибольшее счастье, потому что только он способен соединить все силы душевные в едином порыве» (*DA*. T. 2. P. 310–311; ср. рус. пер. В. В. Измайлова: Российский музеум. 1815. Ч. 3. № 8. С. 228–229).

760 Граф Александр Сергеевич Строганов (1733–1811), с 1800 г. президент Императорской Академии художеств, меценат и коллекционер, владел выдающимся собранием произведений искусства. А. С. Строганов скончался меньше чем за год до приезда Сталь в Петербург, 27 октября 1811 г. В Петербурге Сталь общалась с женой его сына и наследника Павла Александровича (1774–1817), графиней С. В. Строгановой (см. примеч. 821). Сам П. А. Строганов летом 1812 г. находился в армии — командовал сводной дивизией, входившей в состав 3-го корпуса генерал-лейтенанта Тучкова 4-го, которого Строганов заменил после его гибели в Бородинском сражении. Строгановская дача располагалась в Новой Деревне, между Большой Невкой и Черной речкой; Сталь побывала там 22 августа, после посещения Екатерининского института (см.: *Carnets*. P. 304). «В саду Строганова хранились замечательные произведения искусства: две большие мраморные статуи Геркулеса и Флоры Фарнезских, стояли они по сторонам террасы дома; затем древняя фигура точильщика […] При входе к даче на берегу лежали два сфинкса, а по бокам ступеней — два больших кентавра, затем несколько мраморных ваз, и на пруду перед газоном была фигура Нептуна с трезубцем» (*Пыляев*. С. 21). В «Путевом дневнике» отмечены особо две достопримечательности строгановской дачи: «индийский идол» и «греческая гробница» (*Carnets*. P. 304; об этом античном саркофаге см.: *Пыляев.* С. 21). Строгановский сад был открыт для публики: «Летом не только что позволено каждому туда входить, но радушный граф учреждает в оном по воскресеньям и праздникам для охотников музыку и танцованье» (Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга. СПб., 1996. С. 144). Что касается угощения, оно не было совсем бесплатным, однако обходилось посетителям очень дешево: «В саду не было ни кофейни, ни трактира; графские люди продавали все съестное и питейное, и очень дешево, потому что запасались провизией из графских кладовых. В одной стороне сада была устроена галерея для танцев […] Вокруг галереи были разбиты палатки, в которых можно было иметь кушанье и напитки» (*Пыляев*. С. 20).

761 Ср. «патриотическую» реплику на это утверждение в

примечании русского переводчика: «Сочинительница имела, как кажется, весьма поверхностные сведения о русской литературе. Как жаль, что у нас не было своего *Шлегеля,* который бы познакомил ее с сокровищами оной, столь же многочисленными, как и разнообразными!» (Новости литературы. 1822. № 12. С. 179). Иначе оценил эту мысль г-жи де Сталь Пушкин, сославшийся на нее четырежды: в набросках писем к Бенкендорфу 19/31 июля — 10/22 августа 1830 г. и около 27 мая / 8 июня 1832 г., в письме к Баранту 16 / 28 декабря 1836 г. и в «Путешествии из Москвы в Петербург». Наиболее развернутый комментарий дан в «Путешествии из Москвы в Петербург»: «У нас, как заметила M-me de Staël, словесностию занимались большею частию дворяне (En Russie quelques gentilshommes se sont occupés de littérature). Это дало особенную физиономию нашей литературе; у нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде получить от него 500 рублей или перстень, украшенный драгоценными каменьями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? Позвольте в том усумниться. Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупщиков…» (*Пушкин*. Т. XI. С. 255). Пушкин цитирует Сталь по памяти и не вполне точно; в оригинале 1821 г. приведенная им фраза звучит так: «Quelques gentilshommes russes ont essayé de briller en littérature». Различны не только сами фразы, но и данная в них оценка ситуации; у г-жи де Сталь оценка эта по преимуществу критическая: литература в России остается барской забавой, мало интересующей общество в целом (ср. выше рассуждения об отсутствии в России среднего класса, которое «влияет весьма неблагоприятно на судьбу литературы»). Пушкин близок к суждению Сталь в письме к Баранту, где утверждает, что в России до сих пор «никто не думал извлекать из своих произведений других выгод, кроме успехов в обществе», а на литературу смотрели «как на занятие изящное и аристократическое». Однако отношение его к явлению, подмеченному в книге Сталь, было более сложным. В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин, хотя и отзывается очень высоко о литературных достижениях незнатных Ломоносова и Кострова (современные исследователи называют

это «идеализацией „века просвещения“, еще усиленной в полемических целях» — *Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И.* Новонайденный автограф Пушкина. М.; Л., 1968. С. 94), тем не менее, обращаясь к своей литературной современности, осуждает отнюдь не «писателей-дворян», но писателей «демократического», или, в понимании Пушкина, «демагогического», лагеря, пользующихся поддержкой правительственных кругов (Там же. С. 94). Мысль Пушкина выражена более отчетливо в отрывке, по цензурным соображениям исключенном из беловой редакции: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия. Писатели дворяне (или те, которые почитают себя à tort ou à raison [по праву или без оного — *фр.*] членами высшего общества) постепенно начинают от них удаляться под предлогом какого-то *неприличия.* Странно, что в то время, когда во всей Европе готический предрассудок противу наук и словесности, будто бы не совместных с благородством и знатностью, почти совершенно исчез, у нас он только что начинает показываться. Уже один из самых плодовитых наших писателей провозгласил, что литературой заниматься он более не намерен, потому что она *дело не дворянское.* Жаль!» (*Пушкин.* Т. XI. С. 229). Литература, по мнению Пушкина или Вяземского (см., в частности, статью Вяземского 1830 г. «О духе партий; о литературной аристократии»), есть важная форма влияния дворянства на общество и даже на правительство, а именно такое влияние представляет собой важнейший цивилизующий фактор. Иными словами, то, что Сталь считает показателем недостаточной развитости, Пушкину кажется залогом достоинства литературы и политики (ср. анализ отношения Пушкина и Вяземского к «литературной аристократии» в статье *Тоддес Е. А.* О мировоззрении Вяземского после 1825 года // Пушкинский сборник. Вып. 2. Рига, 1974. С. 150–162). По предположению Б. В. Томашевского, отзвуки замечания г-жи де Сталь о неспособности русских переходить от фактов к обобщениям, следующего непосредственно за комментируемой фразой, можно различить в размышлениях Пушкина о неразработанности русского «метафизического» языка (*Томашевский.* С. 92–93). Характерно, что Пушкин говорит об этом, в частности, в том же письме к Вяземскому от 13 июля 1825 г., в котором упоминает свою заметку о «Десяти годах в изгнании», направленную против Муханова (см. примеч. 853).

762 Образцом такого человека, обязанного эрудицией

исключительно устному общению, служил для г-жи де Сталь Талейран (см. примеч. 145).

763 Сталь была представлена ко двору 17 августа 1812 г. Императрицу Елизавету Алексеевну (1779–1826), урожденную принцессу Луизу Августу Баденскую, чтение «Дельфины» некогда неприятно поразило «странными выражениями» и восхвалением героини, которая «продолжает оставаться в связи с замужним человеком» (письмо к матери от 6 / 18 мая 1803 г.; цит. по: *Carnets.* P. 297), однако в 1812 г. императрица приняла писательницу благосклонно, хотя и предположила, что ей «трудно будет верно изобразить страну, где она пробыла так недолго». Впрочем, познакомившись с «Десятью годами» в августе 1821 г., Елизавета Алексеевна осталась довольна этим «занимательным чтением» (Ibid. P. 297–298). В Петербурге Сталь общалась также с сестрой императрицы, принцессой Амалией Баденской (1776–1823), которая в 1801–1814 гг. жила в России. Сталь побывала у нее 20 августа 1812 г.; судя по дневниковой записи, разговор в салоне принцессы шел о возможности и необходимости возвращения Бурбонов на французский престол и об условиях такого возвращения: «Вечером у принцессы Амалии Баденской. Алексис де Ноай. Герцогиня Ангулемская: „Члены нашего семейства тоже совершали преступления. Мы хотим вернуться во Францию ради ее счастья. Мы дети мучеников“. Твердость Бернадота. Влияние французского имени» (*Carnets*. P. 300; об Алексисе де Ноайе см. примеч. 836; герцогиня Ангулемская — дочь казненных Людовика XVI и Марии-Антуанетты, племянница Людовика XVIII и невестка его брата графа д’Артуа, будущего Карла X).

764 История отношений Наполеона и Александра I освещена во всех биографиях двух императоров; об их союзе (1807–1812) см., в частности: *Вандаль.* Т. 1–4; *Троицкий Н. Л.* Александр I и Наполеон. М., 1994 (с приложением краткой библиографии).

765 Речь идет о Петре III; Сталь могла прочесть об этом его пристрастии у Левека (*Levesque.* T. 5. P. 250), Рюльера (*Rulhière.* X 1. P. 245, 280) или Массона: «Петр III также довел солдатоманию до смешного и думал, что берет за образец Фридриха» (*Массон.* С. 97).

766 Одно из выразительных описаний «макиавеллистской» политики Наполеона в отношении подчиненных содержится в воспоминаниях г-жи де Ремюза: «В одном из приступов искренности, порой с ним случавшихся, Бонапарт признался в моем присутствии, что любит венчать славой лишь тех, кто не в силах снести ее бремя. В зависимости от отношения к своим генералам и от того, насколько он им доверял, Бонапарт то

хранил молчание об их победах, то представлял их ошибки как успехи. Нередко некий военачальник узнавал из бюллетеня о поступках, которых никогда не совершал, о речах, которых никогда не произносил. Другому газеты внезапно сообщали о его необычайных талантах, и он тщетно пытался понять, чем заслужил такие похвалы. […] Прекрасно зная, на что способен каждый из его приближенных и какую пользу он может принести, обязанный, вознаграждая своих верных слуг, подавлять их гордыню и ревность, император был вынужден при каждом удобном случае напоминать им, что они зависят от него и что их слава и благосостояние находятся в его руках» (*Rémusat.* Т. 2. P. 205–207).

767 Полководческими талантами Александр I в самом деле не блистал, однако обладал «немалой долей воинского честолюбия» (*Тартаковский.* С. 53). До 6/18 июля 1812 г. именно он числился главнокомандующим всех русских армий, причем не только формально, но и по сути брал на себя руководство войсками, чем отнюдь не способствовал их успеху. Отъезд Александра из армии в Москву, а затем в Петербург объяснялся не столько сознанием его непригодности к ведению войны, сколько общегосударственной необходимостью, поэтому в признании, сделанном им г-же де Сталь, было, по всей вероятности, больше кокетства, чем искренности (характерно, что в письме к императору, написанном вскоре после этой встречи, Сталь сочла нужным специально подчеркнуть уверенность в искренности своего собеседника; см. следующее примеч.). Наполеон, по-видимому, хорошо чувствуя эту слабость Александра, долго распространялся в разговоре с Балашовым насчет того, что Александру не пристало самолично командовать войсками, и об этом шли толки в обществе (см. примеч. 644). Ср. также толки насчет отъезда императора из армии, зафиксированные в письме Ж. де Местра к графу де Фрону от 2 / 14 сентября 1812 г.: «Меня уверяли, что князь Кутузов, принимая командование, поставил условием, что *Его Императорское Величество в армию не вернется, а великий князь, его брат, ее покинет,* объясняя это условие применительно к великому князю тем обстоятельством, что он (Кутузов) *не сумеет ни наградить его за хорошую службу, ни наказать за дурную.* Сказано хорошо и справедливо, но я с большим подозрением отношусь ко всем этим речам, которые произносятся наедине, а затем подбрасываются публике. Кто их повторяет? Князь? Нет. Подданный? Нет» (*Maistre.* Т. 12. P. 204–205).

768 В том же убеждала г-жа де Сталь Александра I в письме, посланном ему из Стокгольма 5 ноября 1812 г.: «Я хотела

поблагодарить Ваше Величество за столь добрый прием, послуживший мне утешением после десяти лет изгнания и страданий; желала бы также признаться в том восхищении, какое вызывает у меня вот уже два десятка лет благородное поведение Вашего Величества. Генералов на свете много, но истинных монархов свет еще не видел; Вы — первый, слившийся с собственной нацией, нацией истинно свободной, ибо все жертвы она приносит по доброй воле. Вы, Ваше Величество, защищаете благополучие мира, меж тем как прочие монархи европейские, им пренебрегшие, погубили самих себя. Какие бы лживые слухи ни распространяли о Вас в Европе, я верю лишь впечатлению, Вами на меня произведенному в тот последний раз, когда Вы, Ваше Величество, изволили говорить со мною; и прежние Ваши надежды, и стойкость нынешняя исполнены той правдивости, коя Вам самому свойственна. Душа Ваша сильна, потому что искренна, дважды же быть обманутым Вам не суждено» (*CS*. № 39. P. 42–43).

769 Об отношении Александра I к крестьянскому вопросу см. выше примеч. 681. По свидетельству Варнгагена фон Энзе, вопрос о крепостном праве в России позже был задан императору Александру в парижском салоне г-жи де Сталь; Александр ответил, что «крепостное право так же дурно [как рабство негров], что оно должно быть уничтожено и что с Божией помощью оно прекратится еще в мое правление» (цит. по: *Пыпин.* С. 305).

770 Здесь Сталь в угоду Александру отступает от своих конституционных убеждений и от наставлений своего любимого философа Монтескье, который видел преимущество монархического правления именно в том, что оно основано на писаных законах, а не только на добродетелях монархов: «Кардинал Ришелье, полагая, может быть, что он уж слишком пренебрежительно относился к сословиям государства, обратился для поддержки государства к добродетелям государя и его министров, требуя от них такой проницательности, такого просвещения, такого мужества и таких познаний, что надо поистине быть ангелом, чтобы иметь все это. Едва ли позволительно надеяться, что за все время от наших дней до исчезновения монархий будет когда-либо такой государь и такие министры» (О духе законов. Кн. 5. Гл. 11; *Монтескье.* С. 58). Эта реплика г-жи де Сталь, равно как и ответ ей Александра, в несколько иной форме фигурируют также в опубликованных раньше *РФР* (см. следующее примечание) и сразу запомнились внимательным читателям; так, дипломат князь П. Б. Козловский начинает свою дипломатическую записку о Германии,

датированную 4/16 августа 1819 года, следующим обращением к императору Александру: «Всемилостивейший Государь! Прославленная женщина сказала, что конституция России содержится в сердце Вашего Императорского Величества, и, полагаясь на это, я дерзаю адресовать напрямую Вашему Величеству сей труд» (РГАЛИ, ф. 195, оп. 3, № 52, л. 36; ориг, по-фр.).

771 Примечание Огюста де Сталя: «Фраза эта уже была приведена в третьем томе „Размышлений о Французской революции“, но она заслуживает повторения. Следует, впрочем, напомнить, что все это писано в 1812 году». В издании 1821 г. и в *РФР* (ч. 6, гл. 10) сама фраза Александра имеет несколько иную форму; император в обоих случаях говорит: «Я — не более чем счастливая случайность» (*DAE-1821*. P. 314; *CRF*. P. 588). Кроме того, в *РФР* г-жа де Сталь сопровождает реплику Александра несколько иным комментарием: «Полагаю, что государю, который имеет полное право заблуждаться насчет участи своих подданных, трудно произнести слова более прекрасные. Мало того, что самодержавное правление делает нации заложницами наследственной передачи власти; самые просвещенные монархи, если власть их ничем не ограничена, не способны даже при желании поощрять в подданных силу и достоинство характера. Управлять людьми, не унижая их, могут лишь Бог и закон» (*CRF*. P. 588; ср. в том же сочинении оценку роли Людовика XVI и Марии-Антуанетты: «Характеры королевы и короля как частных лиц были в высшей степени достойны одобрения; однако произвол французской власти, какой соделалась она на протяжении столетий, так мало отвечал духу времени, что сами достоинства государей тонули среди злоупотреблений, их окружавших» — *CRF*. P. 82). Комментируемая реплика Александра в передаче г-жи де Сталь — одна из наиболее часто цитируемых фраз «Десяти лет в изгнании» и *РФР* как во Франции, так и в России; она «надолго стала визитной карточкой русского царя в европейском общественном мнении» (*Жуковская Т. Н.* Мадам де Сталь в России (женщина-политик в восприятии российских либералистов) // О благородстве и преимуществе женского пола. СПб., 1997. С. 35). В зависимости от отношения к России и русскому императору в ней могли видеть либо трогательное проявление веры Александра в то, что он «не более чем орудие Провидения» (*Шатобриан*. С. 259), и доказательство истинности его намерений «осчастливить Россию законно-свободными постановлениями» (*Фонвизин М. А.* Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 148; см. также: *Лунин М. С.* Письма из Сибири. М., 1987. С. 80), либо безосновательные претензии на либерализм,

приписанные ему «этой бездельницей Staël» (*Смирнова-Россет.* С. 226), либо, наконец, доказательство того факта, что Россия не создана для усвоения европейской цивилизации: «„Я не более чем счастливая случайность“, — сказал он однажды г-же де Сталь, скорбя о недостаточной цивилизованности его народа, препятствующей исполнению его благодетельных намерений» (*Egron.* P. 90–91); «Великий и добросердечный государь может даровать подобной империи толику просвещения и счастья, однако государь этот, как сказал император Александр госпоже де Сталь, сам будет не более чем счастливой случайностью» (*Ségur.* T. 2. P. 229); «Сей государь говорил правду: как бы ни превозносили русские мудрую попечительность тех, кто ими правит, тем не менее основу основ их государства составляет самовластие» (*Кюстин.* С. 636). Наконец, самые верноподанные читатели полемизировали с г-жой де Сталь, утверждая, что она напрасно назвала Александра не более чем счастливой случайностью, потому что благоденствие России не зависит от случая (см. очерк князя Элима Мещерского «Открытие Москвы русским уроженцем» в кн.: Mazon A. Deux Russes écrivains français. P, 1964. P. 409). Что касается самого Александра, то он, по-видимому, использовал беседу с прославленной писательницей как способ объявить о своих либеральных намерениях, не прибегая к услугам официальной публицистики и не беря на себя никаких обязательств (см.: *Жуковская Т. Н.* Указ. соч. С. 36). Сталь виделась с Александром в 1814 г. в Париже после вступления туда союзников; до конца 1816 г. она состояла с ним в переписке, однако ее надежды на то, что Александр будет способствовать развитию либеральных идей во Франции и во всей Европе, становились все более призрачными; что же касается Александра, то он постепенно утратил интерес к Сталь и перестал отвечать на ее письма. Историю их эпистолярных отношений см.: *Дурылин.* С. 287–306. Полный текст писем Сталь к Александру I см.: Вестник Европы. 1896. Кн. 12. С. 570–594 (перевод); *Revue de Paris.* 1897. № 1. P. 5–22 (оригинал).

[772] На эту же разницу между государем и народом в отношении к прогрессу более развернуто и энергично указал Пушкин в черновой редакции «Путешествия из Москвы в Петербург»: «…не могу не заметить, что со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» (*Пушкин.* Т. XI. С. 223). Мысль Пушкина, разумеется, не восходит к мимолетному наблюдению г-жи де Сталь и не порождена им, однако, учитывая чрезвычайную насыщенность «Путешествия из Москвы в

Петербург» реминисценциями и даже прямыми цитатами из «Десяти лет в изгнании» (см. примеч. 673, 741, 761), можно предположить, что Пушкин держал в памяти и комментируемый фрагмент книги. Что касается самой г-жи де Сталь, то она, по-видимому, сформулировала этот тезис под влиянием сочинений Фонтенеля и Вольтера, где Петр I изображен как «демиург», наделенный сильной волей и благодаря этому сумевший извлечь русский народ из тьмы невежества. Более подробно Сталь аргументирует эту мысль о «цивилизующей» роли государя в *РФР* (ч. 4, гл. 19): «Благодаря просвещенной мудрости нынешнего государя в России постепенно произойдут все улучшения, какие могут быть осуществлены. Нет ничего более бессмысленного, чем речи людей, которые сомневаются в просвещенности Александра. Люди эти твердят: „Отчего же российский император, которым так горячо восхищаются друзья свободы, не установит конституционный порядок, какой он рекомендует другим нациям, в своей стране?“ В этом как раз и заключается одна из тысячи и одной уловок, к каким прибегают враги разума человеческого: они препятствуют нации осуществить то, что возможно и желательно для нее одной, и требуют, чтобы она ввела у себя то, что годно для других. В России пока еще нет третьего сословия: как же возможно создать в ней представительное правление? Класс промежуточный, занимающий место между боярами и народом, отсутствует здесь почти полностью. Можно было бы усилить политическое значение вельмож, разрушив в этом отношении сделанное Петром I, но это означало бы двигаться не вперед, а назад; ибо власть императора, какой бы самодержавной она ни оставалась, все равно полезнее для общества, чем власть, какою пользовалась в старину русская аристократия. В том, что касается развития цивилизации, Россия ныне вступила в тот период своей истории, когда, ради блага нации, следует ограничить власть привилегированных сословий и предоставлять наибольшие полномочия монарху. В России на огромной территории проживают тридцать шесть различных народов, исповедующих тридцать шесть религий, в число которых входят языческие культы. Православная религия отличается безупречной терпимостью; вдобавок бескрайние просторы оставляют каждому возможность следовать своим собственным обычаям. При существующем порядке вещей в стране недостает источников, откуда можно было бы черпать просвещение, личностей, которые были бы способны совершенствовать установления политические. Единственные узы, связующие племена почти кочевые, которые проживают на бескрайних равнинах в домах, похожих на деревянные палатки, — это уважение к государю и национальная

гордость; прочие узы разовьются со временем» *(CRF.* P. 429–430). Радикально настроенным читателям *РФР,* даже относившимся к г-же де Сталь с большим пиететом, эта мысль о неподготовленности России к конституционным установлениям казалась «вздором» (Архив братьев Тургеневых. Вып. 5. Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816–1824 годы. Пг., 1921. С. 158).

[773] См. примеч. 725.

[774] Первую из шести категорий, на которые делились потомственные дворяне, заносившиеся в губернскую родословную книгу, составляли люди, возведенные в дворянство по личному пожалованию императора.

[775] См., например, восхваление императрицы Марии Федоровны в более чем критической по отношению к русскому двору книге Массона *(Массон.* С. 104–106). Сталь видела императрицу Марию Федоровну (1759–1828), урожденную принцессу Софию Доротею Вюртембергскую, не впервые: в письме к великой герцогине Веймарской Луизе из Коппе от 23 июля 1811 г. Сталь упоминала «благосклонность, которой удостоилась в детские годы от императрицы-матери» *(Lenormant.* P. 189), имея в виду, по всей вероятности, 1782 г., когда Павел I и его супруга (под именем графа и графини Северных) побывали в Париже. В «Путевом дневнике» (часть, писанная рукою Альбертины) дан портрет вдовствующей императрицы: «Высокая, очень хорошо сохранившаяся, вид церемонный, с утра затянута в корсет» *(Carnets.* P. 312).

[776] Имеются в виду воспитательные и благотворительные учреждения, с 1796 г. находившиеся под управлением Марии Федоровны и по большей части ею же основанные (см. ниже примеч. 810).

[777] Ср. в «Путевом дневнике» (запись рукою Альбертины): «Прекрасная Таврическая зала. Сад прямо в зале» (*Carnets*. P. 312). Таврический дворец выстроен в 1783–1789 гг. архитектором И. Е. Огаревым для князя Потемкина; зал, о котором упоминает Сталь, называется Белоколонным. После смерти Потемкина дворец был взят в казну и стал одной из резиденций Екатерины II; при Павле I был передан Конногвардейскому полку, а в 1801 г. вновь сделан одной из императорских резиденций.

[778] Все европейские мемуаристы, как правило, строили портрет Потемкина на контрастных психологических характеристиках. Из текстов, которые могли быть знакомы Сталь и даже наверняка были ей известны, назовем прежде всего письмо князя де Линя к графу де Сегюру от 1 августа 1788 г., вошедшее в составленный ею сборник 1809 г. (*Ligne.* P. 563–564), «Портрет», сочиненный Л.-Ф. Сегюром и напечатанный впервые в третьем

томе «Истории Екатерины II» Ж. Кастера (*Castéra J.* Histoire de Catherine IL P., 1799. T. 3. P. 415–422), и характеристики, данные Потемкину Левеком (*Levesque-1800.* T. 5. P 374; более развернуто: *Levesque P.-Ch.* Histoire de la Russie. P, 1812. T. 5. P. 366–367); тексты Левека особенно интересны тем, что он подчеркивает в Потемкине то же сочетание противоречивых качеств (неистовость и пылкость [impétuosité] вперемежку с ленью и бесстрастием [indolence]), которое Сталь неоднократно выделяет в качестве доминанты русского национального характера.

779 Сведения Сталь о деятельности Потемкина в Крыму восходили, скорее всего, к тексту Сегюра, опубликованному в книге Кастера: «…он убедил Екатерину приехать полюбоваться на этот новый театр его славы. […] Пустыни были заселены людьми; повсюду выросли дворцы. Голые крымские равнины преобразились благодаря нарочно построенным деревням; для их украшения повсюду засверкали фейерверки. Горные цепи осветились огнями. […] Дикие леса обратились в английские сады» (*Castéra J.* Histoire de Catherine II. P., 1799. T. 3. P. 419–420). Следует подчеркнуть, что Сталь, вслед за Кастера, Массоном (см.: *Массон.* С. 56; *Masson-Lettres.* P. 165–168) и князем де Линем (см.: *Ligne.* P. 518), останавливается на версии, приписывающей Потемкину не обман императрицы (возведение «потемкинских деревень», фасадов, скрывающих пустоту), но реальную — хотя и на удивление стремительную, «чудесную» — созидательную деятельность; впрочем, Сталь была известна и другая, менее лестная для Потемкина трактовка; см. в записной книжке: «Город, возведенный Потемкиным в Крыму на один день» (*DAE-1996.* P. 428). Ср. современную точку зрения на этот эпизод: *Панченко А. М.* «Потемкинские деревни» как культурный миф // XVIII век. Сб. 14. Л., 1983. С. 93–104 (то же: *Панченко А. М.* Русская история и культура. СПб., 1999. С. 462–475); *Зорин.* С. 95–122.

780 Предметом ухаживаний Потемкина во время Второй русско-турецкой войны (1787–1791) была жена генерал-поручика князя Василия Васильевича Долгорукого Екатерина Федоровна (урожд. княжна Барятинская; 1769–1849), последовавшая за мужем в армию Потемкина и проведшая зиму 1790 г. в Бендерах. Молва гласила, что, добиваясь ее благосклонности, Потемкин «ускорил штурм Измаила, чтобы дать ей зрелище атаки крепости и, как говорят, совершенно напрасно и преждевременно отпраздновал свою победу над ее сердцем ночной тревогой со стопушечной пальбой и батальным огнем» (Знаменитые россияне XVIII–XIX веков. СПб., 1996. С. 79); об «угождениях», которые делал княгине Долгорукой светлейший князь, см.:

Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1997. С. 88; *Головина В. Н.* Мемуары // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 105–108; *Пушкин А. С.* Дневник, 1833–1835 / Под ред. Б. Л. Модзалевского. М.; Пг., 1923. С. 157–158 (Пушкин, который общался с княгиней Е. Ф. Долгорукой в 1830-е гг. в Петербурге, в дневнике называет ее «наложницей князя Потемкина»). В эпоху Консульства Долгорукая жила в Париже и имела широкий круг светского общения, от Жозефины Бонапарт до г-жи Рекамье. Из Франции княгиня направилась в Италию; г-жа де Сталь виделась с нею в Женеве в сентябре 1804 г. (тогда же с княгиней увиделся и Бенжамен Констан, усмотревший в ее внешности «приятное смешение черт казацких и черкесских» — Constant B. Journaux intimes. P., 1952. P. 131) и в Риме в апреле 1805 г. (*CG*. T. 5. Pt. 2. P. 530), а затем — в Петербурге (см. ниже и примеч. 821).

781 Выпад г-жи де Сталь направлен прежде всего против Наполеона, который по своей прихоти перекраивал карту Европы и создавал в Италии и Германии новые государства.

782 Александр Львович Нарышкин (1760–1826) — обер-гофмаршал с 1798 г., обер-камергер с 1801 г., директор императорских театров (1799–1819). Дачу на Петергофской дороге он унаследовал от отца, обер-шталмейстера Екатерины II Льва Александровича Нарышкина; об этой мызе «под названием „Левендаль“», или просто, как ее тогда называли, «Га! Га!» см.: *Пыляев*. С. 118–121. Дачу Нарышкина Сталь посетила в пятницу 21 августа (см.: *Carnets*. P. 302). Сталь еще один раз побывала в гостях у Нарышкиных в воскресенье 23 августа (см.: *Carnets*. P. 305) — вероятно, уже не на даче, а в городском доме на Английской набережной (о нем см.: *Пыляев М. И.* Старый Петербург. СПб., 1889. С. 284–285). В «Путевом дневнике» она особо отметила «кроткое лицо» хозяйки дома — Марии Алексеевны Нарышкиной (урожденной Сенявиной; 1769–1822); ср. психологический портрет этой четы у Вигеля, который противопоставляет «нарышкинское барство, роскошество и даже шутливость» мужа «крутому нраву, благородным чувствам, бережливости и аристократической гордости» жены *(Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 2000. С. 165).

783 Финским морем Сталь называет Финский залив; дворец, о котором идет речь, — Петергоф. В соответствии со своими представлениями об окрестностях Петербурга Сталь особо подчеркивает контраст между обжитыми уголками и окружающей «дикой природой»; на самом деле территория вдоль Петергофской дороги была самым благоустроенным из пригородов Петербурга (см.: *Пыляев*. С. 104–123, 541).

784 Подробное описание роговой музыки дано у Массона

(*Masson.* P. 179) и в письме князя де Линя к маркизе де Куаньи из Херсона (1787), включенном Сталь в сборник сочинений князя (см.: *Ligne.* P. 498).

[785] В сказках «Тысячи и одной ночи» рассказчица Шехерезада — дочь царского визиря, своей законной женой царь (султан) делает ее только в самом конце повествования.

[786] В поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580) Армида — волшебница, засланная в лагерь христиан для того, чтобы соблазнить их своими чарами и заставить забыть о священной цели крестового похода.

[787] Национальной религией калмыков начиная с XVI в. был ламаизм (северная ветвь буддизма), но европейцы, не изощренные в знании Востока, зачастую именовали тамошних иноверцев язычниками (подробный рассказ о «мифологии калмыков» см. в: *Chappe.* T. 2. P. 470–496). Что же касается калмыков, воспитывавшихся у Нарышкина, то они, скорее всего, были крещены после того, как их взяли в дом православного барина; ср. запись в «Путевом дневнике»: «Цивилизованный калмык» (*Carnets*. P. 302). Вдобавок, поскольку европейцы подчас причисляли к калмыкам любого человека с неславянскими чертами лица, а порой и вообще любого жителя Российской империи (ср. удивление, вызванное у Кюстина тем фактом, что великий князь Александр Николаевич «не похож на калмыка» — *Кюстин.* С. 21, 742), возможно, что в доме Нарышкина Сталь видела представителей какой-то другой восточной народности.

[788] Ср. в «Путевом дневнике» о Москве: «Несмотря на чрезвычайную жару, все искусственно, даже зелень садов» (*Carnets.* P. 290) и о Царском Селе: «Искусственные газоны, искусственные каштаны. Тщательно ухоженные сады — контраст с природой, который превращает их в своего рода десерт» (*Carnets.* P. 317). В дневниковых записях тема искусственности петербургской природы и петербургских развлечений вообще занимает очень большое место; см., в частности, о даче Нарышкина (записи рукою Альбертины, исправленные самой г-жой де Сталь): «Природа без птиц, без овец — чтобы не повредить траву. […] Деревянные горы: удовольствие, имеющее вид опасности» (*Carnets.* P. 302–303). На эту искусственность, неорганичность русской цивилизации, ее театральный, а следовательно, неокончательный, иллюзорный характер указывали и путешественники XVIII в.; см., например, в «Мемуарах» графа Л.-Ф. де Сегюра, изданных в 1824–1826 гг., но описывающих царствование Екатерины, образ цивилизации в России как «тонкой коры, сквозь которую внимательный наблюдатель без труда мог разглядеть старую Московию» (*Ségur.*

Т. 3. P. 33); впоследствии Кюстин положил этот же мотив в основу «России в 1839 году» и придал ему афористическую форму в знаменитом определении «империя фасадов».

789 Это развлечение — катание со специально построенных дощатых гор в летних санках на колесиках — было заимствовано у русских французами и под названием «русских гор» получило большую популярность в Париже; первые такие горы были выстроены у заставы Руль в 1816 г. (см.: *Montclos B. de.* Les Russes à Paris au XIXe siècle, 1814–1896. P, 1996. P. 20–23).

790 Возможно, именно ради того, чтобы не нарушить стройность этого представления о русском свете, Сталь не упомянула в тексте тех русских подданных, с которыми она, бесспорно, виделась в Петербурге и с которыми наверняка вела беседы куда более содержательные, чем те, какие велись в доме Нарышкина. К их числу принадлежит, кроме уже упоминавшегося Фабера (см. примеч. 676), князь Петр Борисович Козловский, старый знакомый г-жи де Сталь (см. примеч. 14). Единственное письменное свидетельство общения Сталь с ним — короткая помета в записной книжке: «Козловский, Местр и Джон [Рокка]» (*DAE- 1996.* P. 425). Однако Козловский находился в Петербурге как минимум до середины октября 1812 г. (см.: *Козловский П. Б.* Социальная диорама Парижа. М., 1997. С. 175), и трудно предположить, что он, 6/18 июня 1812 г. писавший г-же де Сталь из Вильны о своем горячем желании увидеться с ней (см.: *CS.* № 39. P. 22–24), не воспользовался ее пребыванием в северной столице. Что же касается круга тем, которые князь обсуждал с г-жой де Сталь, о нем можно судить по более поздней (впрочем, происходившей в либеральной обстановке Парижа эпохи Реставрации, 6 февраля 1817 г.) их беседе, пересказанной Козловским в письме к графу И. А. Каподистрии от 7 / 19 августа 1818 г.; обсуждался, среди прочего, вопрос о том, имеет ли народ право на сопротивление властям (см:. *Дурылин,* С. 310). О недостаточной «интеллектуальности» русского светского общения см. также наст, изд., с. 143 и примеч. 680. К числу собеседников, встреченных в России, но не упомянутых в тексте «Десяти лет», относится и швейцарский эмигрант Фердинанд Кристин (1765–1837), которого связывали с г-жой де Сталь узы дружбы (а в самом начале века, возможно, и любви) и который в письме от 23 июля 1812 г. пересказал своему русскому покровителю графу А. И. Моркову свою беседу с г-жой де Сталь в Москве: в ответ на слова Кристина о том, что Россия старалась не дать Наполеону повода напасть на нее, Сталь воскликнула: «Вы все еще полагаете, что ему надобны предлоги; меж тем он уже тринадцать лет доказывает всей Европе, что из местоимений, существительных и

глаголов можно составить фразы на любой вкус; горе тому, кто этим фразам поверит; сам он, ручаюсь, не верит им ни в малейшей степени» (цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Александр и госпожа де Сталь // Вестник Европы. 1896. № 12. С. 571). О Кристине см.: *Barbey F.* Suisses hors de Suisse. Lausanne, 1914. P. 97 et suiv.; Ferdinand Christin et la princesse Tourkestanov. Moscou, 1882. P. 3–22; *Гречаная.* С. 267–279.

791 Описание развращенности русских нравов, проявившейся, в частности, в образовании так называемого «физического клуба», члены которого, полсотни мужчин и полсотни женщин, отдавались друг другу без разбора, по воле случая, дано у Фортиа де Пиля (*Fortia.* Т. 3. P. 358–363) и, с меньшими подробностями, у Массона (*Массон.* С. 144–145); ср. также фрагмент из «Записок» Массона, не вошедший в русское издание: «Итак, не в России следует искать Юлию — возлюбленную Сен-Пре и еще менее Юлию — супругу Вольмара. Не знаю, с какой стати вздумалось Руссо назвать Вольмара русским. Родина рабства не бывает родиной сильных страстей: здесь с большим трудом можно отыскать материал для романа» (*Masson.* P. 206; Массон имеет в виду роман Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»). Применительно к более давним временам о распутности русских женщин, которые «не ведают иных радостей, кроме наслаждений чувственных, и часто отдаются своим рабам, выбирая их по телосложению и мощи», писал Шапп д'Отрош (*Chappe.* Т. 1. P. 259).

792 Комментируемый фрагмент нашел косвенное отражение в пушкинском «Рославлеве»; Полина протестует именно против такого отношения к женщине, какое Сталь приписывает русским вельможам: «Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтоб нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому принуждают нас» (*Пушкин.* Т. VIII. С. 153). Впрочем, Сталь описывает здесь лишь внешнюю сторону русского быта; более проницательные иностранные наблюдатели отмечали подспудное, неофициальное, но оттого не менее сильное влияние женщин из высшего света на общественную атмосферу; см., например: «Вообще хозяйки салонов весьма влиятельны. Самые видные из них образуют своего рода штаб общества, в котором выгодно иметь друзей, если хочешь преуспеть и не желаешь стать жертвою злословия» (письмо барона Штейна к жене от 29 сентября 1812 г.; цит, по: *Grunwald.* P. 200); ср. также, применительно к более раннему периоду, рассуждения Массона о «гинекократии» в русском свете:

«В царствование Екатерины женщины уже заняли первенствующее место при дворе, откуда первенство их распространилось и на семью, и на общество» (*Массон*. С. 142–143).

793 Сталь подразумевает прежде всего фаворитов Екатерины II, к этому времени уже многократно описанных путешественниками и мемуаристами, прежде всего Рюльером и Массоном.

794 Имеется в виду Кунсткамера, основанная в 1714 г. Петром I на базе его личных коллекций, а в 1724 г. вошедшая в состав Академии наук и значительно пополненная благодаря ученым экспедициям по Сибири и Дальнему Востоку; ее подробное описание Сталь могла прочесть в книге Кокса *(Coxe.* Т. 1. P. 400 et suiv.). В Кунсткамере Сталь побывала в четверг 20 августа (см.: *Carnets.* P. 299–300).

795 См.: *Levesque.* Т. 2. P 218.

796 Сталь, вероятно, имеет в виду выдвинутую натуралистом Жоржем Кювье (1769–1832) теорию катастроф, согласно которой в история Земли было много геологических периодов; каждый из них заканчивался громадным переворотом, при котором на земле гибло всё живое и возникал новый органический мир.

797 В «Путевом дневнике» житель Камчатки назван «северным импровизатором» (*Carnets.* P. 300); по-видимому, Сталь пыталась представить себе его искусство как северный вариант итальянских импровизаций, которые так мастерски удавались ее героине, Коринне, и которых не чуждалась она сама; ср., например, в воспоминаниях дипломата А. П. Бутенева, плывшего на одном корабле со Сталь из Стокгольма в Лондон, описание ее поведения во время общего разговора на палубе: «Я мог только восхищаться ее прекрасным языком и красноречием, которое казалось свыше вдохновенным, когда она отдавалась увлечению. […] Точно будто без ее ведома вырывались из ее уст импровизации о величии океана, о красотах творения, о человеческом разуме и проч.» *(РА.* 1883. Кн. 1. С. 21).

798 Гробы, установленные в Петропавловском соборе, — это, собственно говоря, «саркофаги, под коими покоятся останки российских монархов» *(Свиньин.* С. 157), то есть мраморные надгробные памятники, имеющие вид гробов; могилы находятся под ними. Меж тем Сталь описывает их так, как если бы это были настоящие гробы, сделанные из дерева.

799 Петр III во время своего краткого царствования (25 декабря 1761 — 28 июня 1762) короноваться не успел, а после переворота, совершенного Екатериной, был вынужден отречься от престола (акт отречения был опубликован вместе с манифестом о восшествии на престол Екатерины II). Следовательно, умер он не

императором и был погребен не в Петропавловском соборе (императорской усыпальнице), а в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря. На следующий же день после своего воцарения, 8 ноября 1796 г., Павел I приказал выкопать гроб с прахом Петра III из земли и поставить его в Благовещенской церкви для оказания ему царских почестей. 25 ноября Павел собственноручно короновал останки Петра III, затем, 2 декабря, гроб со всеми императорскими почестями перенесли в Зимний дворец, и там он стоял рядом с гробом Екатерины до 5 декабря, когда оба гроба одновременно были перевезены для всеобщего поклонения в Петропавловскую крепость, где стояли до 18 / 19 декабря, а затем после панихиды были преданы земле. Сведения о перезахоронении Петра III в самом начале царствования Павла I Сталь могла почерпнуть из Массона (*Массон.* С. 82). Упоминание о «четырех камергерах» — возможно, результат искажения официальной информации об «учрежденном при гробе Петра III дежурстве из особ первых четырех классов» (см.: *Шильдер Н.* Император Павел Первый. М., 1996. С. 290).

[800] Эта «формула» русского государственного устройства так же, как и фраза о «деспотических правительствах, не ограниченных ничем, кроме убийства деспота» (см. примеч. 704), прочно ассоциировалась с Россией и подчас возникала в текстах, посвященных России, без ссылок на г-жу де Сталь; ср., например, в статье Сен-Марка Жирардена в «Журналь де Деба» 21 декабря 1835 г. (опубликованной в ходе обсуждения речи, которую Николай I произнес 4/16 октября 1835 г. в Варшаве и которая вызвала негодование европейских либералов): «Порядок в Париже — это закон, закон мудро либеральный; порядок в Санкт-Петербурге — это всемогущество одного человека, ограничиваемое время от времени вооруженными мятежами и дворцовыми переворотами».

[801] Царское Село г-жа де Сталь посетила 24 августа 1812 г., а не в первых числах сентября, как ошибочно сообщает она сама ниже.

[802] Екатерина II была для г-жи де Сталь не только фигурой, принадлежащей истории, но и старшей современницей, оказывавшей влияние на судьбу ее близких: с одной стороны, в 1781 г., после первой отставки Неккера, императрица предложила ему приехать в Россию (см.: *РФР,* ч. 1, гл. 8); с другой стороны, во время русско-шведской войны 1788–1790 гг. русская дипломатия добивалась от версальского двора прекращения субсидий Швеции, а шведский посол во Франции барон де Сталь этому противодействовал и тем навлек на себя гнев российской

императрицы (о «дипломатической дуэли» шведского и русского послов в Париже в это время см.: *Черкасов П. П.* Екатерина II и Людовик XVI. М., 2001. С. 395–396). В свете комментируемого фрагмента вызывают удивление трудности, с которыми сталкиваются искусствоведы при анализе портрета дамы в тюрбане кисти В. Л. Боровиковского (Третьяковская галерея). Полотно это еще в 1925 г. было определено как портрет г-жи де Сталь, однако эту атрибуцию оспорили из-за присутствия на заднем плане скульптурного бюста Екатерины II; предполагалось, что либеральная писательница «не могла позволить изобразить себя рядом с русской самодержицей, обдуманно и последовательно расправлявшейся со всеми проявлениями свободомыслия в подвластном ей обществе», поэтому исследователям, желавшим оправдать появление этого бюста на портрете, приходилось приводить длиннейший ряд косвенных аргументов (см.: *Алексеева Т. В.* Владимир Лукич Боровиковский. М., 1975. С. 274–283). Не оценивая достоверности указанной атрибуции, заметим, что бюст Екатерины II никак не может служить аргументом против отождествления изображенной на портрете дамы с г-жой де Сталь: хотя в реальности отношение писательницы к русской императрице могло быть более нюансированным, не доверять комментируемой хвалебной характеристике оснований нет; вслед за Вольтером (см. примеч. 708) Сталь, при всех возможных оговорках, ценила в Екатерине II сильную волю, направленную на приобщение России к цивилизации. С другой стороны, упоминания о позировании Боровиковскому или каком бы то ни было общении с ним в путевом дневнике г-жи де Сталь отсутствуют.

803 Намек на деспотическое отношение Павла I к детям и жене, которой он открыто предпочитал своих фавориток; прочесть об этом Сталь могла, в частности, у Массона (*Массон.* С. 104–105; *Masson-Lettres.* P. 121–129). Павловск был основан в 1777 г. как усадьба великого князя Павла Петровича; дворец выстроен Ч. Камероном в 1782–1786 гг.; в 1805–1810 гг. по заказу Марии Федоровны архитектор Ж. Тома де Томон возвел здесь мавзолей Павлу I («Супругу-благодетелю»).

804 Когда в «Десяти годах» Сталь приводит реплики некоего безымянного «человека острого ума», содержание этих реплик заставляет предположительно атрибутировать их Жозефу де Местру (см. примеч. 684 и 722); «параллельные места» обнаруживаются в переписке Местра и для комментируемого пассажа. См., например, наблюдения, датированные 1812 годом: «Почтение к власти существует повсюду… однако в каждой стране оно принимает особую форму. В России, например, оно

бессловесно. Таким оно было в старину, таковым осталось и по сей день. Вознамерься — как это ни невероятно — российский император сжечь Санкт-Петербург, никто не сказал бы ему, что деяние это сопряжено с некоторыми неудобствами, что даже в холодном климате нет нужды устраивать такой большой костер, что этак, пожалуй, из домов вылетят стекла, обои почернеют, а дамы перепугаются и проч.; нет, все бы промолчали; в крайнем случае подданные убили бы своего государя (что, как всем известно, отнюдь не означало бы, что они не питают к нему почтения) — но по-прежнему не говоря ни слова» (*Maistre.* Т. 12. Р. 180) или признание в письме к шевалье де Росси от 1/13 октября 1812 г.: «Нет ничего, за что русский был бы вам более благодарен, чем за отказ от вопросов в том случае, когда он не склонен на них отвечать» (*Maistre.* Т. 12. Р. 243). В «Путевом дневнике» Сталь связывает «русское молчание» с конкретным политическим событием, о котором, естественно, ни слова не говорит в основном тексте «Десяти лет», — убийством Павла I: «В день смерти Павла I — молчание даже среди гвардейцев» или в другом наброске: «Молчание в день смерти Павла I при провозглашении Александра» (*Carnets.* Р. 322, 324); в другом месте она распространяет свои наблюдения насчет русской молчаливости (по всей вероятности, с чужих слов) на крестьянство: «Русский крестьянин молчит обо всем даже сам с собою» (*Carnets.* Р 316).

[805] Французы вступили в Смоленск 18 августа 1812 г.; по словам Жозефа де Местра, после получения этого известия «жителям Санкт-Петербурга осталось одно-единственное занятие — подсчитывать версты, отделяющие Смоленск от Москвы» (письмо к графу де Фрону от 2 / 14 сентября 1812 г.; *Maistre.* Т. 12. Р 200). В Петербург известие о сдаче Смоленска дошло не раньше 23 августа *(Тартаковский.* С. 132); Сталь узнала эту новость 24 августа в доме генерала Петра Корниловича Сухтелена (1751–1836), где провела вечер после поездки в Царское Село и Павловск (см.: *Carnets.* Р. 307). Сухтелен, с декабря 1809 по сентябрь 1811 и с марта 1812 по апрель 1813 г. находившийся в Стокгольме с особой миссией и фактически выполнявший там функции посланника, в июле — августе 1811 г. жил в Петербурге; знакомство с ним и его сыном Павлом Петровичем Сухтеленом (1788–1833), только что вернувшимся из Лондона, представляло для Сталь особый интерес: Сухтелены владели свежей информацией о Швеции и Англии — странах, которые должны были поддержать Россию в борьбе против Наполеона. Об общении Сталь с Сухтеленами в Петербурге и Стокгольме см.: *Дурылин.* С. 272–275.

[806] Исчерпывающий анализ реальных взглядов и общественной репутации Михаила Богдановича Барклая де Толли (1757–1818), равно как и его «скифского плана», имевшего в основе идею «отступательной борьбы» и отвлечения французов в центр России, см. в кн.: *Тартаковский.* Passim (дата рождения Барклая приводится по новейшему справочнику: *Шилов.* С. 67). Личность этого полководца Сталь могла обсуждать в Петербурге с бароном Штейном (см. примеч. 832), знавшим о «скифском плане» Барклая от историка Нибура, который общался с ним в 1807 г. в Мемеле (*Тартаковский.* С. 68–69). Об отношении к Барклаю общества и императора см. примеч. 724 и 825. Уверенность в том, что русский способ воевать есть способ наступательный, по всей вероятности, сформировалась в сознании европейцев под влиянием Итальянской кампании Суворова (см.: *Corbet.* P. 34–36).

[807] Наполеон на Святой Елене высказался на ту же тему, хотя, естественно, расставил оценки противоположным образом: «Следует знать, что все английские политические агенты способны составить об одном и том же предмете два донесения: одно публичное и лживое, для архивов министерства, другое конфиденциальное и правдивое, для одних лишь министров; если обстоятельства взывают к ответственности этих последних, министры предъявляют первое донесение, которое, хотя и не содержит правды, превосходно их покрывает. Лучшие в мире конституции делаются порочны там, где конституционные правительства забывают о нравственности, а их агенты пребывают во власти эгоизма, гордыни и бесстыдства. Абсолютной власти нет необходимости лгать; она хранит молчание. Правительство же конституционное, вынужденное говорить, бессовестно искажает факты и лжет» *(Las Cases.* P. 316).

[808] В рукописи г-жи де Сталь шпиль назван серебристым (см.: *DAE-1996.* P. 302); в издании 1821 г. стояло: doré (позолоченный), что соответствует реальности.

[809] Ср.: Лука, 4:6. В *РФР* (ч. 4, гл. 19) Сталь распространяет эти евангельские реминисценции на императора Александра I, отводя ему роль искушаемого Христа при искусителе Бонапарте, и превозносит «восхитительную стойкость императора Александра, отказывавшегося от мира, который Бонапарт, по своему обыкновению, предлагал ему, одержав очередную победу» *(CRF.* P. 430).

[810] 22 августа 1812 г. Сталь побывала в Екатерининском институте благородных девиц, основанном императрицей Марией Федоровной в 1798 г.; располагался он на набережной Фонтанки, 36. Второе заведение, упоминаемое Сталь, — Смольный институт

(официальное название — Воспитательное общество благородных девиц), основанный указом Екатерины II в 1764 г., а после ее смерти перешедший под покровительство Марии Федоровны; девицы из мещанских семей воспитывались в Мещанском отделении Смольного института. Об институтах благородных девиц в России см.: Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2001. С. 508, 510, 513; о Екатерининском институте в чуть более позднюю эпоху (в начале 1820-х гг.) см.: *Смирнова-Россет. С.* 125–130.

811 Книга Неккера, вышедшая в 1800 г.

812 Влияние христианства на положение женщин в обществе, на их нравственность и развитие их чувствительности подробно освещено в *ОЛ (*ч. 1, гл. 8). См., в частности: «В ту пору, когда в Римской империи царил безудержный разврат, женщины могли получить свободу, лишь навсегда простившись с добродетелью; христианство даровало им равенство — по крайней мере в том, что касается нравственности и веры. Сделав брак священным таинством, христианство укрепило супружескую любовь и все связанные с нею чувства» *(О литературе.* С. 156). Комментируемый фрагмент иронически обыгран Пушкиным в 7-м примечании к «Евгению Онегину» (к 42-й строфе первой главы): «Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Лудовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностию и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестию, столь пленившею г-жу Сталь. (См. Dix années d'exil)» (*Пушкин.* Т. VI. С. 191). Ирония здесь направлена в две стороны; ее объекты — и ученые дамы, которые «толкуют Сея и Бентама», и — отчасти — ученость самой Сталь, которая рассматривает петербургских барышень в столь широком историческом контексте. Б. В. Томашевский предполагал, что Пушкин мог иметь в виду не только комментируемый фрагмент, но и эпизод с танцующими крестьянками, которых г-жа де Сталь видела перед въездом в Москву (*Томашевский.* С. 87), однако в этом эпизоде не упомянут ни Восток, ни христианская благопристойность — ключевые объекты пушкинской насмешки.

813 Фридрих Максимильян (в России Федор Иванович) фон Клингер (1752–1831) — немецкий писатель, представитель литературного движения «Бури и натиска», обязанного своим названием его драме 1776 г. (о драматическом творчестве Клингера см.: *ОГ,* ч. 2, гл. 25). В 1780 г. по рекомендации брата Марии Федоровны (в то время великой княгини) Клингер был принят на русскую службу; с 1798 г. он фактически управлял Сухопутным шляхетным корпусом, а в 1801 г. был назначен его

директором и оставался на этом посту до 1820 г. В письме от 29 ноября / 11 декабря 1812 г. Клингер благодарит Сталь за сочувствие, высказанное ею в связи с гибелью его сына Александра (юноша умер от раны, полученной в Бородинском сражении), а затем вспоминает «упоительные часы, которые он имел счастье провести в ее обществе»: «если Ваш прекрасный гений внушил мне восхищение, то нрав Ваш, благородный, открытый и естественный, преисполнил меня почтения к Вам» *(CS.* № 39. P. 47–48).

814 На сходные размышления навело Фортиа де Пиля посещение Воспитательного дома в Москве: «Это прекраснейшее из всех заведений европейских; мы полагаем, однако, что сумм, на него затрачиваемых, достало бы на то, чтобы открыть в каждой губернии или, по крайней мере, в большей их части, заведения подобного рода; империи это принесло бы гораздо больше пользы, однако эти мелкие заведения пользовались бы меньшей известностью, вызывали бы меньшее восхищение и не имели бы блеска и размаха, который так часто поражает в русских заведениях и за которым гоняются русские в ущерб пользе. Молодой народ, желающий в одно мгновение стать вровень с народами старыми, не мог не совершить подобной ошибки, особливо глядя на образцы, какие представляются его взору во всех странах европейских» *(Fortia.* T. 3. P. 305).

815 Так Сталь описывает счеты, которые во Франции до 1812 г. не были известны.

816 Датировка эта почерпнута не из «Истории России» Левека (основного источника г-жи де Сталь), который сообщает, что первая типография в России была заведена при Иване IV (см.: *Levesque-1800.* T. 3. P. 163). Возможно, Сталь связывала появление в России книгопечатания с фигурой Петра I, ошибочно приписывая монарху-демиургу еще и это нововведение; впрочем, Петр стал номинальным правителем России не 120, а 130 лет назад, если отсчитывать от 1812 г., что же касается осуществленной им реформы русского письма (введение гражданского шрифта для печатания светских изданий), то она была проведена в 1708–1710 гг., то есть, по отношению к 1812 г., сотню лет назад.

817 Сталь побывала в театре 16/28 августа, на единственном представлении трагедии Озерова в этом месяце (см.: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 2. С. 473); о страхе перед отцовским проклятием Ксения рассуждает в д. 4, явл. 5. Трагедия Владислава Александровича Озерова (1769–1816) «Димитрий Донской», написанная в 1806 г., была впервые поставлена 14 / 26 января 1807 г., в разгар военного конфликта с

Наполеоном, и благодаря политическим аллюзиям и патриотическим тирадам заглавного героя имела огромный успех среди публики; сходную реакцию вызвала она и в 1812 г. Ср. свидетельство современников: «После взятия Смоленска играли Дмитрия Донского, все плакали, не как в театре, а как бы в церкви, особенно во время молитвы Дмитрия, которою трагедия кончается; непосредственно за оной, когда все чувства растревожены, воспламенены, когда всякий чувствует живо любовь к отечеству и горесть от его несчастия, выходит актер для объявления, что на другой день будут играть французскую комедию. При сем ненавистном имени начали шикать, актер хотел продолжать, закричали „не надо“ и не дали ему кончить» (*Бакунина.* С. 409); «После Успенского поста, в который театр всегда закрывается, 16 августа дан был „Дмитрий Донской“. Стечение зрителей было бесчисленное, между прочими английский миротворец адмирал Бенкен [правильно: Бентинк] и известная г-жа Сталь. После трагедии несчастный Щеников [актер русской труппы] вышел объявлять для завтра Расинову оригинальную „Федру“, но при первых словах „Завтра французские актеры“ стали бить в ладоши, кричать „русскую, русскую и пр.“. Объявитель смешался, но дирекция устояла: 17-го давали французскую „Федру“. Зрителей было немного, и все кончилось тихо» (*Хвостов.* С. 386–387). В это время в Петербурге спектакли шли в Малом (деревянном) театре, располагавшемся у Невского проспекта, на месте Екатерининского сада (здание Большого каменного театра сгорело в 1811 г.); представления русской труппы чередовались с представлениями труппы французской (см.: *Петровская И., Сомина В.* Театральный Петербург. СПб., 1994. С. 100–101). Г-жа де Сталь могла судить о трагедии Озерова не только по устному переводу или пересказу петербургских знакомцев, но и по переводу нескольких сцен (тех, впрочем, где Ксения не участвует), которые французский дипломат граф Огюст де Лагард-Шамбонас включил в свою книгу «Энтузиаст, или Видели ли вы ее? Диалог в стихах о приезде госпожи де Сталь в Вену», изданную в 1810 г. в Париже и Петербурге (внешне весьма почтительную по отношению к сочинительнице «Коринны», но не лишенную иронии по поводу вызываемых ею восторгов). Замечания г-жи де Сталь о сугубо французском построении трагедии Озерова, соответствовавшие ее общим представлениям о подражательном характере русской литературы, отчасти совпадали с критикой, которую обрушили на Озерова после премьеры 1807 г. русские литераторы, упрекавшие его в «нарушении исторической достоверности и в клевете на русских князей, думающих в его пьесе больше о своих любовных

переживаниях, чем о защите отечества» (*Зорин А. Л.* Озеров // Русские писатели, 1800–1917. М., 1999. Т. 4. С. 407). Уже после смерти Озерова о праве его трагедии именоваться народной скептически отозвался Пушкин; см. в заметке «О народности в литературе» (1825): «Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?» (*Пушкин.* Т. XI. С. 40). По замечанию Б. В. Томашевского, в этой заметке, написанной почти одновременно с репликой на статью Муханова о г-же де Сталь (см. примеч. 853), Пушкин «усугубил отзыв Сталь, не признав народности и за этой единственной ситуацией» (*Томашевский Б. В.* Пушкин. М., 1990. С. 98; см. также: *Томашевский.* С. 90). Томашевский справедливо указывает на историческую недостоверность пересказа трагедии Озерова в книге г-жи де Сталь: татар в это время не изгнали «за Казань», а Золотой Ордой называлось не татарское войско, а татаро-монгольское государство. Между тем оба этих утверждения совершенно естественны в устах француженки, для которой татары ассоциируются со столицей Казанского ханства, а их войско — с ордой (*фр.* horde — полчище); следует заметить, что в русском тексте Озерова слово «орды» употребляется также и в этом значении (ср., например, в первом явлении 3-го действия: «Но не Мамай страшит, / Хотя б татарских орд с собой привел он боле»).

818 Мысль, отозвавшаяся в неоконченной статье «О ничтожестве литературы русской» (1834), над которой Пушкин работал почти одновременно с насыщенным реминисценциями из «Десяти лет» «Путешествием из Москвы в Петербург». Французскую литературу века Людовика XIV Пушкин характеризует как «вежливую, тонкую словесность, блестящую, аристократическую, немного жеманную, но тем самым понятную для всех дворов Европы, ибо высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, составляет во всей Европе одно семейство» (*Пушкин.* Т. XI. С. 271). Пушкин здесь не только использует мысль, для г-жи де Сталь принципиально важную (мысль о важности сосуществования в литературе разных национальных разновидностей), но и лестно «уравнивает» ее с литераторами-мужчинами, именуя «новейшим *писателем*».

819 Эпизод заимствован у Левека (*Levesque-1800.* Т. 3. P. 111–112). Французский историк, впрочем, приводит и другое объяснение ссоры Ивана Грозного с сыном, восходящее к папскому легату Поссевину (Грозный ударил беременную невестку, царевич Иван Иванович принялся упрекать отца, и тот ударил его в висок). По-видимому, Сталь предпочла первый,

«военный» вариант как более созвучный обстановке 1812 г.; в пересказе Левека она допускает несколько неточностей: во-первых, осажден был не Новгород, а Псков, и осаждали не русские, а польско-литовские войска во главе со Стефаном Баторием; во-вторых, Левек не говорит, что царь скончался «через несколько месяцев» после убийства сына, а лишь замечает, что «по мнению всех историков, горе и раскаяние сократили его жизнь» (*Levesque-1800.* Т. 3. P. 114); на самом деле царевич погиб в ноябре 1581 г., а Иван скончался в марте 1584 г. Сходный вывод о том, что «самое растленное общество не способно извратить первоначальный замысел Провидения», позже сделал из этого эпизода (пересказанного уже по Карамзину) Кюстин (см.: *Кюстин.* С. 428).

820 Источник: *Levesque.* Т. 1. P. 151. Ср. в выписках из Левека: «В России того, кто сломал руку ближнему, карали, как за убийство; равно и того, кто вырвал клок из бороды» (*Carnets.* P. 475–476).

821 О княгине Долгорукой см. примеч. 780. Баронесса Анна Сергеевна Строганова (1765–1824; урожд. Трубецкая) — жена барона Григория Александровича Строганова (1770–1857). Об общении г-жи де Сталь с ней сведений нет, зато известно, что Сталь общалась в Петербурге с *графиней* Софьей Владимировной Строгановой (1775–1845), женой кузена Г. А. Строганова, графа П. А. Строганова (см. примеч. 760), подругой императрицы Елизаветы Алексеевны, дочерью княгини Натальи Петровны Голицыной (1741–1837); в 1784–1789 гг. княгиня Наталья Петровна с мужем и детьми жила в Париже, и знакомство г-жи де Сталь с семьей Голицыных восходит к этому времени (см.: *Заборов.* С. 204–205, 216). В Москве Сталь общалась с братьями С. В. Строгановой — князем Борисом Владимировичем Голицыным (1769–1813), библиофилом, французским поэтом и русским патриотом, близким к кругу Беседы любителей русского слова (см.: *Заборов.* С. 197), и князем Дмитрием Владимировичем Голицыным (1771–1844), который отдал в распоряжение французской писательницы «для путешествия по России одного из своих людей» (Там же. С. 215; ср. лаконичное упоминание Д. В. Голицына в записной книжке Сталь: *DAE-1996.* P. 427). 13 августа 1812 г., в первый день своего пребывания в Петербурге, Сталь написала старой княгине, что князья осыпали ее «всевозможными знаками расположения» (*Заборов.* С. 216). О том, что г-жа де Сталь общалась в Петербурге именно с *графиней* С. В. Строгановой, свидетельствует письмо К. Н. Батюшкова к сестре от 9/21 августа 1812 г. (*Батюшков К. Н.* Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 226).

[822] В числе петербургских дам, с которыми общалась Сталь, были М. А. Нарышкина (см. примеч. 782) и графиня А. И. Орлова (см. примеч. 757), княгиня Евдокия Ивановна Голицына (урожд. Измайлова, 1780–1850), хозяйка литературного и светского салона (см.: *Carnets.* P. 296; Голицына с 1801 г. жила в разводе с мужем, князем С. М. Голицыным; о знакомстве г-жи де Сталь с ее возлюбленным, князем М. П. Долгоруким, см.: *Чистова И. С.* Пушкин в салоне Авдотьи Голицыной // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 190); графиня Мария Дмитриевна Нессельроде (урожд. Гурьева, 1786–1849), жена будущего министра иностранных дел, а в 1812 г. статс-секретаря императора К. В. Нессельроде, оставшаяся «очарованной умом г-жи де Сталь и ее простым обращением» (см.: *Carnets.* P. 298); графиня Александра Григорьевна Лаваль (урожд. Козицкая, 1772–1850), жена Ивана Степановича Лаваля, французского эмигранта, при Павле I вступившего в русскую службу («Обед у г-жи Лаваль, изобилие фруктов и цветов» — *Carnets.* P. 307). Наконец, к числу петербургских знакомых писательницы принадлежала жена М. И. Голенищева-Кутузова Екатерина Ильинична (1754–1824); письма к ней г-жи де Сталь из Стокгольма 1812–1813 гг. впервые опубликованы в: *РС.* 1872. № 5. С. 698–705.

[823] Встреча в Або (шведское название финского города Турку) состоялась 27–30 августа 1812 г. по инициативе Александра I. Беседы проходили без свидетелей и не были записаны; результатом встречи стала русско-шведская конвенция, которая в военной своей части осталась невыполненной: Россия не предоставила Бернадоту войска для действий против Дании, а Швеция фактически вступила в войну уже после изгнания французов из России, летом 1813 г.; тем не менее встреча в Або оказала существенное влияние на развитие русско-шведских отношений; см.: *ВПР.* Т. 6. С. 545, 769–770. Готовность отступать как угодно далеко, но не заключать мира с Наполеоном, Александр неоднократно высказывал и накануне войны, и уже после ее начала как в устных разговорах, так и в переписке; в частности, еще до свидания в Або, 17/29 июля 1812 г., он писал Бернадоту: «Верьте мне, как война уже началась, то я твердо решился вести ее целые годы, хотя бы довелось мне сражаться на берегах Волги» (цит. по: *Богданович.* Т. 2. С. 25), а своему флигель-адъютанту А. Ф. Мишо в сентябре 1812 г. признавался, что готов во имя победы «отрастить бороду и есть картофель с последним из крестьян в глубине Сибири» (цит. по: *Трощкий Н. А.* 1812. Великий год России. М., 1988. С. 211). В *РФР (*ч. 5, гл. 4) Сталь также упоминает встречу в Або, подчеркивая стойкость Бернадота, отклонившего все посулы Наполеона и отказавшегося

взять сторону Франции в войне против России.

824 В Петербурге осенью 1812 г. распространялись слухи о некоем письме Бертье, в котором тот сообщал, что «хотя и далеко зашло дело между Францией и Россией, но император французов не удален от возобновления согласия… и что свидетельствует почтение императору русскому» (*Бакунина*. С. 407). Повидимому, и русская мемуаристка, и г-жа де Сталь имеют в виду следующий эпизод: генерал Тучков 3-й, взятый французами в плен, был приведен к Наполеону; беседа их происходила в присутствии Бертье, начальника генерального штаба наполеоновской армии. Наполеон заверил Тучкова, что «император Александр был и будет ему другом», что он не видит в русских врагов и желает «прекратить миром военные наши действия». По настоянию Наполеона Тучков «в письме к брату описал весь свой разговор с Наполеоном» и показал его Бертье, после чего письмо было отослано в русский главный штаб и представлено Александру; ответа на него не последовало (*Богданович*. Т. 1. С. 307–311).

825 Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745–1813) был назначен единым главнокомандующим всеми армиями еще до оставления Смоленска, 17 августа; 20 августа император объявил об этом Кутузову, а три дня спустя, 23 августа, фельдмаршал (которого Сталь по французскому обыкновению именует маршалом) покинул Петербург и направился в армию. Представление о том, что Кутузов «сменил» Барклая на посту главнокомандующего, было широко распространено в русском обществе; от своих петербургских собеседников его переняла г-жа де Сталь; анализ реального положения дел (Барклай командовал наиболее крупной 1-й Западной армией, но главнокомандующим никогда не был) см.: *Тартаковский*. С. 49–57.

826 Ср. в «Путевом дневнике» (записи рукою Альбертины с правкой г-жи де Сталь): «Князь Кутузов. Приятные манеры царедворца» (*Carnets*. P. 303). Зрение Кутузова ослабело в результате ранения в голову, полученного в 1774 г. в сражении с турками, однако глаза, вопреки молве, он не терял.

827 Свидание г-жи де Сталь с Кутузовым неоднократно описывалось мемуаристами, которые, впрочем, не были его очевидцами. Так, по версии С. Н. Глинки, в ответ на приветствие Сталь, назвавшей Кутузова человеком, «от которого зависят судьбы Европы», «полководец наш, ловкий и на поле битвы, и в общении светском, не запинаясь ответил: „Сударыня! Вы дарите меня венцом моего бессмертия!“ Некоторые это иначе высказывают, но тут дело не в словах, а в том, что дочь того Неккера, который в 1789 г. почитался решителем судеб Франции, как будто свыше вызвана была на брега Невы вестницей о новом

жребии и Франции и Европы» (*Глинка С. Н.* Записки о 1812 годе. СПб., 1836. С. 35). Дипломат А. П. Бутенев, также подчеркивающий «особое внимание и любезность» Кутузова по отношению к французской путешественнице, приводит, напротив, изысканный комплимент, сделанный ею русскому полководцу: когда Кутузов стал жаловаться на слабость зрения и на свои преклонные лета, г-жа де Сталь с живостью сказала ему: «Но я, по крайней мере, надеюсь, генерал, что вы еще будете иметь случай произнести слова, приписываемые в одной трагедии Митридату: „Мои последние взоры упали на бегущих римлян“» *(РА.* 1883. Кн. 1. С. 11).

828 В сохранившемся отдельном фрагменте, посвященном Кутузову, Сталь сообщает также, что он «прославил себя воинскими подвигами и самоотверженным служением отечеству В боях с турками выказал он столько же таланта, сколько и отваги», а затем проводит параллель между Кутузовым и Веллингтоном: «Накануне того дня, когда он должен был ехать в армию, пришло известие о победе Веллингтона под Саламанкой, о том, что войска его вошли в Мадрид и что восторг испанского народа при виде освободителей не знает границ. Стайка детей приветствовала английского генерала пальмовыми ветвями и букетами цветов. Вначале он пытался побороть нахлынувшие на него чувства и принять детей как обычную депутацию, но увидев эти очаровательные создания подле себя и услышав их невинные речи среди бряцания оружия, не мог больше противиться и, спешившись, отправился вместе с ними в отвоеванную им столицу. Счастлив тот, кто ведет войну, которую народ принимает как мир, меж тем как победивший тиран превращает сам мир в скрытую измену! Какой контраст между явлением Веллингтона в Испании и Наполеона в России! Какой контраст в глазах Наполеона, если, конечно, согласие душ хоть что-нибудь для него значило! Впрочем, он сам сказал: „Я могу расходовать по двадцать тысяч человек в месяц!“ Ничто не может лучше изобразить его характер, чем этот способ выражать свои отношения с человеческой природой» (*DAE-1996*. P. 395–396).

829 То есть в Швецию, подданным которой был барон де Сталь. В реальности отцом сыновей г-жи де Сталь, Огюста (род. в 1790 г.) и Альбера (род. в 1792 г.), был, по ее собственным признаниям, граф Луи де Нарбонн, ставший ее возлюбленным осенью 1788 г. (связь их продолжалась до 1794 г.). См., в частности: *Haussonville* O. *d’*. Auguste de Staël et ses parents // *CS*. № 53. P 145–164.

830 На самом деле Сталь покинула Петербург 7 сентября, а описанный ниже прощальный вечер состоялся 6 сентября 1812 г.

[831] Вильсон Роберт Томас (1777–1849) — английский генерал, дипломатический агент Англии в Петербурге летом — осенью 1807 г. (состоянию русской армии во время кампаний 1806–1807 гг. Вильсон посвятил книгу «Краткие замечания о свойстве и составе российского войска», изданную в Лондоне в 1810 г. и в русском переводе в Петербурге в 1812 г.). В 1808–1809 гг. Вильсон — один из организаторов сопротивления войскам Наполеона в Испании и Португалии; в августе 1812 г. возвратился в Россию и с сентября находился в качестве представителя английского командования в ставке М. И. Кутузова и в то же время неофициально выполнял роль осведомителя Александра I, при котором находился затем в 1813–1814 гг. (биографический очерк см.: *Вильсон.* С. 5–38); движимый ненавистью к Наполеону, Вильсон осенью 1812 г. в письмах из ставки Кутузова к императору неоднократно выражал опасение, что Кутузов может заключить с французами перемирие. В дневнике Вильсона под 6 сентября 1812 г. значится, что он побывал в гостях у г-жи де Сталь, где «осмелился с большой горячностью трактовать о некоторых предметах в присутствии столь острого ума», и «простился с нею, вполне завоевав ее благосклонность, удостоенный множества лестных похвал» (*Вильсон.* С. 55). Вильсон остановился в Петербурге в том же трактире «Европа», что и г-жа де Сталь (см.: *Вильсон.* С. 52).

[832] Барон Генрих Фридрих Карл Штейн (1757–1831), в 1804–1806 гг. министр финансов и торговли Пруссии, в 1807–1808 гг. глава прусского правительства, проведший в Пруссии несколько прогрессивных реформ (принятие законов о собственности на землю, о праве государственных крестьян на владение землей, которую они занимают, о городском самоуправлении; подробнее см.: *Тургенев. С* 483–488), был изгнан Наполеоном из Пруссии после публикации перехваченного письма, в котором Штейн писал о подготовке в Пруссии восстания против французов. В 1809–1812 гг. Штейн с семьей проживал на территории Австрии, а в 1812 г. воспользовался приглашением приехать в Россию, полученным от Александра I еще в 1809 г. (письмо императора Штейну от 27 марта /8 апреля 1812 г., возобновляющее это приглашение, см.: РС. 1893. Т. 77. С. 385). 12 июня 1812 г. Штейн прибыл в Вильно, в штаб-квартиру русской армии, однако предложение императора вступить в русскую службу отклонил, желая сохранить независимость. В России Штейн занялся подготовкой немецкого восстания против Франции при поддержке России, Англии и Швеции, для чего создал в июне 1812 г. Немецкий комитет, призванный формировать для борьбы против французов «русско-немецкий легион» преимущественно из

немцев (легион этот принимал впоследствии, в 1813–1814 гг., участие в военных кампаниях на территории Германии), воздействовать на германское общественное мнение, вести антифранцузскую пропаганду в германских контингентах, входящих в армию Наполеона, и проч. (см.: *ВПР*. Т. 6. С. 753–755). В Петербург Штейн прибыл в середине августа; первая встреча с ним г-жи де Сталь произошла 14 августа (*Carnets*. P. 293). Штейн поначалу отнесся к г-же де Сталь далеко не так восторженно, как она к нему; 15 августа он писал о ней жене: «Вид у нее добродушный и простой, когда она не стремится понравиться; есть в ней некая непринужденность, род небрежности, объясняющая многие ее неосторожные речи и поступки… Лицо ее не имеет более того выражения, какое свойственно безупречным матерям семейства, ей недостает женского достоинства; в глазах заметно нечто вульгарное и чересчур страстное… Полагаю, что здесь она мало кому понравится, ибо к литературе в России вкуса не имеют, а здешние женщины до крайности бесстрастны» (цит. по: *Grunwald*. P. 199). Постепенно, однако, Штейн изменил свое мнение; особенно сильно потрясла его г-жа де Сталь, когда прочла вслух главу «Об энтузиазме» из книги *ОГ* (см. примеч. 759). Отрывок этот «сильнейшим образом взволновал» Штейна «как глубиной и благородством чувств, так и возвышенностью мыслей» (письмо Штейна к жене от 31 августа 1812 г. цит. по: *Заборов*. С. 182; ср.: *Pertz G. H.* Das Leben der Ministers Freiherrn vom Stein. Berlin, 1851. Bd. 3. S. 163). 22 сентября 1812 г. Штейн написал г-же де Сталь записку, прося ее похлопотать об отправлении в Австрию адмирала Бентинка (см. примеч. 755), дабы тот попытался уговорить австрийского императора вступить в антинаполеоновскую коалицию (см.: *CS*. № 39. P. 25). О пребывании Штейна в России см.: *Кирилина*. С. 49–62.

[833] Комментаторы *DAE-1996* затруднились с идентификацией «дона Бермуде». Речь, безусловно, идет о Франсиско Сеа Бермудесе (1779–1850) — сотруднике торговой фирмы, в 1811–1812 гг. неофициальном представителе Центральной хунты Испании в Петербурге, после войны испанском посланнике там же (принятое в русской исторической литературе написание первой части этой фамилии как «Зеа» не соответствует нормам транслитерации испанского языка, где «z» во всех позициях передается посредством «с»). Сеа Бермудес еще в июне 1811 г. получил от Регентского совета, избранного Центральной хунтой Испании, полномочия на ведение переговоров о заключении русско-испанского союзного договора; впрочем, официально представители России при дворе испанского короля Жозефа Бонапарта в это время опровергали сведения о поддержке

испанских «повстанцев» императором Александром (*ВПР*. Т 6. С. 133–134, 689, 699); в этот же период Сеа Бермудес служил посредником в неофициальных переговорах между Россией и Англией, официально находившихся в состоянии войны (Там же. С. 190, 707–708). 20 июля 1812 г. Сеа Бермудес вместе с русским канцлером Румянцевым подписал в Великих Луках русско-испанский союзный договор, в третьей статье которого император Александр признавал «законными генеральные и чрезвычайные кортесы, ныне в Кадисе соединившиеся, а равно и конституцию, ими учиненную и утвержденную» (Там же. С. 496), иначе говоря, поддерживал испанские государственные учреждения, альтернативные французскому владычеству в Испании и возникшие еще до изгнания французов из Испании (1814). Россия таким образом стала первой страной, которая de jure признала национальное правительство Испании, независимое от французских оккупантов (История внешней политики России. Первая половина XIX века. М., 1995. С. 84–85). Испанское правительство, представляемое в России Сеа Бермудесом, было не только антинаполеоновским, но и весьма либеральным: 19 марта 1812 г. оно провозгласило Конституцию, утверждавшую в качестве носителя суверенитета всю испанскую нацию, и стремилось превратить испанскую монархию в конституционную (см.: *ИЕ*. С. 124), и это также не могло не импонировать г-же де Сталь. Сеа Бермудес и генерал Вильсон (см. примеч. 831) действовали в России в тесном контакте: в сентябре 1812 г. управляющий министерством иностранных дел А. Н. Салтыков прислал командующему 1-м отдельным корпусом графу Витгенштейну для распространения в войсках прокламацию на испанском и португальском языках, обращенную к «испанцам и португальцам, находящимся во французских армиях, с увещанием и приглашением оставить службу французскую и с обещанием, что они будут отправлены от нас в их отечество»; в этой прокламации, подписанной Сеа Бермудесом и посланником принца-регента Португалии Ж. П. Безеррой, «английский генерал сэр Роберт Вильсон, командовавший португальским легионом на полуострове и находящийся в русской армии», был аттестован как человек, который будет содействовать быстрому возвращению испанцев и португальцев на родину (*ВПР*. Т. 6. С. 551, 771). Возможно, к этому эпизоду отсылает лаконичная помета в одной из записных книжек Сталь: «Клятва испанцев на берегах Невы» (*DAE-1996*. P. 431).

[834] О Тирконнеле и Бентинке см. примеч. 754 и 755. В гостях у Сталь в этот вечер находились также английский посол граф Кэткарт (см. примеч. 754) и американский посланник Джон

Квинси Адамс (1767–1848); последний описал этот вечер в своем дневнике, особо отметив, что г-жа де Сталь «оживленно беседовала с лордом Кэткартом и горячо выражала свое восхищение английской нацией как хранительницей общественного порядка и спасительницей Европы». Адамс вторично побывал у г-жи де Сталь утром 7 сентября, за несколько часов до отъезда из Петербурга. Разговор опять шел о политике; Адамс вынес из него ощущение, что г-жа де Сталь восхищается Англией не только в силу своих политических убеждений, но и по причине ненависти к Наполеону: «Она жаловалась, что он нигде не позволит ей жить спокойно и будет мстить за то, что она не превозносила его в своих сочинениях» *(Adams J. Q.* Diary. New York — London — Toronto, 1928. P. 97–98).

835 Барон Фридрих Карл фон Теттенборн (1778–1845) — австрийский военачальник, отличившийся в битве при Ваграме (1809); в 1811–1812 гг. — сотрудник австрийского посольства в Париже, которое в1811-1812 гг. возглавлял князь фон Шварценберг (см. примеч. 600). Шварценберг в начале войны 1812 г. воевал на стороне Наполеона; главнокомандующим войсками антинаполеоновской коалиции он стал лишь после вступления Австрии в эту коалицию (август 1813 г.); Теттенборн же, напротив, сразу вступил в русскую службу в звании подполковника; в Петербург он прибыл в августе 1812 г. вместе с Арндтом (см.: *РА*. 1871. Стлб. 085–086; об Арндте см. примеч. 838). 18 марта 1813 г. во главе летучего отряда он вошел в Гамбург и два с половиной месяца удерживал его, однако 30 мая 1813 г. из-за недостатка сил для сопротивления вынужден был уступить его французам.

836 Граф Алексис де Ноай (1783–1835) был сыном виконта Луи-Мари де Ноайя (1756–1804), одного из тех аристократов-либералов, депутатов Генеральных штатов от дворянства, которые ночью 4 августа 1789 г. потребовали отмены дворянских привилегий; г-жа де Сталь была с ним хорошо знакома. Граф Алексис, ревностный католик и роялист, принадлежал к числу убежденных противников Наполеона; в 1809 г. он участвовал в распространении во Франции буллы, в которой папа Пий VII отлучил императора от церкви, и за это был арестован; после семимесячного заключения он вышел на свободу, покинул Францию и уехал сначала в Швейцарию (Сталь виделась с ним в Женеве в 1811 г.), затем в Россию и Швецию. Заграницей он исполнял обязанности агента Людовика XVIII, в 1813–1814 гг. был адъютантом Бернадота, а затем вместе с Талейраном представлял Францию на Венском конгрессе. Зимой 1812 / 13 г. Ноай виделся с г-жой де Сталь в Стокгольме (он прибыл туда в

ноябре 1812 г.; см. письмо Сталь к Галифу от 20 ноября 1812 г. — *Galiffe.* P. 325). В письме к г-же де Сталь из Лондона от 13 февраля 1813 г. Ноай вспоминает о ее «добром отношении» и выражает надежду на возможность «положить конец несчастьям Европы», не ведя войну «против Франции и французов» (сходные надежды питала и сама г-жа де Сталь); см.: *CS.* № 39. P. 64–66.

[837] Барон Фердинанд Вильгельм Каспар Дёрнберг (1768–1850) родился в Гессене, служил в прусской армии, в 1806 г. попал в плен к французам, поступил в гвардию Жерома Бонапарта, короля Вестфалии, в 1809 г. попытался поднять антифранцузское восстание, был заочно приговорен к смерти и в марте 1812 г. приехал в Россию, где вступил в русскую службу и в сентябре 1812 г. имел чин генерал-майора (а не полковника, как сказано у Сталь; см.: Северная почта. 4 сентября 1812 г.). После войны Дёрнберг поступил на службу к ганноверскому королю и неоднократно бывал в России: в 1826 г. был в Москве на торжествах по случаю коронации Николая I, а в 1842 г. прибыл в Петербург в качестве ганноверского посланника.

[838] Эрнст Мориц Арндт (1768–1860), немецкий писатель и политический деятель, чьи сочинения способствовали патриотическому подъему в Пруссии в годы борьбы против Наполеона. Арндт, прибывший в Петербург в августе 1812 г. вместе со Штейном в качестве его секретаря, оставил в своих «Воспоминаниях» (1840) восторженное описание г-жи де Сталь: «Наружностью она не была красива, для женщины сложена почти слишком сильно и мужественно. Но какая голова венчала это тело! Лоб, глаза и нос были прекрасны и сияли блеском гения; рот и подбородок были менее привлекательны. При блистательном остроумии, сверкавшем в ее глазах, в каждом ее слове слышалось чарующее выражение разума и доброты. Она по лицу встречного угадывала, в каком тоне с ним говорить — царственный дар, коего лишены многие цари. Было весело смотреть, как она обходилась со Штейном и как эти две живейшие личности, сидя на одном диване, спорили между собой» *(PA.* 1871. Стлб. 0104). В «Воспоминаниях» Арндта содержится также связанный с г-жой де Сталь эпизод, который сама писательница в «Десяти годах» не упомянула: Альбер де Сталь и Джон Рокка отправились на последнее представление «Федры» в петербургском французском театре и были потрясены неприязненной реакцией русской публики, из-за которой спектакль пришлось отменить; узнав об этом, Сталь со слезами вскричала: «Варвары! Не хотят видеть Расинову „Федру“!» *(PA.* 1871. Ч. 1. Стлб. 0105); по другой версии, принадлежащей племяннице г-жи Рекамье, г-же Ленорман, в театр отправилась

сама г-жа де Сталь, а неприязненная реакция публики объяснялась во многом тем, что публика узнала о присутствии в зале француженки (см.: *Carnets.* P. 311). В «Путевом дневнике» (записи рукою Альбертины де Сталь) этот эпизод отражен следующим образом: «Волнение народа при объявлении французской пьесы: Федра, м-ль Жорж, пустая театральная зала» *(Carnets.* P. 310); ср. впечатления от того же спектакля в дневниковой записи Р. Вильсона от 30 августа 1812 г.: «Позавчера я отправился во французский театр посмотреть знаменитую мадемуазель Жорж в роли Федры. Она вполне заслуживает свою славу. Театр, однако же, являл собою странное зрелище: при всех ее талантах и прелестях ложи и скамейки пустовали» *(Вильсон.* С. 52–53; на самом деле французскую «Федру» представляли не 28, а 29 августа). О реакции петербургских зрителей на представления французских пьес см. также в примеч. 817.

839 Эти двое — лорд Бентинк (см. примеч. 755) и лорд Тирконнел (см. примеч. 754), умерший в Вильне 10 декабря 1812 г.

840 О том, что «лапландцы, или финны», отличаются от прочих скандинавских народов «языком, образом жизни и телесным обликом», а также о том, что предками всех скандинавов были скифы, обитавшие на берегах Черного и Каспийского морей, Сталь могла прочесть во «Введении в историю Дании, или Очерке религии, законов, нравов и обычаев древних датчан» швейцарца П.-А. Малле (1755); эта книга, задуманная как предисловие к «Памятникам поэзии и мифологии кельтов, преимущественно же древних скандинавов» (1756), куда вошел выполненный Малле французский перевод «Эдды», служила одним из главных источников представлений г-жи де Сталь о северной истории и мифологии; в библиотеке Сталь имелось третье издание девятитомной «Истории Дании» Малле (1787); см.: *CS.* № 11. P. 49. Другой вероятный источник сведений Сталь об азиатских корнях финского языка — Левек (*Levesque.* Т. 2. P. 281–282).

841 Ср. сходное изображение внешнего облика финнов у Кокса: «Финские крестьяне видом и платьем совсем не похожи на русских. Волосы у них белокурые, а у иных и рыжие. Они бреют бороды, а волосы расчесывают на пробор и отращивают до плеч; в отличие от них русские обычно имеют смуглый цвет лица и темные волосы, коротко стригутся и носят бороду» *(Coxe.* Т. 3. P. 81).

842 Ср. в «Путевом дневнике»: «Протестантская религия приобщает к цивилизации с помощью морали» (*Carnets.* P. 329).

843 Эта деталь восходит к книге Андерса Фредерика

Скьёльдебранда «Живописное путешествие на Нордкап», впервые опубликованной в 1801–1802 гг. по-французски в Стокгольме (2-е изд. — 1805); сохранился переписанный рукой Альбертины де Сталь отрывок из этой книги — песня финской крестьянки, которая выражает готовность отказаться ради своего возлюбленного от «трапезы в доме священника и от убора, который носит его дочь» (см.: *Carnets.* P. 334).

[844] Ср. замечание о Финляндии из «Путевого дневника», не использованное в тексте «Десяти лет»: «Нет воспоминаний, нет великих людей» (*Carnets.* P. 329). Об отсутствии соревновательности как факторе, тормозящем развитие цивилизации, см. примеч. 579.

[845] До 1808 г. Финляндия принадлежала Швеции. Александр I объявил о присоединении Финляндии к России в марте 1808 г., после того как русские войска в ходе начавшейся в 1808 г. русско-шведской войны заняли южную часть Финляндии. В Швеции в результате военных поражений произошло восстание в армии; король Густав IV Адольф (1778–1837), правивший Швецией с 1792 г., был свергнут и выслан за границу, королем стал его дядя, бездетный Карл XIII, а наследником престола в 1810 г. риксдаг (парламент) избрал Бернадота. Результаты русско-шведской войны были закреплены Фридрихсгамским мирным договором (17 сентября 1809 г.), по которому Финляндия и Аландские острова отошли к России.

[846] Финляндия вошла в состав Российской империи как автономное великое княжество с собственным правительством — сенатом под председательством генерал-губернатора, назначаемого царем. Бюджет ее был отделен от общероссийского. Официальным языком остался шведский. Сохранилась таможенная граница, а в 1812 г. были воссозданы финляндские вооруженные силы (см.: *ИЕ.* С. 129).

[847] В «Путевом дневнике» Сталь уточняет: «Полтора миллиона рублей, дарованных императором] Александром Гельсингфорсу» *(Carnets.* P. 329). Гельсингфорс (ныне Хельсинки) выгорел во время последней русско-шведской войны, и после присоединения Финляндии к России центр его был отстроен практически заново (см.: *Расила В.* История Финляндии. Петрозаводск, 1990. С. 64).

[848] Этот сюжет подробно развит в наброске, посвященном истории Швеции и ее месту на международной арене (см.: *DAE-1996.* P. 433–436). По всей вероятности, Сталь собиралась писать об этом в продолжении «Десяти лет»; в Стокгольме она изучала литературу по истории Швеции (список имевшихся в ее распоряжении книг на эту тему см.: *CS.* № 11. P. 48–51; выписки и

наброски см.: *DAE-1996*. P. 429–433). Норвегия с XVI в. находилась под властью Дании; секретный русско-шведский союзный трактат, заключенный 5 апреля 1812 г. в Петербурге, предусматривал вхождение Норвегии в состав Швеции; в 1814 г. война между Данией и Швецией завершилась победой последней и подписанием Кильского мирного договора, по которому Норвегия должна была отойти к Швеции, однако национально-освободительное движение в Норвегии заставило шведов предоставить им полную самостоятельность во внутренних делах на основании акта унии (см.: *ИЕ*. С. 130–131).

[849] В Або г-жа де Сталь прибыла 15 сентября 1812 г. и покинула этот город на следующий день.

[850] Ср. обсуждение связи между северным климатом и интеллектуальными способностями северных народов у предшественников Сталь. В «Истории обеих Индий» (кн. 19) Рейналя высказано сомнение в том, что цивилизация способна развиваться в холодном климате России: «Разве в течение исключительно долгих зим, приостанавливающих работу на семь или восемь месяцев в году, нация не впадает в оцепенение, не предается игре, пьянству, распутству?» (цит. по: *Raynal*. T. 10. P. 39). Во французском переводе «Путешествия» Кокса соотношение северного климата и состояния цивилизации становится предметом дискуссии между автором и переводчиком. Сам Кокс замечает, что «интеллектуальные способности» жителей России ограничивает отнюдь не только суровый климат и что гораздо большее влияние оказывают «государственное устройство, религия и, главное, полное закрепощение крестьян»; на это его французский переводчик П.-А. Малле (см. примеч. 840) отвечает пространным полемическим примечанием, логика которого имеет немало общего с логикой Сталь: «В том, что климат не оказывает *непосредственного* влияния на ум человеческий, что северяне обладают от рождения мозгом столь же совершенным, сколь и люди, обитающие в климате более теплом, и что им свойственны познания столь же обширные, сколь и южанам, усомниться невозможно, однако не менее очевидно, что влияние сурового климата на северные нации носит, если можно так выразиться, характер *опосредованный*, а именно: по вине этого климата они медленнее приобщаются к цивилизации и просвещению и, имея изначально те же способности, меньше преуспевают в науках, особливо же в тех, которые зависят по преимуществу от вкуса и воображения. В самом деле, на севере люди живут более обособленно, нрав у них более замкнутый, они имеют меньше случаев видеться и беседовать, они беднее, у них больше потребностей и меньше досуга. […] Им труднее бывать в свете,

обитать в огромных городах. У них часто идут дожди, небо затянуто тучами, длинные и суровые зимы прерывают всякое сообщение, а долгие ночи оставляют мало времени для занятий; все это неминуемо замедляет развитие наук и искусств» (*Coxe.* Т. 2. P. 13).

[851] Сталь сожалела не только о южном солнце, но даже о северном Петербурге, который на фоне провинциального Або казался ей настоящей столицей; ср. письмо к Галифу от 16 сентября из Або: «Как бы хотела я оказаться в Петербурге — отъезд свой я почитаю настоящим подвигом материнской любви. […] Я хотела бы знать все, что происходит в Петербурге, тогда я могла бы воображать, будто я все еще там» (*Galiffe.* P. 317; одной из причин отъезда было желание определить Альбера в шведскую службу).

[852] Представления, восходящие к поэмам Оссиана и переводам из «Эдды», выполненным Малле (см. примеч. II и 840).

[853] Страницы «Десяти лет», посвященные Финляндии, вызвали бурную полемику в русской прессе в 1825 г. Текст, начиная с фразы «При въезде в Финляндию» и кончая финалом данного абзаца, был переведен «довольно тяжелою прозою» (*Пушкин.* Т. XI. С. 27) Александром Алексеевичем Мухановым (1800–1834), который в 1823–1825 гг. служил адъютантом командира Отдельного Финляндского корпуса А. А. Закревского, и опубликован в «Сыне Отечества» (1825. № 10. С. 151–157) вместе со статьей, в которой Муханов предъявил г-же де Сталь несколько претензий как общего, так и частного свойства. Пожары, по мнению Муханова, происходят в Финляндии не от ветра или случайности: «дешевизна или вовсе ничтожная ценность лесов Финляндии заставляют хлебопашцев пожигать участками леса свои для расчищения и распашки полей». Утверждать, что жителям Финляндии «не о чем говорить и нечего делать», неверно: «самое географическое положение края делает финляндцев народом деятельным […] Финляндия пользуется всеми выгодами береговых промыслов (cabotage), предохраняющих ее от бездействия»; наконец, «соседство волков и медведей» отнюдь не препятствует «развитию просвещения», иначе пришлось бы предположить, что четыре сотни студентов, учащихся в Абовском университете, «готовят себя в звероловы». Однако Муханов не ограничивается этими частными замечаниями. Оскорбленный в своем русском и северном патриотизме, он упрекает Сталь в недооценке русской Финляндии с ее «горделивыми памятниками дерзкой отваги русских» (Свеаборгская крепость), а главное, в пренебрежении северной природой: «Я не проникнут до души, как г- жа де Сталь,

лучами юга, а принадлежу к числу тех людей, которым не удалось еще погреться на полуденном солнце, и это может быть естественною причиною, что нам доступнее суровые наслаждения северной природы. Да и почему, восхищаясь небом Рима и Венеции, должно непременно растаять в знойном восторге и презирать торжественное явление природы полуночной?» Иначе говоря, Муханов истолковал «Десять лет» не как сочинение автобиографическое, а как идеологический и эстетический манифест, сравнимый с *ОГ,* и, естественно, попрекнул Сталь отказом от ее же собственных убеждений (превознесенная г-жою де Сталь Германия, пишет он, также покрыта необозримыми лесами, а между тем «где успехи умственных усовершенствований могут быть ощутительнее»?). Впрочем, в других случаях Муханов, наоборот, игнорирует переносный, «теоретический» смысл текста Сталь; привидения и призраки, о которых она упоминает, — принадлежность северных *мифов,* а вовсе не *реальность* финского пейзажа, однако критик, не желая этого замечать, спешит упрекнуть писательницу в трусости: «Наконец от страха, наведенного на робкую душу нашей барыни, ей чудятся среди бела дня привидения, которые она видит за себя и за других в одно время, и мертвецы выходят из хладной своей обители даже не в условное время!»

Однако читателей статьи Муханова возмутило не только и не столько конкретное содержание его замечаний, сколько недопустимый тон и уподобление книги Сталь «пошлому пустомельству тех щепетильных французиков, которые немного времени тому назад» являлись в Россию «со скудным запасом сведений и богатыми надеждами», а также именование ее «барыней». В таком тоне, пишет П. И. Шаликов, вообще большой поклонник творчества Сталь (см.: *Заборов.* С. 201), учтивому мужчине непозволительно обращаться к даме вообще, а к «женщине, уваженной целым светом», к «сочинительнице Коринны и книги *О Германии*» тем более (Дамский журнал. 1825. Ч. 11 № 13. С. 29–31; цензурное разрешение 1/13 июня 1825 г.).

Одновременно нарушением общественных и литературных приличий в статье Муханова возмутился Пушкин в статье «О г-же Сталь и о г. А. М-ве», датированной 9/21 июня 1825 г. (с репликой Шаликова Пушкин, находившийся в Михайловском, по всей вероятности, познакомиться к этому времени еще не успел): «Что за слог и что за *тон!* […] что есть общего между *щепетильными* (?) *французиками* и дочерью Неккера, гонимою Наполеоном и покровительствуемою великодушием русского императора? […] О сей барыне должно было говорить языком вежливого образованного человека. Эту *барыню* удостоил

Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной» (*Пушкин*. Т. XI. С. 28; курсив Пушкина; статья увидела свет в «Московском телеграфе», 1825. Ч. 3. № 12). Однако Пушкина возмутило не только нарушение литературного этикета. По всей вероятности, нападки Муханова именно на «Десять лет в изгнании» показались ему особенно неуместными потому, что если тон Муханова был неприличен, сама Сталь лучше всех прочих иностранных путешественников угадала тот тон, в каком прилично писать об увиденной чужой стране. Пушкин с одобрением отмечает «благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы», «снисходительность», «уважение и скромность» разговора, нежелание «выносить сор из избы». Книга Сталь не раз оказывалась близка собственным пушкинским размышлениям (см. примеч. 551, 557, 680, 694, 704, 741, 761, 772, 812); вероятно, так произошло в этом случае; не случайно именно в ходе обсуждения статьи Муханова Пушкин восклицает в письме к Вяземскому от 15 сентября 1825 г.: «M-me Staël наша — не тронь ее» (*Пушкин*. Т. XIII. С. 227). Через год после написания заметки о Муханове, 27 мая 1826 г., Пушкин признается в известном письме к Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с ног до головы — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство» (*Пушкин*. Т. XIII. С. 280); по всей видимости, в лице Сталь Пушкин видел редкий образец иностранного автора, занимающего иную — благородную и «приличную» — позицию. Характерно, что непосредственно перед процитированной фразой в письме упоминается г-жа де Сталь и эпизод с Милорадовичем, «отличающимся в мазурке», — впрочем, в книге отсутствующий (см. примеч. 665). Среди причин сочувствия Пушкина г-же де Сталь как автору «Десяти лет в изгнании» следует назвать и сознание общности их судьбы: Пушкин пишет заметку о «ссыльной» г-же де Сталь, сам находясь в ссылке (см.: *Вольперт Л. И.* Пушкин и г-жа де Сталь // Французский ежегодник-1972. М., 1974. С. 301); ср. сходное ощущение у П. А. Вяземского, отставленного от службы в Варшаве и читающего «Десять лет в изгнании» в своем подмосковном имении Остафьево: «очень любопытно и занимательно и сродно для меня, ссылочного» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2. С. 216). В новейшей статье (см.: Калашников М. В. Дмитрий Блудов и Жермена де Сталь // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 7. М., 2006. С. 98 и след.) высказано предположение, что цитирование Пушкиным в статье *«О* г-же Сталь и о г. А. М-ве» слов, сказанных о Сталь «в одной рукописи»

(«…можно видеть ясно, что, тронутая ласковым приемом русских бояр, она не высказала всего, что бросалось ей в глаза»), — не просто литературный прием, позволяющий приписать собственные авторские мысли неким неназванным лицам, и что истинным автором «одной рукописи» был Д. Н. Блудов. Однако ни одного прямого доказательства этого предположения (не говоря уже о тексте этой рукописи) в статье Калашникова не предъявлено, между тем сходные случаи приписывания своих мыслей третьим лицам в творчестве Пушкина известны и подробно проанализированы (см., например: Вацуро В. Э. «Великий меланхолик» // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 313–345). Поэтому нам остается присоединиться к мнению Б. В. Томашевского, видевшего в ссылке на «одну рукопись» не более чем «невинную литературную мистификацию» (*Томашевский*. С. 84), и С. Н. Дурылина, который также был уверен, что автором цитаты из «одной рукописи» был сам Пушкин (*Дурылин.* С. 317).

854 Эрик XIV (1533–1577), правивший Швецией в 1560–1568 гг., из-за военных неудач и переменчивости нрава, которая заставляла его то впадать в бешеную ярость, то прощать своих врагов, утратил популярность, был свергнут с престола, заключен в тюрьму и там отравлен. Информацию о замке Кастельхольм, в котором Эрик XIV находился с 1571 г., Сталь могла почерпнуть в книгах Кокса (*Coxe.* T. 2. P. 91–92) и Скьёльдебранда (*Skjôldebrand A. F.* Voyage pittoresque au cap Nord. Stockholm, 1801. P. 3; ср. примеч. 843).

855 О переговорах на Аландских островах (май 1718 г.), в которых Швецию представляли бароны Герц и Гулленбург, а Россию — Брюс и Остерман и которые прервала гибель Карла XII 30 декабря 1718 г., Сталь могла прочесть у Левека (*Levesque.* T. 5. P. 110–112). По справедливому предположению М. С. Неклюдовой, именно этот образ г-жи де Сталь стал источником стихотворения Ф. И. Тютчева «14 декабря 1825»: «Что станет вашей крови скудной, // Чтоб вечный полюс растопить…» (см.: *Неклюдова М. С.* К французским источникам стихотворения «14 декабря 1825» // Тютчевский сборник. II. Тарту, 1999. С. 107–110). Полемику о переводе этого отрывка см. в рецензии М. Строганова: Новое лит. обозрение. 2002. № 55. С. 405–406.

856 В Стокгольм Сталь и ее спутники прибыли 24 сентября 1812 г.

857 В первом издании далее следовало написанное Огюстом де Сталем «Примечание издателя», текст которого см. в Приложении, с. 446.

В. Мильчина

Приложение

Огюст де Сталь Сопроводительные материалы к первому изданию (1821) Предисловие издателя

Сочинение, предлагаемое вниманию публики, не окончено и оконченным считаться не может. Матушка моя намеревалась завершить эти наброски своих воспоминаний, и, если бы ей суждено было прожить дольше, она, возможно, внесла бы в них изменения, о природе которых мне ничего не известно. Этого сознания было достаточно для того, чтобы я всерьез задумался о том, вправе ли я предавать эту рукопись тиснению. Когда речь идет о существах горячо любимых, боязнь какой бы то ни было ответственности отступает, однако сердце сжимается в мучительной тревоге, пытаясь угадать волю, которую оно желает чтить как незыблемый, священный закон. Все же, после продолжительных размышлений о том, чего требует от меня сыновний долг, я уверился, что исполню волю матушки, если обязуюсь опубликовать в этом собрании все ее сочинения, какие могут быть напечатаны. Верность этому обязательству позволяет мне заранее объявить подделками все сочинения, какие кто-либо когда-либо вознамерится прибавить к этому собранию, в которое, повторяю, вошло все написанное матушкой, исключая те сочинения, какие она совершенно определенно запретила предавать гласности.

Хотя матушка успела описать всего семь лет из десяти, проведенных ею в изгнании, я сохранил данное ею название «Десять лет в изгнании».[118] Рассказ начинается в 1800 году, то есть за два года до того, как матушка первый раз была изгнана из Парижа, и доходит до 1804 года, то есть до смерти г-на Неккера. Здесь он обрывается и вновь начинается в 1810 году, чтобы снова резко прерваться осенью 1812 года, накануне приезда матушки в Швецию. Итак, между первой и второй частью воспоминаний пролегла дистанция приблизительно в шесть лет. Объяснением этому обстоятельству должен послужить правдивый рассказ о тех условиях, в каких эти воспоминания создавались.

Не стану говорить здесь о преследованиях, каким подвергалась матушка при Империи: преследования эти, столь же мелочные, сколь и безжалостные, составляют предмет книги, с которой читателю предстоит познакомиться, и своим пересказом я лишь ослаблю интерес к ней. Напомню только, что матушке сначала запретили жить в Париже, [119] затем выслали ее из Франции, предварительно запретив самым беззаконным образом

выпуск ее сочинения «О Германии» и лишив ее возможности печатать что бы то ни было, даже на темы самые далекие от политики,[120] а затем дошли до того, что превратили ее дом в тюрьму, запретили ей любые путешествия и лишили ее наслаждений жизни общественной и утешений дружбы. В этих-то обстоятельствах матушка и начала писать воспоминания; нетрудно угадать, каково было в ту пору расположение ее души.

Работая над воспоминаниями, она слабо верила в возможность их издания даже в самом отдаленном будущем. Вся Европа в то время находилась под игом Наполеона, и ни один независимый голос не мог в ней прозвучать: на континенте свободной прессы не существовало, а книги, напечатанные в Англии, пересекали границу лишь в самых редких случаях. Поэтому матушка желала не столько сочинить книгу, сколько доверить бумаге свои воспоминания и мысли. Рассказы об обстоятельствах своей частной жизни она перемежала с раздумьями о состоянии Франции под властью Бонапарта и ходе политических событий. Я уже сказал, что обнародование такого сочинения явилось бы в ту пору проявлением неслыханной смелости, но этого мало: сама работа над ним требовала разом большого мужества и большой осторожности, особенно если автор находился в том положении, в каком пребывала матушка. Она твердо знала, что за всеми ее действиями наблюдает полиция: префект, сменивший в Женеве г-на де Баранта, утверждал, что ему известно все происходящее в ее доме, и малейшего предлога было бы достаточно, чтобы власти арестовали ее бумаги.[121] Итак, ей следовало держаться в высшей степени осмотрительно: поэтому, сочинив несколько страниц, она отдавала их одной из самых верных своих подруг, а та переписывала текст, заменяя все имена собственные другими, извлеченными из истории английской революции. Именно эту замаскированную рукопись матушка взяла с собой в 1812 году, когда наконец решилась бежать, дабы спастись от все ужесточавшихся гонений.

Проехав через Россию и едва избежав встречи с французскими войсками, наступавшими на Москву, матушка добралась до Швеции и там занялась отделкой первой части своих воспоминаний, доведенных ею, как я уже сказал, до 1804 года. Однако вместо того чтобы продолжать рассказ в хронологическом порядке, она решила описать по свежим следам примечательные обстоятельства своего бегства и те преследования, которые ее к этому бегству вынудили. Итак, она перешла от 1804 года к году 1810-му, когда была запрещена ее книга «О Германии», и довела рассказ до своего приезда в

Стокгольм в 1812 году, чем и объясняется название «Десять лет в изгнании». Все сказанное объясняет, отчего матушка говорит об императоре то как о человеке, под властью которого она обречена томиться, то как о человеке, из-под власти которого ей удалось бежать.

Между тем, начав работу над книгой о Французской революции, она извлекла из первой части «Десяти лет в изгнании» исторические фрагменты и общие рассуждения, согласующиеся с замыслом нового сочинения, частные же подробности оставила в воспоминаниях, к которым рассчитывала возвратиться позже; она льстила себя надеждой, что к этому времени сможет, не боясь повредить друзьям, сохранившим ей верность в несчастье, назвать их всех по имени.

Таким образом, рукопись, которую мне предстояло подготовить к изданию, состояла из двух различных частей: одна представляла меньше интереса, поскольку многие ее эпизоды уже были напечатаны в составе «Размышлений о Французской революции»; другая содержала своего рода дневник, совершенно неизвестный публике. Я исполнил волю матушки, исключив из первой части рукописи все фрагменты, которые с незначительными изменениями уже были обнародованы в книге о Революции. Этим и ограничилось мое вмешательство; я не позволил себе прибавить к написанному матушкой ни единой строчки.

Что же касается второй части, я выдаю ее в свет без каких бы то ни было изменений; лишь в некоторых местах я позволил себе исправить стиль — да и то самую малость: ведь мне казалось чрезвычайно важным сохранить первоначальную живость этих набросков. О том, как почтительно обошелся я с рукописью матушки, можно судить по страницам, посвященным политической роли России; впрочем, душам возвышенным чужда неблагодарность; вдобавок не следует забывать, что в ту пору российский государь отстаивал независимость и свободу. Кто мог предвидеть, что пройдет всего несколько лет — и огромные силы этой империи будут использованы для угнетения несчастной Европы?[122]

Сравнивая «Десять лет в изгнании» с «Размышлениями о Французской революции», можно заметить, что в первом из этих сочинений автор судит Наполеона и его правление более строго, чем во втором, и что к красноречивым нападкам на императора зачастую примешивается досада. Различие это объяснить не трудно: второе из этих сочинений написано после падения деспота, спокойным и беспристрастным пером историка; первое же вдохновлено отважным стремлением противостоять тирании;

когда матушка работала над ним, император находился на вершине власти.

Я не выбирал времени для выпуска «Десяти лет в изгнании»; хронологический порядок, мною избранный, требовал, чтобы собрание сочинений матушки завершали произведения посмертные. Впрочем, я не боюсь, что обнародование книги, полной нападок на императора Наполеона, сразу после его смерти навлечет на автора и издателя упреки в недостатке великодушия. Той, чей талант всегда был посвящен поддержке самых благородных начинаний, той, чей дом всегда служил прибежищем для гонимых, принадлежавших к самым разным партиям, подобные упреки адресованы быть не могут. Иное дело — издатель «Десяти лет в изгнании», но его, признаюсь, упреки эти оставят равнодушным. В самом деле, было бы чересчур удобно для деспота, если бы он мог не только сеять страх и принуждать всех к молчанию в пору своего триумфа, но и просить историю о снисхождении после своего краха.

Разумеется, память о временах Империи послужила предлогом для многочисленных преследований; разумеется, порядочные люди не могут не возмущаться подлыми нападками на тех, кто пользовался милостями императора, а ныне имеет достаточно достоинства, чтобы не отрекаться от прошлых своих поступков; разумеется, низвергнутый исполин способен покорить воображение; однако дело идет не об одной только особе Наполеона; сегодня для благородных душ предметом ненависти должен быть не он и не те, кто в его царствование верно служил отечеству в разных областях государственного управления; предметом сурового осуждения должна сделаться система эгоизма и угнетения, созданная Бонапартом. Между тем, разве эта отвратительная система не царит нынче в Европе? Разве сильные мира сего не сберегают постыдное наследие тирана, ими низвергнутого? А если мы обратим взоры на нашу родину, разве не увидим мы повсюду верных слуг Наполеона, которые развращали его своим подлым потворством, а ныне приносят дань своего мелкого макиавеллизма новой власти? Разве сегодня, как и вчера, вся их хилая наука не строится на тщеславии и продажности и разве не из традиций имперского правления черпают они свою премудрость?[123]

Итак, изображая в самых ярких красках это пагубное правление, автор не оскорбляет поверженного врага, но атакует могущественного противника, и если — на что я от души надеюсь — «Десять лет в изгнании» внушат читателям еще большую ненависть к правительствам самодержавным, я смогу тешить себя сладостною мыслью, что, предавая их гласности, я служу тому

святому делу, которому неизменно хранила верность моя матушка.

Предуведомление издателя [124]

Здесь повествование прерывается по причине, о которой я рассказал в предисловии. Я не в силах восполнить этот пробел, но, чтобы читателю легче было понимать дальнейшее, коротко перечислю главные события, происшедшие в жизни матушки за те пять лет, что отделяют первую часть воспоминаний от второй.

Возвратившись в Швейцарию после смерти г-на Неккера, дочь его, пытаясь смягчить душевную боль, решила сочинить портрет того, кого потеряла, и собрать для потомства последние его мысли. Осенью 1804 года она выпустила в свет рукописи отца, которым предпослала заметку о его характере и обстоятельствах его частной жизни.[125]

Здоровье матушки, ослабленное обрушившимся на нее горем, требовало лечения в южном климате. Матушка отправилась в Италию.[126] Под прекрасным небом Неаполя, среди памятников античности и прекрасных произведений искусства она открыла для себя наслаждения, прежде ей неведомые; душа ее, изнуренная печалями, казалось, ожила под действием этих новых впечатлений; матушка вновь обрела способность размышлять и писать. В Италии французские дипломатические агенты обращались с матушкой без благосклонности, но и без несправедливости. Ей запретили находиться в Париже, ее разлучили с друзьями и лишили привычного образа жизни, однако тиран, по крайней мере, не преследовал ее по ту сторону Альп; гонения еще не превратились в систему, как это произошло несколькими годами позже. Больше того, с удовольствием замечу, что пребывание матушки в Риме сделалось еще более приятным благодаря рекомендательным письмам, данным ей Жозефом Бонапартом.

Из Италии матушка возвратилась летом 1805 года и провела год в Коппе и Женеве, в обществе нескольких своих друзей. В эту пору она приступила к сочинению «Коринны».

В следующем году любовь к Франции, имевшая неодолимую власть над ее душой, заставила матушку покинуть Женеву и, соблюдая условие, ей предписанное, поселиться в сорока лье от Парижа. Я в ту пору готовился к поступлению в Политехническую школу,[127] меж тем, движимая безграничной любовью к нам, детям, матушка непременно желала наблюдать за нашим обучением так пристально, как только могло позволить ее положение. Итак, она поселилась в Осерре, городке, где у нее не было ни единого знакомого; впрочем, тамошний мэр г-н де Ла Бержери, выказал в отношении ее величайшую

предупредительность и чуткость.[128]

Из Осерра она перебралась в Руан: этот город был на несколько лье ближе к столице, куда влекли ее все воспоминания, все привязанности ее детства.[129] В Руане она, по крайней мере, могла ежедневно получать письма из Парижа; беспрепятственно проникнув внутрь того круга, какой был очерчен императорским приказом, она возымела надежду, что этот роковой круг постепенно разомкнется. Лишь тот, кто сам жил в изгнании, поймет, что творилось в ее сердце. Префектом департамента Нижняя Сена был в ту пору г-н де Савуа-Роллен: известно, с какой жестокостью и несправедливостью его несколькими годами позже лишили этой должности;[130] у меня есть основания полагать, что среди обстоятельств, навлекших на него гонения, не последнюю роль сыграли дружеское расположение к матушке и сочувственное отношение к ней в пору ее пребывания в Руане.

Пост министра полиции занимал в это время Фуше. По словам матушки, он взял себе за правило творить лишь то зло, какое необходимо для достижения цели.[131] Прусская монархия только что пала;[132] на континенте не осталось ни единой страны, которая боролась бы против Наполеона; никто не сопротивлялся ему и внутри страны, а значит, не мог дать повода для беззаконных гонений; к чему же было подвергать матушку преследованиям совершенно безосновательным? Итак, Фуше позволил матушке поселиться в двенадцати лье от Парижа, в поместье г-на де Кастеллана.[133] Там она закончила «Коринну», оттуда наблюдала за ее печатанием. Уединенная жизнь, какую вела матушка в этом поместье, исключительная осторожность, с какой она себя держала, чрезвычайно узкий круг смельчаков, которые, не боясь навлечь на себя немилость, приезжали ее проведать, — всего этого достало бы, чтобы успокоить деспота самого подозрительного. Но Бонапарту этого было мало: он желал, чтобы матушка полностью отреклась от своего таланта, чтобы она бросила писать даже о предметах, самых далеких от политики. Впрочем, как мы скоро увидим, и это отречение не смогло уберечь ее от все ужесточавшихся преследований.

Сразу после выхода в свет «Коринны»[134] на матушку обрушилась весть о новом изгнании; все надежды, которыми она утешала себя в продолжение нескольких месяцев, развеялись, как дым. Весть эта доставила матушке особенно сильную боль, ибо, по роковой случайности, приказ, осуждавший ее на разлуку с родиной и друзьями, был подписан 9 апреля — в годовщину смерти ее отца.[135] С сокрушенным сердцем матушка возвратилась в Коппе; оглушительный успех «Коринны» лишь ненадолго отвлек ее от ощущений горестных.

Меж тем то, чего не смогла сделать литературная слава, оказалось по силам дружбе: благодаря участию, какое встретила матушка по возвращении в Швейцарию, она провела там лето с куда большей приятностью, чем могла надеяться. Среди ее добрых знакомых нашлись даже такие, которые для того, чтобы ее проведать, нарочно приехали из Парижа; принц Август Прусский, обретший свободу после заключения мира, сделал нам честь своим посещением и по дороге на родину провел несколько месяцев в Коппе.[136]

После своего пребывания в Берлине, которое так безжалостно прервала смерть ее отца, матушка не прекращала изучать литературу и философию Германии; однако для того, чтобы завершить изображение этой страны, которое она намеревалась предложить французской публике, ей нужно было побывать там еще раз. Осенью 1807 года она отправилась в Вену, где ожидало ее общество князя де Линя, княгини Любомирской, вдовы маршала, и прочих особ, обладавших учтивыми манерами и умением вести непринужденную беседу — талантами, какие всегда имели в глазах матушки столько прелести. [137] Австрийскому правительству, изнуренному войной, недоставало в ту пору сил для преследования собственных врагов; что же касается Франции, то австрийцы старались сохранить в отношениях с нею толику независимости и достоинства. Жертвы Наполеоновой ненависти еще могли рассчитывать найти в Вене защиту от гонений, поэтому год, который матушка провела в этом городе, оказался самым спокойным из всех, какие выпали на ее долю после изгнания из Франции.

Возвратившись из Швейцарии и принявшись за сочинение книги о Германии, которой она посвятила два года,[138] матушка не замедлила убедиться в том, как быстро набирает силу тирания императора, как стремительно и неодолимо овладевает людьми жажда занять выгодное место и боязнь впасть в немилость. Разумеется, и в Женеве, и во Франции оставались люди мужественные, которые сохраняли верность жертве Наполеона и в несчастье; однако всякий, кто занимал должность в государственной службе или притязал на нее, старался обходить матушкин дом стороной и уговаривал людей робких последовать его примеру Матушка страдала от всех этих проявлений раболепства, которые различала с величайшей проницательностью; однако чем больше несчастий обрушивалось на нее, тем тщательнее она скрывала свои мучения от людей, ей близких, и тем деятельнее окружала себя атмосферой умственной, которая, казалось, была несовместна с уединением.

Умение матушки декламировать принадлежало к числу

развлечений, доставлявших наибольшее удовольствие ей самой; вдобавок оно позволяло вносить разнообразие в светские забавы. В ту пору, когда матушка работала над пространным сочинением о Германии, она сочинила и представила на сцене домашнего театра в Коппе большую часть тех мелких пьес, которые я включил в шестнадцатый том ее «Сочинений» под названием «Драматические опыты».

Наконец, в начале 1810 года, закончив три тома книги «О Германии», она решила поселиться на расстоянии сорока лье от Парижа — что в ту пору было ей еще позволено, — дабы наблюдать за печатанием своего труда; она надеялась также повидать тех друзей, которые не изменили своей привязанности к ней даже из страха прогневить императора.

Итак, она обосновалась подле Блуа, в старом замке Шомон-на-Луаре,[139] где некогда жили кардинал д'Амбуаз, Диана де Пуатье, Екатерина Медичи и Нострадамус. Г-н Ле Ре, которому это романтическое имение принадлежит по сей день и с которым моих родителей связывали узы деловые и дружеские, находился в ту пору в Америке.[140] Однако вскоре после того, как мы поселились в замке, он вместе со своим семейством возвратился из Соединенных Штатов; он уговаривал нас не покидать его имения, однако чем учтивее были его настояния, тем сильнее мучила нас боязнь его стеснить. Из этого затруднительного положения нас с самой любезной предупредительностью вывел г-н де Салаберри, предоставивший в наше распоряжение свое поместье Фоссе.[141] С переселения туда начинается вторая часть воспоминаний.

Примечание издателя[142]

На этом рукопись обрывается.

После морского путешествия, оказавшегося отнюдь не безопасным, матушка благополучно добралась до Стокгольма. В Швеции, где ее приняли самым радушным образом, она провела восемь месяцев,[143] и именно там были созданы те путевые заметки, которые составляют вторую часть ее воспоминаний. Вскоре после их окончания матушка отправилась в Лондон и напечатала там книгу «О Германии», которую уничтожила полиция Наполеона.[144] Меж тем здоровье матушки, уже подточенное Бонапартовыми гонениями, пострадало также и от тягот долгого путешествия, и потому она сочла необходимым безотлагательно приняться за историю политической деятельности г-на Неккера; все прочие труды она отложила, ибо стремилась прежде всего окончить ту книгу, к написанию которой ее подвигнул дочерний долг. Именно в эту пору в уме ее сложился замысел «Размышлений о Французской революции». Впрочем, она не успела закончить и этого сочинения, что же до «Десяти лет в изгнании», то эта рукопись покоилась среди ее бумаг в том виде, в каком я печатаю ее сегодня.

Хронология жизни и творчества Жермены де Сталь

1766. 22 апреля — рождение Анны-Луизы-Жермены Неккер в семье Жака Неккера и Сюзанны Неккер (урожд. Кюршо) в Париже.

1766. Апрель — июнь — Жермена с родителями совершает путешествие в Англию.

1777. 29 июня — Неккера назначают на пост главноуправляющего финансами Франции.

1781. 19 мая — Неккера отправляют в отставку и высылают из Парижа.

1784. Май — Неккер с семьей уезжает в Швейцарию и покупает замок Коппе.

1786. 14 января — Жермена Неккер выходит замуж за посла Швеции в Париже барона Эрика Магнуса фон Сталя-Гольштейна.

31 января — представление г-жи де Сталь ко двору.

1787. Около 22 июля — рождение у г-жи де Сталь первого ребенка, дочери Густавины.

Работа над трагедией «Джейн Грей».

1788. 25 августа — Неккера возвращают на пост главноуправляющего финансами. Осень — начало любовной связи г-жи де Сталь с графом Луи де Нарбонном-Лара.

Конец года — первая публикация «Писем о сочинениях и характере Жан- Жака Руссо».

1789. 7 или 8 апреля — смерть Густавины де Сталь.

5 мая — г-жа де Сталь присутствует на открытии Генеральных штатов.

11 июля — отставка Неккера; он уезжает в Швейцарию.

16 июля — король Людовик XVI возвращает Неккера на пост главноуправляющего финансами.

30 июля — возвращение Неккера в Париж; дочь присутствует при его триумфе.

1790. 31 августа — рождение Огюста де Сталя.

4 сентября — Неккер подает в отставку и уезжает в Швейцарию.

Октябрь — публикация малым тиражом трагедии «Джейн Грей».

Декабрь — г-жа де Сталь уезжает в Швейцарию.

1791. 8 января — г-жа де Сталь возвращается в Париж; ее салон служит местом встречи умеренных конституционалистов, и это вызывает ненависть роялистов.

Май-август — пребывание в Швейцарии.

23 августа — г-жа де Сталь возвращается в Париж.

7 декабря — Нарбонна (во многом благодаря связям г-жи де Сталь) назначают военным министром.

1792. Март — отставка Нарбонна; г-жа де Сталь вместе с жирондистами способствует падению кабинета министров.

Июль — г-жа де Сталь и Нарбонн предлагают Людовику XVI план бегства, который, однако, отвергает королева Мария-Антуанетта.

10 августа — восставший народ захватывает дворец Тюильри и свергает короля; г-жа де Сталь спасает друзей-аристократов, которым грозят арест и расправа.

2 сентября — г-жа де Сталь покидает Париж, едва не попав в руки разъяренной толпы.

Сентябрь — декабрь — г-жа де Сталь живет в Швейцарии.

20 ноября — рождение Альбера де Сталя.

1793. 20 января — 25 мая — жизнь в Англии, в Лондоне и Джунипер-Хилле (графство Суррей) в обществе друзей-эмигрантов: Нарбонна, Талейрана, Матье де Монморанси; работа над трактатом «О влиянии страстей на счастье отдельных людей».

Июнь — сентябрь — г-жа де Сталь живет в Коппе; она встречает шведского эмигранта, графа Адольфа фон Риббинга, который постепенно вытесняет из ее сердца охладевшего к ней Нарбонна.

Начало сентября — г-жа де Сталь публикует «Размышления о суде над королевой», полные сочувствия к Марии-Антуанетте.

1794. 6 апреля — публикация новеллы «Зюльма».

15 мая — смерть г-жи Неккер.

18 сентября — в Лозанне в доме своих друзей г-жа де Сталь встречает Бенжамена Констана, который очень скоро влюбляется в нее и начинает за ней ухаживать (первое время — безуспешно).

Конец года — публикация в Швейцарии «Размышлений о мире, адресованных г-ну Пипу и французам».

1795. Февраль — публикация «Размышлений о мире» в Париже.

Начало мая — публикация сборника «Смесь» (три новеллы и «Опыт о вымысле»).

26 мая — г-жа де Сталь и Констан приезжают из Швейцарии в Париж. Конец июля — г-жа де Сталь отдает типографу «Размышления о внутреннем мире», где называет гарантией свободы во Франции республиканский строй, но осуждает «дух партий» и политический фанатизм.

6-7 октября — г-жа де Сталь решает не пускать «Размышления о внутреннем мире» в продажу, чтобы не навлечь на себя преследований со стороны властей.

15 октября — Комитет общественного спасения приказывает г-же де Сталь покинуть Францию.

20 октября — г-жа де Сталь уезжает из Парижа.

20 декабря — г-жа де Сталь вместе с Констаном уезжает в Швейцарию, где проводит весь 1796 год, продолжая работу над трактатом «О влиянии страстей».

1796. 22 апреля — Директория отдает приказ об аресте г-жи де Сталь в случае, если она вернется во Францию.

17 мая — г-жа де Сталь узнает о приказе Директории.

Начало октября — публикация трактата «О влиянии страстей».

18 или 19 декабря — г-жа де Сталь, не получив разрешения на въезд во Францию, тем не менее отправляется туда из Швейцарии вместе с Констаном и живет в его поместье Эриво.

1797. Конец мая — г-жа де Сталь возвращается в Париж.

8 июня — рождение Альбертины де Сталь.

15 июля — Талейран, благодаря ходатайствам г-жи де Сталь получивший разрешение вернуться во Францию из Соединенных Штатов, ее же стараниями получает назначение на пост министра иностранных дел.

4 сентября — государственный переворот 18 фрюктидора; признавая необходимость этой меры, г-жа де Сталь, однако, осуждает последовавшие за ним репрессии и на два месяца уезжает из Парижа в Ормессон.

6 декабря — первая встреча г-жи де Сталь с Бонапартом в Париже.

1798. 7 или 8 января — г-жа де Сталь уезжает в Коппе; она работает над сочинением «О нынешних обстоятельствах, которые могут положить конец Революции», которое остается неопубликованным (впервые изд. 1906).

25 января — французская армия вторгается в Швейцарию.

27 января — французы занимают Коппе.

13 июня — аннексия Женевы Французской республикой.

17 или 18 июня — г-жа де Сталь уезжает во Францию и поселяется в Сент- Уане — поместье своего отца.

Конец октября — г-жа де Сталь возвращается в Коппе.

1799. 18 или 19 апреля — г-жа де Сталь уезжает из Коппе в Сент-Уан.

Июль — возвращение в Коппе.

9 ноября — г-жа де Сталь возвращается в Париж.

1800. 5 января — Констан впервые выступает в Трибунате; речь его вызывает гнев Бонапарта.

19 марта — в письме к брату Жозефу Бонапарт обвиняет г-жу де Сталь в том, что она разорила мужа (на самом деле прежде

Неккер оплачивал долги барона де Сталя, а после окончательного разъезда супругов перестал это делать).

25-26 апреля — выход из печати книги «О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями».

17 или 18 мая — г-жа де Сталь уезжает из Парижа в Коппе; начало работы над романом «Дельфина».

Середина ноября — второе издание книги «О литературе».

21 или 22 декабря — г-жа де Сталь возвращается из Коппе в Париж.

1801. Май — г-жа де Сталь уезжает в Коппе.

Ноябрь — возвращение в Париж; она добивается раздела имущества с мужем.

1802. Май — г-жа де Сталь уезжает из Парижа, увозя с собой больного мужа.

Ночь с 8 на 9 мая — смерть барона де Сталя на пути из Парижа в Коппе.

Август — Неккер публикует «Последние соображения о политике и финансах».

Ноябрь — г-жа де Сталь уезжает в Швейцарию.

Середина декабря — одновременный выход из печати романа «Дельфина» в Женеве и Париже.

1803. 10 февраля — первый консул запрещает г-же де Сталь (которая в это время находится в Женеве) жить в Париже.

16 сентября — г-жа де Сталь уезжает из Швейцарии во Францию.

26 сентября — она поселяется в поместье Мафлье около Экуана.

3 октября — первый консул приказывает г-же де Сталь покинуть Францию.

15 октября — г-жа де Сталь узнает о приказе первого консула.

23 октября — г-жа де Сталь с детьми (Огюстом и Альбертиной) в обществе Бенжамена Констана уезжает в Германию.

26 октября — 8 ноября — пребывание в Меце.

13 ноября — 3 декабря — пребывание во Франкфурте.

14 декабря — приезд в Веймар.

1804. 1 марта — отъезд из Веймара в Лейпциг.

6 марта — Констан в Лейпциге прощается с г-жой де Сталь и уезжает в Швейцарию.

8 марта — г-жа де Сталь с детьми приезжает в Берлин.

9 апреля — смерть Неккера в Женеве.

19 апреля — г-жа де Сталь, не зная о смерти отца и полагая, что он болен, выезжает из Берлина в Женеву.

22 апреля — в Веймаре г-жа де Сталь узнает о смерти отца.

19 мая — г-жа де Сталь приезжает в Коппе.

Осень — публикация «Рукописей г-на Неккера», которые предваряет сочинение «О характере г-на Неккера и о его частной жизни».

11 декабря — г-жа де Сталь вместе с детьми и их наставником Августом Вильгельмом Шлегелем уезжает в Италию.

19-27 декабря — пребывание в Турине.

29 декабря — приезд в Милан.

1805. 13 января — отъезд из Милана.

3-17 февраля — пребывание в Риме.

21 февраля — 9 марта — пребывание в Неаполе.

13 марта — 11 мая — пребывание в Риме.

11 мая — 4 июня — путешествие во Флоренцию и Венецию.

4 — 15 июня — пребывание в Милане, где 26 мая Наполеон короновался королем Италии.

28 июня — 8 ноября — жизнь в Коппе; знакомство с Проспером де Барантом; начало работы над романом «Коринна».

9 ноября — г-жа де Сталь и Констан приезжают в Женеву; работа над драмой «Агарь в пустыне».

1806. Январь — март — жизнь в Коппе и Женеве; г-жа де Сталь занята постановкой любительских спектаклей.

26 или 27 апреля — г-жа де Сталь поселяется в замке Вексель близ Осерра.

18 сентября — 26 или 27 ноября — пребывание в Руане.

Конец ноября — г-жа де Сталь переезжает в замок Акоста близ городка Мелан неподалеку от Парижа; завершение работы над «Коринной».

1807. 27 апреля — тайно проведя несколько дней в Париже, г-жа де Сталь уезжает в Коппе.

30 апреля или 1 мая — выход в свет «Коринны».

Лето — пребывание в Коппе и Уши (поместье под Лозанной); участие в любительских спектаклях.

Осень — работа над драмой «Женевьева Брабантская».

4 декабря — г-жа де Сталь отправляется в Австрию.

28 декабря — приезд в Вену.

30 декабря — в Шамбери Наполеон дает аудиенцию Огюсту де Сталю; тот просит позволить г-же де Сталь проводить какую-то часть года в Париже; Наполеон отвечает отказом.

1808. 22 мая — г-жа де Сталь покидает Вену и через Теплиц, Дрезден, Веймар и Мюнхен направляется в Коппе.

Около 6 июля — г-жа де Сталь возвращается в Коппе.

Июль — начало работы над книгой «О Германии».

Конец ноября — г-жа де Сталь перебирается из Коппе в

Женеву.

Середина декабря — г-жа де Сталь играет в любительском спектакле — своей комедии «Синьора Фантастичи».

1809. Начало февраля — выход в свет составленного г-жой де Сталь сборника «Письма и мысли князя де Линя».

Около 20 апреля — переезд в Коппе; продолжение работы над книгой «О Германии».

1810. Апрель — г-жа де Сталь поселяется в замке Шомон-на-Луаре.

18 августа — г-жа де Сталь переезжает в замок Фоссе.

23 сентября — она заканчивает чтение корректурных листов книги «О Германии».

24 сентября — Савари, герцог де Ровиго, министр полиции, по приказу Наполеона велит изъять у г-жи де Сталь рукописи и оттиски новой книги; ей самой предписывается в 48 часов покинуть Францию.

6 октября — г-жа де Сталь уезжает в Коппе.

14-15 октября — отпечатанный тираж книги «О Германии» пущен под нож. 26 ноября — г-жа де Сталь поселяется на зиму в Женеве.

1811. Начало года — знакомство с молодым офицером Джоном Роккой; начало их любовной связи, которая продлится до смерти г-жи де Сталь.

Начало работы над книгой «Десять лет в изгнании»; работа над «Размышлениями о самоубийстве».

27 февраля — приезд в Женеву Капеля, сменившего Клода-Иньяса де Баранта на посту префекта департамента Леман.

Между 3 и 11 августа — поездка в обществе Матье де Монморанси в траппистский монастырь.

29 августа — Матье де Монморанси получает приказ о запрете жить в Париже.

Начало сентября — г-жа Рекамье приезжает в Коппе навестить г-жу де Сталь; три дня, проведенные там, стоят ей высылки из Парижа.

1812. Январь — март — г-жа де Сталь живет в Женеве.

7 апреля — рождение Луи-Альфонса Рокки, сына г-жи де Сталь и Джона Рокки.

23 мая — г-жа де Сталь тайно покидает Коппе, с тем чтобы через Австрию, Россию и Швецию добраться до Англии.

6-22 июня — пребывание в Вене.

14 июля — г-жа де Сталь, Альбертина и Альбер де Сталь, Джон Рокка и Август Вильгельм Шлегель пересекают русско-австрийскую границу в Бродах.

21 июля — приезд в Киев.

2 августа — приезд в Москву.

13 августа — приезд в Петербург.

17 августа — г-жа де Сталь представляется императору Александру, императрице Елизавете Алексеевне и вдовствующей императрице Марии Федоровне.

7 сентября — отъезд из Петербурга.

15 сентября — приезд в Або (Турку).

16 сентября — отплытие в Стокгольм.

24 сентября — г-жа де Сталь и ее спутники приплывают в Стокгольм.

Сентябрь — декабрь — жизнь в Стокгольме; продолжение работы над «Десятью годами в изгнании»; начало работы над «Размышлениями о Французской революции».

1813. Январь — июнь — жизнь в Стокгольме.

Январь — публикация «Размышлений о самоубийстве».

18 июня — прибытие в Лондон.

12 июля — Альбер де Сталь, офицер шведской армии, убит на дуэли.

3 ноября — выход книги «О Германии» на французском языке в Лондоне.

1814. 12 мая — г-жа де Сталь возвращается в Париж; ее салон становится одним из центров светской и политической жизни; скрепя сердце г-жа де Сталь поддерживает возвращение Бурбонов на французский престол.

Май — выход парижского издания книги «О Германии».

19 июля — г-жа де Сталь приезжает в Коппе.

30 сентября — г-жа де Сталь возвращается в Париж.

1815. 10 марта — получив известие о бегстве Наполеона с острова Эльба, г-жа де Сталь уезжает в Коппе.

2 октября — г-жа де Сталь приезжает в Милан.

1816. Январь — миланский журнал «Итальянская библиотека» (Biblioteca italiana) публикует статью г-жи де Сталь «О духе переводов».

20 февраля — бракосочетание в Пизе Альбертины де Сталь с герцогом Виктором де Броем.

Весна — пребывание во Флоренции.

Лето — пребывание в Коппе.

10 октября — тайное бракосочетание г-жи де Сталь с Джоном Роккой.

16 октября — отъезд в Париж.

1817. 21 февраля — г-жу де Сталь разбивает паралич.

14 июля — смерть г-жи де Сталь в Париже.

28 июля — тело г-жи де Сталь предают земле в Коппе.

1818. Апрель — Огюст де Сталь публикует «Размышления о

Французской революции».

1821. Июнь — Огюст де Сталь публикует «Десять лет в изгнании».

1827. Смерть Огюста де Сталя, не оставившего наследников.

1838. Смерть Альфонса Рокки, также не оставившего наследников; смерть Альбертины де Брой; ее сын Альбер де Брой (1821–1901) стал при Третьей республике видным политиком и историком, ее правнуки Морис (1875–1960) и Луи (1892–1987) — выдающимися физиками.

Список сокращений

АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи.

Ансело — Ансело Ф. Шесть месяцев в России. М., 2001.

Бакунина — 1812 год в записках Варвары Ивановны Бакуниной // *РС.* 1885. Т. 47. № 9.

Богданович — Богданович М. И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам, СПб., 1859.

Вандалъ — Вандалъ А. Наполеон и Александр I. Ростов-на-Дону, 1995.

Вильсон — Вилъсон Т. Дневник и письма, 1812–1813. СПб., 1995.

ВПР — Внешняя политика России XIX и начала XX века. Сер.1. Т. 1–6. М., 1960–1962.

Вулъф — Вулъф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.

Гречаная — Гречаная Е. П. Литературное взаимодействие России и Франции в религиозном контексте эпохи (1797–1825). М., 2002.

Дубровин — Дубровин Н. Ф. Отечественная война в письмах современников (1812–1815). СПб., 1882.

Дурылин — Дурылин С. Н. Г-жа де Сталь и ее русские отношения // Лит. наследство. М., 1939. Т. 33/34.

Заборов — Заборов П. Р. Жермена де Сталь и русская литература первой трети XIX века // Ранние романтические веяния. Л., 1972.

Зорин — Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001.

ИЕ — История Европы. Т. 5. М., 2000.

Кирилина — Кирилина Л. А. Штейн и Россия, 1812 // Россия и Европа: Дипломатия и культура. М., 1995.

Констан — Констан Б. Проза о любви. М., 2006.

Коринна — Сталъ Ж. де. Коринна, или Италия. М., 1969.

Кюстин — Кюстин А. де. Россия в 1839 году. 3-е изд. СПб., 2008.

Массон — Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. М., 1996.

Местр — Местр Ж. де. Петербургские письма. СПб., 1995.

Монтескье — Монтескье Л.-Ш. О духе законов. М., 1999.

Неклюдова — Неклюдова М. С. «Общая картина современной России» Виктора Комераса (К вопросу о типологии европейской «Россики») // Тыняновский сборник. Вып. И.М., 2002.

ОГ — О Германии.

ОЛ — О литературе.

О литературе — Сталъ Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями. М., 1989.

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея. *Осповат — Осповат А. Л.* К прениям 1830-х гг. о русской столице // Лотмановский сборник. Вып. 1. М, 1995.

Парсамов — Парсамов В. С. Декабристы и французский либерализм. М., 2001.

Пыляев — Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1996.

Пыпин — Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 2001. *Пушкин — Пушкин А. С.* Поли. собр. соч. М.; Л., 1937–1959. Т. 1–17.

РА — Русский архив.

РБС — Русский биографический словарь.

Ростопчин — Ростопчин Ф. В. Ох, французы! М., 1992.

РС — Русская старина.

РФР — Размышления о Французской революции.

Сб. РИО — Сборник Российского исторического общества.

Свербеев — Свербеев Д. Н. Мои записки. М., 2014.

Свиньин — Свиньин 77. *П.* Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. СПб., 1997.

Смирнова-Россет — Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. *Степанов — Степанов М. [Шебунин А. Н.]* Жозеф де Местр в России // Лит. наследство. М., 1937. Т. 29/30.

Талейран — Талейран. Мемуары. Екатеринбург, 1997.

Тартаковский — Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай. М., 1996.

Томашевский — Томашевский Б. В. «Кинжал» и Mme de Staël // Пушкин и его современники. Пг., 1923. Вып. 36.

Тургенев — Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 2001.

Фабер — Русские люди в 1812 году. Отзыв современника-иноземца. Письмо Г. Т. Фабера // *РА*. 1902. Кн. 1.

Хвостов — Из архива Д. И. Хвостова. Записки о словесности // Лит. архив. Вып. 1. М.; Л., 1938.

Шатобриан — Шатобриан Ф. Р. де. Замогильные записки. М., 1995.

Шенк — Шенк Ф.-Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе от эпохи Просвещения до наших дней // Новое лит. обозрение. 2001. № 52.

Шилов — Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 2-е изд. СПб., 2002. *Эстетика* — Эстетика раннего

французского романтизма. М., 1982.

Balayé — Balayé S. Madame de Staël. Lumières et liberté. P., 1979.

Barante — Barante P. de. Souvenirs. P., 1891–1901. T. 1–8.

Barante-Lettres — Barante C.-I., Barante P., Staël G. de. Lettres. Clermont-Ferrand, 1929. *Barras* — Mémoires de Barras. P., 1895.

Bastid — Bastid P. Benjamin Constant et sa doctrine. P., 1966.

Berelowitch — Berelowitch W. Europe ou Asie? Saint-Pétersbourg dans les relations de voyage occidentaux // Le Mirage russe au XVIIIe siècle. Ferney-Voltaire, 2001.

Carnets — Balayé S. Les Carnets de voyage de Mme de Staël. Genève, 1971.

CG — Staël G.de. Correspondance générale. Texte établi et présenté par B. W. Jasinski. T. 4–5, P., 1978–1985.

Chappe — Chappe d'Auteroche J. Voyage en Sibérie. Amsterdam, 1769–1770. T. 1–2. *Chastenay — Chastenay V. de* Mémoires. P., 1896.

Chateaubriand — Chateaubriand F.-R. de. Mémoires d'outre-tombe. P., 1997 (Quarto Gallimard).

Constant — Constant B. Portraits. Mémoires. Souvenirs. P., 1992.

Corbet — Corbet Ch. A Père des nationalismes. L'opinion française face à l'inconnue russe (1799–1894). P., 1967.

Coxe — Coxe W. Voyage en Pologne, Russie, Suède, Danemarc etc., traduit en français par M. P.-H. Mallet. Genève, 1786.

CRF — Considérations sur la Révolution française. P.: Tallandier, 1983.

CS — Cahiers staëliens.

CS. № 4 — *King N.* Un récit inédit du grand voyage de Madame de Staël (1812–1813) // Cahiers staëliens. 1966. № 4.

CS. № 11 — *Balayé S.* La bibliothèque de Madame de Staël // Cahiers staëliens. 1970. № 11. *CS.* № 19 — *Balayé S.* Madame de Staël et le gouvernement impérial en 1810, le dossier de la suppression de *De l'Allemagne* // Cahiers staëliens. 1974. № 19.

CS. № 39 — Madame de Staël et la Suède // Cahiers staëliens. 1987–1988. № 39.

CS. № 41 — *Solovieff G.* Madame de Staël et la police autrichienne // Cahiers staëliens. 1989–1990. № 41.

CS. № 44 — *Balayé S., King N.* Madame de Staël et les polices françaises sous la Révolution et l'Empire // Cahiers staëliens. 1992–1993. № 44.

CS. № 53 — *Balayé S.* Madame de Staël et la presse révolutionnaire // Cahiers staëliens. 2002. № 53.

DA — De l'Allemagne. P.: Garnier-Flammarion, 1968.

DAE-1821 — Staël G. de. Dix années d'exil / Edition par Auguste de Staël. P., 1821. *DAE-1904 — Staël G. de.* Dix années d'exil / Édition

par Paul Gautier. P., 1904.

DAE-1996 — Staël G. de. Dix années d'exil / Édition critique par Simone Balayé et Mariella Vianello Bonifacio. P.: Fayard, 1996.

Delphine — Staël G. de. *Delphine. P., 2000.*

Dictionnaire — Dictionnaire Napoléon / Sous la dir. de Jean Tulard. P., 1989.

Egron — [Egron A.] Vie d'Alexandre I. P., 1826.

Faber — Faber G.-T. Bagatelles. Promenades d'un désoeuvré dans la ville de Saint-Pétersbourg. SPb., 1811.

Fierro — Fierro A. Les Français vus par eux-mêmes. Le Consulat et l'Empire P., 1998.

Fortia — Fortia de Piles A. Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne. P., 1796.

Galiffe — Galiffe J.-B.-G. D'un siècle à l'autre. Genève-Paris-Neuchâtel, 1878. T. 2.

Gautier — Gautier P. Madame de Staël et Napoléon. P., 1903.

Golovkine — Golovkine F. La cour et le règne de Paul Ier. P., 1905.

Grunwald — Grunwald C. de. Stein, l'ennemi de Napoléon. P., 1936.

Guillon — Guillon E. Les complots militaires sous le Consulat et l'Empire. P., 1894.

Herriot — Herriot E. Madame Récamier et ses amis. P., 1905. T. 1.

Humboldt — Humboldt W. von. Journal parisien (1797–1799). P., 2001.

Lacour-Gayet — Lacour-Gayet G. *Talleyrand. P., 1991.*

La Garde — La Garde A de. Fêtes et souvenirs du congrès de Vienne. Bruxelles, 1843.

Las Cases — Las Cases E. Mémorial de Sainte-Hélène. P., 1968.

Leclerc — Leclerc N.-G. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie moderne. P., 1785.

Lenormant — Lenormant A. Coppet et Weimar. Madame de Staël et la Grande-Duchesse Louise. P., 1862.

Lenotre — Lenotre G. Georges Cadoudal. P., 1929.

Lefebvre — Lefebvre G. Napoléon. 3e éd. P., 1947.

Lettres à Récamier — Lettres de Madame de Staël à Madame Récamier. P., 1952.

Levesque — Levesque P.-Ch. Histoire de Russie. Yverdon, 1783.

Levesque-1800. — Levesque P.-Ch. Histoire de Russie. Hambourg et Brunswick, 1800.

Liechtenhan — Liechtenhan D.-F. Les trois christianismes et la Russie. P., 2002.

Ligne — Ligne prince de. Mémoires, lettres et pensées. P., 1989.

Madelin — Madelin L. Histoire du Consulat et de l'Empire. P., 1939–1940. T. 5–6.

Maistre — Maistre J. de. *Œuvres complètes.*

Masson — col1_0 Mémoires secrets sur la Russie pendant les règnes de Catherine II et de Paul I. P., 1859.

Masson-Lettres — Masson C. F. P. Lettres d'un Français à un Allemand, servant de réponse à Mr de Kotzebue et de supplément aux Mémoires secrets sur la Russie. P., 1802.

Meister — Lettres inédites de Mme de Staël à Henri Meister. P., 1903.

Mirage — Le Mirage russe au XVIIIe siècle. Ferney-Voltaire, 2001.

Mistier — Mistler J. Madame de Staël et Maurice O'Donnell. P., 1926.

OC. T. 1 — Œuvres complètes de Mme la baronne de Staël. P., 1820. T. 1.

OC. T. 17 — Œuvres complètes de Mme la baronne de Staël. P., 1821. T. 17.

Pange — Pange V. de. Madame de Staël et le duc de Wellington. Correspondance inédite, 1815–1817. P., 1962.

Pingaud — Pingaud L. Madame de Staël et le duc de Rovigo // Revue de Paris. 1-15 décembre 1903.

Raynal — Raynal G. T. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. P., 1820.

Remacle — Remacle, comte de. Relations secrètes des agents de Louis XVIII à Paris sous le Consulat (1802–1803). P., 1899.

Rémusat — Rémusat Mme de. Mémoires. P., 1879–1880.

Riegel — Riegel R. Adalbert de Chamisso, sa vie et son oeuvre. P., 1934. T. 1.

Rulhière — Rulhière C.-C. de. Histoire de l'anarchie en Pologne et du démembrement de cette république. P., 1807.

Rzewuska — Rzewuska R. Mémoires. Rome, 1939.

Ségur — Ségur L.-Ph. Mémoires, ou Souvenirs et anecdotes. P., 1826.

Tatistcheff — Tatistcheff S. Alexandre Ier et Napoléon d'après leur correspondance inédite. P., 1891.

Trtnik — Trtnik-Rossettini O. Le séjour de Mme de Staël à Vienne // Rivista di letterature moderne e comparate. 1967. V. 20, fasc. 3–4.

Ullrichova — Ullrichova M. Lettres de Madame de Staël conservées en Bohême. Prague, 1959.

Vandal — Vandal A. L'Avènement de Bonaparte. P., 1903.

Voltaire — Voltaire. Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand. P., 1825.

Voltaire-Kehl — Voltaire. Œuvres complètes. Kehl, 1785. T. 67.

Voyage — Grève C. de. Le Voyage en Russie. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles. P., 1990.

Wagener — Wagener F. Madame Récamier. P., 1986.
Welschinger — Welschinger H. Le duc d'Enghien. P., 1913.

notes

Примечания

1

Батюшков К. Н. Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 226–227 (письмо к сестре от 9/21 августа 1812 г.).

2

Constant B. Œuvres completes. Tübingen, 1995. T. 3/1. P. 256.

3

ОПИ ГИМ, ф. 17, оп. 1, № 129, л. 7 об. — 8; ориг. по-фр.; «Коринна на Мизенском мысу» (1819) — полотно Ф. Жерара. Ср. другой перевод в изд.: *Дурылин.* С. 233; здесь же, с. 232–242 и 251–263, см. историю знакомства Уварова с г-жой де Сталь в Вене в 1808 г. и их размолвки. Список сокращений см. в конце книги.

4

ОПИ ГИМ, ф. 17, он. 1, № 129, л. 8 об.

5

La Garde. T. 1. P. 215–216. Рассказ князя де Линя запечатлен мемуаристом, который сам общался с г-жой де Сталь в Вене в 1808 г.; о Лагарде и другой его книге, посвященной пребыванию г-жи де Сталь в Вене, см. примеч. 817 (здесь и ниже, помимо особо оговоренных случаев, имеются в виду примечания к основному тексту книги). Следует подчеркнуть, что оба венских собеседника г-жи де Сталь упоминают ту ее привычку, о которой знал от кого-то из очевидцев и Пушкин: «Она [г-жа де Сталь] сидела на первом месте, облокотись на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги» (*Пушкин.* Т. VIII. С. 151). Кузина г-жи де Сталь, г-жа Неккер де Соссюр, в своем биографическом очерке о писательнице возводит эту привычку к ее детским годам: Жермена Неккер с детства любила вырезать из бумаги королей и королев и разыгрывать трагедии; поскольку родители ей это запрещали, она занималась этим тайком; отсюда ее привычка свертывать в трубочку кусочки бумаги и листья (см.: *ОС.* Т. 1. P. XXIV). Впрочем, объяснение князя де Линя, по-видимому, ближе к действительности; ср. сходное мнение (выраженное более резко) в письме Ростопчина к Александру I от 26 июля / 7 августа 1812 г.: «Поиграв умом и показав прекрасные руки, г-жа де Сталь уехала из Москвы» (РА 1892. Кн. 2. С. 438; ориг. по-фр.).

6

Цит. по: *Trtnik*. P. 321; воспоминания Греффера датируются 1845–1846 гг.

РА 1879. № 12. С. 481–482.

8

Chastenay. T 2. P. 446; образец язвительного описания беседы с г-жой де Сталь, сделанного «по свежим следам», см. в примеч. 640.

9

Barante. T. 1. P. 159. Между тем Барант-старший вовсе не принадлежал к числу гонителей г-жи де Сталь и в принципе ей симпатизировал.

10

Adams J. Q. Diary. New York; London; Toronto, 1928. P. 104–105.

11

См.: *CS.* № 53. P. 23–52; см. также примеч. 550.

CS. № 44. P. 55.

CS. № 44. P. 16.

Ibid. P 120.

15

Карамзин Н. М. Письма к Вяземскому. СПб., 1897. С. 55 (письмо от 27 июня 1818 г.).

16

Там же. С. 60 (письмо от 21 августа 1818 г.).

17

А. Я. Булгаков к К. Я. Булгакову 24 декабря 1830 г. // *РА*. 1903. Кн. 3. С. 552.

Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 188.

19

См. подробнее примет. 853.

РА. 1905. Кн. 1. С. 529 (письмо от 24 августа 1825 г.).

21

col1_0 Дневники. Письма. М., 1963. С. 66.

22

См. подробнее в наст. изд. в статье «История текста и его переводов на русский язык».

23

См., в частности: *Gautier*. Passim; *Balayé S.* Madame de Staël, Napoléon et la mission de l'écrivain // Europe. 1969. Avril-mai; *Balayé*. P. 75–120.

24

Ср. примеч. 192.

25

См. примеч. 26.

26

Описание этого эпизода самой г-жой де Сталь см. в тексте, с. 43, и примеч. 191.

Бальзак О. де. Физиология брака. М., 1995. С. 93.

28

См. подробнее примеч. 265.

29

Bourrienne L.-A. de. Mémoires. P., 1829. T. 8. P. 113; ср. сходную реплику императора в передаче г-жи Неккер де Соссюр: «Бонапарт инстинктивно чувствовал, что все речи г-жи де Сталь клонятся к его вреду. „Она, уверяют меня, не говорит ни о политике, ни обо мне, — восклицал он, — но почему-то выходит так, что всякий, кто свел знакомство с ней, начинает хуже относиться ко мне. Она внушает людям мысли, которые мне не подходят“» *(OC.* Т. 1. P. CCC).

РА. 1879. Кн. 3. № 12. С. 482.

31

Письмо от 19 апреля 1806 г.; цит. по: *CS*. № 44. P. 79.

32

О литературе. С. 296; см. также примеч. 157.

33

О литературе. *С. 297*.

34

CRF. P. 386–387. По сходной модели Сталь оценивает и отношение Наполеона к прусской королеве Луизе: казалось бы, их противостояние целиком принадлежит сфере политической, однако Сталь предъявляет Наполеону дополнительные обвинения: ведь он не уступил просьбам прекрасной *женщины* (см. подробнее примет. 357).

35

У читателя «Десяти лет в изгнании» может возникнуть соблазн упрекнуть писательницу в преувеличении жестокости Наполеона, в некотором сгущении красок; однако опубликованные через много лет после ее смерти полицейские донесения (см., напр., CS. № 44) свидетельствуют о том, что она не только говорила правду, но во многих случаях преуменьшала серьезность положения: наполеоновские чиновники и осведомители в самом деле наблюдали за каждым шагом опальной сочинительницы, перехватывали ее письма, запрещали ей поездки даже по Швейцарии, не говоря уже о Франции. Следует заметить, что до публикации «Десяти лет в изгнании» некоторые литераторы представляли себе жизнь г-жи де Сталь гораздо более безоблачной, чем она была на самом деле; см., например, некролог, напечатанный 26 июля в «Русском инвалиде», а 8 августа 1817 г. перепечатанный в «Московских ведомостях»: «Жизнь ее была кратковременна, но тем не менее украшена всем, что только может льстить желаниям человеческим, осыпана будучи славой и почестями; обладая именем, которое давало ей способы избирать для своего жительства прекраснейшие места в Европе; находясь в связи со всеми славными людьми своего времени, — она могла в полной мере удовлетворять таланты свои — познавать и удивляться всему великому и изящному; талант, которым, может быть, еще никто не обладал в высшей степени».

36

Обзор литературы см.: *Шенк.* С. 42–61. Развернутый опыт применения этого понятия к изучению литературы XVIII в. см. в кн.: *Вульф.*

Вульф. С. 38.

См.: *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С. 183.

39

Своего рода компендиум «общих мест» относительно России, угрожающей Европе по причине законов, так сказать, физико-политических (мир в Европе есть плод равновесия сил, Россия же, постоянно стремящаяся к расширению, это равновесие нарушает), см. во вступлении к «Общей картине современной России» Виктора Комераса (1802) *(Неклюдова.* С. 85–93).

Полемику с точкой зрения Вульфа, считающего, что уже в XVIII в. на первое место вышло противопоставление Восток / Запад, см.: Berelowitch. P. 59–60; *Шенк.* С. 46–47. См. также замечание А. Миллера, автора предисловия к русскому переводу книги Вульфа: «Ряд исследователей […] настаивает, что та переориентация оси воображаемой географии Европы, которую Вульф относит к эпохе Просвещения, в действительности произошла позднее, в первой половине XIX в. Возможно, следует говорить об определенном „переходном этапе“, растянувшемся на несколько десятилетий» (*Вульф.* С. 6–7). Не считая возможным в рамках данной статьи вмешиваться в эту дискуссию по существу, отметим, однако, что для г-жи де Сталь, вне всякого сомнения, значимым было противопоставление Север / Юг, на котором построены ее книги *ОЛ* и *ОГ*.

41

Монтескье. С. 198 (О духе законов. Кн. 14, гл. 2); перевод А. В. Матешук.

42

Там же. С. 204 (О духе законов. Кн. 14, гл. 10); ср. примеч. 744.

43

О литературе. С. 184–185.

Здесь и далее во вступительной статье цитаты без ссылок взяты из текста «Десяти лет в изгнании» в настоящем издании.

183

45

Образ китайской стены оставался в ходу у сторонников национальной исключительности Франции и через много лет после смерти г-жи де Сталь; так, в январе 1842 года герцог Орлеанский, старший сын тогдашнего короля французов Луи-Филиппа, писал сестре: «Я все более истово и более страстно поклоняюсь Франции, которую окружаю в своем воображении китайской стеной» (цит. по: Orléans P.-H. d'. Souvenirs. Genève, 1993. P. 22.)

См.: Rivarol [Œeuvres] / Choix de textes par Jean Dutourd. P, 1963. P. 57–85.

Стендаль. Собр. соч.: в 15 т. М., 1959. Т. 7. С. 10.

Бальзак О. de. Урсула Мируэ; Воспоминания двух юных жен. М., 1989. С. 76 (Ганнеман изобрел гомеопатию, Галль — френологию, науку о связи черт характера со строением черепа). Об эволюции этого французского самоощущения в XIX в. см.: *Mélonio F.* Naissance et affirmation d'une culture nationale. La France de 1815 à 1880. P., 2001. P. 30–32; о позднейших (начала XX в.) попытках французских интеллектуалов вернуть Франции это утраченное ею культурное господство в Европе см.: *Медведкова О.* «Ученые» или «интеллектуалы»? Луи Рео и создание Французского института в Санкт-Петербурге // Отношения между Россией и Францией в европейском контексте (в XXVIII–XX вв.). М., 2002. С. 149–151. О том, как глубоко укоренилось в умах французов сознание их превосходства, свидетельствует, в частности, их отношение к Германии через два десятилетия после появления книги г-жи де Сталь; 7 ноября 1835 г. в рецензии на книгу о Германии другого автора, Сен-Марка Жирардена, журналист газеты «Журналъ де Деба» утверждает, что «Германия только выигрывает, когда французские руки, и притом руки умелые, приводят ее в порядок, и что, блистая умом в Германии и на ее счет, мы наградили ее таким умом, какого она не имела вовсе, или, по крайней мере, таким, которому собственный ее ум сильно уступал в живости и внятности». Иначе говоря, Германия что-нибудь стоит и чем-нибудь интересна, лишь будучи описана французским пером.

OC. T. 1. P. CLI–CLII.

Оппоненты г-жи де Сталь так остро ощущали этот «антифранцузский» пафос ее сочинений, что Уваров спустя три десятка лет после ее смерти счел необходимым в пику ей включить в свой мемуарный очерк пространное «похвальное слово» французской литературе эпохи Империи, законно, по его мнению, царившей во всем мире (см.: *Дурылин.* С. 239–240).

Riegel T. 1. P. 331.

52

См. примеч. 818.

CRF. P. 434.

См. подробнее примеч. 247.

55

Французский историк Л. Пенго видел в этом своего рода месть г-жи де Сталь за упреки в том, что книги ее писаны «не французским пером» (см. примеч. 490). Об отношении к Наполеону как к иностранцу см. также примеч. 27.

Разумеется, в инвективах против «одного человека» звучит и протест г-жи де Сталь против своеобразного «культа личности» императора: «Теперь повсюду только и шла речь, что об этом человеке, которому суждено было заменить всех прочих и лишить род человеческий имен и лиц»; «в пятидесяти лье от Швейцарии по французской земле тянется цепь цитаделей и тюрем; целые города здесь служат темницами людям, лишившимся свободы по слову одного человека»; «вдобавок, если во всех бедствиях Европы виноват один-единственный человек, следует беречь все установления, способные возродиться в пору, когда этого человека не станет»; «способствуй политические обстоятельства установлению в Европе мира, иначе говоря, перестань земля страдать от зла, которое сеет на ней один-единственный человек…» «Один человек» узурпировал права, которые должны были бы принадлежать целой нации; Сталь, поклонница представительного правления, эксплицирует эту мысль в *РФР* (ч. 4, гл. 2): «В наши дни просвещенная нация не может сделать ничего хуже, чем предаться в руки одного человека. У публики сегодня больше ума, чем у любого индивида, а установления гораздо лучше соответствуют убеждениям, нежели обстоятельства. Если бы французская нация, вместо того чтобы избрать этого ужасного чужестранца, который использовал ее в собственных интересах, да и в том не преуспел, — если бы французская нация, говорю я, в ту пору, несмотря на свои заблуждения, еще сохранившая большую часть своего могущества, сделала выводы из своей десятилетней истории и сама позаботилась о своем политическом устройстве, она и поныне служила бы образцом всему миру» (*CRF*. P. 360).

Las Cases. P. 65.

Ibid. P. 559.

59

О литературе. *С. 187.*

La Mesnardière J. de. La Poétique [1640]. Genève, 1972. P. 125. О национальных стереотипах см., в частности: *Harbsmeier M.* Reisebeschreibungen als mentalitätsgeschichtliche Quellen: Überlegung zu einer historisch-anthropologischen Untersuchung frühneuzeitlicher deutscher Reisebeschreibungen // Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte, Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung. Wolfenbütteier Forschungen. 1982. Bd. 21; *Leepssen J.* L'effet de typique // Mœurs et images. Etudes d'imagologie européenne. Clermont-Ferrand, 1997. P. 129–134; *Florack R.* Tiefsinnige Deutsche, frivole Franzosen. Nationale Stereotype in deutscher und französischen Literatur. Stuttgart et Weimar, 2001. Библиографию вопроса см.: Mœurs des uns, coutumes des autres. Les Français au regard de l'Europe / Sous la dir. d'Alain Montandon. Clermont-Ferrand, 1995. P. 3–7.

61

Вестник Европы. 1816. Ч. 85. № 2. С. 97.

Российский музеум. 1815. Ч. 4. С. 172–174.

63

Сын Отечества. 1814. Ч. 15.

DA T. 1. P. 56, 63 (ОГ. Ч. 1, гл. 2).

Неклюдова. С. *80–82.*

См.: CS. № 11. P. 52.

См.: *Lortholary A.* Les «Philosophes» au XVIIIe siècle et la Russie: le mirage russe en France au XVIIIe siècle. R, 1951.

См. примет. 721.

69

См. подробнее в примет. 708.

70

Ср. утверждение Рюльера в «Истории анархии в Польше»: «„Нация рабов, которые имеют вид не просто порабощенных, но рожденных для рабства!“ — восклицают уже первые путешественники, побывавшие в этой стране, в изумлении от того, что русские даже не воображают себе иного состояния» (*Rulhiere*. Т. 1. P. 81–82; Рюльер ссылается на Герберштейна).

71

См.: *Corbet.* P. 66–81.

CRF. P. 429.

73

Цит. по: *Zaborov P.* Madame de Staël et ses correspondants russes // *CS*. № 13. P 49; ср. другой перевод в: *Дурылин.* С. 283. О пересмотре г-жой де Сталь некоторых стереотипов в изображении России см. также: *Гречаная.* С. 231–237.

74

См. подробнее примеч. 676 и 722; руссоистский колорит этих утверждений не подлежит сомнению, хотя сам Руссо, как уже было сказано, оценивал русских совершенно иначе; впрочем, реальность войны 1812 года заставляла разделять это мнение и тех мыслителей, которые, в отличие от Сталь, смолоду боготворившей Жан-Жака (см. подробнее примеч. 175), были от Руссо крайне далеки и даже ему противоположны: традиционалист Жозеф де Местр тоже считал, что главное богатство русских — их природная сила и «умение желать», отсутствующее у парижан, и потому русским не следует спешить с приобщением к европейской цивилизации, которое может эту силу ослабить.

Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 154 (Гений христианства. Ч. 2, кн. 3, гл. 9 — «О смутности страстей»).

76

О сходстве итальянского и русского характеров в описании г-жи де Сталь см. примеч. 150.

CRF. P. 510 (*РФР*. Ч. 6, гл. 1).

78

См. примеч. 743.

Carnets. P. 324.

Carnets. P. 334, 326.

81

См. подробнее примеч. 790.

82

Об этом писал еще Монтескье; см.: *Wolff L.* Conclusion // Mirage. P. 244.

Весьма характерны ее недоуменные размышления в письме к шведскому литератору и историку барону Адлербету от 25 октября 1812 г.: «Я понимаю, что смешение местных жителей с азиатскими пришельцами должно было дать разные плоды в разных местах. Тем не менее я поражена различиями между русскими и шведами; если те и другие принадлежат к азиатской расе, они, мне кажется, должны были бы иметь между собой больше сходства. Конечно, можно предположить, что на характер современных наций оказали влияние не столько завоеватели, повсюду одни и те же, сколько местные жители, разные в каждой стране. Однако германцы и англичане имеют много общего, тогда как славянские племена с германскими ничуть не схожи. Языки, которые вы весьма справедливо берете за точку отсчета, очень схожи меж собою в Швеции, Дании, Англии и Германии, но славянский отличается от языков всей остальной Европы» (CS. № 39. P. 36).

DAE-1996. *P. 407.*

85

Такова в пушкинском 7-м примечании к «Евгению Онегину» (к 42-й строфе первой главы) ирония по поводу хода мысли г-жи де Сталь, видящей в манерах петербургских барышень плод благодетельного воздействия христианства (см. примеч. 812).

О «русских горках» см. примеч. 789.

87

Carnets. P. 282; формула эта развернута в тексте книги: «Я словно видела страшный сон — тот, в котором, как быстро ни иди, все равно остаешься на месте. Страна эта казалась мне воплощением бесконечного пространства, для пересечения которого требуется вечность»; «Простор съедает все, кроме самого простора, завораживающего воображение подобно иным метафизическим идеям, от которых мысль, раз пленившись ими, освободиться уже не способна».

88

Распространенная в пушкинистике датировка первой публикации «Десяти лет в изгнании» 1820 годом объясняется тем, что в каталоге библиотеки Пушкина все тома собрания сочинений г-жи де Сталь, выпущенного ее старшим сыном, помечены 1820 годом, тогда как на самом деле некоторые из них, и в том числе 15-й том, содержащий текст «Десяти лет в изгнании», вышли в 1821 г.; см. подробнее примеч. 704.

89

См. подробнее примеч. 471 и след.

90

О ней см. примеч. 482.

91

См.: *БАЕ-1996*. P. 19.

О Капеле см. примет. 511 и след.

93

Этот «Путевой дневник» см. в изд.: *Carnets.* P. 264–336.

Цит. но: *DAE-1996*. P. 26.

Цит. по: *CS*. № 39. P. 120.

См. примет. 316.

См. подробнее примет. 1.

98

См. примет. 6.

99

См. Приложение. С. 438–439.

100

Цит. по: DAE-*1996*. P. 25; книга, посвященная Югу, — роман «Коринна, или Италия».

101

CRF. P. 429; продолжение фрагмента *РФР,* посвященного России, см. в примеч. 772, 714 и 504.

102

См.: Общий алфавитный список книгам на французском языке, запрещенным иностранною цензурою… СПб., 1855. С. 346; *Оксман Ю. Г.* Очерк истории цензуры зарубежных изданий в России в первой трети XIX века // Ученые записки Горьковского университета. Горький, 1965. Вып. 71. С. 354.

103

Цензоры изучали фактуры и каталоги книг, присылаемых из-за границы, но ящиков с книгами не вскрывали и не просматривали, в фактурах же не обозначалось число экземпляров получаемых книг, поэтому книгопродавцы, даже выдав ту или иную книгу цензору по его требованию, могли утаить все остальные ее экземпляры (см.: *Оксман Ю. Г.* Указ. соч. С. 352).

Приношу сердечную благодарность Е. О. Ларионовой за консультацию по вопро

сам функционирования цензуры.

105

Такое случалось и с другими сочинениями г-жи де Сталь; см., например, примеч. 480.

106

Вестник Европы. 1821. № 15. Август. С. 202–203.

107

Русский вестник на 1824-й год. М., 1823. Кн. 1. С. 69–71.

108

См. в тексте книги с. 135 и примеч. 649–650.

109

Новости литературы. 1822. № 2. С. 17–22; № 11. С. 161–165; № 12. С. 177–180.

110

Новости литературы. 1822. № 2. С. 19.

111

Новости литературы. 1822. № 2. С. 22.

112

См. подробнее примеч. 746.

113

Подробнее об этой публикации и ответной полемической реплике Пушкина см. примеч. 853.

114

См., например: Из воспоминаний А. Д. Блудовой: Швеция с 1812 по 1815 год // *РА*. 1879. Кн. 3. № 12. С. 482–483.

115

См., например: *Шильдер Н. К.* Император Александр и г-жа де Сталь // Вестник Европы. 1896. № 12. С. 572–574; *Попов А. Н.* Москва в 1812 году // *РА*. 1875. № 8. С. 398–401; *Ржига В.* Пушкин и мемуары Mme de Staël о России // Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1914. Т. 19. С. 47–67. О популярных афоризмах из «Десяти лет в изгнании», которые неоднократно цитировались, зачастую даже без ссылок на эту книгу, см. примеч. 704, 731, 771. Более сложный случай рецепции «Десяти лет» — «Рославлев» Пушкина, своего рода центон, в котором совмещаются два пласта: более очевидный слой заимствований и реминисценций из романа Загоскина, по отношению к которому текст Пушкина явно полемичен, и менее очевидный (поскольку произведение впрямую не названо), но не менее важный пласт заимствований из «Десяти лет в изгнании». Оценив в заметке по поводу статьи Муханова «снисходительность» и «благородство» Сталь, которая «не высказала всего, что бросалось ей в глаза», Пушкин в своем «Рославлеве», во-первых, как бы дополняет Сталь и рассказывает о неприличном приеме ее «московскими боярами» все то, о чем из деликатности умолчала она сама, а во-вторых, вплетает в повествование отсылки к тексту «Десяти лет» (см. подробнее примеч. 557, 694, 792).

РА. Кн. 2. № 8. С. 539–579; перепечатано в: Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 19–64.

117

См.: Война 1812 года и русская литература: Исследования и материалы. Тверь, 1993. С. 116–174.

118

О семантике названия см. примеч. 1 (здесь и далее ссылки даются на примечания к основному тексту).

119

См. наст, изд., с. 60 и примеч. 285.

120

См. наст, изд., с. 97 и примеч. 478 и след.

121

О префекте Капеле и его доносах на г-жу де Сталь см. примеч. 511, 521 и 535.

122

Огюст де Сталь, унаследовавший от матери либеральные убеждения, осуждает роль, сыгранную российским императором в организации Священного союза, призванного подавлять революционные движения в Европе. Разочарование в деятельности императора Александра, от которого она ожидала активной защиты конституционных реформ во Франции, успела в конце жизни испытать и сама г-жа де Сталь; 26 февраля 1816 г. она писала императору: «Отчего, государь, Вы не повлияли на судьбу Франции более прямым образом? Разве я не была права, государь, когда восемь месяцев тому назад осмелилась писать Вам и указывать, что палата депутатов, составленная не из представителей народа, но из эмигрантов, погубит Францию, — они идут к контрреволюции, нисколько не стараясь овладеть доверием народным» (*Дурылин.* С. 299). См. также письмо самого Огюста к Александру I, в котором он извещает русского императора о смерти матери: «В последний день болезни, ослабившей только ее тело, она дозволила нам говорить с нею об ее самых заветных желаниях, о счастии Франции и о процветании принципов, которым отец ее посвятил свою жизнь. Я высказал ей свои опасения за будущее, я с грустью говорил ей об ослаблении духа свободы у правительства, которое долгое время было его образцом. „Помните, — отвечала она нам, — что судьба Европы покоится на императоре Александре. Он уже спас Францию; он сделает еще более для нее, а возвышенность его ума и сердца служит единственной гарантией для Европы против возврата самых пагубных идей и принципов“» (*Дурылин.* С. 306).

123

После убийства герцога Беррийского в феврале 1820 г. во Франции сменилось министерство: на смену сравнительно либеральному кабинету Деказа пришел кабинет герцога де Ришелье, от которого умеренные роялисты ждали наведения порядка в стране. Люди левых взглядов воспринимали второй кабинет Ришелье (в первый раз герцог возглавлял кабинет министров с 1815 по 1818 г.) иронически; они считали, что собственной политической линии у этого кабинета нет, и отказывали ему в уважении (см.: *Waresquiel E. de, Yvert B.* Histoire de la Restauration, 1814–1830. P., 1996. P. 295–302).

124

Этот текст следовал в издании 1821 г. после окончания первой части книги.

125

Книга называлась «Рукописи г-на Неккера»; ей было предпослано сочинение Сталь «О характере г-на Неккера и о его частной жизни»; ср. примеч. 4 и 402.

126

В декабре 1804 г. Сталь выехала из Лиона в Италию; она побывала в Турине, Милане, Риме, Неаполе, Флоренции и Венеции и в конце июня 1805 г. вернулась в Коппе. Об итальянском путешествии 1805 г. см.: *Carnets.* P. 93–259.

127

См. примеч. 273.

128

Г-жа де Сталь приехала в Осерр в конце апреля 1806 г. и поселилась в имении Венсель, принадлежавшем банкиру Жаку-Антуану Бидерманну (1751–1817). Там она оставалась до середины сентября 1806 г.

129

В Руане г-жа де Сталь провела месяц — с 18 сентября по 26–27 ноября 1806 г.

130

Жак-Фортюнат Савуа-Роллен (1754–1823), член Трибуната, а затем префект департамента Эр, был назначен префектом департамента Нижняя Сена 21 марта 1806 г.; уволен и даже отдан под суд он был в 1812 г. по обвинению в причастности к финансовым махинациям руанского сборщика городской ввозной пошлины Бранзона; впрочем, парижский суд оправдал Савуа-Роллена и в компенсацию за «моральный ущерб» он был назначен префектом департамента Две Неты (главный город — Антверпен). В эпоху Реставрации он был членом палаты депутатов; надгробную речь над его могилой произнес знаменитый либерал генерал Фуа.

131

См. примеч. 136, 137.

132

Французские войска вошли в Берлин в конце октября 1806 г.

133

Г-жа де Сталь поселилась недалеко от Мелана в замке Акоста, принадлежавшем ее давнему другу, маркизу Бонифасу-Луи-Андре де Кастеллану-Новежану (1758–1837), который в начале Революции принадлежал к числу депутатов Генеральных штатов от дворянства, присоединившихся к депутатам от третьего сословия, а с 1802 г. занимал должность префекта департамента Нижние Пиренеи. В замке Акоста Сталь жила до отъезда в Коппе 27 апреля 1807 г.

134

1 мая 1807 г.

135

Замок Акоста отделяли от Парижа 46 километров, или примерно 10 лье, между тем г-же де Сталь было разрешено находиться от Парижа не ближе чем в 30 лье, да и эта цифра (30 вместо первоначальных 40) была плодом снисходительности Фуше. В марте 1807 г. император указал министру полиции на недопустимость такого положения дел, и Фуше отдал соответствующие приказания своим подчиненным. Переписка относительно необходимости удалить г-жу де Сталь от Парижа на 40 лье шла между чиновниками с конца марта, и г-жа де Сталь была в курсе их намерений; 9 апреля Бертран, мэр коммуны Обержанвиль, в которой располагался замок, вручил ей одно из таких писем, которое, очевидно, запомнилось ей лучше других из-за печальной «рифмовки» дат. Сначала речь шла только о 40 лье, но затем Наполеон, разгневанный попавшим в его руки письмом г-жи де Сталь, весьма неприязненным по отношению к нему и его режиму, потребовал, чтобы эта «шлюха, и притом уродливая» (слова из его письма к Фуше от апреля 1807 г.) совсем покинула Францию и отправилась в Коппе; ей было запрещено покидать Коппе и департамент Леман без разрешения французских властей (см.: CS. № 44. P. 79–91). Впрочем, в 1810 г., до того, как разразился скандал с книгой *ОГ,* власти еще закрывали глаза на пребывание г-жи де Сталь во Франции.

136

Г-жа де Сталь провела в Коппе и поместье Уши под Лозанной лето и осень 1807 г. вплоть до своего отъезда в Вену 4 декабря. Август Прусский (1779–1843), племянник Фридриха II и младший брат принца Людвига Прусского (см. о нем примеч. 366), был взят в плен в ходе сражения под Пренцлау (28 октября 1806 г.) и привезен во Францию; освобожден в 1807 г. после Тильзитского мира. Во время пребывания в Коппе достигла апогея зародившаяся в Париже влюбленность принца Августа в г-жу Рекамье, которой он даже предложил выйти за него замуж — но получил отказ. Косвенным плодом этой любовной страсти стали два знаменитых полотна Ф. Жерара — портрет г-жи Рекамье (1805) и картина «Коринна на Мизенском мысу» (1819); первое из этих полотен подарила принцу г-жа Рекамье, чтобы как-то смягчить свой отказ; второе заказал и подарил г-же Рекамье принц.

137

В Вену г-жа де Сталь прибыла 28 декабря 1807 г. и оставалась там до 22 мая 1808 г., затем побывала в Праге и Теплице и через Дрезден, Веймар и Мюнхен в начале июля 1808 г. возвратилась в Коппе. Князь Шарль-Жозеф де Линь (1735–1814) — австрийский фельдмаршал, литератор, мастер светской беседы; в Вене в 1808 г. князь де Линь и г-жа де Сталь сдружились так сильно, что г-жа де Сталь взялась за издание «Писем и мыслей» князя, которые выпустила с собственным предисловием в начале 1809 г.; их переписку см.: *Ullrichova.* P. 1–81; Lettres inédites du prince de Ligne à Mme de Staël // Bulletin de l'Académie Royale de langue et de littérature française de Belgique. 1966. О княгине Любомирской см. примеч. 616; о пребывании г-жи де Сталь см. примеч. 597 и 602, а также: *CS.* № 41; *Дурылин.* С. 242–251; *Trtnik.* Passim. Австрии, Вене и венскому светскому обществу посвящены три главы в *ОГ* (ч. 1, гл. 6–8) — см. примеч. 579.

138

С июля 1808 до апреля 1810 г., когда началось печатание книги; правка гранок была закончена 23 сентября 1810 г.

139

В апреле 1810 г.

140

См. примеч. 454.

141

См. примеч. 455.

142

Этот текст следовал в издании 1821 г. после оборванной на середине последней фразы книги (см. наст, изд., с. 171).

143

С 24 сентября 1812 по 9 июня 1813 г.

144

Г-жа де Сталь прибыла в Лондон 18 июня 1813 г. Книга «О Германии» вышла в Лондоне 3 ноября 1813 г.